литературное
НОВОЕ
обозрение

Содержание № 193 [3’2025]

АНТРОПОЛОГИЯ ГРАНИЦ В МОДЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

7 *Татьяна Вайзер*. От редакции

ТЕОРИЯ ГРАНИЦ: BORDERS, BOUNDARIES, LIMITS, THRESHOLDS

10 *Этьен Балибар*. Что такое граница?

18 *Хенк ван Хаутум*. Вне «бордеризма»: преодолевая дискриминационные практики разграничивания, упорядочения и инаковления

32 *Эдвард Кейси*. О типах границ и их роли в критических ситуациях

39 *Пол Вирильо, Жан-Луи Виоло*. Побережье, последняя граница

ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ: ЛИНИЯ, ЛИТОРАЛЬ, ЛИМИНАЛЬНАЯ ЗОНА

46 *Илья Мавринский*. Невидимая граница причастности. Динамическая (не)определенность границы: разворачивание, завершенность, начало

61 *Айтен Юран*. От линии к литорали

68 *Сергей Зенкин*. Граница и мимесис (рабочие заметки)

КОМПАРАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ГРАНИЦ. АНКЕТА

76 *Пол Верт, Уиллард Сандерленд, Клавдия Смола, Мария Чернышева, Елизавета Чуприкова-Крынская*.

ГРАНИЦЫ ИМПЕРИИ, ГРАНИЦЫ ДРУГОГО

97 *Александр Филиппов*. Горизонты империи

113 *Светлана Баньковская*. Чужак на фронтире (или Фронтир как место производства и обитания Чужака)

126 *Станислав Бoридченко*. Обратный колониализм. Пределы российских имперских амбиций в периодике России времен правления Николая II

(ПОСТ)СОВЕТСКОЕ: ГРАНИЦЫ ЗАКРЫТОГО ОБЩЕСТВА

144 *Евгений Добренко*. «Дружба народов не знает границ»: прагматика и риторика братства и советское имперское воображаемое в поэзии народов СССР сталинской эпохи

161 *Марк Липовецкий*. Легенда о Раневской: трикстер и гендерная трансгрессия

177 *Кевин Платт*. Перформативный перевод и лирический космополитизм в пограничной зоне

ОПЫТЫ ТРАНСГРЕССИИ В РУССКОЯЗЫЧНОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Составитель блока: Лариса Муравьева

197 *Лариса Муравьева*. Автофикшн — трансгрессивный жанр?

212 *Доменико Скалюзи*. Запретные рукописи: «археология» семейной памяти в современной русской литературе

228 *Илья Калинин*. Советская нефть и русский космизм: политэкономия трансгрессии

ГРАФОМАНИЯ. ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ ГРАНИЦЫ

263 *Данила Давыдов*. Наивный автор как (не)графоман: к проблеме соотношения понятий

287 *Марк Липовецкий*. Вместо Фуко: графомания, литература и власть в фантастических повестях Абрама Терца

301 *Ксения Костомарова, Павел Успенский*. Как феноменология глупости объясняет графоманию? Размышление с иллюстрациями из стихов Виктора Бокова

БИБЛИОГРАФИЯ

КРАЯ И ПРЕДЕЛЫ

320 *Игорь Кобылин*. От края до края: (пери)феноменологические блуждания по кромкам мира (Рец. на кн.: Casey E.S. The World on Edge. Bloomington, 2017)

329 *Евгений Савицкий*. По разные стороны от border studies: споры о подходах к исследованию границ и пограничья (Рец. на кн.: A Companion to Border Studies. Malden; Oxford; Chichester, 2012; Border and Bordering. Stuttgart, 2021)

340 *Анна Стогова*. Поток, сметающий преграды? (Рец. на кн.: Morris P. Border Politics in Novels by European Women in Translation. London; New York; Dublin, 2024)

346 *Сергей Коретко*. Антиномии девианта: маргинальность как социологическая, философская и политическая проблема (Рец. на кн.: Баньковская С.П. Чужаки и границы: исследования по социологии маргинальности. СПб., 2023)

353 *Дмитрий Колчигин*. Фигуры неориторики (Рец. на кн.: Alford C. Entitled Opinions. Tuscaloosa, 2024; Lombardinilo A. The Lure of Communication. London, 2024)

364 *Дмитрий Цыганов*. Госбезопасность превыше всего: тайная полиция и культурная жизнь СССР в свете «Архивной контрреволюции» (Рец. на кн: The Secret Police and the Soviet System: New Archival Investigations / Ed. by M. David-Fox. Pittsburgh, 2023).

374 *Мария Неклюдова*. На обороте карты (Рец. на кн: Les cartes à jouer du savoir. Détournements savants au XVIII[e] siècle / Sous la direction de Jean-François Bert et Jérôme Lamy. Basel, 2023).

379 *Анфиса Савина*. Круговорот людей и книг (Рец. на кн: ILCEA. Bibliothèques en dehors de l'Empire: institutions et pratiques culturelles de l'exil russophone (1870—1956) / Sous la direction de François Allisson et Alexeï Evstratov. 2024. № 56).

384 Серийные издания кафедры русской литературы Тартуского университета, 2004—2024: указатель содержания (Предисловие Л.Н. Киселевой, составление П.С. Глушакова)

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

402 *Дмитрий Цыганов*. Международная конференция «Советская многонациональная литература как имперская практика» (Дрезденский университет, Венецианский университет Ка-Фоскари, 24—25 октября 2024 года).

416 *Александр Коробейников*. Экономические исследования приграничных территорий Северной Евразии: текущие тенденции и будущие направления. Международный научно-исследовательский семинар «Переосмысление пограничных капитализмов: экономические практики и борьба за ресурсы в (пост)имперской Сибири и Центральной Азии» (Институт восточноевропейских исследований, Свободный университет Берлина, 1—2 февраля 2024 года).

422 *Светлана Пахомова, Валерия Новикова*. Международная конференция «Концепт границы в славянской и еврейской культурной традиции» (Институт славяноведения РАН, Москва, 6—8 декабря 2023 года).

428 *Ярослава Захарова*. Международная конференция «Графомания. Русская литература и ее границы» (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, «Новое литературное обозрение», 7—9 октября 2024 года)

439 *Кирилл Зубков*. Письмо в редакцию

440 Наши авторы

442 Summary

447 Table of Contents

450 Our Authors

Редакция

Ирина Прохорова (основатель и учредитель журнала) *канд. филол. наук*

Татьяна Вайзер (шеф-редактор) *канд. филос. наук; PhD*

Арсений Куманьков (теория) *канд. филос. наук*

Кирилл Зубков (история) *канд. филол. наук*

Александр Скидан (практика)

Абрам Рейтблат (библиография) *канд. пед. наук*

Владислав Третьяков (библиография) *канд. филол. наук*

Николай Нахшунов (хроника научной жизни) *магистр политических наук*

Валерий Отяковский (выпускающий редактор) *PhD*

Редколлегия

Константин Азадовский
кандидат филологических наук

Хенрик Баран
PhD. Университет штата Нью-Йорк в Олбани, профессор

Татьяна Венедиктова
доктор филологических наук. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, профессор

Елена Вишленкова
доктор исторических наук. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Томаш Гланц
PhD. Цюрихский университет, профессор / Карлов университет в Праге, профессор

Ханс Ульрих Гумбрехт
PhD. Стэнфордский университет, профессор

Евгений Добренко
PhD. Университет Венеции Ка-Фоскари, профессор

Александр Жолковский
PhD. Университет Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, профессор

Андрей Зорин
доктор филологических наук. Оксфордский университет, профессор / Московская высшая школа социальных и экономических наук, профессор

Борис Колоницкий
доктор исторических наук. Европейский университет, профессор / Санкт-Петербургский институт истории РАН, ведущий научный сотрудник

Александр Лавров
доктор филологических наук, академик РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, ведущий научный сотрудник

Марк Липовецкий
доктор филологических наук. Колумбийский университет (Нью-Йорк), профессор

Джон Малмстад
PhD. Гарвардский университет, профессор

Александр Осповат
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, профессор-исследователь

Пекка Песонен
PhD. Хельсинкский университет, заслуженный профессор

Олег Проскурин
кандидат филологических наук. Университет Эмори (США), профессор

Роман Тименчик
кандидат филологических наук. Еврейский университет в Иерусалиме, профессор

Павел Уваров
доктор исторических наук, член-корреспондент РАН. Институт всеобщей истории РАН, главный научный сотрудник / Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор

Александр Эткинд*
PhD. Европейский университетский институт (Флоренция)

Михаил Ямпольский
доктор искусствоведения. Нью-Йоркский университет, профессор

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

От редакции

Когда мы произносим слово *культура*, мы по умолчанию предполагаем слово *граница*.

От того, как в той или иной культуре прочерчены границы, зависит буквально все: как мы понимаем себя и других, что считаем нормальным и допустимым, кого оцениваем как достойных и недостойных, как распределяем права и в каких иерархиях находим опору нашей социальности.

На уровне культурных и социальных практик границы сегодня — одна из самых острых и болезненных тем: вопросы гражданства, прав и национальной идентичности, распад и притязания бывших империй, этнические конфликты, возведение новых стен, внутренние потенциалы конфликтности в современных демократиях, динамики (полу)авторитарных режимов и закрытых обществ. Но также и малозаметные рутинные культурные практики, и привычные культурные нормы, и вписанные в тела значения — все это должно стать предметом исследования и переосмысления.

Планируя спецвыпуск, мы хотели заглянуть в историю вопроса и понять, как она помогает нам лучше осмыслить современность и отечественный культурный контекст. Культурно-антропологическая перспектива, в которой мы предложили видеть проблему границ, предполагает, что культурные практики установления, учреждения, поддержания, переопределения, разрушения границ, способы на них настаивать или не замечать — определяют опыт *человеческого существования*. Этим спецвыпуском мы продолжаем линию журнала по разработке и адаптации новых подходов к изучению российской истории и культуры в рамках антропологического поворота (см., например, спецвыпуски: № 188, 2024 «Неимперская Россия: образы, идеи, практики»; № 184, 2023 «Антропология (не)насилия в русской культурной истории»; № 178, 2022 «Трансформация гуманитарного знания в постсоветской России»; № 161/166, 2020 «Постсоветское как постколониальное»; № 162, 2020 «Антропология страха» и др).

«Граница» — целый кластер понятий в англоязычной традиции: border, boundary, borderline, borderland, limit, threshold, demarcation line, littoral, frontier.

Есть аналоги и в русском: граница, предел, пограничье, приграничье, порог, разделительная черта, литораль, фронтир. Однако даже при при значительной способности определять целые культурные парадигмы и развитом понятийном ресурсе, крайне мало четких определений границы. Едва ли не единственное четкое и универсальное — философское — определение мы находим у Хайдеггера: «Граница — это не только очертания и рамки, не только место, где что-то заканчивается. Граница означает то, через что нечто собирается в себе самом, чтобы появиться из него во всей своей полноте, возникнуть в присутствии» (*Хайдеггер М.* Исток искусства и предназначение мысли). По сути, он говорит: нечто становится таковым благодаря тому, что у него есть границы. Границы определяют, что это нечто есть нечто постольку, поскольку оно отлично от другого. Большей же частью исследователи дают описательное определение границы, показывая скорее, как она функционирует в том или ином контексте, какие культурно-исторические значения порождает и как способна влиять на положение дел.

В культурной антропологии, культурной истории и географии, исследованиях национальных литератур и культур последних десятилетий складывается глубокая, развитая и междисциплинарная традиция изучения границ как *феномена культуры* с понятийным аппаратом и инструментарием. Мы не ставим целью реконструировать эту сложную и богатую традицию, однако через ряд современных теоретических работ намечаем для читателя возможности обращения к ней, актуализируем современное состояние этого исследовательского поля и предлагаем возможные прочтения отечественной культуры в свете этой традиции.

Как увидит читатель, одна из задач современных border studies — десубстанциализировать границу, показать, что она не есть сущность или неизбежная константа, но исторична и социально условна. Как пишет Этьен Балибар: «Границе нельзя приписать сущность, которая сохранялась бы всегда и везде, в любом пространственно-временном промежутке, и одинаковым образом соотносилась бы со всем индивидуальным и коллективным опытом». Граница понимается скорее не как физическая, а как символическая, прописанная на бумаге; и не как линия, а как сложный конгломерат значений, установок, предпосылок и последствий, который зависит от ментальных и материальных условий, символических ресурсов и способов социального конструирования реальности.

Помимо дескриптивных и критических исследований, авторы этой традиции говорят о необходимости нормативных теорий границ: выработать исследовательскую программу, которая не превращала бы границы в гегемонии, но позволяла бы различить их сложность, контекстуальность, подвижность — или, как говорит один из наших авторов: «обогатить классический статичный взгляд на границы постмодерным и постфундаментальным изучением разграничивания». Отсюда постулируется изучение не границ, статично понимаемых, а bordering как сложного, длительного и обусловленного *процесса* разграничения, ограничивания, упорядочивания, инаковления (ван Хаутум и др.).

Что же такое граница, если не видеть в ней сущностную безусловность in statu naturali? Ответы, которые дают наши авторы, — многообразны:

граница исторична — она зависит от исторических условий ее учреждения, у границ есть своя история;

граница подвижна — она может меняться под воздействием социальных и культурных факторов, у границ есть динамика;

граница полисемантична — в зависимости от разных перспектив или притязаний на нее, способов делать ее проявленной;

граница условна — контекст и смысл конкретной границе придают люди;

граница — не линия, черта или порог, а потенциал, возможность явленности;

граница — источник смыслопродуктивности — ограничив что-то, мы создаем нечто как отличное от другого, запуская в ход комплекс значений и практик;

граница есть форма проявления власти и учреждающая сила;

граница есть место касания, соприкосновения, сопряжения, причастности.

Отсюда — императив, смыслоемко выраженный одним из наших авторов:«осмыслять границу как непрерывно осуществляемую контекстуальную работу».

Установление границы всегда есть установление некоего порядка значений, который может довлеть, подчинять, выделять, отграничивать, предполагает интериоризацию этого порядка субъектами, которые ему подлежат. Порядок значений определяет правила, идентичности, маркеры значимых различий, иерархии, норму и исключение. Отсюда этическая и эпистемическая критика этого большого и долгосрочного проекта border studies — необходимость методического сомнения и вопрошания о том, при каких условиях сложилась та или иная диспозиция границ, которая впоследствии представляется исторически неизбежной, естественной или безусловной.

Как и в случае многих привычных обиходных понятий, история культурных представлений о границах в разных языках и культурах еще не написана — она могла бы многое рассказать нам о культурной антропологии современных обществ и existentia humana.

Татьяна Вайзер

Теория границ: Borders, *Boundaries,* Limits, *Thresholds*

Этьен Балибар

Что такое граница?[1]

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_10

Étienne Balibar

Qu'est-ce qu'une frontière?

> Можно быть гражданином или лицом без гражданства, но сложно представить, чтобы кто-то *был* границей[2].

На предварительный для нашей дискуссии вопрос: «Что такое граница?» — невозможно дать простой ответ. Почему? В основном потому, что границе нельзя приписать сущность, которая сохранялась бы всегда и везде, в любом пространственно-временном промежутке, и одинаковым образом соотносилась бы со всем индивидуальным и коллективным опытом. Не восходя к римскому limes, «граница» какой-нибудь европейской монархии в XVIII веке, когда изобретается понятие космополитизма, имеет мало общего с теми границами, которые сегодня стремится укрепить Шенгенская конвенция. Всем нам из-

1 Текст доклада, прочитанного на коллоквиуме «Насилие и право на убежище в Европе: от национальных границ к общей ответственности в едином мире», организованном Мари-Клэр Калоз-Чоп и Акселем Клевено в Женевском университете 23–25 сентября 1993 года. Переиздано: *Balibar É.* La Crainte des masses. Politique et philosophie avant et après Marx. Paris: Galilée, 1997. Созданная в 1993 году Женевская группа, для которой я подготовил этот доклад, объединила исследователей, активистов, независимых журналистов, юристов, сотрудничавших с Агентством ООН по делам беженцев, пасторов Реформатской церкви, чтобы освещать ситуацию мигрантов и беженцев на границах Европы и способствовать признанию их прав ровно в тот момент, когда следствия политики вытеснения и отбора дали о себе знать. См.: *Caloz-Tschopp M.-C.* Les Étrangers aux frontières de l'Europe et le spectre des camps. Paris: La Dispute, 2004.

2 *Green A.* La Folie privée. Psychanalyse des cas-limites. Paris: Gallimard, 1990. P. 10.

вестно, что пересекать франко-швейцарскую или итальянско-швейцарскую границы с «европейским» и бывшим югославским паспортом — не одно и то же. Мы даже собрались здесь по инициативе Женевской группы «Насилие и право убежища в Европе», чтобы об этом поговорить.

На самом деле, эта невозможность, осложняющая теоретическую сторону вещей, для нас становится шансом. Ведь чтобы понять нестабильный мир, в котором мы живем, нужны сложные понятия, то есть диалектические. А значит, нам даже нужно усложнять вещи. И чтобы содействовать изменению мира, изменению неприемлемого и невыносимого в нем — или, что то же самое, чтобы сопротивляться происходящим в нем переменам, которые нам охотно преподносят как неизбежные, — нам нужно перевернуть ложную простоту некоторых очевидных понятий.

Позвольте мне буквально минуту поиграть в языковые игры моих коллег-философов. Идея дать границе простое определение по определению абсурдна: провести границу ведь и есть не что иное, как определить или ограничить территорию, тем самым зафиксировав ее идентичность или наделив ее ею. В свою очередь, определить или идентифицировать и есть провести границу, установить пределы (horos по-гречески, от которого происходит глагол horizein: определить, ограничить; finis или terminus по-латински; Grenze по-немецки; border или boundary по-английски и так далее). Теоретик, который хочет дать определение границе, попадает в замкнутый круг, потому что само представление границы оказывается условием всякого определения.

То, что может показаться спекулятивным, если не праздным, имеет вполне конкретную сторону. Любая дискуссия о границах касается установления[3] определенных идентичностей — национальных и прочих. Однако идентичности или даже идентификации, несомненно, *имеются* — в разной степени активные и пассивные, желаемые и претерпеваемые, индивидуальные и коллективные. От своей многочисленности, сконструированности или фиктивности они не становятся менее реальными. Но эти идентичности явно *недостаточно* определены. Следовательно, с логической, или юридической, или национальной точек зрения, они не определены вовсе. Или, скорее, не были бы, если вопреки внутренне присущей им невозможности избежали бы принудительного определения. Иначе говоря, определить их на практике — значит «свести [к чему-то другому]», приложить силу упрощения, парадоксальную дополнительную простоту, которая естественным образом тоже усложняет многие вещи. Государство, будучи, помимо прочего, национальным и правовым, чудовищно сокращает всякую сложность, хотя само его существование оказывается постоянным фактором сложности (можно даже сказать: беспорядка), которую ему и приходится сокращать.

Все это, как мы знаем, выходит за пределы чисто теоретических вопросов. Жестокие последствия ощущаются каждый день; они и формируют упомя-

---

3 Institution (*фр.*). К развязке текста термин станет оперативным понятием в русле критики институционализации границ и будет передаваться термином «институция» и «учреждение». В тех случаях, когда institution (учреждение, установка, институт, институция) и глагол instituer (учреждать, устанавливать) употребляются в нейтральном смысле, напрямую не связанном с характерной для франкоязычной социально-философской традиции критикой институций, русский перевод варьируется в зависимости от контекста. — *Прим. пер.*

нутое в тексте приглашения[4] *состояние насилия* (condition de violence), перед лицом которого мы ищем политические идеи и инициативы, отличные от «гоббсовского» сведения к простоте, то есть к обыкновенной центральной власти, обладающей сакральным статусом в правовом отношении и вооруженной монополией на законное насилие — решение как минимум неэффективное в глобальном или мировом масштабе, где оно способно разве что подавить какого-нибудь бунтовщика… да и только. Вопреки одним границам, если только не под их прикрытием, то там, то тут возникают неопределимые и невозможные идентичности, которые закономерно расцениваются как не-идентичности, хотя для множества людей их существование является вопросом жизни и смерти. Эта проблема повсеместна, и тот ужас, который разворачивается в «бывшей Югославии» (выражение говорит само за себя), внутренне касается всех нас, исходя из нашей собственной истории.

У границ есть история, даже само понятие границы имеет историю, хоть и не везде и не на всех уровнях одну и ту же, я еще к этому вернусь[5]. С нашей точки зрения, точки зрения мужчин и женщин в Европе конца XX века, эта история стремится к идеалу взаимного присвоения индивидов государством и государства индивидами через «территорию». Или, как об этом прекрасно сказала Ханна Арендт, на которую справедливо ссылаются в этом отношении, она стремится к точке *возврата*, где невозможность достичь этого идеала станет ясной ровно в тот момент, когда он покажется совсем близким. В ней мы и находимся.

Начиная с ранней античности, «истоков» государства, городов, империй, существовали «границы» и «марши», то есть линии и зоны, разделительные полосы и линии соприкосновения или столкновения, ограждения и прохода (или «сбора пошлин»). Фиксированные или подвижные, непрерывные или прерывистые. Но у тех границ никогда не было единой функции. Это справедливо не только для последних двух-трех веков, несмотря на кодификацию, которой занялись национальные государства. Сама по себе *тирания национального*, если воспользоваться выражением Жерара Нуариэля[6], постоянно меняет формы, в том числе полицейские. На наших глазах она прямо сейчас снова меняет функции. Одно из главных значений Шенгенской конвенции — на данный момент единственного элемента «европейского строительства», который все еще совершенствуется, причем не со стороны гражданского общества, а по части *антигражданственности*: через консультации с полицией, более-менее одновременные изменения в законодательстве и Конституции, касающиеся права на убежище и условий иммиграции, воссоединения семей, доступа к гражданству и т. д. — состоит в том, что теперь на «ее» границе, или скорее на некоторых особых *погранпунктах* этой территории, каждое государство-участник выступает как представитель остальных. Так появляется новый способ различения национального и иностранного. Вместе с этим изменяются

4 «Насилие как пространство существования в обществах изгнанников и обществах Севера», текст приглашения на коллоквиум «Насилие и право убежища в Европе».

5 Такая история — удвоенная антропологией и семантикой — начинает писаться. Ср.: *Nordman D.* Des limites d'État aux frontières nationales // Les Lieux de mémoire. Vol. II / Dir. P. Nora. Paris: Gallimard, 1986. P. 35 sq.; *Sahlins P.* Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees. Berkeley: University of California Press, 1989; *Foucher M.* Fronts et frontières. Paris: Fayard, 1991; Quaderni. 1995. Automne: Penser la frontière / Dir. Y. Winkin.

6 *Noiriel G.* La Tyrannie du national. Paris: Calmann-Lévy, 1991.

условия *принадлежности* индивидов государству в разных — но неразрывно связанных — значениях этого слова. Достаточно взглянуть на неприязнь, с которой практически все без исключения государства рассматривают двойное или второе гражданство, чтобы осознать, до какой степени национальному государству важно быть хозяином для выходцев из него (и, по меньшей мере в теории, без остатка распределить индивидов по территориям). Это лишь компенсация принципа, согласно которому иностранцы — как минимум символически или относительно — должны быть исключены. Нет никаких сомнений, что в национальном представлении о нормальности, нормальности подданного-гражданина данного государства, подобная апроприация *усваивается* индивидами, поскольку становится условием и главным ориентиром их коллективного, общественного чувства и опять же их идентичности (или порядка, иерархии, в соответствии с которой распределяется множество идентичностей). Учитывая сказанное, границы прекращают быть исключительно внешней реальностью и становятся тем, что Фихте в своих «Речах к немецкой нации» 1807 года прекрасно назвал «внутренними границами» (innere Grenzen), то есть, как он сам говорит, *невидимыми*, пролегающими «нигде и повсюду».

Чтобы понять их свойства, я коротко остановлюсь на трех ключевых аспектах исторической неоднозначности границ. Во-первых, на их *сверхопределенности*, как я буду ее называть. Во-вторых, на *полисемии*, то есть неодинаковом существовании границ для тех, кто принадлежит к разным социальным группам. Наконец, в-третьих, на их *неоднородности*, то есть том факте, что в реальности у отграничения или территориализации есть множество функций, которым одновременно удовлетворяют границы между различными предметами или социальными потоками, различными правами.

Сверхопределенность и формирование мира

Итак, во-первых, то, что условно было названо *сверхопределенностью*. Нам хорошо известно — это общее место учебников по истории, — что у *каждой границы* есть собственная история, в которой переплетаются отстаивание народом своих прав и сила или бессилие государств, культурные различия (которые часто называют «естественными»), экономические интересы и т.д. Менее очевидно то, что ни одна политическая граница никогда не является просто пределом двух государств: она всегда сверхопределена и в этом смысле санкционирована, удвоена и релятивизирована другими геополитическими разграничениями. Эта особенность не случайна и не второстепенна; она внутренне присуща [границам]. Без функции *формирования мира*, которую выполняют границы, не было бы границ, ну или границ постоянных.

Не выходя за пределы нынешней эпохи, приведем два примера, последствия которых до сих пор ощутимы. В рамках сменяющих друг друга мировых экономик европейские колониальные империи — примерно со времен Тордесильясского договора 1494 года и вплоть до 1960-х — действительно были условием возникновения, усиления и устойчивости национальных государств в Западной и отчасти Восточной Европе. Впоследствии границы *между* этими государствами оказались одновременно национальными и имперскими, продолжаясь и воспроизводясь вплоть до «сердца тьмы» где-то в Африке и Азии. И поэтому они использовались, чтобы разделить разные категории «выход-

цев». Национальные имперские государства имели не только «граждан», но и «подданных»[7]. Для национальной администрации подданные были *меньшими иностранцами, чем иностранцы*, и тем не менее *отличались от них (будучи более «странными»)*: это значит, что в некотором отношении или при некоторых обстоятельствах (например в военное время) пересекать границу им было то проще, то гораздо сложнее, чем иностранцам stricto sensu.

Второй пример: «лагеря» или «блоки» в холодной войне с 1945 до 1990 год. Пока «передел мира» между колониальными империями в некоторых случаях *усиливал* национальный суверенитет (при условии, что для других случаев национальный суверенитет просто-напросто запрещался), разделение на блоки (компенсированное, как мы помним, созданием и функционированием ООН), похоже, поспособствовало распространению во всем мире национальной формы (и, следовательно, *национальной идентичности* как «базовой» — по крайней мере в теории — идентичности для всех), сопряженной с фактической иерархией этих наций внутри каждого блока и, соответственно, более или менее ограниченным суверенитетом для большинства из них. В итоге национальные границы государств снова оказались сверхопределенными и либо усилились, либо ослабились, а на практике снова появились иностранцы и иностранное [extranéité] нескольких типов и различные варианты перехода границ. Если граница или направление ее перехода совпадали с внешней границей лагерей, пересекать ее, как правило, было сложнее, поскольку иностранец расценивался как враг или потенциальный шпион. *Исключение* делалось как раз для беженцев, потому что право убежища было оружием в идеологической борьбе. Не этой ли ситуацией объясняется формулировка и относительный либерализм узаконенных в 1950-х и 1960-х правил приема искателей убежища, будь то через международные конвенции или через конституции отдельных стран (последние изменения в германском праве выступают в этом смысле показательным, но исключительным примером)?

Только имея в виду эту ситуацию, нам удастся понять термины, в которых сегодня формулируется вопрос о беженцах с востока (который внезапно перестал быть востоком и стал чем-то вроде полуюга). Это касается и трудностей, которые испытывает «европейское сообщество» при попытке осознать себя именно *сообществом*, объединенным собственным интересом, хотя в значительной степени оно оказалось побочным продуктом холодной войны и одним из ее звеньев, целью которого было уравновесить гегемонистское могущество Соединенных Штатов в рамках «западного блока».

Позавчерашние колониальные империи и вчерашние блоки оставили глубокий след на институциях, праве и менталитетах, однако их время прошло. Но было бы наивно полагать, что сегодня они уступили место простому набору похожих друг на друга наций. То, что называют кризисом национальных государств, отчасти (хотя и не целиком) является объективной неуверенностью как в природе и контурах геополитических разграничений, потенциально способных сверхопределить границы, так и в доле или типе национальной автономии, с которой эти гипотетические внешние границы были бы совместимы, учитывая их военную, экономическую, идеологическую или символическую функции. Вкупе с внутренним расслоением (этническим, социальным, рели-

7 См. мое эссе: Sujets ou citoyens. Pour l'égalité // Balibar E. Les Frontières de la démocratie. Paris: La Découverte, 1992.

гиозным) каждого национального государства, этот болезненный и пока не поставленный должным образом вопрос, несущий потенциальные конфликты, вполне может оказаться решающим для *вопросов о национальных границах*, которые в самой Европе, скорее всего, смогут устоять перед сменой эпох. Немецкая уже изменилась, как и югославская и чехословацкая, хоть и неодинаковым образом; вполне возможно, что за ними последуют другие, западнее.

Полисемия

Во-вторых, так называемая *полисемия* границ, в силу которой на практике они не для всех имеют одинаковый смысл. Соответствующие факты хорошо известны и ложатся в основу нашей дискуссии. Ничто так не напоминает о материальности официально «одной и той же» границы (самотождественной и поэтому четко определенной), пересекаете ли вы ее в одну сторону или в другую, как бизнесмен, направляющийся на конференцию исследователь или молодой безработный. Перед нами две разные границы, у которых только *название* общее, и в какой-то степени границы сегодня (а на самом деле уже давно) придуманы именно для этого. Не только чтобы представители разных социальных классов получили разный опыт взаимодействия с законом, администрацией, полицией и базовыми правами вроде свободы передвижения и предпринимательства, но и чтобы активно *дифференцировать* их в зависимости от социального класса.

Государство, разбивающее лагерь в собственных границах и сформированное ими, играет во всей истории двоякую роль. С одной стороны, оно маскирует и в какой-то степени ограничивает формальную сторону дифференциации, укрепляя понятие национального гражданина, а с ним и приоритет государственной власти над антагонизмами в обществе. С другой стороны, чем активнее становится транснациональное движение людей или капиталов, чем быстрее оформляется транснациональное политико-экономическое пространство, тем охотнее государства, включая наиболее «могущественные» из них, встают на службу классовой дифференциации в международном масштабе, делая и свои границы, и устройства пограничного контроля инструментом дискриминации и отбора. Этими действиями они просто пытаются как можно лучше сохранить символические истоки их легитимности для народа. Отсюда возникает противоречие, из-за которого им приходится *одновременно* релятивизировать *и* подчеркивать понятие идентичности или национальной принадлежности, приравнивая гражданство к национальности.

Двойное послание того же рода содержится и в самом понятии передвижения людей. Проблематична не сама разница в отношении к движению товаров или капиталов и передвижению людей: слово движение [circulation] здесь употребляется не в одном и том же смысле. Проблематичен тот факт, что, несмотря на вычислительную технику и телекоммуникации, капиталы все еще не могут двигаться без массового движения людей — одних «наверх», других «вниз». Но учреждение мирового апартеида или двоякого режима движения людей порождает пугающие политические проблемы допустимости и института. «Цветовой барьер» (colour bar) теперь разделяет не только «центр» и «периферию» или Север и Юг, но проходит через все общества, оказываясь таким образом только их приблизительным неуклюжим эквивалентом: будучи повсеместным, он работает в обе стороны, поскольку усиливает неконтроли-

руемый расизм и способствует неустойчивости, провоцирующей избыток мер безопасности. Не говоря уже о том, что между двумя крайностями — людьми, *которые движут капитал*, и людьми, *которыми движет капитал*, в результате «релокаций» и «маневренности» — находится огромная не поддающаяся классификации промежуточная масса.

Возможно, именно с этой точки зрения стоит посмотреть на одну из самых одиозных сторон вопроса миграций и беженцев, которая стала предметом подробного исследования Мари-Клэр Калоз-Чоп и ее друзей: на «интернациональные» или «транзитные» зоны в морских портах и аэропортах[8]. Они иллюстрируют не только состояние генерализованного насилия, внутри которого теперь можно различить как экономические миграции, так и потоки признанных и непризнанных беженцев, но и воплощение различного функционирования — можно сказать, удвоения — понятия границы, которое наметилось уже на этапе различных формальных требований к ее пересечению.

Здесь важна не только юридическая дискуссия, но и феноменологическая дескрипция. Для богача из богатой страны, закономерного космополита (с паспортом, который *означает* не просто национальную принадлежность, защиту и право на гражданство, но и права *вдобавок*, особенно право на беспрепятственное передвижение по миру), граница стала формальностью перед выходом на посадку, пройденным на бегу пунктом символического признания своего социального статуса. Для бедняка из бедной страны граница закономерно становится чем-то совершенно иным: это не просто труднопреодолимое препятствие, а место, где постоянно приходится с чем-то сталкиваться, переходить снова и снова по мере выдворений и объединения с семьей, и, наконец, *пребывать*. Это необычайно вязкая пространственно-временная *зона*, чуть ли не место для жизни — ожидания жизни, не-жизни. Психоаналитик Андре Грин где-то писал, что теперь уже затруднительно жить *на* границе, но это ничто по сравнению с тем, чтобы *быть* границей самому. Хотя он понимал под этим разрыв множества идентичностей, мигрирующих идентичностей, нужно увидеть материальную сторону вещей.

Неоднородность и вездесущность

Это естественным образом приводит нас к третьему из заявленных пунктов: неоднородности и вездесущности границ, то есть тому факту, что некогда реализованное национальными государствами закономерное *смешение* политических, культурных и социоэкономических границ сегодня начинает размываться. Таким образом, что *некоторые границы теперь располагаются вовсе не на границах*, взятых в географически-политически-административном смысле слова, а находятся где-то в другом месте, везде, где действует избирательный контроль, например *санитарный* (связанный с тем, что Мишель Фуко называл биовластью) или контроль *безопасности*. Концентрация всех функций (например, контроля за товарами и людьми — а значит, микробами и вирусами, — административное и культурное разделение и пр.) в одной точке, на одной расчищенной и в то же время уплотненной, непроницаемой линии —

8 Frontières du droit, frontières des droits. L'introuvable statut de la "zone internationale" / Dir. M.-C. Caloz-Tschopp. Paris: L'Harmattan, 1993.

главная тенденция определенного периода формирования национального государства (когда его существование максимально близко подошло к идеальному типу), но не окончательная историческая необходимость. В наших глазах она уже давно уступает вездесущности границ нового типа. [Будь мы в состоянии это увидеть, нас удивил бы (и заставил задуматься о базовых понятиях прав человека) тот факт, что пункты досмотра, когда-то введенные на погранпереходах в морских портах и аэропортах, теперь появляются и в метро, и в пригородных поездах, чаще всего работая по внешним признакам][9].

В конечном счете мне хотелось подчеркнуть — может быть, это трюизм — что в исторической сложности понятия границы, которая теперь вновь становится очевидной из-за происходящих с ней изменений и принятия новых форм, речь идет об *учреждении*. Об учреждении и способах учреждения границы, которая одновременно становится условием возможности их многообразия. Именно по этой причине фиктивное определение границы было простым и упрощающим, а ее простота, как я и говорил в начале, — *вынужденной*, вытекающей из государственного принуждения. Но ipso facto главным последствием оказался тот факт, что границы, под защитой которых в некоторых случаях удалось завоевать условия относительной демократии, сами по себе всегда были абсолютно недемократичными учреждениями и ускользали от всякой политической практики и контроля. Если «граждане» и обживались в их пределах, то только для самоистребления.

Границы стали антидемократическим условием такой частичной, ограниченной демократии, в определенные периоды характерной для некоторых национальных государств, пока те занимались решением собственных внутренних конфликтов (а иногда и их экспортом, хотя именно для этого и нужны очерченные границы). Поэтому я думаю, что верно говорится в анонсе коллоквиума о требовании «радикальной демократии». По мере того как границы вновь множатся и изменяются — что, несомненно, говорит об их стремлении разметить новое социальное пространство, а не просто отграничить его от внешнего мира, — альтернатива стоит между авторитарным и фактически насильственным ужесточением всех форм сегрегации и демократическим радикализмом, который возьмется за деконструкцию и трансформацию института границы.

Со своей стороны я, тем не менее, не отождествлял бы эту радикальную и неминуемо интернациональную и даже транснациональную демократию с погоней за «миром без границ» в юридическо-правовом смысле слова. Такой «мир» рискует оказаться лишь ареной одичалого господства частных сил, которые монополизируют капиталы, коммуникацию, возможно, даже вооружения… Стоит, скорее, поставить вопрос о демократическом контроле за теми, кто контролирует границы, то есть за государствами и самими наднациональными учреждениями. Но сначала надо ответить на вопрос о том, найдут ли люди по обе стороны границ общие интересы и язык (то есть общие идеалы). Однако для такой встречи чаще всего требуются переводчики и посредники. Как бы печален ни был их опыт на сегодняшний день, мне кажется, что защитники права на убежище отчасти такими посредниками и являются.

Перевод с французского Марии Стениной

---

9 Добавлено в 2021 году.

Хенк ван Хаутум

Вне «бордеризма»:

ПРЕОДОЛЕВАЯ ДИСКРИМИНАЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ РАЗГРАНИЧИВАНИЯ, УПОРЯДОЧЕНИЯ И ИНАКОВЛЕНИЯ*[1]

Henk van Houtum

Beyond “Borderism”: Overcoming Discriminative B/Ordering and Othering

Хенк ван Хаутум (Университет Неймегена, Неймегенский центр исследования границ, профессор; PhD) henk.vanhoutum@ru.nl.

Ключевые слова: разграничивание, упорядочение, инаковление, моделирование пограничных ландшафтов, бордеризм, стены тщеславия, бумажные границы

УДК: 910.1+327
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_18

Теперь, спустя двадцать лет после выхода нашей статьи «Разграничивание, упорядочение и инаковление», редколлегия «Журнала экономической и социальной географии» попросила меня оглянуться на генезис этого текста и прокомментировать оценки его неослабевающей актуальности и сохраняющегося влияния, предложенные Анси Пааси, Бастианом Фольмером, Джеймсом Скоттом и Кьярой Брамбиллой на этом «Форуме»[2]. Для этого я сначала объясню, что послужило источником вдохновения для нашего эссе, и вкратце вернусь к выдвинутой нами геополитической трехчастной модели; затем обсужу размышления комментаторов в контексте сжатого анализа развития, которое претерпела с тех пор область исследования границ; и, наконец, загляну вперед и предложу, опять-таки с опорой на их размышления, краткую исследовательскую программу решения существующих и будущих проблем разграничивания, упорядочения и инаковления.

Henk van Houtum (PhD; Professor, Nijmegen Centre for Border Research, Radboud University Nijmegen) henk.vanhoutum@ru.nl.

Key words: b/ordering, othering, borderscaping, borderism, vanity walls, paper borders

UDC: 910.1+327
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_18

Now, 20 years after our article “Bordering, Ordering and Othering”, the editorial team of *TESG* has asked me to look back on its formation, and to comment on the appraisals of its continued relevance and influence offered by Anssi Paasi, Bastian Vollmer, James Scott and Chiara Brambilla in this Forum. To this end, I will first explain what the inspiration was for our essay and will shortly revisit the geopolitical triadic frame that we proposed; then, I will discuss the reflections of the commentators while briefly analyzing how the field of border studies has developed; and lastly, I will look ahead and offer, also using their reflections, a brief research agenda to address present and upcoming b/ordering and othering challenges.

---

* Перевод выполнен по изданию: *Houtum H. van.* Beyond “Borderism”: Overcoming Discriminative B/Ordering and Othering // Forum: Revisiting “Bordering, ordering and othering”. 2021. Vol. 112 (1). P. 34—43.

1 Слово “othering”, как и некоторые другие используемые ван Хаутумом англоязычные термины (например, “bordering”, также переводимое как «разграничение» и «ограничение»), пока не имеет общепринятого перевода на русский язык; наряду с выбранным встречаются варианты «инакование», «очуж(д)ение», в определенном контексте также «экзотизация». — *Прим. пер.*

2 Имеется в виду спецвыпуск нидерландского «Журнала экономической и социальной географии». — *Прим. пер.*

Высокая, толстая, красивая стена

«Это будет высокая, толстая, красивая стена!» — такие печально известные слова выкрикнул несколько лет назад на митинге в Сан-Хосе президент Дональд Трамп [Finnegan 2016]. Хотя он явно знал, что в доступных районах уже и так имеется огромное пограничное заграждение, которое усиленно патрулируется [Boedeltje, Houtum 2020], его возбуждение по поводу будущего великолепия «его» стены следует понимать как нечто большее, чем дикий утробный клич отдельно взятого лидера-популиста. Напротив: в последнее время всевозможные новые меры пограничного контроля вводятся и в других местах. От Бразилии, Индии, Китая, Северной Кореи, Турции, России и США до таких стран, как Италия, Греция, Венгрия и Польша, мы видим растущее желание дальнейшего укрепления границ во имя защиты и очищения самопровозглашенной идентичности/субъектности (id/entity). И, пожалуй, одним из главных строителей новых заграждений выступает ЕС в целом. Может, он и не нахваливает свои заборы так же открыто, как популистский лидер Трамп, однако в последние лет двадцать ЕС вкладывает значительные средства во всевозможные новые пограничные заграждения и (материальное) упрочение границ [Houtum, Bueno Lacy 2020]. Таким образом, по всему миру в целом наблюдается устойчивое приумножение того, что для краткости часто именуют стенами [Vallet, David 2012]. Конечно, после 1989 года, когда пала Стена и ненадолго стали популярными мантры о «глобальной деревне» и «мире без границ», число таких укрепленных границ несколько снизилось, но это сокращение роста стен из-за дальнейшего открытия границ (debordering) и глобального утопического духа мира без границ (disbordering) оказалось лишь кратковременным. Особенно те субъекты, которые используют бóльшую часть мировых ресурсов и удерживают самую высокую долю мировых доходов, такие как США, Австралия и ЕС, только продолжили укреплять границы вокруг своих территорий. И особенно резко выросло число стен, призванных ограждать от определенных других, после терактов в США 2001 года. Так что «высоких, толстых, красивых стен» предостаточно.

Продолжая размышлять об этой разграничительной тенденции, можно было бы с удивлением отметить тот факт, что в XXI веке, в эпоху технологий и быстрого электронного взаимодействия, классической реакцией по-прежнему остается возвращение к архетипу стен, как будто страны — это средневековые замки или римские города. Кроме того, с точки зрения безопасности одних стен явно недостаточно, поскольку происхождение терроризма во многом внутреннее. Здесь и в самом деле было бы чему удивиться, если бы речь действительно — или исключительно — шла о стенах кирпичных или бетонных. Однако на самом деле термин «стена» вводит в заблуждение.

Во-первых, обычно новые пограничные укрепления строятся не из кирпича или бетона: по большей части это заграждения из стали и/или колючей проволоки, нередко оснащенные высокоразвитой (биометрической) технологией сканирования, особенно в случае с границами воздушных гаваней. Вот и Трамп, говоря о своей стене, представлял и желал, чтобы она была просто бетонной, но пограничники убедили его, что эффективнее сохранить уже существующую конструкцию — капитальный забор из стальных столбов с промежутками, оборудованный сканирующей технологией для отслеживания передвижений тех,

кто вознамерится пересечь границу нелегально [Finnegan 2016]. Поэтому приравнивать (новые) пограничные барьеры и укрепления к простым стенам — значит упускать из виду локальные, контекстуальные вариации их архитектуры и (жестокой) эстетики, а по сути еще и потворствовать ложной (популистской) идее, согласно которой границы остаются бетонными крепостными стенами.

Во-вторых, сегодня самые непреодолимые и бездушные стены, вопреки расхожему мнению, сделаны не из таких крепких и прочных материалов, как бетон, сталь и тому подобное: самые жесткие границы сделаны из бумаги [Houtum, Bueno Lacy 2020]. Ведь именно *бумажные «стены»* виз четко определяют и отделяют внутреннее население от внешнего мира. Виза — это условное разрешение на въезд в определенную страну. Именно посредством этих визовых *пред*границ людям прежде всего и блокируется доступ, причем нередко издалека, в пространственном отрыве от собственно пограничного заграждения или стены *in situ*, из консульства или посольства в их родной стране [Ibid.; Houtum, Uden 2021]. Таким образом, многие дискреционные решения о въезде, которые, как мы наблюдаем в основном на примере США и ЕС, бывают в буквальном смысле смертельными, географически вынесены за пределы непосредственной видимости, что дополнительно усиливает «незрелищность» (non-spectacle) бумажных границ. Разрешение на въезд в ту или иную страну основывается на дискриминационной таксономии, поскольку принимается исходя прежде всего из национального происхождения (места рождения) соискателя. Граждане стран из произвольно составленного «отрицательного» списка перед поездкой должны обращаться за визой, в которой им нередко отказывают, особенно такие богатые государства, как страны ЕС, Австралия и США [Mau et al. 2015]. Даже когда человек вынужден мигрировать из-за угрозы жизни, единственным выходом часто оказывается путешествовать sans papiers, нелегально, без возможности сесть на самолет и выбрать безопасный маршрут. Именно из-за этих нелегальных перемещений, которые, таким образом, порождаются отказами в легальном въезде и создают рынок для контрабанды и преступности, многие государства и чувствуют потребность дополнительно упрочить свои границы in situ физическими преградами. Поэтому ошибкой было бы рассматривать одни лишь бетонные и железные «стены», видя в них выражение и синоним государственных границ, без учета предыстории и более широкого контекста. Ведь это не бетонные стены или заборы, охраняемые с оружием, а внешние бумажные «стены», охраняемые при помощи карандашей и компьютеров, выступают первой и важнейшей линией государственной обороны [Houtum, Uden 2021].

В-третьих, когда речь заходит о стенах, из виду обычно упускаются люди. Стена есть всего лишь физическое препятствие для линейного движения, что само по себе еще не делает ее границей: контекст и смысл конкретной границе придают люди. Граница должна признаваться другими как граница на международном (правовом) уровне. И именно люди, живущие за определенной границей, должны ее внешне и внутренне принимать. Кроме того, превращение стены как морфологического объекта в реальный, практический юрисдикционный порог и ее функционирование обеспечивают пограничники, уполномоченные законом охранять и патрулировать эту стену [Houtum 2010b; 2019]. Аналогичным образом именно совокупность людей, живущих вблизи пограничных барьеров (borderlanders, жителей приграничья), и людей, пересекающих какую-либо границу (бизнесменов; людей, ежедневно ездящих на работу

в город; туристов; мигрантов), коллективно создает и формирует значение и интерпретацию этой границы. Поэтому при изучении геометрии власти следует принимать во внимание не только линии на карте и песке, но и то, как, когда и где люди наделяют пространственные различия власти смыслом и преобразуют их в повседневные практики [Houtum 2010b]. Таким образом, граница есть нечто гораздо большее, чем просто защитная стена. Это средство выражения, репрезентации, прославления или отвержения некоего «здесь», некоего «мы» и некоего «они». Поэтому для того чтобы понять, зачем нужны и как устроены границы, важно не только увеличивать, но и уменьшать масштаб, отстраняясь от линейной гегемонии и морфологии границы, равно как и от постулируемой, однако грубой дихотомии между миром открытых границ (debordered) и миром заново укрепленных границ (rebordered), и осмыслять границу как непрерывно осуществляемую контекстуальную работу, зависящую не только от своих материальных условий, но и от повседневного социального конструирования «здесь», «мы» и «они».

Именно эту последнюю перспективу взгляда за пределы видимых линий, позволяющую сфокусироваться на социальном производстве и контекстуальном смысле границ, мы с моим ныне вышедшим на пенсию коллегой Тоном ван Нарсеном и хотели выдвинуть на первый план двадцать лет назад. Ниже я сначала еще раз рассмотрю, а также расширю триаду разграничивания, упорядочения и инаковления, предложенную нами для изучения пограничных конструкций. Затем я вкратце обсужу развитие исследований границ/разграничивания после той статьи, включив сюда комментарии четырех участников этого «Форума». В конце я сосредоточусь на опасном расцвете того, что я назвал бы *бордеризмом*, — дискриминационной, нативистской политики разграничивания, упорядочения и инаковления.

Возвращаясь к триаде разграничивания, упорядочения и инаковления

Обычно у государства есть границы, но границы — это не государство. Напротив, они представляют собой непрерывное динамичное производство. Прочность границы (государства, города, района или любой другой демаркированной территории) зависит от ее ежедневного правового обеспечения, перформативного производства и баланса между признанием и противодействием со стороны причастных акторов. Дабы акцентировать этот аспект созидания, этот динамичный и многослойный процесс построения границ, в нашей статье для «Журнала экономической и социальной географии» 2002 года мы обозначили границу при помощи не существительного, а глагола, использовав вместо имени активную форму с окончанием *-ing*: “bordering”, «разграничивание». А чтобы подчеркнуть, что нескончаемый, (транс)формирующий процесс разграничивания неизбежно подразумевает постоянное совместное формирование и совместную демаркацию социально упорядоченной идентичности (некоего «мы») и конститутивного внешнего (некоего «они»), мы соединили его со словами *упорядочение* (ordering) и *инаковление* (othering). Эту триаду геополитического разграничивания, упорядочения и инаковления следует понимать не как последовательный, а как контекстуальный, пронизанный внутренними взаимосвязями процесс, который с разной степенью интенсивности, инклю-

зивности и открытости постоянно и динамично протекает на всех трех уровнях одновременно.

То, что мы обозначили как *разграничивание*, сигнализирует о длящемся геополитическом притязании на некое территориальное «здесь», отличаемое в пространстве от воображаемого «там», о присвоении и демаркации этого «здесь». Способы создания и обозначения пределов присвоенной территории могут быть и бывают многообразными (см. также: [Vollmer 2021]). Наиболее очевидны, пожалуй, такие явные инструменты пограничной власти, как законы, укрепления, барьеры, заграждения, визы, (биометрическое) сканирование и так далее, которые охраняются, патрулируются и иным образом проводятся в жизнь. Однако популярные геополитические и иконологические исследования убедительно показали, что такие перформативные коммуникации и репрезентации, как карты, флаги, муралы, символы, мифологии, (исторические) нарративы и другие виды банального пространственного фетишизма (см. также: [Paasi 2021]), тоже играют значимую роль в маркировании «здесь» и «там». Визуальное оформление и нарративная передача территориальных притязаний — неотъемлемые элементы процесса разграничивания. Предвыборный клич Трампа о «высокой, толстой, красивой стене» — яркая популистская иллюстрация такого перформативного притязания на власть [Boedeltje, Houtum 2020].

То, что мы назвали *упорядочением*, означает постоянное социальное конструирование Мы-сообщества и идентичности в ограниченном пространстве. Самосконструированное «Мы» определяется как норма, относительно которой затем обычно определяются отклонения и исключения [Houtum 2010a]. Уроженцы (natives) этого самоопределяемого «Мы» преимущественно рассматриваются как «естественные» (natural) члены сообщества в силу уз почвы или крови (ius soli и ius sanguinis), призванные составлять гомогенный в пространственно-историческом отношении народ, отличный от воображаемых чужаков (non-natives), обладающих аналогичной пространственно-исторической устойчивостью. «Соотечественникам» с младых ногтей прививают идентичность и знание политического порядка. Гомогенизация, стандартизация и предписывание «собственных» пространства, населения и культуры [Scott 1998] осуществляются, например, посредством территориально определяемой языковой политики, образования, демографии, топографии, географии и истории [Paasi 1997; Scott 1998; Schimanski, Wolfe 2017]. Благодаря избирательной исторической памяти, прославлению и увековечению воображаемого сообщества [Anderson 1983] те, кто «борется» или «боролся» за «Мы», даже если пространственная структура этого «Мы» являет собой анахронизм, обычно считаются героями, которые изображаются безукоризненно нравственными, храбрыми, добрыми и преподносятся в качестве образцов для «характера» самосконструированной идентичности; все вместе это формирует коллективное знание, передаваемое новым коренным жителям и приезжим.

Третий выделенный нами элемент, участвующий в постоянном конструировании пространственно-политической идентичности/субъектности, связан с *инаковлением*. При помощи набора властных механизмов, таких как *хронополитика*, *геополитика* и *биополитика*, сфабрикованные маркеры различий обеспечивают противопоставление определенным другим, причем относимые к категории других меняются со временем и в пространстве [Sibley 1998; Mouffe 2000; Houtum 2010a; Paasi 2021; Vollmer 2021].

Посредством *хронополитического* инаковления (то есть политики времени) утверждения о развитости ограниченного и упорядоченного субъекта сравниваются с таковыми о других, что часто приводит либо к восхваляющим («лучшие прогрессивные практики»), либо к антагонистическим, иногда даже дискриминирующим ярлыкам, наподобие «менее современные», «отстающие», «традиционные» или даже «отсталые», малые народы [Wolf 1982].

Геополитическое инаковление отделяет нативную принадлежность и идентичность от ненативной. К чужакам, желающим стать членами сообщества, особенно в случае с национальным государством, обычно применяется политика интеграции, экзаменов на гражданство, а для получения ими полноценного членства — процедура и ритуал «натурализации» (как будто речь о втором рождении). Если люди мыслятся как «естественные» жители воображаемого геополитического сообщества, в котором они родились, то отсюда следует, что Другие имплицитно «противоестественны» (unnatural), а это потенциально служит питательной средой для всевозможных ксенофобных предрассудков, включая дискурсы нагнетания страха и поисков козла отпущения, облекаемые в слова, изображения, числа и карты [De Genova 2018; Houtum, Bueno Lacy 2019; 2020; Vollmer 2021]. Что касается последнего пункта, не так давно мы обозначили переплетение картографии и геополитики как *картополитику* (cartopolitics) [Houtum 2012; Bueno Lacy, Houtum 2015; Houtum, Bueno Lacy 2020] — политическое разграничивание, упорядочение и инаковление посредством географического воображения карт.

В случае государств *биополитическое* инаковление еще больше совершенствует процедуры исключения, навязывая телу процедуры тестирования для проверки членства (например, при помощи современных технологий биометрии и биобезопасности; см. также: [Paasi 2021]), и конструируя воображаемые образы, подчас даже порочащие, «чужих» фенотипов. В пространственно-временном отношении биополитическое инаковление часто усугубляется созданием на границе очередей *ожидания* или даже лагерей ожидания как полувременных пунктов размещения исключенных, принижаемых Других [Agamben 2005; Houtum 2010a; Houtum, Bueno Lacy 2020].

Разграничивание и упорядочение как ресурс

Предложенную выше триаду можно рассматривать как условную модель, примерный план анализа и деконструкции производства границ и идентичности/субъектности [Paasi 2021]. Приятно видеть, что она, как утверждают участвующие в этом «Форуме» комментаторы, сыграла роль в раскрепощении и распространении теоретической перспективы рассмотрения границ не как неподвижных линий сетки, а как динамичных социально-политических конструктов, допускающих множество интерпретаций (например, [Paasi 1997; Houtum 2005; Wastl-Walter 2011]; см.: [Paasi 2021]). Вместе с тем я полагаю, что нашу попытку инициировать и продолжить дискуссии о границах при помощи нашей статьи во многом следует рассматривать как проявление коллегиального духа и стремления выработать новую программу в области исследований границ в тот период конца 1990-х — начала 2000-х годов (см. также: [Ibid.]). Должен также добавить, что ободряющий Zeitgeist, который витал тогда в среде пока еще сравнительно немногочисленных исследователей границ, с тем чтобы обно-

вить давно устоявшийся преимущественно этатистский и весьма статичный взгляд на границы [Houtum 2005], был не в последнюю очередь вдохновлен плодотворным социально-конструктивистским подходом к границам, изложенным Пааси в книге 1997 года [Paasi 1997], которую я, помню, прочитал не отрываясь со смесью волнения, признания и благодарности.

Вскоре после нашей публикации о разграничивании и упорядочении 2002 года мы более развернуто представили наши идеи в томе, получившем название «B/ordering Space» [Houtum et al. 2005]. В этом издании мы попросили ряд интересных ученых поразмышлять о том, каким образом пространство разграничивается и упорядочивается в разных контекстах и в разных пространственных случаях, включая государства, регионы и города. Примерно тогда же Барбара Хупер, в то время постдокторант в Неймегенском центре исследования границ, убедительно описала повседневную активность, связанную с производством и усвоением границ, как «пограничную деятельность» (borderwork), определенную ею как «избирательное подавление и развертывание различий и идентичности», которое может осуществляться «любым социусом или социумом как регулирующим органом» [Hooper 2004: 212]. Впоследствии это понятие пограничной деятельности было подхвачено, в частности, Крисом Рамфордом [Rumford 2008], который, к сожалению, скончался несколько лет назад, в попытке подчеркнуть, что негосударственные акторы тоже участвуют в производстве границ и что это производство не ограничено пределами национальных государств [Kramsch 2020]. Поэтому, вместо того чтобы, изучая создание и подавление социально-пространственных различий, «смотреть как государство» [Scott 1998], мы, утверждал Рамфорд, должны научиться «смотреть как граница» [Rumford 2012: 896; см. также: Parker et al. 2009]. Под другим углом зрения подошел к проблеме философ Этьен Балибар, который, тоже отвергая идею фиксированных территориальных границ, высказал мысль, что границу следует рассматривать как не столько пограничную линию, сколько *пограничную область* (borderland) [Balibar 2004; см. также: Eker, Houtum 2013]. В аналогичном ключе Зигмунт Бауман ранее предложил термин «планетарная фронтирная область» (planetary frontierland) [Bauman 2000]. Впоследствии другие ученые подчеркивали и описывали это дисперсное социальное конструирование и влияние границ при помощи таких выразительных терминов, как *многократный* (multiplied), *диффузный* (diffused), *неосязаемый* (impalpable), *омнивселенная* (omniverse), *сетевой* (networked), *цифровая граница* (iborder), *подвижный* (mobile), *множественный* (multiple), *полисемичный* (polysemic) и *полиморфный* (polymorphic) (см., в частности: [Parker et al. 2009; Amilhat Szary, Giraut 2015; Cuttitta 2015; Pötzsch 2015; Jones 2016; Burridge et al. 2017]).

Кьяра Брамбилла, опираясь среди прочего на более ранние работы Арджуна Аппадураи [Appadurai 1996], положившего начало использованию суффикса *-scape* применительно к различным социальным сферам, а также Према Кумара Раджарама и Карла Гранди-Уорра [Rajaram, Grundy-Warr 2007], которые ввели термин *пограничный ландшафт* (borderscape; также «пространство границы», «пограничное пространство») для выражения «перспективности, относительности и подвижности» границ, в своей статье предлагает и в самом деле рассматривать границу как пограничный ландшафт [Brambilla 2021; см. также: Brambilla, Houtum 2012; Brambilla et al. 2016]. По мнению Брамбиллы, этот термин позволяет привнести в исследования границ то, что Аппадураи [Appadurai 2013] назвал «политикой надежды», то есть политикой будущих

возможностей [Brambilla 2021]. В своей новаторской работе о суффиксе *-scape*, который этимологически родствен немецкому schaffen и нидерландскому scheppen — «создавать» [Brambilla, Houtum 2012; Houtum 2015], Аппадураи подчеркивал, что «-скейпы»

> ...представляют собой не объективно данные отношения, выглядящие одинаково под любым углом зрения, а глубоко перспективные конструкты, меняющиеся в зависимости от исторических, лингвистических и политических обстоятельств самых разных акторов: национальных государств, транснациональных корпораций, диаспоральных сообществ, а также субнациональных групп и движений и даже таких интимных тесных общностей, как деревни, районы и семьи [Appadurai 1996: 33][3].

По оценке Брамбиллы, термин borderscapes позволяет критически открыть арену возможностей конструирования, очеловечить границы и принять во внимание многообразный и непохожий опыт тех, кто составляет эту границу (пограничную область), включая мигрантов и беженцев, а также гражданское общество, группы и отдельных лиц, вовлеченных в процесс (см. также: [Gielis, Houtum 2012]). А это подразумевает зоркость к инклюзивной продуктивной природе (транс)формирования мест [Brambilla 2021; Brambilla et al. 2016].

Концепт borderscapes открыт для различных интерпретаций. Пожалуй, даже слишком открыт, как недавно отметила Дина Кричкер [Krichker 2021]. Изучив соответствующую литературу, она обнаружила по меньшей мере семь весьма разных концептуализаций. Кричкер высказывает мысль, что в своем нынешнем понимании этот термин настолько онтологически широк и расплывчат, что ему недостает прагматической и методологической релевантности. Может, его «неотразимая туманность» и притягательна, но в ней же, по Кричкер, заключается и его ловушка [Krichker 2021]. Она предлагает придать этому понятию конкретный пространственный смысл с опорой на лефевровские представления о производстве пространства [Lefebvre 1991], как поступили также Раджарам и Гранди-Уорр [Rajaram, Grundy-Warr 2007], чтобы проанализировать конкретные способы пространственного истолкования, переживания и воображения пограничной области. В аналогичном ключе, сосредоточившись на конкретном оформлении и проектировании пограничных ландшафтов и следуя духу деноминализации термина «границы», о котором говорилось выше, Аличе Буоли превратила термин scapes в borderscaping [Buoli 2015]. Несколько позднее Винсент Пейненбург также придал этому термину конкретный, методологический и трансграничный коллаборативный оттенок в своей диссертации, в которой совместно с рядом локальных акторов разработал сценарии будущего развития немецко-нидерландского пограничья [Pijnenburg 2019] (см. также: [Eker, Houtum 2013]).

Похожая стимулирующая дискуссия о дальнейшем развитии концептов, связанных с разграничиванием, продолжает вестись еще в одном направлении. Дело в том, что идея рассматривать границу как коллективный, потенциально эмансипаторный конструкт и проект, а не просто застывший, статичный оборонительный рубеж породила еще и интересные исследования трансграничного сотрудничества в (городских) пограничных районах и во внутригородских пространствах; значительное внимание уделяет этому в своем комментарии Джеймс

3 См. также: [Rajaram, Grundy-Warr 2007; Mezzadra, Neilson 2011; Gielis, Houtum 2012; dell'Agnese, Amilhat Szary 2015; Schimanski 2015; Houtum 2015].

Скотт [Scott 2021]. Здесь я прежде всего имею в виду (хотя соответствующий ход мысли этим не исчерпывается) работу, уже проделанную для того, чтобы границы рассматривались не только как барьеры или препятствия, а с полным учетом своей двуликой природы, то есть еще и как *созидательные* пороги (resourceful thresholds), предоставляющие новые возможности, а сконструированные различия — не обязательно как помехи или нечто взыскующее гармонизации или устранения, но и как основа, которая также может служить привлекательным вкладом в трансграничное развитие [Houtum, Velde 2004; Eker, Houtum 2013; Sohn 2013; Houtum, Eker 2015; Pijnenburg 2019]. Ибо разграничивание, как и инаковление, не является чем-то заведомо и однозначно дурным с моральной точки зрения, но, как убедительно доказывают и Фольмер, и Скотт, представляет собой онтологическую человеческую практику, которую можно критически и продуктивно использовать еще и как вклад в сотрудничество, как составляющую переговоров и диалога, а также волнующей встречи и привлекательной взаимосвязи [Eker, Houtum 2013; 2015; Vollmer 2021; Scott 2021].

И все же для этой дискуссии крайне важно сохранять зоркость к пространственной морали, как полагает и Пааси [Paasi 2021], то есть нормативно оценивать различия, создаваемые политикой разграничивания, упорядочения и инаковления, и непрестанно критически исследовать то, каким образом, для кого, почему, зачем и когда коллективно выстраивается и проявляет себя континуум открытости и замкнутости, как мы попытались прояснить в нашей изначальной статье 2002 года и что также подчеркивает Бастиан Фольмер в своем комментарии для настоящего «Форума» [Vollmer 2021]. На это же указывают Анн-Лор Амилья Сари и Фредерик Жиро [Amilhat Szary, Giraut 2015] в своей книге о *граничественностях* (borderities), в центре которой находятся правитель(ствен)ность (governmentality) территориальных пределов и дифференцированные практики разграничивания, упорядочения и инаковления в аспекте власти, доступа и мобильности. А Сара Грин в аналогичном ключе предположила, что только лучшее уяснение изменчивости границ (она называет это «граничностью», borderness) позволит понять, как именно границы проявляют себя в разных местах в разное время и как создаются классификационные системы, которые «различают (или не различают) людей, места и вещи именно этим, а не каким-либо другим способом» [Green 2012: 580].

Заглядывая вперед: о стенах тщеславия и других проявлениях бордеризма

Оглядываясь назад спустя двадцать лет после нашей статьи, я с волнением вижу, что поле исследований границ, на момент написания того текста еще малолюдное и по академическим меркам довольно второстепенное, разрослось и, можно сказать, превратилось в самостоятельную дисциплину, динамичную и междисциплинарную, в которой разработано множество ценных идей и получено много знаний (см. также: [Paasi 2021]). Не менее ценен для меня и тот факт, что наша концепция разграничивания и упорядочения, как утверждают комментаторы в этом специальном номере, помогла исследователям границ выработать способ выхода за рамки непосредственно видимых и перформативных проявлений власти и, вместо того чтобы понимать границы как просто гегемонистские и/или проведенные «сверху вниз» линии на песке, эмансипировать и очелове-

чить представление о границах. И все-таки одновременно с этим наблюдается, как я уже сказал, явный подъем популистского превознесения границ, склонность к позиции «своя страна и свой народ прежде всего», к этнонационалистическим и нативистским границам [Houtum 2010b], нарциссическим *стенам тщеславия* [Boedeltje, Houtum 2020] и даже умышленному пограничному насилию [Jones 2016]. Так что если академические исследования границ могут работать с богатой и в целом эмансипаторной повесткой и искать вдохновляющие пути обогащения классического статичного взгляда на границы постмодерным и постфундаментальным изучением разграничивания [Houtum 2015; Paasi 2021], то в повседневной политике, напротив, как будто наблюдается реванш или ренессанс в целом «приземленных» границ, которым придают зрелищность и о которых громогласно трубят узкие и узколобые каналы социальных и тенденциозных традиционных медиа [Houtum 2009; Vollmer 2021].

Продолжающиеся несправедливости, жестокое расчеловечивание и дискриминация, присутствующие в некоторых современных практиках разграничивания, упорядочения и инаковления, позорны и должны быть обличены [Houtum, Boedeltje 2009; Paasi 2021]. Для этого нужны глубокие нормативные теории справедливости, которые не только деконструировали бы способы разграничивания, но и критически анализировали (нарративные) аргументы, лежащие в основе его причин и целей (см. также: [Scott 2021]), чтобы сформулировать эмансипаторные альтернативы тому, что можно назвать *бордеризмом*, определяемым как дискриминационная политика разграничивания, упорядочения и инаковления, эссенциализирующая и политизирующая человеческую ценность с опорой на принадлежность к ограниченной общности (идентичность), в которой люди родились, живут и/или откуда приехали [Houtum, Uden 2021]. Для человека, который, будучи рожден «не по ту» сторону границы, не соглашается с тем, что его жизнь и возможности определяются местом рождения, и хочет переселиться или же оказывается вынужден бежать из страны, входящей в отрицательный список, мир легальных возможностей предстает гораздо более ограниченным и опасным, чем для рожденных по другую сторону границы [Gemenne 2020]. Как отмечалось выше, прежде всего именно бумажные границы создают то, что можно назвать двойной ловушкой: ловушкой территориальной, которая подвергает людей локальному разграничиванию и упорядочению с точки зрения урожденности, вероисповедания и обстоятельств; и ловушкой неподвижности, которая лишает свободы издалека, обесценивая территориальное происхождение человека. Разграничивать, упорядочивать и даже угнетать и наказывать людей на основании глобальной лотереи рождения и несправедливо, и нерационально [Houtum, Uden 2021]. Поэтому я считаю, что нам нужны не только новые критические исследования ренессанса классических границ с его антагонистической *биополитикой* и позорной *некрополитикой* (политикой обречения на смерть), но и, быть может, вдумчивые контрисследования, которые обсуждали бы путь вперед, к более справедливым границам в мировом масштабе [Ibid.].

Кроме того, я полагаю, что нам также необходимо продолжать строить теории и повышать (общественную) осведомленность о внутренней *парадоксальности* границ. О том, что границы могут быть знаками обнадеживающей мечты для одних и репрессивным кошмаром для других; что разграничивание и упорядочение отвергают и вместе с тем порождают инаковление [Houtum, Naerssen 2002: 126]; что мягкие формы инаковления потенциально могут быть

еще и позитивно творческими и плодотворными [Scott 2021]; что границы могут быть суверенными, ностальгическими «маркерами принадлежности» и в то же время эмансипаторными «местами становления» [Eker, Houtum 2013; 2015; Brambilla 2021]; что применение разграничивания к человеческой личности ради защиты свободы, благополучия и/или воображаемого сообщества/единства может также приводить к «саморазграничиванию»; и аналогичным образом — как пограничная политика, сосредоточенная на биополитическом и геополитическом иммунитете, может оборачиваться аутоиммунитетом [Houtum, Bueno Lacy 2020].

Наконец, в нашем методологическом и эмпирическом фокусе мы должны, пожалуй, сохранять бдительность, дабы не попасть в потенциально популистскую и эссенциалистскую «стенную» ловушку, которая приравнивает границы к стенам (см. также: [Brambilla 2021]), как будто возводимые стены действительно носят (медиагенный) морфологический характер или только на таковых нам следует сосредоточиваться, quod non. Онтологическое присутствие (см. также: [Brambilla 2021; Scott 2021]) и морфологическая структура и архитектура сегодня слишком разнообразны, чтобы относить все новые пограничные барьеры к категории простых стен. Более того, эта ловушка стены, как объяснялось выше, игнорирует более невидимые, однако столь же дискриминирующие и важные *пред*границы (визовые бумажные границы), границы, вынесенные вовне, и *пост*границы (лагеря?) [Houtum, Bueno Lacy 2020]. Кроме того, узкий фокус на стенах скрывает повседневное интерсекциональное разграничивание, осуществляемое множеством акторов (больницами, школами, полицией, работодателями и т. д. [Yuval-Davis et al. 2019]), часто вдали от фактической линии границы. Эта множественность и многолокальность границ делает связанные с границами желания и опыт (см. также: [Scott 2021]), воображаемое (см. также: [Brambilla 2021]) и чувства (не)безопасности («местная безопасность», vernacular security [Vollmer 2021]) более условными и спорными и менее самоочевидными, чем как будто предполагает (или стремится предполагать) конкретная, бинарная граница in situ. В сущности, наша идея разграничивания и упорядочения как раз и была предложена с целью подчеркнуть, что границу следует рассматривать (не только и) не столько как существительное или объект, сколько как глагол, то есть практику, отношение, воображение и желание. Поэтому важно интерпретировать такие пограничные стены не просто как военную оборону, которая будет стоять вечно, как хотелось бы популистам (отсюда, вероятно, их тяга представлять эти стены бетонными, стальными, каменными), а скорее как громкие провозглашения собственной власти, исходящие от (нарциссической) веры, для которой эти «стены» функционируют как перформативные столпы воображаемого храма власти. Эти и другие идеи вот уже около двадцати лет остаются предметом щедрого взаимообмена, обсуждения и разработки в области исследования границ. В этом огромное утешение и богатство, которые можно взять с собой в будущее. И они нам понадобятся. Ведь, хотя все границы, быть может, в конечном счете и недолговечны [Houtum 2020], а крикливые популисты, как мы увидели, приходят и уходят, отпечаток и влияние «высоких, толстых, красивых стен» нашего времени все же могут оказаться серьезными и долгосрочными. А значит, над чем работать явно найдется и в ближайшие двадцать лет.

Пер. с англ. Нины Ставрогиной

Библиография / References

[Agamben 2005] — *Agamben G.* State of Exception. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

[Amilhat Szary, Giraut 2015] — Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders / Ed. by A.-L. Amilhat Szary, F. Giraut. London: Palgrave Macmillan, 2015.

[Anderson 1983] — *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.

[Appadurai 1996] — *Appadurai A.* Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

[Appadurai 2013] — *Appadurai A.* The Future as Cultural Fact: Essays on the Global Condition. London: Verso, 2013.

[Balibar 2009] — *Balibar E.* Europe as borderland // Environment and Planning D: Society and Space. 2009. Vol. 27. P. 190—215.

[Boedeltje, Houtum 2020] — *Boedeltje F., Houtum H. van.* The Lie of the Wall // Peace Review. 2020. Vol. 32/2. P. 134—139.

[Brambilla 2021] — *Brambilla C.* Revisiting 'Bordering, Ordering and Othering': An Invitation to 'Migrate' Towards A Politics of Hope // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2021. Vol. 112. No. 1. P. 11 —17.

[Brambilla et al. 2016] — *Brambilla C., Laine J., Scott J.W., Bocchi G.* Borderscaping: Imaginations and Practices of Border Making. London: Routledge, 2016.

[Brambilla, Houtum 2012] — *Brambilla C., Houtum H. van.* The Art of Being a Grenzgänger in the City of Berlin // Agora. 2012. Vol. 4: Borderscapes (special issue). P. 28—31.

[Bueno-Lacy, Houtum 2015] — *Bueno-Lacy R., Houtum H. van.* Lies, Damned Lies & Maps: The EU's Cartopolitical Invention of Europe // Journal of Contemporary European Studies. 2015. Vol. 23. P. 477—499.

[Buoli 2015] — *Buoli A.* BorderScaping. An explorative study on the North Moroccan/Spanish border landscapes. Milano: Politecnico di Milano/Department of Architecture and Urban Studies. 2015.

[Burridge et al. 2017] — *Burridge A., Gill N., Kocher A., Martin L.* Polymorphic Borders // Territory, Politics, Governance. 2017. Vol. 5. P. 239—251.

[Cuttitta 2015] — *Cuttitta P.* Territorial and Nonterritorial: The Mobile Borders of Migration Controls // Borderities and the Politics of Contemporary Mobile Borders / Ed. by A.-L. Amilhat Szary, F. Giraut. London: Palgrave Macmillan, 2015. P. 241—255.

[De Genova 2018] — *De Genova N.* The "Migrant Crisis" as Racial Crisis: Do Black Lives Matter in Europe? // Ethnic and Racial Studies. 2018. Vol. 41. P. 1765—1782.

[dell'Agnese, Amilhat Szary 2015] — dell'Agnese E., Amilhat Szary A.-L. Borderscapes: From Border Landscapes to Border Aesthetics // Geopolitics. 2015. Vol. 20. P. 4—13.

[Eker, Houtum 2013] — *Eker M., Houtum H. van.* Borderland: Atlas, Essays and Design. History and Future of the Border Landscape. Wageningen: Blauwdruk, 2013.

[Finnegan 2016] — *Finnegan M.* It's Going To Be a Big, Fat, Beautiful Wall! // Los Angeles Times. 2016. 2 June. (https://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trump-california-campaign-20160602-snap-story.html (accessed: 10.11. 2024)).

[Gemenne 2020] — *Gemenne F.* On a tous un ami noir. Paris: Fayard, 2020.

[Gielis, Houtum 2012] — *Gielis R., Houtum H. van.* Sloterdijk in the House! Dwelling in the Borderscape of Germany and The Netherlands // Geopolitics. 2012. Vol. 17. P. 797—817.

[Green 2012] — *Green S.* A Sense of Border: The Story So Far // The Blackwell Companion to Border Studies / Ed. by T.M. Wilson, H. Donnan. Oxford: Blackwell, 2012. P. 573—592.

[Hooper 2004] — *Hooper B.* Ontologizing the Borders of Europe // Cross-Border Governance in the European Union / Ed. by O. Kramsch, B. Hooper. London: Routledge, 2004. P. 209—229.

[Houtum 2005] — *Houtum H. van.* The Geopolitics of Borders and Boundaries // Geopolitics. 2005. Vol. 10. P. 672—679.

[Houtum 2009] — *Houtum H. van.* You-Cracy, The Power of People in Places // Journal of Power. 2009. Vol. 2. P. 322—326.

[Houtum 2010a] — *Houtum H. van.* Human Blacklisting: The Global Apartheid of the EU's External Border Regime // Environment and Planning D: Society and Space. 2010. Vol. 28. P. 957—976.

[Houtum 2010b] — *Houtum H. van.* Waiting Before the Law: Kafka on the Border // Social and Legal Studies. 2010. Vol. 19. P. 285—297.

[Houtum 2012] — *Houtum H. van.* Remapping Borders // A Companion to Border Studies / Ed. by H. Donnan, T. Wilson. London: Blackwell, 2012. P. 405—418.

[Houtum 2019] — *Houtum H. van.* The Janus-Border of the Nomad and the Monad: An Essay on the Philosophy of B/ordering and Othering // Debating and Defining Borders: Philo-

sophical and Theoretical Perspectives / Ed. by A. Cooper, S. Tinning. Abingdon: Routledge, 2019. P. 181—194.

[Houtum, Boedeltje 2009] — *Houtum H. van, Boedeltje F.* Europe's Shame: Death at the Borders // Antipode. 2009. Vol. 41. P. 226—230.

[Houtum, Bueno Lacy 2019] — *Houtum H. van, Bueno Lacy R.* The Migration Map Trap. On the Invasion Arrows in the Cartography of Migration // Mobilities. 2019. Vol. 15. P. 196—219.

[Houtum, Bueno Lacy 2020] — *Houtum H. van, Bueno Lacy R.* The Autoimmunity of the EU's Deadly B/ordering Regime; Overcoming its Paradoxical Paper, Iron and Camp Borders // Geopolitics. 2020. Vol. 25. P. 706—733.

[Houtum, Eberhard 2020] — *Houtum H. van, Eberhard R.* After the border spectacle has gone // Human Territoriality / Ed. by R. Eberhard. Zürich: Patrick Frey, 2020. P. 4—9.

[Houtum, Eker 2015] — *Houtum H. van, Eker M.* BorderScapes: Redesigning the Borderland // Territorio. 2015. Vol. 72. P. 101—107.

[Houtum, Naerssen 2002] — *Houtum H. van, Naerssen T. van.* Bordering, Ordering and Othering // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2002. Vol. 93. P. 125—136.

[Houtum, Uden 2021] — *Houtum H.J. van, Uden A.M. van.* The Birth of the Paper Prison: The Global Inequality Trap of Visa Borders // Environment and Planning C: Politics and Space. 2021. Vol. 40/1. P. 3—30.

[Houtum, Velde 2004] — *Houtum H. van, Velde M. van der.* The Power of Cross-Border Labour Market Immobility // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2004. Vol. 95. P. 100—107.

[Houtum et al. 2005] — B/ordering Space / Ed. by H. van Houtum, O. Kramsch, W. Zierhofer. Aldershot: Ashgate, 2005.

[Jones 2016] — *Jones R.* Violent Borders: Refugees and the Right to Move. New York: Verso, 2016.

[Kramsch 2020] — *Kramsch O.T.* Remembering Chris Rumford (1958—2016) // Journal of Borderlands Studies. 2020. Vol. 35. P. 819—827.

[Krichker 2021] — *Krichker D.* Making Sense of Borderscapes: Space, Imagination and Experience // Geopolitics. Vol. 26. P. 1224—1242.

[Lefebvre 1991] — *Lefebvre H.* The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991.

[Mau et al. 2015] — *Mau S., Gülzau L., Laube L., Zaun N.* The Global Mobility Divide: How Visa Policies Have Evolved Over Time // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2015. Vol. 41. P. 1192—1213.

[Mezzadra, Neilson 2011] — *Mezzadra S., Neilson B.* Borderscapes of Differential Inclusion: Subjectivity and Struggles on the Threshold of Justice's Excess // The Borders of Justice / Ed. by É. Balibar, S. Mezzadra, R. Samaddar. Philadelphia: Temple University Press, 2011. P. 181—203.

[Mouffe 2000] — *Mouffe C.* The Democratic Paradox. London: Verso, 2000.

[Paasi 1997] — *Paasi A.* Territories, Boundaries and Consciousness: The Changing Geographies of the Finnish-Russian Border. Chichester: John Wiley & Sons, 1997.

[Paasi 2021] — *Paasi A.* Problematazing 'Bordering, Ordering, and Othering' as Manifestations of Socio-Spatial Fetishism // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2021. Vol. 112. No. 1. P. 18—25.

[Parker et al. 2009] — *Parker N., Vaughan-Williams N., Bialasiewicz L., Bulmer S., Carver B., Durie R., Heathershaw J., Houtum H. van, Kinnvall C., Kramsch O., Minca C., Murray A., Panjek A., Rumford C., Schaap A., Sidaway J., Williams J.* Lines in the Sand? Towards an Agenda for Critical Border Studies // Geopolitics. 2009. Vol. 14. P. 582—587.

[Pijnenburg 2019] — *Pijnenburg V.* Collaborative Borderscaping in the Dutch-German Borderland. Towards a Cross-Border Practice in Spatial Planning. Nijmegen: Radboud University, 2019.

[Pötzsch 2015] — *Pötzsch H.* The Emergence of iBorder: Bordering Bodies, Networks, and Machines // Environment and Planning D: Society and Space. 2015. Vol. 33. P. 101—118.

[Rajaram, Grundy-Warr 2007] — Borderscapes. Hidden Geographies and Politics at Territory's Edge / Ed. by P. Rajaram, C. Grundy-Warr. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.

[Rumford 2008] — *Rumford C.* Citizens and Borderwork in Contemporary Europe. London: Routledge, 2008.

[Rumford 2012] — *Rumford C.* Towards a Multiperspectival Study of Borders // Geopolitics. 2012. Vol. 17. P. 887—902.

[Schimanski 2015] — *Schimanski J.* Border Aesthetics and Cultural Distancing in the Norwegian-Russian Borderscape // Geopolitics. 2015. Vol. 20. P. 35—55.

[Schimanski, Wolfe 2017] — Border Aesthetics. Concepts and Intersections / Ed. by J. Schimanski, S.F. Wolfe. New York: Berghahn, 2017.

[Scott 1998] — *Scott J.C.* Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998.

[Scott 2021] — *Scott J.W.* Bordering, Ordering and Everyday Cognitive Geographies // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2021. Vol. 112. No. 1. P. 26—33.

[Sibley 1998] — *Sibley D.* Survey 13: Purification of Space // Environment and Planning D: Society and Space. 1998. Vol. 6. P. 409—421.

[Sohn 2013] — *Sohn C.* The Border as a Resource in the Global Urban Space: A Contribution to the Crossborder Metropolis Hypothesis // International Journal of Urban and Regional Research. 2013. Vol. 38. P. 1697—1711.

[Vallet, David 2012] — *Vallet E., David C.-P.* Introduction: The (Re)Building of the Wall in International Relations // Journal of Borderlands Studies. 2012. Vol. 27. P. 111—119.

[Vollmer 2021] — *Vollmer B.A.* Categories, Practices and the Self — Reflections on Bordering, Ordering and Othering // Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. 2021. Vol. 112. No. 1. P. 4—10.

[Wastl-Walter 2011] — *Wastl-Walter D.* The Routledge Research Companion to Border Studies. Surrey: Ashgate, 2011.

[Wolf 1982] — *Wolf E.R.* Europe and the People Without History. Berkeley: University of California Press, 1982.

[Yuval-Davis et al. 2019] — *Yuval-Davis N., Wemyss G., Cassidy K.* Bordering. Cambridge: Polity, 2019.

Эдвард Кейси

О типах границ и их роли в критических ситуациях

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_32

Edward S. Casey

Borders and Boundaries: How This Plays Out in Critical Situations

Эдвард Кейси (Университет Стоуни-Брук; почетный профессор; PhD) edward.casey@stonybrook.edu

В статье демонстрируется, как различия между видами границ, описанными в моей книге «Мир на грани», проявляются в ряде исторических и современных ситуаций. Я рассматриваю, каким образом река Рио-Гранде, разделяющая США и Мексику, фигурирует в текущих дискуссиях о миграции в Соединенные Штаты. Я также уделяю внимание тому, как нынешний конфликт между Израилем и Палестиной можно осмыслить в категориях двух типов границ. Столь отличающиеся в иных отношениях конфликты иллюстрируют реальную значимость различий между разновидностями границ.

Edward S. Casey (PhD; Stony Brook University; Distinguished Professor Emeritus of Philosophy) edward.casey@stonybrook.edu

In this paper, I demonstrate how different types of borders which I explore in my book “The World on Edge” can be traced in various historical and contemporary cases. I examine ways in which the Rio-Grande River that divides the USA and Mexico appears in current debates on migration in the United States. I also pay attention to an ongoing conflict between Israel and Palestine that could be reviewed through the lens of two types of borders. Conflicts, so shockingly unlike in other dimensions, illustrate the real importance of differentiation between types of borders.

Границы-линии (borders) и границы-полосы (boundaries) представляют собой две разновидности рубежей, где рубеж — это не «граница [твердого] тела», как пишет Платон в «Меноне», а нечто, обладающее собственной динамикой. Если бы рубеж выступал простым пределом, его определение сводилось бы к чистой негативности: это место, где что-то заканчивается, переходя в ничто. Скорее сами рубежи могут быть активными, символизируя не только окончание, но и начало: примером может служить состояние, когда мы находимся на пороге новой идеи, которая зарождается в сознании. В книге «Мир на грани» я показываю, что за гранью может открываться целая вселенная, в которую мы получаем исключительное право доступа. Так, когда мы впервые видим что-то новое, воспринимаемые очертания этого явления служат порогом вхождения в его постижение: например, когда мы замечаем пролетающую птицу, контуры внешних краев ее крыльев символизируют способность к полету.

Границы-линии и границы-полосы являются двумя основными видами рубежей. Первые представляют собой четко очерченные края частей одного и того же объекта, в частности границы одной территории, отделяющие ее от другой, прилегающей к ней, — скажем, границы различных регионов Сибири. Обычно такая граница обозначается непрерывной чертой — демаркационной линией, длину которой можно исчислить в тех или иных единицах измерения и, следовательно, зафиксировать на карте. В противовес этому, границы второго типа противостоят линейности. Они по своей сути нечеткие, проницае-

мые и, как правило, связаны с природными объектами: примером могут служить очертания реки, меняющей форму в зависимости от уровня осадков. Если границы первого типа отделяют друг от друга различные страны или территории, то границы второго типа соединяют соприсутствующие части одного и того же явления, как в случае «прибрежной полосы» или «берега реки». Такие границы даже могут считаться «первопричиной вещей», как утверждал Ямвлих. Они являются частью места или региона, образуя его внешний край. Они не обособляют, а размыкают пространство вовне, навстречу другим участкам того же места или региона.

В конечном счете два вида границ дополняют друг друга: один служит для различения и отделения, другой — для размыкания и соединения, образующего непрерывность. Оба необходимы: один для того, чтобы ориентироваться в мире, понимаемом как совокупность определенных регионов, которые необходимо отличать друг от друга; другой для того, чтобы вновь связать в единое целое мир, расчлененный на отдельные части непрекращающимися процессами размежевания. Края пейзажей — природных или нарисованных — подобны границам второго типа в своей неопределенности, тогда как очертания границ первого типа могут быть представлены в виде линий — например, на картах и схемах. Границы-линии представляют собой конкретные сущности, измеримые в милях или метрах, полосы же (вос)соединяют то, что линии разделили, или предшествуют разграничениям, вводимым подобной демаркацией.

Взятые вместе, эти типы границ являют собой два основополагающих способа, при помощи которых целые жизненные миры обретают свои очертания. Границы-линии и границы-полосы находятся друг с другом во взаимодополняющих отношениях: первые служат задачам определения и размежевания, вторые — заземления, принятия и размыкания. Как я пишу в книге, «границы-линии огораживают и отсекают, границы-полосы открывают миру и размыкают вовне»[1]. И те, и другие необходимы для осмысления жизненного мира, который иначе был бы невнятен, лишен четкой формы и ориентиров.

Рассмотрим два конкретных примера границ разных типов — один из XIX века, а другой вполне современный.

а) Мирный договор 1848 года, получивший название Гуадалупе-Идальго, положил конец Американо-мексиканской войне. Согласно этому документу, фактической границей между двумя странами становилась Рио-Гранде — большая река, окаймляющая Техас с юга. Она простирается от Браунсвилла до Эль-Пасо и в своем течении неоднократно меняет ширину. Иногда уровень воды поднимается от весенних ливней, а порой (обычно летом) значительно опускается, причем река мелеет настолько, что мигранты могут буквально перейти ее пешком. Возможно, вам встречались упоминания недавней драмы, разыгравшейся на Рио-Гранде, когда губернатор Техаса Грегори Эбботт присвоил себе право «защитить» этот штат от потоков мигрантов, прибывающих с юга. По приказу губернатора дно реки устлали колючей проволокой, в которой люди запутываются — некоторые из-за этого не могут выбраться из воды и гибнут.

Рассмотрим эту ситуацию внимательно. Как явление природы Рио-Гранде является, согласно моей классификации, границей-полосой — периметром естественного ландшафта, который устанавливает собственные границы: река

1 *Casey E.* The World on Edge. Bloomington: Indiana University Press. 2017. P. 15.

то бурлит, переполняясь водой, то пересыхает. В обоих этих случаях и во множестве промежуточных случаев Рио-Гранде представляет собой скорее изменчивую *полосу*, чем что-либо иное, учитывая переменчивый уровень воды в этой реке. Однако та же самая река служит и пределом первого типа — официальной границей между Мексикой и США. В этом смысле она имеет *линейный* характер и именно так представлена на картах этого региона — в виде непрерывной линии. Но *где именно* пролегает граница? Посередине реки? Но сама эта середина меняет местоположение в зависимости от погодных условий. Таким образом, здесь мы видим пример того, как границы двух типов соединяются, хотя их взаимное наложение неустойчиво по своей сути.

В этом смысле картографические репрезентации этой границы обманчивы, потому что они сводят ее к неизменной линии и утверждают в этом качестве, тогда как граница-полоса, столь же значимая для отделения США от Мексики, по определению подвижна и изменчива. На этом примере мы видим неустойчивый союз границ двух типов, физически и концептуально смыкающихся в реке, которая протекает между странами и служит им различительным рубежом. Эту ситуацию едва ли можно назвать уникальной, особенно в том, что касается двусмысленной роли рек в определении границ сопредельных государств. Именно из-за этой двусмысленности вдоль почти всей официальной границы между США и Мексикой была воздвигнута стена — массивная железобетонная конструкция, дающая мигрантам понять, что в Соединенных Штатах не рады наплыву беженцев-нелегалов.

Ситуация, которую я описал: неустойчивое сочетание границ двух типов в одной-единственной реке — выглядит парадоксально. Но с экзистенциальной точки зрения намного более неотложного внимания требует притягательность Рио-Гранде для мигрантов, которые тысячами устремляются к ней из Центральной Америки и многих других регионов мира, в том числе из таких далеких стран, как Китай. Они стремятся пересечь реку (часто при помощи «проводника», который берет деньги за свои услуги), потому что знают, что, перебравшись на американскую сторону, смогут просить убежища в США, несмотря на недюжинные усилия губернатора Эбботта, направленные на то, чтобы никто не достиг американского берега. Граница-линия, укрепленная стеной, в данном случае недвусмысленно служит препятствием, тогда как роль границы-полосы остается неоднозначной: она одновременно открывает возможность пересечь рубеж и создает этому препоны. Границы двух типов объединяются в противоречивый комплекс, внутренняя сложность которого подчеркивает проблематичность ситуации в целом.

На этом примере мы можем наблюдать, как два совершенно различных феномена, граница-линия и граница-полоса, порой сталкиваются внутри единой совокупности обстоятельств, имеющих глубинные экзистенциальные и исторические последствия. Также мы видим, сколь устойчивыми могут быть границы обоих типов: первые в силу геополитических причин (мирный договор 1848 года действует до сих пор), вторые под действием геологических факторов (расположение, изменчивый уровень воды и береговая линия Рио-Гранде в наши дни сопоставимы с тем, что было в XIX веке, — можно сказать, что это примерно та же река). И эти параметры, геополитические и геологические, вместе сохраняются в относительной неизменности на протяжении почти 130 лет. Они дополняют друг друга, словно именно для этого предназначены.

б) Израиль и Палестина[2]

Как область проживания палестинского народа Палестина существовала веками: начало заселения и возделывания этой земли не привязано к конкретной дате. Израиль, напротив, претендовал на эту территорию после принятия в 1917 году Декларации Бальфура.

Фактически создание поселений привело к экспроприации у палестинцев земли, которую они населяли и возделывали на протяжении веков. Экспроприация (dispossession), или, говоря обыденным языком, захват земель, подразумевает установление контроля над местом, где раньше жили другие люди, — люди, предполагавшие за собой право продолжать там жить на основании продолжительного обитания в данной местности (столь продолжительного, что зачастую невозможно назвать дату его начала). Даже если официально право на землю не установлено, местные жители, заселявшие ее на протяжении тысячелетий, считают, что могут проживать там и впредь. Такое мнение отнюдь не свойственно исключительно палестинцам. Коренные народы, заселявшие многие регионы Северной Америки, от Новой Англии до фронтиров Дикого Запада, считали так же. Вождь Сиэтл, как известно, утверждал, что эти земли не могут быть объектом купли-продажи в силу самого характера прав на них. В своей знаменитой речи 1854 года Сиэтл сказал: «Президент в Вашингтоне прислал сказать, что желает купить нашу землю. Но как можно купить или продать небо? землю? Для нас это странная мысль. Если прохлада воздуха и мерцание воды нам не принадлежат, то как вы можете купить их? Каждая частица этой земли для моего народа священная. Каждая блестящая иголка на сосне, каждая песчаная отмель, каждый клочок тумана в лесной чаще, каждый луг, каждая жужжащая букашка… Мы часть этой земли, а она — часть нас самих».

Эти слова недвусмысленно дают понять, что земли, на которых обитают коренные народы, не могут считаться собственностью, на которую распространяются законы рынка. Но утверждение Сиэтла вновь и вновь игнорировалось по мере того, как европейцы заселяли территории коренных народов на Среднем и Крайнем Западе Америки и объявляли эти земли «своими». Такова стратегия колониализма, осуществляемого путем создания поселений, в различных частях мира — включая многие палестинские территории, такие как Западный берег, которые подверглись вооруженному захвату израильских колонистов в то время, когда израильское правительство еще не объявило эти области доступными для заселения. Будь то посредством прямого захвата или правительственных распоряжений, насильственная оккупация палестинских территорий де-факто продолжает осуществляться.

Экспроприация территорий у коренного населения различными насильственными способами приводит к иному функционированию границ по сравнению с тем, что мы рассматривали выше. Если границы-полосы сохраняются в форме краев естественных черт палестинского ландшафта, от холмов до оливковых рощ, а в более широком смысле «от реки [Иордан] до [Средиземного] моря» (лозунг, отсылающий к полному вытеснению палестинцев с их родной земли; таким образом здесь границы-полосы не просто огораживают или локализуют, а маркируют зоны исключения), границы-линии оказы-

2 Мнения редакции в этом вопросе могут не совпадать с мнением автора.

ваются чрезвычайно зыбкими. Зачастую это фактическая «городская черта» конкретных израильских поселений — черта совершенно условная, потому что она появилась в результате насильственного захвата палестинских земельных участков. Захваченная территория может изменить очертания в любой момент, в зависимости от действий израильских колонистов. По иронии судьбы, будто выполняя завет вождя Сиэтла, здесь не происходит покупка или продажа земли, но это отнюдь не связано с тем, что сама земля является священной (как считают многие коренные американцы). А связано это со страстным стремлением разместить израильские поселения, место для которых находится по прихоти колонистов.

После того как в определенном месте произошел захват, граница-линия может быть проведена по внешнему периметру конкретного поселения. Но эта граница определяется не договором между колонистами и теми, чья земля подверглась экспроприации (как в случае границы между США и Мексикой в 1848 году, которая была установлена в результате совместных обсуждений с участием представителей обеих сторон), а прямой оккупацией. Очень часто такая оккупация подразумевает применение силы со стороны колонистов, которые нередко вооружены (в особенности после атаки ХАМАС 7 октября). ООН сообщает о том, что после 7 октября 2023 года произошло почти шестьсот нападений израильских колонистов на население Западного берега. Многие из этих атак были тесно связаны с попытками захватить палестинские земли, меняя тем самым фактические локальные границы в конкретном регионе.

В этой неспокойной части Ближнего Востока границы-линии и границы-полосы приобретают совершенно иное значение, нежели в более стабильных обстоятельствах, как например, в случае американо-мексиканской границы. Тот рубеж, прозванный «Ла Фронтера» (буквально, «граница», или «фронтир»), сохраняет свои очертания на протяжении длительного времени, попрежнему пролегая по Рио-Гранде, которую можно понимать как двойную границу, одновременно полосу и линию. В сегодняшней Палестине, заселенной израильтянами, мы видим оба этих вида рубежей в совершенно иных ролях. С одной стороны, границы-линии становятся в высшей степени условными, так как зависят от поступков отдельных израильских колонистов, действующих с разрешения или по меньшей мере при попустительстве израильских властей. Такие границы часто меняют свои очертания и протяженность. С другой стороны, функция границ-полос сводится к тому, чтобы определять внешние края земельных участков (включая сады и оливковые рощи), которые подвергаются прямой экспроприации.

Заметим, что во всех описанных выше сюжетах ключевую роль играет *земля*. Это обстоятельство отнюдь не является тривиальным или само собой разумеющимся. В нем фундаментальным образом укоренены границы обоих типов. Как мы убедились, обладание землей реализуется путем проживания на ней, будь то в течение веков или недолгого промежутка времени в новейшей истории. Ни в том, ни в другом случае земля не является объектом *собственности*, как в капиталистической экономике, скорее ее *присваивают* себе те, кто на ней живет. Это в первую очередь относится к тем, кто населяет землю длительное время, *обрабатывая* ее, зачастую из поколения в поколение. Благодаря этому непрестанному труду живущие на земле могут справедливо и обоснованно называть ее *своей*, без необходимости доказывать, что они ею *владеют*.

Более того, в случаях долговременного проживания границы обоих типов нелегко отделить от тех земель, которые они очерчивают. Они словно сопутствуют территории, помогая ориентироваться на ней и поддерживая людей, которые ее населяют. Только при негативном развитии событий, например в ситуации отчаянной нужды в деньгах, чтобы приобрести предметы первой необходимости, эти люди столкнутся с искушением объявить землю *своей* собственностью. Напротив, у тех, кто хочет увеличить размер своей «недвижимости» (показательный термин, подразумевающий неизменность, фиксированное местоположение), чаще всего возникает потребность объявить землю своей, даже не имея на то никаких оснований, кроме чистой жажды приобретений — обладания *все большей площадью земли* в качестве осязаемого знака собственной власти и права занимать часть определенного региона.

Таким образом мы оказываемся у истоков капиталистической экономики, то есть форм собственности, несущих с собой измеримую денежную стоимость. Экономика такого типа процветает в условиях четких линейных границ, отражающих точный размер конкретной единицы имущества, позволяя ей участвовать в рыночном обмене, где «стоимость недвижимости» требует наличия таких границ в качестве неотъемлемой составляющей определения площади земли («участка»), которую можно иметь в собственности или продать.

Описанные мною границы-полосы ведут нас в другом направлении — в сторону признания уважения к неустранимой природной топографии, к тому, что *дано* людям, а не *взято* ими. В этом качестве границы-полосы неотъемлемо присущи земле, ее рельефу и свойствам. Рассматривая этот вопрос далее, мы осознаем, что границы-полосы заложены в строении планеты, в тех слоях ее поверхности, которые находятся под почвой. Как и утверждал вождь Сиэтл, планета Земля в качестве основы всего противостоит оценкам в категориях стоимости недвижимого имущества. Она *до-монетарна* и предшествует таким проявлениям власти, которые мы видим в израильских поселениях на Западном берегу. Если землю как слой почвы можно измерить в чисто количественных терминах (представьте себе грядку картофеля или кукурузное поле в качестве примера), планета Земля сопротивляется любым подобным попыткам четкого определения.

Почва представляет собой лишь один из слоев земли. Сам по себе этот слой неустранимо двойствен: одна его часть направлена вверх, на ней осуществляется сельское хозяйство и строительство, задействующее определенные земельные площади. И в то же время этот слой уходит вглубь Земли, которая противостоит человеческим махинациям и манипуляциям.

В этом смысле сам этот слой никогда не превратится в недвижимость и не будет обладать «стоимостью собственности». Он предшествует прочерчиванию границ-линий (которые можно разметить лишь на поверхности суши и моря), но лежит в основе границ-полос, придающих территории определенный вид, что позволяет людям ориентироваться на земле.

Тем более справедливо утверждение вождя Сиэтла, что невозможно назначить цену на землю — в действительности, оно наиболее справедливо в отношении Земли. Ведь Земля является в конечном счете бесценным элементом в жизни человека, животных и растений. Она предшествует границам обоих типов, первым еще в большей степени, чем вторым. Агенты по недвижимости и колонисты-поселенцы в равной мере обходили и игнорировали этот фактор.

Земля — это априорная стихия, которая существовала изначально и будет существовать до тех пор, пока существует жизнь.

> Хотя коренные народы поддерживают тесные отношения с землей… Это не отношения контроля… Земля — это мать, которая кормит нас всех. Суверенитет, если понимать его как мое право на ответственность, требует выстраивания отношений с территорией (причем не таких отношений, которые были бы основаны на контроле над этой территорией…) Таким образом, необходимо осознать, что требование аборигенных народов, чтобы признавался их суверенитет [над землей] в действительности означает притязание на ответственность.[3]

Одно из логических следствий этой заключительной линии моего рассуждения (о том, что земля предшествует всему и кормит всех обитателей ее поверхности) сводится к тому, что чем более мы готовы признавать приоритет земли, тем меньше мы способны отделять друг от друга два типа границ. Мы видели пример подобного разделения в случае американо-мексиканской границы, где официальная граница между двумя государствами может быть корректно изображена в виде *линии*, тогда как граница-полоса соотносится с непрерывно меняющимся потоком воды, который представляет собой река Рио-Гранде. Но в Израиле после 1947 года разница между границами-линиями и границами-полосами начинает схлопываться. Линейные границы израильских поселений постоянно меняются, по мере того как их жители стремятся расширить свои политические и военные полномочия. Бессмысленно было бы пытаться нанести эти границы на карту, учитывая скорость, с которой увеличиваются поселения. А естественные черты ландшафта отступают на второй план перед лицом насильственной оккупации новых территорий. Но именно эти черты являются основанием границ-полос, понимаемых как неотъемлемая конфигурация территории — земли, которая представляет собой внешнюю оболочку самой Земли.

Пер. с англ. Ксении Гусаровой

3 *Monture-Angus P.* Journeying Forward. Halifax: Fernwood, 1999. P. 36. Цит. по: *Nichols R.* Theft is Property! Dispossession and Critical Theory. Duke University Press, 2020. P. 29.

Поль Вирильо и Жан-Луи Виоло

Побережье, последняя граница

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_39

Paul Virilio, Jean-Louis Violeau
Le littoral, la dernière frontière[1]

14 декабря 2010 года в Городке архитектуры и культурного наследия[2] в рамках гран-при по урбанистике, учрежденного Министерством экологии, устойчивого развития, транспорта и жилья, Поль Вирильо был удостоен особого приза жюри за совокупность написанного о скорости городских изменений. В этом интервью он размышляет о будущем побережья: особенно Атлантики и ее пляжей. Черпая вдохновение в военной оптике и ослепительном горизонте атлантических пляжей, открытых во время Освобождения, Поль Вирильо с 1980-х годов видит цель власти «не столько в завоевании или оккупации территорий, сколько в обобщении мира с помощью вездесущего и единовременного присутствия войск, чистого феномена скорости»[3].

Конечный мир, конец географии. Как реорганизовать пространство, чтобы замедлить потоки? Сегодняшнее увлечение возведением стен свидетельствует об этой амбивалентности между все более и более виртуальной властью и грубыми физическими барьерами вроде баррикад и коридоров, способной как открывать, так и закрывать [пространство]. В Южной Африке, между Саудовской Аравией и Йеменом, в Брунее, на границе между Пакистаном и Бангладеш в Индии, между Узбекистаном и Кыргызстаном, между Ботсваной и Зимбабве, и, конечно, вокруг испанских анклавов в Марокко, между Соединенными Штатами и Мексикой, вокруг израильских поселений на Западном берегу, между Газой и Египтом… Все национальные государства, богатые и бедные, в том числе те, что стремятся к миру без границ, демонстрируют страсть к возведению стен. Стен, которые, как известно, сделаны для того, чтобы однажды рухнуть.

Несмотря на их пугающую материальность и «домодерновую» брутальность, новые стены по большей части имеют театральный эффект и воплощают власть и эффективность, на которую на самом деле не способны. Страсть к стенам? Это было бы слишком просто. Страх глобализации, несомненно. И это во времена «глобальной деревни», подумайте только! Но не в деревне ли всегда правили изоляция и надзор? Не осталась ли она противоречивым пространством? Да и потом, вероятно, стена оказывается образом могущества, противопоставленного все более и более виртуальной и даже ликвидной власти, открывающей (локальное) истощение утопической энергии. Именно об этой форме истощения Поль Вирильо говорил 6 мая прошлого года в кафе

1 Перевод выполнен по изданию: *Virilio P.* Le littoral, la dernière frontière: Entretien avec J.-L. Violeau // Eurozine. 2010. 15 décembre. (https://www.eurozine.com/le-littoral-la-derniere-frontiere/ (date d'accès: 21.04.2025).

2 Имеется в виду музей архитектуры (Cité de l'architecture et du patrimoine), расположенный в дворце Шайо в Париже. — Прим. пер.

3 *Virilio P.* Esthétique de la disparition. Paris: Galilée, 1989. P. 52.

Aquarium в порту Ля-Рошель на фоне затопленного двумя месяцами ранее города. Пророческий тон его размышлений, несомненно, оставляет в оцепенении. Это было 6 мая, едва ли вовремя, в четверг 6 мая 2010 года в 16 часов, то есть чуть меньше чем два часа спустя после первого flash crack, в результате которого капитал натолкнулся на стену времени: по выражению Вирильо, «стена Уолл-стрит стала стеной времени», а ведь прогнозирование — главный элемент функционирования капитализма[4]. Но как только мы попадаем в ускоренную реальность, регулировать становится невозможно…

Жан-Луи Виоло

Жан-Луи Виоло: Какую роль соседство с берегом и горизонтом сыграло в вашей мысли?

Поль Вирильо: Я однозначно чувствую себя человеком побережья [littoraliste]: я живу морем и близко к морю, хотя я не моряк. Когда я смотрю на море — я дома. Я человек потока, и всегда им был. Человек побережья — человек, который не может обойтись без «набережной». Моя мать бретонка. Семья моего отца похоронена в Генуе на кладбище у моря. Я вырос в Нанте во времена оккупации, когда бомбили порты Сан-Назер, Руайан и Ля-Рошель; сразу после Освобождения мы с кузеном запрыгнули в поезд и отправились в Ла-Боль, где я открыл для себя берег, который был под запретом всю войну.

При первом знакомстве с морским горизонтом ребенок проживает необычайный момент, конец света, «конец земли». Это такая же свобода, как и негативный горизонт без конца, горизонт, где нет ничего кроме динамики жидкости. В это же время я открыл для себя *бункеры*, эти загадочные постройки, эдакие храмы, навеки заброшенные в ожидании некоего *события*, которому суждено было произойти в другом месте. Тогда я и осознал важность морской бесконечности — точки, в которой сходятся три элемента биосферы: атмосфера, конец литосферы и начало гидросферы. Три предела, сама граница — короче говоря, исключительное место.

Ж.-Л. В.: В какой степени урбанизация побережья сегодня бросает вызов нашей цивилизации?

П. В.: На сегодняшний день побережье, ставшее ключевым элементом заселения нашей планеты, заставляет поднять ряд серьезных вопросов: две трети городского населения, в сущности, проживают на расстоянии меньше ста километров от морских порогов. Мне кажется, что побережье стало нашим последним рубежом, нашей окончательной границей. И этот термин надо понимать буквально: побережье — это место, где хочет оказаться каждый, куда каждый стремится добраться. Искусственные политические границы отныне полностью преодолены — в первую очередь *глобализацией*, которая для меня подразумевает примат реального времени, непосредственности, безотлагательности и вездесущности в реальном пространстве, а следовательно, и на расстоянии.

4 *Virilio P.* “On a embouti le mur du temps”, propos recueillis par Laure Noualhat // Libération. 2010. 25 mai.

Ж.-Л. В.: Конец географии?
П. В.: Именно конец географии, который ни в коем случае не следует отождествлять с концом истории. Напротив! Мы живем в глобализации прямо сейчас. Это не значит, что мы живем в инерции *места*, но в инерции связей, сегодня ставших мгновенными. Поэтому моя последняя книга называется «Футуризм момента»[5] и поэтому побережье оказывается нашей последней границей и сохраняет свою притягательность. Теперь это не просто курорт. Момент романтического контакта с морем сегодня преодолен, и теперь мы частично открыли изначальную логику моделей расселения: свайные жилища с хитроумной архитектурой, рожденной в контакте с водой. Подумайте о сваях и колоннах… Все уже обжились среди озер, рек и крупных дельт, и сегодня история склоняется к последнему, океаническому берегу, к краю света.

Ж.-Л. В.: Это религиозное чувство?
П. В.: Скорее, космическое: как только мы заводим разговор о вселенной, мы затрагиваем божественное. Мы находимся на краю мира, в высшей степени антропологическом месте, где будут разворачиваться дальнейшие события. Хотя историк Фернан Бродель посвятил этому вопросу целую книгу — «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», сегодня природа притягательности побережья усложнилась из-за последних достижений в области биотехнологий и использования потенциальных ресурсов континентального шельфа[6]. В последнее время там наблюдается множество проявлений суверенитета, выходящих далеко за рамки нефтяного вопроса. Речь идет о «стычке» динамики и механики на самой береговой линии: гидродинамика скоро возьмет верх над механикой грунта.

Природа вопросов, связанных с гидрологией и метеорологией, отлична от природы вопросов о статике и сопротивлении материалов. От твердых тел мы переходим к жидким и газообразным состояниям.

Замедлить потоки

Ж.-Л. В.: На протяжении многих лет вы работали вместе с самыми знаменитыми архитекторами: я думаю о Жане Нувеле, с которым вы были близки с самого начала его деятельности в агентстве “Architecture principe”, созданного вместе с Клодом Параном. Учитывая, что именно вы сформировали их в Специальной школе архитектуры, замечали ли вы особый интерес к этим вопросам с их стороны?
П. В.: Сейчас архитектура находится в плохом состоянии, как, впрочем, и все современное искусство. Странно видеть, например, как по всему миру появляется все больше и больше башен, будто будущее за воздушными потоками! Когда мы с Клодом Параном больше сорока лет назад работали над «криволинейным зодчеством», мы как раз пытались поднять почву, сыграть на двойственности синклинального и антиклинального, добиваясь непрерывности

5 *Virilio P.* Le Futurisme de l’instant. Stop-eject. Paris: Galilée, 2009.
6 *Braudel F.* La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Paris: Armand Colin, 1949. В рус. пер.: *Бродель Ф.* Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянской культуры, 2002.

почвы на возвышении. А неуемное умножение башен, напротив, кажется мне слишком наивным и простым ответом.

Ж.-Л. В.: Вы уже ставили вопрос потоков, предлагая что-то вроде «обитаемого движения»…
П. В.: Именно, и проблемой как раз было обитаемое движение, а не обитаемая парковка. Ведь почему люди так стремятся к морю? Потому что это единственное место, пригодное для массовой перевозки людей. Я верю в революцию грузовых перевозок, в которой контейнеровоз оказывается главной фигурой. Море делает возможными любые взаимосвязи, поэтому некоторые аэропорты сегодня вполне закономерно дошли до того, чтобы расположиться и развиваться на море, как в Ницце или японском аэропорте Кансай, построенном на польдерах. Проблема мобильности решается в точке, где происходит перегрузка: иначе говоря, на мультимодальной платформе, объединяющей море, воздух и сушу. Это место реализации проекта современных архитекторов, именно здесь разместится будущий центр города. Сейчас все города — Нант, Бордо, Марсель, Нанси, Ренн, Ле-Ман — перемещают вокзалы к сети скоростных поездов [TGV], чтобы создать новый центр. Перевозка грузов доминирует в современных урбанистических стратегиях. Это делает очевидной значимость места, которое в ней занимают «края света», объединяющие все три транспортных потенциала.

Ж.-Л. В.: Кажется, вы до сих пор заворожены технологическими революциями, хотя в своих текстах регулярно задаетесь вопросом о том, как от них отвлечься. Не порвать окончательно, а отвлечься…
П. В.: Для нас речь, скорее, идет о том, чтобы оказать этой динамике сопротивление, противостоять ей… И здесь я возвращаюсь к Янкелевичу: нашей проблемой является ритмология. Владимир Янкелевич в первую очередь был музыковедом, а также философом устного жанра. В том, что касается tempo и момента, его мысль вписана в традицию Башляра. Его подход к философии был музыкальным, музыкальным в смысле oratorio и диалога. Ходить на семинары Раймона Арона было все равно что ходить на спектакль. А семинары Фуко! Они были величественнее оперы. Вопрос, заданный ему в конце семинара, ощущался как провал. Стоило ограничиться аплодисментами. Я бы никогда не начал преподавать, если бы не Янке, который никогда не пытался подавлять. Он приходил с тремя-четырьмя тезисами и сразу же развивал аргументацию. Это были времена “Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien” и “La Mort”[7]. И вот так он принимался развивать свои четыре тезиса хоралом. Полтора часа спустя его речь обыкновенно завершалась какой-нибудь смиренной фразой вроде: «Вот, я сделал, что мог, в следующий раз постараюсь лучше!» Нечего и говорить, что его семинар был исключительным! Очень далеким от философской надменности, свойственной в том числе лучшим. Какой-нибудь Раймон Арон никогда не сказал бы ничего подобного, как и Пьер Бурдьё, хоть я и вспоминаю его с теплотой. Янке был воплощением ритма и сдержанности. Первое философское кафе, которое он открыл, кажется, в Бордо, было таким же. Янке удалось выехать в «свободную» зону. Не Марк Соте и не Мишель Онфре при-

7 *Jankelevitch V.* Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien. Paris: PUF, 1957; *Jankelevitch V.* La mort. Paris: Flammarion, 1977. — *Прим. пер.*

думали философское кафе, а Владимир Янкелевич, желавший продолжать преподавание, но кроме кафе делать это в тот момент было негде.

Ж.-Л. В.: Можно ли сказать, что ваш философский проект со времен «Скорости и политики»[8] в 1977-м ведет к общему исследованию ритмов, политической экономии ритмов и дифференцированных скоростей? На этой волне вы даже сошлись с марксистским социологом Анри Лефевром, в последние годы работавшим над крупным проектом *ритманализа*…
П. В.: Я помню, мы встретились в самом начале 1980-х у Жана Реноди, архитектора из Иври, работавшего в том числе для жены Тореза, Жанетты Вермерш. Но проблема никуда не делась: наши общества окончательно лишились ритма. Это серийный экосистемный кризис, из-за которого метеополитика и управление временем стали неотложными. В противном случае нас ждет моментальность и глобализация, сообщество аффектов и синхронизация эмоций: вот самый большой страх!

Ж.-Л. В.: Лефевр в своем проекте пытался примирить повседневность и космос…
П. В.: Именно на этой почве мы и сошлись. Напомню, что я родился в семье отца-коммуниста и матери-католички и уже во взрослом возрасте обратился в христианство благодаря одному рабочему священнику. Я дитя Второго Ватиканского собора — момента примирения между мессианством, Евангелием и временем. Лефевр был непоколебимым марксистом, а я нет: я скорее анархохристианин, но нам, тем не менее, удалось найти общее поле.

Карнавал, как и все религиозные праздники, задает годичный ритм. А сегодня либеральные капиталисты готовы дойти до того, чтобы отменить воскресенье! Они с ума сошли! Хотя нет, они просто лишены ритма. Неслучайно именно музыка стала главным видом искусства для вашего поколения. Та самая музыка, которой пропитано все современное искусство от джаза до поп-музыки, рока и электро, начиная с абстрактного искусства. И что такое *рейв*, если не симптом? Ритмология — в первую очередь социальный феномен.

Опыт катастрофы

Ж.-Л. В.: Как вы пережили затопление прибрежных городов из-за циклона Ксинтия, бушевавшего в ночь с 27 на 28 февраля 2010 года?
П. В.: Прежде всего у меня возникло ощущение, что я живу в том, о чем пишу. В крупной катастрофе, которая меня настигла. Мы стояли лицом к ветру на шестом этаже рядом с железнодорожной станцией. Обычно ветер дует параллельно фасаду, но в ту ночь он был встречным. Утром я отправился в Лё-Габю и увидел понтоны, установленные на набережных, увидел всех друзей, потерявших свои лодки, затопленные машины… Как дитя войны, я был наиболее близок к людям улицы. Если солдаты — братья по оружию, мы были братьями по ветру и шторму.

Черчилль как-то сказал, что оптимист в каждой трудности видит возможности. За глобализацией есть цивилизация. Пережитый там трагический момент не сводится к вопросу о том, какие дома подлежат восстановлению. Нельзя останавливаться на сносе или сохранении домов, нужно подумать о том,

8 *Virilio P.* Vitesse et politique. Essai de dromologie. Paris: Galilée, 1977.

что мы собираемся с ними делать. Мы имеем дело с метеополитическим вызовом. После сноса и определения черных зон нужно понять, что делать дальше. Ля-Рошель и его окрестности становятся гипотетической возможностью, и нам надо расширить фокус, сделать проблему национальной, а не локальной. Например, посмотреть, как с этим справились голландцы, как они приспособились к последней границе, долгие годы внедряя инновации.

Городской кластер умещается между Рошфором и Ля-Рошелем, но атлантическую дугу надо брать в целом: метрополия простирается от Нанта до Бордо. Проблема побережья должна решаться на более высоком уровне, не только на местном. Нужно разработать политику «последней границы». Когда мы говорим о морских магистралях и революции в грузовом судоходстве, надо четко понимать, о чем идет речь.

Кроме того, эти вопросы теперь нужно поставить в масштабе всего мира, а не одной нефтяной вышки, обрушившейся в Мексиканском заливе. Речь идет уже не просто о проблеме миграций. Это вопрос совокупности кочевнического и оседлого [образа жизни] — то есть тех, кто нигде не чувствует себя дома, и тех, чей дом повсюду. Это последняя граница, и она не внутригосударственная, а внутрикосмическая. Именно на этом уровне трудность вопроса становится очевидной. Государственные границы, границы конфронтаций, приведшие нас к такому количеству войн, сегодня стали горизонтальными: на смену синей линии Вогезов пришла синяя линия морей. Нужно переизобрести геополитику с учетом того, что власть определяется наличием у нее *места*. Правительство вроде нашего, отрицающее свою связь с геополитикой в пользу виртуальности денежных потоков, — фатально, завершено и, исчезнув, может только погрузить все в хаос. Нужно переопределить [связь] глобализации и территории. Только такой ценой проблема «последней границы» способна стать центральной. Вездесущность, потоки, тяжелый транспорт, морская культура, экология, отношение ко времени и *темпу* — все это заставляет по-новому взглянуть на проблему геополитики и континуума. И этот *континуум* обретает форму здесь, на этой береговой линии.

Ж.-Л. В.: В «Родной земле» [Terre Natale] (2009) вы пишете: «С некоторых пор внешнее побеждает внутреннее, геофизическая история меняется на глазах». Как повернуть эти изменения вспять?
П. В.: Вызов идет от глобализации, которая заставляет нас нас принять всю полноту мира, отныне переполненного и завершенного из-за его быстроты и ускорения. Нам нужно по-новому понять его внешние проявления. Успешность глобализации будет зависеть от того, удастся ли нам восстановить понимание внешней среды, которая сегодня не сулит никакой пользы и только доставляет неудобства всем нам, за исключением наиболее богатых. Нам нужно отказаться от антропостатики в пользу антроподинамики. Грядет мутация города, когда он выйдет за собственные пределы и окажется внутри движения, которое мы должны сделать обитаемым. И мы в самом начале пути.

Ж.-Л. В.: Как вы определяете свое отношение к откровению?
П. В.: Откровение фундаментально, я всегда предпочитал данное в откровении преодоленному[9]. Эпоха революций на сегодняшний день завершена. По

9 В оригинале: révélé (открытое, данное в откровении) и révolu (преодоленное, пройденное). — *Прим. пер.*

этому поводу стоит перечитать Эрика Хобсбаума[10]. Преодоление преодоленного встраивается в антропостатическую историю, сопряженную с инерцией места. Однако мы входим в период инерции связей: в этом и состоит единственное откровение. Проживать момент — откровение в строгом смысле слова. Возвещая инерцию инерционного момента, которая придет на смену оседлости инерции места, я рассматриваю себя как приверженца откровения [révélationnaire]. Речь идет о еще одной исторической трансформации в том же смысле, в каком оседлость и переход к сельскому хозяйству когда-то изменили историю впервые. Теперь нам предстоит перейти от инерции места к инерции связей, *лайва*, телекоммуникаций… И поскольку мы все еще где-то живем, мы продолжаем *проживать*, несмотря на загрязнение дистанций: так что речь идет скорее о событии откровения, чем о революции. Но мы живем в великую эпоху, я совсем не пессимист. Меня часто пытаются представить таковым, видимо, чтобы встать у меня на пути. Я не предвещаю беды и пребываю в большом воодушевлении по поводу грядущего.

Интервью записано Жаном-Луи Виоло на встрече в Ля-Рошеле, в кафе "Aquarium", 6 мая 2010 года.

Перевод с французского Марии Стениной

10 *Hobsbawm E.* l'Âge des extrêmes. Histoire du court XX^e siècle (1914—1991). Bruxelles: André Versailles, 2008. В рус. пер.: *Хобсбаум Э.* Эпоха крайностей: короткий XX век (1914—1991). М.: Изд-во Независимая Газета, 2004.

Философская рефлексия: линия, литораль, лиминальная зона

Илья Мавринский

Невидимая граница причастности. Динамическая (не)определенность границы:

РАЗВОРАЧИВАНИЕ, ЗАВЕРШЕННОСТЬ, НАЧАЛО

Ilia Mavrinsky

Unseen boundary of belonging. Border's dynamic (in)determinancy: unfolding, completeness, beginning

Илья Мавринский (доцент НИУ ВШЭ, Москва; кандидат философских наук) imavrinskii@hse.ru.

Ключевые слова: граница, причастность, «я», тело, свобода, складка

УДК: 114, 116, 124.2, 13, 14
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_46

В критике эпохи модерна общими местами являются отказ от оснований, требование децентрации субъекта, оспаривание бинарных оппозиций центра и периферии, глубины и поверхности. Экспликация этих общих мест проблематизирует границу и в различных ее определенностях, и на уровне того способа, каким граница может быть мыслима. В статье посредством обращения к классическим способам тематизации границы анализируются как эвристический потенциал и возможности наследия модерна, так и онтологические истоки процессов полагания, прочерчивания и разворачивания границы.

Ilia Mavrinsky (PhD; associate professor NRU HSE, Moscow) imavrinskii@hse.ru.

Key words: boundary, borderline, involvement, self, body, freedom, pleat

UDK: 114, 116, 124.2, 13, 14
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_46

In the critique of modernity, common themes include the rejection of foundations, the demand for the decentering of the subject, and the questioning of binary oppositions between center and periphery, depth and surface. The explication of these commonplace assumptions problematizes the border both in its various definitions and in terms of its conceptualization. In this article, by referring to classical methods of border thematization, both the heuristic potential and possibilities of modernity's heritage and the ontological grounds of the processes of positing, marking, and unfolding the border are analyzed.

Семантическая множественность слова «граница», казалось бы, сталкивает с о-граничением, преградой, гранью, отсылая к метафоре линии, прочерчивание которой и, соответственно, пересечение связано с неопределенностью, тая-

щей в себе угрозу, опасность или утрату. В понятие границы-линии уже вложено стремление оставаться «в заданных границах», некий запрет на нарушение, если не система координат, то способ «ориентироваться на местности». Здесь граница обнаруживает себя как предел или порог. Степень неопределенности, связанная с пересечением границы, только возрастает от указания на то, что граница может быть условной, символической, подвижной или оспариваемой. Близость границы с очевидностью обнаруживает не только отличие в повседневных или культурных практиках, быте, обычаях, языках etc., но и, выражаясь в терминологии Делёза[1], изменение интенсивностей при потенциальном переходе от оседлого к кочевому. Здесь граница связывается с территорией, зоной, релятивизируется и трансформирует «пребывание на границе». Наконец, измерение времени доводит эту неопределенность до предела, указывая на неизбежность трансформации того, кто пересекает границу, на неуловимость момента этой трансформации, на возможную необратимость происходящего. Пересечение границы переводит пространственное измерение «тут — там» в темпоральное «до — после», где необходимость поиска языка, (пере)сборки собственного я и отсутствие момента «теперь» указывает на событийность, которой это пересечение рискует стать. Здесь граница проявляет себя как исток той сборки, того образа себя, которые именно из-за присутствия «той стороны» обозначают то, как сложилась (включая и сам процесс складывания) определенность на «этой».

Отношение между «тут» и «там» вовсе не является статическим, но, напротив, обладает своей напряженностью и направленностью. То, что по «эту» сторону границы в отличие от того, что находится по «ту» сторону (в психоаналитической оптике — связка «Da-Fort»), представляется обладающим устойчивой определенностью, гарантирующей безопасность, обозримость и понятность порядка практик, сохранение здравого смысла, удержание целостности, если не тождественности собственного Я. Территория Da — нормируемая и нормированная территория, территория Fort — царство случайности, спонтанности, фантазии или отбрасывания. Переход от Fort к Da мыслится как присвоение, освоение, встраивание в наличествующий порядок или возвращение. Возможность обратного движения от Da к Fort, мыслимого как утрата, развязывание или разрыв символических связей, протест или отказ, проявляет динамическую природу отношений «тут» и «там», позволяя поставить под вопрос саму границу. При этом движения «оттуда» «сюда» и обратно ассиметричны: акцент на определенности и стремление к ней (полюс Da), с одной стороны, и трансформация того, что преодолевает границу в обратном порядке, трансформация возвращенного (полюс Fort), с другой — проявляют неопределенность уже самой границы-линии как в отношении ее прочерчивания, так и в отношении ее пересечения.

Вопрос о том, что происходит на границе, что происходит в тот самый момент пересечения, выхода за пределы, утраты неопределенности или, напротив, возвращения и обретения определенности — это вопрос разворачивания самой оппозиции Da-Fort и, соответственно, возможности ее (оппозиции) пре-

1 В современности именно Ж. Делёз осмысляет границу во всем многообразии ее связей с различными системами дискурсов (от психоаналитического до политического), срезами (страты, тела, стратегии субъективации), процессами (детерриторизации, подражания, захвата и ускользания), чем и оправдывается обращение к его оптике.

одоления; вопрос того пространства «между», через которое возможно внесение Различия на размечаемой территории и, соответственно, способов ориентироваться на этой территории и возможности существовать на ней; вопрос о возвращении к «начальному» состоянию и, соответственно, о необходимости соотнесения себя с «истоком», будь то исток смысловой, исторический, административный или какой-либо еще.

Сама граница, равно как и то, что на ней происходит, кто на ней находится, пересекает ее в том или ином направлении, меняет, как отмечалось, свою определенность в том числе и по отношению к тому способу, каким граница прочерчена. Понимание границы как актора или чего-то, обладающего собственной агентностью, отсылает к необходимости вступать в отношения с границей или же выводить к явленности, осознанности те отношения, которые уже имеют место и закреплены в повседневных практиках, привычках, индивидуальных особенностях, способах мышления и порядках дискурса. При этом сама граница также может быть «присвоена», отношения с ней обладают собственной логикой, граница-актор, как и граница-агент, меняет свою определенность в порядке и пространстве собственного освоения. Например, третий «Квартет» Элиота начинается словами:

> О богах я немного знаю, но думаю, что река —
> Коричневая богиня, угрюмая и неукротимая
> И все-таки терпеливая, и понятная как граница (в оригинале frontier. — *И.М.*),
> Полезная и ненадежная при перевозке товаров,
> И, наконец, — лишь задача при наведенье моста.
> <...> Но она блюдет времена своих наводнений...
> ...она ждет, наблюдает и ждет[2].

Здесь граница обнаруживает себя как особый топос, и этот топос может быть топосом памяти или забвения, нормирования или ускользания, раскрытия или герметизации.

Иными словами, в понятие границы уже включено не только разделение, но и горизонт схождения, единство, не только столкновение с тем, что имеет место по «эту» сторону, но и подразумевание «той» стороны, не только преграда, но и возможность ее преодоления или отмены, не только территория или пространственные определенности, но и субъект с его темпоральными модификациями. «Та» и «эта» стороны границы не просто сталкиваются, но перемешиваются и образуют территорию. В таком случае мыслить границу нужно не как границу-линию, а как границу-складку, где «идеальная складка является Zwiefalt, складкой, различающей и различающейся» [Делёз 1998: 54]. «Складка» (plica — *лат.*) предполагает не просто собственное разворачивание (explicatio), но возникновение или проявление феноменов, до разворачивания складки «не существующих», феноменов, которые, будучи проявлены, трансформируют саму складку или определяют переход от складки к складке. Иными словами, речь идет не просто о разворачивании складки, но об обнаружении того, что в развернутом таким образом пространстве всегда остаются некоторые следы как разделения, так и единства «тут» и «там».

---

2 *Элиот Т.С.* Четыре квартета // Элиот Т.С. Камень: Избранные стихотворения / Пер. с англ. А. Сергеева. М.: Христианская роза, 1997. С. 162.

По отношению к так понимаемой границе, границе-складке, можно говорить не просто об условности, но именно о невидимости границы: волк, отбившийся от стаи или еще сохраняющий связь с ней, эту границу причастности чувствует, но не прочерчивает, он вынужден вступать в отношения с самой границей[3]. Способ существования «на границе», вблизи самой границы позволяет различить массу и стаю, где стая предполагает иной род общности, иные дискурсивные и недискурсивные практики, иные порядки организации. Сама граница обладает собственной динамикой, властью, способом проявленности. Здесь граница обретает измерение не просто подвижности, но динамической невидимости, по отношению к которой нечто чувствуется или ощущается определенным образом, но не фиксируется, не является своего рода артефактом, не может быть точно или полностью локализовано. Граница-складка для повседневности оказывается своего рода «слепым пятном», «серой зоной», тем самым пространством неопределенности, которое обнаруживает естественное стремление редуцировать складку к линии, скрыть то, что делает саму линию возможной.

Обнаруживаемая двойственность границы как того, что обладает своей агентностью, властью, нечто диктует, и как того, с чем по необходимости оказывается связан субъект, с чем он вступает в динамические отношения, что он пытается присвоить, контролировать, трансформировать в линию или редуцировать к ней, — эта двойственность актуализирует вопрос о причастности и к самой границе, и к тому, что обнаруживается по обе ее стороны. В темпоральном измерении вопрос о границе, следовательно, всегда ставится из момента «теперь», из того настоящего, в котором различные способы разворачивания границы оставили свои следы, в котором нашли место различные способы мышления и внесения определенности, в котором реализуются различные порядки дискурсов. Событийность тех или иных взаимодействий с границей сталкивается с причастностью к тому порядку феноменов, который проявился в процессе разворачивания складки. Причастность при этом мыслится как условие событийности, как указание на «сингулярности, развернутые в проблематическом поле, в окрестности которого происходит отбор решений» [Делёз 1999: 85]. Вопрос о динамической природе границы есть в таком случает вопрос о том, как именно она разворачивается (эксплицируется) или может быть развернута, с одной стороны, и как обнаруживает себя связь с ней или как проявляются те феномены, которые не существовали до разворачивания складки, — с другой. Иными словами, вопрос о том, причастью к чему является граница-линия.

В современном мышлении общим местом является критика проекта модерна, отказ от оснований, требование децентрации субъекта, оспаривание бинарных оппозиций центра и периферии, глубины и поверхности. Тем, что обнаруживается при экспликации этих топосов, и является тематика границ. Идет ли речь о необходимости соблюдения или защите личных границ, потере национальной и культурной идентичности, стратегиях собственной идентификации, различного рода средах, конце антропоцена или об образовании особых торговых зон, отказа и критики понятия империи, закрытых или открытых сооб-

3 См. «Тысячу плато» [Делёз, Гваттари 2010], где оспаривание классических оппозиций ведет к стиранию границ между человеком и животным, открывая различные измерения и типы сборок, то есть горизонт тела без органов.

ществах — в центре современной повестки оказываются именно границы. При этом границы мыслятся как линии, нарушаемые или защищаемые, прочерчиваемые или стираемые, проницаемые или герметичные, но чаще всего как нечто самопонятное, как «задача при наведенье моста». Именно этим (попыткой обнаружения истоков этой двойственности в понимании границы, процесса постоянной редукции складки к линии) и обусловлена необходимость обращения к классическому наследию, тому наследию, которое сформировало критикуемый проект модерна, подвергаемый столь жесткой и в общем-то практически безальтернативной критике в современности. Иными словами, редукция классического наследия к топосу «модерн» произведена, а следовательно, важно эпистемологически и методологически поставить эту редукцию под вопрос.

* * *

Оспаривание субъекта в его субъективности, заложенное уже в самой критике новоевропейской традиции, критике проекта модерна, требованиях диверсификации философии, есть отказ от основания. Можно возразить, что субъект — лишь один из типов оснований, сформированный, если речь идет о классическом новоевропейском субъекте, в XVII веке, и требование децентрации субъекта вовсе не означает отказа от основания как такового. Однако формирование новоевропейского субъекта является длительным процессом трансформации субъекта в логико-грамматическом смысле, процесса, результатом которого является стягивание всех смыслов (в движении от hypokeimenon к subjectum) основания к картезианскому субъекту [Черняков 1998: 11–38]. Определенность, получаемая через смену основания (с ontos на cogito), изначально мыслится в терминах территории, будь то территория разума, безопасности, пространства, на котором можно заложить прочный фундамент. Следовательно, отказ или оспаривание новоевропейского субъекта есть постановка под вопрос не только определенного типа стягивания смыслов, но и проблематизация понятий территории, безопасности, нации и т.д., а вместе с этим — проблематизация и самого процесса стягивания как такового. Последнее в постструктуралистской традиции и ряде темных, неклассических, нестабильных онтологий начинает мыслиться как определенная склонность, оборотная сторона невозможности двигаться к пределу своих интенсивностей или «жить на грани, у предела собственной способности быть аффектированным…» [Делёз 2016: 34].

Процесс стягивания смыслов (уже не только к новоевропейскому субъекту, но и к языку, телу, etc. — всему, что может претендовать на роль основания), мыслимый как процесс формирования основания, понимается как одна из возможностей выделения, герметизации территории (в противовес простому перемещению или ориентированию на ней), которая лишь открывает возможности ретерриторизации и формирует «аппараты захвата». Требование основания, заявляемое со всей отчетливостью в Новое время, мыслится как тип остановки, перехода к оседлому существованию, обмен свободы на определенность и безопасность — экспликация границ, наложенных субъектом на себя самого, в область предметности. Отказ от субъекта в его онтологическом измерении оказывается в таком случае отказом от основания ровно постольку, поскольку удерживание основания ведет к неразличимости, утрате даже того, что ложится в основание: «Или же удушающее тело субъективации, которое

делает освобождение тем более невозможным, что не позволяет даже различать субъектов [Делёз, Гваттари 2010: 271].

Современность формирует обратное стремление: к высвобождению интенсивностей, к разгерметизации территории, к перекодированию потоков: «соединять, сопрягать, продолжать — целая "диаграмма" против все еще означающих и субъективных программам» [Делёз, Гваттари 2010: 268]. Субъект (а вслед за ним и основание как таковое) из этой оптики оказывается лишь стратегией подражания, мимикрии: «...небольшие запасы означивания и субъективации — они должны сохраняться, пусть даже для того, чтобы поставить их против собственной системы, когда того требуют обстоятельства, когда вещи, люди, даже ситуации вынуждают вас к этому; и небольшие порции субъективности — они должны сохраняться в достаточной мере, чтобы уметь отвечать господствующей реальности. Подражайте стратам» [Делёз, Гваттари 2010: 267]. В этом смысле постструктуралистская традиция наследует Хайдеггеру: новоевропейский субъект возник как результат определенного «посыла судьбы бытия, в котором бытие посылает себя в качестве предметности и таким образом предоставляет сущее в качестве предметов» [Хайдеггер 2000: 141]. В свою очередь, основание, требование которого предъявлено и заявляет о своем «могуществе» именно в эту эпоху, позволяет констатировать: «выступает на передний план тот тревожный факт, что бытие как таковое все решительнее уклоняется» [Хайдеггер 2000: 117]. Субъект как реализация «посыла судьбы» становится судьбой основания, то есть, согласно Хайдеггеру, способа проявленности, самораскрытия бытия. Соответственно, оспаривание основания в современности оборачивается еще и требованием иной, неклассической онтологии (онтологий), а вместе с ней и пересмотра всего методологического и эпистемологического инструментария.

Тематизация новоевропейского субъекта, необходимая в качестве отправной точки заданного еще Хайдеггером движения к установлению границ новоевропейской метафизики («Она (деструкция новоевропейской метафизики. — *И.М.*) призвана наоборот очертить эту последнюю в ее позитивных возможностях, а это всегда значит в ее границах, которые фактично заданы всякий раз конкретной постановкой вопроса и ею преднамеченным ограничением возможного поля исследования» [Хайдеггер 2003: 38]), отсылает к воле как способу доступа к основанию и действию, как способу перехода от основания к обоснованному. В свою очередь, проблематизация желания, пространства практик, самой стратегии субъективации — всего, что связано с новоевропейским субъектом, позволяет констатировать, что субъект, понятый как основание, сам выступает в качестве складки. Граница-складка, полагаемая как различие между реальностью и воображаемым, своим и чужим, отчетливым и смутным, не только полагается и разворачивается самим субъектом, но и конституирует субъекта в его субъективности, более того, граница конституирует и территорию, то есть требует от субъекта удержания, защиты, восстановления или подкрепления самой границы-линии.

* * *

Динамика конституирования субъекта и предметного поля так, как она представлена в классическом наследии, позволяет мыслить границу трояким обра-

зом: граница может пониматься как полагаемое-преодолеваемое, определенное-сходящееся или размечающее-различающее. Субъект как складка должен содержать в себе то, что ускользает от него самого, неподконтрольно ему, то, причастность к чему обнаруживает себя как возможность границы, и то, что раскрывается в процессе разворачивания складки. Соответственно, путь к субъекту пролегает через тематизацию самой границы, через те способы, которыми субъект способен вступать в отношения с тем, причастным к чему он оказывается, что задает динамику его (само)конституирования и взаимодействия с предметностью. Как представляется, такой способ работы наиболее отчетливо представлен в философии Фихте, Шеллинга и Шопенгауэра.

В философии Фихте учение о границе связано с разворачиванием полагающей деятельности Я, где «мы приписываем себе этим (возможностью утверждать нечто достоверное без всякого на то основания. — *И.М.*) способность полагать нечто безусловным образом» [Фихте 1993б: 75]. Положенное безусловным образом есть не предмет, но связь между субъектом и предикатом в принципе тождества: «необходимая связь между ними и есть то, что полагается безусловно и без всякого дальнейшего основания. Предварительно я буду называть эту связь = X» [Фихте 1993б: 75–76]. Последовательное продвижение к этому X позволяет заключить: «И безусловно полагаемое X можно выразить следующим образом: Я = Я; Я есмь Я» [Фихте 1993б: 77]. В безусловном полагании Я и том, что оно основано исключительно на самом себе, обретается исток всякого, включая принцип тождества, достоверного «действия человеческого духа». Однако введение основания или возможности обосновывать эмпирически достоверное, с которого Фихте начинает свое наукоучение, уже полагает границу: Я как абсолютный субъект «есмь безусловно, т.е. Я есмь безусловно потому, что Я есмь; Я есмь безусловно то, что Я есмь; в обоих случаях — для Я» [Фихте 1993б: 81]. Последняя оговорка — для Я — позволяет перейти ко второму «по своему содержанию обусловленному» основоположению: «Я безусловно противополагается некоторое не Я» [Фихте 1993б: 88]. Развитие обоих положений приводит к ситуации, когда они и уничтожают, и не уничтожают сами себя, то есть одновременно должны быть истинны «“Я не =Я”, “Я = не-Я” и “не-Я = Я”» [Фихте 1993б: 91]. Соответственно, для того чтобы сохранить тождество сознания, чтобы было возможно утверждать одновременную истинность указанных положений, должен быть найден некоторый X, являющийся продуктом «действия человеческого духа = Y»: «Y будет взаимоограничением обеих противоположностей, а X будет обозначать границу» [Фихте 1993б: 92]. Принципиальным является то, что понятие границы не является аналитическим понятием, что и указывает на то, что граница здесь вовсе не понимается статически, напротив, «в понятии границы содержится больше, чем искомое X; в нем одновременно содержится понятие реальности и отрицания, которые объединяются» [Фихте 1993б: 92]. Само полагание границы между Я и не-Я означает лишь необходимость ее преодоления в синтезе Я и не-Я. Синтез, в свою очередь, полагает новую границу, требующую своего преодоления… В пределе можно говорить о двух рядах: «ряде действий Я» и ряде «наблюдений философа за действиями Я», где последнее есть воспроизведение динамики полагания и преодоления границы, динамики, проявляющей те или иные феномены. Динамику полагания границы можно мыслить как внесение Различия внутрь Различия, результатом чего оказывается динамическая проявленность Я, указывающая на Я как перформатив. Иными словами, Я оказы-

вается тем, что конституирует собственную определенность именно в процессе полагания и преодоления границы, причем делает это таким образом, что само же выводит себя к явленности. В речи «О достоинстве человека» это понимание границы проговаривается напрямую:

> Где бы ты ни жил, ты, что носишь человеческий образ, приближаешься ли ты к животным, под палкой погонщика, сажая сахарный тростник... являешься ли ты мне самым жалким и отвратительным злодеем, все-таки ты — то же, что и я, ибо ты можешь сказать мне: Я есть. Ты все же мой товарищ и брат. О, я стоял, конечно, когда-то на той же ступени человечества, на которой стоишь ты теперь, ибо это есть одна из ступеней человечества и на этой лестнице нет скачков; быть может, я стоял на ней без способности ясного сознания; быть может, я так быстро и торопливо над ней поднялся, что не имел времени возвести в сознание мое состояние; но я, разумеется, стоял некогда там, и ты будешь неизбежно там, где я теперь... [Фихте 1993а: 440].

Здесь обнаруживается причастность к Я, которое в динамике полагания и преодоления границы конституирует эту «лестницу без скачков», минуя осознание или присвоение. Граница здесь является складкой, причем такой, что сам процесс разворачивания (экспликации) границы проявляет Я, внося различие между Я полагающим и Я судящим (выносящим суждение), различие, через которое обнаруживается необходимость вступать в отношения с Я. Если же современность отказывается в отличие от Фихте не только утверждать, но и полагать возможным «до конца измерить человеческий дух», то само Я и оказывается тем слепым пятном, причастностью к которому является то, что мы полагаем в качестве определенностей собственного Я. Утверждением бесконечности фихтеанской лестницы полагается и весь горизонт неопределенности того, что и, главное, как может раскрыться для судящего, рефлектирующего Я, неопределенности, усиливающейся еще и тем, что обнаруживаемое в процессе разворачивания Я обладает, как отмечалось, необходимостью. Фихтеанское понимание границы максимально близко к тому, что обозначается понятием фронтира, остановка которого трансформирует фронтир в границу-линию. Формулой для так понимаемой границы-фронтира является «то, что всегда-уже-будет».

Иное понимание границы находим у Шеллинга. Здесь речь идет о границе как пределе схождения, совпадения в каждом продукте творения начал природы и Я (интеллигенции). Шеллинговская методологема — разделение как способ объективации (а в случае трансцендентальной философии — самообъективации) того, что лишь предполагается или ощущается, — масштабируется от общего порядка познания до прояснения конкретных феноменов или актов свободы. Так, общая задача объяснения возможности знания, понимаемого как совпадение субъективного и объективного, предполагает разделение наук на натурфилософию и трансцендентальную философию:

> Если всякое знание имеет как бы два полюса, которые предполагают и требуют друг друга, то они должны во всех науках стремиться друг к другу; поэтому необходимо должны быть две основные науки, и, исходя из одного полюса, невозможно не прийти к другому [Шеллинг 1987б: 233].

Соединение разделенного, являющееся выведением к осознанию не только частей деления, но и их связи (то есть как возможности произвести операцию деления, так и возможности самих частей деления), предполагает необходи-

мость занимать определенную позицию, структурирующую и определяющую порядок дальнейшего движения:

> Сливающиеся в обыденном сознании положения — я существую и вне меня существуют вещи — трансцендентальный философ разделяет (предпосылает одно другому), именно для того, чтобы доказать их тождественность и действительно выявить ту непосредственную связь, которая в обыденном сознании лишь ощущается. Посредством самого акта этого разделения, если он полностью совершен, философ переходит в сферу трансцендентального рассмотрения, которое отнюдь не естественно, а искусственно по своему характеру [Шеллинг 1987б: 236—237].

Таким образом, ритмика, заданная в принципе связи, обнаруживает необходимость определенной позиции, из которой производимое деление раскрывает и делает предметом осознания непосредственно присутствующее в разделяемом, чтобы затем вернуться к этому разделяемому как объективированному и проясненному в условиях собственной возможности.

Столкновение тождественного и синтетического, субъективного и объективного, заложенное в феномене знания и, соответственно, обнаруживаемое с трансцендентальной позиции, столкновение, непосредственно содержащееся в «складке» обыденного сознания, при разворачивании обнаруживает задачу «найти точку, в которой объект и его понятие, предмет и представление о нем изначально абсолютно и без всякого опосредствования едины» [Шеллинг 1987б: 253]. Итогом этого движения, то есть тем, что связывает искусственно разделенное; обуславливает достоверность синтетических положений и саму возможность тождественного; определяет возможность и порядок реализации познания, его систему и многообразие, — является Я, понятое не как означающее или статическое, но, напротив, как полагающая и бесконечная деятельность:

> Извечный, совершаемый вне всякого времени акт самосознания, именуемый нами Я, есть то, что дает всем вещам наличное бытие, что, следовательно, само не нуждается в каком-либо ином бытии, которое служило бы ему основой, но, опираясь на самого себя и поддерживая самого себя, объективно являет собой вечное становление, субъективно — бесконечное продуцирование [Шеллинг 1987б: 263].

Движение от реальности субъективного к объекту, как отмечалось, является лишь одним из двух возможных движений. Обратное движение — натурфилософия — также имеет дело с продуктивностью как способом объяснения многообразия, причем в точном соответствии с первоначальным разделением на субъективное и объективное, различие в продуктивности прослеживается и здесь:

> Подлинная история природы, объектом которой служат не продукты, а сама природа, прослеживает единую, *как бы сопротивляющуюся свободе продуктивность* (курсив мой. — *И.М.*) на всех поворотах и изгибах ее пути вплоть до той точки, где она в конце концов должна угаснуть в продукте [Шеллинг 1987а: 213].

Оппозиция «продуцирование — продукт» повторяет оппозицию синтетических и тождественных суждений соответственно. Как в синтетических суждениях для того, чтобы нечто могло быть связанным, должны быть разделены субъект и предикат, причем разделены в самом суждении, так и

> продуктивность должна быть изначально ограничена. Поскольку вне ограниченной продуктивности есть (только) чистое тождество, то ограничение не может

> быть дано посредством уже имеющейся различенности (Differenz) и, следовательно, должно быть результатом возникающей в самой продуктивности противоположности... [Шеллинг 1987а: 214].

Справедливо и обратное: в возникающей противоположности есть стремление к неразличенности, то есть тождеству, единство природы должно сопрягаться с множеством «отдельных продуктов» природы, причем так, чтобы продуктивность самой природы исчерпывалась в отдельном продукте, но не иссякала совсем. Отсюда:

> Сохранение же противоположности мыслимо только в том случае, если она бесконечна — если самые крайние ее границы остаются расходящимися в бесконечность, так что всегда могут быть произведены только опосредствующие звенья синтеза, но сам последний и абсолютный синтез никогда произведен быть не может, вследствие чего никогда не будет достигнута абсолютная точка неразличенности, а достигаются только ее относительные точки [Шеллинг 1987а: 215].

Вечному становлению в субъекте ставится в соответствие бесконечная продуктивность природы.

Последовательное разворачивающее связывание отдельных продуктов природы и интеллигенции есть разновидность границы-складки, которая может быть названа конфигуративной. Вопрос о возможности мыслить вечное становление по аналогии с бесконечной продуктивностью природы реализуется в решении вопроса о возможности свободы, в которой сходятся, совпадают формы природы и интеллигенции:

> Нетрудно понять, что благодаря противодействию, необходимому для совершенного рождения, глубочайшая связь сил распадается лишь в процессе постепенного развертывания и что на каждой ступени разделения сил в природе возникает новое существо, чья душа тем совершеннее, чем в большей степени в нем содержится разделенным то, что еще нераздельно в других. Показать, как каждый последующий процесс все более приближается к сущности природы, пока наконец при высшем разделении сил не открывается глубочайший внутренний центр, является задачей завершенной натурфилософии [Шеллинг 1989: 111].

При этом сама возможность свободы требует решения вопроса о возможности зла, которое не может пониматься, согласно Шеллингу, как простая нехватка или немощь:

> Объяснения такого рода вообще основаны на безжизненном понятии положительного, согласно которому положительному может противостоять только лишение. Однако существует и среднее понятие, которое образует реальную противоположность положительному и весьма далеко от понятия просто отрицаемого [Шеллинг 1989: 118].

Напротив, речь идет об определенной конфигурации, которая только и позволяет произвести различие добра и зла. В зле присутствуют ровно те же силы, те же составляющие, что и в добре:

> В разъединенном целом содержатся те же элементы, которые были в едином целом; материальное в них одинаково (в этом аспекте зло не более ограничено и не хуже, чем добро), но формальное в них совершенно различно, и это формальное проистекает из самой сущности или из положительного [Шеллинг 1989: 118].

Зло как возможность обосновывается, с одной стороны, отпадением от первоначального единства сил, а с другой — стремлением воли воссоздать это единство по собственному плану. Именно поэтому возникает возможность зла, возможность, понятая как воля, «ищущая своего», то есть отделенная от любви, если следовать «Первому посланию к Коринфянам» апостола Павла. В таком случае свобода есть реализация игры уже заданных сил, возможность той или иной их конфигурации, причем с бесконечной возможностью вариации. Схождение природы и духа в свободе оказывается реализацией всей полноты творения и, следовательно, границей (пределом) самого Творения. Здесь мы обнаруживаем причастность к изначальному плану Творения и игре сил, проявленных в самой природе воли, то есть в измерении выбора вступаем в отношения с всегда наличествующей (действительной) свободой. Если современность отказывается от субъекта как центра, озабочена его децентрацией, то в постоянном стремлении к эмансипации раскрывается лишь горизонт и возможность бесконечного движения к свободе, то есть свобода оказывается тем, что всегда присутствует, но присутствует в модусе ускользающего целеполагания. Граница здесь понимается как предел схождения, своеобразный императив мощи, актуализированной потенции, формулой которого является «то, что всегда-уже-теперь».

Помимо границы как порога (Фихте) и границы как предела (Шеллинг) границу можно мыслить и как исток или начало. В философии Шопенгауэра мы обнаруживаем возможность понимания границы как того, что в собственном смысле разворачивается, порождая два расходящихся ряда: воли и представления. Причем если ряд представления отсылает к «истине непосредственно достоверной», что «мир — мое представление», то ряд воли отсылает к истине «очень серьезной, которая должна вызывать у каждого, если не *страх* (курсив мой. — *И.М.*), то раздумье, чтобы он также мог и должен был сказать: “Мир — моя воля”» [Шопенгауэр 1993: 142]. Страх или раздумье связаны с неоднородностью поля объектов, точнее, с первым классом объекта для субъекта — собственным телом. Именно тело обнаруживает двойное сопротивление в понимании мира и как представления, и как воли: «правда, сознание каждого, которое сопротивлялось уже утверждению, что все другие объекты — лишь представления, сопротивляется еще больше тому, что собственное тело надо считать только представлением…» [Шопенгауэр 1993: 155]. Исток этого сопротивления в непосредственной данности тела, которое тем самым отличает его как представление от всех остальных представлений, данных лишь опосредованно, а как воля не может быть присвоено.

В первом издании трактата «О четверояком корне закона достаточного основания» Шопенгауэр указывает на тело как на первый класс объектов для субъекта — непосредственный объект. Сложность со стороны субъекта здесь заключается в том, что «хотя восприятие ощущений тела безусловно непосредственно, но от этого последнее само еще не становится объектом: напротив, до сих пор все остается пока еще субъективным, т. е. именно ощущением» [Шопенгауэр 2001: 65]. Как исток созерцания всех прочих объектов для познания оно представлено лишь комплексом ощущений, то есть при непосредственной данности не может быть непосредственно познаваемо. Само тело требует опосредования для того, чтобы стать объектом:

> Объективно, т.е. в качестве объекта, и оно познается только косвенно, потому что, подобно всем другим объектам, в уме или мозгу (это одно и то же) оно представляется как познанная причина субъективно данного действия и именно поэтому — *объективно* [Шопенгауэр 2001: 65].

Таким образом, тело как непосредственный объект сам по себе для субъекта требует собственного опосредования, чтобы быть познаваемым. Иными словами, через указание на тело или, если угодно, по линии тела проходит граница между субъектом и объектом:

> Они *непосредственно* (курсив мой. — *И.М.*) ограничивают друг друга: там, где начинается объект, кончается субъект. Общность этой границы проявляется в том, что существенные и потому общие формы всякого объекта — время, пространство и причинность — могут быть найдены и познаны и без познания самого объекта, исходя из субъекта, т.е., говоря языком Канта, a priori находятся в нашем сознании [Шопенгауэр 1993: 143].

Тело как первый класс объектов для субъекта требует перепрочтения кантовского понимания a priori поскольку то, что представляет собой тело как объект для субъекта, тело как представление, промахивается мимо самого тела в его данности, что отсылает ко второму ряду — ряду воли.

В трактате «Мир как воля и представление» то, что ранее обозначалось как непосредственный объект, называется «объектностью воли», более того, «воля — познание тела a priori, а тело — познание воли a posteriori» [Шопенгауэр 1993: 229]. Перепрочтение кантовского понятия a priori, таким образом, заключается в указании на тело, которое, с одной стороны, является, как отмечалось, истоком всего разворачиваемого ряда представлений, а с другой — понимаемое как вещь в себе, открывает доступ к реальности этих представлений:

> Если мы хотим придать телесному миру, который непосредственно существует только в нашем представлении, наибольшую известную нам реальность, то мы должны дать ему ту реальность, которую для каждого имеет собственное тело, ибо оно для каждого самое реальное [Шопенгауэр 1993: 233].

При этом само тело проблематизируется не только как представление, но и как воля. Воление не только не может быть объяснено из мотивов, поскольку мотив всегда носит частный характер и имеет место в определенное время и в определенных обстоятельствах, то есть не «определяет максиму, характеризующую все мое воление», но и сама воля остается своего рода слепым пятном. Если воля оказывается тем, что стоит и за порядком представлений субъекта, проявленных в его действиях, и за «пребывающим субстратом» — телом, то сама она

> хотя и составляет самое непосредственное в его (субъекта. — *И.М.*) сознании, но в качестве такового не вошла полностью в форму представления, где объект и субъект противостоят друг другу, а возвещает о себе непосредственным образом, без вполне ясного различения субъекта и объекта, и самому индивиду открывается не в целом, а лишь в своих отдельных актах... [Шопенгауэр 1993: 237].

Таким образом, именно в теле обнаруживается то состояние субъекта, тот исток, из которого, с одной стороны, разворачиваются порядки воли и представ-

ления, а с другой стороны, исток оказывается столь же непосредственно дан и очевиден, сколь и закрыт. По-настоящему субъект становится сам от себя сокрытым именно здесь, и что особенно важно — сокрытым в измерении собственного тела, опять же связанного со способностью желания.

Однако утверждение тела как истока предполагает вопрос о возможности к нему (истоку) возвращения или вопрос о том, что позволяет утверждать целостность этого истока, или же вопрос о том, что выводит за порядок представлений и позволяет столкнуться с волей не абстрактно, а in concreto. Иными словами, возникает вопрос о том, что представляет из себя непосредственный опыт тела. Сам Шопенгауэр указывает на два таких состояния — боль и наслаждение:

> ...совершенно неправильно называть боль и наслаждение представлениями: они отнюдь не представления, а непосредственные состояния воли в ее явлении, в теле, вынужденное мгновенное воление или неволение воздействия, испытываемого телом [Шопенгауэр 1993: 229].

Пульсация наслаждения и боли есть то, что возвращает к началу обоих рядов (воли и представления), позволяя тем самым пересобирать и образ тела, формируемый в порядке представлений, и то, что полагается как возможность владения или присвоения, например в утверждении «это мое тело». Если воля дана в отдельных актах, а никогда не целиком, то опыт тела оказывается истоком динамической пересборки субъекта в его субъективности. Таким образом, в философии Шопенгауэра обнаруживается еще одно измерение причастности — причастности (в модусе возможности) к телу. Ничем не гарантированный опыт боли или наслаждения, не обязательно осознанный или удерживаемый в памяти или рефлексии, может быть прочитан как возможная экспликация самости, то, «откуда мы вышли» (Элиот), или обозначает еще одну модальность границы в формуле «всегда-уже-позади».

Три рассмотренных образа границы показывают, как возможно иметь дело с границей не только в ее пространственном измерении, но и во временном. В измерении времени разворачивается горизонт будущего как возможности иной сборки себя самого через непосредственный опыт тела, опыт наслаждения и боли: прошлое как исток здесь и сейчас присутствующей сборки субъекта в его всегда частичной рефлексии и реконструкции оказывается чревато будущим; присутствующее и действительное настоящее открывает территорию бесконечных вариаций: прошлое содержит в себе и потенцию, и образ того, что реализуется в интенции будущего, то есть телеологическом измерении; прошлое же обнаруживает необходимость историзации Я: восстановление неосознаваемых и неотрефлектированных «ступеней» становления Я показывает наличное состояние как основанное в самой структуре и ритмике Я, которая указывает, если лестница бесконечна, на неизбежность его (наличного состояния) преодоления.

Возможность иметь дело с границей таким образом позволяет скорректировать ряд общих мест, где Я фиксируется как растождествленное, а субъект — как расщепленный; где выбор как возможность свободы определяется в качестве результата работы определенных дискурсивных формаций, а субъект — как эффект, след, оставленный не работающей более стратегией ускользания; где тело понимается как предмет биополитики, а субъект — как неразличимый в поглотившей его сети диспозитивов. В оптике темных, нестабильных, не-

классических онтологий история тематизации границы есть история (само)деструкции новоевропейского субъекта: то, что возникает при разворачивании складки, отменяет его самого в процессе редукции складки к линии. Следовательно, из этой оптики сам субъект в своем рождении и есть граница, эксплицируемая в трех названных образах (исток, предел и преграда), то есть в пределе он есть тот исток, который требует собственного преодоления именно в том, в чем он развернут (эксплицирован): основание, воля, действие. Однако даже беглая реконструкция классических представлений о границе показывает, что субъект требует собственного преодоления не как таковой, но в том измерении, в котором происходит указанная редукция складки к линии, а сам субъект замыкается в своих наличных определенностях, то есть утрачивает динамическую причастность к Я, свободе или телу.

Указание на «слепые пятна» динамически понятой границы позволяет прочитать тезис Агамбена о том, что современник оказывается «способным вглядываться во тьму эпохи, но и... воспринимать в этой тьме свет, к нам направленный, но удаляющийся от нас в бесконечность» [Агамбен 2012: 52], как стремление или внимание к пустоте, слепоте, структуре того, что стоит за так или иначе прочерченной, полученной и удержанной определенностью Различия. И если граница-линия оказывается условной, требующей ускользания, движения к пределам своих интенсивностей, берется в динамической (не)определенности собственного прочерчивания, то граница-складка открывает измерение причастности, которое и выступает как условие возможности любого прочерчивания, любой определенности, любой фиксированной наличности. И наоборот: редукция границы-складки к границе-линии есть формирование экрана, позволяющего справиться с вызовом причастности, то есть страх неопределенности и неготовность к выходу за пределы сформированной территории «безопасности». Иными словами, граница оказывается условностью, которую мы не в состоянии игнорировать, но всегда можем изменить, переписать, прочертить иначе, поскольку всякая линия есть лишь след постоянно беспокоящей нас причастности.

Библиография / References

[Агамбен 2012] — *Агамбен Дж.* Что современно? / Пер. с ит. А. Соколовски. К.: Дух І Літера, 2012.

(*Agamben G.* Che cos'è il contemporaneo? Kiev, 2012. — In Russ.)

[Делёз 1999] — *Делёз Ж.* Логика смысла / Пер. с фр. Я.Я. Свирского, А.Б. Толстова. М.: Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998.

(*Deleuze G.* Logique du sense. Moscow, 1998. — In Russ.)

[Делёз 1998] — *Делёз Ж.* Складка. Лейбниц и барокко / Пер. с фр. Б.М. Скуратова. М.: Логос, 1998.

(*Deleuze G.* Le Pli — Leibniz et le baroque. Moscow, 1998. — In Russ.)

[Делёз, Гваттари 2010] — *Делёз Ж., Гваттари Ф.* Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. Я.И. Свирского. Екатеринбург: У-Фактория; Астрель, 2010.

(*Deleuze G., Guattari F.* Mille Plateaux — Capitalisme et schizophrénie. Ekaterinburg, 2010. — In Russ.)

[Делёз 2016] — *Делёз Ж.* Лекции о Спинозе 1978—1981 / Пер. с фр. Б.М. Скуратова. М.: Ad Marginem, 2016.

(*Deleuze G.* Spinoza 1978—1981, Moscow, 2016. — In Russ.)

[Фихте 1993а] — *Фихте И.Г.* О достоинстве человека // Фихте И.Г. Сочинения: В 2 т. Т. 1 / Пер. с нем. Б.В. Яковенко. СПб.: Мифрил, 1993.

(*Fichte J.G.* Über die Würde des Menschen. Saint-Petersburg, 1993. — In Russ.)

[Фихте 1993б] — *Фихте И.Г.* Основа общего наукоучения // Фихте И.Г. Сочинения: В 2 т. Т. 1 / Пер. с нем. Б.В. Яковенко. СПб.: Мифрил, 1993.

(*Fichte J.G.* Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre. Saint-Petersburg, 1993. — In Russ.)

[Хайдеггер 2003] — *Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. с нем. В.В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003.

(*Heidegger M.* Sein und Zeit. Khar'kov, 2003. — In Russ.)

[Хайдеггер 2000] — *Хайдеггер М.* Положение об основании / Пер. с нем. О.А. Коваль. СПб.: Алетейя, 2000.

(*Heidegger M.* Der Satz vom Grund. Saint-Petersburg, 2000. — In Russ.)

[Черняков 1998] — *Черняков А.Г.* В поисках утраченного субъекта // Метафизические исследования. 1998. Вып. 6: Сознание. С. 11—38.

(*Chernyakov A.G.* V poiskah utrachennogo sub'ekta // Metafisicheskie issledovania. 1998. Iss. 6: Soznanie. P. 11—38.)

[Шеллинг 1987а] — *Шеллинг Ф.В.Й.* Введение к наброску системы натурфилософии, или О понятии умозрительной физики и о внутренней организации системы этой науки // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. Т. 1 / Пер. с нем. М.И. Левиной. М.: Философское наследие, 1987.

(*Schelling F.W.J.* Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie. Oder über den Begriff der spekulativen Physik und die innere Organisation eines Systems dieser WissenschaftEinleitung zu dem Entwurf eines Systems der NaturPhilosophie. Moscow, 1987. — In Russ.)

[Шеллинг 1987б] — *Шеллинг Ф.В.Й.* Система трансцедентального идеализма // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. Т. 1 / Пер. с нем. М.И. Левиной. М.: Философское наследие, 1987.

(*Schelling F.W.J.* System des transzendentalen Idealismus. Moscow, 1987. — In Russ.)

[Шеллинг 1989] — *Шеллинг Ф.В.Й.* Философские исследования о сущности человеческой природы и связанных с ней предметах // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. Т. 2 / Пер. с нем. М.И. Левиной, А.В. Михайлова. М.: Философское наследие, 1989.

(*Schelling F.W.J.* Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit. Moscow, 1989. — In Russ.)

[Шопенгауэр 1993] — *Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление / Пер. с нем. Ю.А. Айхенвальда. М.: Наука, 1993.

(*Schopenhauer A.* Die Welt als Wille und Vorstellung. Moscow, 1993. — In Russ.)

[Шопенгауэр 2001] — *Шопенгауэр А.* О четверояком корне закона достаточного основания // Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3: Малые философские сочинения / Пер. с нем. Ю.А. Айхенвальда. М.: ТЕРРА — Книжный клуб «Республика», 2001.

(*Schopenhauer A.* Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Moscow, 2001. — In Russ.)

Айтен Юран

От линии к литорали

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_61

Aiten Yuran

From the Line to the Littoral

Айтен Юран (преподаватель Восточно-Европейского института психоанализа, Санкт-Петербург) aytenyuranyuran@gmail.com

Aiten Yuran (instructor, Eastern European Psychoanalytic Institute, St. Petersburg) aytenyuranyuran@gmail.com

В 1930 году в работе «Неудобства культуры» («Das Unbehangen in der Kultur») Фрейд говорит о границах *я*, которые, по его словам, носят весьма подвижный и изменчивый характер. Вопреки имеющимся представлениям об их устойчивости — ведь чувство самого себя предстает для субъекта как нечто весьма достоверное — границы между *я* и *не-я*, *я* и *другим*, *я* и *внешним миром*, как говорит Фрейд, не являются постоянными. При этом в психоанализе дело вовсе не ограничивается только констатацией подвижности упомянутых границ, напротив, появляется шанс уловить их особое пространственное устроение весьма топологического характера. Полагаю, что введение Фрейдом понятия «влечение» (Trieb) как одного из фундаментальных понятий психоанализа, но при этом понятия пограничного между душой и телом, между психикой и сомой, уже открывает возможность пересмотра прежней пространственности, а значит, и самой идеи границы. Также можно заметить, что всякий раз, пытаясь прочертить ориентиры психической реальности, Фрейд предлагает оттолкнуться не от идеи границы, а от *поверхности*. И примечательный момент состоит в том, что *поверхность*, о которой говорит Фрейд, вовсе не противоположна глубине, чем задается необходимость конституирования иного характера пространственности, не умещающегося в пространство евклидовой геометрии.

Глубина и поверхность — именно эта оппозиция всякий раз приходит на ум, когда мы имеем дело с привычным нам пространством, однако при внимательном рассмотрении можно обнаружить, что речь у Фрейда идет не столь о соотношении в логике глубина/поверхность, сколь о соотношениях на самой поверхности. Фрейд говорит о «единственно нам известных — поверхностных слоях душевного аппарата»[1]. Как бы то ни было, от привычных соотнесений «вроде “впереди” и “позади”, “поверхностно” и “глубоко”»[2] Фрейд призывает отказаться за их ненадобностью. Построения Фрейда направлены на изъятие представлений о психике из ограничений трехмерного пространства, и это влечет за собой целый ряд этических последствий.

---

1 *Фрейд З.* Я и Оно // Фрейд З. Психология бессознательного / Пер. с нем. А.М. Боковикова. М.: Фирма СТД, 2006. С. 313.

2 *Фрейд З.* Проблема дилетантского анализа. Интерес к психоанализу // Фрейд З. Интерес к психоанализу: Избранное / Пер. с нем. В. Николаева. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. С. 65.

Дело в том, что и Фрейд в своих теоретических построениях психического аппарата чрезвычайно близок топологическому осмыслению пространства, хотя непосредственных отсылок к топологии как к разделу математики, подобно тем, что можно встретить у Лакана, у него, конечно же, нет. Именно топологические ориентиры, а не топографические коренным образом преобразовывают идею границы. Подобного рода пространственная протяженность не может быть пристегнута к конкретным локализациям трехмерного пространства, и в этом случае принципиальным оказывается уход от идеи линейки, меры, расстояния. Как следствие, меняется представление о границе как о линии, проведенной на евклидовой плоскости, которая призвана разграничить две области.

Попробуем мысленно представить две приграничные области А и В. В таком случае граница может принадлежать как А, так и В, или она может не принадлежать ни А, ни В, либо она может принадлежать только А, либо только В, также можно представить, что существуют *две* границы, одна из которых принадлежит А, а другая — В, и эти две границы расположены рядом, то есть они пространственно совпадают. Но во всех случаях, которые я попросила сейчас представить, — а сделать это, согласитесь, не так сложно — мы остаемся в поле привычной евклидовой геометрии.

У Лакана в «Лекции о литураттере» (1971) можно встретить небольшой пассаж, в котором он говорит о границе. Поначалу речь идет о границе в качестве линии, отделяющей друг от друга две территории, — по этому поводу Лакан даже вспоминает Якоба фон Икскюля и его описание границ в биологических средах. Одно из ключевых понятий Икскюля — это «функциональный круг», оно позволяет описать механизм построения Umwelt живой особи как присущей каждому организму *своей* избирательности восприятия и действия. Umwelt, согласно Икскюлю, выстраивается по принципу отражения Innenwelt, живое существо превращает внешнее во внутреннее и само распределяется в окружении, при этом каждый биологический вид и даже каждая биологическая особь живут в разных и непересекающихся пространствах. Однако Лакан говорит о том, что такого рода границе не хватает самого главного, в чем при внимательном рассмотрении можно удостовериться, а именно — разграниченные территории, «во всяком случае, для того, кто ее переступит, — представляют собой ровно то же самое»[3]. Получается, что имеющиеся границы, тем не менее, нисколько не колеблют имеющуюся однородность пространства, не видоизменяют его прежнюю консистентность, которое они разграничивают. По всей видимости, для Лакана это является специфической чертой границы в биологических средах, даже если взять за основу их более сложное устроение. К примеру, прояснением особенностей границ в биологических средах также занят Хельмут Плеснер. Для него органическое тело несет в себе пространственное ограничение, но его Плеснер представляет в качестве не просто разграничивающей линии, а *контура*, или виртуального промежутка между телом и примыкающей к нему средой. Такая граница «не принадлежит ни только телу, ни только примыкающей среде, но принадлежит обоим, поскольку прекращение одного есть начало другого»[4].

---

3 *Лакан Ж.* Лекция о литуратерре // Лакан в Японии / Пер. с фр. и англ. под ред. В. Мазина и А. Юран. СПб.: Алетейя, 2012. С. 65.

4 *Плеснер Х.* Ступени органического и человек. Введение в философскую определенность / Пер. с нем. А.Г. Гаджикурбанова // Проблема человека в западной философии / Сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. М.: Прогресс, 1988. С. 110.

Граница в данном случае оказывается «чистым переходом от одного к другому, от другого к одному»[5] в их обоюдной определенности. Меняет ли это что-нибудь радикально в самой идее границы? Полагаю, что нет, так как функционирование биологических границ не имеет отношения к регистру языка, то есть к тому, что задает основную модальность человеческого существования. Для более радикального преобразования или модификации сути устройства границы необходим иной жест, в прояснении сути которого мы обратимся к Лакану.

В уже упомянутой «Лекции о литураттере» Лакан привносит в идею границы букву (letter) в ее буквальности (litteralitas), ассоциативно возводя ее к латинскому litoralis, то есть к прибрежной полосе, а это, по его словам, уже «совсем не то, что граница»[6]. Граница как прибрежная полоса, а не граница в качестве линии — в этом пока, пусть и весьма поэтически, и заключается суть психоаналитического преобразования идеи границы. Послушаем, как об этом говорит Лакан:

> Вы сами понимаете, что друг с другом их ни за что не спутаешь. Ведь прибрежная полоса представляет собой область, которая вся в целом образует другую, если хотите, границу — образует как раз постольку, поскольку граничащие между собой области не имеют друг с другом абсолютно ничего общего и ни в какие взаимные отношения не вступают[7].

Отметим этот важный момент парадоксального пространственного сосуществования граничащих областей, которые ничего общего не имеют и в отношения друг с другом не вступают.

Итак, граница в человеческом порядке не сводится ни к линии, ни к контуру, она сама обретает особую протяженность в силу принадлежности человеческого существа языку. Уместно сейчас вспомнить неологизм Лакана «lavie»[8], посредством которого он как раз и пытается выразить жизнь, противоположную жизни биологической. В слове la vie (жизнь) Лакан снимает пробел и играет на созвучии с se lave (моется), что является хорошим указанием на то, что биологическое отверстие человеческого организма закрепляется в языке и обретает характер символической кромки. Захват живого тела языком сопровождается буквально въеданием, втиранием означающего порядка в плоть, в биологическое измерение. На первый взгляд лакановский прием преобразования границы в литораль носит, как уже было сказано выше, весьма поэтический характер, но это не совсем так. Преобразование это носит строгий математический и топологический характер. Попробуем уловить его суть.

Лакановский жест внедрения буквы в линию границы пространственно эквивалентен нанесению разреза поверх имеющейся линии, что снимает воображаемый характер последней как разделяющей область **A** и область **B**, которая по факту всегда уже **не-A**. Он подобен жесту Аппелеса в соревновании с Протогеном на проведение наиболее тонкой линии: когда Протоген чертит линию, настолько тонкую, что она кажется невозможной для кисти смертного, но Апеллес наносит разрез поверх этой линии, чем проявляет ее протяженность, и меняет местами то, что внутри и то, что снаружи, «овнутряя наруж-

---

5 Там же.
6 *Лакан Ж.* Лекция о литуратерре. С. 65.
7 Там же.
8 Впервые появляется на встрече 23 апреля 1974 года в семинаре «Les non-dupes errent».

ное»[9]. Такого рода жест и вносит пространственный изворот топологического характера, в котором разделение на **А** и **не-А** перестает быть ясным и исчерпывающим. Здесь проявлена та невозможность разграничения, о которой говорит Агамбен применительно к афоризму Павла, когда на первый взгляд простое разделение (в данном случае — иудеи/не-иудеи) более не работает, ведь «отныне есть иудеи, которые не суть иудеи и не-иудеи, которые не суть не-иудеи»[10]. Другими словами, есть **А**, которые **не-А**, и **не-А**, которые суть не **не-А**. Это значит, что **А** и **не-А** не могут образовать замкнутую общность. То есть «оппозиция **А**/**не-А** допускает третье в форме двойного отрицания: **не не-А**»[11]. В связи с этим можно также вспомнить невозможность разделения, которая обнаруживается в парадоксах Рассела — вроде парадоксов лжеца или брадобрея, где также нет простого разделения на **А** и **не-А**, то есть на тех, кто лжет, или тех, кто не лжет, или тех, кто себя бреет и тех, кто себя не бреет. Ведь стоит задаться вопросом о месте лжеца или брадобрея в этой системе, как становится ясно, что их существование исключено из нее.

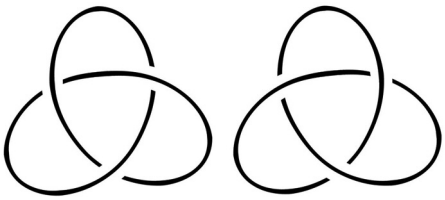
Итак, граница в преобразовании Лакана конституируется разрезом, который иным образом связывает гетерогенные и чужеродные друг другу элементы, давая место **не не-А**. Литоральный характер границы обусловлен погруженностью человеческого порядка в пространство языка и памяти. Тогда вопрос применительно к поддержанию подобного рода границ заключается в том, как не утратить пространство языка? Быть может, это и есть единственный способ избежать радикального беспамятства субъекта в настойчивом повторении одного и того же, в низведении границы на уровень воображаемой разметки со строгой территориальной пристежкой? Граница в качестве линии, проходящая между **А** и **не-А**, с неизбежной исторической трагичностью упирается в воображаемую ось, в противостояние параноидного характера, в то, что Фрейд описывал как «нарцизм малых различий». На такой границе другой, максимально похожий на меня, неизбежно будет низведен в параноидном противостоянии на уровень отброса. Это можно продемонстрировать топологически (следуя мысли французского психоаналитика Вапперо)[12] на таком узле, как трефль. При кажимости подобия форм представленные трефли тем не менее разные и носят непереходный характер, то есть никакое количество преобразований не позволит из одного узла получить другой (*ил. 1*). Что это значит? То, что в каждом случае сама логика вязки узла совершенно разная, они по-разному вложены (plongement) в пространство, однако, чтобы прочитать эти различия, необходима проекция образа другого в язык. Иначе в зеркальном нарциссическом противостоянии это различие неизбежно окажется стеной, разграничивающей одно от другого в форме границ по типу концентрационных лагерей, которые человечество с трагической повторяемостью сооружает в параноидном наплыве наслаждения (jouissance). Трудно не согласиться с Лаканом, что в таком своем биологическом виде граница неизбежно приобретает «статус идеологии». Также можно вспомнить пространство «голой

9 Это словосочетание встретила у Дж. Агамбена.

10 *Агамбен Дж.* Оставшееся время. Комментарий к Посланию к Римлянам / Пер. с итал. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 73.

11 Там же.

12 *Вапперо Ж.-М.* Узел. Теория узла по стопам Ж. Лакана (Topologie En Extension. Тетрадь с результатами № 3) / Пер. с фр. А. Бронникова, О. Бронниковой. М.: Проект Letterra.org; Гнозис, 2022. С. 6.



Ил. 1. Схема зеркальных трефлей[16]

жизни», о котором говорит Агамбен и которое в полной мере проявило себя в недавних требованиях социального дистанцирования на вполне конкретные расстояния, измеряемые линейкой[13]. В то время как границы литорального характера проходят по культуральным различиям, которые несводимы друг к другу в силу того, что культуры всегда «несоизмеримы одна с другой»[14]. Хорошим примером удержания принципа несоизмеримости культур может быть подход к исследованию японской культуры Ролана Барта на основе выделения ряда черт, из которых выстраивается систему под названием Япония. Барт уточняет, что Восток и Запад не должны пониматься как реальности, то есть как конкретные страны в их локализации на географической карте[15].

Итак, литоральный характер границы связан с регистром языка, памяти, культуры. Хорошую аналогию лакановской литорали я обнаруживаю в многослойном пространстве волшебного блокнота Фрейда, поверхность которого образуется за счет совмещения чужеродных слоев. Различные слои — а именно, слой восковой, с которым связана запись и сохранение следа восприятия, и слой бумажный с целлулоидной пластиной, на котором следы не сохраняются, сосуществуют, при этом не смешиваются и обнаруживают разность записи при введении интервала между слоями. Жест привнесения промежутка между слоями позволяет говорить не только о пространственной протяженности блокнота, но и о времени в полном следовании сути литорали как чего-то находящегося в движении.

Я бы также сказала о диастемическом характере промежутка между разнородными и несоизмеримыми элементами системы. Диастема — понятие из богословского дискурса, оно имеет отношение к непреодолимому расстоянию, которое отделяет нетварного Бога от творения. Оставив в стороне богословский смысл данного понятия, можно обратиться к еще одному из возможных значений понятия «диастема», вполне топологическому — а именно, «дистанция». О нем говорит Мануссакис в книге «Бог после метафизики», указывая на то, что диастему можно переводить как «промежуток» (и в пространственном, и во временном плане), но что здесь важно, это то, что всегда есть нюанс *непреодолимости* данной дистанции, промежутка, зияния в несоизмеримости того, что дает «место близости»[17].

Более строго выявить топологическую суть подобного рода преобразования границы мы можем, обратившись к 13-му семинару Лакана «Объект психоанализа» (1965/66), где он занимается геометрическими построениями про-

---

13 В эпоху COVID-19.

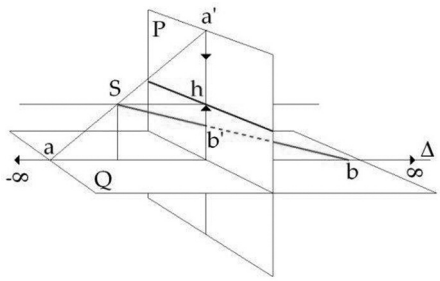
14 *Леви-Стросс К.* Обратная сторона Луны: Заметки о Японии / Пер. с фр. Е. Лебедевой. М.: Текст, 2013.

15 *Барт Р.* Империя знаков / Пер. с фр. Я. Янпольской. М.: Праксис, 2004.

16 *Lacan J.* Séminaire1961—1962. Livre IX: L'identification (inédit) (http://staferla.free.fr/S11/S11%20FONDEMENTS.pdf).

17 *Мануссакис Д.П.* Бог после метафизики. Богословская эстетика / Пер. с англ. Д. Морозовой. К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014.

ективной плоскости в функции экрана[18]. И интересным образом здесь весьма уместна отсылка к картине Эрика Булатова «Горизонт» (1972), которая была представлена на одном из постеров нашей конференции. Картина Булатова интересна не столь литоралью, как можно было бы подумать, ведь именно ее мы здесь непосредственно видим, а именно специфичной линией горизонта, растянутой в ширину красной полосы (дорожки). Но для начала нам необходимо совершить переход в пространство построений проективной геометрии, совершив вполне допустимую комбинаторную перестановку элементов. В известной аксиоме евклидовой геометрии, согласно которой «*через две точки можно провести одну и только одну линию*», необходимо произвести замену элементов «*точки*» на «*линии*». Тогда верным будет утверждение, что «*любые две линии пересекаются в одной точке*», из чего следует, что на проективной плоскости параллельные прямые пересекаются. В зрительном опыте линией, на которой параллельные прямые пересекаются, оказывается как раз линия горизонта.



Ил. 2. Схема проективной плоскости[19]

Обратимся к построениям Лакана из 13-го семинара. На схеме (*ил. 2*) мы видим две плоскости, одну из них Лакан называет фигуральной плоскостью (plan-figure), на рисунке она обозначена плоскостью **Q**, другую Лакан называет поддерживающей плоскостью (le plan-support) — это плоскость **P**, или *плоскость экрана*. Пересечение двух плоскостей задает линию земли. Линия горизонта на схеме обозначена **h**, она представляет собой проекцию на плоскость экрана **P** точки взгляда **S**. Линия горизонта находится на некотором расстоянии от линии земли, которое меняется в зависимости от того, где находится точка взгляда, и это пока довольно очевидные для геометрического построения моменты, именно поэтому мы можем два раза встретить или проводить солнце, оказавшись на разных высотах от земли. Теперь посмотрим на точку альфа (**b**), которая находится непосредственно на земле. Чтобы получить ее проекцию на плоскость экрана, необходимо провести линию, которую Лакан называет линией взгляда субъекта (les lignes oculaire), через точку взгляда (**S**). Точка, в которой линия взгляда пересекает экран, и есть точка проекции, она обозначена на схеме (**b´**). Полученная точка проекции (**b´**) расположена на некотором расстоянии от линии горизонта, при удалении точки (**b**) в бесконечность точка (**b´**) будет все больше совпадать с линией горизонта, а чем ближе она будет находиться к экрану, тем больше она будет приближаться к линии земли.

А теперь зададимся вслед за Лаканом вопросом: а что находится не в том интервале, который мы обнаружили между линией земли и линией горизонта, а непосредственно *над* линией горизонта? Проекцией каких точек оно являются? Если воспроизвести предыдущее геометрическое построение и провести

18 *Lacan J.* Le Séminaire 1965—1966. Livre XIII: L'objet de la psychanalyse (inédit) (http://staferla.free.fr/S13/S13.htm (дата обращения: 24.03.2025)).

19 Ibid.

линию через точку взгляда субъекта, то станет ясно, что это проекция той точки, которая находится на земле, но не впереди, а позади смотрящего субъекта (на схеме точка **a**). И здесь все будет обстоять аналогичным образом: чем дальше точка на земле будет удаляться в бесконечность, тем больше точка ее проекции (**a´**) будет совпадать с линией горизонта. Итак, смотрящие на линию горизонта видят *над* ней то, что находится *позади* смотрящих. Получается, что линия горизонта, вопреки наивному акту видения, это не линия, на которой сходятся небо и земля, или не линия, которая разделяет небо и землю, это сам разрез, соединяющий то, что *за смотрящим* субъектом, и то, что *перед* субъектом, или видимое и невидимое. Он аналогичен мебиусовой поверхности, или мебиусову разрезу, соединяющему лицо и изнанку. В свете этих геометрических построений, широкую красную полосу на картине Булатова можно рассматривать и как то, что, с одной стороны, вскрывает промежуток, предъявляя взгляду интервал между линией земли и линией горизонта, но можно посмотреть на нее и как на мебиусный разрез, в котором и располагается сокрытое для субъекта видения. Аналогичный прием можно обнаружить в китайской живописи, для этого используется туман, который местами скрывает линию горизонта, превращая все вместе в излюбленную китайскими художниками пунктирную линию утка, которая то исчезает в тумане, то вновь появляется, этим, с одной стороны, проявляя для взгляда пустоту, зазор, границу «между», с другой — обнажая и делая видимым то, что должно оставаться невидимым. Мы видим, что граница в качестве разреза или края дыры радикальным образом преобразовывает однородность пространства, которая свойственна биологическим средам, делая явным дырявое и перфорированное пространство в силу сосуществования в нем чужеродных и несоразмерных порядков.

В завершение мне хотелось бы сказать о хорошо известной математикам гипотезе «четырех красок», согласно которой для раскраски любой карты на плоскости с соблюдением условия, чтобы два сопредельных контура обладали разным цветом, достаточно четырех красок. Ее впервые высказал в 1860 году Мебиус. Весьма любопытно, что на поверхности топологической, к примеру, на поверхности тора гипотеза четырех красок не работает, и для выполнения условия различий цветов всех граничащих контуров необходимо целых семь красок. Последнее является хорошим свидетельством совершенно особой организации пространства, особенности которого мы и пытались прояснить.

Сергей Зенкин

Граница и мимесис

(РАБОЧИЕ ЗАМЕТКИ)

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_68

Sergey Zenkin

Border and Mimesis (Working notes)

Сергей Зенкин (без аффилиации)
sergezenkine@hotmail.com.

Sergey Zenkin (no affiliation)
sergezenkine@hotmail.com

Известна семиотическая теория границы, предложенная Юрием Лотманом в статье «О семиосфере»:

> Одним из фундаментальных понятий семиотической отграниченности является понятие границы. Поскольку пространство семиосферы имеет абстрактный характер, границу ее не следует представлять себе средствами конкретного воображения[1].

Возможно, однако, и пойти наперекор этому предупреждению Лотмана и представить себе границу «средствами конкретного воображения», а еще точнее — описать некоторые способы такого субъективного представления, переживания границ, их образы или функции, определяющие структуру членимого ими мира. Вместо абстрактных границ, встроенных в знаковые системы, речь пойдет о границах реальных, например государственных; от дискретных членений, проводимых с удаленной позиции внешнего наблюдателя, следует обратиться к опыту того, кто сам непосредственно имеет дело с границей — пытается ее провести, сталкивается с нею, пересекает ее. Иллюстрациями такого опыта послужат нам несколько разнородных и неизбежно случайных фактов культуры.

1. *Место и пространство.* Граница — вообще говоря, не обязательная форма членения мира. Легко представить себе — и культура нередко так и делает — мир, который разделен на отчетливые области или страны, но между ними нет границ: они просто не соприкасаются между собой. Самый очевидный пример такой географии — архипелаг, где населенные острова далеко отстоят друга от друга, разделенные не пограничными линиями, а нейтральной морской средой. Сходную функцию выполняют также горные хребты, пустыни и т. п. — природные препятствия, преодоление которых если и возможно, то не сосредоточивается в одном ответственном акте (как переход Рубикона Цезарем, ставший нарицательным обозначением решительного шага), а растягивается на значительное время. По миру-архипелагу странствует гомеровский Одиссей, и в его хаотических перемещениях трудно уловить какой-либо определенный маршрут: это не последовательное пересечение границ, которое служило бы этапами путешествия, а скорее блуждание в лабиринте — пространстве небеспредельном, но и не разграниченном внутри себя. Подобная структура

1 *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллин: Александра, 1992. С. 13.

мира встречается и в некоторых «сухопутных» (по преимуществу) повествованиях: например, в «Неистовом Роланде» Ариосто, где персонажи стремительно перемещаются по странам и морям Старого Света; или в написанной гораздо позже, но в той же сказочно-эпической традиции поэме Шандора Петефи «Витязь Янош», герой которой, дабы помочь французскому королю отразить нашествие сарацин, совершает поход из Венгрии во Францию… через Индию. Пародийное воплощение этой географической структуры почти одновременно с Петефи дал Гоголь в «Мертвых душах»: его герой тоже странствует между разными местами-поместьями, которые плохо поддаются даже относительной локализации (возможно ли начертить карту перемещений Чичикова?), не сообщаются между собой и в этом смысле лишены границ. Знаменитая похвальба одного из помещиков, отрицающего всякие пределы своих владений, — это гиперболизированное выражение общей логики, управляющей миром гоголевского повествования; в нем «граница» упоминается лишь для того, чтобы сделаться подвижной и фактически несуществующей: «— Вот граница, — сказал Ноздрев: — все, что ни видишь по эту сторону, — все это мое и даже по ту сторону весь этот лес, который, видишь ты, там синеет, и все, что за лесом, все это мое»[2].

Такой мир без границ было бы не совсем точно связывать, как иногда делают сегодня, с экспансионистской политикой колониальных империй. Он более архаичен, чем эти империи (и именно поэтому выглядит странным, комичным пережитком в «поэме» Гоголя), опирающиеся на однородное, бесконечное и пустое пространство новоевропейской геометрии — понятие, чуждое древнегреческому мышлению, которое породило миф о странствиях Одиссея. Здесь же перед нами мир не пространства, а мест, отдельных и несоприкасающихся областей, обладающих каждая своим «лицом» (индивидуальным или коллективным владельцем) и тяготеющих каждая к своему центру. Визуально его можно представить не с помощью координатной сетки или демаркационных линий, а как констелляцию, созвездие пятен. У этих мест отсутствует какая-либо общая шкала, позволяющая рационально соотносить их между собой (таковую могла бы задать именно граница, линия взаимодействия между ними), вместо нее они соотносятся лишь более или менее зыбкими *подобиями*. Так, волшебные или чудовищные обитатели гомеровских островов-мест переживаются как варианты одной и той же чуждой, небезопасной фигуры; хаотическими перемещениями странника описывается не геометрическое, но лабиринтное пространство без перспективы, а в лабиринтных извивах естественно встретить монстра, каковыми и являются (в прямом или переносном смысле) многие жители такого мира[3].

Когда в таком мифическом мире все-таки проводят границу, она выражает волю людей к рационализации пространства, а еще точнее — просто к образованию пространства как такового, которое обладало бы абстрактной формой и не исчерпывалось одной лишь суммой своих мест-содержаний. Например, грандиозным замыслом Данте, разделившего загробный мир на много уров-

2 *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений: В 14 т. Т. 6. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 74.

3 См. в моей статье: *Зенкин С.Н.* Фокус и монстр, две фигуры мимесиса // Удивление: Интерпретация культурных кодов 2024 / Сост. и общ. ред. В.Ю. Михайлина. Саратов: ИЦ «Наука», 2024. С. 4—14.

ней-кругов, переход между которыми переживается как пересечение иерархического рубежа, ознаменовано историческое усилие к демаркации мира, на карте которого появляются не только обозначения (названия, символы) регионов, но и разделительные линии между ними. Вместо стихийных подобий или, по крайней мере, наряду с ними в мире возникает система устойчивых членений и значений.

2. *Зеркальность*. Однако структура острова, окруженного пустотой и сосредоточенного вокруг своего центра, сохраняется в более или менее имплицитной форме и тогда, когда культура пытается очерчивать свои границы. За этими границами располагается не-культура, представляющая собой, по словам Лотмана, продукт воображения культуры-семиосферы:

> Поскольку граница — необходимая часть семиосферы, семиосфера нуждается в «неорганизованном» внешнем окружении и конструирует его себе в случае отсутствия. Культура создает не только свою внутреннюю организацию, но и свой тип внешней дезорганизации. Античность конструирует себе «варваров», а «сознание» — «подсознание»[4].

Иллюстрацией к этой мысли, где ученый фактически переходит с объективной позиции внешнего наблюдателя на субъективную точку зрения наблюдаемой культуры[5], может служить хорошо известная картина современного художника Васи Ложкина, изображающая «родину» и «заграницу».



Вася Ложкин. Родина заграница 2 (2016)[6]

Эффект картины построен на трех процессах уподобления и подражания. Во-первых, на самом очевидном уровне художник *изображает* фигуры персонажей — условно-деформированные, как при всяком художественном мимесисе: гротескно-звериный стиль служит для остранения реальных отношений между людьми и народами. Во-вторых, персонажи картины — по крайней мере, относительно антропоморфные, эмоционально опознаваемые обитатели «родины» — аффективно уподобляются друг другу, на их «лицах» одинаково написаны страх и отвращение при виде своих «заграничных» визави. Таков общий закон складывания коллективной (в данном случае национальной) идентичности: ее разделяют люди, *подражающие* друг другу в аффективных реакциях, то есть эта идентичность, выражаемая словами «мы» или «наши», имеет изначально миметический характер, а всевозможные идеологические (семиотически выраженные) мотивы привлекаются лишь для ее вторичного оправдания. В-третьих — и это особенно оригинальная

4 *Лотман Ю.М.* Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. С. 15.

5 О лотмановском понятии семиосферы как мыслящего и воображающего субъекта см. другую мою недавнюю статью: *Zenkin S.* Semiosphere, «Thinking Worlds» and Scientific Knowledge (About an Idea of Jurij Lotman) // Vremennik Russkogo Formalizma. 2024. Vol. I. P. 151–160.

6 http://vasya-lozhkin.ru/pictures/rodina-zagranitsa-2 (дата обращения: 21.03.2025).

черта картины — противостоящие друг другу группы по разные стороны границы также связаны отношением подобия, которое проходит поверх заграждения с колючей проволокой. При всем различии своего облика, они с обеих сторон образуют симметричную композицию «родитель — ребенок — кот», члены которой внимательно рассматривают своих гомологов за колючкой. Граница позволяет каждой группе переживать коллективное самосознание, своеобразную «стадию зеркала» по Лакану, но только это кривое зеркало, в котором можно увидеть лишь искаженный образ себя самого; коллективная идентичность образуется как в со-, так и в противопоставлении подражающих друг другу персонажей.

Эта зеркальная структура пространства, разделяемого границей, характеризуется также своей геометрической обратимостью. Чудовищный мир «заграницы» изображен художником именно как «свой тип внешней дезорганизации», а не как организованная сила; в нем виднеются на горизонте дымящие заводы, но отсутствуют какие-либо продукты их производства — не только предметы потребления, которые окружали бы его обитателей цивилизованной средой, но и средства уничтожения, например оружие, направленное в сторону «родины» (вместо него в руке у одного из «заграничных» персонажей — одна лишь нелепая кость, знак скорее нищеты, чем угрозы). Фантазматическая «заграница» — территория индустриального разорения, населенная не просто опасными, но и оборванными, изможденного вида уродами, — ассоциируется не столько с враждебной державой, изготовившейся к агрессии, сколько с концлагерной «зоной», куда согнано отребье человечества, неассимилированные элементы «родины». Это меняет не только моральную семантику границы, но и ее пространственную конфигурацию: зрителю картины со стороны она кажется прямолинейной, но расположение и взгляды персонажей формируют иную перспективу — круговой, замкнутой укрепленной линии, которая то ли ограждает «родину», обороняющуюся от угроз «в кольце врагов», то ли сама заключает внутри себя кромешный и фактически островной мир «заграницы», грозящий вырваться вовне и захлестнуть мир «родины». Осевая симметрия пространства оборачивается центральной симметрией, допускающей инверсию центра и периферии. Такая тревожно-двусмысленная географическая и политическая картина мира — то ли «чужие» снаружи, то ли, наоборот, внутри — несомненно, лежит в основе многих массовых представлений и, вероятно, даже политических решений. В таком понимании границы проявляется ее неистребимая связь с мифическими представлениями: граница не столь незыблема, как кажется, неустойчива сама ее функция, потому что она служит не для линейного разделения, а для окружения, изоляции (от слова «остров»), которой подвергается то ли «наша», то ли «ихняя» часть мира, — все зависит от того, с какой стороны смотреть.

3. *Трансгрессия.* Искаженная симметрия пограничных областей наглядно проявляется и в следующем примере, отчасти сходном с картиной Васи Ложкина (трудно судить о том, мог ли его визуальный вариант служить ее источником). В 4-м письме своей книги «Россия в 1839 году» Астольф де Кюстин излагает наблюдения некоего трактирщика из Любека — города, служившего перевалочным пунктом при морских путешествиях из Европы в Россию и наоборот. Здесь русские путешественники встречались или, наоборот, прощались с европейской цивилизацией, хотя государственная граница Российской империи располагалась, разумеется, намного восточнее. Об их аффек-

тивных реакциях на этот переход границы как раз и рассказывает немецкий трактирщик:

> — Сударь, у них два выражения лица; я говорю не о слугах — у слуг лица всегда одинаковые, — но о господах: когда они едут в Европу, вид у них веселый, свободный, довольный; они похожи на вырвавшихся из загона лошадей, на птичек, которым отворили клетку; все — мужчины, женщины, молодые, старые — выглядят счастливыми, как школьники на каникулах; на обратном же пути те же люди приезжают в Любек с вытянутыми, мрачными, мученическими лицами; они говорят мало, бросают отрывочные фразы; вид у них озабоченный. Я пришел к выводу, что страна, которую ее жители покидают с такой радостью и в которую возвращаются с такой неохотой, — дурная страна[7].

Этот рассказ о неприязни россиян к собственной стране вдохновил художника Гюстава Доре на карикатуру, включенную в его книгу «Живописная, драматическая и карикатурная история Святой Руси»[8].



Гюстав Доре. Croquis fait à la frontière de toutes les Russies

В рассказе из книги Кюстина и в иллюстрирующем его рисунке Доре обнаруживаются многие черты будущей картины Васи Ложкина: карикатурно-схематичное изображение людей по две стороны границы, их взаимное уподобление внутри каждой группы (они все вместе утрированно демонстрируют ликование или же удрученность), наконец симметрия обеих групп (в каждой по три персонажа, как будто члены одного и того же семейства). Однако есть и композиционное отличие: у Доре две группы не переглядываются между собой, они обращены спиной одна к другой и смотрят в противоположные стороны от границы. В объективно-семиотическом плане, в глазах читателя/зрителя, их соотношение стоит в одном ряду с традиционной условной оппозицией комической и трагической театральных масок или же французских фразеологизмов «смеющийся Жан» и «плачущий Жан» (Jean-qui-rit и Jean-qui-pleure); а сегодня — коль скоро речь идет о России и Европе — она видится еще и ироническим предвосхищением оппозиции «уехавших» и «оставшихся». Но в плане субъективных переживаний, с точки зрения персонажей граница получает собственное, безусловное бытие, становится не предметом, а участником всей сцены: другие персонажи реагируют не на людей по ту сторону границы, а на границу как таковую, на акт ее пересечения, который обладает не только знаковым, но и аффективным потенциалом, получающим двойственное выражение в зависимости от направления (радость в одну сторону, горе в другую). Переходя границу, вымышленный

---

7 *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году: В 2 т. Т. 1. М.: Терра — Книжный клуб, 2000. С. 73—74. Письмо четвертое, перевод Веры Мильчиной (благодарю ее за помощь в поиске иллюстрации к этому тексту).

8 *Doré G.* Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie. Paris: J. Bry aîné, 1854. P. 145.

персонаж рассказа или картинки заряжается аффективной энергией, которой далее должен уже реально заражаться читатель/зритель его приключений; именно с целью передать этот импульс Гюстав Доре гротескно утрирует «выразительность» поз и мимики.

Эта карикатура, как и картина Васи Ложкина, самой своей структурой отсылает к действительным условиям современной жизни. Пересечение границы, даже вполне легальное, с прохождением положенного контроля, переживается человеком как трансгрессия, преодоление запретного предела, то есть силовой, энергетический и, вообще говоря, опасный акт (что тем более наглядно проявляется при коллективном прорыве границ беженцами или, в советскую эпоху, при попытках захвата самолетов с целью бежать из закрытой страны). В современной административно-полицейской практике этот процесс стараются ослабить, растягивая в пространстве и времени, распределяя по нескольким этапам: поездка за границу включает в себя получение заграничного паспорта, иностранной визы в консульстве, прохождение нескольких видов пограничного контроля и досмотра (паспортный, таможенный, санитарный…). Фактически государственная граница приобретает виртуально-диффузный характер, не совпадает ни с линией на географической карте, ни с фортификациями на местности: ср., например, экстерриториальный статус иностранных посольств, «международных зон» в аэропортах или того же любекского порта в рассказе Кюстина — вынесенной далеко вперед «предграницы» России.

4. *Пароль.* Такая диффузная, детерриториализованная структура границ заставляет признать, что трансгрессивный жест вообще осуществляется не только вовне, при их действительном телесном пересечении, но и внутри нашего мышления, включая словесную деятельность, в которой тоже есть не только семиотический аспект. На карикатуре Доре слова «Россия» и «Европа» написаны по-французски, что естественно для парижского издания, где она была напечатана, но явно расходится с родным языком изображенных на ней персонажей (которые только и могли представлять себе границу с единой «Европой»), и такое противоречие встречается не только на пограничных столбах.

В современную эпоху, когда мировые империи в основном уступили место национальным государствам, обычно образующимся на основе того или иного национального языка, границы между странами чаще всего проводятся именно «между языками», за которыми признаются суверенитет и право быть переводимыми, тогда как языковые различия внутри страны считаются местно-диалектальными и не требуют операций перевода (ср. иерархическое различие государственных и административных границ). Переходы и переводы с языка на язык — это одна из форм пересечения границ.

Реальные поездки, а тем более переезды за границу часто сопровождаются языковой коллизией и/или сменой языка. Здесь возможны различные варианты поведения, где преобладает уподобление или расподобление: одни, живя много лет в чужой стране, сохраняют чистый родной язык (обычно хорошо выучив и местный), а другие, приехав на пару недель, начинают смешивать в речи слова двух разных языков. В последнем случае действует давление коллективного миметического рефлекса: в самом деле, единство национального языка и языковая идентичность его носителей обусловлены не столько рациональной нормализацией (школьным обучением и т.д.), сколько повседневным взаимным подражанием, при котором люди в обычном общении подтвержда-

ют и передают друг другу речевые привычки; с этим процессом сталкивается и приезжий иностранец, которому не всегда хватает сил сопротивляться ему.

Интерференция языков происходит и тогда, когда вместо людей границу пересекают тексты, часто подвергаясь при этом переводу. С точки зрения семиотики культуры, граница — это и есть «сумма билингвиальных переводческих “фильтров”, переход сквозь которые переводит текст на другой язык (или языки), находящиеся вне данной семиосферы» (Лотман)[9].

В недавней книге «Перевод и насилие» Тифен Самуайо описала конфликтные, властно-подавляющие факторы перевода, проявляющиеся особенно при политическом неравенстве культур (в условиях колонизации, оккупации и т.д.)[10]. Однако и при равном и уважительном взаимодействии языков и культур перевод неизбежно деформирует оригинал, вступает с ним в силовые отношения. Это проявляется в *цитировании* чужого языка, отдельные слова и выражения которого внедряются в перевод как опознаваемо чужеродные, непосредственно переживаются в качестве иноязычных; своей «недопереведенностью» они указывают на переводной характер всего текста. Вместо семантической перекодировки в таких «цитатах» происходит прямой мимесис, нередко собственно фонетическое подражание оригиналу. Общеизвестный пример — имена собственные, которые обычно оставляются без перевода, даже когда отсылают к вымышленным персонажам и предметам, не имеющим документальных референтов в реальности; но всегда ли это оправданно? следует ли, скажем, оставлять в переводе неизменными значащие имена, которые при этом теряют свою прозрачную смысловую форму? и как вообще произносить имена собственные в иноязычном тексте — «по-нашему» или «по-ихнему»? Культура часто колеблется в решении этих проблем; так, в стихах одного и того же французского автора XIX века, Теофиля Готье, фамилия Goethe иногда включается в стиховой размер в исходном произношении «Гёте», а иногда пишется с диакритическим знаком Goëthe и рифмуется со словом poète, то есть, по-видимому, должна произноситься «Гоэт». Подобные затруднения и колебания показывают, что государственная или национальная граница может интериоризироваться в языке, проецироваться из внешнего пространства в пространство текста. Этим объясняются наблюдаемые в конфликтных ситуациях самоопределения наций требования буквально, без переводной трансформации, воспроизводить элементы того или иного языка в иноязычном тексте — например, в русском языке при грамматическом управлении «в Украине» или при написании топонима «Таллинн».

Нередко даже в одном языке бывает, что некоторые слова и выражения служат паролем, по которому опознается языковая идентичность, принадлежность человека или текста к определенной культуре и традиции. В случае «цитирования» чужого языка имеет место сходный эффект синекдохи, но если обычный пароль, применяемый при прохождении всякого рода локальных границ (от поста охраны до входного интерфейса электронных систем), подтверждает ассимиляцию пришельца в охраняемом пространстве, то пароль-цитата в переводе, наоборот, диссимилирует, остраняет цитируемый текст в рамках того языка, которым пользуются переводчик и его читатели. Чужеродный в языке перевода, такой пароль отрывается и от своего исходного

9 *Лотман Ю.М.* Цит. соч. С. 13.

10 *Samoyault T.* Traduction et violence. Paris: Seuil, 2020.

языка, его семантика отходит на второй план ради чистого эффекта иноязычия. То же относится и к любым другим, более общим миметическим эффектам, которые переносятся в перевод из оригинала: таковы воссоздаваемые переводчиком интонации, стилевые регистры и т.д. Они служат не столько смысловыми знаками, сколько до- или внесмысловыми *следами* «чужого», которое важно донести до читателя. Жак Деррида, вспоминая библейский рассказ о «шибболете» — пароле, произношением которого отличали своих от врагов при пересечении пространственной границы, – писал, что при этом испытании чужие «выдавали свою отличность, оказываясь безразличными к диакритическому различию “ши“ и “си”; они обозначали себя [se marquaient] тем, что не могли опознать [re-marquer] закодированное таким образом обозначение [marque]»[11]. Когда такое «безразличие к различию» является сознательным решением переводчика, цитирующего чужой язык[12], то в тексте образуется лиминальная зона, нечто вроде «нейтральной полосы», которая не тянется вдоль границы, а распространяется по обе ее стороны в ходе обмена между «своей» и «чужой» областями.

* * *

Сделанные наблюдения подводят к выводу, еще требующему дальнейшей разработки и проверки: рассматриваемая как элемент культуры, как факт мысленного и душевного опыта людей, граница обладает не только объективным, но и субъективным измерением. Аффективно переживаемая субъектами культуры, она проходит непосредственно через ее тексты, делает их внутренне неоднородными и, особенно в случае художественной культуры, определяет динамику их восприятия. Граница возникает при замене независимых друг от друга мест-островов сопредельными территориями в пространстве, но в сознании их обитателей сохраняется центрально-симметричное отношение «своей» и «чужой» области, доходящее до их зеркальной инверсии; в опыте людей граница эссенциализируется, из условной и подвижной линии превращается в сакральную сущность, которую свято берегут, а если пересекают, то с чувством трансгрессии, переступания запретной черты; проецируясь в словесную деятельность, она ощущается в иноязычных «цитатах», сохраняющихся в переводе. Все перечисленные процессы, хотя и происходят внутри лотмановской «семиосферы», сами по себе носят не семиотический, а миметический характер, опираются не на устойчивые структуры, а на импровизированные акты уподобления и подражания.

---

11 *Derrida J.* Shibboleth: pour Paul Celan. Paris: Galilée, 1986. P. 45.

12 Сознательное цитирование чужого языка переводчиком следует отличать от автоматической, непреднамеренной интерференции языков в собственных текстах того или иного автора, которая нередко выявляется лишь посредством статистических подсчетов, показывающих аномальные отклонения частотности тех или иных языковых оборотов.

АНКЕТА

Компаративные подходы к изучению границ

Перспектива историка

Пол Верт

(*профессор истории Невадского Университета в городе Лас-Вегас; PhD*)

1. Почему современного историка могут интересовать границы и приграничные регионы России? Есть ли в них что-то особенно значимое?

Эта тема может интересовать историков и других ученых по разным причинам, которые я постараюсь здесь перечислить в краткой форме. Во-первых, буквально сейчас (в конце февраля 2025 года), да и вообще в течение последнего десятилетия, стоит открытым вопрос о фактических территориальных границах России. Как утверждает наша профессиональная ассоциация в Америке (American Historical Association), все имеет свою историю. Вопрос о территориальном размере России в разных ее проявлениях (Московия, Российская империя, СССР и нынешняя Российская Федерация) не составляет исключения. Я как раз попытался изложить эту историю в сжатой форме в книге под названием «Как Россия стала большой»[1].

Во-вторых, если учесть, что Россия одно время распространялась на три континента, можно сказать, что история ее границ составляет существенную часть общей, глобальной истории. Ведь даже сейчас одна сухопутная граница России тянется на 20.000 километров, от Баренцева моря до Японского. На этом протяжении находится 14 соседей. Это значит, что границы России фактически касаются значительной части земного шара, иными словами, целого ряда других стран, от Кореи и Китая до Финляндии и Норвегии. В истории были и другие соседи — политические формации, которые теперь не существуют (типа Великого княжества Литовского и Австро-Венгрии). Изучение истории российских границ, соответственно, приводит исследователя в область «переплетенной истории» (“entangled history”). Это понятие подразумевает, что судьба каждой страны существует не отдельно от других стран, а в тесной связи. Речь идет о дипломатических отношениях (причем не только между столицами, но и между местными представителями государственной власти), об эко-

1 *Werth P.* How Russia Got Big: A Territorial History. London: Bloomsbury Publishers, 2025.

номических контактах (и в легальной, и в контрабандной форме), о пропаганде и других формах политической коммуникации через границы, о сотрудничестве, с одной стороны, и чувствах угрозы и уязвимости — с другой.

В-третьих, изучение истории границ поднимает важные вопросы о суверенитете, то есть о попытках государства или правителя предъявлять и осуществлять претензии на исключительную власть над тем или иным пространством. Пожалуй, до современного периода приграничье остается тем местом, где суверенитет как бы истощается и постепенно заканчивается; а в современный период это то место, где государство или правитель стремится проявлять свою власть еще сильнее, в более видной форме, чем внутри страны — или ради поддержания власти среди собственных граждан, или ради попытки отпугивать соседей, которые иначе могли бы претендовать на его территорию или ресурсы. В этом отношении я нахожу особенно интересными исследования Лорен Бентон (о суверенитете в имперских контекстах) и Джордана Бранча (о «картографическом государстве», выражающем новые претензии в области суверенитета благодаря развитию картографической науки)[2].

В-четверых, мне кажется, что изучение границ России позволяет обратить внимание на множество акторов и социальных групп, принимавших участие в формировании страны. Можно сказать, что у границы было много создателей: армия, завоевавшая новые территории; дипломаты, заключившие трактаты и коммерческие договоры; торговцы, пересекающие границы (в том числе контрабандисты), крестьяне и рабочие, переходящие границы для заработков; кочевники, ищущие пастбища для своих животных на той или иной стороне границы в зависимости от времени года и т.д. и т.п. На границе, можно сказать, находился целый мир, включавший разных людей.

Последнее замечание: меня сильно заинтересовал вопрос об инфраструктуре на границе. Частично это вопрос возник у меня после чтения книга С.Дж. Алвареса об истории строительных проектов и об их влиянии на окружающую среду на границе Мексики с США[3]. Мое личное посещение границы Азербайджаном с Ираном (это, конечно, старая советская граница с южным соседом), где я увидел ворота и проволоку вдоль реки Аракс, способствовало дальнейшим размышлениям на эти темы. Находясь в архивах Южного Кавказа, я, между прочим, обнаруживал материалы о необходимости (и трудностях, и стоимости) строить колодцы в так называемой Муганской степи на границе Российской империи с Персией: до известной степени граница как таковая не существовала без людей, которые обслуживали бы ее, патрулировали и т.д. Люди могли там находиться летом только благодаря колодцам[4].

Подытоживая, можно сказать, что границы связаны с целым рядом вопросов и множеством самых разных людей и выдвигают историю России в сторону глобальной истории.

---

2 *Benton L.* A Search for Sovereignty: Law and Geography in European Empires, 1400—1900. Cambridge: Cambridge University Press, 2010; *Branch J.* The Cartographic State: Maps, Territory, and the Origins of Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

3 *Alvarez C.J.* Border Land, Border Water: A History of Construction on the US-Mexico Divide. Austin: University of Texas Press, 2019.

4 Речь идет об архивном деле из Исторического архива Республики Грузии «О проведении через Муганскую степь кордонной линии и он открытии в степи колодцев» (Ф. 4. Оп. 6. Д. 75).

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно их изучать? Чем может помочь историку опыт антропологов, этнографов и других специалистов? Есть ли в этом отношении принципиальная разница между изучением приграничья и других регионов?

Источники для изучения границ могут быть разными. Для начала возьмем политические договоры. Мне кажется, очень интересным проектом могло бы быть изучение того, как границы определяются в разных трактатах в течение истории. Какие именно термины применяются? Каков уровень точности определения границ в таких документах? Если трактаты существуют в нескольких версиях, как отличаются ключевые понятия на разных языках?

Архивные документы представляют особый интерес, поскольку в них возникают неожиданные вопросы, например про колодцы. Я имел возможность работать в архивах всех трех республик Южного Кавказа и встречал в них удивительный набор акторов (не исключая и животных), имеющих отношение к границе; множество товаров, пересекающих границы; и важные элементы инфраструктуры — колодцы, мосты, паромы и т.п. Для меня открылся целый мир на южной границе Российской империи.

Работа антропологов, безусловно, имеет значение и для исторического изучения границ. Начнем с того, что некоторые из ключевых исследований по этому вопросу принадлежат перу антропологов, например Матийс Пелкманс (об аджарском селении Сарпи на границе с Турцией) и Мадлен Ривз (о границе в современной Ферганской долине). Первый настаивает на взаимосвязи между твердостью и неопределенностью границ и показывает, как идея границы продолжала существовать в сознании местных жителей даже после того, как она открылась в начале 1990-х годов. Последняя, в свою очередь, изучает формирование новой границы в социальных практиках между Кыргызстаном и двумя его соседями[5]. Новейшие антропологические исследования развивают эту тему дальше. Например, в работе Франка Билле и Кэролайн Хамфри подчеркиваются различия на границе между Россией и Китаем, которая разделяет, как утверждают авторы, не только две страны, но и два совершенно разных мира. На мой взгляд, антропология раскрывает прежде всего субъективное восприятие границы местными жителями. Это существенно важный аспекты проблемы[6].

3. С какими странами можно сравнить Российскую империю в смысле специфики границ и приграничных регионов и что это сопоставление может прояснить в российской истории?

Если учесть размер России, особенно в ее современном виде (начиная, пожалуй, с XVII века), эта страна во многом является уникальной. В книге «Как Россия

5 *Pelkmans M.* Defending the Border: Identity, Religion, and Modernity in the Republic of Georgia. Ithaca: Cornell University Press, 2006; *Reeves M.* Border Work: Spatial Lives of the State in Rural Central Asia. Ithaca: Cornell University Press, 2014.

6 *Billé F.*, *Humphrey C.* On the Edge: Life Along the Russia-China Border. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2021. См. мою рецензию на эту книгу: Ab Imperio. 2022. No. 3. P. 53—59.

стала большой» я привожу следующую таблицу, которая указывает на исключительный характер России:

Территория	Площадь (*кв. км*)
Российская империя (1898 год)	22,430,000
СССР (1989 год)	22,402,000
Российская Федерация (до 2014 года)	17,098,000
Плутон	16,648,000
Канада (2022 год)	9,985,000

Вряд ли имеется другая страна, которая росла бы на 4 квадратных километра *в час* в течение 600 лет! С другой стороны, конечно, другие большие страны (Китай, США, Британская империя в XIX веке) разделяют с Россией определенные черты — имперскость (до той или иной степени), большое количество соседей (например у Китая), длина границы, которая при этом проходит через множество разных ландшафтов, от высоких гор до равнин на уровне моря. Сверх того, если принять во внимание, что каждое приграничье составляет собственный «микромир» (с известными природными условиями, народами и языками, инфраструктурой и правилами оформления документов), возможности для сравнения становятся бесконечными.

Здесь, однако, я бы обратил внимание читателя не только на сравнение, но и на «переплетенную историю», о которой речь шла выше. С этой точки зрения можно, например, изучать приграничные города и поселки на той (нероссийской) стороне границы (см., например, книгу Бёррис Кузмани о Бродах в австрийской Галиции) или пары приграничных поселений, разделявшихся границей[7]. В эту группу можно также включить недавнюю книгу Сёрена Урбански про российско-китайскую границу[8]. Некоторые исследователи даже выделяют те места, где встречаются *три* государства[9]. Нам должны быть интересны и исследования, которые описывают приграничные проблемы с точки зрения соседних государств и их населения[10].

Короче говоря, сопоставление позволяет ставить новые вопросы, тогда как сосредоточение на «переплетенной истории» может показать через изучение приграничных регионов, что Россия развивалась не отдельно от других стран, но вместе с ними.

---

7 *Kuzmany B.* Brody: A Galician Border City in the Long Nineteenth Century. Leiden: Brill, 2017; *Adeslgruber P., Cohen L., Kuzmany B.* Getrennt und doch verbunden: Grenzstädte zwischen Österreich und Russland, 1772—1918. Wien: Böhlau Verlag, 2011.

8 *Urbansky S.* Beyond the Steppe Frontier: A History of the Sino-Russian Border. Princeton: Princeton University Press, 2020.

9 Можно указать на книгу Алиссы Парк про регион Дальнего Востока, где соединяются Китай, Корея и Россия: *Park A.* Sovereignty Experiments: Korean Migrants and the Building of Borders in Northeast Asia, 1860—1945. Ithaca: Cornell University Press, 2019; а также на исследование Франциски Экселер (Franziska Exeler) «Border Regimes» про границу Австрии, Пруссии и России (работа над ней продолжается). См. мой отзыв: *Werth P.* Russia's Borders in East and West // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. 2021. Vol. 22. No. 3. P. 623—644.

10 См. например: *Gözde Y.C.* Loyalty and Citizenship: Ottoman Perspectives on its Russian Border Region, 1878—1914. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2021.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Выше я уже назвал несколько работ, которые, на мой взгляд, заслуживают особого внимания. На русском языке можно также указать на исследование Адриана Селина о границе со Швецией в XVII веке, работу А.И. Рупасова и А.Н. Чистикова про межвоенную границу с Финляндией, а также полезный обзор менявшей российской границы на Кавказе, составленный Е.В. Архиповой[11].

Особое место, на мой взгляд, занимает удивительная книга Чарлза Майера «Попав в пределы» (“Once Within Borders”). Такую книгу смог написать только очень опытный историк, накопивший огромный опыт в течение 50 лет. Это «необыкновенная история», как Майер описывает книгу, характеризует «историю организации поверхности земли посредством права, войны, торговли и технологических изменений», а также «глубинную основу, которая способствует существованию государств и экономик»[12]. Как показывает Майер, многое в наших учреждениях и мышлении зависит от концепций территории и границ. Для размышления о целом ряде вопросов эта книга не знает себе равных.

Что касается будущего, то следует указать на проект журнала «Критика», посвященный пограничным районам в контексте войн (в этой связи выйдет, по всей вероятности, особый номер журнала)[13], а также сборник материалов и статей, которые готовят к печати моя швейцарская коллега Шарлотте Хенце (Charlotte Henze) и автор этих строк. В ней появится ряд работ ведущих молодых ученых и специалистов старшего поколения про российские границы в разные периоды и в разных частях страны[14].

Судя по всему, можно ожидать растущего количества работ по вопросу об истории современных границ России. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь сможет создать исследование, в котором синтезированы все эти работы, то есть общую историю границ Московии, Российской империи, СССР и Российской Федерации. Это, впрочем, всего лишь надежда.

---

11 *Селин А.* Русско-шведская граница (1617—1700 гг.): Формирование, функционирование, наследие. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр «Блиц», 2015; *Рупасов А.И., Чистиков А.Н.* Советско-финляндская граница, 1918—1938 гг. СПб.: Аврора, 2016; *Архипова Е.В.* Государственные границы России на Кавказе: Формирование и современные проблемы безопасности. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014.

12 *Maier C.* Once Within Borders: Territories of Power, Wealth, and Belonging since 1500. Harvard: Harvard University Press, 2016. P. 6.

13 “A World in Motion: Eurasian Border Areas in Times of War and Postwar”.

14 Предполагаемое название нашего предприятия — “Russia and Its Limits: Eurasian Borders in History”. Кроме самих редакторов, в нем принимают участие Эрл Джошуа Ходил (Earl Joshua Hodil), Адриан Селин, Эрика Монахан (Erika Monahan), Колум Лекей (Colum Leckey), Франциска Экселер (Franziska Exeler), Роман Ошаров, Ф. Беньямин Шенк (F. Benjamin Schenk), Андрей Шляхтер (Andrey Shyakhter), Штефан Риндлисбахер (Stephan Rindlisbacher), Гриффин Крич (Griffin Creech), Харрисон Кинг (Harrison King), Сабин Дюллен (Sabine Dullin) и Эрик Скотт (Erik Scott).

Уиллард Сандерленд

(*профессор истории Университета Цинциннати; PhD*)

1. Почему современного историка могут интересовать границы и приграничные регионы России? Есть ли в них что-то особенно значимое?

Военные конфликты на постсоветском пространстве последних лет невозможно понять без размышлений о том, в каких регионах они происходят, где эти регионы начинаются и кончаются, кто и по какому праву на них претендует и как они связаны с историческими и современными концепциями национальности и империи.

Это напоминает о том, что кажущиеся сугубо академическими вопросы, такие как: «что такое регион?» и «где его границы?», — могут оказаться вопросами жизни и смерти.

Приграничные регионы действительно своеобразны. Часто они представляют собою места кросс-культурных пересечений и государственных экспериментов, а также социальные пространства, позволяющие определять «нас» и «их». Эти пространства часто воспринимаются как уязвимые или, напротив, как открывающие новые возможности. В национальных или/и имперских границах есть нечто крайнее, что определяет, как и местные, и неместные жители воспринимают регионы, находящиеся на внешних границах государства.

В то же время своеобразие приграничных регионов не стоит преувеличивать.

Во-первых, не все государственные границы функционируют схожим образом или значат одно и то же, так что было бы упрощением предполагать, будто любые «пограничные регионы» представляют некий единый тип пограничья.

Во-вторых, реальные и воображаемые составляющие регионов часто не зависят от того, как этот регион соотносится с государственным пространством. География, демография, культура, идентичность, набор отношений к земле, к правительству, а в Новое время к нации — все эти элементы встречаются где угодно. Они далеко не обязательно начинают работать иначе благодаря присутствию границы.

Наконец, в случае России относительное расстояние от центра и близость к нерусским народам часто были не менее важны для регионального своеобразия. Неудивительно, что областники XIX века, такие как Афанасий Щапов или Николай Костомаров, мыслили в схожих категориях. Щапов, известность к которому пришла в то время, когда он жил и работал в Среднем Поволжье, был родом из Иркутской губернии, а Костомаров вырос в Воронежской губернии, учился в Харькове и стал страстным защитником малороссийской, то есть украинской, культуры, которую он называл «южнорусский элемент». Однако их взгляды во многом совпадали.

Лучше всего это выразил Щапов в своей первой лекции в Казанском университете, состоявшейся в ноябре 1860 года: «Скажу наперед: не с мыслью о государственности, не с идеей централизации, а с идеей народности и областности я вступаю на кафедру русской истории»[15].

---

15 *Щапов А.П.* Сочинения: В 3 т. Дополнительный том к изданию 1905—1908 гг. Иркутск: Восточносибирское областное издательство, 1937. С. IV.

Ему была ясна принципиальная разница — центр представлял власть, направленную сверху вниз, тогда как регионы — наоборот; центр представлял государство, а регионы — народ. И студенты собирались на лекции Щапова, как будто он рок-звезда, а не профессор-историк, ведь он был для них глотком свежего воздуха.

По сути, я хочу сказать, что регионы тяжело разделить по категориям — приграничные, внутренние и так далее — поскольку они существуют не только на земле, но и в сознании. Регионы всегда изменчивы, всегда связаны с конкурирующими определениями и ассоциациями. Присутствие государственной границы в этом отношении меняет немного.

В конце концов, граница — это просто-напросто линия. В некоторых исторических контекстах она может быть очень твердой, практически непреодолимой, а в других — мягкой почти до прозрачности. Но каковы бы ни были качества этой линии, как максимум она отмечает пределы государства, а не региона.

На самом деле, если подумать об этом с региональной точки зрения, более верно воспринимать границы как не столько линии, сколько зоны. Представьте два соседних государства в виде кругов на диаграмме Венна. Они не разделены линией. Напротив, граница — это зона их пересечения.

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно их изучать? Чем может помочь историку опыт антропологов, этнографов и других специалистов? Есть ли в этом отношении принципиальная разница между изучением приграничья и других регионов?

Нельзя писать историю без знания других дисциплин. Политология, антропология, социология, экономика, литературоведение, лингвистика, философия, в некоторых случаях археология — историку нужны они все. Любая хорошая история к тому же компаративна. Я не хочу сказать, что в любой книге или статье мы должны открыто сравнивать один объект с другим; скорее историки должны всегда держать сопоставительные навыки в тонусе, рассматривая конкретные вопросы в более общем контексте.

Региональная история для этого хорошо подходит. Мы задаемся, в сущности, компаративными вопросами: откуда происходят регионы России, как и кем они определяются, каков региональный образ жизни, как он меняется со временем, как взаимодействуют регионы внутри и вне государства?

В своей знаменитой речи на VI Международном конгрессе исторических наук в Осло в 1928 году Марк Блок выразил надежду, что настал момент «перестать бесконечно говорить о национальной истории»[16]. С тех пор прошло почти 100 лет, но наконец-то желание Блока сбылось. Сегодня можно назвать множество примеров хорошей *сравнительной* национальной и имперской, а в последнее время также и транснациональной и трансимперской истории. Однако еще есть место для более подробной сравнительной *региональной* истории.

16 *Bloch M.* Pour une histoire comparée des sociétés européennes // Revue de synthèse historique. 1928. n° 46. P. 49 (рус. пер.: *Блок М.* К сравнительной истории европейских обществ / Пер. с фр. И.К. Стаф // Одиссей. Человек в истории. Русская культура как исследовательская проблема. 2001. Вып. 13. С. 89).

Что касается источников по региональной истории, то они так же богаты и многообразны, как и у любой другой темы. Это государственные документы, религиозные материалы, деловые записи, научные отчеты, карты, литературные произведения, личные письма, фольклор, кино, искусство, архитектура, устные истории.

У пограничных регионов нет собственной, отдельной источниковой базы, хотя убедительная история пограничного региона требует использовать взгляд со всех сторон, что предполагает в случае необходимости работу с широким спектром материалов на разных языках.

Два недавних примера такого типа убедительной истории пограничных регионов — это исследование Эндрю Робартса, посвященное движению населения и общественному здоровью в российско-оттоманском мире Черноморья, и работа Сёрена Урбански о создании российско-китайской границы по реке Аргун[17].

3. С какими странами можно сравнить Российскую империю в смысле специфики границ и приграничных регионов и что это сопоставление может прояснить в российской истории?

Это сложный вопрос, на который нет простого ответа. Российская империя обладала сложными и разнообразными границами и пограничными регионами, которые принципиально изменялись со временем, но то же самое характерно и для других империй других периодов.

Как же провести самое полезное сопоставление?

Не просто проводя общие параллели между Российской империей и очевидно аналогичными случаями — такими, как династические континентальные империи Габсбургов, Оттоманов и Цинь, — но также выделяя конкретные исторические эпизоды, акторов и имперские практики, такие как колонизация или миссионерская политика, в разнообразных регионах и описывая разнообразные имперские контексты, чтобы обнаружить значимые сходства и различия.

Используя этот подход, мы скоро обнаружим, что описываем разные аспекты жизни в российском имперском пространстве в контексте бесчисленных государств далекого и недавнего прошлого, включая не только названные выше империи, но и многие другие — от Римской, Ассирийской, Монгольской, Могольской, Испанской, Британской до датско-норвежского государства и США.

Разумеется, этот подход подразумевает, что мы не можем предложить четкую и чистую картину того, что Александр Эткинд* назвал «имперским опытом России»[18] (лично я не уверен, что существует некий единый российский имперский опыт). В то же время есть и хорошая сторона: благодаря этому подходу мы можем уверенно утверждать, что Российская империя не была исключительной.

---

17 См.: *Robarts A.* Migration and Disease in the Black Sea Region: Ottoman-Russian Relations in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Centuries. London: Bloomsbury Academic Press, 2017; *Urbansky S.* Beyond the Steppe Frontier. A History of the Sino-Russian Border. Princeton: Princeton University Press 2020 (рус. пер.: *Урбански С.* За степным фронтиром: История российско-китайской границы / Авториз. пер. с англ. М. Закирова. М.: Новое литературное обозрение, 2023).

18 *Etkind A.* Internal Colonization: Russia's Imperial Experience. Cambridge; Oxford: Polity Press, 2011 (рус. пер.: Эткинд А*. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России / Пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013).

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

История России не уникальна; не уникальны и границы империи, какими бы сложными они ни были. Поскольку империи представляют собою древнюю и почти универсальную политическую форму, полезно помнить, что ни одна из них не может претендовать на абсолютную исключительность.

Это обсуждение напоминает мне прочитанную мною в аспирантуре увлекательную статью русско-американского историка Марка Раева, который задается вопросом, действительно ли «Российско-советская империя» представляет собою «такую же империю, как и другие». Раев ставит и пытается разрешить этот вопрос на протяжении более чем семи страниц, демонстрируя впечатляющую эрудицию и предлагая множество остроумных сопоставлений, но в итоге так и не приходит к простому ответу[19].

В самом деле, сопоставлять империи — тяжелое испытание, ведь их история распространяется на огромное время и пространство. Как нам осмыслить все это? Задача не из простых. И действительно, большинство попыток предложить общее объяснение или теорию оказались тщетными.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Что касается публикаций недавних лет в области сравнительной истории империй, то откуда начать?

Есть множество отличных работ, хотя, пожалуй, наиболее впечатляющее по охвату материала исследование, которое я читал, это недавнее и очень актуальное описание постимперских проектов от Первой мировой войны до наших дней, изданное Джейн Бёрбенк и Фредриком Купером[20]. Впечатляющее исследование Рикарды Вульпиус, посвященное российским имперским практикам XVIII века, также предлагает множество убедительных сравнительных моментов, как и новое исследование Батшебы Демут о Беринговом проливе[21]. Если говорить о менее объемных исследованиях, то стоит отметить отличное краткое описание российской территориальной экспансии и вопроса о ее границах и их значении начиная с XII века, написанное Полом Вертом[22].

Журнал «Регион: региональные исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии» (“Region: Regional Studies of Russia, Eastern Europe, and Central Asia”) регулярно публикует ценные исследования по региональной истории. Я надеюсь, что новый журнал «Территория: журнал исторических исследований», издающийся в Высшей школе экономики, также станет площадкой для новых исследований в этой области[23].

---

19 *Raeff M.* Un empire comme les autres? // Cahiers du monde russe et soviétique. 1989. Vol. 30. n° 3/4. P. 321—327.

20 Post-Imperial Possibilities: Eurasia, Eurafrica, and Afroasia / Ed. by J. Burbank and F. Cooper. Princeton: Princeton University Press, 2023.

21 *Vulpius V.* Die Geburt des Russländischen Imperiums: Herrschaftskonzepte und Praktiken im 18. Jahrhundert. Cologne: Böhlau, 2020 (рус. пер.: *Вульпиус Р.* Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке / Пер. с нем. М. Богданович. М.: Новое литературное обозрение, 2023); *Demuth B.* Floating Coast: An Environmental History of the Bering Strait. New York: W.W. Norton & Company, 2019.

22 *Werth P.W.* How Russia Got Big: A Territorial History. London: Bloomsbury, 2025.

23 См. сайты этих журналов: Регион (https://muse.jhu.edu/journal/585 (дата обращения: 06.04.2025)); Территория (https://www.hse.ru/rrh/journal (дата обращения: 06.04.2025)).

Перспектива филолога/искусствоведа

Клавдия Смола

(*доктор наук, профессор Дрезденского университета (Германия), заведующая кафедрой славянских литератур*)

1. Почему современного исследователя может привлекать литература пограничья? В каких отношениях она оказывается интереснее или важнее, чем более привычный литературный канон?

Для меня литературы пограничья интересны тем, что особенно явственно отражают в себе характер имперской власти — ее национальную политику, обращение с этническими меньшинствами и степень ее толерантности. Эта ветвь исследований, пережившая невиданный бум после распада коммунизма, сегодня опять становится одной из самых актуальных: в свете политических событий последних лет в Восточной Европе (и не только там) гуманитарные науки просто уже не смогут развиваться вне этого поля, причем на новом культурном и географическом материале, который рождается и еще долго будет рождаться вследствие пре-ступления границ. Кроме того, эти литературы еще менее, чем раньше, смогут изучаться без знания других локальных языков, кроме русского.

В исторической перспективе нам все это, конечно, уже известно: популярность темы границ после перестройки, о которой я упомянула, была связана с переворотом в представлениях о «Другом» в обществах бывшего социализма. (Я уже писала об этом на страницах «НЛО»[24].) Если международная Ассоциация по изучению приграничных регионов (Association for Borderlands Studies) была основана уже в 1976 году с целью исследования территорий на границе США и Мексики (тема, которая самое позднее при Трампе обрела печальную актуальность: интересно, что в первый срок правления Трампа количество культурологических работ о феномене стены резко возросло), то в бывшем «восточном блоке» импульсом для развития теории пограничья стало падение Берлинской стены. Так, в Польше литература пограничья (literatura kresowa) стала полем дебатов о полоноцентризме, культурном колониализме и о регионах с утраченным в ходе советизации многоязычием. Но уже в 1980-е годы развернулась знаменитая дискуссия о Центральной Европе, объединившая таких интеллектуалов-эмигрантов, как Милан Кундера, Мило Дор, Данило Киш, Чеслав Милош, Дьёрдь Конрад и британского историка Тимоти Гартон-Эша. Этот пограничный регион, зажатый между двумя державами, они мифологизировали как некую навсегда ушедшую в прошлое Аркадию — место забытой мультикультурности, «западности» и духовной эмансипации. Накануне коллапса империи миф Центральной Европы сливался с ностальгией по культурной географии Габсбургской монархии и высокой австрийской культуре рубежа веков. Без этой исторической дискуссии трудно представить себе таких

24 *Калинин И., Смола К.* Империя постколониальных ситуаций: логики (холодной) войны — горизонты мира // Новое литературное обозрение. 2022. № 178 (6). С. 251—272.

писателей-«приграничников», как, например, Юрий Андрухович или Анджей Стасюк. Вообще, все, что начало процветать в гуманитарной академии после распада коммунизма, — интерес к открытым (со)обществам, индигенным группам, еврейским культурам Европы до Холокоста, постколониальной субъектности и прочее — было так или иначе связано со смещением фокуса внимания на явления пограничья. Тогда, например, концептуальные различия между понятиями “border”, “boundary“ и “frontier” стали рассматриваться на множестве новых географических примеров (я, разумеется, не говорю о возникновении этих терминов: «тезис фронтира», например, был выдвинут американским историком Фредериком Тёрнером еще в 1890-х годах).

Литература окраин стала интересна и важна как свидетельство, с одной стороны, национального и этнического насилия, с другой — незамеченного до сих пор многообразия культурных форм, то есть противоположность мнимым отсталости и провинциализму. Для мейнстрима российских гуманитарных наук литература регионов Кавказа, Средней Азии, Дальнего Востока и Сибири стала вдруг видимой — в первую очередь как знак культурной агентности и непрямого сопротивления центру. Оказалось, например, что, несмотря на ассимиляционную политику (и благодаря ей), коммунистическая империя породила формы плодотворного смешения, «третьи пространства», пространства «между», если воспользоваться известной терминологией Хоми Баба. Литература периферийных и пограничных регионов говорила о том, что индивидуум мог быть включен в социальные и культурные связи, альтернативные по отношению как к западно-либеральным, так и коммунистическим ценностям, и способен делать (пусть и ограниченный) культурный выбор.

Надо еще отметить, что дебаты о деколонизации знания после февраля 2022 года — желание диверсифицировать как наши якобы универсальные культурные эпистемы, так и ограниченное, ориентированное на перспективу имперской власти понятие модерности — начались уже в литературах советского пограничья и дискурсах либеральной интеллигенции с периода оттепели. С одной стороны, термин (де)колонизации был частью языка советского истеблишмента, с другой — в 1960—1970-е годы им пользовались самые разные культуртрегеры в духе десталинизации и реабилитации депортированных народов (поволжских немцев, крымских татар, чеченцев или ингушей). Как мне кажется, современным гуманитариям важно было бы иметь в виду эту генеалогию понятий и терминов, чтобы избежать исследовательского презентизма.

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно изучать литературу? Чем может помочь исследователю опыт антропологов, этнографов и других специалистов?

Сегодня изучение литератур пограничья вливается в самые разные дисциплины и одновременно пользуется их методами и темами: это в разных сочетаниях культурная география, антропология, экология, гендерные исследования, история науки и др. В последние два-три десятилетия количество проектов и публикаций, исследующих гибридные и пограничные культуры бывших и настоящих империй, стремительно возросло. Сначала это произошло в ходе парадигматических сдвигов в самой науке литературоведения, когда на смену лингвистическому и интерпретативному поворотам где-то с середины 1980-х годов (на постсоветском пространстве позже: здесь очень долго в центре деба-

тов находились формализм и отечественная семиотика) пришли теории, переставшие отдавать предпочтение тексту как всеобъемлющему принципу объяснения реальности. Хотя без (де)конструктивизма с его теориями семантической границы и рамки, Фуко и Лиотара не было бы всего того, что пришло им на смену, тем не менее интеллектуальная конъюнктура повернулась в сторону материальности, прагматики, социума и внедискурсивного окружения, которые противились концепциям чистых разрезов. В XXI веке такие философские направления, как спекулятивный реализм, объектно-ориентированная онтология, исследования антропоцена, акторно-сетевая теория и их многочисленные ответвления стали мощной подпиткой для литературоведения. Литературу, разумеется, не перестали изучать и преподавать как особый символический дискурс и «вторичную моделирующую систему», но она стала все больше восприниматься как лишь один из антропологических языков, привязанных к телесному, индивидуально обживаемому в определенном месте опыту и тесно сплетенный с другими языками (ср. концепцию «расположенных знаний» и политики близости Донны Харауэй[25]). Если в 1990-е годы заниматься биографическим литературоведением стало неинтересно, а приписывать высказывания персонажей автору — вообще дурным тоном, то сейчас, уже на новом витке, этому автору возвращают его физическую оболочку, отнятую (пост)структуралистами, что обогащает, например, disability studies или queer studies в литературоведении. Теории материальности поставили под вопрос и усложнили аппарат лингвистических методов работы с понятием границы как «чистого» различия.

Литература пограничья как раз и стала особенно востребованной как рефлексия и одновременно результат эмпирически богатого и всегда неоднозначного антропологического опыта, взрывающего *границы* какого бы то ни было единого нарратива. Контаминированные идентичности, идиосинкразии этнического сосуществования, непрямолинейные процессы аккультурации — все это формы нарушения воображаемой монолитной структуры или доказательство, что таковой просто не существует. Так, например, каждый регион, этническая группа или культурная подгруппа по-разному реагировали на советизацию, развивали свои формы компромисса и промежуточности, в том числе в литературе соцреализма. Все это сейчас активно изучают советологи на разных континентах, причем многие из них приводят работы теоретиков деколониализма, таких, например, как нигерийский искусствовед Окви Энвезор. Говоря о разных типах присвоения современности, Энвезор писал о преобразовании модерности в специфические местные варианты в Китае и Южной Корее, о своего рода «цитате» Европы в Азии[26].

Отдельная тема — это как литературы пограничья российской, а потом и советской империй стали в последние лет двадцать приоритетным предметом постколониальных исследований. Это было совсем не случайно: постколониальная теория 1990-х родилась как раз из духа литературоведения, будучи амальгамой лингвистически-(де)конструктивистских и лево-марксистских идей, в том числе британских cultural studies. Язык, текст и дискурс находились

25 *Haraway D.* Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective // Feminist Studies. 1988. Vol. 14. No. 3. P. 575—599.

26 *Enwezor O.* Modernity and Postcolonial Ambivalence // The South Atlantic Quarterly. 2010. Vol. 109. No. 3. P. 596.

в центре внимания второго и, может быть, самого влиятельного поколения теоретиков постколониализма (Баба, Спивак). Дебаты о деколонизации языка, проблемах репрезентации расы и гендера и символической власти развивались именно вокруг литературных текстов. Именно здесь появился термин “writing back” («ответного письма»): как утверждают Билл Эшкрофт, Гарет Гриффитс и Хелен Тиффин[27], акт колонизации становится видим в самом акте создания текста на языке «импортированной», присвоенной культуры. Это очень важный момент в изучении бывших советских литератур. Я несколько лет занимаюсь младописьменными литературами Сибири, и на их материале особенно хорошо видно, как коренные северные писатели (эвенки, чукчи, ненцы и другие), закончив университеты в Москве или Ленинграде и впитав образцы литературы русских беллетристов и этнографов, воспроизводили, с одной стороны, имевшиеся стилистические матрицы, с другой же — «изобретали» взгляд на себя как одновременно на своего и на чужого/другого. Они сумели создать очень интересную и еще мало изученную литературу промежутка.

3. Есть ли какое-то своеобразие у литературы приграничных регионов Российской империи и Советского Союза по сравнению с другими странами? Перспективно ли сопоставительное изучение литературной ситуации разных регионов?

Нерусофонные литературы обеих названных в вопросе империй являли все признаки так называемых дефисных литератур, в последние десятилетия активно изучающихся на примере миноритарных, пограничных и постколониальных текстов в Америке, Испании или Франции: это стилистическая и жанровая гибридность, би- или поликультурность и часто техники подспудного сопротивления или компромиссов — одним словом, перформативные свидетельства сосуществования с русско-советским мейнстримом. Однако, например, советскую многонациональную литературу еще почти не изучали в свете мультилингвальных практик и стратегий адаптации, далеких как от прямого эстетического диссидентства, так и от прямого подражательства. С другой стороны, в советских региональных литературах было много того, что в последние десятилетия интересует ученых разных континентов в литературе глобальных мигрантов и диаспор. Лишь в последнее время появляются статьи, в которых сравниваются поэтики коренных авторов разных геополитических сфер. Так, Леонид Чекин разбирает произведения, написанные в 1960-е и 1970-е годы на инуктитуте в Канаде, на калааллисуте в Гренландии и на науканском диалекте на советской Чукотке, сравнивая, между прочим, Маакуси и Зою Ненлюмкину[28].

Сопоставительное изучение литературной ситуации в разных странах важно, как это ни банально звучит, для того, чтобы выйти за пределы своего геополитического пузыря (тоже проблема эпистемологических границ). Например, во имя той же деколонизации угнетенных народов, но только советского производства, в республиках СССР были созданы многочисленные транснациональные и межкультурные связи с «третьим миром», которые сейчас ак-

27 *Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H.* The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. London: Routledge, 1989.

28 *Чекин Л.С.* Инуитская литература, постколониальная критика и проблемы переводимости // Новое литературное обозрение. 2020. № 166 (6). С. 114—142.

тивно изучают как «красную» глобализацию. Это очень повлияло на то, как дискурс глобализации разворачивался на постсоветских территориях и как он соединялся с западными глобальными альянсами. В период перестройки и в 1990-е годы именно региональные писатели с их поликультурностью и двуязычием (не только Айтматов, их было несколько десятков) стали политиками с серьезным влиянием на международные отношения. Например, коренные писатели Сибири стали объединяться с американско-индейскими авторами для создания организаций по защите окружающей среды. Изучение всех этих фактов способствует перекартированию наших представлений о зонах культурной коммуникации и (не)проницаемости границ. Я сейчас работаю над книгой о том, какую роль советские национальные литераторы играли в создании концепций паназиатских, пантюркских или панарктических союзов начиная с периода перестройки, и здесь очень интересно не только сопоставить ситуации по разные стороны геополитических границ, но и показать, как писатели разных регионов глобального пограничья создавали сети сотрудничества и искали общий язык вне культур центра своих стран.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Отчасти я, наверное, уже ответила на этот вопрос. Если кратко, то я думаю, что будущее принадлежит исследователям с двумя, тремя и больше региональными экспертизами; что исследованиям пограничных регионов будет как никогда необходимо расширение географических и геополитических горизонтов и что одна из основных задач нашего и следующего поколений гуманитариев будет связать информационные поля и аналитические габитусы, с одной стороны, региональных исследователей, обладающих очень небольшим символическим и экономическим капиталом, с другой — влиятельных западных экспертов, установив более симметричные и плюралистичные отношения в академии.

Мария Чернышева

(*кандидат искусствоведения, независимый исследователь*)

1. Почему современного исследователя могут привлекать художественные практики пограничья? В каких отношениях они оказываются интереснее или важнее, чем более привычный художественный канон?

Я отвечу на вопросы, опираясь на свой опыт визуальных исследований, связанных с Туркестанским генерал-губернаторством и Царством Польским. Принципиальные различия между этими окраинными территориями Российской империи включали в себя не только их географическую и культурную дистанцированность друг от друга, но и характер их отношений с имперским центром, которые в случае Царства Польского нельзя определять как взаимодействие между метрополией и колонией. В целом, изобразительность, порождаемая пограничьем и/или направленная на него из имперского центра, всег-

да содержит важный материал для изучения культурной идентичности центра. Пограничье сохраняет актуальность в рамках постсоветской волны исследований империи и национализма.

Русский Туркестан в изобразительном контексте XIX века ассоциируется прежде всего со знаменитой Туркестанской серией Василия Верещагина. Обращение художника в рамках колониальной стратегии к репрезентации «отсталого» региона не только послужило вписыванию этого региона в современную «цивилизованную» картину мира, но стало сильной модернизирующим стимулом для самой «цивилизующей» стороны. Недавно завоеванный «отсталый» край сыграл прогрессивную роль как свободное поле для культурных инноваций, в чем-то более благоприятное, чем метрополия. Верещагин приобрел беспрецедентную популярность в России и на какое-то время стал самым известным русским художником в Европе благодаря Туркестанской серии. Она была создана отчасти по образцам модных ориентальных картин его парижского учителя Жана-Леона Жерома, экспонирована и репродуцирована на новейшем технологическом уровне при поддержке культурных и политических амбиций, а также казенных ресурсов генерала Константина фон Кауфмана, первого губернатора Туркестана, с которым Верещагина связывали неформальные отношения соратников. Верещагин не просто выполнял государственный заказ, с Туркестана началась его репутация публичной фигуры и предпринимателя от искусства, которая была внове для русских художников. Туркестанское сотрудничество Верещагина с Кауфманом ускорило внедрение в России новых стандартов визуальных практик и художественного рынка. Хотя в какой-то степени это было результатом удачного стечения обстоятельств.

Что касается польских земель, то разделы Речи Посполитой в конце XVIII века между Россией, Австрией и Пруссией обернулись для польской нации более чем вековым испытанием погранично-трансграничного существования. Польскую культуру XIX века трудно исследовать, не учитывая фактор пограничья/трансграничья. Если же смотреть на ситуацию с российской стороны, то очевидно следующее. В то время как отношения имперского центра, например, к среднеазиатскому региону строились на презумпции российского военного и цивилизационного превосходства, отношения к Царству Польскому — на основаниях военного превосходства и культурного соперничества. Соперничество питается допущением, пусть и подспудным, относительной близости и равенства сторон. Для имперского центра вызовом были не только культурные отличия поляков от русских (сопровождающиеся немалым взаимным сходством), но западная ориентированность и сама развитость их национального самосознания. Туркестан предоставлял имперскому центру материал для самоопределения в сравнении с «другим-далеким», Царство Польское — в сравнении с «другим-близким». Было бы интересно сопоставить эти два имперских профиля: один, обращенный к южной периферии, другой — к западной.

Польские живописцы раньше русских сделали ставку на Париж как художественную столицу Европы. Но более важна была их открытость культурной жизни и публичной сфере за пределами узкой профессиональной повестки (в чем тоже было чему поучиться у французов), выраженность в их творчестве гражданского чувства, которое при отсутствии польской государственности проявлялось как ответственность за судьбу нации. Русские художники долгое время оставались корпоративно (если не сказать ремесленно) очень замкнуты. Иными словами, русское изобразительное искусство позже, чем польское, и

позже, чем русская литература, обрело «право гражданства». Собственно, первые заметные шаги в этом направлении оно совершило в эпоху Верещагина и во многом благодаря ему. И не лишен парадоксальности тот факт, что художник, прошедший творческую инициацию в Средней Азии, чрезвычайно способствовал сближению русского искусства с мейнстримом в культуре Запада.

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно изучать художественные практики приграничья? Чем может помочь исследователю опыт антропологов, этнографов и других специалистов?

С рубежа XX—XXI веков репрезентация Востока в Европе второй половины XIX столетия стала предметом комплексных и плодотворных визуальных исследований. Сначала на французском и британском материале, чуть позже на российском было многосторонне раскрыто значение этнографических коллекций и выставок, а также ранних этнографических, туристических и пропагандистских фотографий восточных стран и европейских колоний в культуре ориентализма в целом и для ориентальной живописи в частности; было показано, насколько заметен вклад колониальных репрезентаций в развитие новых форм европейской зрелищности, а также насколько существенна роль новых визуальных механизмов в колониальной политике.

Примерно тогда же началось активное изучение Туркестанской серии Верещагина как проекта не только художественного, но и политического, что в советское время было невозможно по идеологическим причинам. Постколониальные и постсоветские исследования Центральной Азии, российского колониализма, проблематики империализма и национализма сформировали серьезную фактологическую и концептуальную базу для анализа российской колониальной изобразительности в этом ключе.

Вместе с тем ориентальную живопись небесполезно изучать как художественный жанр с его эпохальными и национальными вариациям. Не стоит забывать, что она так же, как, например, ориентальные формы в архитектуре, существует хотя и внутри широкого явления ориентализма, но отчасти по собственным правилам. Разумеется, ориентальная живопись и архитектура могут как быть, так и не быть связаны с колониальными реалиями, например российской Средней Азии. И наоборот, не все туркестанские картины Верещагина могут рассматриваться как образцы ориентальной живописи. Историки, этнографы, антропологи, искусствоведы продолжают рассуждать об особенностях и по европейским меркам нетипичности русского ориентализма. Но и его феномен в целом и, скажем, традиция неомавританского стиля в архитектуре — это нечто более весомое и бесспорное в российской истории, чем довольно эфемерная и сомнительная местная традиция ориентальной живописи. И это положение дел достойно, пожалуй, большего внимания, чем ему до сих пор уделяли.

При исследовании изобразительного и, шире, визуального материала, связанного с российским колониальным пограничьем, очень важно не упускать из вида общеевропейский имперский контекст; компаративному рассмотрению здесь подлежат как идеологические, политические и географические модели колониализма, так и порождаемые ими репрезентации.

Компаративистский подход важен и при изучении визуальной культуры Царства Польского, главного российского «окна на Запад». В XIX веке панъ-

европейские тренды в национальных художественных школах Европы, включая Россию, были очень сильны. Польская и русская живопись имели много общего, и тем перспективнее сопоставление польского и русского искусства для выявления не лежащих на поверхности, но значимых различий. Это помогает нам лучше понять несовпадения в культурных приоритетах обеих наций.

Особым предметом исследования является польский национализм как лишенный в XIX столетии суверенного государственного фундамента и поддержки и тем не менее (или тем более?) обладающий силой и оформленностью, в том числе визуальной. Учитывая, что репрезентация польской национальной идентичности не приветствовалась имперскими властями, отдельный интерес вызывают те средства, приемы и формы, которые польские художники использовали для успешного решения этой задачи.

3. Есть ли какое-то своеобразие у художественных практик приграничных регионов Российской империи по сравнению с другими странами? Перспективно ли сопоставительное изучение художественной ситуации разных регионов?

Выше было упомянуто, что в русском искусстве ориентальная живопись не оставила заметного следа, в то время как во Франции и Великобритании XIX века она переживала расцвет. Сопоставление ориентальных картин Верещагина и его французского учителя Жерома высвечивает два главных различия между ними. Прежде всего в Туркестанской серии Верещагина, даже когда он изображал мужское поклонение хорошенькому мальчику-танцору или демонстрацию покупателю раздетого невольника, отсутствовал тот эротизм, который обеспечивается не только сюжетом, но и его трактовкой и который наполнял английскую и особенно французскую ориентальную живопись. Специфика туркестанских работ Верещагина связана также с типом показываемого в них насилия. В западноевропейской ориентальной живописи были не приняты сцены торжествующего и символически закрепляемого насилия туземцев над европейцами. Французские художники-ориенталисты изображали обезглавливание как практику внутри этнических групп Востока, а Верещагин не раз изображал глумление туземцев над отсеченными головами русских солдат.

Другое дело, что Восток, которым широко вдохновлялись западные художники, далеко не всегда был колониальным и всегда был заморским, если не считать старые мусульманские памятники Гранады. Колониальные владения Французской и Британской империй нельзя назвать их приграничьем в том смысле, в каком приграничьем Российской империи являлся Туркестан.

В случае с Польшей XIX века речь скорее должна идти о едином своеобразии польских земель как окраин разных государств. Кроме того, польская визуальная культура не позволяет говорить о качественном доминировании имперского центра над периферией. Выше уже было замечено, что изобразительная продукция Варшавы, с одной стороны, и Петербурга с Москвой — с другой, более или менее равно вписывалась в общеевропейские тренды. Но статус художника и роль искусства в Царстве Польском были в течение какого-то времени более значимы и в большей степени отвечали современным европейским нормам, чем в России. Если же бросить взгляд за пределы Российской империи, мы увидим, что в Австрии второй половины XIX века самым талантливым живописцем был уроженец и житель Кракова Ян Матейко, превосхо-

дивший лучшего венского мастера Ганса Макарта. В свою очередь, в Кракове, и когда он оставался Вольным городом, и после того, как его аннексировала Австрия, художественная жизнь была свободней, чем в Варшаве.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Среди тех визуальных исследований русского ориентализма, в фокусе которых сохраняется сама проблема пограничья, надо назвать коллективную монографию «Фотографируя Центральную Азию…»[29]. Она существенно дополняет наше представление о составе, характере и динамике выстраиваемого образа Центральной Азии и сквозь призму этого материала стремится переосмыслить возможности фотографии как медиа не только фиксирующего, но и конструирующего реальность, политическую, социальную, культурную. В концептуальном и методологическом аспекте с этой книгой перекликается коллективная монография, готовящаяся на основе конференции «Визуальная история завоевания Туркестана…»[30]. Замысел конференции родился из наблюдения, что изображений именно завоевания Туркестана царской армией известно крайне мало, и эта ситуация контрастирует с тем, как другие крупнейшие державы освещали свои колониальные кампании. Книга должна будет ответить на вопросы, как можно объяснять этот дефицит визуальных свидетельств и как в немногих имеющихся рассказ о завоевании варьируется в зависимости от разных используемых техник, изобразительных и фотографической.

Для меня актуальным остается вопрос: при каких условия и в каких случаях европеизирующие имперские репрезентации Туркестана могут быть признаны независимыми от колониальной предвзятости? Всегда ли европеизация, как и экзотизация образа колоний, была подчинена потребностям и оптике колониализма? Многие постколониальные исследования эксплицитно или имплицитно отвечают на этот вопрос утвердительно, что упрощает картину функционирования культуры.

Культура Царства Польского в его взаимодействии с имперским центром изучена историками гораздо лучше, чем искусствоведами и специалистами в области визуальности. Освещены различные аспекты российско-польских художественных контактов на примере биографий некоторых польских художников и архитекторов, включая такие эпизоды карьер, как обучение в Императорской Академии художеств, участие в петербургских и московских выставках или выполнение российских частных и государственных заказов. Что касается художественной проблематики, искусство Царства Польского рассматривается в едином русле польского искусства, творчество отдельных польских мастеров — также в едином русле русского искусства. Мало разработанным и перспективным направлением исследований остается выявление различий в национальных приоритетах через сопоставление польской и русской изобра-

29 Photographing Central Asia: From the Periphery of the Russian Empire to Global Presence / Ed. by S. Gorshenina, S. Abashin, B. De Cordier, and T. Saburova. Berlin: De Gruyter, 2022. Книга охватывает как имперский, так и советский и постсоветский периоды.

30 Histoire visuelle de la conquête du Turkestan par l'empire russe, 1860—1900: témoignages, représentations, commémorations, décolonisation. Paris, Institut d'études slaves, 10—11 oct. 2022.

зительных практик при их тесном сосуществовании и переплетении в рамках общих имперских границ XIX века. В этом направлении я постаралась продвинуться в своей недавней книге, сосредоточенной на исторической тематике русской и польской живописи XIX столетия[31]. Я показываю, что в культуре этого времени панъевропейская тенденция, которую я называю феминизацией истории, затронула польское искусство в большей степени, чем русское.

Как упоминалось выше, польская национальная авторепрезентация, вынужденная в Российской империи обходить цензуру, была ярким и сложным явлением. Хотя она хорошо изучена, как и та важная роль, которую в ней играли женские образы, неиссякаемый интерес исследователей к этому предмету понятен и оправдан. Из последних публикаций обращает на себя внимание статья, касающаяся деятельности в Париже поляков, эмигрировавших из России после Ноябрьского восстания за национальную независимость[32]. Речь идет о совокупности издательских стратегий и технических приемов, позволяющих через тексты и изображения поддерживать в соотечественниках — и в тех, которые покинули родину и были рассеяны по миру, и в тех, которые остались ограниченными в праве национальной публичности на родной земле, — приватную связь с нацией.

Из частностей мне было бы любопытно увидеть новые подтверждения или опровержения того, что Василий Верещагин был российским военным агентом, а также узнать, за какие заслуги и при каких обстоятельствах Войцех Герсон, главный модератор художественной жизни в Царстве Польском, был награжден имперскими властями медалью за участие в подавлении Январского восстания в Польше.

Елизавета Чуприкова-Крынская

(*Ассоциация искусствоведов* (*АИС*))

1. Почему современного исследователя может привлекать литература/изобразительное искусство пограничья? В каких отношениях они оказываются интереснее или важнее, чем более привычный литературный канон?

Литература и изобразительное искусство, связанные с границами как бывшей Российской империи, так и современной России, до сих пор могут привлекать своей нетривиальной экзотической составляющей — по крайней мере, на первом этапе исследования. Но и сугубо этнографический интерес в наши дни, на мой взгляд, не самодостаточен и не может быть следствием простого стремления узнать больше, например, о бытовой стороне жизни как народов-соседей, так и, скажем, народов азиатской части нашей страны. Скорее всего, этот интерес будет подкрепляться концепцией/дискурсом о феномене культурного Другого, в кото-

31 *Чернышева М.* Феминизация истории в культуре XIX века. Русское искусство и польский вектор. М.: Новое литературное обозрение, 2024.

32 *Young T.* Picturing Novembrists in Paris: Gender and Diasporic Politics in Józef Straszewicz's "Historical Gallery of Contemporary Poland," c. 1832—1837 // The Polish Review. 2024. Vol. 69. No. 2. С. 5—35.

рый можно погружаться по принципу ближайшего соседства наций или даже по принципу разделения по частям света. Тем не менее на интерес к теме в целом в современном российском обществе указывает, на мой взгляд, такой пример из области книгоиздания: в 2019 и 2024 годах был опубликован роман о колониальном прошлом империи «На далеких окраинах» (во втором издании совместно с романом «Погоня за наживой») художника-путешественника Николая Николаевича Каразина (1842—1908), а полное собрание его сочинений насчитывает двадцать томов! Есть и другие примеры, например, парадная по своему оформлению серия «Великие путешествия» издательства «Эксмо», где можно познакомиться с трудами таких российских путешественников и ученых, чье исследовательское направление было связано с территорией Центральной Азии, как Петр Семёнов-Тян-Шанский, Иван Мушкетов, Владимир Обручев; художник Василий Верещагин. Однако стоит отметить, что все указанные издания неизменно дороги и периодически исчезают из широкой продажи. И стоит еще отметить, что после этого поколения в советский период фокус внимания смещается в сторону формирования местных интеллектуальных национальных сил: можно здесь вспомнить таких известных литераторов и ученых-филологов, как Садриддин Айни из Таджикистана, Сильва Капутикян из Армении — чьи произведения и исследования неизменно затрагивали вопросы национальной идентичности.

В «Литературной энциклопедии» под редакцией А.В. Луначарского (1931) Николай Каразин был назван, среди писателей прошлого, одним из немногих ярких представителей колониального романа. Несмотря на идеологический налет формулировки, к прозе, живописи и графике Каразина однозначно стоит присмотреться как ради экзотики, так и аккуратной этнографической фиксации.

2. С помощью каких методов и на основании каких источников можно изучать соответствующую литературу/искусство? Чем может помочь исследователю опыт антропологов, этнографов и других специалистов?

Исследователи, подбирая литературу, будут действовать из сообразности своей специальности и теме, работая в архивах, библиотеках, музейных пространствах и собраниях и привлекая огромное поле материалов, от источников — прижизненных изданий, публикаций в периодике, дневников и так далее — до самой новой литературы, диссертаций, монографий, переизданий воспоминаний современников исследуемых событий. Если исследование связано с маршрутом того или иного путешествия, придется, скорее всего, не раз открывать Google Карты.

Удивительно, но труды вышеназванных авторов второй половины XIX века продолжают иметь огромное значение для науки и культуры. Так, в 2024 году члены Русского географического общества (РГО) — палеосейсмологи, географы, геологи, археологи — повторили часть пути Петра Семёнова-Тянь-Шанского по Центральной Азии: проект планируют довести до 2027 года, года двухсотлетнего юбилея ученого. Использовался комплексный метод исследования, согласно «философии меняющегося мира» последнего.

3. Есть ли какое-то своеобразие у литературы/искусства приграничных регионов Российской империи и Советского Союза по сравнению с другими странами? Перспективно ли сопоставительное изучение литературной и художественной ситуации разных регионов?

Безусловно, сопоставительное изучение литературной ситуации разных стран, а также аспектов изобразительного искусства, связанных с приграничными территориями, единственно верный путь увидеть законченную картину. В этом контексте крайне выразителен феномен художника и писателя Николая Каразина — он один из немногих российских беллетристов, пишущих о народах, у которых к тому времени еще не было своей светской формы литературы; его первый роман «На далеких окраинах» публиковался в журнале «Дело» в 1872 году. И нельзя не сопоставить этот опыт с немецкой и французской литературами. Говоря о живописи, мы не можем не вспомнить художников, путешествующих по Северной Африке: Эжена Делакруа, Теодора Шассерио, Эжена Фромантена. Это большой и плодотворный разговор и ретроспектива.

Что же до статей-заметок Каразина по результатам научных экспедиций в Западный Туркестан, опубликованных в популярных журналах «Нива» и «Всемирная иллюстрация» в сопровождении примеров эффектной графики (гравюр, созданных по рисункам и акварелям автора), то они наследуют дискурсу литературно-художественной фиксации “voyage pittoresque”/«живописное путешествие», который в западноевропейской истории искусства традиционно связывают со второй половиной XVIII — первой половиной XIX веков.

4. Какие исследования последних лет в этой области кажутся вам наиболее перспективными и почему?

Независимо от темы исследования, важно, мне кажется, обращаться к исследованиям Новейшего времени, чтобы изучить историю взаимодействия Востока и Запада как двух культурно-политических конструктов. И регион Центральной Азии, безусловно, является, пользуясь словами посла Ирана в Турции Алирезы Бигдели, «одним из главных центров культуры Востока», «символом Шелкового пути и точкой пересечения цивилизаций»[33]; находится в ракурсе моей научной работы о графических циклах Николая Каразина. С этой позиции я бы рекомендовала познакомиться со следующими ключевыми, на мой взгляд, трудами в хронологической последовательности их первоизданий: во-первых, это терминологически определяющий «Ориентализм» литературоведа и филолога Эдварда Вади Саида (1978; на русском 2016, 2021 и 2023), из книг «Нового литературного обозрения» — это «“Собственный Восток России”. Политика идентичности и востоковедения в позднеимперский и раннесоветский период» Веры Тольц (2013), где рассматривается восприятие Востока в России Серебряного века с позиции деятельности специфической группы ученых-востоковедов из Санкт-Петербурга, и книга Светланы Горшениной «Изобретение концепта Средней/Центральной Азии: между наукой и геополитикой» (русский перевод 2019, часть исследования 2014 года на французском языке), предлагающая к рассмотрению историю выработки этого концепта в рамках неумолкающих дебатов о правильном наименовании и границах региона.

33 *Бигдели А.* Центральная Азия: пути развития // Актуальные проблемы Центральной Азии. Материалы международной научно-практической конференции: «Центральная Азия и Россия: перспективы взаимовыгодного сотрудничества» (Москва, 16 октября 2019 г.). М.: Институт стран СНГ (Институт диаспоры и интеграции), 2020.

Границы империи, границы другого

Александр Ф. Филиппов

Горизонты империи[1]

Alexander F. Filippov

The Horizons of Empire

Александр Фридрихович Филиппов (НИУ Высшая школа экономики, профессор; доктор социологических наук) afilippov@hse.ru.

Ключевые слова: империя, государство, граница, пространство, фронтир, горизонт

УДК: 316.012
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_97

В статье рассматривается теоретико-социологический подход к понятию империи. Специфика империи заключается в величине ее пространства, но это пространство не заключено внутри прочных установленных границ, как у территориальных государств, граничащих друг с другом. Даже если империи включены в системы межгосударственных отношений, идеологии властвующих в них групп предполагают безграничность расширения. Это много раз встречалось в истории и может быть описано при помощи феноменологической категории «горизонт». Горизонт ближайшим образом означает, что пределы для зрения и достижимости для действий все-таки есть. Но по сути он представляет собой бесконечное «и так далее» при планировании действий и коммуникаций, и это остается константой, независимо от политических успехов и неудач.

Alexander F. Filippov (PhD; Professor, NRU Higher School of Economics) afilippov@hse.ru.

Key words: empire, state, border, space, frontier, horizon

UDC: 316.012
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_97

The article examines approaches to the concept “empire” in theoretical sociology. The specificity of any empire is the size of the space it occupies, but this space is not enclosed within firm, established boundaries, as is the territory of the neighboring states. Even if empires are included in systems of interstate relations, the ideologies of their ruling groups entail limitless expansion. This has occurred many times in history and can be described by applying the phenomenological category of the “horizon”. The concept of a “horizon” implies that there are limits to vision and action. At the same time, it represents an infinite “and so on” in planning actions and communication. This infinity remains a constant state, regardless of political successes and failures.

1 Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

I

В этой статье развивается абстрактный и до известной степени философский подход к понятию границы, связанный первоначально с понятием империи. Я предложил его более тридцати лет назад, примерно за полтора года до формального прекращения Договора об образовании СССР и столь же формального исчезновения Советского Союза. Определение СССР как империи стояло на повестке дня, оно имело актуальный политический смысл: борьба с «империей зла» из внешнеполитической задачи США становилась внутриполитической для советских граждан, видевших в имперском устройстве своей страны препятствие модернизации. Необходимость содействия ускоренному разрушению страны как империи была не единственной, но одной из господствующих тем публичной коммуникации. Предполагалось, что империя все равно обречена на гибель самим ходом истории, но можно ускорить его и получить лучший результат. Этому аргументу о близости и позитивном значении разрушения империи я пытался противопоставить не политическое пристрастие, а социологический подход, поскольку считал социологию основной социальной наукой, способной обеспечить общество средствами адекватного описания самого себя. Однако в этом, как и многом другом, толку от социологии — как отечественной, так и мировой — в ее тогдашнем состоянии было немного. Социологи вообще редко делали империи предметом теоретического анализа и еще реже замечали, что рассуждать об империях на более или менее конвенциональном языке их науки очень сложно[2]. Я же пошел, как уже сказано, путем более абстрактных и отчасти философских рассуждений. Абстрактными их делало стремление сосредоточиться на работе с понятиями больше, чем на работе с историческим материалом; философскими — широкое использование категории «горизонт», заимствованной из ранней версии теории социальных систем Никласа Лумана, который взял это понятие у Гуссерля.

Мне кажется, что именно понимание границ империи как горизонта позволяло дать ответ на некогда политически актуальный, но теоретически не тематизированный вопрос, который после распада СССР напрашивался сам собой: почему, поддержав на всесоюзном референдуме сохранение Советского Союза, граждане его через короткое время в массе своей достаточно лояльно приняли совершившийся без их участия распад страны? Мой ответ, если пе-

2 Среди тогдашних наиболее значительных наследников классической традиции стоило бы и до сих пор называть Шмуэля Айзенштадта (см.: [Eisenstadt 1963]). Однако его анализ «централизованных бюрократических империй» предполагает, в общем, что империи — те же государства, только сравнительно сильные и по-особому управляемые. Это имеет свои преимущества, но очевидным образом смещает центр внимания с общей проблематики империи на сравнительно более узкий сегмент исследуемого материала. Из более поздних авторов, укорененных в социологии, особого упоминания заслуживает Иммануил Уоллерстайн. В его мир-системном анализе есть место и для империй, но сам этот подход оказался изолированным направлением, хотя некоторые переклички известных авторов заслуживают, быть может, большего внимания. Ниже я остановлюсь на подходе Херфрида Мюнклера. Мюнклер продолжает немецкую традицию, и на него повлияли Карл Шмитт и Никлас Луман. Однако он историк и политический теоретик, который некоторую часть своего концептуального аппарата не может не принимать уже, так сказать, готовой и только нуждающейся в доводке.

реформулировать его сейчас более сжато и более точно, заключался в том, что коллективная пространственная самоидентификация территориальной общности, когда речь идет о большом пространстве, серьезно затруднена. Гражданская община, социетальная общность, сердцевина солидарности государства нуждается во внятных границах. Опознавать себя как (пользуясь известной формулой Бенедикта Андерсона) «воображаемое сообщество» на понятной территории — это одно. А вообразить себе (и себя) (как) «новая историческая общность людей — советский народ» можно было только в идеологических конструкциях пропагандистов, даже если они были положены в основу юридических документов и научных проектов. Однако этот ответ не был сформулирован в социологически удовлетворительных терминах, потому что понятие большого пространства и понятие горизонта не были у меня хорошо связаны между собой именно как социологические категории.

Поэтому такое понятие империи в наши дни имеет, пожалуй, еще меньше шансов[3] на широкое применение в социальных науках, чем прежде. Однако у него, возможно, сохраняется потенциал в области сугубо теоретической работы, позволяющей продолжить исследования империи в собственной версии социологии пространства[4].

Главный тезис, с которого я стартовал и которого придерживаюсь до сих пор, состоит в следующем. Исторически существовавшие империи, в особенности империи, так или иначе притязавшие на всемирность (понятие мира, обитаемого и релевантного универсума не могло не быть очень разным), не имели границ в том же смысле, в каком их имеют государства. Фактическим образом это утверждение можно как подтвердить, так и опровергнуть, все зависит от ракурса рассмотрения. Если мы посмотрим на старинные карты, какими пользовались, например, дипломатические ведомства Флоренции или Венеции времен Ренессанса, то сможем увидеть на них огромные по тем временам царства с иногда хорошо обозначенными границами. Однако вряд ли можно трактовать их как границы в том же смысле, в каком их приходилось видеть человеку XX века, переезжающему на поезде из одной европейской страны в другую в краткую эпоху между мировыми войнами. Пределы владений, зачастую существующие лишь в воображении, подвижные и спорные, и демаркационные линии, контрольные полосы, пограничные вышки и паспорта с визами — это явления совершенно разные. Существование границы, даже когда его, казалось бы, невозможно отрицать, всегда предполагает вопросы: граница между чем и чем? Граница для кого? Граница в каком смысле? Поэтому, говоря о том, что границы государств — это именно границы в точном смысле слова, в отличие от границ империи, я бы хотел начать с важных оговорок, которыми во многом исчерпывается само существо дела.

Границы государств устроены так, что *за границей* по большей части оказывается другое государство. Границы очерчивают государство (на картах территорий континентальных государств это выглядит очевидным, но то же самое можно сказать — с усложнением и уточнением аргумента — про государства,

---

3 Это в особенности заметно как раз в тех случаях, когда профессиональные историки куда более точно и в отчасти близких терминах описывают именно те характеристики империи, в том числе Российской империи и Советского Союза. См., напр.: [Rieber 2014]. Русский перевод этой книги циркулирует в Интернете.

4 См.: [Филиппов 2008; 2014].

к сухопутным территориям которых добавляются морские зоны и заморские земли), позволяют представить его как своего рода контейнер[5], содержащий территорию и гражданскую общину, то есть население с основными правами, языком, традициями, хозяйственной и денежной системой[6]. В отличие от такого территориального государства, империя не имеет фиксированной границы и, соответственно, гражданской общины. Большая империя — это схваченный и с большим трудом, через решение многочисленных проблем удерживаемый «плюриверсум» политических единств и народов. Границ в точном смысле у него нет, но есть подвижные горизонты.

Ниже я постараюсь дополнительно обосновать необходимость и продуктивность работы с понятием «горизонт» в исследованиях империй, а также — что кажется мне сейчас одним из важных новых шагов в рамках этого подхода — показать, почему в некоторых случаях говорить о горизонте империи (или империи как горизонте) совершенно невозможно и не только не дает никаких преимуществ исследователю, но и существенно затрудняет работу с историческим материалом. Путаница, которая здесь легко может возникнуть, мешает адекватной концептуализации границ. Дело в том, что империи бывают очень разными, так что само по себе имя империи не может быть методологическим указанием. Наоборот, в наши дни оно часто оказывается средством ложной актуализации, для которой современная повестка (ее подлинность еще нуждается в дополнительных обоснованиях и не всегда кажется безупречной) становится определяющей при исследовании прошлого, так что борьба с неоколониализмом в настоящем приводит к тому, что в империях прошлого слишком быстро начинают видеть, так сказать, одно и то же: логику априори предосудительного господства. В некотором роде империя и есть господство, и это столь же бесспорно, как и то, что государства Нового времени могут именоваться империями по самым разным основаниям, сильно отличаясь при этом друг от друга. Практика унификаций мешает более дифференцированному рассмотрению.

II

Кажется тривиальным, но все-таки нуждается в специальном акцентировании, что понятие империи является *реальным*. Оно не придумано теоретиками. Это не термин, который, как этикетка, навешивается на объект изучения ради удобства исследователя в соответствии с правилами классификации, нуждающимися в обосновании. Империями действительно именовали себя в разные

5 Понятие государства-контейнера, несколько диковинно звучащее по-русски, я заимствую у Боба Джессопа, но не полностью присоединяюсь к его концепции, созданной под слишком сильным впечатлением от эпохи глобализации, что и выразилось у него в критике «одностороннего» подхода от «традиционных национальных территориальных государств, функционирующих в качестве “контейнеров власти”, контролирующих фиксированные территориальные границы» [Джессоп 2019: 367].

6 Понятие гражданской общины, до известной степени отбрасывающее нас назад к теоретической оптике Т. Маршала, кажется мне более предпочтительным, чем понятие социетальной общности, или «социетального сообщества», как у нас привыкли говорить, некогда введенное Толкоттом Парсонсом. В настоящее время его использует лишь итальянский социолог Дж. Шортино. См.: [Троцук 2024].

эпохи разные политические образования. Конечно, всегда есть сложности, связанные с переводами, потому что сам термин — латинский, но и на латинском он далеко не всегда означал особую политическую сущность. Отчасти эти трудности преодолеваются достаточно легко как раз потому, что известны ведь и другие сложности с самоназваниями, так что, скажем, и республиками себя называли тоже очень разные политические образования, в том числе и такие, которые мы в наши дни с трудном признаем республиками, например королевские Франция и Британия[7]. Это позволяет нам обойтись без догматизма также и в том, что касается прямо нашей темы: нет никакой необходимости считать, что есть только один, подлинный вид империи, тогда как другие либо сами себя напрасно так называли, либо исследователями были так названы ошибочно. Гораздо важнее выяснить, каковы последствия при использовании этого (само)названия, будь то для организации материала, для теоретического рассуждения либо же для самоопределения тех, кто свое политическое поведение строит в явной, выраженной имперской перспективе.

Именно отсюда мы можем сделать шаг к важному, сыгравшему историческую роль различению империи и государства, которое просуществовало довольно долго. Это различение относится к эпохе формирования европейских территориальных государств, отстаивавших свою самостоятельность и суверенитет в борьбе с властью фактически уже ставших более слабыми, но сохранявших исторически сложившийся авторитет *римских* форм порядка: духовного — католической церкви, и светского — Священной Римской империи[8]. Известная с начала XIV века формула, разработанная королевскими юристами Филиппа IV, «король является императором в своем королевстве», имела несколько важных измерений. С одной стороны, она сохраняла концепт империи как высшего и объемлющего политического порядка (образцовый, хотя и политически устаревший ко времени своего появления набор аргументов в пользу того, что империя может и должна быть всемирной монархией, содержится, например, в «Монархии» Данте, появившейся практически одновременно с формулой о «короле-императоре»). С другой стороны, именно территориальный характер государства самым наглядным образом показывал здесь его отличие от империи. У государства, каким оно возникало в континентальной Европе, были границы — хотя бы потому, что до них простиралась власть короля, именно на этой территории учреждался *суверенитет*. Государство могло граничить с княжеством, епископством или другим государством, но при этом все они принадлежали одному территориально-политическому и правовому порядку. Исторически важным обстоятельством является, конечно, то, что на вершине своего военно-политического единства Священная Империя соперничала с Византией, в том числе и за именование себя «римской». Это во всяком случае (а тем более ко времени формирования территориальных государств Европы, то есть упадка и падения Византии) не было территориаль-

7 См. широко известную работу: [Collinson 1987]. См. также позднейшую полемику: [McDiarmid 2007].

8 Превращение Римской империи европейского средневековья в «священную» — далеко не простой и неоднозначный процесс, который происходил в первые века второго тысячелетия н.э. У меня это не более, чем привычное и сокращенное имя для такого образования, которое большую часть времени просуществовало как идеологический конструкт, а не как реальное политическое единство.

ным прилеганием того рода, как это в особенности бывает со взаимным признанием государственных границ, о чем уже шла речь выше[9]. Однако это вовсе не облегчает понимания сути дела, в особенности в более современной перспективе, а только позволяет сфокусироваться на проблеме.

В свое время Карл Шмитт нашел формулу, характеризовавшую пространство империи, на котором сформировались и выстраивали регулируемые европейским правом народов государства. Он назвал его “die Einheit von Ordnung und Ortung”, что я предпочитаю переводить как «единство порядка и локализации»[10]. С одной стороны, здесь — независимо от того, согласны ли мы с ним по существу, — все понятно: есть государства, которые держатся определенных правил, но это право народов, каким бы ни казалось оно универсальным, применимо только для их отношений, а любые попытки его расширить, включив другие народы и территории, приводит к негативным последствиям. То есть понятна именно логика рассуждений, потому что государства локализуются на определенном пространстве, с его имперской историей, с пониманием значения императора и папы, с определением империи как катехона, то есть удерживающей мир от прихода Антихриста силы. Но, с другой стороны, здесь есть неясность самого радикального свойства. Она касается локализации самой империи. Поясню это еще раз: одно дело — рассматривать политические единицы, становящиеся государства, в имперском пространстве, какой бы рыхлой и слабеющей империя ни была. Другое дело — пространство самой империи. Ведь она, во всяком случае на Западе, по идее, всемирная, включающая, за отдельными, временными исключениями, весь «христианский народ». Фактически она может граничить с разными политическими образованиями, но по идее никаких границ у нее нет. Идеи действительно есть у идеологов, но только они не остаются в книгах и ученых разговорах, они могут быть опознаны как материальная сила, мотив имперской элиты. Трактовать империю такого рода как более или менее обширное государство или подобное государству образование значит промахнуться мимо одной из ключевых составляющих имперской динамики.

Пожалуй, лучше всех в современной политической науке понимает это Херфрид Мюнклер:

> Империи — это не просто большие государства; они развиваются по собственным законам. Государства связаны порядком, создаваемым ими совместно с другими странами, и поэтому распоряжаться им в одиночку они не могут. Империи, напро-

---

9 «С конца XI в., — пишет С. П. Карпов, — Византии было суждено столкнуться с мощным потоком итальянской колонизации. Эволюционируя от торгово-экономических интересов к политическим амбициям и территориальным захватам, Венеция и Генуя стали играть важнейшую роль судьбах империи. Постепенно даже менялось содержание термина Романия. Если первоначально так обозначали на Западе империю Ромеев в целом, то постепенно коннотация изменилась и в понятие Романия заключалась как собственно Византия, которую как государство все чаще стали называть “империей греков” или “Константинопольской империей”, так и завоеванные или отторгнутые от нее латинянами замели и территории» [Карпов 2024: 7]. История для нас в высшей степени поучительная, потому что предполагает изучение — помимо прочего — сложных и переменчивых имперских проектов (сохранявших, правда, некоторую сердцевину), интерференцию больших пространств политического воображения, а не соперничество государств.

10 См.: [Шмитт 2008: 8, 30].

> тив, полагают себя создателями и гарантами порядка, зависящего исключительно от них самих. Этот порядок создается ими для защиты от хаоса, в котором они видят постоянную угрозу, и этот порядок они обязаны защищать [Мюнклер 2015: 15].

Мюнклер далее говорит и об имперской миссии, и о том, что бывали такие империи, которые опустошали свои периферии, но существовали они недолго. А вот другие империи свои периферии развивали и служили их благоденствию. Порядок, будто бы создаваемый национальными государствами, — это иллюзия, пишет он. Для анализа он предлагает привлекать и Римскую империю, и США, и Русскую, Османскую и Китайскую империи, а также империю монголов; трудность видит в определении империи, решительно различает империи и государства, в частности по критерию границы:

> Имперские границы не разделяют равные по статусу политические образования, а скорее представляют разные ступени власти и влияния. К тому же, в отличие от государственных границ, они полупроницаемы: тот, кто хочет попасть в имперское пространство, должен удовлетворять иным условиям, нежели тот, кто его покидает. Это зависит как от экономической, так и от культурной привлекательности империй; они ориентированы скорее внутрь себя, нежели вовне, что имеет свои последствия для пограничного режима [Там же: С. 25].

При этом границы империй, продолжает Мюнклер, могут быть также и государственными, например, колониальные империи в Европе граничили между собой как государства, а на периферии, в колониальных владениях, граничили между собой именно как империи.

На этом примере можно зафиксировать важную проблему, которая, собственно, и является здесь для меня центральной. Почему политический историк тратит столько сил на обсуждение дефиниций империи и понятия границы? Потому что многочисленные описания, рожденные в наше время, привязаны к самой распространенной терминологии, в частности к дихотомии государства и общества. Раз общество — это не политическое образование (особенно «гражданское общество» в его старом понимании), то политическая история имеет дело с государствами. А поскольку государства, как мы видели, ведут себя то вполне «государственным» образом, пребывая внутри своих границ, то как-то иначе, «по-имперски», то есть стремясь распространить свое действие на сравнительно куда более значительные пространства, так или иначе обустраивая их, да и еще и сами себя нередко именуют империями, приходится различать не только империи и государства, но еще империи старые и империи новые.

В общем, оказывается, что «империя» — понятие чуть ли не более актуальное, работающее и повсеместно пригодное, чем «государство», а учитывая ряд интеллектуальных движений последнего времени, можно было бы сказать, что нечего ломиться в открытые ворота: при том объеме исторических исследований, которые оперируют именно понятием империи, пафос теоретического вторжения в эту сферу может и должен казаться неуместным[11]. Я все же рискну сказать, что здесь не все так просто.

---

11 Из концептуально весьма насыщенных работ историков на русском см. прежде всего: [Ауст, Вульпиус, Миллер 2010]. Публикации каждого из редакторов заслуживают отдельного упоминания, укажу только на одну новейшую статью: [Миллер 2024]. Особое место занимает круг журнала “Ab Imperio”, уже несколько десятилетий

Прежде всего, фиксация внимания на каком-то периоде внушает обманчивое представление, будто мы имеем дело с какой-то постоянной сущностью, которая претерпевает разные трансформации. Возможно, это имеет смысл, когда пишут, скажем, историю России и обсуждают, в какой момент можно говорить уже о том, что она стала империей. Но нельзя переворачивать это рассуждение и говорить о том, что трансформации происходят с империей, как бы она при этом ни называлась: Германия Бисмарка — Вильгельма, Германия Веймарская и Германия Гитлера именовали себя империей (рейхом), но много ли пользы будет, если считать это разными этапами имперского проекта, не довольствуясь тем, что страна была большой, склонной к экспансии и агрессивной?

Не менее сомнительный вопрос о колониях я вообще выношу за скобки, он в данном случае не продуктивен. Вопрос о центре и периферии кажется более продуктивным, но только в идеально-типическом аспекте. Он имеет смысл тогда, когда более или менее внятно за точку отсчета берется опять-таки государство, но не как машина легитимного насилия в своих территориальных границах, а как размещенная внутри этих границ гражданская община, которую с конца XVIII века будут называть нацией. Считается, что нация-государство преодолевает различия, разглаживает пестрое многообразие предыдущего времени и делает всех одинаково (и внесословно) гражданами одного государства. В отличие от национально-гражданской имперская идентичность фиксируется в центре, тогда как многообразие (культурное, правовое и политическое) населяющих империю народов не теряется, но сохраняется в динамике, представляющей специальный научный интерес. С этим было бы вообще незачем спорить, особенно ввиду все новых исследований по имперской истории. Спорить надо с тем, что относится к государству, потому что национальная однородность гражданской общины часто бывает преувеличена. Например, в той же кайзеровской Германии не было единого гражданства, только земельное; цельность Италии или Испании не кажется столь уж очевидной; даже Франция как классический пример время от времени «деконструируется» в ее этнокультурном единстве специальными исследованиями (см.: [Le Bras, Todd 2012]). Да и можно ли говорить о государствах, что им вовсе чуждо различение центра и периферии?[12]

Пригодный для употребления термин в качестве научного понятия оказывается уязвимым, не потому что не открывает нового, а потому что не повышает, а понижает чувствительность к различениям, тем более что многообразие

выпускающего исследования по новой имперской истории. Из сравнительно ранних, но важных книг см.: [Герасимов и др. 2004]. Большое концептуальное усилие есть и в книге: [Ливен 2006]. Важной работой, к которой, вероятно, предстоит еще вернуться, стала книга: [Каспэ 2001]. Сюда же отчасти относится и книга: [Арнасон 2021], хотя работа с понятием «имперской модернизации», в общем, заставляет говорить об уже несколько архаичном в нашем понимании империи. Началом резкого возрастания интереса к имперскому измерению модерна в актуальной левой мысли можно считать выход в 2000 году известной книги Антонио Негри и Майкла Хардта «Империя». См. русский перевод: [Хардт, Негри: 2004]. Здесь примечателен не столько сам по себе концепт империи, сколько его историко-философское измерение.

12 Промежуточное положение различения «центр/периферия», которое часто используется именно для характеристики имперских (или ориентированных на изучение *также и* империй) политических образований, может иллюстрировано многочисленным ссылками на литературу. См., например: [Filippov, Hayoz, Herlth 2020].

видов имперского многообразия скорее ведет нас к феноменологии, к описаниям, которые просто получают добавочный оттенок за счет того, что объявляются характеристиками империи.

Собственно, именно поэтому и становится не просто возможным, но очень желательным вводить понятие «горизонт» не как абстрактное, а как вполне работающее, хотя и нуждающееся всякий раз в уточнениях и конкретизации. Здесь сразу надо сделать одну оговорку. Горизонт — хотя и строгое для некоторых теоретических конструкций понятие, может у нас рассматриваться скорее как метафора, в которой соединяются пространство и время. Это хорошо показывал, хотя и с совершенно другими целями и, в общем, в совершенно другом смысле Райнхарт Козеллек (см.: [Козеллек 2016]). Глава его знаменитой книги «Прошедшее будущее» приобрела у нас большую известность, так что придется сделать здесь уточнение, не провоцируя слишком быстрых суждений и путаницы. Опыт прошлого Козеллек называл «пространственным», потому что события вместе образовали нечто цельное, а «горизонт» ему казался более пригодным, чем могло бы быть «пространство ожиданий», потому что горизонт — «это такая линия, за которой открывается пока еще невидимое пространство нового опыта. Доступность будущего, несмотря на возможные прогнозы, наталкивается на абсолютную границу, так как оно непостигаемо» [Ibid.: 156]. Конечно, у нас речь идет не об абсолютной границе, а о подвижной. К горизонту невозможно подобраться, и перешагнуть его тем более невозможно, потому что так устроено понимание предела. Чтобы опознать границу или хотя бы мысленно представить ее себе, надо, чтобы она разделяла две части или стороны. Поэтому у двух и более граничащих государств бывают границы, даже если они оспариваются, смещаются, признаются не всеми странами и т.п. А вот у политического горизонта «второй стороны» нет. Откуда же он берется?

В политической антропологии нередко используют понятие фронтира. Это не всегда хорошо получается, потому что не для всех языков различение фронтира и границы является работающим. Но все-таки достаточно хорошо известно, что фронтиром может быть названа граница освоенного пространства, которая тоже подвижна, потому что перемещается по мере освоения того, что доступно, по мере передвижения тех, кто осваивает эти неосвоенные земли, все дальше и дальше. Изучение фронтира стало достаточно распространенным и в имперской истории[13]. Фронтиром могут называться и более сложно устроенные пространства, как мы видим, скажем, на примере исследования «границы» между Венецией и Оттоманской империей (см.: [Pedani 2017: 27, 38]).

Но в отличие от границ и фронтиров, горизонт, будучи, собственно, пространственной метафорой, означает у нас, как и у Козеллека, некий предел предвосхищения во времени. Только касается это предвосхищение не любых будущих событий, а только тех — тут мы снова возвращаемся к изначальному смыслу метафоры, — которые так или иначе привязаны к пространственному аспекту *будущего* опыта. Конечно, пространство и время не могут не быть взаимосвязаны. Однако представим себе ситуацию, которая не раз была описана в литературе: поселенец-пионер осваивает и присваивает (находит свободную или освобождает от аборигенов) территорию вне всякого ожидания

13 Своего рода классикой стало исследование степного фронтира имперской России. См.: [Khodarkovsky 2004]. См. также в русском переводе: [Ходарковский 2019].

будущих событий, довольствуясь тем, ради чего он вообще ее занял (пример: жить так, чтобы не видеть соседей из своих окон, и уходить дальше, если они появляются). Ничего не поменяется в этих описаниях, если назвать фронтир границей, а в ретроспективе изобразить совокупность таких освоений как имперское продвижение. Но пространственно-временной горизонт в более точном смысле слова устроен иначе. Здесь требуется маленькое философско-социологическое отступление. Начнем с феноменологии. У Эдмунда Гуссерля горизонт — это, говоря предельно упрощенно, некое «и так далее»[14]. Актуальный опыт отсылает к горизонтам возможного опыта. Переосмысление и трансформация поздней, начиная с «Картезианских медитаций», трансцендентальной феноменологии в средство эмпирического, социологического описания смысла человеческих действий — далеко не простая и, возможно, уязвимая, с философской точки зрения, процедура. Однако она была уже проделана несколько раз, в том числе в проекте понимающей социологии Альфреда Шюца, в этнометодологии Гарольда Гарфинкеля и в одной из более ранних версий теории социальных систем Никласа Лумана. Это позволяет пользоваться, по крайней мере, некоторыми результатами такого переосмысления как *готовыми к употреблению*, что не исключает, в других контекстах, их критического пересмотра. Продуктивным в социологическом плане является как раз то, что смысл человеческого поведения, целеполагания, социального действия и социального события не берется как всецело ясный и отчетливый. На действующего в социальной жизни человека не переносится конструкция нововременного познающего субъекта. Смысл действия не фиксируется в атомарном суждении, не является элементом системы знания, но отсылает к смыслу других событий и действий. Что значит «отсылает»? Это значит, что они, еще не состоявшиеся, но в принципе возможные, не *полагаются*, но дополнительно полагаются, *со-полагаются* в актуальном смысле события.

Это имеет принципиальное значение. Если считать социологию наукой о социальных действиях, как Макс Вебер, или событиях действий, происходящих в социальных системах, как Толкотт Парсонс и Никлас Луман, то устанавливать смысл приходится всегда с некоторой «отсылкой к...». В опыте созерцания это может значить, например, что мы видим только одну стену дома, но она лишь потому для нас стена, что отсылает к той стороне, которую мы не видим, но могли бы увидеть. Это значит, что когда происходит то или иное событие, смысл его раскрывается через отношение к другому событию того же рода. А если, как предполагал Никлас Луман в период наибольшего увлечения фено-

14 См., например, у Гуссерля: «Любой опыт имеет свой горизонт; любой опыт имеет свое ядро действительных и определенных содержаний, свою долю непосредственно самоданных характеристик, но, помимо этого ядра определенного так-бытия, помимо данного собственно как “оно само”, опыт имеет свой горизонт. Это значит: любой опыт указывает не только на возможность (а с точки зрения Я — на способность [Ver-möglichkeit]) последовательно эксплицировать вещь, данную с первого взгляда, в соответствии с ее самоданностью, но и на возможность в ходе опыта раскрывать все новые характеристики одного и того же предмета... никакая характеристика предмета не является последней... действительно данное в опыте снова и снова — вплоть до бесконечности — влечет за собой горизонт возможного опыта относительно одного и того же предмета. И этот горизонт, в своей неопределенности, заранее имеет сопутствующую значимость (Mitgeltung) как некое пространство возможностей (Spielraum von Möglichkeiten)...» [Гуссерль 2017: 193].

менологией, взять в качестве основной схемы рассуждения «система-в-мире», тогда для системы мир будет необозримым множеством возможностей, редуцируя которое, она может воспользоваться таким средством, как *смысл*. Конституирующие смысл системы (психические и социальные) ограничивают множество возможностей таким образом, чтобы отрицание не оказывалось уничтожением, чтобы подвергнутые отрицанию возможности сохранялись именно как возможности. «Следовательно, основу смысла составляют непременно две ориентации, одновременное присутствие двух уровней, из которых один — это горизонт возможностей, а другой — отобранное для реализации» (см.: [Luhmann 1981: 70]). Поэтому действия и коммуникации, поскольку они имеют смысл, отсылают к множеству иных возможностей, но уже не совершенно неопределенному и неопределимому, а такому, у которого есть смысловые горизонты. Конечно, и этого недостаточно, и для индивидуального действия, отдельной коммуникации ссылки на «и так далее» уводят в бесконечность. Тем не менее (и при заведомо очень сильном упрощении аргументов Лумана) кое-что начинает таким образом проясняться.

По Луману, если взять простые примеры повседневной жизни, выглядеть это будет примерно так:

В современном мире изучать надо не отдельные действия или коммуникации, а системы, которые состоят из этих действий и коммуникаций как своих элементов определенного рода. Коммуникация — это событие в системе, которое поддается наблюдению как действие. Системы — это самореферентные, аутопойетические системы. Это значит, что все события в системе отсылают к событиям в той же системе, она сама себя производит. События бывают разные. Платежи (события в экономике) отсылают к прежним или будущим платежам, новости (события в системе новостных медиа) — к прежним или ожиданию будущих новостей, высказывания о результатах экспериментов — к другим таким же коммуникациям. Но отдельные социальные системы включены в самую большую. В социологии Лумана есть понятие «всемирное общество» — это такое огромное «и так далее», *горизонт* всех возможных коммуникаций. У отдельных систем есть границы, но это не территориальные границы, а смысловые, платеж не трансформируется в высказывание об истине, а религиозная коммуникация — в новостную. События принадлежат разным системам. Только политические системы и, отчасти, образовательные привязаны к территориальным границам. Казалось бы, в этой понятийной схеме нет места нашей проблематике. Однако это не так.

Поучительно будет рассмотреть некоторые аргументы поздней версии теории социальных систем Лумана, в которой уделено внимание и проблеме больших империй (Großreiche). Луман обращается к ней как раз потому, что практически все его аргументы строились прежде вокруг отрицания территориальности социального. Это было понятно, поскольку он отрицал применимость понятий старой европейской политической философии к современному обществу. Старые понятия были привязаны к системе политики как основной системе общества, то есть общество — это и было политическое, полисное, на новом языке — государственное. У всего этого есть территория и есть внятные правила членства, так что человек находится именно как человек и гражданин полиса (а это во многом одно и то же) внутри пределов достижимости политической власти. Место тела и место политического связаны. Но когда главной системой становится экономика, понятие общества меняется, обществом на-

чинают называть гражданское общество в том смысле, в каком это понятие используют шотландские моралисты и Гегель. Такое общество уже не привязано к территории, но понимание того, насколько изменилась вся схема дифференциации систем, приходит не сразу. Только в современном всемирном обществе (Weltgesellschaft) системы становятся полностью равноправными, ни одна не имеет приоритета, ни одна не может быть названа обществом по преимуществу. Поэтому старые территориальные понятия почти полностью перестают работать. Однако в поздних версиях своей концепции Луман был вынужден пересмотреть и свое отношение к пространству вообще, и значение территориальной дифференциации. В «Обществе общества» он пишет:

> Формально схема «центр/периферия» знает очень разные применения. Можно брать за отправную точку города как центры. Тогда дело почти неизбежно пойдет о необходимости признавать множество таких центров с соответствующими (сельскими) периферияими. Другой случай — это образование больших империй, которые имеют возможность самих себя понимать как центр мира, а все остальное трактовать как периферию [Luhmann 1998: 669].

Однако это — лишь описательная констатация исторически существовавших обстоятельств, как и довольно распространенная особенность империй — большой бюрократический аппарат. Главное же состоит в том, что большие территории империй позволяют предположить отсутствие в них «концентрированных коммуникаций». Жители их вряд ли сознавали в большинстве своем, что живут именно в империи, а господствующие элиты не были заинтересованы ни в распространении имперских идеологий, ни вообще в том, что же происходит в головах подданных.

> Чтобы рассмотреть понятие империи более строго, исторически их следует понимать как что-то вроде побочного продукта расширения возможностей коммуникации. Форма империи поэтому … [означает] отсутствие определенных границ. На месте их мы находим горизонты, которые определяют достижимое и варьируют вместе с ним. Итак, империя — это смысловой горизонт коммуникаций, а именно, коммуникаций бюрократических элит, которые исходят из уникальности своей империи и принимают пространственные границы как временное ограничение своего фактического влияния [Ibid.: 670f].

Несмотря на то, что Луман на первый взгляд соглашается считать границы империи смысловыми горизонтами, он не видит в больших империях какой-то особой формы, по сравнению с той, которая предполагается обычным различением центра и периферии. Получается так, что все описания смысловых горизонтов всемирного общества, которые он так настойчиво предлагал, исходили из того, что эволюция, скорее всего, необратима: благодаря современным средствам связи возникла всемирная коммуникация, которая не привязана к территории, а это значит, что главная проблема состоит в чрезмерной замкнутости отдельных социальных систем. У каждой из них свой код, свой способ обработки информации, и поэтому они не то чтобы не видят друг друга, но сразу переводят события в одной системе на язык другой. Юрист смотрит на все с точки зрения права, политик — с точки зрения выигрыша или проигрыша в борьбе за власть, спортсмен — с точки зрения успеха в состязании, ученый — с точки зрения истины. И это не имена людей, которых можно было бы перевоспитать, это обобщенные характеристики устройства отдельных систем.

Однако, занимаясь в конце жизни регионалистикой, он уже не мог так решительно, как прежде, отвергать значение пространства. Большие империи составляли проблему того же рода, хотя и другого уровня. И связано это было с тем, что приходилось не просто учитывать значение территорий, в том числе и очень больших и неопределенно расширяющихся, в том числе под влиянием имперской идеологии непрерывной экспансии «до горизонта», но и своеобразное функционирование систем, не до конца отделившихся друг от друга, не полностью дифференцировавшихся. Продолжая рассуждение, начатое выше, можно было бы сказать, что платеж здесь отсылает не ко всем возможным платежам, а к экономическому космосу (формула Макса Вебера) народного хозяйства, искусство может быть связано с политическими запросами, а новости и спорт имеют далеко не автономную динамику. Можно было бы сказать, что здесь просматривается достаточно знакомая картина государства, противящегося модерну и стремящегося предстать для своих граждан как целый и цельный мир политики, экономики и идеологии. И чем оно больше, чем универсальнее стремится быть, тем больше оказывается не империей вообще, а империей знакомого нам рода и периода. Именно такой империи — Советскому Союзу в период его наивысшего расцвета — Луман противопоставил в середине 60-х годов концепцию всемирного общества. Поэтому крушение СССР, как он считал, показывало: теоретически большие империи возможны, практически они проигрывают соревнование. Почему это происходит? Большие империи точно так же, как и любые политические образования такого типа, сталкиваются с проблемой комбинации диффузии и контроля, а когда им приходится соревноваться с такой новой формой дифференциации, как всемирное общество, они проигрывают ему[15]. Именно так проиграл — и распался — Советский Союз.

Луман, однако, по обстоятельствам уже своего времени, не мог предполагать возникновения обратного движения, хотя его собственный категориальный аппарат позволял это сделать. Если согласиться с тем, что забота о границах и понимание их как временных — это дело в первую очередь центральной имперской элиты, то и преходящий фактический характер границы надо понимать более точно. Не только границы влияния на данный момент в период экспансии, но и границы в периоды сжатия и распада должны восприниматься носителями имперской идеологии как временные, преходящие, а сжатие империи может быть таким же стимулом для реванша, как и для резиньяции. В этой части резоны Лумана не вполне удовлетворительны. Но еще менее с ним можно согласиться в том, что центральные элиты вообще не заботит происходящее в головах подданных. Напротив, усилия могут быть направлены — в случае необходимости — на то, чтобы превратить если не всех, то хотя бы часть подданных в подобие воображаемого сообщества (если пользоваться термином Бенедикта Андерсона), являющегося сердцевиной гражданской общины, которая будет определена не в границах, а в горизонтах, то есть как носитель не темпоральной, но именно пространственной идеи «и так далее». Горизонт из когнитивного становится моральным, то есть из средства познания оборачивается политическим императивом. Фактическая граница приходит

15 Именно поэтому Вольфганг Штреек, кажется, один из немногих современных социологов именно в небольших размерах государств, в отличие от больших стран, от империй, усматривает важное, ключевое условие для демократии. См.: [Streeck: 2024].

в движение. Огромная империя, в качестве образца которой была выбрана Священная Римская империя германской нации, рассматривается изнутри руководящими силами, элитой как — потенциально — весь мир. Фактически это не так. Фактически в каждый данный момент им не удавалось быть всемирными, они расширялись и сокращались. Но идея универсальности, всемирности входила в их устройство, точнее, в понимание смысла действий руководящих элит. Поэтому у них не было границ в том же смысле, в каком они есть у государства, у них тоже есть горизонты, то есть не поддающиеся более точному определению пределы того, куда вообще может простираться стремление взять под контроль, планировать продвижение, установить свой закон и веру и т.д. Итак, «горизонты» могут пониматься совсем по-разному: как горизонты смысла событий во всемирном обществе и как горизонты пространственного расширения имперской мощи.

Это позволяет понять и ограниченность любых концепций имперской границы (даже если в них появляется понятие горизонта), если фактическая величина империи берется слишком конкретно, как то, что любой наблюдатель идентифицирует как большое. На самом деле, речь идет о горизонте большого пространства, которое считается большим по меркам эпохи, то есть не только в зависимости от технических средств, обеспечивающих доступность коммуникации, но и от того самого понимания космической уникальности, которому Луман, кажется, уделил все-таки слишком мало внимания. Граница-горизонт, конечно, это смысл границы, но именно как смысл его необходимо искать в самой коммуникации, а не во внешнем мире. Поэтому необходима смена перспективы — от внешнего наблюдателя, *знающего*, что за фактической границей империи начинается вовсе не пустое пространство, не ничейная земля, а чьи-то владения, — к внутреннему наблюдателю, для которого в некотором роде безразлично, предстоит ли ему сместить фактически границы контроля дальше в пустое или кем-то уже занятое место. Во всех случаях мир ждет его продвижения.

Библиография / References

[Арнасон 2021] — *Арнасон Й.* Цивилизационные паттерны и исторические процессы / Пер. с англ. А. Степанова, М. Масловского, Д. Карасева, Ю. Прозоровой. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

(*Arnason J.P.* Civilizational Patterns and Historical Processes. Moscow, 2021. — In Russ.)

[Аust, Вульпиус, Миллер 2010] — *Аust M., Вульпиус Р., Миллер А.* Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700—1917) / Под ред. М. Ауста, Р. Вульпиус, А. Миллера. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

(*Aust M., Vulpius R., Miller A.* Imperium inter pares: Rol' transferov v istorii Rossiyskoy imperii (1700—1917) / Ed. by M. Aust, R. Vulpius, A. Miller. Moscow, 2010. — In Russ.)

[Гуссерль 2017] — *Гуссерль Э.* Опыт и суждение. Горизонтная структура опыта. предварительная типическая известность каждого отдельного предмета опыта / Пер. с нем. А. Фролова // HORIZON. Феноменологические исследования. 2017. Т. 6. № 1. С. 192—200.

(*Husserl E.* Erfahrung und Urteil. § 8 // HORIZON. Fenomenologicheskie issledovanija. 2017. Vol. 6. No. 1. P. 192—200. — In Russ.)

[Джессоп 2019] — *Джессоп Б.* Государство: прошлое, настоящее и будущее / Пер. с англ. С. Моисеева. М.: Дело, 2019.

(*Jessop B.* The State: Past, Present, Future. Moscow, 2019. — In Russ.)

[Карпов 2024] — *Карпов С.П.* От латинской Романии к империи Газарии. СПб.: Алетейа, 2024.

(*Karpov S.P.* Ot latinskoy Romanii k imperii Gazarii. Saint Petersburg, 2024.)

[Каспэ 2001] — *Каспэ С.И.* Империя и модернизация: общая модель и российская специфика. М.: РОССПЭН, 2001.

(*Kaspe S.I.* Imperiya i modernizatsiya: obshchaya model' i rossiyskaya spetsifika. Moscow, 2001.)

[Козеллек 2016] — *Козеллек Р.* «Пространство опыта» и «горизонт ожиданий» — две исторические категории / Пер. с нем. А. Котова, О. Кильдюшова // Социология власти. 2016. Т. 28. № 2. С. 149—173.

(*Koselleck R.* «Erfahrungsraum» und «Erwartungshorizont» zwei historische kategorien // Sotsiologiya vlasti. 2010. Vol. 28. No. 2. P. 149—173. — In Russ.)

[Ливен 2006] — *Ливен Д.* Российская империя и ее враги с XVI в. до наших дней / Пер. с англ. А. Козлика, А Платонова. М.: Европа, 2006.

(*Lieven D.* Empire: The Russian Empire and its Rivals. Moscow, 2006. — In Russ.)

[Миллер 2024] — *Миллер А.И.* Проблемы российского федерализма и «реабилитация» империи // Россия в глобальной политике. 2024. Т. 22. № 6. С. 74—86.

(*Miller A.I.* Problemy rossiyskogo federalizma i «reabilitatsiya» imperii // Rossiya v global'noy politike. 2024. Vol. 22. No. 6. P. 74—86.)

[Мюнклер 2015] — *Мюнклер Х.* Империи. Логика господства над миром: от Древнего Рима до США / Пер. с нем. Л.В. Ланника. М.: Кучково поле, 2015.

(*Münkler H.* EmpImperien: Die Logik der Weltherrschaft — vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten. Moscow, 2015 — In Russ.)

[Герасимов и др. 2004] — *Герасимов И.В., Глебов С.В., Каплуновский Л.П., Могильнер М.Б., Семёнов А.М.* Новая имперская история постсоветского пространства: Сборник статей. Казань: Центр исследований национализма и империи, 2004.

(*Gerasimov I.V., Glebov S.V., Kaplunovskiy L.P., Mogilner M.B., Semyonov A.M.* Novaya imperskaya istoriya postsovetskogo prostranstva: Sbornik statey. Kazan, 2004.)

[Троцук 2024] — *Троцук И.* «Социетальное сообщество» Т. Парсонса в теоретико-эмпирической трактовке Дж. Скиортино // Социологическое обозрение. 2024. Т. 23. № 2. С. 204—230.

(*Trocuk I.* "Sotsietal'noe soobshchestvo" T. Parsonsa v teoretiko-empiricheskoy traktovke Dzh. Skiortino // Sotsiologicheskoe obozrenie. 2024. Vol. 23. No. 2. P. 204—230.)

[Филиппов 2008] — *Филиппов А.Ф.* Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008.

(*Filippov A.F.* Sotsiologiya prostranstva. Saint Petersburg, 2008.)

[Филиппов 2014] — *Филиппов А.Ф.* Sociologia: наблюдения, опыты, перспективы: В 2 т. Т. 1. СПб.: Владимир Даль, 2014.

(*Filippov A.F.* Sociologia: nablyudeniya, opyty, perspektivy: In 2 vols. Vol. 1. Saint Petersburg, 2014.)

[Хардт, Негри 2004] — *Хардт М., Негри А.* Империя / Пер. с англ. под ред. Г.В. Каменской, М.С. Фетисова. М.: Праксис, 2004.

(*Hardt M., Negri A.* Empire. Moscow, 2004. — In Russ.)

[Ходарковский 2019] — *Ходарковский М.* Степные рубежи России: как создавалась колониальная империя. 1500—1800 / Пер. с англ. А. Терещенко. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

(*Khodarkovsky M.* Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500—1800. Moscow, 2019. — In Russ.)

[Шмитт 2008] — *Шмитт К.* Номос земли в праве народов ius publicum Europaeum / Пер. с нем. К. Лощевского, Ю. Коринца. СПб.: Владимир Даль, 2008.

(*Schmitt C.* Der Nomos der Erde im Völkerrecht des ius publicum Europaeum. Saint Petersburg, 2008. — In Russ.).

[Filippov, Hayoz, Herlth 2020] — *Filippov A., Hayoz N., Herlth J.* (eds.) / Centers and Peripheries in the Post-Soviet Space: Relevance and Meanings of a Classical Distinction. Bern: Peter Lang, 2020.

[Collinson 1987] — *Collinson P.* The Monarchical Republic of Queen Elizabeth I // Bulletin of the John Rylands Library. 1987. Vol. 69 (2). P. 394—424.

[Eisenstadt 1963] — Eisenstadt S.N. The Political Systems of Empires: The Rise and Fall of the Historical Bureaucratic Societies. New York: The Free Press, 1963.

[Khodarkovsky 2004] — *Khodarkovsky M.* Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500—1800. Bloomington, ID: The Indiana University Press, 2004.

[Le Bras, Todd 2012] — *Le Bras H., Todd E.* L'invention de la France: Atlas anthropologique et politique. Paris: Gallimard, 2012.

[Luhmann 1981] — *Luhmann N.* Soziologische Aufklärung 3: Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981.

[Luhmann 1998] — *Luhmann N.* Die Gesellschaft der Gesellschaft. Bd. 2. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1998.

[McDiarmid 2007] — *McDiarmid J.F.* (Ed.) The Monarchical Republic of Early Modern England: Essays in Response to Patrick Collinson. Aldershot: Ashgate, 2007.

[Pedani 2017] — *Pedani M.P.* The Ottoman-Venetian Border (15th—18th Centuries). Venice: Edizioni Ca' Foscari—Digital Publishing, 2017.

[Rieber 2014] — *Rieber A.J.* The Struggle for the Eurasian Borderlands: From the Rise of Early Modern Empires to the End of the First World War. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2014.

[Streeck 2024] — *Streeck W.* Taking back control? States and State Systems after Globalism. London, UK; New York: Verso, 2024.

Светлана Баньковская

Чужак на фронтире

(или фронтир как место производства и обитания чужака)[1]

Svetlana Bankovskaya

The Stranger on the Frontier (or the Frontier as a production site and as a habitat for the Stranger)

Светлана Баньковская (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, профессор; «Центр фундаментальной социологии» НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, старший научный сотрудник; кандидат философских наук, PhD) sbankovskaya@gmail.com.

Ключевые слова: фронтир, граница, маргинальность, Чужак, современный культурный конфликт.

УДК: 316.3 + 316.734
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_113

В статье рассматривается «фронтир» — как понятие и как социальный феномен. В определении «фронтира» отмечается его отличие от «границы», его связь с социальным изменением (в пространственном измерении), его динамический характер и, как следствие, — его неопределенность. Движителем фронтира как особой социальной формы выступает Чужак (первопроходец, маргинал, пионер). Фронтир, начиная уже с «классических» его исследований, предстает как особый «культурный образец/инвариант», основной характеристикой которого является парадоксальное закрепление культурного конфликта.

Svetlana Bankovskaya (PhD; Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading Researcher, "The Center for Fundamental Sociology", NRU HSE; Senior Researcher, Saint Tikhon's Orthodox University for the Humanities) sbankovskaya@gmail.com.

Keywords: frontier, border, marginality, The Stranger, modern cultural conflict.

UDC: 316.3 + 316.734
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_113

The article discusses 'frontier' as a concept and as a social phenomenon. The definition of 'frontier' distinguishes it from 'border', highlights its connection with social change (in its spatial dimension), and underlines its dynamic character and, consequently — its uncertainty. The stranger (pioneer, marginal man, frontiersman) is the driver of the frontier as a special social form. Emerging from classical studies of the frontier, it appears as a peculiar 'cultural pattern/invariant', marked by the paradoxical consolidation of cultural conflict.

Чужак и фронтир созданы друг для друга; они создают, поддерживают и сохраняют друг друга. Чужак скорее образ, нежели понятие, предложенный Г. Зиммелем для обозначения такого социального типа внутри единого и определенного границами социального целого, который «приходит сегодня и остается на завтра» [Зиммель 2008: 7—13], который привносит (извне) в размеренную традицией и повседневными привычками жизнь этого целого нечто новое, не-

1 В данной научной работе использованы результаты проекта «Национальная философия и культура: традиционные духовно-нравственные ценности», выполняемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2025 году.

определенное, беспокоящее и порой раздражающее. Уже одно это делает наше отношение к Чужаку неоднозначным и, можно сказать, парадоксальным.

С одной стороны: Чужак — пришелец из мира «по ту сторону границы», которая, хоть и не является непроницаемой, но все же служит защитой и свидетельством «нашего» порядка, его определенности и надежности. Чужаки, нарушившие эту границу, подозрительны и даже опасны:

> нам кажется, что, снявшись с насиженного места и придя к нам, они совершили подвиг, но именно это заставляет нас подозревать, что они обладают какой-то ужасной, мистической силой, которую мы не можем отразить, какой-то хитростью, которую мы не в силах разгадать, мы вынуждены предполагать, что они... могут использовать свое страшное превосходство в ущерб нам. В их присутствии мы чувствуем себя неуверенно; мы полуосознанно ждем от них поступков опасных и отвратительных [Бауман 1996: 65].

Но в то же время неопределенность Чужака представляет его свободным от устоявшихся в данном сообществе (имеющем в том числе и территориальную границу/определенность) категоризаций и идентификаций. Этой свободы он достигает прежде всего свободным перемещением в пространстве, свободным пересечением границ различных обществ и культур, оказываясь между этих границ: «маргинальный человек» (как теперь называет Чужака Р. Парк) —

> это тип личности, возникающий там и тогда, где и когда из конфликта рас и культур рождаются новые общества, народы и культуры. Та же судьба, которая обрекла его жить одновременно в двух мирах, принуждает его принять в отношении миров, в которых он живет, роль космополита и Чужака. На фоне своей культурной среды он неизбежно становится индивидом с более широким кругозором, более острым интеллектом, более отстраненной и рациональной точкой зрения [Парк 2011: 240].

Каким образом Чужаки/маргиналы оказываются «между границ», что делает возможным продолжительность такого «промежуточного» существования в пересечении форм и констелляции разных границ? Граница (border) — физическая, политическая, культурная, символическая — средство пространственного упорядочивания социальной жизни, результатом которого выступает определенность «экологического» (пространственного), политического/социального и культурного/морального порядков. Центральная проблема (пост)современного общества и национального государства — отсутствие конгруэнтности границ национальной культуры, резидентности и политического сообщества граждан — все больше разрешается на уровне индивидуального «номада», с точки зрения его права на выбор конкретной комбинации этих компонентов его идентичности (культуры, гражданства, территории).

Массовая, атомизированная мобильность способствует «разгерметизации» национального государства, которое все менее способно эффективно исполнять функцию *исключения и контроля* определенности границ. Выразителями и агентами трансгрессивных феноменов становятся умножающиеся разновидности маргиналов, локализованных между границ, совмещающих и релятивизирующих границы, воплощающих культурный конфликт в своей идентичности. Но и в положении маргинала границы сохраняют статичность и определенность; наложение, пересечение, комбинация границ, вписанных в социальный порядок и являющихся инструментом упорядочивания, присут-

ствует на «заднем плане» порядка, в неактуализированной «серой» зоне или даже является «слепым пятном» в упорядоченном целом.

Когда же такое промежуточное (неактуализированное) пространство, где помещаются маргиналы, становится определенным, наблюдаемым и тематизируемым? Это происходит, когда границы приходят в движение, когда они становятся мобильными в определенных социальных обстоятельствах. Статическая неопределенность положения Чужаков — между границ — приобретает динамику в процессе социального изменения. Граница в движении становится «фронтиром», а Чужаки выступают основными агентами фронтира. «Границы современных государств, — считает Э. Гидденс, — все больше становятся фронтирами, благодаря связям с другими регионами и вовлеченности в различного рода транснациональные объединения» [Giddens 1998: 130].

Что же такое «фронтир»? Как он соотносится с «границей»? И чем чревата мобильность фронтира для его агентов — Чужаков-маргиналов-первопроходцев-фронтирсменов-пионеров? Многочисленные попытки уловить сущность фронтира можно (сильно сокращая количество имеющихся определений) проследить уже по словарным и энциклопедическим обобщениям[2].

Классическому латинскому frons, frontis соответствует значение «лоб»; в расширительном значении термин стал использоваться для определения передней части чего-либо; уже в поздней латыни появились термины fronteria и frontaria с их нынешним значением — «граница». В старофранцузском языке термин трансформировался в frontiere, сохранив свое значение границы или рубежа страны.

В словаре Натана Бейли фронтир определяется как «граница, предел или рубеж королевства или провинции, который враги находят впереди, когда собираются войти в него»[3]. Здесь «фронтир» приобретает коннотацию, которую сегодня можно определить как охранительную, обеспечивающую безопасность, и в то же время указывает на конфликт, столкновение с врагом. Важно отметить при этом, что понятие фронтира с необходимостью связано «с другим» пространственным образованием.

Сэмюэл Джонсон, составитель «Словаря английского языка», опубликованного в 1755 году, определяет фронтир как: «Межу; предел; край собственно той территории, которая оканчивается не на море, а на переднем крае другой страны»[4]. В этом определении Джонсона интересно, во-первых, то, что этот термин используется в основном как синоним границы, а во-вторых, — то, что он имеет специфическую коннотацию: речь идет о сухопутной границе.

В Американском словаре английского языка Ноя Вебстера (1828) фронтир определен как «межа; граница, предел или крайняя часть страны, граничащая с другой страной; то есть та часть, которая наиболее далеко продвинута, или та, которая сталкивается с врагом, или на которую наталкивается вторгшийся

---

2 Как ни банально обращение к этимологии слов при установлении существа явлений, которые схвачены в понятиях, обозначенных этими словами, в данном случае оно представляется оправданным, раскрывающим специфику фронтира и предостерегающим от смешения этого понятия с понятием границы. См., напр.: *Endrizzi D.* As an Introduction: The Term 'Frontier' and Kindred Concepts//In: [Frontiers 2023: 3—14].

3 *Bailey N.* Dictionarium Britannicum: Or A More Compleat Universal Etymological English Dictionary than Any extant. London: T. Cox, 1736. P. 372.

4 *Johnson S.* A Dictionary of the English Language. London: Consortium, 1755. (https://johnsonsdictionaryonline.com (accessed: 31.01.2025)).

враг, или которая упирается в другую страну»[5]. Очевиден акцент на продвижении фронтира и продвижении путем противоборства с врагом.

«Самый край какой-либо территории, граница, рубеж, предел»[6], — так, отмечая его неопределенность, представляет фронтир словарь Вустера (1860). В 1890 году Международный словарь английского языка Вебстера включал уже довольно развернутое определение фронтира: «Часть страны, которая является фронтальной или обращенной к другой стране или незаселенному региону; межа; предел, граница или оконечность страны, граничащая с другой страной; граница населенной или цивилизованной части страны; как фронтир цивилизации»[7].

В этом определении важно заметить два момента: во-первых, речь идет о неопределенной пограничной полосе между двумя странами или на краю обитаемого мира, во-вторых, предполагается столкновение с якобы «нецивилизованной территорией», продвижение внутрь которой, таким образом, становится цивилизующим.

Наконец, Оксфордский словарь американского языка определяет фронтир как «линию, разделяющую две страны и т.д.; как землю вокруг этой линии; край земли, где живут люди и построены города, за которой — дикая и неизвестная территория, особенно на западе США в XIX веке; предел чего-либо, особенно предел того, что известно о каком-либо конкретном предмете или виде деятельности»[8].

Итак, отличительными признаками фронтира можно считать неопределенность (нечеткость) его как линии разграничения, это скорее пограничная область; эта область — место активного (опасного, враждебного) движения, столкновения; столкновение происходит с «нецивилизованным» миром, «дикой природой». «Фронтир», при всей их схожести, следует отличать от «границы», это отличие может быть представлено следующим образом:

Фронтир — это *регион*, образующий край (margin) заселенной или освоенной территории, территориально-географическая *область,* лежащая за пределами целостного региона политической единицы; он соотносится только с одним определенным политическим образованием, по другую сторону фронтира — «дикая природа», неопределенность, беспорядочность. Фронтиры не являются статичными, жесткими или неизменными. Они динамичны, меняют территориальные конфигурации на протяжении всей истории своего продвижения. В некоторых случаях фронтир рассматривается как область, в других — как край, предел.

Граница же — это четко очерченная линия делимитации/демаркации между двумя или несколькими политическими единицами (суверенными государствами). Даже если для разграничения территории используются при-

---

5 *Webster N.* American Dictionary of the English Language. New York: S. Converse, 1828 (https://webstersdictionary1828.com/Dictionary/Frontier (accessed: 31.01.2025)).

6 *Worcester J.E.* An elementary dictionary of the English language. Boston: Swan, Brewer and Tileston, 1860. P. 127.

7 Webster's international dictionary of the English language; being the authentic edition of Webster's unabridged dictionary, comprising the issues of 1864, 1879, and 1884 / Ed. by N. Porter. Springfield, MA: G. & C. Merriam company, 1898. P. 599.

8 Oxford Advanced American Dictionary for learners of English. Oxford: Oxford University Press, 2011 (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/frontier?q=frontier (accessed: 31.01.2025)).

родные элементы (озера, реки, горы и т.д.), они тем самым включаются в политический порядок.

Иными словами, граница — это функция государственно-организованного политического образования. Именно государство либо юридически (делимитирует), либо физически (демаркирует) устанавливает, поддерживает и обеспечивает соблюдение границы. Граница предполагает политическую организацию пространства с обеих сторон (даже если степень этой организации у обеих сторон неодинакова или они находятся в состоянии конфликта/в процессе согласования линии границы).

Фронтир же предполагает неопределенность с другой стороны; другая сторона — это среда (даже если это не «дикая природа»), предоставляющая пространство свободной конкуренции, где конкурентом может стать всякий, кто появляется на пути продвижения фронтира. В отличие от фронтира по ту сторону границы — вполне определенный противник/враг/сосед, одно ее пересечение означает не просто конкуренцию, но конфликт именно с ним.

Отличие конкуренции от конфликта в свое время теоретически оформил Р. Парк, представлявший общество как процесс циклического развития конкуренции, которая на каждой из четырех последовательных стадий этого цикла принимает все более социально контролируемые формы — от естественной/чистой конкуренции, конфликта, аккомодации до ассимиляции, — где чистая конкуренция за ресурсы (и первейший из них — пространство) образует «экологический» порядок, на этом уровне социальный контроль над конкуренцией минимален и ограничен лишь физическим пространством (спецификой его организации). Конфликт же предполагает столкновение с «другим», здесь свобода конкуренции уже ограничена «правилами борьбы» конкретных акторов за их конкретные интересы, образуя политический порядок (см. подробнее: [Баньковская 2023: 170—176]). В этом контексте можно говорить об изоморфизме фронтира (как принадлежащего к «экологическому»/пространственному порядку) и границы (как элемента, конституирующего политический порядок). При этом остенсивно не определяемые границы (социальные, культурные, символические и пр.) рассматриваются на уровнях социального и культурного/морального порядка, где конкуренция принимает форму аккомодации и ассимиляции.

Статичность границ и динамичность (мобильность) фронтира — не менее существенное их различие: если статичность, закрепленность, постоянство границ может/должно наводить на мысль об их «вечном» характере, предустановленности, «естественности», то продвигаемый человеческим усилием фронтир — воплощение рукотворности, «неестественности» границ, возможности их как разрушения, перемещения, так и произвольного установления и закрепления. Нетрудно заметить, что положение границ также постоянно изменяется, эти изменения (новая делимитация и демаркация) могут походить на продвижение фронтира, однако не тождественны ему[9]. Такого рода перемещения границ (как правило, в результате конфликта) предполагают установление

9 Мишель Фуше, например, предлагает различать четыре тенденции в бытовании границ в современном миропорядке: «постоянство территориальных споров; создание новых государственных границ; умножение количества пограничных правил; закрепление, то есть превращение обозначенных пределов в линейные границы» [Foucher 2016].

этого факта перемещения (не обязательно согласованного его принятия) с обеих сторон границы, то есть обоими политическими образованиями. Для продвигающегося же фронтира противоположная сторона как какое-либо «целое» не существует, есть лишь «среда», пространство, ресурс для продвижения.

«Классическим» примером исследования движимого фронтира и его социальной организации можно считать знаменитую работу Ф. Тёрнера «Значение фронтира в американской истории» [Тёрнер 2009; Turner 1894; 1920], где он прослеживает динамику продвижения и трансформации фронтира по четырем его формам, последовательно сменяющим друг друга, — фронтир охотника, торговца, скотовода и фермера. Фронтир породил своего рода уникальный социальный тип, который адаптировался к (дикой) физической среде, изменяя свои обычаи, традиции, образ мыслей и действий. Эти изменения в целом, по Тёрнеру, заключаются в том, что «на фронтире разрываются узы обычаев и торжествует бесчинство» [Turner 1920: 38]. Фронтир был местом встречи дикого мира и колонизаторов, которые завоевывали новые территории; но не просто местом с населением, а процессом социального изменения, особой социальной практикой, наглядным процессом взаимовлияния физической среды и социальных институтов [Leyburn 1935]. Речь шла именно о взаимном влиянии: не только «дикая природа» подвергается воздействию цивилизации, но и сложное общество, очутившись в дикой местности с примитивной организацией, дезинтегрируется, его сложные социальные институты упрощаются и «огрубляются»: «…это не просто движение по одной линии, но возвращение к примитивным условиям на постоянно продвигающейся линии фронтира и новое развитие этой территории. На фронтире социальное развитие постоянно начиналось заново» [The American Frontier 1981].

Социальная дифференциация сопровождается неопределенностью на фронтире, когда одна социальная группа сменяет другую на «внешней грани волны»: «Охотника и торговца вели на запад звери, ранчера вели на запад пастбища, фермера привлекала девственная почва речных долин и прерий… В этом продвижении фронтир является внешней гранью волны… где встречаются дикость и цивилизация» [Turner 1920: 3].

Социальные институты, обнаруживающие это «упрощающее» и дезинтегрирующее воздействие фронтира, — власть (правительство), экономика (бизнес), образование, религия. Суть такого упрощения (по Тёрнеру) — свобода, свободная конкуренция, не связанная обычаем и законом, а его последствия — определенный социальный тип первопроходца (Чужака), для которого характерны предпочтение религиозной секты, психология заемщика и должника, недоброжелательное и подозрительное отношение к банкам, неприятие каких бы то ни было ограничений; как следствие — спонтанный рост властных органов, децентрализация управления.

Индивидуализм фронтира с самого начала, по мысли Тёрнера, развивал демократию. Но индивидуализм же и оборачивается «нехваткой высокоразвитого гражданского духа» на фронтире, где каждый для другого — Чужак. Кумулятивный эффект постоянного столкновения с дикой средой, повторяющихся сборов и перемещений, движения, миграции, риска способствуют потере культурного багажа в дороге и формированию специфического типа мобильного Чужака. В этом типе парадоксальным образом соединяются:

> ...грубость и сила... с остротой ума и любознательностью... практический, изобретательный склад ума, способность быстро найти подходящие средства... умение разобраться в мире материальных вещей, нехватка художественного вкуса при склонности к эффектному проявлению... безрассудность, возбудимость, энергичность... преобладающий индивидуализм, который может быть и добром, и злом... бодрость и восторженность, которые приходят со свободой. Все это особенности фронтира или черты, порожденные существованием фронтира [Ibid.: 37].

Последователи концепции Тёрнера[10] при всем разнообразии областей ее приложения отмечают прежде всего, что фронтир как «край свободной земли» — это нечто совершенно иное, чем граница между государствами или даже пограничный регион между цивилизованными организациями, поскольку фронтир находится в процессе непрерывного продвижения. По выражению Оуэна Латтимора, «он не статичен, не является фронтиром отчуждения (и следовательно, просто оборонительным), но динамичным, фронтиром включения» [Lattimore 1955: 130].

В национальной истории (как в политической, так и в экономической) фронтир зачастую играл роль «предохранительного клапана» (safety-valve), выпускавшего социальное напряжение, не давая ему накапливаться в ограниченном пространстве определенного порядка (недовольные имели возможность переместиться и обустроить свой порядок в другом месте) [The American Frontier Revisited 1981].

Эдмунд Бёрк так видел из метрополии работу «предохранительного клапана» и опасные последствия сбоев в этой работе:

> Если вы прекратите жаловать землю, то каковы будут последствия? Люди займут ее без пожалований... Они видят обширные равнины, бескрайние, обильные, ровные луга... Там они будут бродить без притеснений и вести себя согласно своим привычкам. Скоро они забудут правительство, от которого они отреклись. Они превратятся в орды английских татар. И они хлынут на ваши незащищенные границы... Они станут хозяевами ваших губернаторов и чиновников, ваших сборщиков податей и ревизоров, ваших рабов, которые перейдут на их сторону. <... > Таким будет исход того, что вы пытаетесь сохранить для диких зверей ту землю, которую Бог, как сказано, дал сынам человеческим [Burk 1872: 473].

Однако на фронтире индивидуалистичный обитатель приграничья все же зависел от помощи соседей и был вынужден участвовать в согласованных действиях, а это составляло основу политической демократии [Gerhard 1959: 206]. «Предохранительный клапан» в условиях фронтира предотвращал и классовое расслоение, предлагая, по мнению Тёрнера, всем переселенцам равенство возможностей, делая их мобильным и склонным к экспериментам.

Помимо американского фронтира в мировой истории были и другие разновидности фронтиров, о которых говорил сам Тёрнер, — в Канаде, Австралии, Африке, России, где фронтир сыграл свою специфическую роль в формировании этих обществ. Это разнообразие дает, в свою очередь, основание для многочисленных сравнений и классификаций фронтиров [Ibid.], оставляя общей и неизменной чертой их всех неопределенность самой ситуации соприкосно-

10 Герберт Ойген Болтон (1870—1953), Артур Скотт Эйтон (1894—1955), Уолтер Прескотт Уэбб (1888—1963)

вения/столкновения на фронтире: нет общего определения ситуации между сторонами, сталкивающимися на фронтире.

При всех сходствах и различиях, например американского и сибирского фронтиров, неопределенность ситуации столкновения (которая чревата одновременно и конфликтом, и согласием) выступает их существенной характеристикой, когда стороны фронтира, стремясь преодолеть и упорядочить неопределенность, интерпретируют ситуацию каждая в терминах своего культурного образца.

Так, например, М. Ходарковский описывает эту ситуацию на сибирском фронтире:

> В глазах Москвы шерть была не взаимным договором, а клятвой верности, которую нехристианский народ приносил своему московитскому государю. Обычная процедура заключалась в том, что один или несколько местных вождей приносили клятву верности от имени своего народа в присутствии московского чиновника. Москва всегда старалась, чтобы такая присяга «вечной покорности великому царю» была совершена в соответствии с исконными обычаями новоприсягнувшего подданного. То, что русские называли клятвой верности царю, для местных было подтверждением мирного договора с малоизвестным народом, на который они проецировали структуру своего племенного и децентрализованного сообщества. То, что было данью для русских властей, для туземцев было торговой сделкой. «Я плачу тебе жалованье за то, что ты добываешь для меня меха» vs «Я продаю тебе добытые мной меха». Равнозначность этих позиций возможна в условиях монополии на обмен [Khodarkovsky 1992: 118].

В пространстве фронтира, таким образом, выстраиваются и совмещаются разные реальности с обеих сторон. Эта ситуация может разрешиться как компромиссом, так и конфликтом.

Поскольку фронтир — это пространство столкновения/встречи (encounter) с неопределенным, с иным, возможно, и организованным, но организованным по своему, пока непонятному образцу то фронтир предполагает менее (не) формализованный модус коммуникации — на уровне освоения культурного образца (в том числе и образца политической культуры). Но культурные (символически оформленные) образцы менее определенны, выражены не в терминах рациональной организации, но в терминах ценностей, традиций, идеалов и т.п. Фронтир представляет собой пространство, где разные «культурные образцы» [Schuetz 1944; 1945] встречаются, имея шанс построить общий мир. Но поскольку общих понятий и фиксированных определений изначально мало, этот мир выглядит по-разному для встречающихся сторон. В конце концов, культурный образец, политическая организация одной стороны становится доминирующей, но это требует времени. Фронтир — процесс, предполагающий расширение одного мира и исчезновение другого, его если не ассимиляцию, то аккомодацию. Единый мир, во многом созданный по образу и подобию одной из сторон (Новая Испания, Новая Англия, Новая Зеландия, Новороссия и т.д), возникает только после того, как фронтир сначала превращается в приграничную/аффилированную территорию, а затем полностью поглощается одним из взаимодействующих образований — в большей мере политически, экономически и идеологически организованным. То, что раньше было фронтиром, теперь стало пограничной территорией за линией обороны. Прибытие колонистов и миссионеров (фронтирсменов, маргиналов и т.д.) зна-

менует собой начало процесса вхождения региона в состав государства, то есть фронтир оформляется в границу.

Правительство теперь обращается к политическим инструментам — введению законов и институтов, экономическим льготам, кооптации в элиты и армию и т.п. Усилия по изменению самого образа жизни/культурного образца местных становится сознательной политикой государства [Khodarkovsky 2002].

Другой вариант превращения фронтира в границу — столкновение с другим фронтиром, продвигаемым навстречу: «Чем дальше вглубь страны уходили буры, тем чаще они сталкивались с другим, численно превосходящим их движением, — фронтиром банту. Отношения с высокоорганизованной туземной цивилизацией должны были стать важнейшей проблемой, осознавали это поселенцы или нет» [Gerhard 1959: 216]. (Все это не исключает возможности перехода границы опять в качество фронтира.)

Таким образом, неопределенность ситуации на фронтире связана с (или даже обусловлена) его парадоксальностью, которой отмечен и социальный тип первопроходца/Чужака/маргинала: с одной стороны, он предрасположен к новому, и в то же время его не отпускает ностальгия по старому (привезенному с собой). Токвиль, в 1831 году посетив французскую Канаду, писал: «Везде нас принимали… как детей старой Франции, как говорят здесь. На мой взгляд, эпитет выбран неудачно. Старая Франция — в Канаде, новая — с нами…» [Pierson 1938: 314]. На фронтире постоянно идет открытая борьба (фронт) различных авторитетов, формирующих новые социальные институты (церковь, школы, прессу, местное самоуправление и пр.), за доминирование, отсюда — неустойчивость компромиссов. Фронтир создает условия для освобождения от старых институтов власти, но зачастую происходит перенесение политических споров на новую почву («…силы организации труда, проявляющиеся как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, являются прямым продолжением традиций английского радикализма, с максимальным использованием австралийских возможностей» [Gerhard 1959: 214]). Фронтир «отталкивается» («убегает») от определенности статичного порядка и в то же время вторгается во внешнюю область неопределенности, в «дикую среду» и начинает ее упорядочивать, выступая агентом порядка. Чужак при этом может быть и основным движителем фронтира, «человеком перемен» и толерантным космополитом (в случае продвижения фронтира «вперед»), а может и столкнуться с дилеммой (в случае отступления фронтира «назад», «имплозии» границ[11]), которая заключается в следующем: принять новую форму и новое расположение границ, признать новые оппозиции, словом, — принять ее в качестве своего идентификатора, — или же не принимать новых разделений и оставаться вне новых границ, между ними, в области фронтира, где новообразующиеся группы все еще конфликтуют, делят между собой пространственные ресурсы, «поля» и т.п.[12] В такой ситуации Чужак скорее стремится избежать контакта

11 Как это произошло после распада Советского Союза, в результате чего около 25 миллионов бывших его граждан остались за пределами «своих национальных республик». См. подробнее о парадоксах постсоветского гражданства: [Баньковская 2023: 212—227].

12 Если зиммелевский Чужак соединял в себе две противоположности — одновременно и свободу от данной точки в пространстве, и фиксированность в ней, — то в случае с Чужаком на линии фронтира можно говорить и о том, что определенное пространство (политическое, прежде всего — государство) само освобождается от него или, наоборот, стремится зафиксировать его в своих границах.

с четкими границами, нежели сочетать их в своей идентичности или «стирать». Этот тип Чужака отнюдь не кажется более свободным от гнета традиций и порядков, он в большей мере сталкивается с необходимостью противостоять возрастающим по численности формам контроля вокруг него, он задавлен необходимостью защищать свою идентичность от попыток «внести ясность» в его независимую неопределенность и двусмысленность, поглотить ее в рамках новой, определившейся формы. Это состояние маргинальности может иметь следствием и «замыкание» («уход», изоляцию), и агрессивные требования политкорректности и следования «политике различий», стремление противопоставить культурному плюрализму мультикультурализм [Rorty 1999: 252].

Парадоксальность фронтира и Чужака на фронтире порождает, в свою очередь, и парадоксальность *культурного конфликта*, сопутствующего продвижению/отступлению фронтира, которую можно зафиксировать на континуумах между полюсами — банальность/спонтанность, недостаток/избыток толерантности, вражда/любовь, ксенофобия/ойкофобия, — а также в феноменах контрфинальности.

Парадокс первый. Конфликтные ситуации столь повсеместны и повседневны, что мы склонны вырабатывать свои способы реагировать на них, свой стиль поведения в конфликте, свои приемы и правила его разрешения, словом, привычные (порой доведенные до автоматизма) способы ведения конфликта. Теоретики на этом же основании говорят о «*банальности*» конфликта. Но при этом каждый раз конфликт «*возникает*», «случается», «происходит вдруг» (даже когда его вероятность предсказуема), момент и повод его возникновения спонтанны, его протекание в целом не прогнозируемо.

Парадокс второй. Не сложно предположить, что конфликт может произойти вследствие *нетерпимости* к проявлениям чужих (чуждых) нравов, обычаев, к самому виду Чужака, вторжение которого в привычный знакомый «жизненный мир» превращает его в подозрительное и даже небезопасное место, а поэтому требует решительных (читай — конфликтных) действий по устранению инородного и неуместного. Однако и повышенная *толерантность* также застигает нас порой врасплох, и мы неожиданно для себя можем оказаться в ситуации конфликта, к которому не были готовы.

Красноречивый пример приводят американские исследователи Лукианоф и Хейдт[13] [Lukianoff, Haidt 2015]. Многие американские университеты сегодня крайне обеспокоены эмоциональным самочувствием студентов, предполагая, что их психика очень ранима, особенно в вопросах идентичности. Чтобы оградить студентов (латиноамериканского, азиатского происхождения) от неприятных впечатлений, студенческие кампусы превращают в сверхтолерантные «безопасные места», где студенты должны быть гарантированы от смущающих их слов и вопросов. Например, если вы случайно спросите такого студента: «Где вы родились?», — это сочтут как раз актом «микроагрессии», своего рода насилия, поскольку вопрос предполагает, что студент не является истинным американцем. Совершая этот акт, вы непреднамеренно и неожиданно для себя оказываетесь в ситуации конфликта с установленными правилами эмоциональной безопасности. Эти же правила требуют, чтобы профессора де-

13 *Lukianoff G., Haidt J.* The Coddling of the American Mind // The Atlantic. 2015. Sept. (http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/09/the-coddling-of-the-american-mind/399356/ (accessed: 31.01.2025)).

лали «предупреждения об опасности», если в лекциях или в рекомендуемых книгах упоминаются могущие эмоционально ранить студентов слова, идеи, проблемы. Отсутствие злого умысла или просто небрежность в выборе слов не освобождает нарушителя эмоционального комфорта от наказания, и он в полной мере почувствует, что стал зачинщиком конфликта. Выстраивание такого рода конфликтогенных ситуаций авторы статьи называют «мстительной защитой» (vindictive protectiveness); это целая культура «толерантности», которая требует от каждого трижды подумать, прежде чем сказать слово, бросить взгляд или позволить себе жест.

Парадокс третий выводится из той же ксенофобии как нелюбви к чужому. Столкновение с чужим и чуждым, неприятие этого чужого — вполне понятное объяснение конфликта. Однако и отвращение к своему или даже враждебное к нему отношение — ойкофобия — зачастую также может служить вполне адекватным объяснением конфликта.

Парадокс четвертый. Конфликт можно объяснять как столкновение противоречивых, несовместимых представлений, целей, ценностей, действий, когда вражда проистекает из непримиримых, неистребимых *различий*. Но не меньшие основания имеют и объяснения конфликта как следствия *тождества* конфликтующих сторон, их полной схожести. Социальные ученые называют это эффектом контрфинальности. Контрфинальность[14] («обратный эффект») — это такая ситуация, когда множество одинаково рационально действующих индивидов, не согласующих свои действия между собой, все вместе достигают результата, противоположного целям каждого из них по отдельности. Необходимым условием контрфинальности выступает массовость стандартного действия, когда каждому из действующих доступны одни и те же цели и в равной мере известны наиболее эффективные средства их достижения, и каждый из них способен применить эти средства для достижения одной (одинаковой, но не общей) цели. Расчет эффективности и достижение цели действия оправданы для единичного случая, когда же такое действие осуществляется множеством (причем неопределенным множеством) действующих и притом — одновременно, то равнодействующая оказывается прямо противоположной ожиданиям и намерениям каждого из действующих и ведет к конфликту между ними. При этом сложно просчитать заранее, когда именно, в какой конкретно момент наступит этот эффект контрфинальности, какое точно количество участников приведет к данной ситуации; контрфинальность спонтанна, непредсказуема и зачастую неконтролируема.

Парадокс пятый. Конфликт неизбежно проистекает из самой «природы человека» (она «отталкивается» от конфликта), и мы носим дух противоречия с собой, как улитка свой домик, а готовность вступить в конфликт с Другим равносильна обладанию идентичностью.

Зиммель в статье со много говорящим названием «Человек как враг» [Зиммель 1994: 502] предположил, что каждому из нас присущ основной «оппозиционный инстинкт». Мы вправе полагать, что душа обладает потребностью ненавидеть и бороться не в меньшей мере, чем любить. Человеку легко внушить враждебные чувства, и так же, как на предмет своей любви он переносит воз-

14 Й. Элстер рассматривает «контрфинальность» как проявление неоднозначности, спонтанности и «отложенной во времени» конфликтогенности социальных процессов, см.: [Elster 1978].

буждающие еще большую любовь качества, он проецирует и на избираемого врага возбуждающие ненависть свойства. Зиммель особо подчеркивает, что наиболее сильная вражда возникает между близкими людьми, на почве родственной общности: чем интимнее связь, тем болезненнее ощущается даже незначительное противоречие, чем обширнее область совместной жизни, тем больше есть поводов для разлада. «На почве родственной общности возникает более сильный антагонизм, чем между чужими», — пишет Зиммель [Там же: 505].

Подвергая, таким образом, детальному рассмотрению понятие и сам феномен фронтира, следует иметь в виду его многоплановость, неоднозначность, неопределенность и даже парадоксальность. Фронтир — не только особого рода социальный процесс (с точки зрения его динамики), не только своеобразное состояние — и социальный институт, и место/регион в физическом пространстве — (с точки зрения его статики); фронтир — это еще и специфический, порождаемый им социальный тип, агент и движитель фронтира; наконец, продвижение современного фронтира, хотя и происходит во все том же физическом пространстве, теперь осложняется тем, что пробивается сквозь плотную информационную, экономическую, политическую, правовую, культурную и прочую сеть коммуникаций. Несмотря на всю свою парадоксальность, продвижение фронтира, институционализируясь, входит в модус существования целых культур: окончание продвижения одного фронтира (физического, остановленного физическим препятствием, океаном или горами например) знаменует собой начало продвижения другого (технологического, политического, культурного и т.д.), поскольку созданный на фронтире инвариант социального типа (первопроходца, Чужака, маргинала) может существовать только в этом модусе — свободного продвижения цивилизации вглубь окружающей среды, столкновения со средой, упорядочивания ее первобытного хаоса. Само это движение нуждается в ресурсе, в пространстве, которое представляется «свободным» для освоения и аккультурации; когда граница становится фронтиром, доселе определенная сопредельная сторона по ту сторону границы становится обезличенной «средой», «территорией», пространством, особенность которого в том, что в столкновении с ним в самых разных (и парадоксальных) формах проявляется и генерируется культурный конфликт. Диалектика фронтира и границы как динамической и фиксированной/формальной сторон одного и того же процесса пространственной организации (и дезорганизации) в конкретных условиях и обстоятельствах ставит принципиально новые вопросы и требует постоянной теоретической работы.

Библиография / References

[Баньковская 2023] — *Баньковская С.П.* Чужаки и границы. Исследования по социологии маргинальности. СПб.: Владимир Даль, 2023.

(*Ban'kovskaya S.P.* Chuzhaki i granitsy. Issledovaniya po sotsiologii marginal'nosti. Saint Petersburg, 2023.)

[Бауман 1996] — *Бауман З.* Мыслить социологически / Пер. с англ. А. Филиппова. М.: Аспект-пресс, 1996.

(*Bauman Z.* Thinking Sociologically. Moscow, 1996. — In Russ.)

[Зиммель 1994] — *Зиммель Г.* Человек как враг / Пер. с нем. А. Филиппова // Зим-

мель Г. Избранное: В 2 т. Т. 2: Созерцание жизни. М.: Юристъ, 1994. С. 501—508.

(*Simmel G.* Der Mensch als Feind // Simmel G. Izbrannoye: In 2 vols. Vol. 2. Sozertsaniye zhizni. Moscow, 1994. P. 501—508. — In Russ.)

[Зиммель 2008] — *Зиммель Г.* Экскурс о Чужаке / Пер. с нем. А. Филиппова // Социологическая теория: история, современность, перспективы: Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Владимир Даль, 2008.

(*Simmel G.* Exkurs über Den Fremden. Saint Petersburg, 2008. — In Russ.)

[Парк 2011] — *Парк Р.Э.* Культурный конфликт и маргинальный человек // Парк Р.Э. Избранные очерки / Пер. с англ. В.Г. Николаева. М.: ИНИОН РАН, 2011.

(*Park R.E.* Cultural Conflict and the Marginal Man // Park R.E. Izbrannye ocherki. Moscow, 2011. — In Russ.)

[Тёрнер 2009] — *Тёрнер Ф.Дж.* Фронтир в американской истории / Пер. с англ. А.И. Петренко. М.: Весь Мир, 2009.

(*Turner F.J.* The Frontier in American History. Moscow, 2009. — In Russ.)

[Burk 1872] — *Burk E.* Oration on Conciliation // Burk E. Works. London: Bell & Daldy, 1872.

[Elster 1978] — *Elster J.* Logic and society: contradictions and possible worlds. Chichester; New York: Wiley, 1978.

[Foucher 2016] — *Foucher M.* Le Retour des frontières. Paris: CNRS Éditions, 2016.

[Frontiers 2023] — Frontiers — Law, Theory and Cases/ Eds. D. Endrizzi, J. Becerra, E. Perafán Del Campo, J. Cubides Cárdenas, L. Gamarra-Amaya. Springer, 2023.

[Gerhard 1959] — *Gerhard D.* The Frontier in Comparative View // Comparative Studies in Society and History. 1959. Vol. 1. No. 3. P. 205—229.

[Giddens 1998] — *Giddens A.* The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Cambridge: Polity Press, 1998.

[Khodarkovsky 1992] — *Khodarkovsky M.* From frontier to empire: the concept of the frontier in Russia, sixteenth- eighteenth centuries // Russian History. 1992. Vol. 19. No. 1/4: The Frontier In Russian History. P. 115—128.

[Khodarkovsky 2002] — *Khodarkovsky M.* Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500—1800. Bloomington: Indiana University Press, 2002.

[Lattimore 1955] — *Lattimore O.* The Frontier in History // Relazioni. 1955. Vol. 1. P. 103—138.

[Leyburn 1935] — *Leyburn J.S.* Frontier Folkways. New Haven: Yale University Press, 1935.

[Pierson 1938] — *Pierson G.W.* Tocqueville and Beaumont in America. New York: Oxford University Press, 1938.

[Rorty 1999] — *Rorty R.* Philosophy and Social Hope. London: Penguin Books, 1999.

[Schuetz 1944] — *Schuetz A.* The Stranger. An Essay in Social Psychology // American Journal of Sociology. 1944. Vol. 49. No. 6. P. 499—507.

[Schuetz 1945] — *Schuetz A.* The Homecomer // American Journal of Sociology. 1945. Vol. 50. No. 5. P. 369—376.

[The American Frontier 1981] — The American Frontier Revisited / Ed. by Margaret Walsh. London; Basingstoke: The Macmillan Press, 1981.

[Turner 1894] — *Turner F.J.* The Significance of the Frontier in American History //Annual Report of the American Historical Association, 1893. Washington: Government Printing Office, 1894. P. 197—227.

[Turner 1920] — *Turner F.J.* The Frontier in American History. New York: H. Holt and Company, 1920.

Станислав Боридченко

Обратный колониализм

Пределы российских имперских амбиций в периодике России времен правления Николая II[1]

Stanisław Boridczenko

Reverse Colonialism. The Limits of Russian Imperial Ambitions in the Press Discourse of Nicholas II's Russia

Станислав Боридченко (Щецинский университет, научный сотрудник Исторического института; PhD) stanislaw.boridcenko@usz.edu.pl

Ключевые слова: Российская империя, империализм, колониализм, ментальная карта, интеллектуальная история, Николай II

УДК: 930.23
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_126

В статье анализируются альтернативные дискурсы русской интеллигенции времен царствования Николая II (1894—1917). В центре ее внимания — интерпретации политики территориальной экспансии России в эпоху ее модернизации. Согласно основной гипотезе, в период правления последнего русского царя в русской интеллектуальной традиции наметилась тенденция к десакрализации империи, что привело к переосмыслению необходимости сохранять прямой контроль над многочисленными ранее аннексированными приграничными территориями.

Stanisław Edward Boridczenko (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny; PhD) stanislaw.boridcenko@usz.edu.pl

Keywords: Russian Empire, imperialism, colonialism, mental map, intellectual history, Nicholas II

UDC: 930.23
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_126

My article explores alternative discourses of the Russian intelligentsia during the reign of Nicholas II (1894—1917). It focuses on the interpretation of Russia's policy of territorial expansionism in the era of modernization. According to my hypothesis, during the reign of the last Russian tsar, a tendency toward the desacralization of the empire emerged within Russian intellectual tradition, leading to a reconsideration of the necessity of maintaining direct control over numerous previously conquered territories.

Введение

Генерал Алексей Куропаткин в своих воспоминаниях о Николае II красноречиво описал экспансионизм, в соответствии с которым мыслил последний российский император: «Я сказал Витте, что у нашего суверена в голове грандиозные планы: присоединить Маньчжурию к России, готовить захват Ко-

1 Данная статья написана благодаря финансовой поддержке Стипендиальной программы Фонда прусского культурного наследия, сделавшей возможными исследования в собраниях Берлинской государственной библиотеки в 2024 году. Отдельно мне хотелось бы выразить благодарность за неоценимую помощь директору Восточноевропейского департамента Библиотеки Олафу Хаманну и специалисту по исследовательским грантам Сусанне Хеншель. Кроме того, я чрезвычайно признателен Николаю Нахшунову, чья редакторская правка помогла привести мой текст в соответствие со стандартами академического русского языка.

реи. Он мечтает взять под свой скипетр и Тибет тоже. Он хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но также и Дарданеллы»[2]. Эти мечты о расширении России являют собой кульминацию империалистического мышления, для которого территориальная экспансия государства становится наивысшей целью.

И все же насколько амбиции Николая II отражали чаяния его подданных? Действительно ли неограниченное расширение границ и «приращение» государства безоговорочно приветствовались? Как оценивались последствия этой политики в свете отношений между центром и многочисленными перифериями империи? Где заканчивалась ментальная Россия в представлении ее жителей? Все перечисленные вопросы уже можно считать классическими. Однако я предлагаю трактовать их несколько иначе. Согласно моей гипотезе, в Российской империи традиционному прославлению экспансии сопутствовало альтернативное видение, не интегрированное в официальный дискурс — а по этой причине менее известное, — которое возникло в результате модернизации интеллектуальной традиции.

Подобный взгляд ярко проявляется в неожиданном месте — в одном из учебников по российской истории[3]. Его автор, один из наиболее влиятельных создателей учебников в Российской империи Дмитрий Иванович Иловайский, пишет: «После Финляндии это была вторая окраина [Польша], которая была одарена привилегированным положением по отношению к исконной России, еще более ей враждебная, хотя и значительно менее ей нужная»[4]. Эти строки содержат совершенно иную картину России с постоянно расширяющимися границами — картину империи, угнетающей свой центр. В такой интерпретации главной жертвой экспансионизма становится сам русский народ, вынужденный сосуществовать в одном государстве с враждебными сообществами, действующими в ущерб его интересам. В подобных условиях следующим логическим шагом становится возникновение желания избавиться от бремени.

Образ, описанный выше, указывает на конфликт двух перспектив, тесно связанных с процессом модернизации. По мере развития общества модерна и появления концепции национального государства перед российской интеллигенцией встал вопрос о том, что важнее — многонациональная империя, над которой никогда не заходит солнце, или национальное государство, отражающее чаяния и устремления одного этноса.

Настоящая статья посвящена поиску альтернативного ответа на этот вопрос, для чего я обращаюсь к дискурсу российской интеллигенции времен последнего Романова[5]. Этот текст предлагает неклассический подход к пониманию критики российского экспансионизма и сознательно отступает от традиционного политического спектра со свойственным ему разделением дис-

---

2 *Куропаткин А.Н.* Дневник // Красный архив. 1922. № 2. С. 31.

3 О причине, по которой текст учебника является неожиданным местом для подобного заявления, см.: [Boridczenko 2021].

4 *Иловайский Д.И.* Краткие очерки русской истории: Курс старшего возраста. М.: Т-во Типо-литографии И. М. Машистова, 1912. С. 304. В оригинальной версии учебника данная фраза отсутствует. Она появляется лишь в его последующих редакциях, изданных во времена правления Николая II.

5 Классический историографический ответ на вопрос о том, как интерпретировать территориальное развитие России, можно найти в монографии: [Błachowska 2001].

курса на «левый», «центристский» и «правый». В центре моего внимания — нарратив как единое и неделимое целое, не зависящее от политической идентификации тех, кто его создал[6].

Статья затрагивает две взаимосвязанные проблемы. Первая касается альтернативного способа интерпретирования имперской природы собственного отечества, который был присущ некоторым представителям интеллектуальных элит времен Николая II. Вторая — ментальной карты России и оснований для проведения воображаемых границ между «своим» и «чужим»[7].

Исследование строится на дискурсивном анализе корпуса текстов, созданных подданными Николая II, которых принято именовать интеллигенцией. В своей массе это разнообразная публицистика, предназначенная для периодической печати[8]. Интерпретация текстов производится в духе Хайдена Уайта и его новой интеллектуальной истории[9]. В центре моего внимания оказывается чрезвычайно ограниченный феномен — критическое восприятие имперскости собственного отечества. Отдельно стоит отметить, что анализируемые идеи являются продуктом достаточно узкой и специфической прослойки населения. Поэтому они в полной мере не отражают взглядов ни широких масс, ни политических элит. Даже в случае интеллигенции существовали тенденции, самой явной из которых было «государственничество»[10]. Таким образом, данный текст сконцентрирован лишь на одном аспекте интерпретации реальности русскими интеллигентами — на их восприятии российского империализма как национальной угрозы, и не стремится охватить все другие трактовки российского экспансионизма. Тем не менее затрагиваемый сюжет позволяет лучше понять закономерности, связанные с процессом, который я считаю первым шагом к интеллектуальной деколонизации империообразующего сообщества.

Модерная нация как враг империи

Традиционное имперское мышление, как уже было отмечено, основывалось на восхвалении территориальной экспансии. Его последовательными носителями являлись сами Романовы. На первом месте у государственных элит было покорение новых земель и сохранение контроля над ними — как защищая новоприсоединенные территории от внешних угроз, так и противодействуя внутренним конфликтам, которые могли спровоцировать дезинтеграцию. Один из ключевых элементов такой политики — отсутствие унификации колоний и поощрение своеобразной инклюзивности империи. В результате этого имперские элиты представляли собой конгломерат представителей различ-

6 Моя статья следует критической по отношению к существующему канону историографической традиции, которой придерживается целый ряд исследователей. Среди их работ стоит выделить следующие: [Правилова 2006]; [Etkind 2013]; [Miller 2008].

7 Отдельные примеры этого явления см.: [Горизонтов 2007]; [Горизонтов 2013]. Пример, заслуживающий особого внимания: [Staliūnas 2016].

8 Этим фактом обусловлено использование первоисточников, в которых часто не указаны имена авторов либо указаны не в полной форме.

9 [White 1973].

10 Примечательная трактовка колониального типа мышления в высокой русской культуре была предложена Евой Томсон: [Thompson 2000].

ных культур и этносов[11]. А сама идея государства опиралась на постоянное подчеркивание его обширности и разнородности — как территориальной, так и демографической[12].

Этот принцип можно замечательно проиллюстрировать воспоминаниями Астольфа де Кюстина о его разговоре с Николаем I: «Исполнять эту волю весьма непросто; всеобщая покорность заставляет вас думать, будто у нас царит единообразие — избавьтесь от этого заблуждения; нет другой страны, где расы, нравы, верования и умы разнились бы так сильно, как в России. Многообразие лежит в глубине, одинаковость же — на поверхности: единство наше только кажущееся. Вот, извольте взглянуть, неподалеку от нас стоят двадцать офицеров; из них только двое первых русские, за ними трое из верных нам поляков, другие частью немцы; даже киргизские ханы, случается, доставляют ко мне сыновей, чтобы те воспитывались среди моих кадетов, вон один из них, — с этими словами он указал мне пальцем на маленькую китайскую обезьянку в диковинном бархатном костюме, с ног до головы усыпанную золотом; на голове у юного азиата красовалась высокая прямая шапка с острым верхом и большими, загнутыми кверху круглыми отворотами, похожая на шутовской колпак. — Вместе с этим мальчиком здесь воспитываются и получают образование за мой счет двести тысяч детей»[13]. И хотя это нельзя считать описанием реального разговора маркиза с царем, впоследствии прозванным Палкиным, он замечательно отражает суть российского империализма. Такой подход был не уникален для России — это универсальная стратегия великих колониальных держав[14].

Инклюзивность проявлялась и в составе государственных элит, сочетавших разные этнические, языковые и даже культурные и религиозные идентичности. Захват и колонизация новых территорий часто осуществлялись силами уже покоренных народов, успешно интегрированных в состав империи[15]. Так, например, польские офицеры и солдаты успешно покоряли Кавказ, становясь своего рода амбассадорами империи Романовых, а потомки покоренных ими народов использовались царским правительством для усмирения антиимперских беспорядков в Варшаве и устрашения поляков одним только своим присутствием[16]. В данном случае напрашиваются параллели с Французской колониальной империей и народом зуавов, который она покорила в XIX веке, а также с межколониальной миграцией в Британской империи.

---

11 Хотя, бесспорно, в эпоху последних Романовых наметилась и тенденция к национализации институтов власти. Ср.: [Lohr 2003]; [Weeks 1996]; см. также главу в книге Алексея Миллера, посвященную Российской империи: [Berger, Miller 2015]. Тем не менее способность политических элит к изменениям явно не соответствовала желаниям быстро национализировавшихся интеллектуальных элит.

12 Мультиэтничность Российской империи подробно рассмотрена в ставшей уже классической работе, см.: *Kappeler A.* The Russian Empire: A Multi-Ethnic History. London: Routledge, 2001.

13 *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. Т. 1. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1996. С. 199—200.

14 Ср.: [Hobsbawm 1987].

15 Замечательный анализ польского примера интеграции локальных элит в состав имперских и одновременного противостояния двух национальных проектов см.: [Горизонтов 1999].

16 Подробнее о деконструкции польского национального мифа о совместной борьбе поляков и кавказцев против русской оккупации и участии поляков в покорении Кавказа см.: [Adamczewski 2019].

Более того, проникновение этой инклюзивности в официальный церемониал стало практически обязательным для имперской политики. Государственная символика Российской империи — от герба до полного императорского титула — включала большое количество элементов, которые отражали многосоставность империи, а традиционные великорусские мотивы нередко оказывались в тени. Если взглянуть на большой государственный герб Российской империи, то можно заметить, что главный символ государства Российского, двуглавый орел, затерялся среди множества символов покоренных окраин с минимизированным наличием символики так называемых великороссийских областей. Подобная ситуация наблюдалась и в Британской, и в Австро-Венгерской и во всех прочих колониальных державах того времени.

Однако такая прагматичная (с точки зрения государственных элит) политика могла проводиться только в эпоху премодерна, когда основу идентичности составляли сословная принадлежность и верность правящему дому. С появлением и развитием «воображаемых сообществ»[17], как обозначил конструкт нации Бенедикт Андерсон, на первый план стали выходить принципы, конфликтующие с прежней инклюзивностью. Они могли быть разными, но в основном концентрировались на реальных или воображенных благах собственного народа-конструкта, который объединял представителей одного и того же этноса, спаянного общей культурой и противопоставленного другим сообществам[18].

Таким образом, символическая инклюзивность, которая воспринималась ранее как признак величия империи (поскольку демонстрировала ее способность подчинять многочисленные народы и управлять ими), внезапно стала объектом критики. Причем эта критика часто исходила не от противников монархии, а от ее, казалось бы, наиболее последовательных сторонников. После поездки на Дальний Восток секретарь московского отделения Союза русского народа Василий Григорьевич Орлов оставил чрезвычайно характерный пассаж: «Приехав во Владивосток, мы были поражены тем обстоятельством, что все административные должности в учреждениях, как городских, судебных и портовых, высшие и низшие, оказались занятыми почти исключительно инородцами, в особенности поляками. Люди эти и по душе с антирусским направлением <…> Здесь вы увидите, рядом с православным собором, строится языческая кумирня, а когда ее закладывали, то вы представить себе не можете, как торжественно и с какой помпой присутствовали почти все высшие чины Владивостока, генералитет и консулы; точно так же как у вас, господа, закладывали в С.-Петербурге мусульманскую мечеть, вспомните, кого только не было на этом торжестве мусульман: и члены Государственного совета и Государственной думы, чины дипломатического корпуса <…> После этого можно ли удивляться тому, что на Уссурийской железной дороге существует распоряжение, по которому православные священники по делам церковных треб едут в вагонах 3-го класса, зато ксендзы катаются в первом классе»[19].

---

17 См.: [Anderson 1991].

18 См. классические работы о национализме, его истории и значении: [Gellner 1983]; [Greenfeld 1992]; [Hobsbawm 1992].

19 *Орлов В.Г.* Записка В. Орлова о поездке в Сибирь // Союз русского народа: По материалам Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. М.; Л.: ГИЗ, 1929. С. 152—154.

То, что раньше считалось символом мощи государства, теперь вызывало тревогу у интеллигенции, которая становилась все более национально ориентированной. А сам факт включения в ряды приближенных к царской власти представителей нетитульных этнических сообществ постепенно приводил к великорусской фобии, особенно перед некоторыми из них[20]. О подобном беспокойстве свидетельствует одна из статей, опубликованных в годы Первой мировой войны: «Вместе с тем в газетах появились известия о том, что по мере занятия русскими войсками польских губерний будут там ставиться служащими исключительно лица польского происхождения, для чего имеется в виду ныне же заблаговременно приступить к созданию особого кадра служащих. Таким образом, в Польше чиновниками гражданского ведомства будут лица исключительно польского происхождения. Мы думаем, что такое новое для империи Российской положение вызовет некоторые изменения в службе гражданской и в коренных местностях империи. <...> Мы смеем надеяться, что и в России русские получат привилегии не меньшие, чем иные народности»[21]. Из приведенного пассажа ясно, что даже в условиях войны и необходимости народного единения, к чему призывало царское правительство, неприятие «нерусскости» государственными элитами давало о себе знать.

Подобные настроения, однако, не ограничивались вопросами о формировании политических и военных элит империи. Они приводили к тому, что отношения между имперским центром и окраинами воспринимались в духе той же несправедливости. Характерное свидетельство тому можно обнаружить в классическом тексте, изданном в позднем «Наблюдателе» — издании, которое к началу XX века из типично литературного журнала превратилось в рупор русских националистов: «Для центра высшей милостью будет та награда, которую просил себе незабвенный герой Ермолов, покоритель Кавказа, у императора Николая Павловича: “чтобы его сделали немцем”. Так и для центра лучшею милостью будет сравнение с окраинами “в правах и преимуществах”»[22]. Здесь в юмористической манере затронута болезненная для русской интеллигенции тема — неравноправие России и покоренных ею окраин, фундаментальное с точки зрения существующей системы имперской власти. Эти настроения не были секретом для правительства.

Как показывает история, несмотря на стремление уравнять черносотенную и официальную государственную идеологии, свойственное советской историографии и встречающееся уже в левой интеллектуальной традиции дореволюционной эпохи, любое сотрудничество имперского правительства с великорусскими националистами было редкостью. И хотя в сборнике «Народное дело» (1909), изданном свидетелями описываемого процесса, мы читаем: «Но особенно поучительно то, что кроме как на дворян и черносотенцев — своих приказчиков — Николаю II не на кого и опираться. Словно сама судьба гонит его в союз со всякою мразью и отбросами русской земли. И он все глубже и глубже тонет в вонючей тине и грязи»[23], — в реальности царское правительство, как

20 Подробнее о немецком случае см.: *Котов Б.* Положение немцев в земледельческих колониях юга России в оценке Российской прессы // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2011. № 1. С. 42—49.

21 Последствия, которых мы ждем // За Россию! 1916. 10 июля. № 77. С. 1.

22 Наши внутренние дела // Наблюдатель. 1901. № 12. С. 32.

23 Народное дело: Сборник. 1909. Вып. I. С. 120.

правило, с настороженностью относилось к таким потенциальным «союзникам». В определенных обстоятельствах оно могло прибегать к националистической и шовинистической риторике[24] и даже проводить соответствующую политику. В качестве классических примеров можно привести русификацию отдельных окраин и поддержку черносотенцев в ходе первой русской революции[25]. Тем не менее в более длительной перспективе интересы имперских элит и националистов находились в прямом конфликте. Россия Романовых до последнего дня своего существования оставалась по большей части государством премодерна со свойственными ему классическими сословными, а не этническими ограничителями.

Однако здесь следует отметить чрезвычайно важный факт. Конфликт, который замечательно проиллюстрировал секретарь московского отделения Союза русского народа, основывался на ощущении, что правительство перестало выражать народные интересы. Этот сюжет прослеживается и в публицистике известного журналиста Михаила Меньшикова: «”Не все ль равно, какое население в России — русское, немецкое, польское или жидовское? Лишь бы платили подати и давали возможность накоплять золотую наличность!” Мне кажется, — для чиновников, запамятовавших долг свой перед родиной, это может быть и “все равно”, — но самому-то русскому народу это далеко не все равно, и разница тут такая же, как между жизнью и смертью»[26]. Представитель русской националистической идеологии, популярность к которому вернулась в 1990-е годы, прямо указывает на непримиримость интересов имперских элит и государствообразующего народа. Интерес государства, которое учитывает лишь собственное благополучие, был противопоставлен интересу народному.

Модернизация сознания российского общества, прежде всего его интеллигенции, привела к тому, что имперская система правления с ее многочисленными традициями, исключениями и привилегиями стала восприниматься как враг русского народа. Хотя большинство сопутствующих этому сюжетов присутствовало в публичном дискурсе и ранее. Например, ощущение асимметрии в процессе распределения прав и обязанностей среди разных групп населения или неравноправие представителей русского и немецкого дворянства. Но теперь подобные проблемы перестали быть малозначимыми и вышли на первый план.

Объектом критики стало даже корпоративное мышление дворянства, ранее считавшееся основой России. Интеллигенция, которая состояла по большей части из представителей того же сословия, начала видеть со стороны дворян предательство национальных интересов. Потому неудивительно, что в 1900 году подписчик «Наблюдателя» мог натолкнуться на пассаж: «Старания нашего дворянства монополизировать блага 2-го числа идут в разрез с интересами как других классов, так и всего государства. Наше русское дво-

---

24 Здесь можно обратить внимание на эпизод на северо-западной окраине империи, см.: *Долбилов М.Д.* Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

25 См. другую оценку процесса национализации империй: [Berger, Miller 2015].

26 *Меньшиков М.О.* Национальный съезд // Меньшиков М.О. Из писем к ближним. М.: Военное изд-во, 1991. С. 159. Изначально текст был опубликован в сборнике 1915 года.

рянство не должно забывать, что оно является среди инородческого дворянства лишь только привеском. В 1874 г. в 22 коренных русских губерниях на 27,755 тыс. русских было 129,262 дворянина. Из этого видно, что в русских губерниях 1 дворянин приходится на 230 жителей, а в западных 1 на 54 жителя, и вообще, что в России дворян, называющих себя поляками, в 2 1/2 раза больше нежели русских, а если к полякам прибавить многочисленные кавказские, немецкие и др. дворянства, то русские дворяне окажутся в России каким-то прибавочным элементом, незаметным в государственном организме»[27].

Постепенно русская интеллигенция достигла определенного консенсуса: главной жертвой имперского угнетения стали Россия и русский народ. Причиной этого угнетения виделась, как ни парадоксально, государственная политика экспансионизма. Она приводила к захвату территорий, население которых было настроено враждебно по отношению к русским, а удержание контроля над ними требовало перераспределения ресурсов из центра на периферии. Такой тип мышления, окончательно сформировавшийся при Николае II, дал начало чрезвычайно любопытной дискуссии об «оскуднении центра». Наиболее точно настроения эпохи передал выдающийся религиозный мыслитель Василий Розанов: «Ничего нет более поразительного, как впечатление, переживаемое невольно всяким, кто из центральной России приезжает на окраину: кажется, из старого, запущенного, дичающего сада он въезжает в тщательно возделанную, заботливо взращиваемую всеми средствами науки и техники, оранжерею. Калужская, Тульская, Рязанская, Костромская губернии и вся эта центральная Русь напоминает какое-то заброшенное старье, какой-то старый чулан со всяким историческим хламом, отупевшие обитатели которого живут и могут жить без всякого света, почти без воздуха; где насилие никого не заставит закричать, а если кто и закричит — никто этого не услышит. <...> Можно подумать, что “империя” перестает быть русской; что не центр подчинил себе окраины, разросся до теперешних границ, но, напротив, — окраины срастаются между собою, захлестывая, заливая собою центр, подчиняя его нужды господству своих нужд, его вкусы, позывы, взгляды — своим взглядам, позывам, вкусам. Употребляя таможенную терминологию, Россия пользуется в самой России “правами наименее благоприятствуемой державы”»[28].

Симптоматично, что приведенная интерпретация со свойственным для нее неприятием имперскости России была характерна не только для правого, но и для левого движения. В широко известном «Народном деле» появились следующие строки: «Но что же выигрывает русское трудящееся население от того, что правительство угнетает инородцев — душит, не дает им жить? Ничего русский народ от этого не выигрывает; даже проигрывает и очень много проигрывает. Во время войн и завоеваний мы, русские, поливали чужие равнины и горы кровью наших детей — солдат. Своими кровными грошами расплачивался и расплачивается русский трудовой народ за подвиги и преступления своего правительства. Кто, в самом деле, платит подати для содержания войск в местах, населенных инородцами? Вся трудовая русь, конечно, — трудящееся население всех народностей, живущих в России, в том числе и сам русский народ. <...> Но не забывайте, что содержание чиновников

27 Наши внутренние дела // Наблюдатель. 1900. № 10. С. 54.

28 *Розанов В.В.* Кто истинный виновник этого? // Русское обозрение. 1896. № 8. С. 650.

на окраинах, в местностях, населенных инородцами, стоит так дорого, что местных денег на это не хватает: русскому населению, живущему во внутренних губерниях приходиться развязывать свой и без того тощий кошелек на покрытие расходов, которые нужны правительству нашему для угнетения инородцев»[29].

Это неудивительно: в случае левых в центре размышлений находились все угнетенные, а не только русский народ. Тем не менее сам факт постановки знака равенства между народом, который в официальном дискурсе был главным бенефициаром существующего порядка, и жителями захваченных окраин следует трактовать как важный знак.

Таким образом, к началу XX века среди многих представителей русской интеллигенции сформировалось и укрепилось альтернативное видение империи: теперь на нее смотрели не как на предмет гордости и символ единства в противостоянии с внешними врагами, а как на структуру, угнетающую свой народ ради удержания многонациональных территорий; структуру, жертвующую русскими во имя собственных целей.

Два типа окраин

Скептические настроения, о которых шла речь в предыдущем разделе, не могли не сказаться на вере подданных в необходимость политики экспансионизма, столь важной для империи, и целесообразность удержания покоренных территорий. Как минимум часть русской интеллигенции с настороженностью относилась к имперским амбициям собственного государства, что способствовало появлению новых трактовок границ России, альтернативных по отношению к господствующему дискурсу. Прославление империи, которая охватывала шестую часть суши, теперь казалось сомнительным предприятием из-за ее безудержного экспансионизма ценой благополучия собственного народа. В этой связи стоит уделить внимание тому, где проходила граница между «воображаемой Россией», предметом чаяний национально ориентированной интеллигенции, и «не-Россией».

Следуя традиции описываемого периода, я обращусь к ключевым для того времени понятиям «центра» и «окраин». Несмотря на то, что в официальном дискурсе сам концепт колониальной империи по отношению к России отрицался, поскольку державе приписывался совершенно особый типа управления покоренными территориями, данные понятия полностью совместимы с классической дихотомией «метрополия/периферия». Об идентичности понятий «центра» и «метрополии» свидетельствует хотя бы тот факт, что под «центром» понимались только великорусские области, которые стояли у истоков формирования империи Романовых. Территории Беларуси, Украины и Малороссии считались «коренными» землями русского народа, но в то же время фигурировали в дискурсе преимущественно как окраины[30].

---

29 *Савин А.* Как живут народности России и как они могли бы жить // Народное дело. 1911. № VI. С. 76.

30 О разграничении великороссов и других славянских племен (так же как и о феномене up-down национализации) см.: *Лескинен М.В.* Великоросс/великорус. Из истории конструирования этничности. Век XIX. М.: Индрик, 2016. Гл. 2.

В общественном восприятии периферий Российской империи можно выделить два типа, каждый из которых занимал особое место на ментальной карте[31], по сути очерчивая ее контуры[32].

К первому типу можно отнести «враждебные» окраины — они представлялись чужеродными элементами в составе государства. При этом причины подобных представлений варьировались. Некоторые территории считались опасными для титульного этноса, как, например, в случае Польши: «В Польше русские люди буквально находятся в осаде, и правительственные агенты расстреливаются. Кровь леденеет в жилах от тех ужасов, которые приходится переживать жителям Варшавы, Лодзи и других городов Привислинского края. Жестокая, непримиримая война объявлена поляками русскому Правительству!»[33]. Другие же, хоть и считались покоренными, продолжали восприниматься «чуждыми», как это было в финском случае: «Русский гражданин должен, — изволите ли видеть, — подставить свой лоб на защиту финского побережья от врагов; русский крестьянин должен припасать хлебца финну на черный день, когда ему самому бывает нечего есть, а “культурный” финляндский барон или бюргер имеет право ничего не давать им в обмен <...> кроме будирующих речей на сейме да бойкотирования всех русских людей»[34].

Однако оба случая обладали общим знаменателем: удержание территорий было скорее утверждением имперской мощи, нежели следствием их органической интеграции в состав России. Контроль над ними представлялся бременем, пустой тратой усилий русских на противостояние с непокорными народами. Все более популярными становились идеи, которые выражал Меньшиков: «Я имею право говорить о русском чувстве, наблюдая собственное сердце. Мне лично всегда было противным угнетение инородцев, насильственная их русификация, подавление их национальности и т. п. Я уже много раз писал, что считаю вполне справедливым, чтобы каждый вполне определившийся народ, как, например, финны, поляки, армяне и т. д., имели на своих исторических территориях все права, какие сами пожелают, вплоть хотя бы до полного их отделения»[35]. Ключевой здесь является формулировка «вполне определившийся народ», он же «враждебная окраина».

---

31 См.: [Шенк 2001].

32 Однако следует отметить, что сама по себе ментальная карта является крайне специфическим феноменом, она может формироваться под влиянием множества факторов — от личностных до сиюминутно-политических. Поэтому ниже я представлю лишь обобщенную модель восприятия колоний империи. О существовании исключений из этой модели свидетельствует тот факт, что нередко в разных обстоятельствах можно встретить разные взгляды на периферии империи, которые будут противоречить друг другу. Классический пример — один из лидеров славянофильства Иван Сергеевич Аксаков. На разных этапах своей жизни мыслитель придерживался прямо противоположных позиций по польскому вопросу, в частности о целесообразности нахождения Польши в составе империи. См.: *Сосенков Ф.С.* «Польский вопрос» в политико-правовых воззрениях И. С. Аксакова // Инновационная наука. 2015. № 1—2. С. 182—184. Поэтому рассматриваемые далее примеры нельзя считать исчерпывающими.

33 *Алекторов А.Е.* Инородцы в России. Современные вопросы: Финно-угорские народы, поляки, латыши, евреи, немцы, армяне, татары. СПб.: Тип. И. В. Леонтьева, 1906. С. 24.

34 Фонограф // Наблюдатель. 1900. № 2. С. 59.

35 *Меньшиков М.О.* Дело нации // Меньшиков М.О. Из писем к ближним. С. 175. Первоначально опубликовано автором в 1914 году.

Нетрудно догадаться, что к таким окраинам прежде всего относили Польшу и Финляндию. Они традиционно занимали особое место в дискурсе российской интеллигенции и служили лакмусовой бумажкой для многих интеллектуальных трендов. Эта особенность обеих провинций уходила корнями во времена их присоединения к империи. О подобном состоянии вещей свидетельствует, например, типичная шовинистическая статья, где напрямую признается исключительность обеих «стран»: «Россия, давшая приют многим инородцам, сделалась за последнее время ареной, на которой инородческие элементы разыгрывают свои “собственные арии”. На Кавказе армяне, на севере — финляндцы, на юге и юго-западе — жиды и поляки. Если еще до некоторой степени понятны претензии поляков и финляндцев, то совсем уж непонятны претензии жидов и армян»[36]. Сюда же можно включить Кавказ и Среднюю Азию — территории, ассоциировавшиеся с мусульманским миром, — и некоторые китайские земли, находившиеся под влиянием России на пике могущества империи. Даже самые радикальные шовинистические издания, которые поддерживали официальную политику государства, считали эти регионы чуждыми, представляли их автономными мирами, существовавшими по собственным законам, и рассматривали их русификацию — в лучшем случае — как долгосрочный и сложный процесс без гарантированного успеха.

Более того, само их существование в составе империи часто воспринималось как обременение для русского народа. И это хорошо иллюстрирует концепцию «обратного колониализма», в соответствии с которой колонизатор и колонизируемый меняются местами[37]: русский народ считался колонизируемым, а захваченные нации — колонизаторами. Из-за такой подмены понятий империя воспринималась как инструмент в руках инородцев, которые иногда совершенно осознанно, а иногда и неосознанно использовали государственные институты во вред русским[38]. Данный процесс оказался возможным за счет частичной деконструкции империи со стороны интеллигенции и, как следствие, появления критических интерпретаций ее природы.

Пример обратного колониализма, который позволит лучше понять суть этого феномена, можно встретить в следующем тексте: «Более ста лет все наши государственные заботы устремлены были на развитие окраин. Мы там построили громадную железнодорожную сеть, устроили ряд портов и верфей. Бесчисленные миллионы, собранные главным образом с великорусского племени, затрачены нами на насаждение культуры на наших окраинах, на развитие торговли и промышленности, и в этих благословных местах мы не жалели денег. В течение ста лет мы все делали для окраин и ничего для центра… Окраины меньше, — сравнительно с центром, — платят податей и налогов, а между тем на нужды их из государственного казначейства расходуется больше финансовых средств, чем на убогий центр»[39]. Здесь уместно задаться рито-

---

36 Наши внутренние дела // Наблюдатель. 1901. № 3. С. 53.

37 Подробнее об этом феномене см.: *Боридченко С.* Можно ли быть колонией своей колонии? О неочевидном способе трактования новейшей истории польско-российских отношений в учебной литературе по отечественной истории царской России // Scando-Slavica. 2024. Vol. 70. No. 2. P. 280—305.

38 Ср. с похожим явлением, но в колониальных империях раннего Нового времени: *Pagden A.* Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c. 1500 — c. 1800. New Haven: Yale University Press, 1995.

39 Наши внутренние дела // Наблюдатель. 1900. № 11. С. 33.

рическим вопросом: кто, согласно приведенному нарративу, выступает в роли угнетенного, а кто — угнетателя: центр или периферии?

В эпоху Николая II подобный скепсис был характерен и для некоторых представителей государственных элит. Пусть и относительно редкие, однако крайне заметные сомнения можно считать существенной угрозой для империи как таковой. В отличие от интеллигенции, которая не обладала практически никакими рычагами влияния на политическую реальность, государственные элиты были способны лоббировать свои интересы на высшем уровне. Так, обычное недовольство существующим положением вещей с течением времени имело все шансы стать частью политической повестки. В качестве примеров настороженности по отношению к имперскому экспансионизму, которая исходила от представителей государства, можно обратиться к случаям Маньчжурии и Польши.

Скепсис по отношению к российской колонизации территории Китая наиболее ярко выразил Деан Иванович Субботич, этнический серб, состоявший на службе у императора: «Мысль о занятии Манчжурии, несомненно, явилась у нас под влиянием того предположения, что предприятие это не только будет выгодно для России в материальном отношении, не только обогатит ее, но и будет содействовать возвеличиванию ее значения и силы в политическом международном отношении. Идем ли мы на Дальний Восток — к обогащению или разорению, — это мы можем до некоторой степени выяснить на совершенно объективных, цифровых данных. В экономическом отношении наш коренной Дальний Восток вообще никогда не давал доходов, а всегда дефициты, превышение государственных затрат над получаемыми казною поступлениями. <...> Обозначает это то, что мы идем на Дальнем Востоке отнюдь не к “обогащению”, а скорее к разорению и истощению. Мы катимся по наклонной плоскости, которая, если вовремя не остановимся, может привести нас на край пропасти»[40]. Схожее отношение, указывающее на отягощение центра периферией, однако уже по отношению к польской окраине, можно встретить в тексте академика и общественного деятеля Ивана Ивановича Янжула. Как он отметил: «<...> таким образом присоединение к России создало для Польши обширный, монополизированный рынок для всяких продуктов через ее посредство, и великодушная Россия наложила на себя, следовательно, огромную тяжесть в пятнадцать раз большую, нежели на присоединенную страну <...> В 1859 году произошло таможенное объединение и уничтожение таможенной границы между Империей и Царством, что, обратно с ожиданиями, способствовало главным образом дальнейшему развитию и росту лишь польских интересов за счет русских»[41].

Ко второму типу окраин относились территории, воспринимавшиеся как неотъемлемая часть ментальной России. Потерять их было немыслимо с точки зрения сохранности российской идентичности, так как они считались интегральными составляющими российского национального проекта. В первую очередь это касалось регионов, где преобладающую часть населения составляли восточнославянские народы: белорусы, украинцы, а также

40 *Субботич Д.И.* Задачи России на Дальнем Востоке: письмо к Военному министру А.Н. Куропаткину в 1903 году. Ревель: Ревельские известия, 1908.

41 *Янжул И.И.* Воспоминания о пережитом и виденном в 1864—1909 гг. Т. 2. СПб.: Тип. т-ва П. Ф. Электро-тип. Н.Я. Стойковой, 1911. С. 113.

русские[42]. При этом важную роль играл не только фактор демографического преобладания, но и внутренняя убежденность элит в культурном доминировании обозначенных этнических групп над этносами, коренными для региона, как это имело место в случае Сибири и Черноморского побережья.

Особенно четко это прослеживалось в дискурсе о западных рубежах империи, который послужил основанием для разграничения земель, принадлежащих России по «законам справедливости», и чужих земель. Эта демаркация — что неудивительно — примерно соответствует тому, как в XIX веке воспринималась этническая ситуация в Восточной Европе[43]. В итоге дискурс часто и решительно противопоставлял земли северо- и юго-западного краев Польши[44]. И что важно, в обоих случаях речь шла о провинциях в составе Российской империи. «По освобождении этих земель от польской власти и возвращении их России при Екатерине II, по ее повелению, была выбита медаль с надписью: “Отторженная возвратих”. Позднее она писала Якову Гримму: “при разделах Польши, я не получила ни одного вершка польской земли”. Для нас это непреложная историческая истина. Поляки в западных губерниях — элемент пришлый»[45]. Здесь вместе с традиционным акцентом на чуждость поляков в западных губерниях обращает на себя внимание игнорирование того факта, что в составе империи существовали, например, Привислинские губернии. И подобный прием не должен удивлять — популярное мнение о справедливости раздела Польши вступает в прямой конфликт с геополитической реальностью после Венского конгресса, который привел, в соответствии с той же логикой, к великой несправедливости — захвату коренных польских территорий. Так, появляется образ двух России: «России истинной» и «России формальной».

В публицистике времен Николая II можно встретить многочисленные заявления о том, что Россия не может существовать без своих окраин — ее неотъемлемых частей. Одним из ярких примеров служит статья, изданная спустя год после отречения последнего императора: «В курских переговорах о мире с Украйной решается судьба всего Российского государства, речь идет о национально-государственном бытии России, о существовании того единого государственного и хозяйственного тела, которое до 3 марта 1918 года называлось

---

42 Как представляется, немаловажную роль здесь сыграли дискуссии о незавершенности национального строительства в Восточной Европе. Так, общерусский национальный проект продолжал влиять на отдельные национальные проекты трех восточнославянских этносов.

43 Интересно сравнить официальную трактовку «русскости» и то, как категоризовалось население многонациональной империи, см. об этом: *Cadiot J.* Searching for Nationality: Statistics and National Categories at the End of the Russian Empire (1897—1917) // Russian Review. 2005. Vol. 64. No. 3. P. 440—455.

44 Такое различение (Западного края и Царства Польского), несомненно, являлось результатом царской политики. См.: Западные окраины Российской империи / Под ред. М.Д. Долбилова, А.И. Миллера. М.: Новое литературное обозрение, 2007. Тем не менее это различение является важным свидетельством того, как воспринимались границы российской властью, учитывая, что неменьшая разница существовала между северо-западным и юго-западным краем, либо белорусскими и курляндскими губерниями. В то же время отмеченные различия не помешали интеллигенции на переломе XIX и XX веков сконцентрироваться исключительно на линии, проходящей над Бугом.

45 О наших культурных задачах в Северо-Западном крае // Наблюдатель. 1900. № 6. С. 34.

Российским государством. С того момента, когда Германия признала в лице украинской рады правительство самостоятельного украинского государства и это правительство заключило сепаратный мир с Германией, существованию прежнего Российского государства как экономического органического целого был нанесен самый сильный удар. Можно заниматься какой угодно риторикой, сколько угодно говорить о самоопределении, обращаться через головы членов украинской делегации ко всему украинскому народу, — все это не может изменить ни на йоту того реального факта, что Россия без Украйны существовать не может. Это нужно ясно сознать и представить себе во всем реальном, грозном значении этого факта»[46]. Символично, что факт утраты к тому времени контроля над Финляндией и Польшей не привлекал особого внимания автора, тогда как перспектива потери Украины вызывала совершенно иные чувства[47].

Такое нежелание терять контроль над «дружественными» окраинами усиливалось в те моменты, когда элиты пытались переосмыслить границы российского суверенитета. Их понимание границ суверенитета, как правило, основывалось на «исторической закономерности» и/или «желании абсолютного большинства местного населения». Соответственно, любые притязания на независимость или хотя бы бóльшую степень автономии, даже исходящие от местной интеллигенции, воспринимались как следствие внешнего деструктивного влияния, с которым нужно было бороться. Например, в стремлении Украины получить самостоятельность, что для интеллигенции было синонимичным подрыву единства русской нации, виделся польский и австро-венгерский след, в случае Беларуси — польский, а в случае стран Балтии — немецкий и польский и т.д. Методы, которые использовало царское правительство, активно перенимались, что было высмеяно в одном из текстов журнала «Заветы»: «[В ответ на рост национального самосознания] Священник с церковного амвона объявляет всех читающих украинские книги и газеты австрийскими шпионами»[48].

Показательно, что в отличие от «враждебных» окраин, существование которых отдельно от империи мыслилось возможным, пусть и ценой их отторжения от российской имперской «щедрости», «свои» окраины воспринимались как территории, не обладающие никакими правами на самостоятельность — ни в политическом, ни даже в интеллектуальном смысле, — так как они должны были являться зеркальным отражением великорусских провинций. Например, в уже упомянутой статье времен Гражданской войны есть примечательный момент: «Перед Великороссией стоит поэтому задача, если только Россия должна существовать, сохранить экономическое единство Российского государства. Если этого не удастся достигнуть в Курске [посредством сохранения контроля над Украиной], надо немедленно готовиться к иным методам борьбы за сохранение России»[49]. Парадокс здесь заключается в том, что сообщества,

---

46 Украйна и Россия // Новый день: Орган социалистической мысли. 1918. 1 мая. № 32. С. 1.

47 О значимости Украины для российской интеллигенции, истории российско-украинских противоречий и развитии обоих национальных проектов см.: *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб.: Алетейя, 2000.

48 *Ефремов С.* Из украинской жизни // Заветы. 1913. № 4. С. 174.

49 Украйна и Россия // Новый день: Орган социалистической мысли. 1918. 1 мая. № 32. С. 1.

которые считались «братскими» и дружественными, лишались субъектности и права на существование без опеки русского народа.

Руководствуясь этой логикой, публицисты создавали «русофильские» образы. В газетах и журналах времен последнего царя часто можно было встретить отсылки к неким полумифическим народам-союзникам. Так, например, коренное население прибалтийских провинций представляли естественным союзником России в ее борьбе с Германией. Хрестоматийным образцом подобного явления может послужить следующее описание литовцев: «Есть в русском государстве страна, в которой живет народ, говорящий особым, замечательным языком, своеобразный по своему быту, преданиям и старым верованиям, издавна связанный судьбами истории с русскою землей, имеющий важное значение для нас и ныне, но нам неведомый; его не знают ни русское общество, ни русские ученые»[50]. Похожее отношение было и к польским лемкам, закарпатским русинам и многим другим народностям. Во всех этих случаях на первый план, помимо вопроса о природе конкретной окраины, выходит психологический фактор, а именно страх одиночества. Наличие враждебных окраин требовало уравновешивания в виде реальных или вымышленных союзников. Однако эта тема останется за пределами моего рассмотрения.

Отрывок текста, приведенный выше, свидетельствует о том, что восприятие окраин тесно связано с интеллектуальным климатом эпохи. Российская интеллигенция была разделена на разные идеологические лагеря, каждый из которых по-разному трактовал судьбу периферий. Любопытно, что четкой взаимосвязи между политическими взглядами и отношением к территориальной целостности империи не наблюдалось. Например, среди социалистов часто можно было встретить жесткую приверженность «единой и неделимой России», а ленинский подход к уничтожению «тюрьмы народов» даже среди его товарищей по левому флангу часто становился предметом критики. Подтверждение тому можно найти, например, в статье из меньшевистского журнала «Наша заря»: «Намечаются два течения. Еврейские марксисты полагают, что право на самоопределение означает введение культурно-национальной автономии; В. Ильин и его политические друзья отождествляют таковое с образованием национальных государств. Нам думается, что если первые недостаточно учитывают всю сложность условий российской жизни, то вторые совершенно не считаются ни с тенденциями ее развития, ни с тенденциями капитализма вообще»[51]. И хотя тенденция, отмеченная в статье, зачастую обосновывалась через наднациональную солидарность угнетенных классов, в реальности она в значительной мере была продуктом государственной пропаганды и свидетельством моральной неготовности к отказу от статуса империи.

Таким образом, ментальная карта России формировалась под влиянием базовых человеческих эмоций — страха перед «чужими» и чувства безопасности среди «своих». «Враждебные» окраины воспринимались как потенциальный источник угроз, что порождало желание либо избавиться от них, либо держать их под контролем, но на расстоянии. Напротив, «свои» окраины считались естественной частью России (а если быть точным — великорусского центра), а их культурная идентичность игнорировалась или интерпретировалась сквозь

50 О наших культурных задачах в Северо-Западном крае // Наблюдатель. 1900. № 6. С. 43.

51 *Залевский К.* Национальный вопрос в России // Наша заря. 1914. № 5. С. 16.

призму русской (но не российской) государственности. Отмеченные представления напрямую влияли на политику Российской империи и ее наследников, формируя определенную стратегию удержания территорий и выстраивания отношений с национальными меньшинствами и соседними государствами. Эти же представления оказали сильное влияние на национальные движения бывших окраин, которые впоследствии смогли стать независимыми нациями.

Заключение

Анализ выбранного корпуса источников позволяет заключить, что интеллектуальная деколонизации в поздней Российской империи стала результатом модернизации общественного сознания. Под влиянием исторических обстоятельств, а именно событий 1917 года и последующего прихода к власти большевиков, данный процесс оказался прерванным, так и не получив логического завершения. Этому способствовал целый ряд причин, начиная с трансформации российского империализма в Советском Союзе по модели, охарактеризованной Терри Мартином как «империя позитивной дискриминации»[52] (что, однако, не помешало сохраниться самой суть империализма — дихотомии господства и подчинения[53]) и заканчивая разрывом в преемственности между интеллектуальными элитами, так как советская интеллигенция открыла новую главу в интеллектуальной истории России.

Несмотря на незавершенность интеллектуальной деколонизации, она продолжала представлять существенную угрозу для последующих форм российской государственности. Первопричиной этого явления долгое время оставался упадок премодерного общества, что, как ни удивительно, шло вразрез с интересами элит. По этой причине можно предположить, что некоторые выводы, сделанные в статье, распространяются не только на рассматриваемую эпоху и применимы к другим историческим контекстам[54].

Как показывает исследование, модернизация стала толчком, который привел к десакрализации образа империи в общественном сознании. Государство, ранее воспринимавшееся как величайшее достижение российской нации, постепенно стало считаться угнетателем русского народа, в результате чего российская нация и русский народ оказались своего рода антагонистами[55]. Немаловажную роль в этом сыграло то, что традиционная корпоративная культура дворянства вместе с его привилегированным положением постепенно деградировала. На смену идентификации по типу сословия пришла этноцентрическая самоидентификация. В подобных условиях нормы и дискурсы, существовавшие на протяжении многих веков, потеряли свое влияние, хотя это и не мешало намеренно использовать их в рамках царского церемониала, что только усугубляло существующий конфликт[56].

---

52 См.: [Martin 2001].

53 См. альтернативную позицию в ст.: [Martin 2002].

54 См.: [Etkind* 2023].

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

55 Эта же проблема рассматривается в ряде работ. Одна из самых актуальных и в значительной степени перекликающихся с моими выводами монографий: [Сергеев 2017].

56 О значении церемониала для монархии Романовых см.: [Wortman 2000].

В итоге в том, как интеллигенция воспринимала собственное государство, решающую роль играли чувства страха и неприятия. Именно эти эмоции повлияли на общественные настроения, которые обычно сопутствовали деколонизации в других колониальных империях XX века. Частью этих настроений было восприятие отдельных регионов внутри государства как обременяющих и угрожающих благополучию «титульного» народа. Такой образ напоминает чемодан с оторванной ручкой: как в дальнейшем показала история, эти же настроения обретут популярность в позднем Советском Союзе и внесут свой вклад в процесс распада первого государства рабочих и крестьян. Подобное сходство позволяет сделать вывод об универсальной природе сомнений в необходимости экспансионизма за пределы национального ядра для любого империообразующего сообщества.

Вернемся к России времен Николая II. Особого внимания заслуживает то, что даже безоговорочное административное и военное господство империи над периферией не всегда означало, что они полноценно включены в ментальное пространство государства. Неполная интеграция могла приводить — и приводила — к признанию ментальной автономии окраин и их отделенности от воображаемой России. В то же время обратную тенденцию можно наблюдать в тех случаях, когда общество было убеждено в наличии у него особой миссии, сочетавшейся с локальной русофилией. Примером может служить как нарратив защиты от угнетения польских «панов» родственного великороссам восточнославянского населения Речи Посполитой, так и концепция мирного освоения Сибири — включение в сферу цивилизации диких, но благодарных России племен.

Таким образом, случаи, рассмотренные в статье, хотя и не претендуют на то, чтобы дать исчерпывающую картину событиям эпохи последнего Романова, но выявляют очень важную и в определенной степени пессимистическую закономерность. Отторжение периферии от центра по инициативе империообразующего сообщества становится возможным прежде всего за счет насилия со стороны покоренных по отношению к захватчикам. Именно насилие формирует условия для признания деколонизации как свершившегося факта, который будет восприниматься как неизбежная реальность. Более того, в случае Российской империи особенно заметна убежденность элит метрополии в том, что отказ от периферий — это не национальная трагедия и утрата величия, но успех «титульного» народа в деле избавления от докучливого груза. Защищая себя от интеллектуального колониализма, общество приходит к консенсусу в неприятии и враждебности, тем самым отказываясь признать право иных сообществ на самостоятельность. Альтернативы, которые предполагают диалог и постепенную эволюцию отношений между метрополией и периферией, лишь усиливают интеллектуальные империалистические тенденции.

Библиография / References

[Горизонтов 1999] — *Горизонтов Л.Е.* Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше. М.: Индрик, 1999.

(*Gorizontov L.E.* Paradoxy imperskoy politiki: Polyaki v Rossii i russkie v Pol'she. Moscow, 1999.)

[Горизонтов 2007] — *Горизонтов Л.Е.* Казань и Казанская губерния на ментальных картах Российской империи XIX — начала XX в. // Имперские и национальные модели управления: российский и европейский опыт. М.: ИВИ РАН, 2007. С. 27—38.

(*Gorizontov L.E.* Kazan' i Kazanskaya guberniya na mental'nykh kartakh Rossiyskoy imperii XIX — nachala XX v. // Imperskie i natsional'nye modeli upravleniya: rossiyskiy i evropeyskiy opyt. Moscow, 2007. P. 27—38.)

[Горизонтов 2013] — *Горизонтов Л.Е.* Познавая Российскую империю: Ментальные карты простонародья и образованного общества во второй трети XIX века // Родина. 2013. № 12. С. 43—46.

(*Gorizontov L.E.* Poznavaya Rossiyskuyu imperiyu: Mental'nye karty prostonarodya i obrazovannogo obshchestva vo vtoroy treti XIX veka // Rodina. 2013. No. 12. P. 43—46.)

[Правилова 2006] — *Правилова Е.А.* Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801—1917. М.: Новое издательство, 2006.

(*Pravilova E.A.* Finansy imperii: Dengi i vlast' v politike Rossii na natsional'nykh okrainakh. 1801—1917. Moscow, 2006.)

[Сергеев 2017] — *Сергеев С.М.* Русская нация: национализм и его враги. М.: Центрполиграф, 2017.

(*Sergeev S.M.* Russkaya naciya: nacionalizm i ego vragi. Moscow, 2017.)

[Шенк 2001] — *Шенк Ф.Б.* Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе // Политическая наука. 2001. №4. С. 4—17.

(*Shenk F.B.* Mental'nye karty: konstruirovanie geograficheskogo prostranstva v Evrope // Politicheskaya nauka. 2001. No. 4. P. 4—17.)

[Adamczewski 2019] — *Adamczewski P. Adamczewski P.* Polski mit etnopolityczny i Kaukaz. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2019.

[Anderson 1991] — *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991.

[Berger, Miller 2015] — Nationalizing Empires / Ed. by S. Berger, A. Miller. Budapest; New York: CEU Press, 2015.

[Błachowska 2001] — *Błachowska K.* Narodziny imperium: Rozwój terytorialny państwa carów w ujęciu historyków rosyjskich XVIII i XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001

[Boridczenko 2021] — *Boridczenko S.* Obraz Relacji Polsko-Rosyjskich w Podręcznikach Szkolnych Mojżesza Ostrogorskiego // Historia Slavorum Occidentis. 2021. Vol. 4. No. 31. P. 68—88.

[Etkind 2013] — *Etkind A.** Internal Colonization: Russia's Imperial Experience. Cambridge: Polity Press, 2013.

[Etkind 2023] — *Etkind A.** Russia Against Modernity. Cambridge: Polity Press, 2023.

[Gellner 1983] — *Gellner E.* Nations and Nationalism. New Perspectives on the Past. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

[Greenfeld 1992] — *Greenfeld L.* Nationalism: Five Roads to Modernity. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

[Hobsbawm 1987] — *Hobsbawm E.* The Age of Empire, 1875—1914. New York: Pantheon Books, 1987.

[Hobsbawm 1992] — *Hobsbawm E.J.* Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

[Lohr 2003] — *Lohr E.* Nationalizing the Russian Empire: The Campaign against Enemy Aliens during World War I. Cambridge: Harvard University Press, 2003.

[Martin 2001] — *Martin T.* The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the USSR, 1923—1939. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

[Martin 2002] — *Martin T.* The Soviet Union as Empire: Salvaging a Dubious Analytical Category // Ab Imperio. 2002. No. 2. C. 91—105.

[Miller 2008] — *Miller A.I.* The Romanov Empire and Nationalism: Essays in the Methodology of Historical Research. Budapest: Central European University Press, 2008.

[Staliūnas 2016] — *Staliūnas D.* Poland or Russia? Lithuania on the Russian Mental Map // Spatial Concepts of Lithuania in the Long Nineteenth Century / Ed. by D. Staliūnas. Boston: Academic Studies Press, 2016. P. 23—95.

[Thompson 2000] — *Thompson E.M.* Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism. Westport: Greenwood Press, 2000.

[Weeks 1996] — *Weeks T.* Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier 1863—1914. DeKalb: Northern Illinois University Press, 1996.

[White 1973] — *White H.* Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.

[Wortman 2000] — *Wortman R.S.* Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy from Peter the Great to the Abdication of Nicholas II. Vols. 1—2. Princeton: Princeton University Press, 2000.

---

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

(Пост)советское: границы закрытого общества

Евгений Добренко

«Дружба народов не знает границ»:

ПРАГМАТИКА И РИТОРИКА БРАТСТВА И СОВЕТСКОЕ ИМПЕРСКОЕ ВООБРАЖАЕМОЕ В ПОЭЗИИ НАРОДОВ СССР СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Evgeny Dobrenko

"The Friendship of Peoples Knows No Borders": The Pragmatics and Rhetoric of Brotherhood and the Soviet Imperial Imaginary in the Poetry of the Peoples of the USSR of the Stalinist Era

Евгений Добренко (Университет Венеции Ка Фоскари, профессор; PhD) evgeny.dobrenko@unive.it

Ключевые слова: сталинизм, имперское строительство, дружба народов, границы

УДК: 792.071
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_144

Риторика братства и дружбы народов играла ключевую роль в советском имперском строительстве. Ее расцвет связан со сворачиванием в конце 1920-х годов объявленного троцкистским марксистского проекта мировой революции. Интернациональная риторика «пролетарского братства» была инверсирована, то есть обернута на сами советские народы и идеологически перепакована для внутреннего политико-идеологического потребления. С одной стороны, такой поворот вполне отвечал задачам формирования новой — усеченной — идентичности советских народов. С другой — эта риторика играла важную роль в формировании общесоветской идентичности и легла в основу советского патриотизма, разделяя мира на безнационально-гомогенный внутри советских границ (позже эти границы стали охватывать «братские социалистические страны») и враждебный и внутренне «раздираемый националь-

Evgeny Dobrenko (Ca' Foscari University of Venice; professor; PhD) evgeny.dobrenko@unive.it

Keywords: Stalinism, Imperial construction, Friendship of People, Borders

UDC: 792.071
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_144

The rhetoric of brotherhood and friendship of peoples played a key role in the Soviet imperial construction. Its heyday is associated with the curtailment of the declared Trotskyist Marxist project of world revolution in the late 1920s. The international rhetoric of "proletarian brotherhood" was inverted, i.e. turned onto the Soviet peoples themselves and ideologically repackaged for domestic political and ideological consumption. On the one hand, such a turn fully met the tasks of forming a new — truncated — identity of the Soviet peoples. On the other hand, this rhetoric played an important role in the formation of a pan-Soviet identity and formed the basis of Soviet patriotism, dividing the world into a nationless and homogeneous realm within the Soviet borders (later these borders began to cover "fraternal socialist countries" of the Soviet bloc), and a hostile and internally "torn apart by national enmity" world outside the Soviet empire. The article examines the metaphors of brotherhood, the family of peoples,

ной враждой» — за пределами советской империи. В статье рассматривается метафорика братства, семьи народов, дружбы и другие тропы. Ключевым для этой тропологии является понятие границы.

friendship and other tropes. Key to this tropology is the concept of border.

Одно из наблюдений, сделанных Вальтером Беньямином в 1927 году в Москве, заслуживает особого внимания: «Географическая карта, — писал он в своем «Московском дневнике», — близка к тому, чтобы стать центром нового визуального культа, подобно портрету Ленина»[1]. Позже в центре «нового визуального культа» окажется Сталин, а еще точнее, Сталин над картой — любимый образ советских кино и живописи. Карта — настоящий домен власти. Она объект совершенно секретный: диверсанты, шпионы и, разумеется, советские разведчики охотятся чаще всего почему-то за ней. Именно в карте содержатся самые секретные сведения: не в каких-нибудь технических документах, не в каких-нибудь протоколах, не в каких-нибудь списках — в картах.

Довженко рассказывал, как во время обсуждения в сталинском кабинете фильма «Аэроград» Сталин, заинтересовавшись идеей строительства нового города на берегу Японского моря, попросил кинорежиссера показать ему облюбованное место на карте. Для этого, вспоминал Довженко, Сталин провел его через свой кабинет в запертую комнату, где висели карты, завешанные специальными шторами[2]. Святая святых. Эту тайну пространства нельзя понять вне контекста отношения к картам самого Сталина.

Как известно, с конца 1920-х годов до смерти вождь никуда, кроме своих крымских и грузинских резиденций, из Москвы не выезжал. Кремлевский отшельник почти всегда находился в Москве — либо в своей кремлевской резиденции, либо на «ближней даче». Знаменитое сталинское окно в Кремле было всегда освещено. Оно было освещено и во время коллективизации, и во время индустриальной революции 1930-х годов, и во время войны (не является секретом, что Верховный Главнокомандующий лишь раз выезжал на подмосковный фронт), и во времена «великих сталинских строек коммунизма». Сталин руководил самой большой страной мира исключительно по картам. Настоящие, находившиеся в сталинском кабинете карты были эквивалентом власти. А карты — это топография власти. Они всегда — о границах.

Если судить по кино 1930-х годов, СССР состоял из двух пространств — Москвы и периферии. Внутреннего пространства как такового не было. Периферия оказывалась Границей. Сталинская культура — культура воспаленных границ. Они здесь не менее «священны», чем Красная площадь. В 1930-е годы целый поток фильмов о границе («На Дальнем Востоке» Д. Марьяна, «На границе» А. Иванова, «Джульбарс» В. Шнейдерова и др.) создает мифологию и романтику Границы, главные герои которой — пограничник, диверсант и собака — апокрифические персонажи сталинской культуры (см.: [Добренко 1996]).

Граница становится маркером пространства власти, разделителем враждебного и своего. И чем враждебное опаснее, тем свое безопаснее и защищен-

1 *Беньямин В.* Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997. С. 75.

2 *Лебедев Н.* Ленин, Сталин, партия о кино. М.: Искусство, 1938. С. 37—38.

нее. Эта надежность своего обеспечивается его гомогенностью. И в ней риторика «братства» и «дружбы народов» играла ключевую роль. Ее расцвет связан со сворачиванием в конце 1920-х годов обьявленного троцкистским марксистского проекта мировой революции. Интернациональная риторика «пролетарского братства» была инверсирована, то есть обернута на сами советские народы и идеологически перепакована для внутреннего политико-идеологического потребления.

Такой поворот, во-первых, был предопределен требованием легитимации сталинского проекта: если главным вкладом Ленина в марксизм стала идея революции не одновременно в наиболее развитых капиталистических странах, но в «слабом звене империализма» (и это положение получило в XX веке практическое подтверждение), то главным вкладом Сталина в теорию и практику марксизма стало «строительство социализма в отдельно взятой стране». Последнее прямо противоречило марксизму, подрывая основные его устремления. Идея коммунистического общества — общества без классовых и национальных границ — требовала своей материализации в практиках советского государства. В той мере, в какой коммунистический режим всячески камуфлировал правящий «новый класс» партийной номенклатуры, подрывавший классовую гомогенность советского общества, он всячески демонстрировал национальную гомогенность советской империи.

Этот поворот, во-вторых, вполне отвечал задачам формирования новой «усеченной» идентичности советских народов, которым вместо суверенитета — в полном соответствии с литературоцентризмом русской культуры — была предложена литература (шире — национальная культура). Риторика братства становится основой культуры сталинской «большой семьи» (со старшим братом — русским народом, матерью-Родиной и отцом-Сталиным).

В-третьих, речь идет о сугубо имперской трансформации границы. Граница — враг империи. С одной стороны, империя озабочена продвижением своих границ вовне, и ее внешние границы — это всегда новые фронтиры и новые возможности для экспансии, а с другой — внутренние границы подлежат перманентному стиранию. Оба этих статуса границы запечатлены в метафорах. Первая — в риторике пролетарского интернационализма. Вторая — в риторике «дружбы народов». Ниже речь пойдет о второй.

Риторика «дружбы народов» в советской литературе нарастала с 1932 года в связи с организацией единого всесоюзного Союза писателей и достигла вершины в 1934 году в ходе проведения Первого съезда советских писателей. Окончательно оформилась она в 1936 году в связи с принятием «Сталинской» конституции, где провозглашался и юридически обосновывался многонациональный характер Советского Союза. Потребовалось по крайней мере 14 лет — от Декларации об образовании СССР 1922 года до принятия «Сталинской» конституции 1936 года — для того, чтобы идеологическая риторика приобрела все черты литературного канона.

Легко увидеть, что риторика дружбы была перевернутым отражением враждебного Запада. Заграничный мир прежде всего непонятен. Это мир других языков, мир, в котором разрушены коды коммуникации. Напротив, советский мир демонстрирует небывалую коммуникативную гомогенность, пересекающую даже языковые барьеры. Образцовым текстом такого рода стал сборник классика украинской литературы Павла Тычины «Чувство семьи единой» (1938), удостоенный первой Сталинской премии первой степени и таким

образом утвержденный в качестве образца. Тычина сравнивал «единение советских народов» с грандиозной «радугою дружбы»:

Воно в мені таке могутнє,
і на стількох стоїть підпорах!
Поцілиш блиском-громом в сутнє,
і чути: другий грім у горах...

<Оно такой встает вершиной,
Оно таким дыханьем дышит,
Ударишь громом в сердцевину,
И гром другой в горах услышишь.>

Эта громовая отдача превращает все народы советской страны в единую горную гряду, единое акустическое пространство. Перекатываясь от одной вершины к другой, этот гром «сердца народов дружбой греет». Единственное, что отличает народы, — их языки. Их различие должно, казалось бы, сделать непереводимой «единую» речь. Но Тычина открывает новое качество в языках «братских народов» — «первородство в глубинах языка чужого»:

До мови доторкнешся — м'якше
м'яких вона тобі здається.
Хай слово мовлено інакше —
та суть в нім наша зостається.

Спочатку так: немов підкова
в руках у тебе гнеться бідна,
а потім раптом — мова! мова!
Чужа — звучить мені, як рідна.

<Его коснешься ты, все мягче,
Все легче он тебе сдается,
Хоть слово сказано иначе,
Но суть в нем наша остается.

Как будто так: в руках подкова
Упрямая все гнется, гнется,
И разом вдруг — чужое слово
В родной язык родным ворвется.>

Язык перестает быть просто «средством общения». Он более не разделяет, но соединяет. Поэт становится переводчиком, а язык выступает в качестве медиума, лишенного формы, состоящего из чистого содержания:

Бо то не просто мова, звуки,
не словникові холодини —
в них чути труд, і піт, і муки,
чуття єдиної родини.

<То не язык, не просто звуки,
Не слов блуждающие льдины.

В них слышен труд, и пот, и муки
Живой союз семьи единой.>

Язык — это «не просто звуки». Он вообще не звуки. Но — чистый опыт, из которого рождается некий наднациональный язык — «прекрасный и богатый» — язык советской идеологии:

І позичаєш тую мову
в свою — чудову, пребагату.
А все знаходить це основу
у силі пролетаріату.

<И вносишь ты чужое слово
В язык прекрасный и богатый.
А это входит все в основу
Победы пролетариата.>

(*Пер. с украинского Н. Брауна.*)[3]

Метафора «семьи единой», перекликающаяся с центральным мифом сталинской культуры — мифом «большой семьи» (см.: [Clark 1981: 114—135]), отнюдь не случайно связывается прежде всего с языком, перестающим быть элементом диссоциации, но превращается едва ли не в главное средство единения. Ядром этого единения становится основной продукт национального языка — литература, а сами национальные языки «в семье единой» — лишь разные медиумы, «национальные по форме» и русские «по содержанию», поскольку все их «богатство» раскрывается исключительно через переводы с русского:

Наш язык цветет и крепнет
В песне бодрой, а не грустной.
Стал он языком народа,
И науки, и искусства.
Книга нашему народу —
Знанье и культурный отдых.
Маркс и Энгельс, Ленин, Сталин
Есть в чувашских переводах.
Горький есть, Толстой, Белинский,
И поэт, из лучших лучший,
Александр Сергеич Пушкин
По-чувашски нынче звучен.

(*Письмо чувашского народа великому Сталину подписали 219 612 человека. По поручению чувашского народа письмо составлено коллективом чувашских советских поэтов и писателей. На русский язык перевели поэты: Александр Жаров, Джек Алтаузен.*)[4]

---

3 *Тичина П.* Чуття єдиної родини. Київ: Держлітвидав, 1938. С. 5—6. Рус. пер.: Ленин, Сталин в поэзии народов СССР. М.: Художественная литература, 1938. С. 429—430.

4 Сталин в поэзии: к шестидесятилетию со дня рождения. М.: Художественная литература, 1939. С. 356—357.

Основная функция этого «языка дружбы» — сугубо тавтологическая: воспевание самой «дружбы народов». Так рождается своего рода метапоэзия:

Великая держава,
Тебе подобной — нету,
Поют о крепкой дружбе
Ашуги и поэты.
Поют бахиш, акыны,
Бродячие гафизы.
И воздух там не стынет,
Где жемчуг слов нанизан.

(*Александр Чачиков. Одиннадцать республик.*)[5]

Пространство по ту сторону границы гетерогенно. Соответственно, советское пространство гомогенно. И основа этой гомогенности — опять-таки литература. Она становится основным референтом прокламируемой дружбы, а идеологическая тавтология заражает традиционным для русской культуры литературоцентризмом поэзию всех остальных народов СССР:

Братство народов свято для нас,
Свято великих культур родство,
Русской культуры прежде всего,
Святы, как мудрость и соль земли,
Пушкин, Абай, Шота, Тарас —
Те, чьим садам расцвесть помогли
Ленин и вы, Сталин-жолдас!..

(*Из обращения Второго съезда писателей Казахстана к товарищу Сталину, 1939 год*)[6]

Если такая, через литературу, идентификация писателей объяснима, то для крымских колхозниц-табаководов она куда менее очевидна. Здесь национальная и гендерная идентичность сливаются в ориентальном сюжете русской классики — «Бахчисарайском фонтане» Пушкина:

Когда ж на землю к нам ступил
Певец прославленный России,
Он в нашем прошлом различил
Лишь слез ручьи да кровь Марии.

Не то сегодня —

Тут сотни героинь-ударниц
Весной выходят на поля.
Табак и виноград янтарный
Дарит им щедрая земля.

---

5 Сталинская Конституция в поэзии народов СССР. М.: Художественная литература, 1937. С. 312.

6 Казахстанская правда. 1939. 15 окт. С. 3.

И если из Украйны дальней
Мария гостьей к нам придет,
Тот день — тобой клянемся, Сталин! —
Как праздник, встретит наш народ.

В воображении «крымских колхозниц-табаководов» героиня Пушкина полностью преобразилась:

Где призрак пушкинской Марии?
Где душного гарема дочь?
Лучи победы озарили
Марию — сталинскую дочь.

Мария та в руках у хана
Терпеть училась и рыдать,
Мария эта нас, дехканок,
Стихию учит побеждать.

Марию ту встречали местью,
Кинжала грозною игрой,
А нам обняться будет честью
С Марией, милою сестрой.

И если ту Марию славит
Фонтан печали, слез фонтан,
Мария эта нам оставит
Побед и счастья океан.

(*Письмо-рапорт крымских колхозниц-табаководов товарищу Сталину сложил стихами Абульгасем Лахути по поручению слета 900 колхозниц-табаководов Ялтинского района Крымской АССР. Пер. с фарси Ц. Бану.*)[7]

Литература, будучи едва ли не единственным источником знаний о инонациональных культурах, оказывается единственным объединительным пространством:

Дорог Пушкин нам, Некрасов, дорог нам и Лев Толстой,
Мы у Гоголя пленились Украины красотой.
Любим стих Шевченко гневный; Чехов, Горький — близки нам.
Мы внимаем всех народов и напевам, и стихам.

(*Письмо трудящихся Советской Грузии вождю народов великому Сталину. Пер. В. Гаприндашвили.*)[8]

Поэзия дружбы народов объединяет классическую и советскую литературу в единый культурный конгломерат, так что Пушкин, Шевченко или Руставели превращаются в советских писателей «братских республик»:

7 Сталинская Конституция в поэзии народов СССР. С. 454—456.
8 Сталин в поэзии: к шестидесятилетию со дня рождения. С. 243.

Читаем Ленина и Маркса. В каждый дом
Вошел учителем и твой бессмертный том.
Черпать в «Истории ВКП(б)» привык
Живую влагу сил узбекский большевик.
Нам близок стал, и Гёте, и Джами,
Шекспир, грузин Шота, Шевченко, Низами.
Как сестры нам — Ширин и Дареджан. Свои —
Нам гений Пушкина и гений Навои.
Как сокол горьковский, язык свободен наш...
О чаша вольности, сладчайшая из чаш!

(*Письмо счастливого узбекского народа вождю народов — великому Иосифу Виссарионовичу Сталину. Пер. с узбекского Л. Пеньковского.*)[9]

Кульминации эта литературоцентричная гомогенность достигает во время войны, то есть тогда, когда граница стала зоной боя, пришла в движение. Она потеряла былую стабильность. Она движется вместе с войсками, неся интернациональный литературоцентризм в качестве главного мобилизующего фактора в борьбе с враждебным миром по ту сторону линии боевого соприкосновения с противником:

За осквернённый гроб Толстого — в бой!
За жемчуг пушкинского слова — в бой!
Вперед, чтоб не был осквернен вовек
В гробнице самаркандской Улуг-бек,
Да не сожжет дикарь германский книг,
Что монументом Навои воздвиг!

(*Миртемир. Приветствие защитникам Сталинграда. Пер. с узбекского Л. Пеньковского.*)[10]

Воспевание некоего сверхязыка, который понятен всем советским людям, становится едва ли не главной темой сталинской поэзии. Сталин и сталинское слово становится тем медиумом, который не только объединяет людей внутри советских границ, но делает эти границы непроницаемыми для внешнего мира. Сам же всесоюзный многонациональный литературный канон становится настолько интегрированным в национальные культуры, что через него начинают выстраиваться и «национальные эпосы». Это «братство» и гомогенность советских народов идут, оказывается, из глубокой древности. В 1937 году Джамбул создает «Песню о жизни», которая представляла собой квазиэпическую поэму об истории казахов. Рефреном звучало здесь обращение к «братским» национальным литературам, при помощи которых структурировалась новая история казахского народа:

Много преданий запомнил, сберег
Я в перепутьях крутых дорог.
Вижу, несется над грозной стремниной

9 Там же. С. 326.
10 Правда Востока. 1948. 7 мая. С. 3.

Песня, как взлет горделивый, орлиный, —
Витязь народа Шота идет,
Равный жемчужным кавказским вершинам.

Проходят столетия — и вот

Усталый верблюд тихо идет.
Песню в песках седок поет,
Слезы в глазах, кровь на губах,
Едет любимый певец Украины,
Едет Тарас на верблюжьих горбах.
.....
Мчатся столетия на скакуне.
Пушкин едет в простом чапане,
Арба худая, колеса скрипят,
Клячи, хомут разрывая, пыхтят.
Кружатся вороны черною стаей,
Сердце поэта вырвать хотят.

Арба худая поэта везет,
Песню народа Пушкин поет
Царь испугался. Доволен народ.
Пушкин скитаясь, как наш Кайгы,
С диких и снежных Кавказских высот
Славит великий русский народ.

Песня его неслась, не смолкая,
Песня запала в душу Абая,
И у предгорий седого Тянь-Шаня
Заговорили Онегин с Татьяной
На близком народу родном языке,
На золотом языке Казахстана.

Мчатся столетия на скакуне...
Едет Джамбул по любимой стране,
Он, как орел над вершиной Кавказа,
Взлетает душой, не кривившей ни разу
Он перед баями спину не гнул...
Едет овеянный славой Джамбул.

Прошлое казахов (как и всех советских народов) определяется, таким образом, через грузина Руставели, украинца Шевченко, и главное — русского Пушкина. Сам Джамбул, создатель новой, сталинской истории Казахстана, предстает в этой проекции прямым продолжателем — через Абая — этой многонациональной «братской» стихии. Стихия эта — в песне и слове (неслучайно именно с поэтами связывает Джамбул многовековую историю казахов). Только песня теперь иная:

Сталин — родная народа мечта,
Радость народа и красота.
Сталин — любимый, равного нет,
Сталин — великой планеты поэт,

Сталин — народных песен певец,
Сталин — могучий Джамбула отец[11].

Самое величие национальных классиков состоит в их причастности к великому вождю. Так, побывав в Гори на юбилее Руставели в 1937 году, Джамбул написал стихотворение «Привет Кавказу», в котором величие Грузии определяется рождением Руставели, голосом которого поет теперь казахская степь о величии другого грузина — Сталина:

Вырастил ты в золотой колыбели
Думы бессмертные Руставели.
Лебедем гордым они прилетели
В мой Казахстан, и аулы запели:
«Под сталинским солнцем пусть вечно живет
Великий грузинский народ!»[12]

Таким образом, главным объединяющим фактором многонациональной поэзии являлось воспевание «светоча Сталина», в чем объединились все народы советской страны. Сталин — творец Конституции, закрепившей новое национально-государственное устройство. Сама его речь о Конституции становится без конца повторяемым мотивом — ее слушают все народы:

С трибуны звучит, как могучий набат,
Вождя гениальный доклад.
Казахи в степях,
Грузины в горах,
Зыряне в лесах,
Белорусы в полях —
Народы, чтобы каждое слово сберечь,
Слушают Сталина речь.

(*Джамбул Джабаев. Слушая Сталина речь. Пер. с казахского К. Алтайского.*)[13]

Причастность советскому пространству снимает тему внутренних границ. Населяющие СССР народы существуют без них, чему способствует их лингвистический универсализм. Хотя сталинский доклад делался по-русски, он понятен всем народам, владеющим особым эзотерическим надъязыковым кодом. Их идеологическое знание основано на снятии национальных различий:

И много языков; лазурь, своя, родная,
Как в зеркале реки, отражена в любом, —
Но мы живем, трудясь, и, слово Сталин зная,
Повсюду говорим на языке одном.

(*Максим Рыльский. Единство. Пер. с украинского Н. Ушакова.*)[14]

---

11 *Джабаев Д.* Собрание сочинений. Алма-Ата: Казахское объединенное государственное издательство, 1946. С. 236—237.
12 Там же. С. 238—241.
13 Сталинская Конституция в поэзии народов СССР. С. 212.
14 Там же. С. 293.

Самое знание заветного слова состоит в приобщении к русскому языку: заслуга Сталина усматривается в том, что он не только примирил враждовавшие ранее народы, но помог им понять себя в качестве младших братьев русского народа, что сводило в едином идеологическом пространстве Сталина и Пушкина:

Веками с братьями мы жили на ножах, —
Ты всех нас примирил, и дорог нам казах,
Киргиз, туркмен, таджик, грузин и армянин.
(Так связан был Фархад с армянкою Ширин).
Нас тяготил века позорный, черный груз:
Мы — правоверные, а он «кафир» — урус.
Ты нам глаза открыл: «Вам русский — старший брат,
Вас обманул коран, царизм и эмират...»
Народу русскому, великому — хвала
За славные его, великие дела!
За Ленина — хвала! За Пушкина — хвала!
Тебе, отец, за все учение хвала!
На свете нет прочней советских братских уз,
Нет черных сил таких, чтоб наш порвать союз!

(*Из письма узбекского народа товарищу Сталину к открытию XVIII съезда ВКП(б). Пер. с узбекского Л. Пеньковского.*)[15]

Парадоксальным образом чем «национальнее» становятся советские «нации», тем ближе оказывается их «родство», доходя наконец до той стадии, когда «национальное» остается лишь в качестве языкового орнамента. В конце концов, основная задача советской многонациональной литературы — создание новой, «общесоюзной», советской идентичности, в которой этническое репрезентировалось как национальное, а национальное — как интернациональное. Речь идет о стирании национальных границ и полной гомогенизации советского пространства, лежащей в основе *советского имперского воображаемого*. В основе этой двойной замены лежал механизм выстраивания этнической идентичности с одновременным ее разрушением и пересозданием в качестве национально-интернациональной советской.

Эта рифмованная идеология наиболее ярко проявила себя в новом пространственном измерении страны в 1930-е годы, каким его запечатлела советская поэзия, в которой «национальное» — лишь оттенок единого советского узора, который центрируется на Москве:

Наш край — Россия. Всей земли
Одна шестая — наша сила.
Здесь люди счастье обрели:
Страна такая — наша сила.

Чье сердце бьется с нашим в лад,
С тем споров нет: он друг, он брат.
Баку, Тбилиси, Ленинград,
Москва родная — наша сила.

15 Сталин в поэзии: к шестидесятилетию со дня рождения. С. 328.

Мы дети братских всех племен,
Не знаем никаких препон.
Отчизны гордость — наш закон,
Власть трудовая — наша сила.

(*Сулейман Стальский. Наша сила (1934). Пер. с лезгинского С. Липкина.*)[16]

Дружба эта трактуется не только прямо политически, но как стихийное, природное, естественное «единение». Трансформацией истории в природу занимается, согласно Ролану Барту, миф (см.: [Барт 1989: 111]). Подобной же натурализацией и метафоризацией политической реальности занималась многонациональная советская поэзия. Ее продуктом становится новая идеологическая география:

Навеки с Волгой многоводной
И Днепр, и Терек подружился.
В стране могучей и свободной
Звездой Кремлевской путеводной
Их путь широкий озарился.

(*Янка Купала. Дороги (1939). Пер. с белорусского М. Исаковского.*)[17]

Москва («Кремлевская звезда», «башни Кремля», «Красная площадь») — центр символизации власти, которая всячески согревается и гуманизируется в советской поэзии. Это приближение Москвы к «братским народам» наилучшим образом иллюстрируется стихотворением Демьяна Бедного «Страна родная!», где москвич, растворяясь в разноплеменной массе, превращается не просто в своего рода «посланника» русского народа, но становится воплощением его «всемирной отзывчивости»:

Пошли дела чудесным ходом.
Москвич в работе там и тут.
Он русским выращен народом,
Но средь якутов он — якут,
Средь украинцев — украинец,
Средь белорусов — белорус.
Различья нет ни на мизинец
Мы все слились в один Союз,
Идем к одним завоеваньям
Сплошной стеной, плечо с плечом.
«Москвич» — природным стало званьем.
Не опороченным ни в чем![18]

Москва — прежде всего персонализованное пространство: в нем заключены общая история, память, боль и радость. «Городом сердца» предстает она в стихотворении «Москва» классика азербайджанской советской поэзии Самеда Вургуна:

16 *Стальский С.* Сочинения. М.: НПО Экономика, 2000. С. 249.
17 Стихи и песни о дружбе народов. М.: ГИХЛ, 1940. С. 76.
18 Правда. 1936. 6 нояб. С. 4.

О Москва моя, вечно живая заря!
Ты живешь, вдохновение сердцу даря.
Я познал материнскую ласку твою
И в сыновней груди твое пламя таю.
Мы с тобой разделили и хлеб наш и соль,
Мы с тобою знавали и радость, и боль,
И в огне испытаний дороже всего
Наша кровная дружба и наше родство!

(*Пер. с азербайджанского А. Плавника.*)[19]

Но окончательно эта новая топографическая риторика оформилась во время войны. Самым известным стихотворением нерусского поэта военной эпохи стало обращение Джамбула «Ленинградцы, дети мои». Этим стихотворением Джамбул открыл не только тему ленинградской блокады, но и целый поток стихов-посланий «братских поэтов»: узбеков Амина Умари со стихотворением «Ленинград — Узбекистан» и Миртемира со стихотворением «Крепость Севера», грузинских поэтов Иосиф Гришашвили (стихотворения «Ленинграду» и «В городе Пушкина») и Алио Машашвили (стихотворение «Два города») и др. Везде здесь звучала тема родства России для «братских народов».

О Россия! Россия! Твой сын, а не гость я,
Ты — родная земля моя, отчий мой кров.
Я — твой сын, плоть от плоти твоей, кость от кости,
И пролить свою кровь за тебя я готов, —

(*Пер. с узбекского В. Державина.*)[20]

— писал в стихотворении «Россия» погибший на фронте узбекский поэт Хамид Алимджан. Эта новая идентичность, когда он объявляет себя русским, была продуктом происшедшей во время войны деметафоризации предвоенной интернациональной идеологии. Это более не риторика, но новая политическая реальность. В «Письме узбекского народа бойцам-узбекам» прямо говорилось:

> Вольный сын и свободная дочь узбекского народа! Твой народ является детищем Советского Союза. Русский, украинец, белорус, азербайджанец, грузин, армянин, таджик, туркмен, казах и киргиз совместно с тобой в течение двадцати пяти лет днем и ночью строили наш большой дом, нашу страну, нашу культуру. Вы были вместе с ними в борьбе и труде, на празднествах и пирах!
>
> Теперь в дом твоего старшего брата — русского, в дом твоих братьев — белоруса и украинца ворвался германский басмач. Он несет коричневую чуму, виселицу и кнут, голод и смерть. Но дом русского — также и твой дом, дом белоруса и украинца — также и твой дом! <...>
>
> Ты не должен ждать, когда коварный и кровожадный разбойник ворвется в твою улицу и квартал, ты должен отогнать его от порога дома твоих братьев. Ведь твоя улица начинается в Белоруссии, а дом украинца — в твоем квартале. Плач вдовы в Крыму остро сверлит твое сердце. Союз Советских республик — это

19 *Вургун С.* За счастье: Стихи. Баку: Азернешр, 1942. С. 45.

20 Священная война. Стихи о Великой Отечественной войне. М.: Художественная литература, 1966. С. 32.

крепость с одними воротами, и разбойник, влезший в эти ворота, покушается и на твою жизнь! (*Пер. с узбекского Л. Пеньковского.*)[21]

В послевоенной русской поэзии риторика «дружбы народов» становится все более центростремительной. Периферийные пространства служат в ней лишь выделению Центра — Москвы, которая приобретает статус страны. Периферия маркирует теперь не границу, но Центр. Типично в этом отношении стихотворение Льва Озерова «Москва»:

Как люблю я в полдень лета
Кремль в сиянии лучей,
Мимо университета
Проходящих москвичей.
Слышу в толпах быстротечных
Шорох трав и гул морей,
Многозвучный и сердечный
Говор Родины моей.
Как я рад, что всюду вхожи
На одних правах со мной
Желтокожий, темнокожий —
Люди совести одной.
Верен дружественным узам,
Нас литовец посетил,
И бок о бок с белорусом
Проплывет осетин.
И по Моховой в халатах
Цвета неба и жары
Ходят тихо, как по саду,
Люди нашей Бухары[22].

Стоит перевернуть перспективу, чтобы получить искомый результат, — сопоставить это стихотворение со стихотворением узбекского поэта Шейхзаде «Наша Москва»:

Мы все от Москвы получили навек:
Узбеки — самое слово «узбек»,
Звонкие песни — певцы-старики,
Уменье читать и писать — кишлаки,
Крепкую сталь — отточенный меч,
Влагу — земля, и поэты — речь[23].

Москва обретает некий сверхсубстанциальный характер, дав узбекам не только песни, грамоту и воду, но — речь и, наконец, «самое слово — узбек». Потеряв свою древнюю историю, узбеки родились заново, подобно молодому побегу, как и все другие «братские республики» на древнем теле Москвы. Если учитывать, что она стала синонимом и символом прежде всего русской государст-

21 Правда. 1942. 31 окт. С. 3.
22 Огонек. 1949. № 43. С. 14.
23 Октябрь. 1948. № 7. С. 8.

венности (что с особой силой было подчеркнуто в 1947 году, когда помпезно отмечалось 800-летие Москвы), то радость русского поэта от того, что «всюду вхожи на одних правах со мной» представители разных национальностей, воспринимается на фоне прославления Москвы как радость от того, что все эти «столько разных» входят в многонациональное русское государство. Так, по крайней мере, читаются слова о «нашей Бухаре»[24].

Эта риторика играла важную роль в формировании общесоветской идентичности и легла в основу советского патриотизма, основанного на разделении мира на безнационально-гомогенный внутри советских границ (позже эти границы стали охватывать и «братские социалистические страны») и враждебный и внутренне «раздираемый национальной враждой» мир за пределами советской империи, описываемой при помощи метафорики братства, семьи народов, дружбы и других тропов. Ключевым для этой тропологии оставалось понятие границы. Внутри советских границ всякая этническая партикуляризация становилась признаком опасного диссидентства. Ее признаком являлся выход за пределы рассмотренных тропов. Демонстрацией последствий такого выхода может служить одна из последних атак на «буржуазный национализм» в сталинскую эпоху в связи со стихотворением Владимира Сосюры «Люби Украину», опубликованном в ленинградской «Звезде». Написанное и опубликованное в Украине задолго до 1951 года, оно прошло незамеченным и почти не имело резонанса, но, переведенное Александром Прокофьевым и опубликованное во всесоюзном журнале, стало поводом для широкой кампании. Редакционная статья «Правды» от 2 июля 1951 года «Против идеологических извращений в литературе», перепечатанная всеми центральными изданиями и таким образом обретшая статус официального документа огромной важности, была вдвойне оскорбительной для Украины еще и потому, что появилась буквально сразу после помпезной Декады украинского искусства и литературы в Москве и являлась (не исключено, что вполне сознательно) своеобразным официальным постскриптумом к этому событию. Еще не успела закончиться украинская декада в Москве, еще не сняты были афиши праздника и не успели уйти из памяти слова о «расцвете культуры Советской Украины», как разворачивается кампания, в ходе которой руководители Союза писателей Украины вынуждены оправдываться за свой «национализм»:

> Русская литература, ее титаны, выращенные гением русского народа, — это несравненные вершины мировой культуры. Они особенно близки и родственны нам, писателям украинского народа. Внимательно и любовно мы учимся и будем учиться высокому искусству литературы... у русских писателей... Эта статья — проявление отеческой заботы партии о судьбе нашей литературы, о судьбе нашей украинской культуры[25], —

говорил А. Корнейчук на специально созванном VI пленуме Правления Союза писателей Украины с повесткой дня «Идеологические извращения в лите-

---

24 Сама созданная Сталиным институциональная структура предполагала синонимичность понятий «русское» и «многонациональное» — ею определялось отсутствие собственно российских культурных институций, таких как Академии наук, ЦК партии, Союза писателей. Всесоюзные органы были фактически органами российскими, а республиканские — их филиалами («наша Бухара»).

25 См.: Литературная газета. 1951. 6 авг.

ратуре, вскрытые в статье газеты “Правда” и очередные задачи писателей Украины».

«Отеческая забота» проявилась в том, что стихотворение Сосюры было оценено в крайне резких (даже для этого времени) выражениях. Было сказано, что, «вопреки жизненной правде, он воспевает некую извечную Украину, Украину “вообще”... вне времени, вне эпохи — вот Украина в изображении поэта», «под таким творчеством подпишется любой недруг украинского народа из националистического лагеря, скажем, Петлюра, Бандера и т.п.», «откровенно националистически звучат слова поэта, грубо искажающие правду жизни: “Ничто без нее мы, как пыль в поле, дым, гонимые вечно ветрами” <...> Известно, что существо национализма состоит в стремлении обособиться и замкнуться в рамках своей национальной скорлупы, в стремлении не видеть того, что сближает и соединяет массы национальностей СССР, и увидеть лишь то, что может отдалить друг от друга»[26]. Из этого определения национализма, данного «Правдой», следовало, что «сближаться» в едином советском пространстве можно было только с русским народом. Особенно возмутил «Правду» переводивший стихотворение Прокофьев тем, что при переводе вписал в текст строки, которых в нем не было:

Ничто без Советской Отчизны мы <...>
Для нас в белом свете Отчизна одна,
В стихах, что под Волгою льются,
И в звездах Кремля, и в узбекских садах
Родные сердца всюду бьются...[27]

Приписанный автору при переводе текст (широко распространенная в переводах литератур народов СССР практика) обнажал конвенциальность приема, демонстрировал его стертость, тем самым компрометируя его.

Итак, соотношение модальности внешних и внутренних границ приводят к выводу о том, что они семантизировались по принципу дополнительности: чем напряженнее и непрозрачнее была внешняя граница, тем более гомогенным становилось внутреннее советское пространство, достигая в сталинскую эпоху полной прозрачности. И наоборот, как только внешняя граница приходила в движение, обозначались внутренние границы и начинался распад имперского тела. Можно ли делать подобный вывод, исходя только из риторических практик? Можно, если помнить, что эти практики имели прагматическую функцию, будучи типичными имперскими практиками. Иначе говоря, в работе границ принцип дополнительности никогда не работает. Внутри страны, где существует культ пограничника и «священных рубежей», «братство народов» может быть только риторическим. И наоборот, там, где культивируется толерантность, внешние границы регулируются довольно либерально.

Специфика советской империи состояла в том, что в ней действовали два разнонаправленных вектора: прагматически она основывалась на классическом имперском принципе — расподобления, доминирования и иерархии, а риторически — на интернационалистском принципе гомогенности, политкор-

26 <Без подписи.> Против идеологических извращений в литературе // Правда. 1951. 2 июля. С. 1.

27 Правда. 1951. 2 июля.

ректности и равенства. Эти два вектора на первый взгляд дополняли друг друга, но в действительности один подрывал другой. Пространство за границами «отдельно взятой страны» становилось все более гомогенным, а внутри страны риторика дружбы призвана была скрывать классические имперские практики, которые в условиях политического кризиса неизбежно вели к формированию и эмансипации наций. И хотя советская поэзия утверждала, что «дружба народов не знает границ», как только на руинах советской империи произошло оформление новых наций, границы возникли и положили конец дружбе.

Библиография / References

[Барт 1989] — *Барт Р.* Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 72—130.

(*Barthes R.* Le mythe, aujourd'hui // Barthes R. Izbrannye raboty. Semiotika. Poetika. Moscow, 1989. P. 72—130. — In Russ.).

[Добренко 1996] — *Добренко Е.* До самых до окраин // Искусство кино. 1996. № 4. С. 97—102.

(*Dobrenko E.* Do samykh do okrain // Iskusstvo kino. 1996. No. 4. P. 97—102.)

[Clark 1981] — *Clark K.* Soviet Novel: History as Ritual. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

Марк Липовецкий

Легенда о Раневской:

ТРИКСТЕР И ГЕНДЕРНАЯ ТРАНСГРЕССИЯ

Mark Lipovetsky

The Legend of Ranevskaya: The trickster and gender transgression

Марк Липовецкий (Колумбийский университет (Нью-Йорк), профессор; доктор филологических наук) ml4360@columbia.edu.

Ключевые слова: Фаина Раневская, трикстер, трикстар, квир, кэмп

УДК: 792.071
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_161

В статье рассматривается культурная легенда, окружающая актрису Ф.Г. Раневскую и состоящая из воспоминаний и анекдотов о ней, приписываемых ей афоризмов и отчасти сочиненных ею знаменитых ролей. Все вместе образует модификацию тропа женского трикстера («трикстара»), воплощающего подрыв патриархальной нормативности. Как показывает анализ, специфический юмор Раневской ближе всего соответствует модели кэмпа, описанной С. Зонтаг и другими исследователями.

Mark Lipovetsky (Dr. habil.; Professor, Columbia University, New York) ml4360@columbia.edu.

Keywords: Faina Ranevskaya, trickster, trickstar, queer, camp

UDC: 792.071
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_161

The article examines the cultural legend surrounding actress Faina Ranevskaya, constituted through memories and anecdotes about her, aphorisms attributed to her, and her famous roles that she co-created. Together, these elements form a modification of the female trickster ("trickstar") trope, embodying the subversion of patriarchal normativity. As the analysis shows, Ranevskaya's specific humor most closely corresponds to the camp model as described by Susan Sontag and other scholars.

Гендерные трикстеры

Мировая культура знает немало женских трикстеров. От Шахерезады и Цирцеи до шекспировских героинь (Виола из «Двенадцатой ночи», Порция из «Венецианского купца», Розалинда из «Как вам это понравится»), от Коломбины из комедии дель арте до героини пикарески (классические образцы — «Молль Флендерс» Дефо или «Пригожая повариха» Чулкова). Известны также многочисленные шутихи и юродивые женщины.

Однако что представляет собой этот феномен? Гендерную разновидность универсальных трикстерских типов (плутов, дураков, шутов, юродивых) или же самостоятельный тип трикстера?

Мэрилин Джурих (Marilyn Jurich), опираясь на обширный материал мировой мифологии и фольклора, обосновывает мысль о том, что, несмотря на сходство с «мужскими» нарративами, истории о женщинах-трикстерах приобретают иную семантику. Настолько иную, что исследовательница вводит новый термин для женских трикстеров — она называет их трикстарами (trickstar). По мнению Джурих, трикстар в первую очередь воплощает «власть безвластных» в контексте патриархальной культуры. В случае трикстара

> ...трюк становится декларацией свободы для героини, освобождая женщину от ограничений, наложенных на нее обществом и культурой. Трюк фактически является преодолением гендерной репрессии и способом обретения гендерной — или шире: общечеловеческой — власти. <...> Как трикстары женщины с особенным удовольствием лишают мужчин их достоинства и воруют у них мужскую гордость [Jurich 1998: 196].

Посредством трюка женщина-трикстар выводит себя из-под власти социальных конвенций, создавая лиминальную ситуацию, которая является условием ее свободы. В этом смысле показательна лиминальность Шахерезады, находящейся между жизнью и смертью, или кицунэ, являющейся одновременно человеком и животным. В своем роде символом трикстарской лиминальности становится хитроумная дочка из сказки братьев Гримм «Умная дочь крестьянская» (аналогичный сюжет встречается и в других культурах, в том числе славянских), которая является к королю «ни одетая, ни нагая, ни верхом, ни в повозке, ни по дороге, ни без дороги...».

Трикстар подрывает гендерные оппозиции, нарушая границы и ускользая от патриархальной власти. Таким путем она обнажает и пародирует социальную семиотику. Ее важнейшее орудие — нарративная власть, которая всегда таит в себе скрытое измерение пародии на доминантные дискурсы: нарративная власть свидетельствует об интеллектуальном превосходстве женщины над мужчиной, тем самым ломая гендерные стереотипы и подрывая эссенциалистские основания (патриархальной) власти. Аналогичным образом способность трикстара к метаморфозам (Джурих называет трикстаров трансформерами) наглядно демонстрирует сконструированность как социальных, так и гендерных идентичностей. См., например, очерк 1903 года о легендарной воровке Соньке — Золотой Ручке (Софье Блювштейн):

> Каким же образом ей удалось бежать незамеченной из рук полиции, в то время, когда повсюду была известна деятельность ловкой аферистки? Это ей очень легко удавалось: в каждом городе, перед отъездом она загримировалась так ловко, что никто не мог бы опознать в ней ту, которую видели за час раньше. То она являлась нищенкой, то монашкой или странницей; а в большинстве случаев она переодевалась в мужское платье и с каким-либо товаром в руках она ходила по деревням, пока стушевывалась от преследований[1].

Разумеется, нарративы о трикстарах существуют в рамках патриархальной культуры, и поэтому те трансгрессии, которые вызывают восхищение в мужчинах-трикстерах, по отношению к женщинам воспринимаются как предосудительные и этически неприемлемые. Вот почему нередко трикстар предстает в образе *злодейки* — интриганки, развратницы, непокорной жены или тещи. Особенно часто демонизируется женская сексуальность, которая в то же время является важным орудием трикстара. В этом смысле прототипическим образом трикстара Джурих считает мифологическую Пандору:

> Пандора не совершает ничего, что могло бы быть описано как трюк. Она сама является трюком. <...> Вместо того, чтобы удовлетворять нужды других, она нена-

1 *Клефортов М.Д.* Сонька «Золотая ручка»: Похождения знаменитой воровки-убийцы и ее пребывание на Сахалине. 2-е изд. Одесса: С.С. Полятус, 1905. С. 8.

> сытна и в еде, и в сексе. <...> У нее нет ни сознания, ни морали <...> Она опрокидывает намерения богов и утирает нос Зевсу, и поэтому становится, наряду с Прометеем, культурной героиней [Jurich 1998: 197].

Советская культура, несмотря на декларации равенства полов, остается в полной мере патриархальной, и поэтому женщина-трикстер в ней, как правило, представлена негативно. Наряду с немногими позитивно или амбивалентно окрашенными трикстарами[2] — литература и кино как сталинского, так и последующего периода богата негативными женскими персонажами, в которых, при ближайшем рассмотрении, угадывается трикстар. Таковы многие роли Фаины Раневской — Ляля в «Подкидыше» (1939, реж. Татьяна Лукашевич), Мачеха в «Золушке» (1947, реж. Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро) и Королева Марго в «Легкой жизни» (1964, реж. Вениамин Дорман). Из этого же разряда многочисленные версии Бабы-яги в советском кино — как правило, исполняемые актером Георгием Милляром. Рядом с Бабой-ягой Лиса Алиса из «Золотого ключика», старуха Шапокляк из мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене (реж. Роман Качанов), а также многочисленные второстепенные персонажи советского кино, оттеняющие добродетели главной героини. Такова, например, Людмила (Ирина Муравьева) из культового советского фильма «Москва слезам не верит» (1981, реж. Владимир Меньшов). Если главная героиня Катя, пройдя через многие испытания, добивается «простого женского счастья», то Людмила остается в конечном счете у разбитого корыта — без мужа и детей. Но как показывают Александр и Елена Прохоровы, «в то время как Катя старается следовать нормативным нарративам образования, успеха и социального роста, Людмила отказывается играть по правилам и настаивает на успехе, достигаемом путем трансгрессии» [Prokhorov; Prokhorova 2017: 36]. Исследователи продолжают:

> Как комедийный персонаж Людмила обнажает патриархальную конструкцию гендера не только тем, как она играет с конвенциями телесности, но и через главное оружие патриархата — язык. Как словесный трикстер Людмила использует три главные стратегии: обнажая ритуалы гендерного поведения путем шутливых искажений или преувеличений, присваивая официальный советский дискурс для самозащиты или защиты своих подруг или же включая быструю и агрессивную ответную реакцию. Она прибегает к этим стратегиям в ситуациях, когда другие персонажи пытаются встроить ее в жанровые «рамки приличия» — либо в качестве мелодраматической жертвы, либо в роли «паразита» в соцреалистическом сюжете [Ibid: 38].

Репрезентация трикстара как не вписывающейся в рамки гендерной нормативности (муж — семья — дети) наводит на мысль о сходстве с квиром. Особенно если вслед за Джеком Халберстамом (Jack Halberstam) интерпретировать квир как «ненормативную логику и организацию сообщества, сексуальной идентичности, способов воплощения и деятельности, направленной на изменение пространства или времени» [Halberstam 2005: 20]. По выражению дру-

---

2 Позитивно окрашенные трикстары чаще появляются в постсоветской культуре. См., например, мой разбор романа Виктора Пелевина «Священная книга оборотня» (2003) с центральной героиней — лисой-оборотнем А Хули, современной версией японской кицунэ в [Липовецкий 2008].

гого исследователя, квир саботирует «многочисленные бинарные оппозиции (мужское/женское, оригинал/копия) <…> Демистификация культурных конструкций может стать мощным оружием, дестабилизирующим нормативность, основанную на на освященной браком и ориентированной на репродукцию "естественной" сексуальности; дестабилизация охватывает и все то, что в других семиотических режимах направлено на поддержание социального порядка» [Cleto 1999: 15].

Как и квир, трикстар в патриархальной культуре, как правило, изображается терпящей поражение — но ее поражение предполагает альтернативу нормативному стилю жизни и потому воспринимается как источник опасности: «…в то время как поражение приходит в окружении сонма негативных аффектов, таких как разочарование и отчаяние, оно также дает возможность для использования этих аффектов как антидота против токсичной позитивности современной жизни» [Halberstam 2011: 3]. «Токсичная позитивность» — этот оборот в полной мере относится и к соцреалистической картине повседневной жизни непременно в границах советской семьи, и именно ее в равной мере подрывают как трикстары, так и квир-трикстеры.

Учитывая криминализацию гомосексуальности с 1933 по 1993 год, прямая репрезентация квир-трикстера в культурной продукции была невозможна, хотя более или менее тайно квир-культура сохранялась и в СССР (см.: [Healey 2021]). В качестве примера квир-трикстера в культуре сталинского времени можно указать на фигуру Федора Басманова, любовника царя, во второй части «Ивана Грозного» Эйзенштейна — танцующего в женском платье и озорно выглядывающего из-под женской маски во время песни опричников, прославляющих террор. Черты квира угадываются и у других негативных персонажей — в комедиях Леонида Гайдая это знаменитая троица Трус — Балбес — Бывалый (Вицин — Никулин — Моргунов)[3], появляющаяся в целом ряде фильмов этого режиссера, или же пара Лёлик и Гена (Анатолий Папанов и Андрей Миронов) из «Бриллиантовой руки» (1969). В знаменитом своей неожиданной откровенностью мультфильме «Голубой щенок» (1977) тот же Миронов озвучивает яркого негативного квир-трикстера Черного Кота, становящегося близким другом Пирата.

Однако позитивно изображенный квир-трикстер встречается гораздо реже. Можно вспомнить советскую мультипликационную версию шведского Карлсона («Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970), реж. Борис Степанцев), а также героев-кроссдрессеров — Дженни Гокинс (Клавдия Пугачева) в первой советской киноверсии «Острова сокровищ» (1937, реж. Владимир Вайншток); Шурочка Азарова (Лариса Голубкина) в «Гусарской балладе» (1962, реж. Эльдар Рязанов) и в особенности тетки Чарли (Александр Калягин) в телевизионном фильме Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975) — экранизации известной английской комедии Брэндона Томаса «Тетка Чарли». Игра Александра Калягина в роли тетки Чарли представляет собой выразительный пример дрэг-квин шоу, хотя, вероятно, ни актер, ни режиссер даже не знали этого термина.

Можно сказать, что каждый трикстер в чем-то квир. Но это не значит, что каждый квир — трикстер. Иначе говоря, даже учитывая черты сходства меж-

3 См. о квире в репрезентации ВиНикМора [Prokhorov 2003].

ду трикстером и квиром, все же необходимо попытаться зафиксировать, что именно характеризует квир-*трикстера*.

Квир во многом подобен трикстеру (и трикстару) своей трансгрессивностью, в сочетании с амбивалентностью и лиминальностью. Трансгрессивность квира покушается не только на гендерные нормы и гетеронормативную сексуальность, но и воплощает *радикальную негативность*: по определению Ли Эдельмана (Lee Edelman), «…квир опустошает значение, дереализует бытие и заставляет нас признать нашу безликость» [Edelman 2022: 126]. И далее: «…квир разрывает связность мира» [Edelman 2022: 141].

Квирная лиминальность выражается в создании особого времени и пространства. Как пишет Хальберстам, «<к>вирное время, возникая в сердце кризиса, использует потенциал всего того, что Бодлер считал воплощением модернизма, — “преходящего, летучего и бесконечно изменчивого”» [Halberstam 2005: 14]. Квирная лиминальность, таким образом, открывает возможности для *утопизма* особого рода, о котором пишет Хосе Эстебан Муньос (José Esteban Muñoz):

> Поворот к эстетике в случае квира — это не бегство из социальной реальности; напротив, эстетика квира производит карту будущих социальных отношений. Квир всегда перформативен, поскольку он не просто живет, но и действует по направлению к будущему. По сути, квир предполагает отрицание *здесь и сейчас* и веру в конкретные возможности для другого мира [Muñoz 2019: 1. Курсив автора. — *М.Л.*].

Однако утопичность или негативность квирного пространства-времени всегда окрашены театрально — предъявлены как *игра или представление*.

В книге «Дурное воспитание» Ли Эдельман анализирует фильм Михаэля Ханеке «Забавные игры» (1997), в центре которого находятся два садистических квир-трикстера, измывающиеся над случайно оказавшейся в их власти семьей. В кульминационный момент фильма жена находит ружье и убивает одного из мучителей, но тогда другой злодей берет в руки пульт от телевизора и «перематывает» ситуацию назад, чтобы сохранить жизнь сообщнику и обезоружить жену. Как комментирует Эдельман, тем самым этот персонаж доказывает, что репрезентация обладает таким же онтологическим статусом, что и реальность. В результате квир-трикстерского перформанса «реальность» превращается в разновидность игры — мрачной или смешной — в зависимости от стратегий трикстера. В «Забавных играх»

> …Семья принимает свой мир за реальный, тогда как Питер и Поль, наоборот, сознают, что снимаются в фильме. Они знают то, чего члены Семьи не понимают, что все они «всего лишь персонажи», находящиеся в пространстве игры или пьесы, в котором нет «настоящей» смерти, и только власть воображаемого поддерживает фикцию «реальности» [Edelman 2022: 152].

Совершенно иначе, но с похожими результатами *дереализация реальности* осуществляется посредством такого характерного для квир-трикстерства метода, как **кэмп**. По классической характеристике Сюзан Зонтаг,

> 1. <…> Кэмп это определенный вид эстетизма. Существует некий способ видеть мир как эстетическое явление. Этот способ, способ Кэмпа, выразим не в терминах красоты, но в терминах степени искусственности, стилизации. <…>

> 8. Кэмп — это некоторое представление мира в терминах стиля, но вполне определенного стиля. Это любовь к преувеличениям, к «слишком», к вещам-которые-суть-то-чем-они-не-являются. <…>
> 10. Кэмп видит все в кавычках цитации. Это не лампа, но «лампа», не женщина, но «женщина». Ощутить Кэмп — применительно к людям или объектам — значит понимать бытие как исполнение роли. Это дальнейшее расширение на область чувствительности метафоры жизни как театра. <…>
> 38. Кэмп — это последовательно эстетическое мировосприятие. Он воплощает победу «стиля» над «содержанием», эстетики над «моралью», иронии над трагедией. <…>
> 41. Один из главных моментов Кэмпа это развенчание серьезности. Кэмп игрив, анти-серьезен. Точнее, Кэмп подключает новые, более сложные, связи к «серьезности». Он может быть серьезен во фривольности и фриволен в серьезности [Зонтаг 1997: 50—52, 60].

Впоследствии теоретики упрекали Зонтаг за то, что она использует кэмп как шифр для всей современной культуры, как рафинированный — и подчеркнуто аполитичный — эстетический вкус к вульгарному и китчевому и критиковали за «превращение гомосексуальной в своей основе модальности саморепрезентации в дегеифицированный вкус, ироническое смакование безвкусицы — “плохо настолько, что уже хорошо”» [Cleto 1999: 10]. Однако тот же исследователь определяет кэмп в согласии с акцентами, расставленными Зонтаг, как «радикальную семиотическую дестабилизацию, при которой объект и субъект дискурса *обваливаются друг в друга* (*collapse into each other*)» [Cleto 1999: 4—5, курсив автора]. Развивая тему театральности кэмпа, Марк Бут (Mark Booth) отмечает:

> Кэмп самопародийно представляет себя намеренно безответственным и невзрослым, нарочитая искусственность саморепрезентации подчеркивает театральность вне сцены, бесстыдную неискренность, которая может быть провокативной, но может быть и потенциально критической — из-за неустранимой амбивалентности [Booth 1999: 69].

Еще один важный аспект кэмпа отмечен Эстер Ньютон (Esther Newton) — диспропорциональность, неадекватность, алогизм — так, вероятно, можно перевести слово «incongruity» в формуле: «Кэмп обычно основан на диспропорциональных [неадекватных, алогичных] противопоставлениях (incongruous juxtapositions)» [Newton 1999: 103]. Иначе говоря, кэмп основан на структурных и семантических оксюморонах — что вообще характерно для трикстерского дискурса. Но кэмп добавляет к оксюморонам особого рода ироническую саморефлективность, выдающую связь этого дискурса с квир-культурой.

В качестве феномена, сочетающего в себе черты трикстара и квир-трикстера, я хочу рассмотреть Фаину Раневскую — но не как реальное лицо и не как великую актрису, а как своего рода фольклорного персонажа, героиню культурной легенды, во многом созданной ей самой. Поэтому меня не занимает вопрос, насколько достоверны приписываемые Раневской, афоризмы и шутки (многие из них, безусловно, почерпнуты из более раннего фольклора). Для меня важно то, что конкретные истории «прилипли» к образу Раневской, а значит, вписались в ее легенду. Именно логика этой легенды представляет для меня главный интерес.

Легенда о трикстаре

Судя по сохранившимся свидетельствам, знаменитая советская актриса Фаина Раневская (1896—1984) была крайне противоречивым человеком. Огромный актерский талант и всенародная слава, сопровождавшая ее с 1930-х до конца жизни, сочетались в ней с непроходящим чувством профессиональной нереализованности. Репутация неуживчивой, резкой на язык и скандальной актрисы, которой боялись не только коллеги-актеры, но и режиссеры, странным образом уживалась с образом «Дон Кихота в юбке», готового раздать все и помочь каждому. Непочтительность к авторитетам, любовь к обсценной лексике, слава убийственного острослова не мешали ей изрекать (устно и письменно) пафосные (и банальные) речи о святом искусстве и его падении. Несмотря на принадлежность, по крайней мере, к двум маргинализированным группам — не только еврейка, но и лесбиянка, по одним свидетельствам, бисексуал — по другим [см.: Жук 1998: 78—82], — она была неотъемлемой частью советского культурного истеблишмента и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе, что подтверждается «похоронными принадлежностями» Раневской (по ее собственному выражению) — многочисленными званиями, премиями (три Сталинские премии) и государственными наградами (в том числе орден Ленина).

Трикстерство также входило в этот сложный коктейль в качестве одного из компонентов, но именно оно стало предметом легенды — фольклора, окружавшего Раневскую при жизни и в известной степени распространявшегося ею самой и многократно возросшего после ее смерти и особенно в постсоветское время, когда анекдоты о Раневской, ее остроты и афоризмы вошли в массовую культуру[4]. Важной частью этого нарратива, сопоставимого с историями о Диогене или Ходже Насреддине, стали кинороли Раневской. Как правило, эпизодические, они тем не менее почти сразу же превращались в культурные идиомы — и не случайно: Раневская славилась тем, что сочиняла реплики своих героинь, так что эти эпизоды были продуктом не только ее актерского, но и драматургического таланта.

Марина Балина первой назвала Раневскую «трикстаром» (вслед за Джурих), подчеркивая прежде всего ее трансгрессивность, она

> нарушала социокультурные нормы «приличия», внедряя взрывные элементы трансгрессии в строго регламентированную жизнь советского театра. Раневской удалось построить свой публичный образ на грани разрешенного, всегда вер-

4 «Целая индустрия выросла на публикациях воспоминаний о ней <Раневской>, анекдотов о ее скандальном поведении, ее афоризмов, так что введение ее имени — не являющегося именем авторов — в любую библиотечную базу данных приносит десятки результатов», — пишет Марина Балина [Balina 2017: 52]. См., например: Фаина Раневская: Случаи, шутки, афоризмы / Под ред. И. Захарова. М.: Захаров, 2001 (ссылки на это издание маркированы указанием страницы после цитаты в основном тексте); Фаина Раневская. Судьба-шлюха / Авт.-сост. Д.А. Щеглов. М.: АСТ: Олимп, 2002; Фаина Раневская: Философ с папиросой в зубах / Под ред. К. Винокурова. М.: Зебра Е, 2012; Фаина Раневская. Арлекин и скорбный Экклезиаст / Сост. Ю.И. Крылова. М.: АСТ, 2017; *Глезер М.* Фаина Раневская. М.: Молодая гвардия, 2012; *Скороходов Г.* Разговоры с Раневской. М.: АСТ, 1999; *Скороходов Г.* Фаина Раневская. Фуфа Великолепная, или С юмором по жизни. М.: Родина, 2002; *Скороходов Г.* Женщины шутят: Раневская, Зеленая, Пельтцер. М.: Родина, 2021; *Щеглов А.* Фаина Раневская: Вся жизнь. М.: Захаров, 2002.

бально и визуально подрывая отведенное ей культурное пространство [Balina 2017: 51].

Однако трансгрессивность трикстара направлена прежде всего против патриархальной нормативности. Кроме того, трикстер — и трикстар — никогда не сводится к одной лишь характеристике: как отмечалось выше, помимо различных форм трансгрессивности, необходимым аспектом трикстерства является остранение, дистанцированное (посредством комедии или пародии) воспроизведение социальной семиотики («репрезентация репрезентации»). Есть ли это у Раневской?

Безусловно, есть!

В сохранившихся обрывочных мемуарах Раневская подробно рассказывает о своих неудачах — любовных и театральных. Во всех этих новеллах она помещает в себя в ситуации, взрывающие гендерные нормы и сценарии. Придя на первое свидание с нравящимся ей гимназистом, юная Фаина обнаруживает, что объект ее любви уже находится на свидании с другой девушкой, причем соперница отгоняет ее камнями. Уже актриса, она ожидает к себе премьера вечером после спектакля — и он приходит, но «пьяный и с бабой»: «“Деточка, — говорит, — погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя!” С тех пор не то что влюбляться — смотреть на них не могу: гады и мерзавцы!» (89). Поклонники приглашают ее на свидание также самым неромантическим образом. «Приглашение на свидание: “Артистке в зеленой кофточке”, указание места свидания и угроза: “Попробуй только не прийтить”. Подпись. Печать. Сожалею, что не сохранила документа, — не так много я получала приглашений на свидание»[5].

В юности она дебютирует в театральном амплуа гранд-кокет, играя роли соблазнительниц и романтических героинь. Но ее записи сохраняют только конфузные ситуации. В одном спектакле, после слов «Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…», Раневской удается «свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову»[6]. В другом, играя жертву пиратов, она не замечает, как ее парик зацепился за «волну»: «Косы поплыли по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои похитители, увидев повисший на гвозде парик, уронили меня на пол. Несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать»[7]. В третьем, играя романтическую героиню, она не замечает, что краска, нанесенная ей на старую горжетку, от жары потекла и окрасила шею актрисы в черный цвет: «Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьершей, сидевшей в ложе, бывшим моим педагогом, случилось нечто вроде истерики…»[8]. Все эти ситуации подчеркивают несовместимость Раневской с традиционными гендерными ролями, несовместимость, которую она сознательно превращает в источник для комических новелл о себе как о гендерной клоунессе.

Буффонада — это только одна сторона подрыва патриархальных сценариев, которыми всегда славится трикстар. Другая приобретает характер яростной, но при этом почти всегда комической войны, которую Раневская вела про-

5 Фаина Раневская. Судьба-шлюха. С. 33.
6 Там же. С. 39.
7 Там же. С. 32.
8 Там же. С. 29—30.

тив режиссеров — как правило, мужчин, но не только: «Режиссеры меня не любили, я платила им взаимностью», — пишет она в своих «мемуарах»[9]. Она не скрывает своего сарказма и по отношению к таким знаменитым режиссерам, как Охлопков или Пырьев. Об Эйзенштейне, который в конечном счете после долгой борьбы с начальством вынужден был отказаться от затеи снять ее в роли княгини Старицкой в «Иване Грозном», она (якобы) произносит гневную фразу: «Лучше я буду продавать кожу с жопы, чем сниматься у Эйзенштейна. Автору “Броненосца” незамедлительно донесли, и он отбил из Алма-Аты восторженную телеграмму: “Как идет продажа?”» (10).

Затяжной характер бунт Раневской против режиссерского авторитета принимает во время ее службы в Театре Моссовета — и обращен он против художественного руководителя театра Юрия Завадского. Раневская характеризует его разнообразно, но всегда комически-гротескно:

> Завадскому снится, что он уже похоронен на Красной площади.
> Пипи в трамвае — вот все, что сделал режиссер в искусстве.
> Блядь в кепочке.
> Вытянутый в длину лилипут.[10]

> Раневская называла Завадского маразматиком-затейником, уцененным Мейерхольдом, перпетуум кобеле. «Завадскому дают награды не по заслугам, а по потребностям. У него нет только звания “Мать-героиня”», — говорила актриса. Творческие поиски Завадского аттестовались Раневской не иначе как «капризы беременной кенгуру» (40).

Когда Завадский хочет убрать из спектакля «Шторм» сочиненный Раневской эпизод — ради которого и ходили на этот спектакль, в остальном остающийся образцом казенной скуки, — он мотивирует это так: «Вы слишком хорошо играете свою роль спекулянтки, и от этого она запоминается чуть ли не как главная фигура спектакля...» На что Раневская предлагает: «Если нужно для дела, буду играть свою роль хуже»[11]. На упрек Завадского: «Фаина, вы своими выходками сожрали весь замысел!», — она отвечает со сцены: «То-то у меня чувство, как будто говна нажралась» (38).

Бунт Раневской обращен не только против диктаторской власти режиссера, но и против того культурного контракта, на котором она основана. Театральная культура в России предполагает, что актер, а в особенности актриса, находится в полном подчинении у режиссера, от которого зависит ее карьера, успех или неуспех и который поэтому волен манипулировать ею как марионеткой. Платой за эту подчиненность является возможность достичь статуса звезды и наслаждаться зрительским обожанием. Раневская решительно нарушает этот контракт. Во-первых, она активно берет на себя функции режиссера своих сцен и драматурга, сочиняющего для себя тексты, которые входят в спектакли и фильмы с ее участием и становятся идиомами. Как она написала в своих фрагментарных воспоминаниях: «...я бывала частым соавтором и режиссером многих моих ролей — в современных пьесах»[12]. Впрочем, не только в совре-

9 Там же. С. 52.
10 Там же. С. 132.
11 *Щеглов А.* Фаина Раневская: Вся жизнь. С. 165.
12 Фаина Раневская. Судьба-шлюха. С. 43.

менных — не раз она дописывала любимого ею Чехова, в частности, подарив своей героине в киноверсии рассказа «Человек в футляре» фразу, ставшую идиомой: «Я никогда не была красива, но постоянно была чертовски мила».

Во-вторых, она с искренним страданием воспринимает толпы поклонников и поклонниц, изводящих сочиненной и сыгранной ей фразой из фильма «Подкидыш»: «Муля, не нервируй меня!». Даже когда Брежнев, вручая ей орден Ленина, произносит эту фразу, Раневская, не сдержавшись, замечает: «Леонид Ильич, так ко мне обращаются только мальчишки и хулиганы» (25).

Как и пристало трикстару, Раневская постоянно создает комическое остранение даже самых будничных ситуаций. Брехт недаром называл Раневскую «ходячим эффектом отчуждения»[13]. Многие ее шутки строятся на обмане ожиданий. Так, в 70 лет она хочет вступить в партию не для дополнительных привилегий и не из идейных соображений, а для того, чтобы знать, «что эта сука Верка Марецкая говорит обо мне на партсобраниях (101).[14] На замечание о том, что в ее пиве плавает муха, Раневская отвечает: «Всего одна, милочка! Ну сколько она может выпить?» (110). На предложение своей подруги и наставницы Павлы Вульф спеть внуку колыбельную, чтобы он поскорее уснул, Раневская возражает: «Зачем же так сразу? Давай еще попробуем по-хорошему» (86). Нередко эти фигуры остранения разворачиваются в целую сцену. Когда директор театра без стука вошел в ее гримерную и обнаружил Раневскую совершенно голой, та, не моргнув глазом, осведомилась: «Вас не шокирует, что я курю?» (59).

Остраняющие сдвиги регулярно приобретают трансгрессивный характер, когда подрывают социальный этикет. На вежливый вопрос о здоровье, Раневская порывается дать подробный отчет, от которого ее (неприятный ей) собеседник сбегает. На приглашение прийти еще раз отобедать после не слишком сытного угощения, Раневская не задумываясь выпаливает: «С удовольствием… хоть сейчас!» (5). Назойливой попутчице, пытающейся завязать знакомство со знаменитостью и представляющейся: «Я — Смирнова», Раневская вместо того, чтобы назвать свое имя, отвечает: «А я — нет» (46). Когда артисты ее театра, возмущенные постоянными опозданиями Раневской на репетиции, демонстративно не отвечают на ее приветствия (этикетное наказание), она с кинической естественностью переворачивает обращенный на нее «игнор» на коллег: «Ах, нет никого?! Тогда пойду поссу!» (35). Ее сдвиги этикета носят не только реактивный характер, — напротив, она часто сама создает перевернутые ситуации. Неотразимую красавицу-актрису Раневская спрашивает:

> — Вам никогда не говорили, что вы похожи на Брижит Бардо?
> — Нет, никогда, — отвечает N, ожидая комплимента.
> Раневская окидывает ее взглядом и с удовольствием заключает:
> — И правильно, что не говорили (50).

Трансгрессивность ее остраняющего юмора усиливается благодаря резким снижениям — путем перевода философских или иных возвышенных категорий на язык «телесного низа» с нередким использованием обсценной лексики.

---

13 Там же. С. 137.

14 Вера Марецкая — народная актриса СССР, одна из жен режиссера Юрия Завадского; Раневская многие годы работала с ней в Театре Моссовета. В книге Глеба Скороходова «Разговоры с Раневской» актриса опровергает этот анекдот как сплетню, но таков фольклор — сплетни в нем на равных сосуществуют с фактами.

Пожилой коллеге-актрисе прямо на сцене во время репетиции Раневская вручает огромных размеров огурец со словами: «Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь ешь его, хочешь — живи с ним» (61). Про буфет в доме отдыха сообщает: «Я хожу в этот буфэт, как в молодости ходила на аборт» (109). На вопрос о том, как протекает ее жизнь, Раневская отвечает так: «Знаете, милочка, что такое говно? Так оно по сравнению с моей жизнью — повидло», а встречаясь через год с тем же собеседником, уточняет: «Я вам еще в прошлом году говорила, что говно. Но тогда это был марципанчик» (12—13). Свою карьеру она описывает так: «Я жила со многими театрами, но так и не получила удовольствия» (11); «Всю свою жизнь я проплавала в унитазе стилем баттерфляй» (18). Жизнь вообще Раневская определяет как «затяжной прыжок из п.зды в могилу» (13).

Афоризмы Раневской нередко строятся на приеме, обратном материализации метафоры. Ситуацию, связанную с физиологией, она с удовольствием превращает в самопародийное философское обобщение:

> Снимается сцена на натуре. В чистом поле. У Раневской неважно с желудком. Она уединяется в зеленый домик где-то на горизонте. Нет и нет ее, нет и нет. Несколько раз посылают помрежа: не случилось ли что? Раневская откликается, успокаивает, говорит, что жива, и опять ее все нет и нет. Наконец она появляется и величественно говорит: «Господи! Кто бы мог подумать, что в человеке столько говна!» (84).

Однако возможны и обратные ситуации, когда Раневская нарочно превращает психологическую ситуацию в карнавальную пантомиму:

> Актерам навязали незапланированный концерт. Раневская, вечно страдавшая желудком, согласилась участвовать в нем, только если Любочка Орлова… поставит ей клизму. Раневской прислали опытную медсестру. Но актриса ее даже на порог своего номера не пустила:
>
> — Нет, только Любочка![15].

Клизма, которую Любовь Орлова — воплощение советского официоза, любимая звезда Сталина — должна поставить Раневской, это, конечно, трансформированный королевский поцелуй в задницу шута, который Раневская требует в качестве гонорара за участие в навязанном ей концерте.

В том же карнавально-гротескном ключе выдержаны и многие «микрорецензии» Раневской на коллег-актеров, режиссеров и их творчество:

> У нее не лицо, а копыто, — говорила об одной актрисе Раневская (20).

> Ия Саввина — помесь гремучей змеи с колокольчиком[16].

> Без сомнения, Орлова превосходная актриса. Одно у нее плохо — голос. Когда поет, кажется, будто кто-то ссыт в пустое цинковое ведро…[17]

> «Эх, не имей сто рублей, а имей двух грудей» — говорила Раневская о Галине Сергеевой, исполнительнице главной роли в фильме «Пышка» (30).

---

15 Там же. С. 152.

16 *Скороходов Г.* Разговоры с Раневской. С. 44.

17 Фаина Раневская: Философ с папиросой в зубах. С. 52.

> Актриса Мария Бабанова — «болонка в климаксе» (31).
>
> — Я была вчера в театре, — рассказывала Раневская. — Актеры играли так плохо, особенно Дездемона, что когда Отелло душил ее, то публика очень долго аплодировала (35).
>
> Во время репетиции Завадский за что-то обиделся на актеров, не сдержался, накричал и выбежал из репетиционного зала, хлопнув дверью, с криком: «Пойду повешусь!» Все были подавлены. В тишине раздался спокойный голос Раневской: «Юрий Александрович сейчас вернется. В это время он ходит в туалет» (37).

Все эти и подобные примеры не только характеризуют Раневскую как носителя карнавального юмора. Для многих из них характерно глубоко телесное, а оттого нарочито сниженное переживание искусства. Например, читая восхитившее ее стихотворение Ронсара — по-французски и в переводе, — Раневская заканчивает чтение неожиданным снижающим жестом:

> В тот вечер за столом Раневская сказала собравшимся гостям: «Знаете, я вчера перечитывала Пьера Ронсара, это восхитительно...» И стала читать стихотворения великого поэта по-французски, а потом и в русском переводе, опустив веки, чуть раскачиваясь <...> Но вдруг, неожиданно прервавшись и широко раскрыв глаза, спросила: «Ну как? Обосраться можно, верно?!»[18].

В этих и подобных снижениях можно увидеть не только трансгрессию, но и характерные для кэмпа «диспропорциональные противопоставления» (Э. Ньютон): ироническое столкновение возвышенного и вульгарного во всех этих примерах нарочито и саморефлективно.

Кэмп как метод

Раневская «наивно» позволяет себе такие скачки из одного регистра в другой, чем — используя выражение Зонтаг — «подключает новые, более сложные, связи к *серьезности*». К Раневской в полной мере относится и следующая характеристика кэмпа: «может быть серьезен во фривольности и фриволен в серьезности». Эта «неустойчивость» принципиальна для Раневской и ее типа юмора. Раневская с удовольствием пародирует высоко почитаемую ей Ахматову, исполняя ее стихи как песенки швеи. Относясь к Пушкину с почти религиозным восторгом, она так описывает свой сон, в котором происходит ее встреча с кумиром: «Он остановился, посмотрел, поклонился и сказал: “Оставь меня в покое, старая б... Как ты надоела со своей любовью”»[19].

Кэмповская эстетика окрашивает свойственную Раневской «репрезентацию репрезентации». Ее главной чертой является расширенное представление о театральности. Для нее театр не заканчивается нигде и никогда. Кинодраматург Евгений Габрилович вспоминал о modus vivendi Раневской:

> Это была игра. Десятки быстро сверкавших, быстро мелькавших миниатюр, где Фаина Георгиевна была то кондуктором, то продавщицей, то старухой на перед-

18 Там же. С. 110.

19 Фаина Раневская. Судьба-шлюха. С. 184.

ней скамье автобуса, то младенцем рядом, на той же скамье, была прогоревшим антрепренером, восторженной гимназисткой, пьяным суфлером, милиционером, продавцом пирожков, адвокатом и каким-то юнкером или подпоручиком, в которого она была в юности влюблена и для которого зажарила как-то индейку, украсила ее серпантином и бумажным венком. Игра переполняла ее, актерское естество бушевало в ней, билось наружу, не утихая ни на мгновение...[20]

Напомним, что Зонтаг подчеркивала: «Кэмп видит все в кавычках цитации. Это не лампа, но "лампа", не женщина, но "женщина". Ощутить Кэмп — применительно к людям или объектам — значит понимать бытие как исполнение роли. Это дальнейшее расширение на область чувствительности метафоры жизни как театра»[21]. Для Раневской тотальная театрализация равняется смыслу жизни. Раневская говорит об умершей коллеге: «Она не ощущала разницы между вымышленным и реальным миром. У актеров это бывает. Некоторые именно это называют счастьем, — улыбнулась Ф.Г.»[22]. В полном соответствии с представлением о жизни как театре Раневская говорит о другой умершей подруге-актрисе: «Хотелось бы мне иметь ее ноги — у нее были прелестные ноги! Жалко — теперь пропадут...» (22). К смерти она вообще относится как к своего роду спектаклю: «А может быть, поехать в Прибалтику? Я там умру? Что я буду делать?»[23].

В то же время ее кэмповая ирония воплощает максимально серьезное отношение к искусству, которое Раневская пронесла через всю жизнь. Как в юности, когда она впервые увидела «Вишневый сад» и не уходила из театра долгое время после окончания спектакля. «Очнулась, когда капельдинер сказал: "Барышня, пора уходить!" Я ответила: "Куда же я теперь пойду?"»[24] «Вульгарный» юмор Раневской парадоксально выражает ее сопротивление циническому отношению к искусству (регистр возвышенного), примеры которого она то и дело видит у своих коллег. См. ее характеристику режиссера Николая Охлопкова: «Есть люди, хорошо знающие, "что к чему". В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Такой "вождь с отмычкой" сейчас Охлопков. Талантливый как дьявол и циничный до беспредельности»[25]. Не случайно Раневской приписывают афоризм: «Цинизм ненавижу за его общедоступность».

По точной характеристике М. Балиной, Раневская предлагает «перевернутую» логику: «для нее "жизнь" является пространством для ничем не сдерживаемой игры и импровизаций, в нарушение любых норм. Театр и кинороли являются одновременно и высшей формой импровизации... и аутентичной "реальностью", где все происходит по-настоящему и где нет места для "ремесла"» [Balina 2017: 61]. Эта логика является естественным развитием принципов кэмпа, «усиленных» системой Станиславского. Раневская принципиально не хочет отделять театр от «жизни», для нее театр и является самым концентрированным выражением бытия. Комические снижения, кэмп и гротескный юмор, окружающие высказывания Раневской об искусстве, подчеркивают именно *неотделимость* искусства от всего живого, разрушая представления

20 Фаина Раневская: Философ с папиросой в зубах. С. 17.
21 См. выше.
22 *Скороходов Г.* Разговоры с Раневской. С. 80.
23 Фаина Раневская. Судьба-шлюха. С. 203.
24 Там же. С. 25.
25 Там же. С. 92.

об искусстве как изолированном от повседневного, телесного, практического планов бытия.

Таким образом, в легенде Раневской происходит органическое слияние трикстара и кэмпа. Кэмп не только становится оружием трикстарского подрыва иерархий, но и обеспечивает Раневскую внутренней иронической дистанцией по отношению ко всему авторитетному и репрессивному. Это касается и лучших ролей Раневской. Как работает трикстарский кэмп по отношению к власти, особенно отчетливо видно на примере такой, пожалуй, самой знаменитой и самой успешной роли Раневской, как Мачеха в «Золушке» (1947) режиссеров Надежды Кошеверовой и Михаила Шапиро по пьесе Евгения Шварца.

Роль Мачехи — это традиционная мизогинистская версия трикстара: перед нами не только злая мачеха, но и сварливая жена-диктатор. В первой же сцене фильма Лесничий, ее муж, говоря с Королем, признается, что для него она страшнее чудовища, разбойников или злого волшебника: «Ее родную сестру, точно такую же, как она, съел Людоед. Отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры». Однако текст Шварца и игра Раневской переориентируют этот характер, превращая мизогинистскую карикатуру в воплощение трикстера *при власти*. Мачеха очень хочет войти во власть, став тещей короля, она с удовольствием мечтает о том, как «теперь они у нее попляшут во дворе! <…> Эх, жалко — королевство маловато, разгуляться негде!» Но даже король опасается ее: «У нее такие связи». Угрожая Золушке, она вновь упоминает свои связи, и они таковы, что благодаря им она замучает своего мужа, отца Золушки: «Ты знаешь мои связи. Я выживу его из собственного дома. Он умрет на плахе, в тюрьме, в яме!».

Вообще, как ни странно, система характеров в этом фильме-сказке выстроена вокруг власти — добрая Фея, помогающая Золушке, образует «пару» по отношению к доброму Волшебнику, который заткнул себе уши оттого, что не мог никому отказать, однако прекрасно слышит Короля, когда тот обращается к нему с просьбой. А Мачеха образует аналогичную «пару» по отношению к самому Королю, скандальному и истеричному («Ухожу в монастырь!» — кричит он поминутно), но отходчивому и искреннему. Если Король — это именно сказочный персонаж, то Мачеха представляет куда более реалистический образ власти, основанной на манипуляциях, подкупе, угрозах, постоянно требующей благодарности и знаков внимания, лицемерной, коварной, лживой и жестокой, несмотря на маску лести и заботы. Придуманные Раневской реплики, вроде брошенной Королю напоследок: «А еще корону надел!» (перифраз традиционного оскорбления в адрес интеллигента: «А еще шляпу надел!») или «Какое сказочное свинство!» — придают этому образу современное звучание. Таким образом негативные характеристики, традиционно приписываемые женщине-трикстару, становятся в «Золушке» характеристиками власти, выходящей за пределы гендерных ролей. Героиня Раневской не только «демонстрирует разрушительную силу циничной героини» [Balina 2017: 59], точнее будет сказать, что она становится воплощением *цинической власти*.

Однако, как отмечает Глеб Скороходов, с характером Мачехи связан парадокс:

> Мачеха — одна из лучших комедийных ролей Раневской. Но вот загадочная метаморфоза: злая Мачеха — объект ненависти читателей «Золушки» — в фильме вызывает восхищение и восторг. Даже юные зрители, которые часто острее взрослых

воспринимают зло, встречают появление Мачехи на экране с радостным оживлением. И по окончании фильма говорят о ней не с возмущением, а с любовью[26].

Причина именно в трикстерском задоре, веселом блеске в глазах, энергии и изобретательности героини Раневской, не останавливающейся ни перед чем на пути к цели. У нее, в отличие от Феи и Волшебника, нет волшебной палочки, но она готова превратить всех и каждого в свой инструмент благодаря виртуозным трансформациям и манипуляциям. Ее цинизм самодостаточен, — в конце концов, у нее и так предостаточно власти. Ее увлекает сам процесс интриги, который она превращает в аттракцион, украшенный шутками и остротами. Именно в этом проявляется кэмповская ирония. Раневская нарочито «переигрывает» цинизм Мачехи, превращая его в «цинизм», образцово-показательный, лабораторно-чистый и упоенный собой экспонат; поэтому ее Мачеха не просто злодейка, а «Злодейка», упивающаяся своим злодейством как талантом. Конечно, сюжет сказки ведет к поражению Мачехи. Однако *избыток игры*, маркирующий кэмп, и порождает «радостное оживление», связанное с характером Мачехи.

Комический перформанс Раневской, длившийся всю ее жизнь, в то же время является оборотной стороной ее трагического мироощущения. И дело не только в чувстве нереализованности, которое она постоянно испытывала. Жизнь Раневской, как и многих ее современников, состоит из череды травм.

После всего, что Ф.Г. видела и пережила в Гражданскую войну: голод, тиф, жестокость и зверства террора, с трупами, раскачивающимися на фонарях и лежащими неделями на улицах, — всего, что так гениально описал Булгаков в «Белой гвардии» и «Беге», она заболела: боялась выходить из дому, переходить дорогу (этот страх сохранился у нее надолго). Ей пришлось лечиться. Болезнь вынудила ее оставить на время сцену: Ф.Г. не решалась ступить на подмостки, особенно подходить к их краю: ей казалось, что там, где сидят зрители, — обрыв, пропасть, бездна[27], —

пишет о начале карьеры Раневской Глеб Скороходов.

Она была свидетелем террора 1930-х годов, когда погибли многие ее близкие друзья. Когда в 1946 году Ахматова стала жертвой постановления ЦК, Раневская была одной из немногих, кто поддерживал ее. Раневская близко дружила с Соломоном Михоэлсом и глубоко переживала его убийство по приказу Сталина в 1948 году. Она не трудилась скрывать свое негативное отношение к советской политике. В частности, именно ей принадлежит одно из немногих высказываний, осуждающих советскую гомофобию: «Боже мой, несчастная страна, в которой человек не может распорядиться своей жопой» (95).

Именно трикстарский кэмп является для Раневской способом выживания и сохранения себя. Тотальная театральность связывает Раневскую с тем, что Бенжамин Бейтмен (Benjamin Bateman) обозначил как специфическое для квира «модернистское искусство выживания»:

Квир-выживание <…> означает не распространение индивидуальной жизни в будущее, а распространение жизненной энергии через личностные, видовые, имперские и поколенческие границы <…> «Большее» количество жизни в этом слу-

26 *Скороходов Г.* Разговоры с Раневской. С. 16.
27 Там же. С. 41.

чае достигается не за счет расширения себя (и времени для себя), но через жизни других [Bateman 2018: 4].

Эта философская модель в высшей степени подходит Раневской. Она раздвигает свою жизнь и жизненную энергию за счет безграничного расширения театральности. Роли и постоянные ролевые трансформации Раневской и есть ее форма проникновения в «жизни других». В конечном счете такова наиболее радикальная из ее трансгрессий: для тотальной театрализации, заражающей все индивидуальной жизненной энергией актрисы, нет никаких непреодолимых границ, запретов или барьеров.

Библиография / References

[Жук 1998] — *Жук О.* Русские амазонки. М.: Глагол, 1998.

(*Zhuk O.* Russkie amazonki. Moscow, 1998.)

[Зонтаг 1997] — *Зонтаг С.* Заметки о кэмпе / Пер. с англ. С. Кузнецов // Зонтаг С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960—70-х годов / Сост., общ. ред., пер. с фр. Б. Дубина. Пер. с англ. Б. Дубина, В. Голышева и др. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. С. 48—64.

(*Sontag S.* Notes on “camp” // Sontag S. Mysl’ kak strast’. Izbrannye esse 1960—70-kh godov / Ed. by B. Dubin. Moscow, 1997. P. 48—64. — In Russ.)

[Липовецкий 2008] — *Липовецкий М.* Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920—2000-х гг. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

(*Lipovetskii M.* Paralogii: Transformatsii (post)modernistskogo diskursa v russkoi kul’ture 1920—2000-kh gg. Moscow, 2008).

[Balina 2017] — *Balina M.* Performing History as a Story: Faina Ranevskaia and the Art of Remembering // Transgressive Women in Modern Russian and East European Cultures: From the Bad to the Blasphemous / Ed. by Y. Hashamova, B. Holmgren, M. Lipovetsky. London; New York: Routledge, 2017. P. 50—68.

[Bateman 2018] — *Bateman B.* The Modernist Art of Survival. Oxford: Oxford University Press, 2018.

[Booth 1999] — *Booth M.* Campe-to! On the original definition of camp // Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject / Ed. by F. Cleto. Ann Arbor: The University of Michigan, 1999. P. 66—79.

[Cleto 1999] — *Cleto F.* Queering the Camp // Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject / Ed. by F. Cleto. Ann Arbor: The University of Michigan, 1999. P. 1—42.

[Edelman 2022] — *Edelman L.* Bad Education: Why Queer Theory Teaches Us Nothing. Durham; London: Duke University Press, 2022.

[Halberstam 2005] — *Halberstam J.* In a Queer Time and Space: Transgender Bodies, Subcultural Lives. New York: New York University Press, 2005.

[Halberstam 2011] — *Halberstam J.* The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press, 2011.

[Healey 2021] — *Healey D.* Sexual and gender dissent in the USSR and post-Soviet space // Cahiers du monde russe. 2021. Vol. 62. No. 2—3. P. 225—250.

[Jurich 1998] — *Jurich M.* Scheherazade’s Sisters: Trickster Heroines and Their Stories in World Literature. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1998.

[Muñoz 2019] — *Muñoz J.E.* Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity. New York: New York University Press, 2019.

[Newton 1999] — *Newton E.* Role Models // Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject / Ed. by F. Cleto. Ann Arbor: The University of Michigan, 1999. P. 96—110.

[Prokhorov 2003] — *Prokhorov A.* Cinema of Attractions versus Narrative Cinema: Leonid Gaidai’s Comedies and El’dar Riazanov’s Satires of the 1960s // Slavic Review. 2003. Vol. 62. No. 3. P. 455—472.

[Prokhorov; Prokhorova 2017] — *Prokhorova E., Prokhorov A.* Un/Taming the Unruly Woman: From Melodramatic Containment to Carnivalistic Utopia // Transgressive Women in Modern Russian and East European Cultures: From the Bad to the Blasphemous / Ed. by Y. Hashamova, B. Holmgren, M. Lipovetsky. London; New York: Routledge, 2017. P. 30—49.

Кевин Платт

Перформативный перевод и лирический космополитизм в пограничной зоне[1]

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_177

Kevin Platt

Performative Translation and Lyric Cosmopolitanism in the Border Zone

Кевин Платт (Университет Пенсильвании; заведующий программой сравнительной литературы и литературной теории, профессор на факультете русских и восточноевропейских исследований; PhD) kmfplatt@sas.upenn.edu

Kevin M.F. Platt (PhD; University of Pennsylvania; Chair, Program in Comparative Literature and Literary Theory; Professor of Russian and East European Studies) kmfplatt@sas.upenn.edu

> Он смолкает, ожидая нашего смеха… В тишине начинается всем известная песня. Но угрюмую шпану с улицы Таллинас развеселит только огромный джип, мчащийся поздним вечером слишком быстро.
>
> *Артур Пунте. «Я знаю — шпану с улицы Таллинас развеселит…»*

С 1991 года статус русского языка и культуры в Латвии пережил множество взлетов и падений, но на сегодняшний день можно сказать, что вопрос этот остается щекотливым. Русский язык — язык бывшего захватчика и агрессивного соседа, поэтому его использование подлежит контролю и ограничениям, по-прежнему вызывающим смешанные чувства, учитывая, что для значительной доли населения он является родным. Несмотря на неравномерные попытки интегрировать русских, русскоговорящих и их культурную жизнь в латвийское общество, им часто выпадает роль наследия распавшейся империи, и они сами это сознают. Как демонстрируется в книге, из которой взят настоящий фрагмент, опыт таких «пограничных русских» заключает в себе критический потенциал, направленный на противоречия и неравноправие, сопряженные с изменением мирового порядка в постсоветский период. Однако к этому потенциалу для переосмысления ситуации обращаются лишь изредка и отчасти. В последние тридцать лет русская культура в Латвии чаще всего вытеснялась в изолированные социальные пространства, где ее воспринимали либо как своеобразное напоминание об историческом прошлом, как затерянный фрагмент затонувшей, мифической русской Атлантиды, либо как экран (в буквальном или переносном смысле), на который можно проецировать культурную жизнь и «мягкую силу» Российской Федерации.

---

1 Текст представляет собой сокращенный перевод главы “Performative Translation and Lyric Cosmopolitanism” из кн.: *Platt K.M.F.* Border Conditions: Russian-Speaking Latvians Between World Orders. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2024. P. 187—235.

Впрочем, не всегда и не везде русская культура отгорожена от обычной социальной жизни Латвии. Средоточия русского и русскоязычного культурного производства в Латвии не всегда задуманы в качестве особой зоны «русскости», обособленной от латышскоязычного общества и чуждой более широким течениям европейской культурной жизни, как в случае с конкурсом «Новая волна», проводившимся в Юрмале в 2002—2014 годах, или с маленькой и плохо финансируемой частной Русской библиотекой на улице Гертрудес в центре Риги[2]. Примером может служить рижская группа Nikto, играющая авант-рок, — свою ультрасовременную музыку она исполняет на русском, но ее концерты в самых модных местах Риги привлекают огромную латышскоговорящую аудиторию, следящую за новейшими трендами. Или возьмем театрального режиссера Владислава Наставшева, жившего в Риге вплоть до февраля 2022 года и еще некоторое время после; его пограничные постановки активно шли на латвийской сцене, а стильные композиции в жанре синти-поп на стихи русских поэтов Серебряного века хвалила культурная элита Латвии. За счет чего некоторым образцам русскоязычной культуры удается выйти из зоны социальной сегрегации, несмотря на исторические коннотации русского языка и современную политику его использования? Как Nikto, Наставшеву и другим удается сделать русский язык и культуру не только приемлемой формой творческого самовыражения в многоязычной культурной жизни Латвии, но даже особенно модной среди латышскоговорящей аудитории? В чем секрет привлекательности поэзии Александра Блока для модной латвийской молодежи — по крайней мере до 2022 года? Наконец, какой критический инструмент для работы с обломками прошлого мы получаем благодаря этим редким просветам?

Многие русские и русскоязычные культурные деятели и проекты в Латвии под влиянием утраченного единства с воображаемым целостным русским миром, в центре которого Москва, заходят в тупик, сталкиваясь с реальной латвийской русскоязычной культурой, оторванной от Российской Федерации: она как будто не на своем месте и носит гибридный и фрагментарный характер. Оплакивая идеологические матрицы прошлого и картину мира, некогда служившую обоснованием как российской культурной гегемонии, так и транснациональной социалистической солидарности, но не имея возможности воссоздать их в эпоху, когда эта часть истории отвергнута и отторгнута капитализмом и национальным самосознанием, русскоговорящие латыши попадают в двойную ловушку пограничной зоны. Может быть, Наставшев и Nikto выбрали альтернативную стратегию — не стали оплакивать утраченное или отвергнутое целое, а приняли свое пограничное положение, равно как и статус гибридного, чужеродного фрагмента? Может быть, так и выглядит русскоязычная культура, когда она сознательно порывает с русской культурой «Большой земли» и культурными традициями хоть Российской империи, хоть советского антиимпериализма и становится в Латвии чем-то новым и непривычным?

На оба вопроса следует ответить «и да, и нет». Остановимся хотя бы на Наставшеве: он провел детство в Риге, окончил институт в Петербурге, где изучал актерское мастерство на курсе Льва Додина, получил режиссерское образование в Лондоне. Некоторое время поработав там в качестве режиссера, он

2 В книге “Border Conditions” каждый из этих примеров рассмотрен подробно.

вернулся в Ригу, где и прославился, но его деятельность и слава вскоре с новой силой перекинулись на Россию, где он ставил спектакли в модном московском «Гоголь-центре», которым руководил знаменитый и находившийся под судом Кирилл Серебрянников, что привело затем к крупным постановкам для Большого театра. В 2022 году режиссер остался в России и за это решение подвергся серьезной критике на родине. Среди постановок Наставшева — как классика мировой литературы (Теннесси Уильямс, Федерико Гарсиа Лорка), так и легендарные русские изгои (Михаил Кузмин) и эмигранты (Иван Бунин). Если Наставшев и воплощает идею гибридной, оторванной от своего места или фрагментарной русскоязычной культуры, то эта идея в его случае выглядит чрезвычайно убедительной и космополитичной — настолько, что соперничает с целостной и единой русской культурой на родной для нее почве.

По сути, вопрос здесь не в частях и целых, а в ограниченности подобных метафор пространственных отношений и единства, если применять их к языковым и культурным образованиям, их геополитическому положению и исторической онтологии. Последние пять лет я совместно с другими специалистами, представителями разных дисциплин, изучал различные примеры русской культуры за пределами Российской Федерации и государств, преемницей которых она является, и в 2019 году мы выпустили сборник «Глобальные русские культуры». Мы пришли к выводу: «Русская культура, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, фрагментарна и многогранна, и повсюду в попытке ее определить и ограничить на нее воздействуют противоречивые институциональные политические и экономические силы»[3]. Однако при всей противоречивости этого явления локальные русские культуры в равной мере глобальны. Как заметила Мария Рубинс: «Продолжая вести диалог с культурой метрополии и национальной традицией, локальные культуры одновременно выходят за их рамки, вовлекаются в транснациональное взаимодействие и создают новые структуры, черпая из разных художественных и идеологических словарей»[4]. Своим проектом мы стремились опровергнуть идеологию, в рамках которой культурная жизнь предстает как явление с четкими рамками, существующее в предписанных политических границах, — с ее точки зрения, русскую культуру по определению производят в России, а все остальное — культура диаспоры или эмиграции, оторванная от родной почвы либо поддельная.

После крушения советской империи, когда образовалось много государств с большой долей русскоговорящего населения, лишь игра случая и механизмы власти дают Российской Федерации и тем, кто взял в свои руки контроль над ее общественной жизнью, как будто бы очевидное право представлять исконную, целостную или подлинную русскую культуру. Проявления «русскости» за пределами Российской Федерации, такие, как мы наблюдаем у Nikto и Наставшева в Риге, не менее первичны или законны, чем те, что зародились в Москве или Твери. А в эпоху лихорадочной циркуляции культурных ценностей, пересекающих политические границы в виде грузов и по электронным каналам, любое из этих проявлений в равной мере «глобально» и ни одно не

3 *Platt K.M.F.* Putting Russian Cultures in Place // Global Russian Cultures / Ed. by K.M.F. Platt. Madison: University of Wisconsin Press, 2019. P. 6.

4 *Rubins M.* A Century of Russian Culture(s) Abroad: The Unfolding of Literary Geography // Global Russian Cultures. P. 46.

может претендовать на то, что оно единственно правильное или цельное[5]. Как и всякое другое видение русской культуры, зародившееся где угодно, «русскость» в интерпретации Наставшева, возникшая в Риге, подвижная и лишенная связи с конкретной территорией, представляет собой одну из версий глобальной русскости и фрагмент разве что идеологически сконструированного, несуществующего целого. Но если преобладающие в политической сфере географические метафоры целого и частей не передают сегодняшних реалий человеческой жизни, как нам говорить о границах и пограничье? Нам следует понимать, что граница не особая территория, зажатая меж двух конкурирующих целых, а очередная проекция все тех же злополучных политических идеологий. Специфика пограничной зоны скорее в том, что она дает возможность критически взглянуть на иллюзорную природу соперничающих гегемоний и миров. Пример Наставшева демонстрирует, что граница и пограничные жизни всюду. Как мы увидим далее, он и другие подобные ему субъекты культуры помогают нам увидеть, что мы все ведем пограничную жизнь.

Но если такая концепция локальной и вместе с тем не привязанной к конкретной территории культуры в какой-то мере объясняет значимость фигуры Наставшева на мировой арене (равно как и в Москве), этого недостаточно, чтобы объяснить место, которое он и другие деятели культуры занимают в модной молодежной культурной среде Риги, то есть ответить на вопросы, поставленные в начале этого эссе. Пусть национальные культурные целые, объединяемые политическими или языковыми факторами, — всего лишь идеологические химеры, они наделены мощью, подкреплены экономическими и политическими иерархиями, они движут армиями, чтобы прочертить новые границы и присоединить к империи новые территории, — это реальные силы, и с ними надо бороться, а не просто отмахиваться от них. В особенности это касается воображаемого целого русской культуры в Риге, которое, зачастую подпитываемое деньгами Москвы и местным постсоветским экономическим неравенством и неудовлетворенностью, ставит многих в подчиненное положение по отношению как к местным общественным организациям, которые им ничего не могут дать, так и к зарубежным, которые стремятся лишь воспользоваться их унижением.

Это возвращает нас к вопросу о стратегиях культурной жизни среди пограничного населения. Основной пример, рассматриваемый в настоящем эссе, — русскоязычная поэтическая и мультимедийная арт-группа «Орбита», занимающая ту же культурную нишу, что и Наставшев, и тоже добившаяся мирового признания. Собственно, поэзия «Орбиты» легла в основу музыкальной постановки «Пять песен по памяти», в 2019 году созданной Наставшевым для Рижского русского театра имени Михаила Чехова, а участники «Орбиты» неоднократно сотрудничали с группой Nikto. Такие пересечения говорят как о камерности культурной среды Риги, небольшого города с населением всего три четверти миллиона человек, так и о заметном положении «Орбиты» в латвийской культурной жизни в целом. Здесь все друг друга знают, говорим ли мы о Рижской биеннале, прогрессивных культурных фестивалях, модной клубной сцене, самых известных ресторанах или поэтических вечерах. И все знают

5 См. размышления о русскоязычном письме в независимой Украине в аналогичных категориях: *Puleri M.* Ukrainian, Russophone, (Other) Russian: Hybrid Identities and Narratives in Post-Soviet Culture and Politics. Berlin: Peter Lang, 2020.

«Орбиту», ее отмеченные различными наградами выступления, инсталляции и другие произведения, сопряженные с тем же удивительным положением русского языка в центре в основном латышскоговорящей модной культурной среды, что в случае Nikto или Наставшева.

Положение «Орбиты» в латвийском обществе — результат сознательного вторжения группы в культурную жизнь и тщательно продуманных стратегий, направленных на внедрение русскоязычной поэзии в местный культурный и языковой ландшафт. В стихотворении, из которого взят эпиграф к этому эссе, Артур Пунте, участник «Орбиты», рисует многоязычную пригородную автобазу как аллегорию жизни в Риге. В этом тексте Пунте делает социальную обстановку в Латвии предметом лирического стихотворения, непосредственно погружая нас в коммуникацию на нескольких языках, речь с акцентом, имперское наследие изоляции и дискриминации и межкультурный перевод, но вместе с тем сохраняя по отношению к ним критическую и эстетическую дистанцию. В центре оказывается перевод с одного языка, культуры, исторической эпохи на другие, невозможность такого перевода и одновременно его необходимость.

Как и в этом стихотворении, перевод, понимаемый как особого рода рискованное предприятие, его успехи и неудачи играют важную роль для «Орбиты» в целом. Перед нами «перформативный перевод» — более точное определение этому понятию я дам ниже, — позволяющий осуществлять культурную деятельность на границе, порой четко очерченной, а порой размытой, на стыке соперничающих языков и национальных культур. «Орбита» не выстраивает русское культурное пространство в Риге как некую альтернативную зону, противопоставленную латышской культуре и конкурирующую с ней (это было бы состязание двух воображаемых сущностей), а пытается вмешать русскоязычную культуру в тесто латвийского общества наподобие яичных белков — или залить ее в соты этого общества — прямо на глазах у публики. Участники группы сознательно делают ставку на границу как творческий принцип и ресурс, в то же время бросая вызов онтологическим основаниям государственных границ как таковых.

Поэтому понятно, почему выбор «Орбитой» перевода как одного из неотъемлемых элементов поэтического творчества навлекает на себя обеспокоенную критику тех, кто придерживается мнения о невыразимой органической подлинности великой литературы, в особенности поэзии, столь часто отождествляемой с непереводимостью оригинального творчества национального гения, как в случае с дискуссиями о невозможности перевести пушкинского «Евгения Онегина», которые велись в прошлом веке. Сергей Тимофеев, еще один участник «Орбиты», как-то рассказал мне, что на одном поэтическом фестивале некий русский автор обвинил его в том, что он предает русский поэтический канон, потому что «ради перевода пишет свободным стихом». Но такое обвинение по большей части порождено непониманием. Как переводчик могу сказать, что стихи «Орбиты» переводить не легче и не труднее, чем любые другие. Часто в них, как в уже упомянутом стихотворении Пунте, обыгрывается тема перевода и непереводимости. Иногда, как мы увидим далее, они и сами явно непереводимы, если описывать этим словом тексты, сопротивляющиеся «полному» или простому переложению на другой язык в какой бы то ни было форме. Интерес «Орбиты» к переводу отсылает к проблематике «непереводимых элементов», о которой много писала Эмили Аптер. Подразумеваются, как

правило, не органические, непередаваемые языковые и культурные смыслы, а эманации «языков в парадоксальных общих зонах, где формируется отсутствие четкой национальной принадлежности на грани взаимонепонимания»[6], то есть в контактных зонах, подобных сегодняшней Латвии. Помещая акт перевода в подобном пространстве в центр своего культурного проекта — сосредоточившись на переводе и его ошибках и одновременно строя свои работы вокруг переводческих практик, — «Орбита» переосмысляет сам процесс перевода в его привязке к определенному месту. Перевод перестает быть для текстов способом передвижения, возможностью вырваться за языковые, национальные и географические рамки — вместо этого он помогает языку и текстам найти свое место в многоязычном городе с его атмосферой насыщенной межъязыковой коммуникации. А если произведение искусства само по себе оказывается актом перевода с русского на латышский, как «перевести» его еще на третий или четвертый язык? Задача переводчика или становится экзистенциально невыполнимой, или же сводится к мысли, что дальнейший перевод лишь продолжает само произведение.

На практике мы наблюдаем как раз последнее, потому что практики перформативного перевода, применяемые «Орбитой», реализуются как на локальном, так и на глобальном уровне. Как и в случае Наставшева, уникальное положение «Орбиты» в культурном ландшафте Риги обеспечило группе международное имя и способствовало ее успеху в России, Европе и во всем мире. И опять же, как в случае с именитым театральным режиссером, такое сочетание намеренной локальности и глобальной актуальности, положение на стыке местной и «мировой» литературы — противоречие мнимое. Как пояснила Ребекка Валковиц в работе, посвященной «рожденным в переводе» художественным текстам, сегодня в глобальной литературной системе циркулируют не только как будто не зависящие от языка популярные произведения, выпускаемые одновременно на многих языках мира международными издательскими конгломератами, но и работы, превращающие саму по себе непереводимость в разрешение на перевод, а свое положение в многоязычном мире делающие основой для конкурирующей формы глобальной литературной культуры[7].

«Орбиту», позиционируемую как трансграничный проект, можно было бы назвать «космополитической», однако это не космополитизм в привычном понимании слова. Сама идея космополитизма стара как мир; если процитировать «Стэнфордскую энциклопедию философии», она означает, что «все люди, вне зависимости от политической принадлежности, являются (или могут, или должны быть) гражданами единого общества»[8]. Но как политическая или культурная позиция и как аналитический инструмент космополитизм на протяжении десятилетий, прошедших с окончания холодной войны, подвергся серьезной критике. На первый взгляд, «космополитизм», как и «мировая

6 *Apter E.* Philosophical Translation and Untranslatability: Translation as Critical Pedagogy // Profession 2010 / Ed. by R.G. Feal. New York: Modern Language Association of America, 2010. P. 61. См. также: *Apter E.* Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. London: Verso, 2013.

7 *Walkowitz R.* Born Translated: The Contemporary Novel in an Age of World Literature. New York: Columbia University Press, 2015. P. 44—46.

8 *Kleingeld P., Brown E.* Cosmopolitanism // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition) / Ed. by E.N. Zalta (https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/cosmopolitanism (accessed: 13.03.2025)).

литература», звучит хорошо, но часто за его фасадом таятся поверхностные обобщения, если не откровенный империализм и ориентализм: «Частью сообщества должен быть *каждый* (если только он отвечает некоторым базовым критериям, говорит на определенных языках или владеет нужными кредитными картами)». В сборнике «Космополитика» (“Cosmopolitics”), вышедшем в 1998 году, высказывается мнение, что космополитизм дает ключ к продуктивной политической позиции, способной преодолеть политические и культурные различия, но лишь после некоторой перенастройки. Брюс Роббинс подытожил необходимость этой новой формулировки следующим образом: в отличие от более ранних моделей космополитизма, основанных на очевидно универсалистских тезисах, можно построить жизнеспособную космополитику на «субфилософских» ходах, выстроенных вокруг утверждения, что «любая нормативная или идеализирующая власть космополитизма должна помнить о породивших ее исторических и географических контекстах». Далее я рассматриваю деятельность группы «Орбита» как форму космополитизма, «сложившуюся в определенных сообществах, имеющих четкую социальную и географическую привязку, а потом одновременно ограниченных и наделенных властью», как пишет тот же Роббинс[9]. Применяемые «Орбитой» практики перформативного перевода вносят вклад в особую разновидность космополитизма и осуществления мировой литературы. Перед нами некая космополитическая литература, словно бы не привязанная ни к какому конкретному месту, а на деле литература *вполне определенного мира*, претендующая на глобальную гегемонию; это литература конкретного, узкого мира — мира, расколотого границами и в этом плане служащего моделью космоса как целого, составленного из несоизмеримых фрагментов, а не однородного пространства глобальных течений. Такая литература являет собой не единственный космос, а лишь один из возможных космосов. Космополитизм в ней — рискованный, «субфилософский» танец идентификации в тесном социальном пространстве, зажатом между противостоящими друг другу большими мирами-гегемонами. Подобный акт балансирования всегда чрезвычайно нагружен смыслами, сопряжен с острым осознанием породивших его историй конфликтов и собственной хрупкости перед лицом грозящей вновь вспыхнуть вражды. Однако именно эта хрупкость поддерживает космополитическую поэзию, обращенную к «здесь и сейчас», — лирический космополитизм «Орбиты», один из самых обнадеживающих подходов, какие мы встречаем среди фрагментов и границ Восточной Европы.

Перформативный перевод

Группу «Орбита» основали в 1999 году пять русскоговорящих поэтов и мультимедиахудожников из Риги: Семен Ханин, Артур Пунте, Владимир Светлов, Сергей Тимофеев и Жорж Уаллик (последний через несколько лет по большому счету отошел от активного участия в деятельности группы). За двадцать с лишним лет существования группа осваивала новые практики, перейдя от

9 *Robbins B.* Actually Existing Cosmopolitanism // Cosmopolitics: Thinking and Feeling beyond the Nation / Ed. by P. Cheah, B. Robbins. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. P. 2.

собственно поэзии, с которой начинала, к видеопоэзии, мультимедийным инсталляциям, выпуску ежегодного альманаха, созданию издательства, организации фестивалей и других регулярных мероприятий, а также участию в паблик-арт-проектах. Через всю эту деятельность красной нитью проходит перевод: поэзия «Орбиты», напечатанная или звучащая, почти никогда не появляется в Латвии без перевода на латышский, а за пределами Латвии переведена на многие другие языки, не говоря уже о том, что и сами участники группы выступают в роли переводчиков.

С самого основания группы деятельность «Орбиты» представляла собой скоординированную попытку способствовать распространению русского языка в латвийской среде, не утверждая при этом язык захватчика и не реконструируя официальную культурную географию советской эпохи. К концу первого десятилетия нового века, когда я познакомился с участниками группы и спросил, какой они видят русскоязычную культуру в Латвии, они невозмутимо ответили, что все русское должно стать обыденной, неприметной составляющей независимого, многоязычного латвийского общества. Коротко говоря, «Орбита» с самого начала представляла собой социально-политический проект, причем явно шедший вразрез с тенденциями культурной жизни, преобладающими как в Латвии, так и в Российской Федерации, — идеями конкретной и ограниченной национальной территории с органически присущими ей национальными языками и культурами.

Как вышло, что «Орбита» решила противостоять такого рода гегемонии? Один из возможных подходов к русскоязычной поэзии без отождествления с советским ретро и господством национальных и имперских представлений о культуре и территории — подчеркнутая гибридизация культурных традиций, использование пространства и даже языка ради ослабления и усложнения культурных связей на территории политики. Для сравнения можно упомянуть написанную в 1997—1998 годах работу Сергея Завьялова «Мокшэрзянь кирьговонь грамматат / Берестяные грамоты мордвы-эрзи и мордвы-мокши», в которую вошли стихи на языках мордовской группы, но которая в то же время оттесняет с центральных позиций русский язык, «словно бы грамматически и семантически искаженный скрытым, полузабытым присутствием других языков на некоем глубинном уровне», по выражению Ильи Кукулина[10]. Можно сказать, что на уровне стиля и тематики поэзия «Орбиты» делает нечто подобное, но не столь явно. Прежде всего, стихи и проекты группы зачастую отчетливо привязаны к географии Риги и ее окрестностей, как, например, стихотворение Ханина 2018 года:

> и боишься, и ждешь, когда он наступит
> тот день, когда ты окончательно поймешь
> что мир держится не на слонах и китах
> а на маленьких беспокойных хомячках

10 *Kukulin I.* Russia as Whole and as Fragments // Global Russian Cultures / Ed. K.M.F. Platt. Madison: University of Wisconsin Press, 2019. P. 176. См. также: *Кукулин И.* «Внутренняя постколонизация»: формирование постколониального сознания в русской литературе 1970—2000-х годов // Там, внутри: практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда*, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 846—909.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

и ты узнаешь, что вавилон
располагается в верманском парке
где девы лежат на картонных возвышениях
в пышных париках изображают львов <...>

и наполнятся вазы на фасаде оперы
теплыми еще плодами юга
и прозреют бобры в своих хвостах
расплющенную ногу мариса лиепы

и воды в даугаве станут бирюзовыми
в назидание своим многочисленным притокам
и повернутся головы на французском посольстве
посмотреть как из оперной трубы валит черный дым <...>

и взойдут звезды из рук свободы
и из хлябей хлынет грибной дождик
и мы ляжем с тобой на газон под гинкго
и попробуем лежать совсем неподвижно

В данном случае абсурдистское апокалиптическое время проецируется на топографию Риги благодаря внезапно оживающим в воображении статуям в центральных городских парках и на фасадах известных зданий — от «расплющенной ноги» советско-латвийской звезды балета Мариса Лиепы у Латвийской национальной оперы до трех звезд, венчающих Памятник Свободы. Знание местной топографии превращается в шутку «для своих» — привязка стихотворения к Риге и его обращенность к ее жителям становятся все более очевидными. Параллельно на карту города наносятся иные глобальные, исторические и мифологические локусы («вавилон», «плоды юга», «французское посольство»), которые словно бы перестраивают весь космос, держащийся на мифических «слонах и китах», и сжимают его до более миниатюрной модели, покоящейся «на маленьких беспокойных хомячках».

Однако Ханин в этом стихотворении не предпринимает попыток языковой гибридизации, характерной для Завьялова. В этот текст, как и в поэзию «Орбиты» в целом, латышские слова проникают главным образом в виде имен собственных, в том числе топонимов. Во всем корпусе поэзии «Орбиты» можно найти несколько случаев, когда подобные сближения приводят к межъязыковой игре слов, как, например, в стихотворении Светлова под названием «на avenu авеню»: «avenu» по-латышски — «малина» (а сама улица Светловым придумана). В заключительной части эссе я рассмотрю более сложный случай такой игры слов с участием топонима.

Можно также предположить, что тяготение «Орбиты» к свободному стиху, порой разделенному на строфы и ритмичному, как в стихотворение Ханина, а порой принимающему вид стихотворений в прозе, перекликается в латышской поэтической традицией, где такая форма давно считается нормой, в отличие от русской традиции, более консервативной в формальном плане. Вместе с тем данная особенность письма «Орбиты» роднит его и с передовыми поэтическими тенденциями в России, где с конца 1980-х годов наметился все более явственный отказ от ритма и метра. И чтобы еще раз замкнуть эту цепочку, отметим, что учтиво-сдержанный характер указаний «Орбиты» на латышские

корни ее поэзии сам по себе созвучен прогрессивным тенденциям в латышской художественной и литературной среде, склонной к оригинальным, но при этом неброским и изящным высказываниям, а не к тому, чтобы шокировать и эпатировать. Этот «балтийский стиль» проявляется и в работе самого коллектива «Орбиты» — у какой еще группы русскоязычных поэтов имеется опрятный офис в центре города, лаконично обставленный модернистской мебелью? В общем, манера «Орбиты» в рамках русской поэтической вселенной как целого отчетливо опознается как «русская поэзия», лишь отчасти проникнутая неким инородным духом — это поэзия с латышским налетом, поэтому для нее характерны сдержанность и спокойствие.

Авторы, которые захотели бы избрать другую стратегию и более явно оторвать поэзию на русском языке от господствующей национальной традиции и политического пространства Российской Федерации, писали бы тексты, напрямую отвергающие подобную роль, равно как и насаждаемый сегодня в России патриотизм, и отчетливо обозначили бы свои политические взгляды. Но подход «Орбиты» не представляет собой попытку встать в оппозицию политике российского государства. Иными словами, участники группы не пишут гражданскую поэзию как таковую. Участники «Орбиты» обычно колеблются между метаполитическим и прагматическим, избегая декларативности и предпочитая перформативность. Прежде всего, «Орбита» представляет собой эстетически независимую модель поэзии, не допускающую прямой вовлеченности в политику, — что, вероятно, связано с общелатвийской тенденцией ухода от политического содержания в десятилетие, последовавшее за крахом официального социализма, когда и начали печататься поэты «Орбиты». На то, что явная политизированность уступила место перформативной политике, указывает и моя недавняя беседа с Тимофеевым, вспоминавшим, что, когда он и его товарищи только основали группу, они были твердо намерены «не требовать, чтобы русская культура стала частью латвийской, а просто действовать так, будто это уже норма».

Вместо языковой или культурной гибридности, вместо откровенных политических заявлений «Орбита» разработала собственную весьма оригинальную стратегию, позволяющую освободить русскоязычную поэзию в Латвии от постили неоимперских коннотаций, — стратегию «перформативного перевода». Эта стратегия включает в себя постоянно расширяющийся набор средств, сближающих русский и латышский языки в глазах слушателя или читателя. О переводе принято судить по его прозрачности и невидимости — по мере приближенности к эталону совершенной, непосредственной передачи сути оригинала, как бы он ни был устроен, на «другой язык», причем переводчик и сам процесс перевода в этой концепции исчезают из поля зрения, а на первый план выходит национальное единство задействованных языков[11]. В случае же «Орбиты» перевод, наоборот, осуществляется демонстративно, зримо, осязаемо, как полноценный художественный акт. «Орбита» никогда не дает своей аудитории забыть, что стихотворение существует и на другом языке, — более того, не дает потерять из виду сам акт перевода. Заимствуя термин Аптер или же соотнося мой собственный понятийный аппарат с ее, я бы сказал, что перед нами литература, мыслящая пограничную зону как «зону перевода» и побуждающая нас

11 *Venuti L.* The Translator's Invisibility: A History of Translation. London: Routledge, 1995. См. особенно: P. 1—42.

воспринимать языки не как «обособленные системы, заключенные в рамки стандартного речеупотребления, но как многоязычные процессы… языки перевода, пиджины, креолизованные языки, где мы встречаемся с идиомами, заимствованиями, кальками, переключением кодов»[12]. Впрочем, стремление «Орбиты» осмыслить зону перевода как социальную актуальность границы как нельзя лучше передает термин «гетеротопия», который Мишель Фуко определяет как «контрместоположения», «своего рода фактически реализованные утопии, в которых реальные местоположения, все остальные реальные местоположения, какие можно найти в рамках культуры, сразу и представляются, и оспариваются, и переворачиваются»[13]. Гетеротопия «имеет свойство сопоставлять в одном-единственном месте несколько пространств, несколько местоположений, которые сами по себе несовместимы», и способна «создать иллюзорное пространство, которое изобличает, как еще более иллюзорное, все реальное пространство, все местоположения, по которым разгораживается человеческая жизнь»[14]. Учитывая, как много внимания «Орбита» уделяет перформансу и инсталляциям, стоит отметить, что в число ключевых примеров гетеротопий, которые приводит Фуко, входят театр и музей. «Перформативный перевод» — базовая практика и структурообразующий принцип гетеротопического проекта «Орбиты». Его цель — использовать критический потенциал пограничной зоны, чтобы все стороны осознали иллюзорную реальность и реальные последствия национальной целостности и традиций.

Применительно к практикам «Орбиты» перевод можно понимать и в буквальном смысле, и в более широком или аллегорическом. Все тексты «Орбиты» публикуются на двух (а иногда и на трех) языках. Речь не только о русско-латышских изданиях поэзии, изначально написанной на русском, — формат, в котором поэты «Орбиты» печатают свои произведения, — но и об аналогичных изданиях стихов, написанных на латышском, равно как и сборников эссе, фотографических и художественных альбомов и т.д. В рамках своей издательской деятельности участники группы публикуют много переводов с русского на латышский и наоборот, занимаясь и парапереводческими проектами — в частности, они выпустили историческую антологию русскоязычной литературы, написанной латышами[15]. Переводы на латышский всегда присутствуют и на выступлениях группы либо в форме чтения на двух языках, совместно с переводчиками на латышский, либо (чаще) поэтических чтений, во время которых латышский перевод проецируется на экран. Однако метафорически переводом можно назвать и различные аспекты таких выступлений, где одна форма искусства перетекает в другую: живое музыкальное сопровождение, проецируемые на экран серии фотографии или же более затейливые формы технического и электронного «перевода».

Последовательно знакомя публику с межъязыковым, межкультурным и интермедиальным переводом на протяжении более чем двадцати лет, «Орбита»

12 *Apter E.* Against World Literature. P. 100.

13 *Фуко М.* Другие пространства // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью: В 3 ч. Ч. 3 / Пер. с фр. Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2006. С. 196.

14 Там же. С. 200, 203.

15 *Zapols A.* Latviešu krievu dzeja: Latviešu dzejnieku krievu valodā rakstīti dzejoļi / Латышская русская поэзия: стихи латышских поэтов, написанные на русском языке. Riga: Neputns, 2011.

сформировала в Латвии периферийное двуязычное сообщество поэтов, соратников, переводчиков и поклонников, перекинув мост между обычно разделенными языковыми общностями. За пределами Латвии группа тоже получила признание как авангард многоязычного и мультимедийного поэтического перформанса. В общем-то, в интересе «Орбиты» к переводу нет ничего загадочного. Вопреки стандартным, национально ориентированным представлениям о русском и латышском языках и культурах как о несовместимых — принадлежащих в латвийском обществе разным социальным средам, а иногда и разным политическим партиям, а вне Латвии разделенных бдительно охраняемыми границами, — «Орбита» воспринимает саму культуру сквозь призму перевода. Она создает переводную культуру, или культуру перевода, сплав русского и латышского, в котором граница пролегает везде и нигде. В русскоязычной литературной жизни Латвии — в той мере, в какой она совпадает с институциональными и культурными центрами латвийского общества как такового, — перформативный перевод занимает центральное место в культурном и социальном плане, поскольку дистанцируется от канонических традиций русской культуры, равно как и от культурной политики тех в Латвии, кто скорбит об утрате этих традиций, а также и от тех, кто стремится построить национальное государство, попросту воспроизводящее политику вытеснения на периферию отдельных народов в эпоху российско-советского господства, только с обратным знаком. Поэты «Орбиты» вступают в глобальный поток именно из не привязанной ни к какой территории области перевода с русского языка на латышский и наоборот, с языка одной культуры Риги на язык другой…

Гетерохрония

…и из области между советским и постсоветским периодами, лишенной также какой-либо хронологической привязки, потому что «Орбита» не просто оспаривает идеологию постсоветских границ, но и проводит своеобразное оздоровление элементов советского наследия. История, как и политика, нечасто и не напрямую становится темой поэзии «Орбиты», если говорить, как обычно принято в таких случаях, об Истории с большой буквы. В 2010 году Пунте рассказал мне о нескольких попытках группы получить от российского консульства грант на издательские инициативы, завершившихся разговором с атташе по культуре, который быстро утратил к «Орбите» интерес, узнав, что этот проект «не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне». Стихотворение «Старая война», написанное в 2018 году Тимофеевым, можно рассматривать как запоздалую реакцию на этот разговор и на возрастающую одержимость российской общественной жизни и политической риторики Второй мировой войной:

Прости меня, старая война,
Что я не умер на тебе,
Что могу теперь, скажем, сердиться по пустякам
И сходить с ума из-за ерунды.
Я знаю, ты — большая яма
И нет в тебе дна.
Когда ты была молодой,

Легко принимала в себя миллионы.
Теперь ты — старая
И не хочешь, чтоб тебя забывали,
Показываешь свои старые снимки,
Горделиво делишься воспоминаниями.
Даже раскрашиваешь старую черно-белую
Кинохронику для абсолютной достоверности.
И я охотно тебе верю,
Что, собственно, все так и было.
А сам прикидываю шансы на новую работу
Или там небольшой личный бизнес.
А потом думаю все-таки о тебе:
«Ну что ты ко мне пристала, рекордистка по жженому мясу!
Все твои фронты, все твои карты со стрелами
Ударов и овалами окружений,
Весь этот твой смертельный мэйкап
Не привлекает меня ни капли!»
Но вслух этого не говорю.
Вежливо улыбаюсь.
Жду, пока ты не заклюешь носом и не заснешь
Над своей ежевечерней рюмкой
Красной наливки.

Однако «Орбита» не полностью порывает с советским прошлым. Говорить и писать по-русски в Латвии всегда означает тревожить память об империализме. Иронические парадоксы «Старой войны» с тем же успехом можно прочитать как отказ от участия в бесконечных политизированных дискуссиях по поводу истории XX века и как невозможность не занимать в этой истории никакой позиции — о нежелании говорить надо сказать; отказ — тоже заявленная позиция. Короче говоря, предыстория имеет значение. Если мы не хотим, чтобы советское прошлое неожиданно всплыло и причинило новый ущерб, его надо контролировать. Но помимо угрозы это прошлое может заключать в себе и иной, более благотворный потенциал, затерянный среди нескончаемых мемориальных войн.

Стремление «Орбиты» открыть этот благотворный потенциал отчетливо проявилось в инсталляции 2014 года «Схема А. Схема Б» — работе, обусловленной спецификой конкретного места и при этом обращенной к истории, но конструирующей альтернативную, фантастическую предысторию культурной активности и социальной позиции группы. Место, о котором идет речь, — бывшая штаб-квартира КГБ в центре Риги, прозванная в народе «Угловым домом»; в 2014 году здесь прошел ряд выставок. «Орбита» представила на выставке инсталляцию, занимавшую целую комнату и представлявшую собой одинокую больничную кровать, одеяла на которой аккуратно отогнуты в ожидании пациента; на стенах при этом висели распечатки чертежей и эскизов нелепых летательных аппаратов, которыми можно управлять из кровати вроде той, что стояла в комнате. Подпись под рисунками гласила «Схема А». Из запертого шкафа в углу комнаты доносился приглушенный голос, говоривший по-русски, — запись радиоинтервью с легендарным летчиком и героем сталинской эпохи Валерием Чкаловым. К другой стене было пришпилено стихотворение Тимофеева под названием «Схема Б»:

Легкомысленные молодые люди
Застойного советского периода
Выходили на снег с бутылками шампанского
И серебристыми веточками бенгальских огней.
Их фигуры в коричневых полушубках
И с длинными вязаными шарфами,
В полусапогах на молнии и с зажженными
Светлячками паршивых сигарет маячили
Под тусклыми фонарями у деревянных домов
Из вытянутых, крашенных бурой краской досок.
Они приводили в ужас и негодование пенсионеров,
Наблюдавших за ними сквозь запотевшие стекла
Освещенных голыми лампочками кухонных окон,
Они хохотали и падали в снег, ели его, заедали им
Глотки кисловатых пузырьков, бросали снежки
В знаки, запрещающие проезд и парковку.
И потом долго заседали на больших кухнях с круглыми столами
Или маленьких кухоньках с трехногими табуретками.
Отогревались, отшептывались, перемигивались, запивали
Все это чаем, слушали на шуршащих бобинных магнитофонах
Оригинальные записи людей в блестящих штанах и рубахах
С вырезами на груди. Обсуждали услышанное.

Потому что время в те времена наматывалось на большие
Магнитные катушки, стоявшие в подвале ЧК на улице Энгельса,
Огромные, практически не изнашивавшиеся, изобретенные
На Колыме профессорами из зеков. Бессчетные запасы
Неистраченного времени сбрасывались в сибирские реки,
Сжигались в армейских котельных, бетонировались в фундаменте
Берлинской стены. Именно на изотопах времени работали
Реакторы подводных ракетоносцев. И когда его критическая
Масса опасно зашкаливала, внезапно, в десятках городов сразу
На улицы вываливали компании легкомысленных молодых людей.
Разряженное напряжение осыпалось им новогодними блестками
На грифы шестиструнных гитар производства ГДР. В воздухе
Отчетливо пахло электричеством. Лампочки уличных фонарей
Мигали. И на некоторое время в зоне видимости вокруг них
Возникала удивительная ясность. Многие до сих пор
Описывают пережитое как «молодость». Те же самые
Моменты проходят в документации как «Схема Б».

Инсталляция «Схема А. Схема Б», установленная в Угловом доме, отсылала к истории методов госбезопасности в коммунистическом государстве. Кровать в комнате вызывала в памяти принудительное заточение диссидентской интеллигенции, художников-нонконформистов и юных правонарушителей в психиатрическую лечебницу. Подвал, где сматывается в катушки время, — это подвал того самого Углового дома. Но в «Схеме А. Схеме Б» фигурируют и не столь отрицательные черты советского общества: молодежная культура, проникнутая духом нонконформизма, который нашел отражение в моде 1970-х годов и снежках, брошенных в запретительные дорожные знаки, или ночные по-

сиделки на кухнях, где собравшиеся горячо обсуждали неофициальную, хотя необязательно диссидентскую культуру, скажем, кассеты Bee Gees, распространявшиеся в магнитиздате, или книги, не входившие в школьную программу. В своем стихотворении Тимофеев предпринимает археологические раскопки позднесоветской юности, обнаруживая не только постоянную угрозу репрессивного государственного аппарата, но и сцены, вызывающие ностальгию. Однако этот любовный взгляд в прошлое обращен на иные аспекты советской жизни, нежели те, что обычно выходят на первый план, когда говорят о «постсоветской ностальгии». Работа Тимофеева с памятью, сосредоточенная на невозвратных, мимолетных мгновениях и настроениях юности, точнее передает суть ностальгии, чем более громкие советские мемориальные проекты, такие как восстановление в 2000 году советского государственного гимна. Соблюдая баланс между осознанием травматического наследия, оставленного советским прошлым, и ностальгическими воспоминаниями, Тимофеев пишет историю так, что расходится и с теми, кто стремится оправдать советскую цивилизацию широтой ее размаха, и с теми, кто полностью отвергает ее как абсолютное зло.

Соединяя ностальгический модус постсоветской памяти с травматическим, Тимофеев обнаруживает их взаимосвязь. Сцена, описанная им в «Схеме Б», напоминает известную работу Алексея Юрчака о «последнем советском поколении», уставшем от догматики и потому жившим вне официальных структур, социальных ритуалов и публичного дискурса, которые к тому времени почти обессмыслились. Представители этого поколения проходили через формальности социалистической жизни, направляя энергию на частные или камерные сообщества, занимавшиеся интеллектуальной и художественной деятельностью, например собиранием книг, созданием и прослушиванием альтернативной музыки и многим другим[16]. Как пишет Юрчак, люди позднесоветской эпохи подвергали «детерриториализации» «смысл авторитетного дискурса» советских социальных ритуалов и идеологических формул, утративших для них прежний смысл. «Это способствовало возникновению в советской повседневности огромного числа новых смыслов, новых способов существования… которые не обязательно соответствовали буквальному смыслу авторитетных текстов и ритуалов, хотя и не обязательно противостояли им напрямую»[17]. Аналогичным образом, стихотворение Тимофеева представляет собой аллегорию, указывающую на взаимозависимость, с одной стороны, патологически застывшего порядка, наматывающего время «на большие магнитные катушки» и держащегося на армии и спецслужбах, а с другой — альтернативных, частных миров, существующих на периферии советской официальной жизни, на кухне, где шуршат ленты переписанных с пленки на пленку записей. Тимофеев, как и Юрчак, обнажает онтологические зазоры, возможные благодаря альтернативному образу социальной жизни, за рамками окаменевших структур и институтов, в расселинах советского общества. Вместо «дружбы народов» существовал узкий круг настоящих друзей, собравшихся за кухонным столом.

16 *Юрчак А.* Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

17 Там же. С. 136.

Лирический космополитизм

«Орбита» осторожно балансирует на территориальных и темпоральных границах и вместе с тем кардинально смещает их, сочетая потенциал локальных условий с глобальной значимостью. Пересекая внутренние лингвистические границы Латвии в стремлении выкроить пространства для культуры как перформативного перевода, группа занимает космополитическую позицию, поэтому так же актуальна в Москве, Берлине и Нью-Йорке. Позднесоветская генеалогия такого взаимоналожения локального и глобального очевидна в инсталляции «Схема А. Схема Б». «Схема А», больничная койка, она же летательный аппарат, представляет собой ответ на новаторскую работу Ильи Кабакова, самого успешного художника с мировым именем из среды андеграундного московского концептуализма, который сам по себе должен считаться одним из наиболее заметных предшественников «Орбиты» в плане сочетания литературы, концептуального искусства и инсталляции[18]. Я говорю о «Человеке, улетевшем в космос из своей комнаты», инсталляции, ставшей частью выставки Кабакова «Десять персонажей», которая проходила в 1988 году в Нью-Йорке. В «Десяти персонажах» воссоздана советская коммунальная квартира, и ее комнаты являют собой жилые пространства причудливого сборища позднесоветских людей, у каждого из которых имеется собственный фантастический проект. В комнате «Человек, улетевший в космос…» установлен механизм, напоминающий гигантскую рогатку. Под ним — пара ботинок, над ним — зияющая дыра в потолке. Как пояснил сам Кабаков в сопроводительном тексте, обитатель комнаты, по-видимому, успешно применил этот механизм, чтобы взмыть в космос вместе с «космическими потоками», унесшими его с Земли[19]. Хотя в персонаже Кабакова можно увидеть того, кто находится в явной оппозиции по отношению к советскому режиму, — своего рода сумасшедшего изобретателя-диссидента — инсталляция намекает, что полет в космос следует рассматривать как воплощение советского проекта. Комната оклеена плакатами, призывающими советских людей ко все более значительным свершениям, а на нескольких изображен Юрий Гагарин, первый человек в космосе. Механизм Кабакова встает в один ряд с аналогичными идеями в традиции русского утопизма, включая летательный аппарат «Летатлин», сконструированный Владиславом Татлиным в 1932 году, и мечты Константина Циолковского о полете, равно как и советскую научную фантастику 1960-х годов. Он предвосхищает и взгляд Юрчака на топографию позднесоветского общества. В интерпретации Кабакова потребность в трансцендентном устремлении космического утопизма как частной, альтернативной инициативы возникла из-за банального провала большого, коллективного социалистического проекта, сулившего

18 Следует отметить, что «Орбита» не похожа на московских концептуалистов тем, что для нее первична литературная составляющая культурной деятельности, из которой уже вытекают визуальная и другие. В числе других сопоставимых предшественников можно назвать «Новое словенское искусство».

19 Выставку «Десять персонажей» показывали в галерее Рональда Фельдмана. См. тексты Кабакова и комментарии к ним: Ilya Kabakov: The Man Who Never Threw Anything Away / Ed. by Wallach A. New York: Harry N. Abrams, 1996. P. 78—80, 196—200. См. также: *Groys B.* Ilya Kabakov: The Man Who Flew into Space from His Apartment / Trans. F. Elliott. London: Afterall Books, 2006.

коммунизм, но давшего лишь пустые слова и убогое жилье. В «Схеме А» «Орбита» доводит формулу Кабакова до логического предела, помещая дверь, ведущую в космическую утопию, в другое место. С тривиальной обстановкой комнаты у Кабакова соотносится куда более грозная тривиальность Углового дома, где, в сердцевине аппарата советской госбезопасности и разведки, мы обнаруживаем будничные предметы, которые делают устремление ввысь, в далекий космос, прочь от «здесь и сейчас», не только возможным, но и необходимым. Инструмент подавления, больничная койка, к которой пристегивали диссидентов или нарушивших общественный порядок молодых людей, превращается в средство передвижения, способное перенести их через все границы, а может быть, даже вынести на околоземную орбиту.

И в инсталляции Кабакова, и в «Схеме А. Схеме Б.» детерриториализованные контркультуры позднесоветской социальной жизни обретают глобальное измерение как форма космополитизма — буквально взлет из нашего фрагментарного мира в бескрайний космос. Нечто похожее происходит и в проекте «Орбиты» — что, по крайней мере отчасти, объясняет название группы. Как уже было сказано в начале этого эссе, «космополитизм» — понятие с непростой историей, особенно в этой части мира. Часто оно навлекает на себя подозрения как прикрытие для опасной формы скрытого империализма под личиной безобидного универсализма. Некоторые ловушки космополитизма обнаружились в ходе дискуссии между Ульрихом Беком и Бруно Латуром в 2004 году. Несколько запоздало размышляя о характерной для конца XX века оптимистической уверенности в том, что мы вот-вот увидим глобализованный, единый мир, где нет конфликтов, Бек выдвинул идею «космополитического реализма», предполагающего «обязательное уважение к инаковости», но при этом «дистанцирующегося от универсализма и стремлений к обобщению и вместе с тем стремящегося сделать различия приемлемыми для всех»[20]. Критикуя эту точку зрения с позиций, которые, как, к сожалению, уже показала история XXI века в Восточной Европе и не только, были весьма обоснованны, Латур заметил, что при таком понимании космополитизма слишком легко обойти стороной конкурирующие культурные и политические претензии реальных людей. Как писал Латур, «реализм» Бека — постулирование единого общего космоса в исторический период, когда, несмотря на процессы глобализации, «больше не существует “глобального”, нет метафизического Глобуса, который бы гарантировал своим обитателям радушный прием и закрепил за ними места, принадлежащие им по праву». Космополитизм Бека, как и многие предшествующие ему в этом ряду, представляет собой «план войны, замаскированный под мирный план», однако тех, против кого направлен этот план, «уже не одурачить»[21]. Возвращаясь к имперской истории Восточной Европы, можно сказать, что советское господство в Латвии во второй половине XX века строилось как раз на разновидности космополитического универсализма и именно как «план войны, замаскированный под мирный план». Причем маскировка эта была весьма условной, поскольку состояла из вооруженной силы, имперской иерархии и вездесущей слежки органов госбезопасности. Отноше-

20 *Beck U.* The Truth of Others: A Cosmopolitan Approach // Common Knowledge. 2004. Vol. 10. No. 3. P. 438.

21 *Latour B.* Whose Cosmos, Which Cosmopolitics? Comments on the Peace Terms of Ulrich Beck // Common Knowledge. 2004. Vol. 10. No. 3. P. 461—462.

ния такого рода предполагали суровую расправу с потенциальными противниками, что и показала позднесталинская кампания против «безродных космополитов» (главным образом евреев).

Намерение «Орбиты», наследующей Кабакову, состоит в том, чтобы открыть иную, альтернативную форму космоса и космополитизма, отличную от претензий на универсальность, предложенных Беком и раскритикованных Латуром, такую, в которой душа не привязана к пространству и гегемонии, как об этом пишет Делёз. «Всякий раз, когда человечество делало ставку на космополитизм, от Александрии до ООН, — пишет Латур, — это происходило в эпохи безоговорочной веры в способность разума, а позднее науки, познавать тот единственный космос, чье существование и незыблемость могут затем послужить опорой для всех попыток выстроить мировую метрополию, гражданами которой мы все так хотели бы стать»[22]. Но, как с очевидностью демонстрирует творчество «Орбиты», такой подход ошибочен. Время, описанное в «Человеке, улетевшем в космос из своей комнаты» Кабакова, фигурирующее в «(Ре)конструкции дружбы» и заново воссозданное «Орбитой» в гетеротопии перформативного перевода, — это время космополитического устремления ввысь, продиктованного острым осознанием того, что прежние формулы мирного совместного существования в космосе ничего не дали, — осознанием, связанным с сомнениями Латура, однако привлекающим к себе особое внимание в исторические моменты, когда утопическое мышление вновь становится актуальным. Таким был и остается космополитизм как необходимая жизненная практика, не в глобальных институциональных масштабах, о которых говорят Бек и Латур, а в камерном измерении коммунальной квартиры или страны с двумя-тремя миллионами жителей и напряженностью, вызванной потенциальной угрозой межэтнических конфликтов, — лирический космополитизм великих замыслов в узком русле. Этот прорыв в космос обусловлен неудачами реально существующего космополитизма, и он сейчас так же необходим, как в Москве 1980-х годов, когда персонаж Кабакова впервые устремился в космические потоки.

Эта форма космополитизма не способна дать ответ всем и всюду, хотя и подразумевает повсеместный тупик. Это космополитизм невозможных скалярных величин. В свете сказанного обратимся к другому стихотворению Тимофеева, в котором, в отличие от «Схемы Б» с ее социальной генеалогией, присутствует автобиографический элемент и отчетливо обозначается сплав перформативного перевода с лирическим космополитизмом. Тимофеев раскрывает здесь критическую, многоязычную саморефлексию «Орбиты»:

> Мир, как я его знаю, начинается на улице Миера. Пятиэтажный дом постройки 1901 года. Дом 19, квартира 19. Влажный воздух двора (подвал давно и безнадежно залит водой). Футбол, где одни ворота — высокие кусты, а другие — металлические двери гаража, исписанные мелом. Наше окно на первом этаже, в которое однажды влетает метко запущенное кем-то яйцо, разбившееся о гладильную доску. Это неожиданно. Мы застываем, и папа сурово подходит к окну и выглядывает наружу. Но там, как и следовало ожидать, никого. Папа вытягивает руку с вытянутым пальцем и произносит «Пиф-паф».

Первая строка стихотворения содержит многоязычный каламбур, представляющий некоторую трудность для переводчика. У русского слова «мир», которое Тимофеев использует во фразе «мир, как я его знаю», как известно, два

омонима. Корень здесь, очевидно, тот же, что у латышского «miers», фигурирующего в той же строке в названии рижской улицы Miera iela, то есть «улица Мира», где находится центральный роддом Риги, где и родился Тимофеев. Переводческие затруднения объясняются не просто омонимичностью русского слова «мир», но и напряженностью, какую у русскоязычного читателя вызывает узнаваемое, но все же чужое слово «miers». Название «улица Мира» (Miera iela) приводит на мысль распространенную в советское время топонимическую практику, которая нашла отражение, например, в названии проспекта Мира в Москве. Однако название Miera iela появилось еще в досоветский период, в независимой Латвии, и относится не к какому бы то ни было советскому плану мира (возможно, маскирующему план войны), а к кладбищу, расположенному в конце улицы. Эту строку, помещающую мир Тимофеева между двумя языками, между жизнью и смертью, так же нельзя без потерь перевести на латышский, как и на английский или любой другой язык. А учитывая, какую роль в этой фразе играют различия и связи между русским и латышским — между «миром» и «miers» — можно сказать, что ее нельзя перевести и на русский, хотя само стихотворение, если оно вообще принадлежит какому-либо языку, уже написано на русском[23].

В этой строке Тимофеев, говоря словами Брюса Роббинса, осмысляет «исторические и географические контексты», породившие его мир, — контекст границы и непереводимости. Мир самого Тимофеева — пространство каламбура, где русский «мир» — ни в значении покоя, ни в значении космоса — не совпадает с латышским. Тем не менее эти беспорядочные следы, оставшиеся от невозможных актов синтеза, необходимого, но неосуществимого в пограничной зоне, — как и бесчисленные аналогичные акты в разных частях земли, необходимые, но затрудненные обстановкой, — и составляют микромир Тимофеева. И этому микромиру, зависшему между мирами более крупными, надо как-то функционировать. В отличие от претендующих на универсальность космополитических концепций, выведенных в Брюсселе, Вашингтоне или Москве и оспариваемых Беком и Латуром, лирический космополитизм «Орбиты» представляет собой, по выражению Джеймса Клиффорда, «прагматическую реакцию, попытку наилучшим образом использовать сложившуюся (зачастую скверную) ситуацию». Он требует «культурной изобретательности», «проявляющейся в особых соположениях, отборе и наслоениях, подсказанных и навязанных конкретными историческими условиями»[24]. Во времени он ограничен наследием неудавшихся глобальных проектов прошлого и угрозой потенциальных конфликтов будущего. В пространстве — необходимостью балансировать между конфликтующими сообществами и интересами в надвигающейся тени соперничающих за власть гегемонов. Этот космополитизм стремится не столько повсеместно положить конец любому насилию, сколько

22 Ibid. P. 453.

23 Эмили Аптер рассматривает схожие случаи, в том числе активное использование Толстым французского (и немецкого) языка, а также галлицизированного русского в «Войне и мире», сопровождаемое авторскими сносками, где он приводит свой перевод на русский, порой неточный. То, что получилось, непросто перевести — именно потому, что перед нами уже перевод. См.: *Apter E.* Against World Literature. P. 16—17.

24 *Clifford J.* Mixed Feelings // Cosmopolitics: Thinking and Feeling beyond the Nation / Ed. by P. Cheah, B. Robbins. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. P. 366.

сдерживать определенные формы насилия жестами, дающими на это временную надежду.

Перед нами космополитизм негативной диалектики — этот термин, как и сама методология, был предложен Теодором Адорно, размышлявшим о схожей проблеме — невозможности примирить противоположные взгляды на историю и онтологию с нашими собственными. Адорно писал: «Диалектика — это самосознание объективной универсальной причины ослепления и заблуждения, которую самосознание еще не лишило трона и власти окончательно. <...> В самом определении негативной диалектики уже заложена установка: диалектика не успокаивается на себе самой, в своей целостности и тотальности; негативная диалектика — это диалектическая форма и образ надежды»[25]. Многоязычная гетеротопия «Орбиты» превращает зону границы и перевода в средоточие культурной работы, обнаруживая головокружительную реальность языковой и онтологической несопоставимости, но вместе с тем вселяя слабую надежду на продолжение многоязычного творчества — на непереводимость, в силу которой «полностью» переложить стихотворение Тимофеева на другой язык практически невозможно, но которая порождает космические каламбуры с таящимся в них проницательным намеком на прагматическую необходимость продолжать заниматься переводом в реальных, многоязычных человеческих мирах, больших и малых. Место здесь обретает значение не как национальная территория, а как детерриториализованная зона перевода, пролегающая между народами и, возможно, оспаривающая социальную реальность самих этих народов. Необходимость перевода перед лицом непереводимости оказывается для «Орбиты» отправной точкой. Причина, по которой строку Тимофеева нельзя перевести, кроется в том, что она *сама* уже есть акт перевода, — поэзия «Орбиты» не столько «рождается в переводе», сколько рождается как перевод и переводческая неудача. Но, пусть ее и нельзя перевести, на нее можно откликнуться новыми переводами. Вместо мира без границ и мировой литературы как системы, где циркулируют гладкие и законченные переводы, лирический космополитизм «Орбиты» отсылает к миру, который сам сплошь граница, и мировой литературе как системе непереводимостей и непрестанного перевода — матрице микрокосмов, находящихся в равновесии.

Пер. с англ. Татьяны Пирусской

25 *Адорно Т.* Негативная диалектика / Пер. с нем. Е.Л. Петренко. М.: Научный мир, 2003. С. 361.

Опыты трансгрессии в русскоязычном культурном пространстве

Составитель блока Лариса Муравьева

Лариса Муравьева

Автофикшн — трансгрессивный жанр?

Larissa Muravieva

Is Autofiction a Transgressive Genre?

Лариса Муравьева (независимая исследовательница; кандидат филологических наук)
larissa.muravieva@gmail.com.

Ключевые слова: автофикшн, трансгрессия, опыт, нарратив, травма

УДК: 82.0 + 7.013 + 82-1/-9
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_197

Автофикшн в современной критике все чаще описывается как трансгрессивный жанр. Его трансгрессивность проявляется в свободном сочетании вымысла с реальными событиями, что нарушает жанровые конвенции и ставит читателя в двойственную позицию, предписывающую доверять и не доверять тексту одновременно. Однако трансгрессия автофикшна выходит за рамки жанровой гибридности, ставя на первый план проблему аутентичности опыта и поиска способов письма о нем. В статье анализируются основные аспекты трансгрессии в автофикшне, к числу которых, помимо пересечения границ между вымыслом и фактом, относятся этические вопросы пересечения границы между своим и чужим опытом, а также роль телесности и лиминальности опыта в автофикциональном письме.

Larissa Muravieva (PhD; Independent Researcher)
larissa.muravieva@gmail.com.

Key words: autofiction, transgression, experience, narrative, trauma

UDC: 82.0 + 7.013 + 82-1/-9
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_197

Autofiction is increasingly described in contemporary criticism as a transgressive genre. Its transgressiveness is manifested in the free combination of fiction with real events, which breaks genre conventions and places the reader in an ambivalent position, requiring them to trust and distrust the text simultaneously. However, the transgression of autofiction goes beyond genre hybridity by foregrounding the problem of authenticity in experience and the search for ways to write about it. This article analyzes the main aspects of transgression in autofiction, which, in addition to crossing the boundaries between fiction and fact, includes the ethical issues surrounding the boundary between one's own and another's experience, as well as the role of corporeality and the liminality of experience in autofiction writing.

Введение

Популярность автофикшна на мировом книжном рынке неуклонно растет. Начавшись с маргинальной сложночитаемой книги Сержа Дубровского в 1977 году,

автофикшн в последние десятилетия стал общемировым трендом, определяя издательскую политику и читательский спрос. Одной из причин взлета интереса к автофикшну называют тяготение литературных практик к документальному, фактологическому, референциальному началу. Как замечает нидерландская исследовательница Лисбет Кортальс Альтес, «литературные произведения… все чаще заимствуют свой авторитет и легитимность у популярных жанров, таких как документальная хроника или автобиография, которые, будучи когда-то эстетически маргинальными, теперь переместились в центр литературной культуры» [Kortals Altes 2014: 10]. Писатели автофикшна возглавляют списки бестселлеров, получают престижные литературные премии (включая Нобелевскую), а в критической и научной рецепции автофикшн остается поводом для ожесточенных научных дискуссий, сюжетом многочисленных монографий, статей и диссертаций. Если в 1996 году Мари Дарьесек в своей известной статье в журнале «Poétique» называла автофикшн «несерьезным жанром» [Darrieussecq 1996], то спустя почти 20 лет академический интерес скорее сводится к поиску причин и объяснений тому, каким образом этот «несерьезный» жанр сумел не только захватить глобальный книжный рынок, но и осуществить стихийную экспансию в самые различные медийные практики, заявив о себе в комиксе, графическом романе, кино и фотографии.

В современной критике определения автофикшна все чаще сопровождаются эпитетом «трансгрессивный». Так, Стивен Иверсен утверждает, что «автофикшн прежде всего отличается верой в силу *трансгрессии*» [Iversen 2020: 556], Франсуа Нурисье заявляет, что автофикшн — это «*трансгрессия и загрязнени*е автобиографического пакта средствами… романа» [Nourissier 1993: 223], а Лена Шёнвэльдер исследует прагматические аспекты автофикшна как «трансгрессивного жанра» и приходит к тому, что «автофикшн направлен на “постоянную провокацию читателя”» [Schönwälder 2021: 22]. Разговоры о «трансгрессии» в автофикшне стали распространенным элементом критического дискурса. Однако что именно можно считать трансгрессивным в этих текстах?

Зачастую автофикшн ассоциируется с жанром, нарушающим законы «автобиографического пакта» [Lejeune 1975] и смешивающим реальные и вымышленные события, изложенные от первого лица. Франкоязычный словарь «Larousse» определяет автофикшн как «автобиографию, заимствующую нарративные формы фикциональных жанров»[1], а словарь «Robert» — как «нарратив, смешивающий вымысел и автобиографию»[2]. В литературных справочниках также подчеркивается гибридный характер автофикшна, однако акцент ставится еще и на парадоксальном эффекте этого смешения. Так, в издании «Handbook of Autobiography/Autofiction», вышедшем в 2019 году, приводится следующее определение: «Автофикциональный текст претендует на то, чтобы быть одновременно и вымышленным, и автобиографическим, и, таким образом, представляет собой парадокс в традиционном понимании жанра» [Gronemann 2019: 241].

---

1 Autofiction // Larousse (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autofiction/6699 (accessed: 01.04. 2024)).

2 Autofiction // Le Robert (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/autofiction (accessed: 01.04.2024)).

Представляется, что именно на этой «этимологической» способности автофикшна смешивать жанры и ставится акцент в сегодняшней критике, закрепляющей за автофикшном своеобразный «трансгрессивный» статус.

Трансгрессия сводится, с одной стороны, к жанровой проблематике: к тому, что современные автофикциональные тексты комбинируют вымысел с реальными событиями, нарушая привычные жанровые конвенции. С другой — к тому, что это смешение ставит в амбивалентную позицию читателя, вынужденного одновременно доверять и не доверять автофикшну, читать его и как правдивые мемуары, и как вымышленный рассказ. Или, вспоминая известную фразу Жерара Женетта, иметь дело с текстом, автор которого заявляет: «это “я” и одновременно не “я”» [Genette 2004(1991): 161]. С рецептивной точки зрения эти жанровые особенности автофикшна подрывают читательскую стратегию. Так, Лена Шёнвэльдер утверждает, что «автофикшн как “способ” письма — это не просто эстетический выбор. На прагматическом уровне это также обман, намеренная мистификация» [Schönwälder 2021: 30]. При этом она повторяет идею Арно Женона о том, что, в отличие от классической автобиографии, заключавшей с читателем «пакт доверия», автофикшн заключает со своим — «пакт обмана» [Genon 2007].

Впрочем, проблема трансгрессии в автофикшне к одной лишь жанровой гибридности не сводится. Намеренно «мистифицирующих» или «обманывающих» своего читателя автофикциональных текстов не так много. Напротив, подавляющая доля автофикшна на современном книжном рынке претендует на достоверность и аутентичность излагаемого материала, а если их что-то и отличает от классической автобиографии, так это стиль, нарация и форма письма. Если поначалу теоретики автофикшна настаивали на том, что новый жанр парадоксален в силу смешения реального и фикционального, то со временем бинарная оппозиция вымысла и факта себя исчерпала.

Это произошло в первую очередь из-за перегруженности культурных практик гибридными формами. Как иронично замечал французский писатель Филипп Форест, «некоторая критическая докса сегодня противопоставляет литературу свидетельства и литературу вымысла: с одной стороны, признание, с другой — выдумка. В этом упорядоченном противостоянии каждый удобно выбирает свое поле. Но “пережитое” ничем не отличается от “вымышленного”, когда оно выражается по правилам одной и той же нарративной модели. Это лишь форма, содействующая тому “виртуальному”, гегемонию которого возвеличивает постмодернистская пророческая мысль» [Forest 2006: 124]. Иными словами, вымыслу ничего не стоит притвориться пережитым опытом, если писатели используют нарративные схемы свидетельской литературы.

Сами творцы автофикшна довольно скептично относятся к идее смешения — вплоть до тотального неразличения — жанровых конвенций. Отчасти из-за того, что концепт вымысла в теории конца XX века оказался перегружен противоречивыми толкованиями. Отчасти потому что скорее, нежели чем о «вымысле», они предпочитают размышлять о ненадежности памяти, о связи практик письма с аффектом и чувствительностью или о парадоксах интерпретации прожитого опыта в тексте. Наконец, потому что автофикшн использует свои собственные нарративные модели, отличные как от романа, так и от свидетельской литературы.

Несмотря на этимологию слова «autofiction», «вымысел» отнюдь не является его неотъемлемым компонентом. Снять это противоречие можно, если

понимать fiction не как «ложь» или «обман», а как особую риторическую и/или нарративную стратегию. Еще Серж Дубровский, создатель неологизма «автофикшн», утверждал, что он пишет «вымысел строго достоверных событий и фактов» (fiction d'événements et de faits strictement réels) [Doubrovsky 1977]. Особой ролью отец автофикшна наделял *оформление* опыта, осмысленного в результате психоанализа, в письме, для чего и использовал слово fiction (восходящее к латинскому корню со значением «оформления» или «придания формы») [Муравьева 2023]. В не меньшей, а иногда и в большей степени «достоверным» оказывается письмо и других писателей-автофикционалистов, нацеленное прежде всего на осмысление автобиографического опыта в письме, нежели чем на заведомую «ложь» или «мистификацию».

В этой статье «трансгрессивность» автофикшна рассматривается как одна из его ключевых характеристик. Я предлагаю перенести ее из сугубо жанровой категории в другую аналитическую плоскость. Моя цель — показать, что автофикшн многоаспектно постулирует идею трансгрессии: на уровне взаимоотношений между опытом и письмом, между «я» и «Другим(и)». Это проявляется, в частности, в публикационных стратегиях автофикциональных текстов, а также в политике репрезентации и запросе на аутентичность, которые не только ограничивают, но и формируют новую этическую норму повествования от первого лица в современной культуре.

Аспекты трансгрессии в автофикшне

> Тонкая, сложная, возможно, невыполнимая задача. Возникает соблазн сказать, что над любым размышлением о трансгрессии висит запрет. <…> Трансгрессия говорит иначе и по-другому; я бы даже сказал, что она действует на нас больше, чем мы ее понимаем, и, возможно, именно поэтому ее подлинная сущность, кажется, ускользает от любого концептуального осмысления.
>
> *Роже Доре*

1. Трансгрессия как переход границы. Автофикшн между «я» и «Другим(и)». Границы саморепрезентации и нарративная этика

Слово «трансгрессия» происходит от латинского «transgressio». Префикс «trans» указывает на идею выхода за пределы, а корень «gredi» (от «gredior») обозначает действие перехода или пересечения. Таким образом, в обиходном понимании, основанном на этимологическом толковании, трансгрессия означает переход или пересечение границы. Применительно к автофикшну, трансгрессия в первую очередь связана с символическим, дискурсивным и этическим пересечением границ между «я» и «Другим(и)» (между приватным и публичным, между своим и чужим опытом) — что не в последнюю очередь создало автофикшну репутацию скандального жанра.

Казалось, что возможность литературного скандала была поставлена под сомнение еще во второй половине XX века, когда нормы начали релятивизи-

роваться, а культурные табу — размываться. Однако современные автобиографические тексты это опровергают. В предисловии к монографии «Автофикшн и скандал» Кристин Отт предполагает, что своей репутацией жанр обязан тому факту, что он «подрывает престиж автобиографии и ее стремление к правде… и обманывает читателей, потому что его авторы не стесняются жертвовать частной жизнью своих близких и родных» [Ott 2023: 6—7].

Ярким примером того, как автофикшн трансгрессирует норму, стал шеститомный проект «Моей борьбы» Карла Уве Кнаусгора (2009—2011), по-новому определивший границы между жизнью и литературой. В шестой части Кнаусгор рассказывает о перевернувшей мир его родственников публикации первого тома, в котором он описывал смерть своего отца. Родственники сочли эту публикацию преднамеренным вторжением в частную жизнь и обвинили Карла Уве в искажении фактов. Они утверждали, что он чернит их семейный образ, изображая отца алкоголиком и рисуя остальных членов семьи в негативном свете, все лишь ради собственного обогащения. В своем ответе на письмо от дяди Гуннара, который не одобрил публикацию «Моей борьбы», Карл Уве защищает не столько свое право на рассказ о своем отце, сколько право на собственную версию воспоминаний о нем. Представляя две версии смерти отца — свою и дяди Гуннара, — Кнаусгор не пытается утверждать какую-либо из них как единственно верную. Вместо этого он стремится показать, что ни одна из версий не может быть истинной.

Томас Кузер сформулировал дилемму автобиографии следующим образом: «С одной стороны, мемуарист обязан говорить правду или, по крайней мере, не лгать — ведь этот жанр относится к области нон-фикшна. С другой стороны, как следует из их названия, мемуары опираются в первую очередь на изначально склонную к ошибкам способность — человеческую память» [Couser 2012: 80]. Кажется, случай Кнаусгора сполна воплотил в себе этот автобиографический закон: описав круг между жизнью и литературой и превратив сам опыт проживания книги в очередной эпизод текста, норвежский Пруст [Hoby 2014] установил новые границы жизнеописания, которые строятся на фундаменте ненадежности и открыто признают это.

Прецедент Кнаусгора, будучи одним из самых известных, отнюдь не является единственным. Писатели и писательницы автофикшна регулярно оказываются в центре медийных скандалов, сталкиваются с судебными исками за вторжение в частную жизнь или обман своей аудитории. Их произведения становятся предметом судебных разбирательств, как, например, в случае возврата средств читателям «Миллиона мелких осколков» Джеймса Фрея, которые приняли автофикшн за достоверные мемуары, приговора Кристине Анго за вторжение в частную жизнь с требованием компенсации морального ущерба в размере 40 000 евро или продолжающегося судебного процесса над Габриэлем Матцнефф, начавшегося после публикации «Согласия» Ванессы Спрингоры[3].

3 Во Франции прошли два резонансных судебных дела, связанных с публикацией автофикшна. К судебной ответственности были привлечены писательницы Камий Лоранс за роман «Любовь, роман» и Кристин Анго за роман «Маленькие». В первом случае иск подал бывший муж писательницы, Ив Мэзьер, возражавший против использования своего образа в тексте, во втором — бывшая жена текущего партнера писательницы, Элиза Бидуа, за клевету. Несмотря на схожесть исков, судебные решения были

Этический поворот в современной критике не случайно ставит в центр рассмотрения автофикшн как одну из самых полемичных литературных практик современности. Как заметил Пол Джон Икин, «этика [является] глубинной темой автобиографического дискурса» [Eakin 2004: 6]. Автофикшн представляет собой этическую проблему, когда он нарушает границы частной жизни людей, упомянутых в тексте, и когда эти люди воспринимают публикацию как такое нарушение. С одной стороны, этическая дилемма переводит эту проблему в плоскость юридических и правовых норм, связанных с неприкосновенностью частной жизни, которые варьируются в зависимости от стран, способов правоприменения или требований отдельных издательств. Иными словами, уводит в сторону от самой литературы. С другой стороны, позволяет выработать оптику, в которой трансгрессия оказывается отрефлексирована в самом тексте, а вопрос границы между «я» и «Другим(и)» становится частью нарративной репрезентации. Неслучайно, Джон Пол Икин после более десяти лет изучения отношений между литературой и юриспруденцией заявил о невозможности выработки универсальных регулирующих законов для автобиографии и вместо этого сосредоточился на изучении способов конструирования нарративной этики.

Важнейшим компонентом нарративной этики в автофикшне становится рефлексия на тему границы между своим и чужим опытом, которая проявляется на уровне выбора эстетических средств, особенностей нарративной структуры или способа репрезентации событий (например с использованием множественных точек зрения). Автофикшн проявляет осознанность в конструировании границы между «я» и «Другим(и)». И, даже несмотря на то, что порой он ее либо нарушает, либо балансирует на пограничье, сама форма и выбор средств в репрезентации жизненного материала подчеркивают то, что автофикшн осведомлен о своем трансгрессивном «потенциале». Намечу лишь некоторые аспекты того, как трансгрессия в сферу «чужого опыта» становится частью нарративной стратегии в автофикшне.

1.1. Стирание имен

В 2023 году выходит автобиографический текст «Грустный тигр» Нэж Синно, удостоенный Гонкуровской премии лицеистов и премии «Фемина», женское свидетельство от первого лица о пережитом в детстве инцесте со стороны отчима. Несмотря на то, что текст пишется спустя двадцать лет после насилия, а отчим писательницы был приговорен к тюремному сроку, который уже отсидел, нарратор избегает называть его по имени, также она не называет имен своих сестры и брата. Кроме того, в качестве иллюстраций в тексте приводятся

разными. В 2003 году суд оправдал Камий Лоранс за использование образа Мэзьера в автофикшне на том основании, что сама эстетическая форма текста преломила конкретный образ, и суд не нашел в тексте противоправного посягательства на неприкосновенность частной жизни. При этом в 2013 году суд вынес обвинительный приговор Кристин Анго за использование в автофикшне образа Элизы Бидуа, несмотря на то что ее имя было изменено. Решение было принято на основании того, что даже вымышленное имя оказалось недостаточным основанием, чтобы избавить от подозрений на посягательство на частную жизнь и манипуляцию с чужим образом. Подробнее о судебных процессах над писательницами см.: [Edwards 2018; Sapiro 2013].

репродукции материалов судебного дела, семейных фотографий и переписка — во всех этих материалах имена стерты, лица (кроме ее собственного) отретушированы или затемнены, и даже письмо, которое ее отчим писал из тюрьмы, она не цитирует, а лишь пересказывает. Несмотря на то, что свидетельство Синно стремится приблизиться к иллюзии максимальной аутентичности, этос ее рассказа чувствителен к тонкой грани между свидетельством и обвинением, с одной стороны, и вторжением в чужую жизнь — с другой, которую она не собирается переходить. Несмотря на то, что ее художественной и нарративной задачей является попытка понять, что происходит в голове у насильника (так, роман начинается со слов: «Вообще, в глубине души меня больше всего интересует, что происходит в голове палача. С жертвами все просто, мы все можем поставить себя на их место. Даже если вы сами этого не испытали, всей этой травматической амнезии, шока, вины выжившего — мы все можем представить, каково это, или думаем, что можем. Палач — это нечто совсем другое» [Sinno 2023: 9]), она старается не переходить ту грань, в которой воображение или фантазия подменили бы тот поиск истины, который она пытается осуществить с помощью письма.

1.2. Беспредельное «я»

Пишущее «я» в автофикшне само по себе является пространством неустойчивости, нестабильности и пограничья. Мало того, что «я» балансирует между реальным и сконструированным, оно также является зоной теоретического экспериментирования и осмысления своих пределов. От психоаналитической поэтики до концепта «биографической иллюзии» Пьера Бурдьё, «я» в автофикшне оказывается дискурсивным эквивалентом расщепленного субъекта, находящегося в поиске своих границ и пределов и определенного ситуативным контекстом скорее, нежели чем какой-либо эссенциальной константой.

Нарративный субъект в автофикшне, впрочем, не всегда грамматически выражен первым лицом единственного числа. В поэтике Анни Эрно «я» становится «трансперсональным», вмещающим в себя опыт поколения [Ernaux 1993]. Самый радикальный тому пример — роман «Годы» (2008), в котором личный опыт автобиографической героини оказался спроецирован на послевоенное французское поколение, а его история, хоть и была прописана сквозь призму личного опыта Эрно, оказалась тем не менее выражено местоимением «мы». В «Crudo» Оливии Лэнг «я» повествовательницы и вовсе перемещается в тело и сознание третьего лица — писательницы Кэти Акер. Роман, начинающийся со слов «Кэти, под кем я имею в виду себя, собиралась замуж», представляет эксперимент по исследованию пограничного опыта между «я» и «Другой».

2. Трансгрессия как о-пределение субъекта. Телесный опыт в автофикшне

Иная грань трансгрессии связана с проблемой телесного опыта и его воплощенности (embodiedness) в письме. В 2007 году французская писательница Камий Лоранс обвинила свою коллегу по издательскому дому P.O.L. Мари Дарьесек

в «психическом плагиате», а именно — в том, что та украла для романа «Том умер» («Tom est mort», 2007) личный опыт Лоранс, связанный с потерей ребенка (Камий Лоранс опубликовала об этом автофикциональный рассказ «Philippe» в том же издательстве в 1995 году) [Laurens 2010a]. Предмет спора заключался в том, что «Филипп» Камий Лоранс был основан на личном травматическом опыте: в 1995 году писательница в результате врачебной ошибки потеряла ребенка. «Филипп» стал первым для нее автофикциональным текстом, позволившим осмыслить эту травму в письме. Когда спустя одиннадцать лет выходит «Том умер» Мари Дарьесек, описывающий тот же сюжет — потерю маленького ребенка — Камий Лоранс узнает, что этот роман является вымыслом от первого лица: Мари Дарьесек не переживала подобного опыта. Претензия Камий Лоранс, впрочем, не сводится к обвинению в заимствовании сюжета. Главный ее аргумент заключается в том, что Мари Дарьесек позаимствовала образы и метафоры, которые для Камий Лоранс словно бы проистекали из ее *телесного опыта* и не могли, с ее точки зрения, быть изобретены с опорой на одно воображение. После громкого скандала во французских медиа стало очевидно, что одной из основных конвенций автофикшна оказалась не столько пресловутая «жанровая гибридность», сколько аутентичность репрезентируемого телесного опыта (см.: [Муравьева 2025]).

Распространение автофикшна в европейской литературе в 1990-е годы сопряжено с поворотом к тематикам, которые ранее оставались на периферии автобиографической и литературной репрезентации. В центре повествований оказались болезни, аборты, инцесты, поиски своей сексуальности — одним словом, телесный опыт, который раньше вытеснялся либо замалчивался (неслучайно, героиня Анни Эрно в «Событии» вспоминает, как в 1963 году, пытаясь сделать нелегальный аборт, не могла найти описания похожего опыта в доступной ей на тот момент художественной литературе) [Эрно 2021]. Хлынувшая волна автофикшна утверждала поиски языка о новом телесном опыте, о котором оказалось можно и необходимо рассказывать.

Поворот к телесности обычно связывают с женской волной автофикшна и с влиянием «второй волны» феминизма, и не случайно большинство текстов, которые позиционирует себя как автофикшн в эти годы, оказываются написаны женщинами-писательницами (можно вспомнить таких писательниц, как Камий Лоранс, Хлоэ Делом, Кристин Англо, Катрин Мийе). Однако размышления о связи опыта письма и опыта тела обнаруживаются еще раньше у Сержа Дубровского в его концептуализации автофикшна как новой литературной практики. В конце 1970-х писатель выступал с публичной лекцией по случаю выхода его романа «Fils» («Сын» или «Нити») — первого романа, на обложке которого появилось слово «autofiction». Дубровский утверждал, что в современной ему литературе «происходит повторное утверждение языка в истории субъекта и — более конкретно — телесного языка в письме». Вспоминая недавние тексты Филиппа Соллерса, Элен Сиксу и Шанталь Шаваф, Дубровский заявлял: «мы находимся в поисках того, что можно было бы назвать “телесным письмом”» — и несомненно, что для него самого таким письмом был автофикшн[4].

Идея связи автофикшна с телесностью, впрочем, не ограничивается сугубо тематическим регистром, но заявляет о себе как способе влияния тела на

4 Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC). Fonds Serge Doubrovsky. DBK 7.2 «Conférence-lecture par Serge Doubrovsky».

письмо и нарратив. Нарративные особенности определяются тем, как опыт и память опосредуются телом, как практики письма оказываются связаны с желанием письма и удовольствием от текста, как в процесс создания автофикшна оказываются вписаны эмоции, полученные от интермедиальных опосредований опыта, например фотографий, — все это сказывается на фрагментарной манере письма, на стратегии нарративной ненадежности, на роли аффектов в репрезентации, на «телесных метафорах» и т.д. Если классическая автобиография работает с памятью скорее как с интеллигибельным конструктом, то автофикшн — с аффективными составляющими памяти. Так, Анни Эрно в интервью Маргерит Корнье утверждает, что ее память хранит только те воспоминания, которые были связаны с какой-либо эмоцией: «Если вы ничего не чувствуете, то вы ничего не запоминаете» [Ernaux 2013: 59].

Самими писателями телесное письмо осмысляется не только как особый вид литературной деятельности, но как способ отношения с миром. В статье «Писать желание» («Écrire le désir») Камий Лоранс заявляет: «Тело крайне важно в автофикшне, поскольку это… опыт чувственности… субъекта в его времени и пространстве и по отношению к другим»[5] [Laurens 2018: 65]. Продолжая линию Дубровского, Лоранс становится во французской литературе одной из главных защитниц идеи автофикшна как особой практики, учреждающей опыт субъекта в его связи с пережитым опытом.

В продолжение спора с Дарьесек во время медийного скандала 2007 года Камий Лоранс выступает на конференции в Серизи-ля-Саль с докладом «Кто это говорит?», в котором продолжает отстаивать принцип аутентичности письма от первого лица и его связь с телесным опытом [Laurens 2010b]. Она отталкивается от идей психоаналитика Пьера Матиса, согласно которому существует два способа письма: «либо мы пишем *из* (*depuis*), задаваясь вопросом об источнике, о происхождении; либо мы пишем *о* (*sur*), сохраняя дистанцию». Наше письмо, размышляет Камий Лоранс, связано с нашим телом, поскольку и язык рождается в теле, он так же уникален, как отпечатки пальцев. Отсылая к «Тайной жизни» Паскаля Киньяра, который обнаруживал тесную связь между «секретом» и «секрецией», Камий Лоранс утверждает, что вопрос авторства письма — вопрос «Кто это говорит?» — связан с вопросом происхождения письма, которое всегда проистекает из телесного опыта: «этот секрет, секрет уникального человеческого опыта, и есть то, чем занимается автофикшн: *что-то в нас самих, о чем мы знаем, что, выразив, мы его тотчас же упустим, но к чему мы тем не менее стремимся*, и что является настоящим» [Laurens 2010b] (курсив мой. — *Л.М.*).

Представляется, в этом запросе на аутентичность кроется крайне важная установка, определяющая автофикшн как практику трансгрессивную: автофикшн направлен на предел, несмотря на то что он остается до конца не подвластным выражению. Субъект, который говорит в автофикшне, обладает своим **уникальным** опытом и речью, которая проистекает из его **тела**. В каком-то смысле, автофикшн — это продукт выражения телесного опыта, который **определяет** своего субъекта.

---

5 Камий Лоранс в этой статье использует концепт «плоть» (chair), опираясь на подход постфеноменолога Жан-Люка Мариона. Для нее оказывается значимой идея того, что телесность в автофикшне — это способ производства эмпатии и внимания к Другому через телесное письмо.

Впрочем, Лоранс предостерегает от слишком буквального понимания связи тела и письма: «тело отсутствует в самом акте письма, и было бы глупой иллюзией верить в “уникальный” язык, в “буквальную” истину (à la lettre), укорененную в плоти, которая заставляет тело и знак соответствовать друг другу», — продолжает она свои размышления [Laurens 2010b]. Действительно, язык не принадлежит только нам — в отличие от опыта — и потому отношения между опытом и письмом в автофикшне очерчивают важную грань. Эти отношения рождаются из коллизии между аутентичным опытом и той версией «я», которое в письме всегда сконструировано и иллюзорно. Иными словами, то, **о чем** ты пишешь, должно быть укоренено в твоем опыте, а то, **как** ты пишешь, остается в зоне дискурсивного воображаемого, хоть оно и направлено на максимальное приближение к аутентичности.

Интересным образом этот водораздел между телесным и вербальным репрезентируется в автофикшне, опирающемся на фотографию как на материальное свидетельство прошлого. В романе «Годы» Анни Эрно трансперсональное, коллективное «я», рассказывающее об опыте поколения, чередуется с фотоэкфрасисами, описаниями фотографий от третьего лица, на которых представлена сама автобиографическая героиня. Эти фотографии представляют пунктиром всю ее жизнь — от изображений младенца до снимков пожилой женщины, и в описании этих фотографий особую роль играет трансформация телесности, что создает нарративную дистанцию. При этом первое лицо единственного числа («я») возникает в романе в тот единственный раз, когда рассказчица описывает совсем недавнюю фотографию, запечатленное тело на которой идентично ее собственному телу и про которую она может сказать: «Да, это — я»[6] [Эрно 2008: 104]. Расщепление нарративного голоса на «я» и «она» подчеркивается отношениями с изображенным на фотографиях телом.

«Русский голос» Анни Эрно, Оксана Васякина, еще интереснее решает эту проблему. Для нее письмо становится «телом опыта». В «Ране» (2021) она пишет: «Я с детства ощущала прочную связь между опытом и письмом. Выговорить, осмыслить опыт никогда не значило для меня поделиться им устно. <…> Чтобы опыт получил тело, мне необходимо писать, письмо помогает мне отстранить его по-настоящему» [Васякина 2021: 229].

Еще дальше идет Егана Джаббарова в «Руки женщин моей семьи были не для письма» (2023) — автофикшне, посвященном истории женщин в патриархальном укладе азербайджанской диаспоры. Тело авторки в этом тексте становится метафорой, сквозь которую призматически просвечивают травмы нескольких поколений, болезнь тела становится отложенной реакцией на семейное насилие, а само письмо — письмо, проистекающее из тела, впитавшего в себя болезни этого мира, — трансгрессивным жестом по преодолению социальных норм и запретов. В письме не просто телесный опыт обретает метафорическое тело, но письмо также удваивает трансгрессию, совмещая в себе преодоление физической и социальной невозможности писать. Или, как предлагал мыслить трансгрессию Мишель Фуко, она направлена на то,

6 Полная цитата: «Женщина на фотографии — это она, и, глядя на снимок, можно вполне уверенно сказать: “Да, это я”, поскольку лица на фотографии и сейчас еще не разнятся ощутимо, и ничто, что ухудшится неизбежно (но ей не хочется думать, когда и как), не усугубилось — признаков старости не стало больше» [Эрно 2008: 104].

чтобы «провести границу внутри нас и нас самих обрисовать как границу» [Foucault 2001 (1963): 42].

3. Трансгрессия как направленность на предел. Лиминальный опыт и его репрезентации в автофикшне

Пятидесятилетний профессор французской литературы, женатый на своей бывшей студентке Ильзе, пишет свою версию сартровской «Тошноты», пересказывая свои воспоминания, размышляя о предыдущих любовных историях. Рукопись попадает в руки Ильзе, она читает фрагменты и остается ими недовольна. Слишком уж часто ее муж вспоминает своих бывших женщин, которые к тому же уже умерли. Она советует мужу писать о настоящем. Постепенно Ильзе начинает принимать участие в создании рукописи: корректирует, советует, исправляет, критикует. Книга на протяжении нескольких лет пишется в две руки. Внезапно Ильзе умирает, и книга, посвященная ей, «разбивается»: нарратор в последней части горюет, оплакивает Ильзе и корит себя за то, что ее смерть метафорически произошла под воздействием процесса написания этой книги: слишком сильно уязвляло ее это письмо, выставившее их совместную жизнь напоказ, и слишком точно он предугадал в первой части книги ее судьбу.

Таков сюжет «Разбитой книги» («Le livre brisé») Сержа Дубровского, его пятого художественного текста и второго по счету, на обложке которого появилось жанровое определение «автофикшн». Удостоенная Премии Медичи в 1989 году, «Разбитая книга» стала вехой в истории жанра автофикшн — не потому, что стала очередным литературным экспериментом, а потому, что исследовала экстремум в отношениях между литературой и жизнью, а точнее, литературой и смертью.

Третья — и, пожалуй, самая важная — грань трансгрессии в автофикшне связана с лиминальным опытом. Автофикшн можно понимать как литературную практику исследования границ нерепрезентируемого опыта, и ключевыми интерпретантами для этого процесса выступают философские концепции трансгресии — в первую очередь концепции Жоржа Батая и Мориса Бланшо. Ряд автофикционалистов опирается на спектр философских идей, связанных с проблемой лиминальности опыта: в частности, Филипп Форест, посвятивший свои первые романы смерти своей единственной дочери, отсылает к «внутреннему опыту» Батая [Forest 2020], а для Камий Лоранс ее письмо становится «работой скорби», связанной с проживанием «лиминального опыта» [Ferguson 2021: 684]. Огромную роль в подобных текстах играет поиск языка о травме и способы воплощения травматического опыта в нарративе.

В автофикшне огромная роль отводится травме, попытка репрезентации которой становится едва ли не определяющим жанровым элементом. Основополагающим концептом для автофикшна становится «пробел в основании» (la faille fondatrice), формула, восходящая к Жорж-Артюру Гольдшмидту [cit.: Grell 2014: 69], то есть та самая «рана, нанесенная не телу, но разуму» [Caruth 1996], которая заставляет писателей писать о невозможном. Ли Гилмор в начале 2000-х размышляла о причинах сближения травмы и автобиографии и утверждала, что совпадение «эпохи мемуаров и эпохи травмы» на рубеже тысячелетий было вызвано целым рядом культурных и исторических предпосы-

лок, среди которых важную роль сыграли медиатизация рассказов о себе и повышение спроса к личным историям на литературном рынке [Gilmore 2001: 16—17]. Автофикшн не в меньшей, а, пожалуй, в большей степени связан с репрезентацией травматического опыта. На первый взгляд, точка схождения — это привилегия на рассказ от первого лица. Демократизация литературных институтов, постмодернистский поворот к «локальным нарративам», медиаэкспансия и распространение персональных историй в социальных сетях — эти и многие другие причины привели к тому, что автофикшн стал общедоступной культурной формой, обеспечивающей автору максимально простой вход в литературу. При этом если для классической автобиографии и мемуаров критерием «легитимности» был социальный статус, жизненные заслуги, уникальные черты автобиографа, то для автофикшна таким мерилом оказывается пережитый травматический опыт. Травма оказывается субститутом условий, необходимых ранее субъекту для его инклюзии, включения в автобиографическое пространство. Во-вторых, автофикшн связан с травматическим опытом генетически. Действительно, идея автофикшна возникла в результате записи психоаналитических сеансов Сержа Дубровского и его попытки проработать травму, связанную с потерей матери. Впоследствии станет очевидно, что травматический опыт играет существенную роль не только для тематического регистра автофикциональных текстов, но также он отражается и в нарративной структуре. Несмотря на то, что с помощью концепта «травмы» в современной культуре определяется чуть ли не все, для автофикшна травматический опыт становится ведущим стимулом и целеполаганием письма.

Если Эрве Гибер утверждал, что фотография — это «любовное занятие» [Guibert 1981: 11], то мы сейчас можем признать, что автофикшн — меланхолическая практика. Вопреки обиходному представлению об автофикшне как о терапии, сами авторы зачастую это опровергают. Так, Серж Дубровский утверждал: «Письмо никогда меня не освобождало, я никогда не был освобожден» («Écrire ne m'a jamais délivré. Je n'ai jamais été libéré») [Doubrovsky 2012 (1989): 27]. Камий Лоранс в одном из интервью признается: «[письмо] — это бесконечная работа, которая постоянно воспроизводится от одной книги к другой. Это работа в этимологическом смысле, работа страдания (поскольку работа («*travail*» > «*tripalium*») этимологически означает орудие пытки). Это не лекарство, не то, с помощью чего вы лечитесь, скорее то, что вы повторяете из книги в книгу» [Stroia and Laurens 2018: 143]. Меланхолия автофикшна — в осознании того, что травматический опыт «отыгрывается» (acts out) в письме, и только в процессе письма его возможно осмыслить, но не избавиться от него.

Интерпретация автофикшна как практики, балансирующая между нерепрезентируемым опытом и попыткой его репрезентировать в письме, восходит к концепциям Мориса Бланшо. Сквозь призму идей Бланшо можно рассматривать многие конститутивные черты автофикшна. Это и поиск «бессобытийного нарратива», «речи, которая не говорит» (parole non-parlante) — недаром автофикшн многими признается бессобытийной литературой. Это и философия фрагмента, который перестает быть как осколком прошлого, так и симптомом грядущего целого, но утверждает свою самоценность. Фрагмент у Бланшо становится признаком различения, и это находит параллели в свойственной автофикшну фрагментарной эстетике и в стратегии многократного переписывания жизненного опыта. «[Письмо] расставляет знаки сингулярности (фраг-

менты), из которых можно указать пути, не воссоединяя и не складывая их, но воспринимая их как разделение — разделение пространства», — писал Бланшо [Blanchot 1992: 108]. «Ни один автофикшн не может быть завершен. С каждым новым психоанализом рождается новый автофикшн», — словно бы эхом отзывается на это Дубровский [Doubrovsky 1980: 96].

Наконец, трансгрессия проявляется в осознании связи литературы и смерти. Когда в начале 1990-х годов французский писатель Эрве Гибер опубликовал свою «Трилогию о СПИДе» — незадолго до собственной смерти — для французского общества эта публикация потребовала особой этической настройки. Это была уже не столько практика ретроспективного упорядочивания прожитого опыта, как в классической автобиографии, сколько буквально встреча со смертью и подробное ее документирование. Для читательской аудитории начала 1990-х автофикциональная трилогия Гибера стала сродни запискам из ада, куда писатель был вынужден спуститься и не побоялся обнажить свой опыт, доведя его до пределов чувственности, искренности и уязвимости.

Джон Грегг в монографии «Морис Бланшо и литература трансгрессии» справедливо замечает: «Литературу и жертвоприношение объединяет то, что они оба представляют собой фиктивные подходы к смерти, а драма, которую они воспроизводят, — это встреча со смертью, главной необходимостью которой является не овладение ею, а скорее пассивная нерешительность» [Gregg 1994: 16—17]. В каком-то смысле «экстремальный» опыт автофикшна — будь то «Разбитая книга» Сержа Дубровского или автофикциональная трилогия Эрве Гибера — являются вариантами жертвоприношения в литературном мире. Писатели берут на себя функцию медиаторов между своим экстремальным опытом и читателем, нарушая при этом принципы ретроспективного взгляда в прошлое. Автофикшн становится направлен на предел, осмыслить который оказывается возможно только в письме. Или, как замечал Филипп Форест, подобная литература «берет смерть за точку отсчета и разворачивает из нее постоянно удаляющийся горизонт некоего будущего» [Forest 2006: 130].

Заключение: переосмысляя трансгрессию в автофикшне

Таким образом, в научной и критической дискуссии идея о связи автофикшна с трансгрессией возникает не на пустом месте. Несмотря на то, что строгое бинарное противопоставление вымысла и реальности себя исчерпало, автофикшн тем не менее провоцирует пространство литературной нестабильности, перестраивая читательские конвенции и меняя ландшафт литературного рынка.

Примечательным в этом смысле оказалось вхождение автофикшна на русскоязычную литературную сцену. Будучи первоначально воспринят как «легкомысленный жанр», интересный лишь для особых страт читательской аудитории, автофикшн одновременно заявляет о себе как об одной из ведущих литературных практик, для разговора о которой требуется особый вокабуляр. Вместо привычного измерения литературного текста в терминах «художественности», автофикшн требует особого языка описания, в котором ключевыми словами оказываются «эмпатия», «травма», «опыт», «свидетельство» или «аутентичность».

Автофикшн утверждает себя как литературная практика переосмысления границ — не только, впрочем, между жанрами автобиографии и романа, но также между «я» и «Другим(и)», между различными версиями «Я», между прожитым опытом и опытом письма, между репрезентируемым и не-репрезентируемым. В каком-то смысле, этот процесс оказывается глубинно связан с расширением и переопределением идеи литературы — с ее тяготением к перформативности, экспансией в новые медиа и с утверждением ее новых политических, этических и социальных задач.

Библиография / References

[Васякина 2021] — *Васякина О.* Рана. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

(*Vasyakina O.* Rana. Moscow, 2021.)

[Муравьева 2023] — *Муравьева Л.* Критика и вымысел: Опыт автофикшна. Серж Дубровский и Реймон Федерман // Вопросы литературы. 2023. № 1. С. 65—85.

(*Muravieva L.* Kritika i vymysel: Opyt avtofikshna. Serzh Dubrovskij i Rejmon Federman // Voprosy Literatury. 2023. No 1. P. 65—85.)

[Муравьева 2025] — *Муравьева Л.* Автофикшн в надежде на эмпатию: эссе // Новое литературное обозрение. 2025, готовится к публикации.

(*Muravieva L.* Avtofikshn v nadezhde na empatiyu: esse // Novoe literaturnoe obozrenie. 2025, is being prepared for publication.)

[Эрно 2021] — *Эрно А.* Событие / Пер. с фр. М. Красовицкой. М.: No Kidding Press, 2021.

(*Ernaux A.* L'évènement. Moscow, 2021. — In Russ.)

[Эрно 2008] — *Эрно А.* Годы / Пер. с фр. А. Беляк. М.: Эксмо, 2008.

(*Ernaux A.* Les Années. Moscow, 2008. — In Russ.)

[Blanchot 1992] — *Blanchot M.* Le pas au-delà. Paris: Gallimard, 1992.

[Caruth 1996] — *Caruth C.* Unclaimed experience: trauma, narrative, and history. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

[Couser 2012] — *Couser G.T.* Memoir's Ethics // Memoir: An Introduction / Ed. by G.T. Couser. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2012. P. 79—107.

[Darrieussecq 1996] — *Darrieussecq M.* L'autofiction, un genre pas sérieux // Poétique. 1996. No. 107. P. 372—373.

[Darrieussecq 2010] — *Darrieussecq M.* La fiction à la première personne ou l'écriture immorale // Autofiction(s) / Ed. by C. Burgelin et al. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2010. P. 507—525.

[Doubrovsky 1977] — *Doubrovsky S.* Fils. Paris: Galilée, 1977.

[Doubrovsky 1980] — *Doubrovsky S.* Autobiographie/Vérité/Psychanalyse // L'Esprit Créateur. Autobiography in 20th Century French Literature. 1980. Vol. 20. No. 3. P. 87—97.

[Doubrovsky 2012 (1989)] — *Doubrovsky S.* Le livre brise. Paris: Grasset, 2012.

[Eakin 2004] — *Eakin J.P.* The Ethics of Life Writing. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2004.

[Eakin 2008] — *Eakin J.P.* Living Autobiographically: How We Create Identity in Narrative. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2008.

[Edwards 2018] — *Edwards N.* Autofiction and the Law: Legal Scandals in Contemporary French Literature // Contemporary French and Francophone Studies. 2018. Vol. 22. No. 1. P. 6—14.

[Ernaux 1993] — *Ernaux A.* Vers un je transpersonnel // Autofiction & Cie / Ed. by S. Doubrovsky et al. Nanterre: Université Paris X, 1993. P. 219—221.

[Ernaux 2013] — *Ernaux A.* Entretien avec M. Cornier, dans Retour à Yvetot. Paris: Éd. du Mauconduit, 2013. P. 56—67.

[Ferguson 2021] — *Ferguson S.* Autofiction: Writing Lives // The Cambridge History of the Novel in French / Ed. by A. Watt. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. P. 671—687.

[Forest 2006] — *Forest P.* Le roman, le réel et autres essais. Nantes: Allaphbed, 2006.

[Forest 2020] — *Forest P.* Bataille nous encourage à ôter nos muselières: Propos recueillis par Victorine de Oliveira // Philosophie magazine. 2020. 28 octobre (https://www.philomag.com/articles/philippe-forest-bataille-nous-encourage-oter-nos-muselieres (accessed: 12.03.2024)).

[Foucault 2001(1963)] — *Foucault M.* Préface à la transgression // Critique. 1963. Août-septembre. No. 195—196: Hommage à G. Bataille. P. 751—769.

[Genette 2004 (1991)] — *Genette G.* Fiction et diction. Paris: Seuil, 2004.

[Genon 2007] — *Genon A.* Les coulisses de l'autofiction // Acta fabula. 2007. Mai-Juin. Vol. 8. N° 3 (http://www.fabula.org/revue/document3146.php (accessed: 06.10.2024)).

[Gilmore 2001] — *Gilmore L.* The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony. Ithaca: Cornell University Press, 2001.

[Gregg 1994] — *Gregg J.W.* Maurice Blanchot and the literature of transgression. Princeton: Princeton University Press, 1994.

[Grell 2014] — *Grell I.* Autofiction. Paris: Armand Colin, 2014.

[Gronemann 2019] — *Gronemann C.* Autofiction // Handbook of Autobiography/Autofiction / Ed. by M. Wagner-Egelhaaf. Berlin. Boston: De Gruyter, 2019. P. 241—246.

[Guibert 1981] — *Guibert H.* L'Image fantôme. Paris: Minuit, 1981.

[Hoby 2014] — *Hoby H.* Karl Ove Knausgaard: Norway's Proust and a life laid painfully bare // The Guardian. 2014. 1 March (https://www.theguardian.com/theobserver/2014/mar/01/karl-ove-knausgaard-norway-proust-profile (accessed: 01.10.2024)).

[Iversen 2020] — *Iversen S.* Transgressive Narration: The Case of Autofiction // Narrative factuality: a handbook // Ed. by M. Fludernik & M.-L. Ryan. Berlin: De Gruyter, 2020. P. 555—564.

[Kortals Altes 2014] — *Korthals Altes L.* Ethos and Narrative Interpretation: The Negotiation of Values in Fiction. Lincoln: University of Nebraska Press, 2014.

[Laurens 2010a] — *Laurens C.* Marie Darrieussecq ou le syndrome du coucou // Autofiction(s) / Ed. by C. Burgelin et al. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2010. P. 495—506. (First publication: *Laurens C.* Marie Darrieussecq ou le syndrome du coucou // La Revue littéraire. 2007. No. 32. P. 1—14.)

[Laurens 2010b] — *Laurens C.* Qui dit ça? // Autofiction(s) / Ed. by C. Burgelin et al. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 2010. P. 25—34.

[Laurens 2018] — *Laurens C.* Ecrire le désir // Les enjeux (en-je) de la chair dans l'écriture autofictionnelle / Textes réunis et présentés par I. Grell. Louvain-la-Neuve: EME, 2018. P. 63—70.

[Nourissier 1993] — *Nourissier F.* Monsieur Haine // Autofiction & Cie / Ed. by S. Doubrovsky, et al. Nanterre: Université Paris X, 1993. P. 223—226.

[Ott 2023] — *Ott C.* Autofiction, quel scandale! // Autofiction(s) et scandale / Ed. by C. Jacobi, C. Ott, L. Schönwälder. München: AVM, 2021. P. 5—20.

[Sapiro 2013] — *Sapiro G.* Droits et devoirs de la fiction littéraire en régime démocratique: du réalisme à l'autofiction // Revue critique de fixions française contemporaine. 2013. No. 6 (http://journals.openedition.org/fixxion/8090 (accessed: 24.08.2023)).

[Schönwälder 2021] — *Schönwälder L.* Le scandale de l'autofiction: réflexions autour d'un genre controversé // Autofiction(s) et scandale / Ed. by C. Jacobi, C. Ott, L. Schönwälder. München: AVM, 2021. P. 21—35.

[Sinno 2023] — *Sinno N.* Le triste tigre. Paris: P.O.L., 2023.

[Stroia and Laurens 2018] — *Stroia A., Laurens C.* Camille Laurens, l'écriture Depuis Soi // Dalhousie French Studies. 2018. Vol. 112. P. 141—149 (https://www.jstor.org/stable/45172532?seq=1 (accessed: 06.10.2024)).

Доменико Скалюзи

Запретные рукописи:

«Археология» семейной памяти в современной русской литературе[1]

Domenico Scagliusi

Forbidden Manuscripts: An “Archaeology” of Family Memory in Contemporary Russian Literature

Доменико Скалюзи (Университет Сорбонны / Центр изучения обществ и культур Восточной, Балканской и Центральной Европы; аспирант) domenico.scagliusi@sorbonne-universite.fr.

Ключевые слова: современная русская литература, исследования памяти, семейная память, культурная память, наследие, советское прошлое

УДК: 821.161.1
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_212

Статья исследует обращение современной русской литературы к советскому прошлому на примере произведений Сергея Лебедева и Марии Ныркovой. Особое внимание уделяется ключевой роли литературного топоса «найденной рукописи», который тематизирует передачу семейной памяти в контексте унаследованного страха и длительных запретов. Посредством этого мотива оба автора поднимают вопрос об отношении между личной и коллективной идентичностью, отмечают хрупкость передачи памяти и роль литературы в переосмыслении навязанных нарративов. Статья рассматривает эти тексты на фоне парадигмы «археологического повествования» и указывает на трансгрессивный характер, который эта мировая тенденция может приобрести в российском контексте.

Domenico Scagliusi (PhD candidate; Sorbonne University / Eur’ORBEM) domenico.scagliusi@sorbonne-universite.fr.

Key words: contemporary Russian literature, memory studies, family memory, Soviet past

UDC: 821.161.1
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_212

This article explores how contemporary Russian literature addresses the Soviet past through recent works by Sergey Lebedev and Maria Nyrkova. It focuses on the key role played by the literary *topos* of the “found manuscript” in thematizing the transmission of family memory amidst long-standing repression and silence. Through this motif, both authors address the relationship between personal and collective identities, highlight the fragility of memory transmission, and emphasize the role of literature in reinterpreting imposed narratives. This study positions these texts within the paradigm of the “archaeological narrative” and points out the transgressive dimension that this global tendency can assume in the Russian context.

> И все-таки… Все-таки я хочу надеяться на то, что если не я и не мой сын, то, может быть, хотя бы мой внук увидит эту книгу полностью напечатанной на нашей Родине…
>
> *Е. Гинзбург. Крутой маршрут*

Спустя более чем тридцать лет после первой публикации «Крутого маршрута», частичного открытия архивов и распада СССР советское прошлое продолжает отбрасывать свою «длинную тень» [Assmann 2014] на настоящее. Неспособ-

1 Автор выражает благодарность Марии Бородкиной, Кристине Константиновой, Марии Тургиевой и Виктору Дмитриеву за бесценную помощь с оформлением текста на русском языке.

ность подвести черту под ушедшей эпохой, «похоронить и оплакать покойников» и «извлечь уроки из истории» привела российское общество, как отмечает Николай Эппле, к состоянию «захваченности прошлым» [Эппле 2020: 29]. Литература в этом процессе не стала исключением. После относительного угасания интереса к исторической теме в конце 1990-х и начале 2000-х годов [Marsh 2007: 13] осмысление коллективного и семейного прошлого вновь занимает центральное место в творчестве новых поколений — условных внуков и правнуков Евгении Гинзбург[2]. В своей книге «Памяти памяти» (2017) Мария Степанова точно уловила эту тенденцию. Она связывает ее не только с особой жестокостью недавней российской истории, где «круговорот насилия длился без устали, создавая травматическую анфиладу», но и с сосуществованием множества версий этих событий, которые, «как слой непрозрачной бумаги, заслоняют от света настоящее»[3].

Стремление последующих поколений к осмыслению прошлого является, на самом деле, феноменом мирового масштаба. Это явление рассматривается, в частности, в рамках известной парадигмы «постпамяти» (post-memory), к которой можно отнести произведения, исследующие механизмы передачи семейной памяти и акцентирующие внимание на личном вовлечении потомка в реконструкцию опыта близких [Hirsch 2012: 5].

Французский исследователь Доминик Виар изучает этот тренд с точки зрения литературоведения и видит в нем возникновение нового типа исторического повествования, которое он называет «археологическим» (récit archéologique) [Viart 2009b: 22; Viart 2023: 9], ссылаясь на определение «археологии», предложенное Мишелем Фуко. «Археология знания» — метод исторического анализа дискурсивных практик, направленный на выявление условий их возникновения и функционирования, — исходит, по Фуко, из понятия «архива» [Фуко 2004: 250—252]. Этот концепт философ трактует не просто как «сумму всех текстов, сохраненных определенной культурой в качестве документов ее собственного прошлого» [Там же: 247], но как общую систему правил, определяющих, какое знание в ту или иную эпоху оказывается возможным [Там же: 247—250]. Развивая эту идею, Виар использует термин «архив» в двух значениях: с одной стороны, как совокупность документальных источников, а с другой — как эпистемологическую предпосылку, подразумевающую особое отношение к исторической правде. Опираясь на семейные или общественные архивы, авторы «археологических повествований» подвергают сомнению полученные сведения, выделяя факторы, которые обусловили формирование такого знания [Viart 2009b: 24—27].

Если понимать архив как «закон о том, что может быть сказано» [Фуко 2004: 248], «археологическое повествование» обретает трансгрессивный ха-

2 Важно отметить, что интерес к осмыслению истории через призму семейной памяти выходит далеко за рамки литературы. Он также является заметным общественным феноменом. Этот интерес проявляется, в частности, в возникновении феномена многочисленных онлайн-сообществ, которые объединяют людей, интересующихся этой темой, предлагают курсы, а также рекомендации по работе с семейными и государственными архивами. Показательным примером этого увлечения является книга адвоката Даниила Петрова «Родословные детективы»: объемный труд, который представлен как «пособие по установлению и сохранению истории семьи и Отечества» (СПб.: [б/и], 2021).

3 *Степанова М.* Памяти памяти. М.: Новое издательство, 2021 [ebook].

рактер. Переосмысление прошлого современниками становится тем самым «жестом, обращенным на предел», который и составляет, по Фуко, саму сущность трансгрессии [Фуко 1994: 117]. В этих текстах исследование прошлого неизменно превращается в попытку выйти за рамки «архива», перейти границы доступного и дозволенного знания и выявить то, что остается за пределами унаследованных и навязанных нарративов. Этот аспект подчеркивает Марио Панико, указывая на «антагонистический характер» постпамяти [Panico 2024: 38]. Переосмысление прошлого предполагает сопротивление запретам и недосказанностям внутри семейного круга: заново интерпретируя семейную историю, автор бросает вызов положительному образу семьи, который ее члены создают через избирательное сохранение воспоминаний. Более того, эта динамика выходит за рамки частного опыта, распространяясь на общественные представления об истории: текст нередко противопоставляет себя укорененным в определенной культуре дискурсам или мемориальной политике государства [Panico 2024: 45—46].

Последний фактор особенно важен в современной России, где художественное переосмысление прошлого конкурирует с жестким регулированием исторических дискуссий на законодательном уровне, особенно усилившимся с 2010-х годов [Koposov 2018; McGlynn 2023]. Кроме того, в постсоветском контексте знание о семейном прошлом оказывается часто неполным или искаженным. Затруднения, с которыми сталкивается автор повествования о предках, вплетаются в сложную социологическую и историческую картину. По данным социолога Раисы Бараш, большинство россиян (60%) имеют представление о жизни лишь двух ближайших поколений, а почти пятая часть опрошенных (19%) ничего не знает об истории своей семьи [Бараш 2021: 16—17]. Это явление имеет множество причин, уходящих корнями в начало XX века: распад семейных связей, гибель свидетелей и быстрая урбанизация, заставившая многих покинуть «семейные места». На сокрытие личной истории также повлияла угроза уголовного преследования, связанного с социальным или национальным происхождением. Как отмечает социолог, это привело к прочно укоренившемуся чувству страха и надолго ограничило возможность разговоров о прошлом [Бараш 2021: 17].

В своей статье я предлагаю рассматривать трансгрессивное измерение, которое «археологическое повествование» может обретать в контексте векового замалчивания прошлого и его частичного табуирования — как в общественном, так и в семейном пространстве. Лакунарность семейной памяти и затруднение общения внутри семьи зачастую становятся центральной темой в произведениях современной русской литературы. Обращение к архиву (официальным документам, фотографиям, письмам, запискам) имеет в этом плане ключевое значение. Какова бы ни была степень аутентичности документов, диалог с предками через письмо является закономерным приемом в текстах, относящихся в той или иной мере к жанру автофикшна[4], и приобретает черты литературного топоса. В «Заливе Терпения» (2023) Марии Ныркoвой, например, авторка выражает в паратексте благодарность бабушке и дедушке за многочасовые разговоры, подчеркивая важную роль, которую непосредственное общение с семьей сыграло в создании произведе-

4 Можно упомянуть, например, «Памяти памяти» М. Степановой, «Фигуры памяти» М. Пальшиной или «Ф.И.О» О. Медведковой.

ния[5]. Тем не менее в сюжете устная коммуникация занимает лишь второстепенное место, в то время как основное значение придается обнаружению рукописи, написанной прабабушкой героини.

Этот мотив является важным элементом в изображении передачи памяти и в произведениях, относящихся к жанру романа. Уже начиная с 1990-х годов он присутствует в разных вариантах в текстах Леонида Гиршовича[6] и Владимира Шарова[7], вплоть до творчества Людмилы Улицкой[8] и Евгения Водолазкина[9]. Особенно созвучным с «Заливом Терпения» Ныркової оказывается дилогия Сергея Лебедева, состоящая из романов «Год кометы» (2014) и «Люди августа» (2016)[10], в которой главную роль в процессе узнавания семейной истории выполняет обнаружение героем потаенной рукописи, принадлежащей его бабушке. Этот мотив, который можно рассматривать как перекодировку укорененного в западном литературном каноне топоса «найденной рукописи» [Herman 2020: 46], полностью вписывает произведения Лебедева и Ныркової в парадигму «археологического повествования» и служит основой для антинормативного обращения к прошлому.

Написание дневника или мемуаров трактуется как запрещенное действие, которое предок совершает, преодолевая собственный страх. «Найденная рукопись» становится примером семейного «контрархива» (counter-archive), хранилища «альтернативного, негосударственного знания об истории» [Smola, Kukulin, Bachmaier 2024: 7], которое оспаривает доминирующие нарративы и контроль власти над прошлым. Этот топос подчеркивает ключевую роль письменности в сохранении свидетельств о советском опыте в условиях общественных запретов и цензуры. В образе рукописи находят отражение и запрещенные литературные тексты[11], публикация которых стала важным условием для пересмотра истории страны во время перестройки [Marsh 1995: 7—26; 42—44], и многочисленные мемуары, которые появились при распаде СССР [Па-

---

5 *Ныркова М.* Залив Терпения. СПб.: Polyandria NoAge; М.: Есть смысл, 2023. С. 186. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страниц в скобках.

6 См.: *Гиршович Л.* Обмененные головы. СПб.: Библиополис, 1992. В другой форме этот мотив также присутствует в его романе «Прайс» (1998).

7 Обращение к «исходному тексту» особенно существенный мотив в творчестве В. Шарова. Топос найденной рукописи присутствует, например, в его романе «Репетиции» (1992), а также в более позднем «Царстве Агамемнона» (2018). См.: *Горски Б.А.* «Шаров и правда, или путь Гоголя» // Владимир Шаров: По ту сторону истории / Отв. ред. М. Липовецкий и А. де Ля Фортель. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 283—299.

8 См.: *Улицкая Л**. Лестница Якова. М.: АСТ, 2015.

* 1 марта 2024 года внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

9 См.: *Водолазкин Е.* Соловьёв и Ларионов. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

10 Обращение к семейному архиву играет важную роль и в его романе «Гусь Фриц» (2018). Однако, в отличие от двух вышеупомянутых произведений, здесь процесс чтения рукописи героем не становится центральной линией сюжета. Понятие «архива» по Фуко было также применено С. Франк к первому роману С. Лебедева «Предел забвения» (2010). В этом случае «архивом» — хранилищем материальных следов прошлого — служат для героя географическое пространство и природа (natural archive) [Frank 2019].

11 О непростой судьбе некоторых из этих произведений, то распространявшихся подпольно («самиздатом»), то публиковавшихся за границей («тамиздатом»), см.: *Клоц Я.* Тамиздат: Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны / Пер. с англ. Т. Пирусской. М.: Новое литературное обозрение, 2024.

перно 2021]. В анализируемых произведениях обнаружение рукописи перекликается с высказыванием Воланда о том, что «рукописи не горят»: оно воспринимается как чудо, символизирующее способность противостоять уничтожению следов прошлого и открывающее неожиданный доступ к «обратной стороне» истории.

Однако Лебедев и Ныркова делают акцент не только на способности рукописи предоставить исторические сведения. Оба автора выдвигают на первый план расшифровку рукописи героем, который систематически оспаривает надежность и завершенность приобретенного знания. Раскрытие семейного прошлого сводится, таким образом, к нарушению табу и преодолению границ, наложенных автором рукописи. Текст превращается поэтому в пространство конфликта, порождая импульс к пересмотру как коллективной, так и индивидуальной идентичностей. В ходе поиска герои Лебедева и Нырковой осознают свою причастность к семейной и национальной истории и поднимают вопрос о преемственности поколений в передаче семейного наследия.

Открытие рукописи: нарушение «заговора молчания»

Чувство бессознательной связи с прошлым служит организующим принципом повествования. Завязка строится на желании героя вступить в право наследства, нарушив запрет на раскрытие многолетних тайн.

«Залив Терпения» Марии Нырковой основан на путевых записках авторки о своем возвращении из Москвы на Сахалин, где она родилась. Повествование ведется от лица одноименного персонажа, Маши[12]. Если авторка определяет свое путешествие, осуществленное в 2022 году, как спонтанное, то Машина поездка обусловлена внешней причиной: после смерти двоюродного деда Вити семья поручает героине продать его квартиру — единственное семейное имущество, оставшееся на острове. Возвращение в место своего рождения совпадает, таким образом, с полным разрывом материальных связей с ним: это двусмысленное обстоятельство служит рамкой для приобщения героини к семейному прошлому.

История Машиной семьи отражает переломные события XX века. Ключевой фигурой является прабабушка Ксения Илларионовна Пушкарева. Она родилась в 1904 году и прошла через всю кровавую историю XX века: переехав в Семиреченск Семипалатинской губернии, затем в Приморский край, она стала свидетелем Гражданской войны и победы красных, которая обернулась частичной конфискацией ее имущества. Укрываясь от раскулачивания, они с мужем уезжают на Сахалин, где его арестовывают по доносу и отправляют в трудовой лагерь. Став женой врага народа, прабабушка претерпевает новую конфискацию. Соответственно, остров представляется героине театром семейной трагедии. Сахалин — это также место, связанное с печальной судьбой дру-

12 В книге имя героини систематически пишется с маленькой буквы. Авторка использует маленькую букву также в начале каждого предложения. Для удобства восприятия мы будем соблюдать общепринятые правила орфографии и писать все собственные имена с заглавной буквы. Мы решили оставить, однако, строчную букву в начале предложений.

гой прабабушки Нины, и где в 1995 году от землетрясения погибнет оставшаяся на острове часть семьи.

Удаленность острова Сахалин становится метафорой отстраненности семьи от своего прошлого. В этом плане произведение Ныркoвой глубоко созвучно наблюдениям Марьи Сорвари о постсоветской женской прозе: передвижение по географическому пространству (депортация ее предков, переезд родителей и собственное возвращение на Сахалин) ассоциируется также с более глубоким опытом «перемещения» (displacement), который в переносном смысле означает «потерю памяти, утрату смысла» [Sorvari 2022 : 3]. Как и в анализируемых Сорвари произведениях, героиня «Залива Терпения» тоже осваивает семейную историю, исходя из позиции «маргинальности и оторванности от места (placelessness)» [Sorvari 2022: 3].

Отправной точкой поисков героини становится ощущение исключенности из знания о семейном прошлом: «в семье, которая пережила катастрофу, детям суждено расти в блестящем пузыре бессобытийности: с ними не обсуждают, кто, когда, где погиб и из-за чего»[13]. Приобщение к чужому горю уподобляется, таким образом, табуированному действию, вторжению в чужую интимность, которое сопровождается чувством страха, стыда и непонимания: «я не понимаю столь редких бабушкиных слез, они пугают меня. когда она плачет, я стараюсь уйти. что-то вроде такта объясняет мне, что в семье, где никто не грустит и не просит прощения, увидеть на кухне плачущего родственника едва ли не равно тому, чтобы увидеть его голым» (с. 176).

Тем самым текст подчеркивает важность письма как средства межпоколенческой коммуникации. Ключевым в узнавании семейной истории оказывается приобретение героиней мемуаров ее прабабушки Ксении, которые ей передает бабушкина подруга Ольга. Получение «потрепанной тетрадки» (с. 79) вызывает у героини чувство глубокого недоумения: «я действительно не верю в возможность существования такой бумаги. мне двадцать один, и за все эти годы никто из семьи не рассказывал мне почти ничего о прошлом, тем более о таком далеком» (с. 80). Помимо содержания, рукопись важна еще и своим материальным измерением. «Похожа[я] на неправильно выстиранную, полинялую военную форму» (с. 79), тетрадь одновременно выявляет следы своего непростого пути из прошлого в настоящее и воплощает в себе преемственность семейных связей: «я взяла тетрадь и стала перелистывать. двенадцать листов, исписанных аккуратным почерком с крупными завитками — семейным почерком» (с. 80).

Само существование рукописи представлено в романе как непредвиденное чудо — она сохранилась вопреки времени и расстоянию, переездам семьи, череде забвений, а также характерной для российского общества практике стирания следов прошлого: «роскошь иметь такие бумаги в современной России. роскошь гордиться тем, что твоя прабабушка не побоялась рассказать о себе и веке своем» (с. 20). Чувство гордости уходит корнями в трансгрессивную природу рукописи, написанной в период, когда, как объясняет героине бабушка, это «было нельзя» (с. 124). Изложение личных воспоминаний на бумаге представлено как акт сопротивления историческим стихиям, угрожающим человеку уничтожением, и запретам, наложенным властью: рукопись прабабушки не только является ключом к табуированной исторической действительности, но и служит примером для преодоления унаследованного чувства страха.

13 *Ныркова М.* Залив Терпения. С. 175.

В дилогии Сергея Лебедева трансгрессивное действие представляет собой не столько написание рукописи, сколько ее приобретение главным героем. В отличие от героини «Залива Терпения», чей жизненный путь полностью развивается в рамках постсоветской эпохи, анонимный рассказчик дилогии родился в 1977 году. С самого раннего возраста протагонист романа «Год кометы» воспринимает себя наследником исторических конфликтов, которые находятся за пределами его понимания. Это ощущение особенно усиливается при его общении с бабушками, Таней и Марой, которые подсознательно передают герою свой страхи и чувство утраты. Их рассказы зачастую сводятся к семейной легенде, в то время как правда умалчивается с целью сберечь ребенка. Главным табу семейной истории является судьба деда по папиной линии, Михаила. Его присутствие в семейной памяти лишь призрачное. Он умер, не оставив никакого следа, и его история сводится к выражению «пропавший без вести во время войны». Рассказчик догадывается, что за его судьбой стоит ужасная тайна, которую взрослые пытаются скрыть: этот «заговор молчания» превращает мир вокруг героя в «ребус»[14], в лабиринт знаков, которые требуют от него расшифровки.

Поиск правды о прошлом сопровождается в сознании героя глубоким чувством вины и уподобляется преступному поступку, который он совершает тайком от своих родственников. Его главная цель заглянуть в книгу, которая, предположительно, содержит воспоминания бабушки Тани. Она воспринимается юным героем как магический предмет, приобретение которого обеспечивает вход в другое измерение:

> На мгновение я почувствовал себя внутри ребуса, головоломки: луч света из коридора указал мне на зеркальное трюмо, в зеркале отразился стоящий на шкафу сувенирный медный колокольчик, которым бабушка объявляла о начале или конце наших игр; я взял его, позвонил, медное «динь-динь-динь», как всегда, начало отсчет особого времени, когда оживают игрушки.
>
> Они были рядом, сложенные в углу бабушкиного дивана. <…> сидели, прислонившись к спинке дивана, будто на привале, и смотрели в одну точку; траектории их взглядов указывали на край книжной полки. Там стояла книга, большая книга в темно-коричневом кожаном переплете, сливавшаяся с цветом полки; на ее высоком корешке не было никакого названия (с. 13—14).

Первое открытие рукописи осуществляется, однако, слишком рано. Перелистывая книгу, рассказчик находит белые пустые страницы, которые лишь намекают на свое будущее назначение: рассказчик узнает в этом «бессловесн[ом] том[е]» ключ к разгадке всех семейных тайн, «книгу книг, ковчег небывших текстов» (с. 15), который спасет прошлое от забвения и даст ответ на все вопросы героя.

Бабушка и внук безмолвно разделяют секрет существования рукописи. Однако унаследовать ее герою будет разрешено лишь при условии исчезновения свидетелей — бабушкиной смерти. Это событие служит мостом между первым и вторым томом дилогии и совпадает с крушением СССР. Как и в произведении Марии Нырковой, написание рукописи является в глазах героя смелым поступком, положившим конец страху и молчанию, и становится метафорой

14 *Лебедев С.* Год кометы. М.: Центр книги Рудомино, 2014. С. 11, 13. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страниц в скобках.

для целой эпохи в истории страны, когда открылись архивы и прошлое оказалось доступным для раскапывания.

Рукопись на грани между фактом и вымыслом

Несмотря на эффект откровения, систематически сопровождающий обнаружение рукописи, оба произведения ставят под вопрос надежность знания, обеспеченного ее прочтением. Предполагая взаимодействие между разными пластами повествования, топос «найденной рукописи» исторически связан в западном литературном каноне с вопросом достоверности письма: если в Античности и в Средневековье он мог служить залогом достоверности, то начиная с эпохи Возрождения этот топос выступает скорее как знак фикциональности [Herman 2020: 45—58].

Произведения Лебедева и Ныркoвой можно рассматривать в свете этой традиции лишь при некоторой оговорке. В хрестоматийных примерах («Рукопись, найденная в Сарагосе», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и др.) упоминание рукописи, как правило, ограничивается лиминальной частью произведения: ее приобретение служит обрамлением повествования, в то время как сюжет отражает предполагаемое содержание рукописи. В нашем случае содержание рукописи представлено лишь через призму ее прочтения героем. Это усложняет ее статус в тексте: рукопись выступает не как источник и гарантия достоверности рассказанного, а подвергается сомнению, дополнению, интерпретации. Тем самым в обоих произведениях топос найденной рукописи указывает на хрупкость доступа к прошлому, приобретенного потомками через ее прочтение.

Второй роман дилогии Лебедева ставит под вопрос надежность бабушкиной рукописи с первых же страниц. Прочитав ее впервые, герой подпадает под очарование. Автор рукописи оказывается не только свидетелем исторических событий, но и выступает как последний член древнего дворянского рода, выполняющий долг посредника между предками и потомками: бабушка вписывает рассказ о своей жизни в длинную хронику семейных достижений, что заставляет героя испытывать головокружительное чувство принадлежности к многовековой истории.

При последующем чтении, однако, у героя зарождаются сомнения в достоверности этого рассказа. Он вскоре узнает в подвигах предков семейные легенды. Более того, он изобличает главный принцип, по которому бабушка выстраивает и интерпретирует исторические события: они подаются как результат воздействия внешних обстоятельств, исключающих личный выбор. Автор рукописи не только лишает действующих лиц самостоятельности, но и скрывает собственную оценку событий. Поэтому стиль повествования оказывается безличным. Герой романа связывает эти особенности с бывшей профессией бабушки, редактора газеты Политиздата. Рукопись представляется ему продуктом советской практики фальсификации прошлого. Ее цель — не открытие правды, а создание положительной и назидательной версии истории.

По той же логике, неоднозначные эпизоды ее личной жизни оказываются вытесненными из повествования. Главной жертвой этой редактуры является дед Михаил, который вообще не упоминается. Ощущение неполноты рассказа о прошлом представляет собой сквозной мотив в анализируемых произ-

ведениях. В романе «Люди августа» оно становится особенно существенным при обнаружении второй, потаенной рукописи бабушки Тани. Если первая рукопись была передана герою по наследству, то вторая — приговорена своим автором к уничтожению. Она спрятана в книжном шкафу как запрещенная книга, скрыта под обложкой более приемлемого тома. В отличие от первой, эта рукопись не подвергалась редактуре: она состоит не из воспоминаний, написанных post factum, а из записок, которые велись бабушкой в молодости. При этом они не обеспечивают более прямой доступ к действительности.

В них бабушка не умалчивает о существовании деда героя. Его личность, однако, оказывается скрытой под инициалом «М.». Его союз с бабушкой представлен как жертва, принесенная невестой ради спасения ее семьи от возможных преследований. Отправившись на фронт, дед исчезает, и бабушка косвенно дает понять, что она тайно этому способствовала. Чувства вины и страха определяют непрозрачный стиль дневника, пронизанного пробелами и пустыми страницами. Вместо того чтобы раскрыть читателю тайны прошлого, найденная рукопись лишь позволяет герою понять причины бабушкиного желания ее уничтожить: информация, содержащаяся в дневнике, представляет собой скорее осколок правды, дающий отчет о масштабе утраты.

В «Заливе Терпения» Ныркovой прочтение рукописи прабабушки Ксении тоже сводится к подобной констатации: «как многого нам уже не узнать»[15]. Как и в романе Лебедева, рукопись Ксении состоит из ее воспоминаний, написанных перед смертью, и представляет собой попытку сохранить память о роде. На первой же странице Маша находит генеалогическое древо, которое включает рассказ ее бабушки о собственном опыте в более длинную семейную историю. Рукопись служит, таким образом, повествованием о происхождении: благодаря ей героиня узнает о переездах своей семьи, о жизненном пути ее членов вплоть до деда прабабушки, Макара Кузьменко, стоящего во главе семейного древа. Информация о его жизни, однако, вызывает у героини сомнения: автор рукописи утверждает, что он родился в 1805 году и стал отцом в возрасте восьмидесяти двух лет, что кажется неправдоподобным. Он представляется героине кем-то вроде легендарного основателя рода, сведения о котором ограничиваются скупым сообщением: «Свободный крестьянин. Место рождения: Полтавская губерния» (с. 20).

Краткость — качество, свойственное документу в целом. Рукопись представлена как состоящая то из четырех (с. 19), то из двенадцати листов (с. 80). Несмотря на эту неопределенность, усиливающую впечатление призрачности и волшебности артефакта, такой объем предполагает в обоих случаях, что воспоминания прабабушки являются лишь неполным отчетом об истории трех поколений. Чувство неполноты информации сопровождает героиню на протяжении всего чтения рукописи и порождает порыв к утопическому преодолению расстояния во времени:

> мне так хочется узнать, что было в голове у Ксении или членов ее семьи, когда, высадившись с немногочисленными кулями на берег острова, они пешком отправились к ближайшему поселению. <…> вот бы их сопроводить и узнать, зависнуть хотя бы призраком над их дорогой (с. 64).

---

15 *Ныркова М.* Залив Терпения. С. 124.

Понимая, что осуществить это желание невозможно, героиня обращается к единственным источникам, которые остаются в ее распоряжении: «зеркало» и «земля» (Там же). К последней категории можно отнести материальные следы прошлого: места, которые Маша посещает во время своего пребывания на Сахалине, фотографии и официальные документы (выписки из архивов и т.п.), которые порой подтверждают информацию в рукописи, а порой ей противоречат.

Это касается, например, раскулачивания семьи в 1927 году, о котором Маша не находит «никаких документальных свидетельств» (с. 50). Такое несоответствие ставит под вопрос не столько достоверность рукописи, сколько полноту самого архива. Отсутствие документального следа выявляет контраст между личным переживанием членов семьи и полным исчезновением события из официальных источников. Реконструкция прошлого выполняет, таким образом, этическую задачу: свидетельствовать о существовании забытых историей людей и восстановить личное измерение их опыта.

Изображение прошлого в «Заливе Терпения» выходит за рамки содержания рукописи: рассказчик проникает во внутренний мир своих предков и передает их разговоры. Эти сведения относятся к первому источнику, упомянутому выше, — «зеркалу», которое служит метафорой интроспекции. Иными словами, эти сведения восходят к авторскому замыслу и предполагают особое отношение текста к действительности. Текст не претендует ни на изображение реальности (représentation), ни на вольный вымысел (fiction): автор скорее рассказывает о прошлом в соответствии с собственным «представлением» о нем (figuration) [Viart 2009a: 110]. Это представление основывается не только на доступных следах прошлого, но и является результатом «проекции воображения» (imaginative investment) [Hirsch 2012: 6] на чужой опыт и эмоциональное вовлечение в него.

Рукопись как пространство взаимодействия между «собой» и «другим»

Как показывает последний пример, ознакомление с семейным прошлым связано с глубоким погружением героя в себя. Читая рукопись, составленную предком, герой сталкивается с голосом одновременно знакомым и чужим. Эта инаковость обусловлена раскрытием ранее неизвестной информации или временной дистанцией — между читателем и автором могут пролегать десятилетия. Именно в этом промежутке между близостью и отчужденностью герой переосмысляет свою идентичность.

Поиск себя и своего места в мире становится центральной темой для героини «Залива Терпения». Первоначально текст должен был представлять собой сборник личных записей и размышлений. Решение включить в сюжет семейную историю было принято лишь позже, во время его подготовки к публикации[16]. Расследование судьбы членов семьи является, соответственно, неотделимой частью самопознания героини: чтение рукописи побуждает ее заглянуть

16 *Измайлова Ю.* Мария Ныркова: «Я думаю, настало время осмыслить прошлое» // Прочтение. 2023. 25 октября (https://prochtenie.org/texts/31289 (дата обращения: 15.10.2024)).

внутрь себя и осмыслить собственный жизненный опыт через выявление параллелей с семейной историей.

Чувство привязанности к предкам перерастает порой в полное отождествление героини с ними. В частности, это касается прабабушки Ксении: «Во мне ее гены. Я — это она на какой-то процент» (с. 21). Героиня подчеркивает не только биологическую, но и более глубокую эмоциональную связь — ощущение, что частица прошлого продолжает жить сквозь нее. Ключевым моментом становится посещение могилы прабабушки.

> Ксения Пушкарева
> 1904—1980
>
> так же звали мою маму до замужества. я пальцем проглаживаю впадины букв. мама. бабушка. прабабушка. я подношу к лицу телефон, чтобы сфотографировать могилу, но открывается фронтальная камера (с. 114—115).

Посмертная встреча с предком служит не только возможностью прикоснуться к прошлому, но и источником самопознания. Имя прабабушки, выбитое на могильной плите, подчеркивает преемственность по женской линии, объединяющую четыре поколения. Тем самым фронтальная фотокамера, случайно открывшаяся вместо основной, становится метафорой наследственной связи: взгляд, устремленный в прошлое, оборачивается рефлексией о себе и своем месте в этой непрерывной цепи.

Символический переход грани между собой и другим не лишен, однако, этической проблематики: «как писать о прошлом семьи и работать с опытом других» (с. 140). Эта дилемма пронизывает насквозь все произведение. Связь, которую героиня пытается установить со своими предками, является примером «гетеропатической идентификации» — формы отождествления, которая подразумевает сопереживание чужому опыту, но при этом сохраняет дистанцию, неизбежно отдаляющую современника от жертв и свидетелей [Hirsch 2012: 85—86]. Погружаясь в семейное прошлое, Маша задумывается при этом о своей легитимности в роли рассказчика истории других: «люди, о которых я читаю, пережили слишком многое. я смущена. даже не чужесть — просто не свойскость. мысль о собственном самозванстве только усиливается» (с. 101).

Осознание разрыва с опытом предков служит не только этической основой повествования, но и путем утверждения собственной индивидуальности, позволяя героине дистанцироваться от полного отождествления с семейной судьбой. С этим связан отказ героини от «терпения» — добродетели, которая определяла отношение ее семьи к личным трагедиям и историческим потрясениям. Таким образом, воссоздание семейной истории заставляет героиню также переосмыслить собственное отношение к родине. Этому размышлению и посвящен эпилог повествования.

> родина хочет, чтобы я собрала в охапку все свои ничтожные бумаги по ее указке, как все мои предки. чтобы мой путь рабски кружился по дорогам, ведущим к обрывам и непреодолимым горам, чтобы я застревала и молила ее о прощении и помощи. <...> но каждый день. <...> я иду по ее земле и ищу то — не знаю что. среди этого незнания хранится мой дом и дом моих предков. нельзя отнять то, чего еще не коснулась наша рука (с. 184).

С одной стороны, Ныркова акцентирует преемственность между рукописью прабабушки и собственной книгой. Это родство подчеркивается изображением генеалогического древа, присутствующего как в найденной рукописи, так и в начале повествования. Оба текста объединяет общая цель — сохранить семейную память, несмотря на принудительные перемещения и забвение. С другой стороны, трансгрессивный поступок прабабушки — рассказать о прошлом семьи вопреки запретам и табу — перерастает в еще более осознанный акт сопротивления. Героиня отказывается следовать судьбе предков и принимать навязанный ей сценарий. Чувство утраты и невозможности полного овладения прошлым служит отправной точкой ее поиска, который становится для героини способом восстановить связь с семьей и утвердить свою независимость от указов родины[17].

Принятие нематериального, «невидимого наследия» (с. 21) семьи приобретает поэтому коллективное и даже политическое измерение. Это особенно ярко выявлено в дилогии Сергея Лебедева. Желание бабушки составить «беловик семейной истории»[18] воспринимается героем как намерение влиять на его судьбу и лишить его бремени прошлого: «О книга раздора, рукопись несчастий! Бог свидетель, она была создана с желанием добра: исправить надломленные судьбы потомков, избавить их от рокового наследия семьи» (с. 5). Эта попытка дает, однако, обратный результат: «Но из этого поступка, казавшегося точным, зародилось новое зерно прежнего рока. Оно сделало книгу началом дьявольской игры, простиравшейся через поколения и эпохи» (Там же). Вопреки изначальному намерению бабушки, ее воспоминания и дневник только усиливают интерес героя и способствуют его отождествлению с дедом Михаилом: «Я чувствовал, что я такой, какой я есть, дичок в семье, — его наследник» (с. 73).

Чувство близости к неизвестному деду растет по мере развития повествования. После распада СССР герой превращает исследование прошлого в свою профессию, решив поставить свои навыки и интуицию на службу тем, кто хочет узнать судьбу пропавших предков. Он стремится, таким образом, внести вклад в демократизацию страны, убежденный, что раскрытие исторических тайн должно сыграть важную роль в преображении общества и реформировании политической системы. К концу 1990-х годов герой оказывается, однако, перед сложным выбором: чтобы спасти свою девушку от преследований, он вынужден сотрудничать со службами безопасности, в чьих действиях он узнает отголоски советских репрессивных практик. В обмен на сотрудничество он получает доступ к засекреченным документам, которые проливают свет на тайны его деда. Хотя информация, содержащаяся в деле, оказывается неполной и порождает новые вопросы, причины исчезновения деда становятся более ясными: будучи агентом ЧК (позже ОГПУ и НКВД), дед Михаил был депортирован в Казахстан, где служил в местном управлении лагерей до своей смерти.

В судьбе своего деда герой с тревогой узнает отражение собственной жизни: будто клеймо, оставленное дедом, продолжает оказывать влияние на героя, обрекая его на повторение пути предка. Участь героя приобретает эмблемати-

17 Как отмечает А. Разувалова, отказ от «наследования жизненного сценария жертвы» является также важной темой в романе С. Лебедева «Гусь Фриц» [Разувалова 2021: 1347].

18 *Лебедев С.* Люди августа. М.: Интеллектуальная литература, 2016. С. 19. Далее текст цитируется по этому изданию с указанием страницы в скобках.

ческий смысл. Намерение бабушки скрыть от него историческую правду отражает более общее желание постсоветского общества избегать обсуждения темных сторон своей истории и укрываться за фасадом более удобного прошлого. Стирание судьбы деда Михаила из семейной памяти становится частью более широкого процесса — исключения виновных и палачей из официальных нарративов [Эппле 2020: 69—71]. Таким образом, попытка очиститься от прошлого оказывается предпосылкой его повторения.

Открытие, сделанное героем, пробуждает в нем стремление отказаться от предначертанной истории. Раскрытие тайны деда Михаила приводит его к осознанию собственной «причастности» (implication) к истории страны — в том смысле, который вкладывает в этот термин исследователь Майкл Ротберг: герой осознает собственную вовлеченность в систему насилия и лжи, которая тянется из прошлого в настоящее [Rothberg 2019: 79]. Для героя Лебедева осмысление этой исторической преемственности становится основой для акта сопротивления — истории, судьбе, власти, — что утверждается в его решении эмигрировать.

Впрочем, в «Людях августа» прозрение героя наступает слишком поздно: он гибнет при взрыве дома № 19 на улице Гурьянова, повторяя судьбу деда и вновь становясь жертвой той самой системы, частью которой он был. Тем самым роман подчеркивает противоречия постсоветского переходного периода: найденные героем рукописи, раскрытие исторических тайн оказываются важными, но недостаточными условиями для преодоления прошлого. Переосмысление истории страны и принятие ответственности за ее наследие не переходят в подлинное политическое действие[19].

Заключение

«Археологическое повествование» обретает в контексте современной русскоязычной литературы трансгрессивный характер, проявляющийся в трех главных аспектах. Топос «найденной рукописи» имеет в этом плане ключевое значение. Во-первых, написание рукописи осуществляется вопреки страху ее автора и нарушает долговременные запреты и табу, наложенные на передачу семейной памяти. Кроме того, герои произведений Ныркової и Лебедева сталкиваются с необходимостью интерпретировать и дополнять унаследованные ими истории, выходя за рамки, установленные предками. В конечном счете осмысление прошлого оказывается не только актом сопротивления забвению и восстановления исторической справедливости, но и способом утверждения собственной идентичности, освобождения от бремени непроговоренных травм и навязанных ролей.

Топос «найденной рукописи» раскрывает тем самым сложный процесс взаимодействия героя с семейной памятью и коллективными представления-

19 Эта мысль находит подтверждение в высказываниях самого Сергея Лебедева, который подчеркивает, что стремление интеллигенции 1990-х годов к осмыслению прошлого и его преодолению могло быть эффективным лишь при условии юридического осуждения виновных и проведения люстрации бывшей политической элиты. См. например: *Хасаиа Х.* Писатель Сергей Лебедев об ответственности за прошлое и современной России // Sova*. 2019. 29 июня.

* Исследовательский центр «Сова» внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

ми о прошлом. Прочтение рукописи героем повествования систематически порождает подозрения в ее ненадежности: узнавание прошлого семьи представлено как результат рассекречивания, расшифрования и расследования, которые подчеркивают условность приобретенного знания. В заключение важно отметить, что эта проблематика разворачивается внутри диегетического мира произведения и не затрагивает напрямую отношения самого текста к реальности. Определение доли вымышленного в обоих произведениях представляется к тому же вопросом второстепенным и, по сути, нерешаемым. Мария Ныркова указывает на биографическую основу рассказанного и причисляет свой текст к жанру «автофикшн», который, впрочем, размывает границы между фактом и вымыслом [Муравьева 2023]. При этом слово «роман» тоже присутствует в подзаголовке ее книги: «Роман о родине, которая умирает внутри нас». Лебедев определяет дилогию как фикшн. Произведение имеет, однако, автобиографическую основу[20], и анонимность повествователя усиливает впечатление его слияния с автором.

Рукопись может быть как вымышленной (как в дилогии Лебедева), так и предположительно подлинным документом (как в «Заливе Терпения»). В обоих случаях ее упоминание становится литературным топосом, отражающим особое отношение к исторической правде. Не ставя под сомнение реальность исторического события, авторы все же подчеркивают неизбежную неполноту и искаженность рассказов о нем. Поэтому оба произведения выводят на первый план личную вовлеченность потомка в процесс восстановления прошлого. Иными словами, топос «найденной рукописи» предполагает активную концепцию наследия: прочтение рукописи становится способом не только осмыслить историю семьи и страны, но и осознать собственную причастность к ней. «Археологическое» расследование семейной тайны приобретает поэтому откровенно политическое измерение. Эти тексты не только заставляют рассматривать настоящее на фоне все еще частично табуированного прошлого, но и, делая акцент на личном измерении исторического опыта, сопротивляются присвоению прошлого официальными нарративами[21].

В отличие от «Залива Терпения», роман Лебедева ставит под сомнение эффективность этого замысла. Его эпилог звучит как предостережение: восприятие обращения к прошлому семьи как политического жеста не должно создавать иллюзий относительно какого-либо реального воздействия на общество. Однако в контексте нового ограничения художественной свободы «археология» семейной памяти, бесспорно, остается одним из способов испытывать на прочность границы того, что может быть сказано.

---

20 Там же. См. также: *Лебедев С.* «Ты вымыл руки?» // Восемь миллиардов Золушек: Эссе, письма, очерки. М.: Nouveaux Angles, 2021. С. 109—118.

21 Произведения последующих поколений, такие как анализируемые нами тексты Лебедева и Нырковой, выполняют функцию, схожую с той, которую исследовательница Лори Викрой приписывает, в частности, творчеству Светланы Алексиевич, собирающей голоса свидетелей советской эпохи. В обоих случаях речь идет о признании значимости индивидуального опыта страдания, который противопоставляется доминирующим нарративам, оправдывающим насилие во имя общего блага. Таким образом, эти произведения способствуют формированию альтернативной модели принадлежности к обществу и стране, подчеркивая ценность личной истории и человеческого достоинства в противовес коллективистским идеологиям [Vickroy 2019].

Библиография / References

[Assmann 2014] — *Ассман А.* Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

(*Assmann A.* Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. Moscow, 2014. — In Russ.)

[Бараш 2021] — *Бараш Р.* Семейная память россиян перед вызовами настоящего времени. // Социально-политические исследования. 2021. № 5. С. 1326.

(*Barash R.* Semeynaya pamyat' rossiyan pered vyzovami nastoyashchego vremeni // Sotsial'no-politicheskie issledovaniya. 2021. No. 5. P. 13—26.)

[Эпле 2020] — *Эпле Н.* Неудобное прошлое: Память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

(*Epple N.* Neudobnoe proshloe: Pamyat' o gosudarstvennykh prestupleniyakh v Rossii i drugikh stranakh. Moscow, 2020.)

[Фуко 2004] — *Фуко М.* Археология знания / Пер. с. фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. СПб.: Гуманитарная Академия, 2004.

(*Foucault M.* L'Archéologie du savoir. Saint Petersburg, 2004. — In Russ.)

[Фуко 1994] — *Фуко М.* О трансгрессии // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Сост. и пер. с фр. С. Фокина. СПБ.: Мифрил, 1994.

(*Foucault M.* Préface à la transgression. Saint Petersburg, 1994. — In Russ.)

[Клоц 2024] — *Клоц Я.* Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны. М.: Новое литературное обозрение, 2024.

(*Klots Ya.* Tamizdat. Kontrabandnaya russkaya literatura v èpokhu kholodnoy voyny. Moscow, 2024.)

[Муравьева 2023] — *Муравьева Л.* Критика и вымысел: опыт автофикшна. Серж Дубровский и Реймон Федерман // Вопросы литературы. 2023. № 1. С. 41—60.

(*Murav'eva L.* Kritika i vymysel: opyt avtofikshna. Serzh Dubrovsky i Reymon Federman // Voprosy Literatury. 2023. No. 1. P. 41—60.)

[Паперно 2021] — *Паперно И.* Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах: опыт чтения. М.: Новое литературное обозрение, 2021.

(*Paperno I.* Sovetskaya epokha v memuarakh, dnevnikakh, snakh: opyt chteniya. Moscow, 2021.)

[Петров 2021] — *Петров Д.* Родословные детективы. Пособие по установлению и сохранению истории семьи и Отечества. СПб: Авторское издание, 2021.

(*Petrov D.* Rodoslovnye detektivy. Posobie po ustanovleniyu i sokhraneniyu istorii sem'i i Otechestva. Saint Petersburg, 2021.)

[Разувалова 2021] — *Разувалова А.* Жертвы советского террора в прозе Сергея Лебедева и Николая Кононова: оптика постпамяти // Quaestio Rossica. 2021. Vol. 9. № 4. С. 1332—1352.

(*Razuvalova A.* Zhertvy sovetskogo terrora v proze Sergeya Lebedeva i Nikolaya Kononova: optika postpamyati // Quaestio Rossica. 2021. Vol. 9. No. 4. P. 1332—1352.)

[Frank 2019] — *Frank S.K.* Natural Archives as Counter Archives: Gulag Literature from Witness to Postmemory // Artic Archives. Ice, Memory and Entropy: Transcript publishing / Ed. by S.K. Frank and K.A. Jakobsen. Bielefeld: Verlag, 2019. P. 285—310.

[Herman 2020] — *Herman J.* Essai de poétique historique du roman au dix-huitième siècle. Leuven: Peeters, 2020.

[Hirsch 2012] — *Hirsch M.* The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2012.

[Koposov 2018] — *Koposov N.* Memory Laws, Memory Wars: The Politics of the Past in Europe and Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

[Marsh 1995] — *Marsh R.J.* History and Literature in Contemporary Russia. London: Macmillan, 1995.

[Marsh 2007] — *Marsh R.J.* Literature, history and identity in post-Soviet Russia, 1991—2006. Oxford: Peter Lang, 2007.

[McGlynn 2023] — *McGlynn J.* Memory makers: the politics of the past in Putin's Russia. London: Bloomsbury Academic, 2023.

[Panico 2024] — *Panico M.* Sul concetto di postmemoria // Rileggere Marianne Hirsch / Ed. by M. Panico. Bologna: Il Mulino, 2024. P. 7—56.

[Rothberg 2019] — *Rothberg M.* The Implicated Subject: Beyond Victims and Perpetrators. Stanford: Stanford University Press, 2019.

[Smola, Kukulin, Bachmaier 2024] — *Smola K., Kukulin I., Bachmaier A.* Introduction // (Counter-) Archive: Memorial Practices of the Soviet Underground / Ed. by K. Smola, I. Kukulin, A. Bachmaier. Cham: Palgrave Macmillan, 2024.

[Sorvari 2022] — *Sorvari M.* Displacement and (Post)memory in Post-Soviet Women's Writing. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

[Viart 2023] — *Viart D.* Gammes de mémoire: Pour une typologie de la mémoire en littérature contemporaine // Carnets. 2023. No. 26 (http://journals.openedition.org/carnets/14829 (accessed: 15.10.2024)).

[Viart 2009a] — *Viart D.* Le silence des pères au principe du «récit de filiation» // Études Françaises. 2009. Vol. 45. No. 37. P. 95—112.

[Viart 2009b] — *Viart D.* Nouveaux modèles de représentation de l'Histoire en littérature contemporaine // La Revue des lettres modernes. Nouvelles écritures littéraires de l'Histoire. 2009. P. 11—39.

[Vicroy 2019] — *Vickroy L.* A Russian Poetics of Trauma: Encounters with Death and the Literary Reclamation of the Individual // Journal of Literature and Trauma Studies. 2019. Vol. 8. No. 1. P. 103—129.

Илья Калинин

Советская нефть и русский космизм:

ПОЛИТЭКОНОМИЯ ТРАНСГРЕССИИ*

Ilya Kalinin

Soviet Oil and Russian Cosmism: The Political Economy of Transgression

Илья Калинин (приглашенный исследователь Гумбольдтовского университета в Берлине) ilya.kalinin1975@gmail.com.

Ключевые слова: нефть, трансгрессия, русский космизм, Андрон Кончаловский, «Сибириада»

УДК: 304.2
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_228

Статья посвящена рефлексии о нефти, характерной для позднесоветской культуры. Все более возрастающая роль нефти для советской экономики 1950—1970-х годов сталкивалась с нежеланием советского руководства признавать ресурсную зависимость социалистического государства, артикулирующего свою политическую идентичность на языке модернизации. Отказ от этого признания на уровне экономической и социально-политической рациональности приводил к мифологизации и фетишизации нефти на уровне культурной репрезентации, воспроизводившей симптомы этой вытесненной в коллективное бессознательное зависимости. Одним из наиболее ярких примеров позднесоветской петропоэтики стал киноэпос Андрона Кончаловского «Сибириада» (1978). Описание производимых в нем трансгрессивных ходов, нарушающих позднесоветские культурные конвенции, ведет к обнаружению таких художественных и идейных пластов, наличие которых не могло быть предусмотрено в рамках официальной советской культуры.

Ilya Kalinin (Visiting Researcher, Humboldt University in Berlin) ilya.kalinin1975@gmail.com.

Key words: oil, transgression, Russian cosmism, Andron Konchalovsky, “Siberiade”

UDC: 304.2
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_228

The article is devoted to reflections on oil, characteristic of late Soviet culture. The ever-increasing role of oil for the Soviet economy of the 1950s—1970s collided with the reluctance of the Soviet leadership to recognize the resource dependence of the socialist state, articulating its political identity in the language of modernization. The refusal to recognize this at the level of economic and socio-political rationality led to the mythologization and fetishization of oil at the level of cultural representation, reproducing the symptoms of this dependence repressed into the collective unconscious. One of the most striking examples of late Soviet petropoetics was Andron Konchalovsky’s film epic Siberiade (1978). The description of the transgressive moves made in it, violating late Soviet cultural conventions, leads to the discovery of artistic and ideological layers, the presence of which could not be envisaged within the framework of official Soviet culture.

Памяти моих друзей, однокурсников и коллег Андрея Щербенка (1974—2025) и Дениса Ахапкина (1969—2025), навсегда оставивших во мне свой отпечаток.

Осень социализма: стабильность ⟷ трансгрессия

Скорее всего, среди первых ассоциаций с периодом советской истории, относительно уютно расположившимся между оттепелью и перестройкой, не будет

* Я хотел бы поблагодарить The Jordan Center for the Advanced Study of Russia (NYU) за возможность закончить работу над этой статьей.

места таким понятиям, как эксцесс, беспредельная активность, располагающаяся по ту сторону рацио, скандальное нарушение границ, трансгрессия или «преодоление непреодолимого предела» (как определял трансгрессию Морис Бланшо, ссылаясь на работы Жоржа Батая [Бланшо 1994: 72]). Историографическая традиция и коллективная память определяют этот период как «эпоху застоя», то есть скорее как время утверждения, а не нарушения нормы, закона, порядка. То, что принято называть «реальным социализмом», предстает как рутинизация в прошлом радикального социального проекта, как торжество бюрократической энтропии над революционной энергией, как стабильность, пришедшая на смену сорокалетней гражданской войне и оттепельным попыткам перезапустить паровой котел революции. Реальность середины 1960-х — середины 1980-х сделала линию горизонта социализма низкой как ноябрьское небо, нависающее над колыбелью трех революций. Постепенное затухание исторического движения, сменившего сдвиг на повтор, ощущалось не столько как подмораживание кристалла, сколько как застывание желе. И все же эта распространенная и не лишенная оснований репутация, задним числом поставившая эпохе диагноз гиподинамии[1], не позволяет увидеть под желатиновой поверхностью позднесоветского «застоя» ту динамику, которая в действительности накапливалась в его недрах, постепенно, но тщательно разъедая основания порядка, в тот самый момент казавшегося как никогда прочным[2].

Возможность совмещения в общей аналитической перспективе социокультурной эмпирики позднесоветского застоя и феномена трансгрессии — теоретически актуализированного французскими философами, в той или иной степени находившимися в диалоге с Гегелем [Butler 1987], — позволяет заглянуть в подвижные пласты, казалось бы, окаменевшего социалистического ландшафта, попутно расширив границы понимания самой трансгрессии. Если видеть в трансгрессии только *манифестированное нарушение* запрета — «пространство перехода от одного фиксированного состояния к другому» [Подорога 2000—2001], то ее сложно обнаружить в регулярных событиях перехода от восьмой пятилетки к девятой, от девятой — к десятой и так далее, вплоть до двенадцатого пятилетнего плана, принятого в 1986 году. Но и на этом уровне хотя бы частичная синхронизация экономической реальности и реальности экономического планирования спорадически требовала перенапряжения сил, по своему несоответствию классической рациональности сопоставимого с батаевской растратой.

Вопрос в том, может ли трансгрессия воплощаться в иных формах, нежели те, через которые ее обычно описывают, говоря о чрезмерности, экстатической конвульсивности, «мощи негативного» [Фуко 1994: 118]. Может ли движение трансгрессии развертываться не через эксцесс, а через эрозию, не через скандал, делающий скрытое явным, а через саботаж, меняющий явное скрытым образом. И если стабильность является первоначальным условием трансгрес-

---

1 Одноименная песня Валерия Леонтьева, вышедшая в 1986 году, очевидно несла в себе этот исторический подтекст, утверждая социальные императивы новой эпохи: «Просыпайся рано, просыпайся рано / Прочь скорей с дивана, прочь скорей с дивана / От телеэкрана, от телеэкрана прочь!» Дождемся ли мы нового всплеска популярности этой песни? «Последний шанс судьба тебе дает / А ну смелей вперед / И в зной, и в дождь, и в снег».

2 См. проблематизацию общепринятых представлений о «застое» в специальном номере журнала «Неприкосновенный запас» — «Длинные 1970-е: динамика “застоя”» [НЗ 2007].

сии, то возможна ли трансгрессия как оборотная сторона стабильности? Возможна ли трансгрессия как невидимое на лексической поверхности дискурса преодоление его грамматических правил?[3]

Наиболее вероятное направление поиска элементов трансгрессии в социальной формуле стабильности длинных 1970-х ведет в сторону более или менее заметных отступлений от различного рода норм, определяющих образцовую модель социалистического общества (индивидуализм, консюмеристский этос, национал-патриотические или либерально-демократические девиации, поиск духовных корней или практики расширения сознания, эстетическая ориентация на традиционализм или модернизм, сусальная апология допетровской Руси или медитативный энтузиазм New Age, наступление которого никак не связывалось с коммунистическим будущим). Однако угрожающая энергия трансгрессии может быть обнаружена в политэкономическом ядре позднесоветского строя, в основании его благополучия и последующего распада — в источнике, окрасившем осень социализма в краски черного золота.

Политическая переработка нефти: между модернизацией и консервацией

Советская история и история советской нефти соотносятся друг с другом не просто как целое и его часть. Их связывают более сложные отношения, которые можно сравнить скорее с отношением между механизмом и энергией, приводящей его в движение, обеспечивающей его функционирование и в то же время способной его разрушить изнутри. С самого начала советской истории выступая в качестве одного из важнейших энергетических ресурсов социалистической модернизации, в конце концов нефть сработала как один из основных факторов ее замедления и остановки. И дело здесь не только и даже не столько в недостатках советского планирования или в фундаментальной ущербности плановой экономики как таковой. Непосредственной причиной этой негативной диалектики, провернувшей отношения между нефтью и модернизацией на 180 градусов, было включение нефти в сеть политических и идеологических отношений, сделавшее ее заложницей концептуальных дог-

3 Алексей Юрчак, характеризуя специфику коммуникативного пространства позднесоветского общества, пишет о «перформативном сдвиге», механизм которого основан на возможности наполнения новыми смыслами авторитетного идеологического дискурса, остающегося неизменным с формальной точки зрения [Юрчак 2014: 29—165]. Описываемые им «пространства вненаходимости» (понятийно очерчиваемые со ссылкой на работы М. Бахтина), которые возникают в результате «перформативного сдвига», могут быть описаны и в терминах трансгрессии, концептуальная разработка которой во второй половине XX века также не избежала референций к теоретическому наследию Бахтина (его концепциям полифонического романа, карнавала, гротескного тела). Однако если аналитическая оптика «перформативного сдвига» позволяет зафиксировать разрыв, который возникает между официально закрепленным значением высказывания, сделанного в рамках авторитетного дискурса, и тем контекстуальным значением, которое укоренено в непосредственной позиции его субъекта (в пространстве его вненаходимости по отношению к официальной грамматике этого дискурса), то через призму трансгрессии становятся видны внутренние отмены семантических границ, определяющих механизмы смыслопроизводства, конститутивные для данного авторитетного дискурса.

матов об индустриальном базисе социалистической экономики, требовавших доминирования производства средств производства (отрасли группы «А») над производством конечных товаров, потребляемых населением страны (отрасли группы «В»)[4].

Открытие богатейших месторождений Западной Сибири на рубеже 1950—1960-х годов и последующее политическое решение о принципиальном увеличении доли экспортируемой нефти (и газа) позволили на протяжении 1970-х годов замаскировать и смикшировать дисбаланс между этими двумя типами производства [Карпов, Гаврилова 2002; Славкина 2002: 131—175]. Теперь нефть стала не только энергетическим ресурсом, она превратилась в текучую материю, позволяющую удерживаться на плаву не только социалистической экономике, но и позднесоветскому обществу, которое пусть и с отставанием, пусть и в условиях дефицита привыкало к потребительским стандартам современной жизни, — при том, что местное производство соответствующих товаров все больше отставало от этих стандартов. В то время, как экономики Первого мира совершали качественный технологический скачок, опираясь прежде всего на производство потребительских товаров и услуг (инвестируя основные средства в создание новых — в том числе информационных — технологий и в человеческий капитал[5]), социалистическая экономика продолжала ориентироваться на параметры модернизации, характерные для эпохи становления крупной тяжелой промышленности. Парадоксальным образом именно извлеченная из глубин далекого геологического времени нефть позволяла искусственно заполнять зияние между расходящимися все дальше друг от друга тектоническими плитами индустриального модерна конца XIX — первой половины XX века и высокотехнологичного постиндустриального модерна, заявившего о себе на рубеже 1960—1970-х годов.

Мощные потоки нефти были использованы советским руководством в качестве экономической субстанции, обильно смазывающей все более дряхлеющую и громоздкую политэкономическую машину позднего социализма. Наличие этих произведенных геологическим временем углеводородных запасов позволило откладывать на будущее структурные социально-экономические реформы, покрывая за счет накопленных природой богатств технологическое отставание, низкую производительность труда, товарный дефицит, неэффек-

4 Речь идет о сформулированном Марксом и развитом Лениным «экономическом законе расширенного воспроизводства», предполагающем опережающие темпы роста производства средств производства для производства средств производства над всеми остальными отделами общественного производства. Попытку структурного перехода к опережающему росту производства продукции группы «В», которую предлагал Госплан во главе с Николаем Байбаковым (1911—2008) в рамках разрабатываемой программы девятой пятилетки (1971—1975), не поддержало Политбюро во главе с Л. Брежневым. Это решение привело к необходимости форсированного развития советского нефтяного комплекса (позволявшего импортировать товары народного потребления, покупая их на вырученные нефтедоллары) и одновременно ко все большей стагнации экономики в целом. Об этом см.: [Байбаков 1993: 116—138]. Байбаков — ключевая фигура как в истории советской нефтяной отрасли (руководил ею с конца 1930-х по середину 1950-х), так и в истории экономического планирования (возглавлял Госплан с середины 1950-х по середину 1980-х). О нарастающих проблемах советской экономики см. также: [Митрохин 2023].

5 Основные элементы этого структурного перехода к постиндустриальному обществу были описаны в классических работах: [Bell 1973; Toffler 1980].

тивное расходование средств и плохую согласованность в деятельности управленческого аппарата советского хозяйства[6].

Эту трансформацию макроэкономического функционала нефти в советской экономике можно описать следующим образом. Вплоть до 1960-х годов советская нефть производила энергию, которая обеспечивала развитие социалистической индустриальной экономики, развивающейся в рамках глобальных экономических трендов. Но с конца 1960-х ситуация начала все быстрее меняться, и в рамках ее изменившихся координат стало меняться и то структурное значение, которым наделяла нефть советская экономическая система. На уровне официального экономического дискурса и языка политической пропаганды нефть была по-прежнему включена в прогрессистский энергетический диспозитив модернизации, ускоренного роста, прорыва в коммунистическое будущее. Однако на уровне экономических и управленческих практик реального социализма она постепенно утрачивала роль энергетического ресурса *модернизации*, все больше превращаясь в смазочный материал *консервации*, позволяющий стареющей системе продолжать функционировать, не прибегая к обновлению. Таким образом, политэкономическая переработка одного и того же природного ресурса в различных структурных контекстах могла производить эффекты, принципиально различные по своим социальным качествам: ее продуктом могла быть как энергия, так и энтропия. Помимо этого, потоки нефти, экспортируемой за пределы советского блока и, казалось бы, ничем не отличающиеся от нефти, усваиваемой советской экономикой, подтачивали границы, которые разделяли капиталистический и социалистический типы модерности [Arnason 1993; David-Fox 2015], посредством инфраструктуры трубопроводов и банковских трансфертов подключая нефтяную современность социализма к Petromodernity [LeMenager 2014] глобализирующегося капитала.

В 1960—1980-е годы культурная логика позднего капитализма училась перерабатывать материальность нефти, которая двигалась внутри сети капиталистических рыночных отношений и (нео)либеральных практик и ценностей, в динамичную абстракцию финансового капитала [об этом см.: Mitchell 2011], актуализируя такие ее свойства, как текучесть и химическую метаморфируемость, наделяя их магической связью с богатством [Wilson, Carlson, Szeman 2017; Szeman 2019; Coronil 1997] и с трансграничностью текучей современности [Bauman 2000]. В то же самое время в СССР добыча социалистической нефти по-прежнему ассоциировалась с тяжелой промышленностью, вставая в один ряд с показателями по добытому углю, выплавленной стали и чугуну, являясь скорее метонимией труда, нежели метафорой капитала. Точно так же, как советская нефтехимическая промышленность испытывала трудности с глубокой переработкой нефти (как в сфере производства легких фракций, так и в сфере производства искусственных материалов [Славкина 2002: 156—157]), нуждаясь

6 Те же самые фундаментальные проблемы социалистической экономики и управления отражались и в развитии того самого Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, создание которого позволяло долгое время закрывать глаза на эти проблемы. Большую часть развернутого очерка, рассказывающего о сибирской нефти многомиллионной аудитории авторитетного советского литературно-художественного журнала, тюменский журналист и писатель Константин Лагунов (в 1970-е годы он напишет несколько романов о поисках, открытии и разработке сибирской нефти) посвятил критике того, как организована ее добыча [Лагунов 1966].

для этого в импортных технологиях, культурная логика позднего социализма видела в нефти прежде всего ее физическую материальную сущность, измеряемую в миллионах тонн[7], а не подвижные потоки расщепленных углеводородных молекул и виртуальных долларов, вступающих друг с другом во множество социотехнических и химико-политических ассамбляжей и трансакций. Лишь часть советской нефти, проданная на внешних капиталистических рынках, вносила в социалистическую повседневность суррогатные формы постиндустриальной современности, знакомя советских потребителей с ее массовыми товарными образцами.

Так что пик социалистической нефти (в 1975 году СССР занял первое место в мире по ее добыче) оказался зеркально отражен в провале экономического и социального развития: нефтяные глубины, которые героически штурмовали советские нефтяники, обеспечивали рост добычи, который позволял компенсировать последствия технологического отставания от ведущих мировых экономик и низкий уровень производства товаров народного потребления (включая продовольствие), не удовлетворяющий внутренний спрос. Возможность такого рода компенсации (экспорт ресурсов — импорт товаров и технологий) приводила к еще большему отставанию, которое требовало штурма еще более бездонных «зияющих глубин» и еще более труднодоступных месторождений, хранящих еще более богатые нефтяные запасы, — и так все дальше вниз по спирали деградации.

Нефть: между экономической рациональностью и символической фетишизацией

Триумф и трагедия советского нефтегазового сектора были связаны друг с другом не только механически как последовательные звенья цепи, в которой ускоренное освоение уникальных месторождений в 1960-е — первой половине 1970-х годов при снижении темпов бурения новых скважин с меньшим дебитом привело к преждевременному истощению наиболее богатых нефтяных площадей и резкому замедлению роста добычи к середине 1980-х [Славкина 2002: 75—82]. Триумф нефтегазового сектора оказался диалектическим двойником фиаско социалистической экономики, не только предметом ее сознательной гордости, но и ее бессознательным ядром, позволяющим осуществлять желания (геополитическое влияние, военную мощь, рост потребления), скрывая от самой системы не слишком презентабельный — для модернистского по своему происхождению проекта — источник их реали-

7 Единственной формой социалистической «дематериализации» нефти были отчеты о достижениях в нефтедобыче, где ссылки на показатели роста функционировали в режиме, напоминающем кантовское математическое возвышенное. Ср.: «Сто лет понадобилось Баку, чтобы выйти на уровень добычи в 30 миллионов тонн нефти в год. Западная Сибирь достигла такого уровня всего за шесть первых лет эксплуатации своих месторождений! Пятнадцать лет потребовалось Татарии, чтобы довести годовой уровень добычи нефти до 100 миллионов тонн. Тюмень превысила стомиллионный рубеж всего за четыре года девятой пятилетки» (Правда. 1975. 2 февр.); «Сто лет добывали первый миллиард тонн промысловики Азербайджана, четверть века потребовалось для этого же нефтяникам Татарии. Тюменцы достигли такого рубежа за тринадцать с небольшим лет» [Байбаков 1984: 330].

зации: обмен отечественного природного сырья на продукты, произведенные современной зарубежной индустрией, включая модернизированное сельское хозяйство, обмен прошлого (накопленного за миллионы лет ресурса) на настоящее.

Советское руководство выстраивало свои отношения с нефтью, опираясь на механизмы, во многом схожие с теми, которые Зигмунд Фрейд описал в своей статье «Фетишизм» (1927), обозначив их через понятие «дезавуирование» (Verleugnung) [Фрейд 1992: 372—379]. Работа этого защитного психологического механизма, согласно Фрейду, сводится к расщеплению субъекта, одновременно признающего и отрицающего реальность: «Я прекрасно знаю, что нечто обстоит определенным образом, но воспринимаю ситуацию и действую, исходя из того, что это не так». В этом смысле нефтегазовый *комплекс* советской экономики был таковым не только в индустриальном, но и в психоаналитическом смысле — иными словами, он был совокупностью взаимосвязанных, аффективно окрашенных, отчасти осознаваемых, отчасти бессознательных элементов (императивов, идей, представлений, фантазмов), которая обусловливала общий вектор работы позднесоветского народного хозяйства. Нефть оказывалась одновременно и сознательной внешней целью, на которую коммунистическая партия ориентировала соответствующую отрасль[8], и внутренним условием функционирования коллективной psyche позднесоветского общества[9]. Однако официально признать структурную (едва ли не конститутивную для позднесоветской экономики) роль нефти, пропитывавшей все большую сферу хозяйственных и социальных отношений, партия не могла, подвергая этот факт отрицанию (в смысле фрейдовского Verleugnung) и вытесняя его в *экономическое бессознательное*[10], внутри которого происходило воображаемое снятие противоречий, неразрешимых в рамках реально существующих экономических практик.

Партийное руководство прекрасно понимало, что экономическое состояние страны все более фундаментальным образом зависит от объемов добытой нефти, и требовало от нефтяников все новых миллионов тонн этой субстанции, обмениваемой на товары народного потребления и продовольствие, которые не могла произвести советская промышленность и сельское хозяй-

---

8 Ср.: «Директивы XXIII съезда КПСС [съезд 1966 года, на котором было принято решение создать крупный народнохозяйственный комплекс на территории Западной Сибири на базе вновь открытых месторождений нефти и газа. — *И. К.*] воплощаются в новый пятилетний план — строго продуманный, научно обоснованный, точно учитывающий экономический потенциал, реальные возможности страны и жизненные нужды народа» [Лагунов 1966: 197].

9 «В Сургуте [старинный русский город, который с начала 1960-х годов стал одним из центров создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. — *И. К.*] говорят о нефти все и всюду: и на свадебном пиру, и на поминках, и в клубе, и в школе, и в автобусе» [Там же: 202].

10 Я использую это понятие, ориентируясь на два аналитических горизонта, один из которых носит более широкий, а другой — более узкий характер. Первый опосредован понятием «политическое бессознательное», с помощью которого Ф. Джеймисон описывал подвижную систему идеологических противоречий, ищущих разрешения внутри конкретного текста или определенного дискурса [Jameson 1981]. Второй связан с более практической перспективой исследований роли бессознательного в экономическом поведении и принятии решений [Wolozin, Wolozin 2007: 856—864].

ство[11]. Но одновременно с этим оно действовало, исходя из убежденности в том, что созданная в СССР социоэкономическая модель является наиболее прогрессивной и передовой. Поэтому факт все более глубокой укорененности социалистической системы в подземных нефтяных резервуарах, зависимости советской «надстройки» от ресурсного «базиса», накопленного природой, а не произведенного человеком, был слишком тяжел и неудобен для признания. Обойти его помогали защитные механизмы, позволяющие либо отрицать реальность этого факта, либо минимизировать его значение, либо переопределять *добычу* нефти в терминах ее *производства*, маскируя истинный характер ресурсной индустрии.

Советское общество продолжало стремиться в космос, отрицая то, что само его существование все больше зависит от нефтяных кладовых, спрятанных глубоко под землей. Идеологическая *грамматика языка*, на котором разговаривало это общество, по-прежнему ориентировалась на «светлое будущее», отрицая то, что его повседневность (его социальный «*речевой*» *праксис*) обеспечивается запасами «темного прошлого», сконцентрированного в углеводородном сырье.

Чем выше становилась зависимость социалистической экономики от добываемой в советских недрах нефти, тем больше усилий требовалось для того, чтобы отрицать этот факт на уровне официально артикулируемой экономической и политической повестки (его официальное признание означало бы признание провала существующей экономической модели), все больше зависящей от мировой капиталистической экономики и от невидимой для советских граждан руки глобального рынка, с которым советское общество все более тесно связывали вполне видимые реки нефти, перетекающие из глубины сибирских месторождений в цистерны европейских нефтеперерабатывающих заводов, чтобы вернуться обратно в виде потоков зерна и ручейков дефицитных потребительских товаров[12]. Чем больше усилий затрачивалось на вытеснение этого признания, на расщепление и расподобление модусов взаимодействия с этой реальностью (экономическая опора на нефть и политическое отрицание ресурсной зависимости и ее разрушительных эффектов), тем большие объемы вытесненной энергии скапливались в бессознательном позднесоветской культуры, прорываясь в ее отдельных образцах в качестве симптомов этого вытеснения.

---

11 В середине 1970-х годов Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин мог обращаться к начальнику «Главтюменьнефтегаза» В.И. Муравленко с такими «просьбами», не предусматривающими отказа: «С хлебушком плохо — дай 3 млн. тонн сверх плана» (из интервью В.М. Славкиной с В.И. Грайфером, который в те годы возглавлял планово-экономическое управление Министерства нефтяной промышленности СССР). Цит. по: [Славкина 2002: 193].

12 Собственно, сама эта зависимость экономики от добычи углеводородных ресурсов не является чем-то уникальным и характерным исключительно для позднего СССР. Эта зависимость, ее механизмы и последствия хорошо описаны и получили метафорическое название the oil curse (Ross 2012). Мое обращение к психоаналитической схеме Verleugnung призвано лишь внести в описание этой зависимости еще один фактор, связанный с ее отрицанием (точнее, дезавуированием), что было в особенности характерно для позднесоветского официального дискурса и декларативно проводимой экономической политики, в принципе неспособных признать эту зависимость по идеологическим основаниям. Политическое дезавуирование этой экономической реальности и приводило к трансгрессивному нарушению внутренних дискурсивных пределов советской культуры.

Напряжение, которое возникало между тем исключительным значением, которое придавалось добыче нефти в СССР, и той фактической ролью, которую она играла в его поздний период (ролью энергетического ресурса, вместо модернизации социалистической экономики ведущего к ее стагнации и нарастающему кризису) и которую отказывалось признавать политическое руководство страны, выплескивалось в пространство культуры вместе с нефтяными потоками. Давление, под которым в социальном воображаемом скапливались вытесненные за пределы официального политэкономического дискурса представления о нефти, приводило к тому, что продукты ее культурной переработки взламывали художественные и идеологические нормы официальной советской культуры, концентрируя в себе различного рода утопические и мистические, историософские и метафизические смыслы.

Реакцией на эти защитные механизмы отрицания стала неизбежная фетишизация и мифологизация нефти, которую можно обнаружить не только в постсоветской (см.: [Kalinin 2015; Калинин 2019]), но уже и в позднесоветской культуре (см.: [Kalinin 2023а; Kalinin 2023б; Литовская 2010; Снежко 2022]). Причем ее фантазматическое присутствие можно обнаружить на разной глубине залегания. Нефть наполняет неподцензурные андеграундные пласты позднесоветской культуры, протекая сквозь стихи ленинградского поэта Александра Миронова (1948—2010), переплетавших нефть и смерть в онтологии биохимических и лингвопоэтических трансформаций, тонко описанных в эссе Алексея Конакова: «ночью закроешь глаза — темный поток мутно-сладкий: / то приварилась слеза / к небу графленой сетчатки / кровосмесительный вид: / море в горячке пожарной / — нефть золотая горит / сердце земли леденит / черный раствор тринитарный» (цит. по: [Конаков 2019: 63]). Однако в не менее фантазматических формах нефть прорывается и на конвенциональную, кодифицированную поверхность советской культуры, как это можно видеть в документальном жизнеописании одной из ведущих фигур советской нефтяной промышленности: «Муравленко[13] представил это первое нефтяное озерцо на берегу Конды [речь идет об открытии первого в Западной Сибири Шаимского месторождения. — *И.К.*]. Черное зеркало его будто вобрало небо, тайгу, людей, весь мир. Сколько лет искали нефть в таежных дебрях, болотах Сибири! ...И вот — нашли ее — свою нефть, вдохнули ее запах, умылись...» [Юрасова 1981: 80]. Нефть действительно представала «черным зеркалом», в котором отражались не только небо и тайга, но и вся позднесоветская экономика, отказывающаяся в него смотреться, и позднесоветский субъект, видевший в нем лишь то, что он хотел в нем увидеть.

Одним из принципиальных темпоральных эффектов этого нефтяного зазеркалья были исключительные объемы свободного времени, наличие которого является едва ли не самым характерным признаком эпохи и одним из непременных мотивов последующих мемуарных ретроспекций. Причем речь в равной степени идет и о свободном времени, инвестируемом в неофициальную культуру (тот же Миронов, как и многие другие представители культурного андеграунда, был оператором газовой котельной — работа, ценимая за обилие

13 М.И. Муравленко (1912—1977) — легендарная фигура советской нефтяной промышленности, один из главных организаторов освоения Западно-Сибирских нефтяных и газовых месторождений, директор крупнейшего в нефтяной промышленности СССР предприятия «Главтюменьнефтегаз» в 1965—1977 годах.

свободного времени, в том числе и непосредственно на рабочем месте[14]), и о свободном времени, возникающем в порах рабочего дня социалистической трудовой активности (что неоднократно становилось предметом культурной рефлексии, будь то лирическая сатира Эльдара Рязанова «Служебный роман», 1977 или экзистенциальная драма Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», 1983). Объемы этого свободного времени, ставшие значимым фактором низкой производительности труда, должны были довольно быстро привести к негативным экономическим последствиям, вместо которых, напротив, на протяжении трех десятилетий, предшествовавших перестройке, наблюдался рост потребления и благосостояния советских граждан. Разрыв между низкой производительностью труда и повышающимся уровнем жизни (в том числе и по показателю количества свободного времени) покрывался за счет продажи углеводородов на внешних рынках. Этот компенсаторный механизм можно рассматривать на двух уровнях. Его внешний уровень обеспечивает избыток свободного времени и смягчает эффекты низкой производительности труда за счет нефтегазовых доходов, создающих видимый экономический рост, скрывающий ущербное функционирование экономики. Его внутренний уровень состоит в обмене между двумя типами темпоральности, регулирующем переход потенциала геологического времени в актуальность времени социального. Именно благодаря этой техно-социальной конвертации резко увеличившийся объем свободного времени позднесоветских граждан становился производным от извлеченного на поверхность земли ресурса, накопившего энергию миллионов геологических пятилеток; так что это свободное время стало общественным благом, доставшимся советскому человеку благодаря «рабочему времени» природных процессов.

Все эти формы трансгрессии, смещающие со своих прежних мест и экономическую рациональность, и социальные рутины, и ценностные горизонты, приводили к тому, что в культуре 1970-х — первой половины 1980-х годов возникло подспудное перетекание нефти за пределы тех границ, которые были отведены ей материально-экономической программой социализма и поэтикой социалистического реализма. Подвижная нефтяная сердцевина, вокруг которой выстраивались нарративные и тропологические цепочки романов и повестей, документальных и игровых фильмов, рассказывающих о «буднях советских нефтяников», становилась генератором мотивов, трансформирующих и переосмысляющих нормативные представления об индустриальных социалистических преобразованиях и поединке с природой, стоящей на их пути. Довольно неожиданным образом нефтяные поля оказывались местом встречи и взаимной контрапунктической диффузии между соцреалистическими идеологическими и художественными архетипами [Clark 1981] и традиционалистской исторической рефлексией, экологической и этнокультурной (протопостколониальной) чувствительностью и авангардным техноутопизмом. Возникающий в результате нефтехимический синтез одновременно и производил

14 В 1987 году Борис Гребенщиков* напишет песню «Поколение дворников и сторожей», в которой подпольные складки автономии, образуемые между официальной профессиональной принадлежностью и творческим призванием, также окажутся пропитаны нефтью и ее фантазматическими испарениями: «В наше время, / Когда каждый третий — герой, / Они не пишут статей, / Они не шлют телеграмм, / Они стоят как ступени, / Когда горящая нефть / Хлещет с этажа на этаж, / И откуда-то им слышится пение. / И кто я такой, чтобы говорить им, / Что это мираж?»

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

новые культурные соединения, и актуализировал специфику изначальных элементов, из которых они состояли[15].

Примерами такого нефтекультурного синтеза стали романы Александра Проханова «Кочующая роза» (1976) и «Место действия» (1980); Константина Лагунова «Ордалия» (1970), «Одержимые» (1973), «Больно берег крут» (1978); Георгия Маркова «Сибирь» (1972); Еремея Айпина «В ожидании первого снега» (1980) и «Ханты, или Звезда утренней зари» (1990); Владимира Колыхалова «Кудринская хроника» (1982), а также кинофильмы: трехсерийный фильм режиссера Александра Прошкина «Стратегия риска» (1978) и фильм, снятый по роману Проханова «Место действия» (1983, режиссер Анатолий Граник).

Хотя я привел далеко не полный список таких примеров, я сосредоточусь не на перечисленных в нем книгах и фильмах, а лишь на одном случае культурной переработки нефти — киноэпосе Андрона Кончаловского «Сибириада» (1978) и одноименном «киноромане» Кончаловского и Валентина Ежова, опубликованном двумя годами ранее [Ежов, Михалков-Кончаловский 1976].

«Сибириада»: мифология «черной жижи»

> ...что все это было в старину, когда и камни в недрах земли, и планеты в выси небесной — все были озабочены в судьбе человека, а не нынче, когда и в небесах горе, и под землею — все охладело к судьбе сынов человеческих и несть им оттуда ни гласа, ни послушания. Все вновь открытые планеты уже не получили никаких должностей для гороскопов, много есть и новых камней, и все они смерены, свешены, сравнены по удельной тяжести и плотности, и затем ничего они нам не вещают, ни от чего не пользуют. Прошел их черед говорить с человеком...
>
> *Николай Лесков. Александрит*

История создания этого фильма вполне укладывается в идеологическую прагматику советского искусства. Ее отправной точкой стал непосредственный пропагандистский заказ, идущий от советского руководства. Главу воспоминаний, рассказывающую о съемках «Сибириады», режиссер начинает именно с этого эпизода: «Летом 1974 года меня вызвал к себе Ермаш[16] и предложил поставить фильм к съезду партии — о нефтяниках Сибири» [Кончаловский 1999: 143]. По его собственным словам, в этот момент он уже готовился к экранизации «Вишневого сада» А. Чехова с Джиной Лоллобриджидой в главной роли, но решил принять предложение, идущее от кинематографического начальства. Новейшая история, связанная с открытием сибирской нефти и пафосом социалистического

15 Ср.: «Предел и трансгрессия обязаны друг другу плотностью своего бытия; не существует предела, через который абсолютно невозможно переступить; с другой стороны, тщетной будет всякая трансгрессия иллюзорного или призрачного предела» [Фуко 1994: 117].

16 Филипп Ермаш (1923—2002) — председатель Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии (1972—1978), председатель Государственного комитета СССР по кинематографии (1978—1986).

строительства, перевесила чеховскую меланхолическую историю раннего русского капитализма. У этого выбора была и своя «ресурсная прагматика»: съемки такого рода фильма предполагали и масштабное финансирование, и доступ к редким для советских режиссеров техническим возможностям (для этого проекта была специально закуплена кинопленка «Кодак»), а главное — о чем намекает сам режиссер в своих воспоминаниях — в случае успешного выполнения задачи ему было обещано разрешение на отъезд в США и работу в Голливуде (обещание было выполнено: в 1979 году фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля, в 1980 году Кончаловский уехал в Калифорнию).

Однако начав с освоения непосредственного документального материала, связанного с недавней индустриальной историей, авторы «киноромана» постепенно расширили его хронологические границы и углубились в историософскую и натурфилософскую рефлексию, превращающую поиски нефти в повод для поисков чего-то залегающего еще глубже и в другом измерении.

«Вместе с работой над сценарием, а потом и над фильмом мы выходили на иной пласт размышлений — о человеке и среде, породившей его. Нефть, как и все прочее, на что направлены усилия производства, не самоцель. Она лишь средство сделать жизнь на земле лучше» [Там же]. В этих размышлениях режиссера о том, что значит нефть для человеческой цивилизации, можно найти и ключ к той роли, которую она играет в самом фильме. Нефть (ее поиски и открытие) является не столько сюжетной темой, сколько динамическим принципом сюжетосложения, точкой сборки различных мотивных констелляций, внутренней рифмой, организующей ритм повествования, энергией сюжета.

Сцена горящей нефти, вырвавшейся из скважины, возникает не только в финале пятичасового фильма, но и в его начале, когда ее появление еще никак сюжетно не мотивировано. В опубликованной версии литературного сценария («киноромана») эта композиционная ритмическая функция мотива нефти выражена еще более отчетливо за счет монтажных интервенций документальной фактографии в нарративную ткань художественного повествования. Открывая и завершая каждую из шести новелл, организующих фабульное развертывание текста, эти регулярные вторжения документа в фикцию задают систему исторических координат, благодаря которой рассказ о нескольких поколениях жителей глухой сибирской деревни синхронизируется с хроникой, демонстрирующей историю XX века как историю борьбы за нефть, как историю, укорененную в технологиях ее поиска, добычи и переработки. (В самом фильме этот монтаж, рифмующий биографические ритмы героев и пульс большого исторического времени, организован более сложно, меньше фиксируясь на нефти как непосредственном предмете изображения, но через различные риторические приемы растворяя ее в трагическом опыте эпохи и его наиболее узнаваемых образах: массовые социальные движения начала XX века, Первая мировая война, русская революция, Гражданская война, послевоенная разруха, индустриализация, Вторая мировая война, победа над нацизмом[17].)

17 Автором этих документальных монтажных «вклеек», структурирующих фикциональное киноповествование и распахивающих ее диегетический горизонт в большую историю, был Артавазд Пелешян (р. 1938), чья теория «дистанционного монтажа» [Пелешян 1988: 129—217] имеет непосредственное отношение и к общей проблематике трансгрессии, и к конкретной теме нашего анализа. Однако есть границы, которые приходится соблюдать, а объем статьи не позволяет обратиться к развернутому разговору об этой теории.

Размышляя над трудностью организации столь объемного историко-биографического материала, заставляющего переходить от одного повествовательного масштаба к другому, режиссер прибегает к метафорике длинного моста, говоря о «расчете нагрузок», «спадах и подъемах динамики» [Кончаловский 1999: 145]. Однако в этой технической метафорике можно опознать и специфические черты энергетического потока — движение нефти, то медленно накапливающейся в подземных нефтяных полях, то бьющей направленным в небо фонтаном, переходящей из одного состояния в другое, связывающей природу и цивилизацию, человека и время, прошлое и настоящее, память и прогресс. Собственно, осмыслению этих разнообразных связей и посвящен фильм Кончаловского, поэтика и послание которого действительно оказались чуждыми «соцреалистической… официальной идеологии» [Там же: 146]. При этом изначальная задача государственного заказа (сделать фильм о сибирской нефти) оказалась перевыполненной, хотя и не в том направлении, которое могло быть близко советскому руководству. Кончаловский снял фильм о советской нефти, превратив важнейший для социалистического хозяйства энергетический ресурс в натурфилософский мотив, в символическую субстанцию, опосредующую отношения человечества и космоса, в оператора и медиатора перечисленных выше связей.

Надо сказать, что в 1990-е годы, то есть в момент написания воспоминаний, Кончаловский будет ретроспективно смотреть на свой фильм, намеренно заостряя присутствующие в нем напряжения: «Это была история о том, как техническая цивилизация убивает культуру, природу и человека» [Там же]. Однако эта позиция противоречит не только другим высказываниям автора об этом фильме, но и самое главное — редуцирует многослойную поэтическую картину мира, созданную в киноэпопее, к схематичной политической позиции, встроенной в постсоветский контекст 1990-х и воспроизводящей характерные для либеральной интеллигенции того времени экологическую чувствительность и антисоветский пафос (приобретенные ею после аварии на Чернобыльской АС и распада СССР). Историческая ирония состоит в том, что запоздалая попытка откреститься от обвинений в прежнем идеологическом конформизме и в готовности отработать государственный заказ как раз и приводит Кончаловского 1990-х к политически грамотному воспроизводству идеологического мейнстрима (правда, уже относящегося к новой, либерально-демократической, эпохе). В то время как в 1970-е ему удается снять фильм, одновременно и инициированный партийным заказом, и абсолютно трансгрессивный по отношению к мировоззренческим и художественным императивам, стоящим за этим заказом. Ответив на задание снять фильм к партийному съезду, столкнувшись с отказом части коллег, не пожелавших снимать производственное соцреалистическое кино о «черной жиже» [Там же: 148], Кончаловский сложил эпос о метафизической тяге к трансцендентному, горизонт которого был обнаружен им не только в небе, но и под землей.

В уже приведенной цитате из воспоминаний Кончаловского («Вместе с работой над сценарием, а потом и над фильмом мы выходили на иной пласт размышлений — о человеке и среде, породившей его») есть важное слово «пласт». В его киноэпосе действительно можно выделить сложные поэтические структуры, организующие отдельные повествовательные и рефлексивные *пласты* и переплетающие их между собой подобно тому, как в результате катастрофических природных или техногенных событий (землетрясений, извержений

вулканов, наводнений, крупных аварий или непредвиденных последствий воздействия человека на окружающую среду) приходят в движение и сталкиваются между собой тектонические плиты, относящиеся к различным геологическим формациям. Аналоги различных сдвигов, разломов, разрывов и трещин в земной коре, которые изучает геология, можно найти и в тех повествовательных и тропологических ходах, с помощью которых в фильме Кончаловского репрезентируется история XX века.

Однако принципиальная разница состоит в том, что в отличие от необратимо линейного характера катастрофы (др.-греч. καταστροφή — переворот, ниспровержение, смерть), которую невозможно превзойти в каком-либо акте медиации (речь может идти лишь о медленном затухании ее последствий), натурфилософская модель, представленная в фильме, предполагает возможность примирения противоборствующих начал, снятия оппозиций, отрицания взаимного отрицания. Главным протагонистом этой мифологической драмы, сталкивающей и примиряющей друг с другом природу и цивилизацию, становится нефть. Именно нефть связывает альфу и омегу слагаемого Кончаловским и Ежовым социалистического сибирского эпоса, становясь как причиной раздора, так и путеводной звездой, ведущей к историко-биографической, техно-социальной и метафизической гармонизации мира. Нефть становится героиней, аккумулирующей фабульный потенциал Елены Троянской и Пенелопы, совмещающей их черты в одном лице (точнее, в одном барреле), она является катализатором столкновений, она же ткет ковер повествования, связывая между собой разорванные сюжетные нити. Эпическое течение «Сибириады» проходит сквозь серию разломов, преодоление которых ведет к истоку происхождения, оно прибегает к динамическому фактору войны как к вызову, требующему встречного усилия, которое ведет к миру.

Социалистический эпос: хронотоп и геохронологическая формация

> Превращение эпических форм в ритмические можно себе представить примерно, как те трансформации, которые в течение тысячелетий претерпевает поверхность земли.
>
> *Вальтер Беньямин. Рассказчик*

Отношения пространства и времени, ландшафта и истории, возникающие в «Сибириаде», носят отчетливо диффузный характер, на сюжетном уровне фактически объективируя тот континуум, который М. Бахтин обозначил через понятие хронотоп.

> В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. <…> Время приобретает в них чувственно-наглядный характер; сюжетные события в хронотопе конкретизируются, обрастают плотью, наполняются кровью [Бахтин 1975: 235, 398].

Однако, в отличие от концепции Бахтина, согласно которой хронотоп является базовым жанровым спецификатором, отличающим эпос от романа или, скажем, детективный роман от романа воспитания, в случае с «Сибириадой» мы имеем сложную пространственно-временную форму, которая представляет собой напластование нескольких хронотопических слоев.

В этом фильме локализация времени и места одновременно и расслаивается на отдельные пласты, и кристаллизуется вновь, опираясь на систему композиционных рифм/идейных лейтмотивов, сшивающих друг с другом отдельные хронотопические единства. Сюжетный горизонт «Сибириады» вмещает в себя множество таких пространственно-временных континуумов: биографическую историю двух семей, сталкивающихся и переплетающихся между собой в тесном пространстве далекой сибирской деревни; историческое повествование о ключевых событиях XX века, в которых — зачастую на разных сторонах конфликта — участвуют представители этих сибирских родов; производственный роман о поисках западносибирской нефти, преодолевающих административное сопротивление московских чиновников и природно-климатические преграды Русского Севера; историософскую рефлексию о противоречиях русского национального характера, разворачивающуюся на фоне олицетворяющей его бескрайней сибирской земли[18]; культурный конфликт между верностью традиции, памятью о предках и приверженностью к революционным преобразованиям, впрочем, также укорененной в традиции (но не консервативной, а революционной[19]); экологическую коллизию между органическим сосуществованием с природой и различными стратегиями ее технологического преображения; мифологическую космогонию, участницами которой являются четыре первичные природные стихии; экзистенциальную драму человеческого стремления к запредельному; утопическую мистерию воскрешения из мертвых. При этом перечисленные выше сюжетные линии и поддерживающие их хронотопы организованы не по принципу матрешки или слоеного пирога, а скорее по уже упомянутому мной динамическому принципу взаимодействия различных геологических формаций, которые могут мирно надстраиваться друг на другом, а могут сталкиваться и перемешиваться между собой или взаимно метаморфироваться под воздействием внешних и внутренних импульсов.

Задающий пространственную рамку «Сибириады» топос носит не только географический характер. Его мифология, сочетающая и удерживающая в себе цепочку противоречий: размах и изобилие, избыточность и заповедность, нарочитую явленность и сокрытость, стала результатом *культурного освоения*

18 Хотя в первой серии фильма, рассказывающей и дореволюционных событиях, присутствует несколько представителей коренного сибирского народа хантов и слегка намечена тема колониального угнетения, она полностью исчезает в ходе дальнейшего повествования, не дающего оснований для кого-либо конфликта между этническими русскими и местными коренными народами. Поэтика и идеология соцреализма произвела особый тип романа — сибирский роман, в котором Сибирь помещалась в ядро русского/советского национального характера, универсальность которого растворяла какие-либо этнические различия. Об этом см.: [Слезкин 2017: 364—382]. «Сибириада» Кончаловского воспроизводит эти же установки, корни которых уходят в русский национальный сибирский нарратив XIX века.

19 Так, в первой серии фильма появляется беглый политкаторжанин, рассказывающий одному из его главных героев-протагонистов модернизации о «Городе Солнца» Кампанеллы и передающий ему революционный завет.

территорий к западу от Уральского хребта, очередь которого пришла через столетие после начала русской *колонизации Сибири*. Эти трансгрессивные черты можно обнаружить в сочинении одного из первых сибирских картографов и историков Семена Ремезова (1642—1721) «О гранях и межах всей Сибири»:

> Воздух над нами весел и в мирности здрав и человеческому житию потребен. Ни добре горяч, ни студен... Земля хлеборобна, овощна и скотна, опричь меду и винограду ни в чем не скудно. Паче всех частей света исполнена пространством и драгими зверьми бесценными. И торги, и привозы, и отвозы привольны. Рек великих и средних, заток и озер несчетно, рыб изобильно множество и ловитвенно. Руд, злата и серебра, меди, олова и свинцу, булату, стали, красного железа и укладу и простова, и всяких красок на шелки, и камней цветных много, и от иноземцев скрыто, а сибиренам неразумно [«неразумно» здесь значит «невдомек». — *И.К.*] (цит. по: [Байбаков 1984: 257]).

Последовательное перечисление физических и социальных слоев сибирского космоса (от атмосферы и биосферы до экономической активности) в конце концов упирается в геологическое богатство сибирских недр, спрятанное от внешнего взгляда и ускользающее от локального знания, первоначально не готового перейти от изобилия поверхности к разнообразию глубины.

Если взаимодействие геологических формаций регулируется энергией природных процессов, то взаимодействие перечисленных мной хронотопических страт обеспечивается риторико-семантической энергией внутренних рифм, задающих ритмический контрапункт этой техно-природной симфонии[20] (как на формально-композиционном, так и на смысловом уровне). Тезаурус этих рифм образуют мотивы: деревни/дома (в котором из века в век живут, из которого убегают, в который возвращаются, чтобы преобразовать); недостроенной дороги сквозь тайгу (которую прокладывает один из героев фильма в начале киноэпоса и которая впоследствии будет выступать в качестве единственного рукотворного и одновременно метафизического вектора, раскрывающего микрокосм дома во внешний мир); звезды, служащей геодезическим (точнее — астродезическим) ориентиром этой дороги; реки, благодаря которой осуществляется коммуникация деревни с внешним миром, — именно благодаря реке биологический ритм деревенской жизни входит в драматические резонансы с социальным ритмом истории. И все эти четыре сквозные мотива, задающие пространственно-временную систему координат и создающие парадигматическую связь между различными сюжетными и жанровыми пластами, так или иначе (метонимически или метафорически) ведут к нефти.

Собственно, нефть располагается в центре нарративного лабиринта, организованного из переплетения времени и места, человеческой истории и истории ландшафтообразования. Историческое время ее поиска, разворачивающегося на фабульном уровне киноповествования, обращено к геологическому времени ее образования, наложившему отпечаток на очертания места, в котором разворачивается этот поиск. Мифологический сюжет, располагающийся на более глубоком уровне киноэпоса, образуется как расшифровка сообщения, написанного естественной историей на языке пространства (его складок и форм).

---

20 Описание роли саундтрека, написанного для этого фильма композитором Эдуардом Артемьевым (1937—2022), в организации взаимодействия этих страт представляет собой отдельный исследовательский сюжет.

> Местный миф объясняет генезис географического пространства. Каждая местность должна быть объяснена, начиная от ее названия и до особенностей ее рельефа, почвы, растительности и проч., из человеческого события, которое здесь совершалось и которое определило ее название и ее облик. Местность — это след события, ее оформившего. Такова логика всех местных мифов и легенд, осмысливающих пространство историей [Бахтин 1975: 339].

Специфичность художественных структур, в которых геологическая организация недр земли оказывается не только сюжетной темой или повествовательным контекстом, но и композиционным принципом, риторическим механизмом, обеспечивающим синтагматическую и семантическую связность, позволяет предложить понятие *геохронологической формации* (*геохроноформы*), которое бы фокусировало бахтинское понятие *хронотопа* на такого рода текстах. Точно так же сводя время и пространство к единому континууму, это понятие специфицирует его применительно к такого рода *геопоэтическим* констелляциям. Во-первых, оно рассматривает пространство не только в горизонтальной перспективе планиметрии, но и в трехмерной геометрической перспективе, чувствительной не только к поверхности, но и к сложно организованной глубине (геологическому строению места/топоса). Во-вторых, (что более важно) оно обозначает не уникальную комбинацию двух внутренне единых элементов (определенного типа пространства и определенного типа времени), а сложный комплекс, включающий в себя различные типы пространства и различные типы времени, то есть именно то, что в геологии называют *формациями*, ассоциациями различных горных пород, представляющих собой гетерономные композиции, состоящие из множества различных элементов[21].

В случае с «Сибириадой» мы имеем *геохронологическую формацию*, организующую несколько принципиально разных типов пространства (как природных — тайга, болото, река, дорога, небо, недра земли, космос; так и социальных — глухая деревня, столица страны, глобальный мир XX века, представленный в кадрах документальной кинохроники) и несколько принципиально разных типов времени (геологическое время нефтеобразования, органические циклы природы, биологические ритмы поколений, политическая история России/СССР, социальная история нациестроительства, производственная история преобразования природных ландшафтов и поисков западносибирской нефти, экзистенциальная история поиска смысла человеческого существования, техномагический проект преодоления истории как таковой). Конструктивный принцип организации этих пространственных страт и типов темпоральности состоит в постоянных переходах границ между ними, во внутренней композиционной компрессии (сопоставимой с давлением в земной коре или «теснотой стихового ряда» Тынянова), которые и делают неизбежной взаимную трансгрессию отдельных элементов геохронологической формации социалистического эпоса «Сибириады».

---

21 Ср.: «В этом отношении сказка показала бы слоистое строение, наподобие слоям геологических отложений. В ней сочетаются древнейшие пласты, наряду с более поздними и современными» [Пропп 1976: 148].

Социалистический эпос: поэтика композиции и диалектика мифа

Каким образом организуется сеть тектонических разломов, которые пронизывают геопоэтическую структуру «Сибириады», и за счет чего эта структура производит энергию, способную вновь спаять в единое целое их края? Какую функцию выполняет нефть в той геохронологической формации, которая может быть реконструирована в этой геопоэтической структуре?

Конфликт последовательно воспроизводится на всех перечисленных выше уровнях повествования, являясь формой производства потенциальной энергии, необходимой для приведения сюжета в движение. Однако, как мы увидим, конфликт столь же последовательно снимается, когда возникающая в результате сюжетного движения кинетическая энергия образует единства, сплавляющие противоборствующие начала в новое целое, более высокого диалектического порядка.

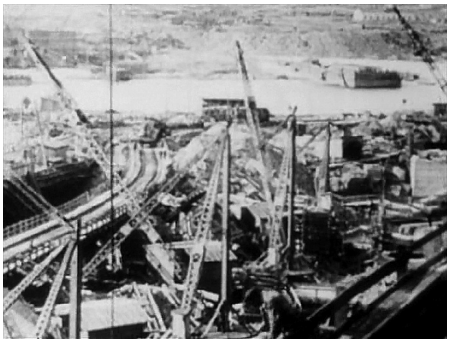
Базовая фабульная формула кристаллизованной в «Сибириаде» геохронологической формации представлена противостоянием двух семей, веками живущих в сибирской деревне и исповедующих противоположные этические ценности. Их генеалогические линии из поколения в поколение воспроизводят противостоящие друг другу социокультурные ориентации: традицию и бунт против существующего порядка вещей, укорененность в родной земле и тоску по запредельному, status quo и принцип движения. Одни стараются не покидать свой дом, другие строят дорогу, ориентированную на свет далекой звезды. И вместе с тем на протяжении веков две эти семьи состоят в отношениях брачного обмена. Биографические траектории героев четырех фильмов, составляющих эпический корпус «Сибириады», опосредованы романтическими коллизиями между представителями этих двух родов, формирующими между ними отношения родства, любви и ненависти, долга и вины, убийства и прощения. Механизм этой родовой биографической спирали, вобравшей в себя жизнь нескольких поколений, питается энергией непрекращающегося обмена, одновременно задающего контрастирующие социальные позиции и обеспечивающего единство социальной ткани[22], пронизанной трансгрессивными силами Эроса и Танатоса. Нефть постепенно входит в эти отношения, осложняя их социально-психологическую основу социально-политическими, экономическими и технологическими мотивами поиска нефтяных месторождений, в который вовлечены представители этих семейных родов.

Сюжетная канва большой истории складывается из столкновения двух медиальных средств, использованных в фильме: кадров документальной кинохроники и игрового художественного кинематографического нарратива. Первые задают визуальный ряд, отсылающий к череде драматических событий XX века; второй структурирован через синхронизацию персональных коллизий с историческими событиями, участниками которых становятся герои фильма. Еще один конфликт возникает на уровне самой событийной фактуры исторической драмы прошлого столетия: мировых войн, революций, масштабных

22 Этот механизм хорошо описан в социальной теории, традиция которой восходит к М. Моссу и ведет к К. Леви-Строссу. Одно из наиболее точных и внятных описаний этой традиции см. в: [Collins 1994: 224—234].

разрушений и жертв. Однако заданный поэтической композицией фильма изначальный медиальный конфликт между документом и фикцией по ходу действия разрешается в сложном симфоническом контрапунктическом единстве, образуемом в результате ритмического монтажа[23], связывающего историю века и судьбы отдельных людей и организующего киноповествование, охватывающее около 60 лет. Что касается драматических конфликтов самой истории, то их разрешение, представленное в фильме, обеспечивается за счет торжества добра над злом, созидания над разрушением. На уровне монтажа кинохроники разрушительное движение массового насилия в конце концов переходит границу собственного отрицания: орудийные залпы метаморфируют в залпы салюта, огонь войны превращается в огонь, горящий над нефтяными вышками. Энергия социальных конфликтов достигает своего пика, после чего совершает диалектический скачок, трансформируясь в энергию социалистического строительства, — метонимией солдата становится не смерть, а ребенок (*ил. 1*).







Ил. 1. Энергия позитивной трансгрессии («Сибириада», реж. А. Кончаловский, сценарий В. Ежова и А. Кончаловского, комп. Э. Артемьев, 1978, «Мосфильм»)

При этом мотив нефти работает как пульсирующий рефрен, объединяющий игровую основу и документальную рамку (обрамляющую начало и конец каж-

23 Его ритм подчиняется разработанным Пелешяном принципам дистанционного монтажа, согласно которым семантическое напряжение возникает не между соседними кадрами (на чем так или иначе строились монтажные теории Л. Кулещова, С. Эйзенштейна, Д. Вертова), а между кадрами, разделенными специально рассчитанной дистанцией, создающей энергетическое и смысловое поле через создание/преодоление производимых таким образом промежутков.

дой киноновеллы). В каком-то смысле нефть не только тематически объединяет два визуальных потока, но и склеивает друг с другом два традиционно противопоставленных друг другу типа медиальности: игровой и документальный. Являясь непосредственным предметом поиска в игровой части фильма, нефть обретает символическое значение внутри документального видеоряда, представая в нем в качестве главной энергетической субстанции XX века, питающей его разрушительные и созидательные порывы. Ликующими объятиями людей завершается как игровая линия, так и документальная (*ил. 2*).



Ил. 2. Пространства ликования: переход границы диегетического/ экстрадиегетического («Сибириада», реж. А. Кончаловский, сценарий В. Ежова и А. Кончаловского, комп. Э. Артемьев, 1978, «Мосфильм»)

В первом случае это ликование следует за открытием нефти и победой над смертью, во втором (в сценарной версии «киноромана») эта преображающая мир энергия нефти артикулируется в форме обобщающего политического послания, выводящего нефть из ее подземных хранилищ на просторы открытого космоса: «Дорога к нефти — это не только дорога к смерти, это и дорога к миру, к счастью, все зависит от того, кто идет по этой дороге. И вот уже в космосе советские и американские космонавты. Космический полет “Союз” — “Аполлон”. Историческое рукопожатие в космосе» (Ежов, Кончаловский: 125). В киноверсии сцены «исторических рукопожатий» и радостных людских объятий чередуются со сценами послевоенного восстановления и гигантских строек 1960—1970-х годов (*ил. 3*).

Жанровые конвенции производственного романа, задающие базовый каркас «киноромана» и самого фильма, воспроизводят архитипичные для него мотивы поединка человека с природой (непроходимая тайга, бескрайние болота,



Ил. 3. Праздник труда («Сибириада», реж. А. Кончаловский, сценарий В. Ежова и А. Кончаловского, комп. Э. Артемьев, 1978, «Мосфильм»)

суровый климат, отсутствие путей коммуникации) и столкновения энтузиастов, непосредственно вовлеченных в индустриальный праксис (в данном случае — поиск и добычу нефти), со столичными бюрократами. Первые укоренены в локальном ландшафте: их собственная судьба, как и судьба поисков нефти, также «укорененной» в этом ландшафте, зависит от взаимодействия с его физическими элементами: болотом, скрывающим под собой нефтяные запасы; тайгой, через которую нужно прокладывать дорогу; деревней, на территории которой решено поставить буровую вышку; кладбищем, под которым обнаруживается нефтяная кладовая; рекой, которая является единственным каналом доставки техники, необходимой для бурения. Вторые отчуждены от этого живого ландшафта, либо глядя на него с борта вертолета и воспринимая его как лишенное внутренней дифференциации (а значит, и смысла) пустое и нейтральное пространство, либо глядя на него из московских кабинетов сквозь рациональную оптику географических карт и экономических планов, инженерных расчетов и постановлений партийных съездов (об отчуждающих формах этого модуса взаимодействия с природным миром см.: [Bolotova 2004: 104—123]).

Однако, запустив типичный соцреалистический конфликт, характерный для соцреалистического производственного романа (человек/природа, энтузиаст/бюрократ), поэтическая энергия «Сибириады» производит эффекты, трансгрессивные по отношению к типичным для соцреализма способам его разрешения. Арматура индустриального романа погружается в магму героического эпоса, сквозь оптику классового конфликта проступают очертания космогонической диалектики стихий, социальные идентичности растворяются

в универсальности родового человеческого начала. Не вписывающееся ни в горизонт социалистического мировоззрения, ни в горизонт позднесоветской производственной драмы, поэтическое высказывание «Сибириады» возникает не через отрицание привычных конвенций, а через их переработку, в которой трансгрессивный переход принятых границ не отменяет их релевантность, а скорее перераспределяет их местоположение, помещая в новый контекст, наделяя их новым смыслоразличительным функционалом. Экономически мотивированный поиск нефти оборачивается поиском смысла человеческого существования, политэкономия трансгрессирует в онтологию.

Задаваемая композицией социалистического эпоса «Сибириады» цепочка конфликтов снимается не через механическое отрицание одного из терминов перечисленных выше производственных оппозиций (косной природы и столь же косной бюрократии), а через их диалектическую медиацию. Энтузиасты не просто торжествуют над бюрократами, эти два социальных полюса соцреализма совпадают в одной фигуре — уроженце деревни, возглавившем областной комитет коммунистической партии и сумевшем примирить экономические интересы метрополии и экологические интересы родного края. Парадоксальным образом ставкой в реализации этих локальных экологических интересов является открытие богатых нефтяных месторождений. В противном случае будущее Западной Сибири могло быть связано с затоплением огромных территорий в результате строительства каскада мощных гидроэлектростанций на Оби и ее притоках [Байбаков 1984; Богомяков 2011]. В итоге нефть оказывается экологичнее воды, а лоббисты нефтегазового комплекса одерживают победу, прибегая к аргументам сохранения природной среды и методов хозяйствования, традиционных для местного населения.

Столь же нетипичным для соцреализма образом разрешался и конфликт человека и природы. Вместо того, чтобы продемонстрировать торжество человеческого духа над косной материей природы, работающая на углеводородной субстанции энергетическая машина «Сибириады» выбирает третий путь, определяя нефть в терминах натурфилософии как плод брачного союза человеческой технологии и органики почвы[24]. В фильме есть две сцены, находящиеся друг с другом в позиции взаимной визуальной и символической симметрии. В первом случае перед нами сцена бурения, в которой проникновение фаллического бура в чрево земли красноречиво передано как сексуальная пенетрация и оплодотворение материи, раскрываемой через феминную образность. Во второй сцене мы видим момент первого выброса из недр земли нефтяного фонтана, который рождается как результат предшествующего оплодотворения и визуально рифмуется с фаллической вертикалью бура, — только его движение направлено не сверху вниз, а снизу вверх (*ил. 4*).

Помимо этой кинетической рифмы, утверждающей сексуализированную динамику движений вверх-вниз, эти сцены бурения и выброса нефти встраива-

24 Отчасти роль техники, как она представлена в фильме А. Кончаловского, может быть сопоставлена с философией техники у позднего Мартина Хайдеггера: «Техника — вид раскрытия потаенности. Сущность техники расположена в области, где имеют место открытие и его непотаенность, где сбывается ἀλήθεια, истина» [Хайдеггер 1993: 225]. Задавая свой «Вопрос о технике», Хайдеггер описывает траекторию раздвоения этого понятия (технологии), возникшего в связи с ремеслами, искусством и поэзией, но постепенно отклонившегося в сторону эксплуатации природы с помощью машин («извлечение природной энергии») и забывшего изначальную цель технологии — «раскрытие скрытого». Подробнее об этой проблематике см.: [Kalinin 2022].





Ил. 4. Индустриальный фаллоцентризм («Сибириада», реж. А. Кончаловский, сценарий В. Ежова и А. Кончаловского, комп. Э. Артемьев, 1978, «Мосфильм»)

ются в еще один смысловой ряд, помещающий в общее пространство деревенское кладбище и месторождение нефти. Это — эпизод, монтажно закольцовывающий обряд похорон и процесс бурения[25], в котором могила и скважина открывают вход в недра земли, накапливающие в себе биологическую органику, принадлежащую разным геологическим/историческим эпохам, но в равной степени подлежащую биохимическим метаморфозам.







Ил. 5. Танатография социалистического эроса и биохимические превращения мертвого: смерть — нефть («Сибириада», реж. А. Кончаловский, сценарий В. Ежова и А. Кончаловского, комп. Э. Артемьев, 1978, «Мосфильм»)

25 Звучащая в этом эпизоде композиция Э. Артемьева «Поход» сплавляет эти сцены воедино, создавая общий аудиовизуальный континуум.

Более того, зеркальная симметрия этих сцен снимает и традиционную гендерную гегемонию мужского начала над женским. Если в случае с бурением мы наблюдаем бригаду мужчин, оперирующих брутальным вращением стального бура, входящего во влажную, пассивную и бесформенную материю земли, то в случае с нефтяным фонтаном мы видим материю, демонстрирующую свою энергетическую мощь, сталкиваемся с не менее брутальной субъектностью самой земли, выражающейся в активном действии, на которое, завороженно застыв, смотрят нефтяники, чьи лица освещены огнем загоревшейся нефти. В тот момент, когда сокрытая и спавшая под землей черная субстанция, вырвавшись на поверхность, взрывается и превращается в динамичный и яркий столб огня, производственный нарратив трансгрессирует в повествование о явлении сакрального: темпоральность социалистических пятилеток контрапунктически сталкивается с темпоральностью геологического времени, индустриальная фабула, повествующая о буднях советских нефтяников, осуществляет диалектический сдвиг в пространство метафизического сюжета, раскрывающего историю накопления и высвобождения энергии.

Огонь представляет собой конститутивную эманацию нефти, переводящую потенциальность ресурса в актуальность движения, запускает механизм зрительной аттракции, гипнотической завороженности возвышенным зрелищем стихии. Наблюдатель растворяется в наблюдаемом, субъект отступает перед зрелищем запредельной реальности, располагающейся по ту сторону его оперативных возможностей. Эта сцена, композиционно венчающая производственный базис всего фильма, переводит мотив нефти на уровень, трансцендентный по отношению к технологической или экономической рациональности. Переливающийся своими объемами огненный столб загоревшейся нефти, заставляющий окаменеть взирающих на него нефтяников, демонстрирует возможности мгновенного перехода материи из одного агрегатного состояния в другое, преодолевает ограниченность формы, отрицает ограниченность как таковую, предъявляет «безграничность, к которой… примысливается ее тотальность» [Кант 1994: 114]. Перед пробившимися к нефтеносному пласту нефтяниками предстает явление возвышенного, мистическая трансфигурация «черной жижи», оборачивающейся своей величественной ипостасью, заставляющей одновременно испытывать радость и бессилие, удовольствие и страх, — то, что Кант определял как «негативное удовольствие», как «удовольствие, которое возможно только посредством неудовольствия» [Там же: 130], а чуть раньше него Эдмунд Бёрк описывал как «сладостный ужас» (delightful horror) [Бёрк 1979]. Индустриальное возвышенное вторгается в конвенциональные рамки производственной драмы, разрушая границы между советским субъектом и наблюдаемым им социалистическим объектом, между нефтью как углеводородным ресурсом, питающим советское государство, и нефтью как либидинальной энергией, пронизывающей бессознательное позднесоветского общества (*ил. 6*).

Поэтической феноменологии огня, его космогонической, мистической, магической и эстетической амбивалентности («Огонь противоречив, и потому это одно из универсальных начал объяснения мира» [Башляр 1993: 20]), посвящена книга Гастона Башляра «Психоанализ огня» (1937). Поэтическая структура «Сибириады», снятой Кончаловским к XXVI съезду КПСС, во многом строится на внутренних противоречиях этого первоэлемента, черпая энергию своего развертывания из описанной Башляром диалектики огня.



Ил. 6. Гипнотизирующий взгляд нефтяной Горгоны («Сибириада», реж. А. Кончаловский, сценарий В. Ежова и А. Кончаловского, комп. Э. Артемьев, 1978, «Мосфильм»)

Огонь становится движущей силой социалистического эпоса, символической формой соединения нефти и смерти, разрушения и созидания, истории и природы. Его фасцинирующая сила, заявляющая о себе в сцене гипнотической завороженности зрелищем горящей нефти, преодолевает «отделенность субъекта от окружающей среды», растворяет его автономную агентность «через слияние с пространством» [Кайуа 2003: 83—104], переворачивает привычные отношения между смотрящим и тем, на что он смотрит. Динамическая пульсация огня, сопровождаемая одноименной композицией Артемьева («Огонь»), перемагничивает рецептивные полюса, наделяя природный объект «фасцинирующим эффектом чужих глаз» как в случае с животной мимикрией, анализ которой выводит Роже Кайуа к концептуализации сакрального [Зенкин 2011], к рефлексии о вызывающей чарующее головокружение грозной силе:

> Чары действуют лишь при встрече несхожих, разносущностных и несоразмерных начал, и они должны быть настолько различны по природе и масштабу, чтобы между ними не было никакой возможности борьбы или даже соприкосновения. Одно из них должно быть совершенно безоружным и смятенным перед лицом другого, которое для него до такой степени чуждо и разрушительно, что являет собой (и одновременно приуготовляет) одно лишь неотвратимое падение в бездну. Для насекомого это сияние пламени, для птицы — неподвижный взгляд змеи, а для человека — пустота [Кайуа, 2007: 233].

Горящая нефть представляет собой исключительный по силе фасцинирующий образ. Более того, производимое фасцинацией растворение субъекта в природной стихии буквально реализуется режиссером, герой которого исчезает в огненном вихре. Однако это происходит не через головокружительное отрицание человеческой субъектности, столкнувшейся с «несоразмерным началом» и опрокинувшейся в бездну, а через отрицание этого отрицания. Герой сгорает, пытаясь спасти из огня своего товарища: рецептивная беспомощность человека перед возвышенной силой стихии преодолевается за счет обращения к его нравственной сущности. Гибель на производстве инсценируется в горизонте античной трагедии, перипетии которой оказываются опосредованы не столько борьбой за выполнение плана, сколько столкновением с нуминозными

силами, хотя и снабженными позднесоветским реквизитом. Соцреалистический индустриальный сюжет о трудовых подвигах советских нефтяников перетекает в натурфилософскую историю о нефти как о субстанции, энергия которой сплавляет в единое мифологическое целое категории, разделенные еще философским аппаратом античности: форма/материя, субстанция/эманация, субъект/объект, активное/пассивное, мужское/женское.

Переход на более высокий уровень повествовательного масштаба обеспечивается за счет жанрового определения, которым снабдил свой фильм Кончаловский. Если опубликованный в журнале «Новый мир» (1976) литературный сценарий был обозначен его авторами как «кинороман», поставленный на его основе фильм был определен его автором как «поэма» (*ил. 7*). В русской литературной традиции такое переопределение романного нарратива неизбежно прочитывается как отсылка к авторскому жесту Н. Гоголя, назвавшему «Мертвые души» поэмой и подчеркнувшему тем самым перевод бытового материала на язык эпического повествования о национальном характере. Но творческие амбиции Гоголя не исчерпывались и этим: его взгляд распознавал за повседневными деталями провинциального российского быта мифологический горизонт, отделяющий профанное от сакрального, на внутренней границе которых он и располагал свою религиозную рефлексию об отношениях добра и зла, бога и человека. Назвав свой пятичасовой фильм, разделенный на четыре части и шесть новел, «Сибириада. Поэма», Кончаловский, без сомнений, ориентировался именно на этот претекст русской версии «Божественной комедии», устремленной к победе над смертью.



Ил. 7. Поэма о нефти, смерти и воскрешении («Сибириада», реж. А. Кончаловский, сценарий В. Ежова и А. Кончаловского, комп. Э. Артемьев, 1978, «Мосфильм»)

Героями его «поэмы» являются не только жители сибирской деревни, помещенные в контекст истории XX века и истории открытия западносибирской нефти. Ее действующими силами становятся природные первоначала античной космогонии: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Помимо того, что эти стихии оказываются знаками, сопутствующими отдельным персонажам, их свойства, представляющие собой различные сочетания тепла и холода, влажности и сухости (Аристотель выделял их как состояния изначальной единой первоматерии), задают мифологическую матрицу, определяющую пространство, в котором разворачиваются переплетающиеся друг с другом исторические пласты: семейная история, история страны и мира, важнейший эпизод в истории советской нефтяной отрасли, история становления национального характера. Динамической комбинацией природных стихий становится у Кончаловского не только аристотелевская *первоматерия*, но и *материнское начало*, родина-

мать, образом которой является *Сибирь* (предъявленная в фильме не столько как метонимия, сколько как метафора России[26]), а сюжетом ее «вочеловечения» — *Сибириада*. И этот новый национальный социалистический эпос погружает историю становления Volksgeist в «черную жижу», которая и оказывается не чем иным, как той самой первоматерией античной натурфилософии. По точному наблюдению Андрея Рогачевского: «Синтетическим производным всех этих элементов становится мифологизируемая субстанция нефти, одновременно текучая как вода, залегающая в глубинах земли, являющаяся материальной эманацией огня и сопровождаемая сопутствующими газами» [Рогаческий 2012: 328]. Точнее даже можно сказать, что нефть является не столько *продуктом синтеза* всех этих стихий, сколько своеобразным магическим оператором, осуществляющим их взаимные переходы, — принципом, приводящим природу в движение. Первые симптомы проявления нефти в пространстве «Сибириады» связаны с естественными выбросами сопутствующего газа, происходящими на болоте, которое издавна было сакральным местом, табуированным в локальном знании автохтонного населения (хантов). Знаком его сакральной аномальности было именно то, что в этом месте отсутствовали нормативные естественные границы, отделяющие один элемент/состояние от другого: «Вода сама горит! А болото, знаешь, какое! Без конца, без краю, и дна тоже нет! И все огнем полыхает! По ночам на небе даже сполохи!» [Ежов, Михалков-Кончаловский 1976: 20]. Огонь и Вода проникают друг в друга, сполохи в Воздухе (на небе) отражают процессы, источник которых располагается в недрах Земли. При этом нефть располагается в центре этих горизонтальных и вертикальных движений материи, являясь их инициирующей внутренней силой.

Социалистическая космогония, инсценированная Кончаловским, поместившим в ее центр нефтяную субстанцию, оказывается рассказом о любви и вражде (*филии* и *фобии*, как в теории четырех стихий Эмпедокла) различных природных и исторических начал. Притягиваясь друг к другу и сталкиваясь между собой, они производят ту самую энергию, которая приводит в движение материю — как природную, так и социальную. Объективированная в образе нефти, эта энергия ритмически (как в сердечном цикле) сжимает и разжимает материю, то выбрасывая героев «поэмы» из родного дома, то возвращая их домой, то сводя ее в судорогах революций и войн, то разглаживая в усилиях мирного труда, то уничтожая ее, то приумножая (так представители враждующих семей/стихий то убивают друг друга, то производят потомство, вступая друг с другом в брачные связи). Эту работу осуществляет и техника повествования, создающая *геохронологическую формацию*, в которой разломы между отдельными хронотопическими пластами и структуры конфликта внутри них преодолеваются через различные механизмы снятия, диффузии, метаморфозы, трансгрессии. В той же логике примирения конфликта представлена и технология нефтяной индустрии, которая оказывается формой спасения, а не инструментом эксплуатации природы. Открытие подземных резервуаров нефти спасает сибирскую землю от того, чтобы самой оказаться скрытой под поверхностью воды — быть затопленной в результате строительства гидроэлектростанций и возникновения водохранилищ. Являясь синтезом разных стихий,

26 О Сибири как о «другой России» или «Другом России» см.: [Diment, Slezkine 1993].

нефть в рамках этой социалистической версии космогонии оказывается более «экологичной», чем вода[27].

Социалистический эпос: рождение нефти и воскрешение мертвых (вместо заключения)

В конце концов *место рождения* (сибирская деревня), *место упокоения* (деревенское кладбище) всех главных героев этого эпического повествования и *месторождение* нефти оказываются локализованы в одном и том же топосе. Родовой исток совпадает с источником природного ресурса. Нефть медиирует рождение и смерть, верх и низ, небеса и недра, собирая воедино ключевые мотивы «Сибириады»: звезду, дорогу и поиск чего-то *иного*, чего-то, что изначально отсутствует в органическом микрокосмосе, заставляя представителей одного из семейных родов покидать свой дом. Звезда, на которую ведет дорогу отец главного героя, как становится понятно позднее, указывает в сторону нефтяного месторождения, а нефтяная вышка, из которой вырывается поток горящей нефти, похожа на стартующую космическую ракету [о связи нефти и космоса см.: Клозе, Штайнингер 2021: 142—149], в свою очередь, в двигателях реальных ракет также сгорало углеводородное топливо, полученное в результате глубокой нефтепереработки.

Горизонтальный вектор дороги, идущей через тайгу, обретает вертикальную проекцию, ориентированную как на свет далекой звезды[28], так и в недра земли, в которых находится *нечто* (*оно*), что притягивает к себе, отрывая от дома. Это «оно» в первых частях фильма предстает в качестве невыразимого чувства нехватки. Ее энергия направляет героев в, казалось бы, бессмысленных попытках построить дорогу сквозь бескрайнюю тайгу — дорогу, ведущую в неизвестном направлении, в направлении на «оно». «— Вот! Может, там *оно* и есть? — Что? — спросил Николай. — *Оно самое*! — многозначительно прого-

27 Разумеется, на принятие решения о нефтяном, а не гидроэнергетическом векторе развития Западной Сибири повлияли чисто экономические аргументы (в том числе возможность продавать нефть на внешних рынках), однако интересно то, что представители нефтяной отрасли активно апеллировали к перспективе того экологического ущерба, которые нанесет региону строительство электростанций, использующих энергию воды. О том, как сторонники «углеводородной» стратегии спорили со своими оппонентами из другого ведомства, отстаивающими интересы гидроэнергетики, прибегая к экологическим аргументам, см.: [Байбаков 1984: 254—256]. О ходе самой борьбы против затопления сибирских территорий см.: [Weiner 1999: 402—529].

28 «Среди синих снегов протянулась прямая, как стрела, просека. Над черными застывшими в ледяном сне кедрами и елями мерцала, светилась яркая звездочка…» (Ежов, Михалков-Кончаловский 1976: 19). Взгляд с земной орбиты, наделяющий индустриальные преобразования космическими масштабами, оценить которые возможно, лишь заняв господствующую трансцендентную высоту, характерен и для текстов А. Проханова второй половины 1970-х годов. Ср.: «Железная дорога, пробив леса и болота, как тончайший кровеносный сосуд, свяжет город [строящийся вместе с ГРЭС, работающей на углеводородном топливе. — *И. К.*] с Большой землей. С космических спутников уже видны и город, и очертание карьера, и бетонный квадрат аэродрома, и тонкая просека с колеей» [Проханов 1976: 124]. Так, исходящие из различных эстетических и идейных позиций А. Проханов и А. Кончаловский сходятся лишь в одном — в рефлексии об энергии как универсальном источнике движения материи, приводящей их к сходному социотехническому оптимизму и техноутопизму.

ворил Афанасий. — Куда мы дорогу ведем! Николай пристально глянул на отца. — А может, *оно* там? — Он указал пальцем в небо. — Или там? — Он направил палец в землю (курсив авторов. — *И.К.*)» (Ежов, Михалков-Кончаловский 1976: 27). К третьей части фильма это бессознательное «оно» объективируется через предмет преследующей героев нехватки — через нефть, в поиски которой инвестируется та центробежная бессознательная энергия, которая прежде из поколения в поколение выбрасывала представителей одной из семей за пределы родного дома, направляя их на поиски чего-то невыразимого. Став объектом, связывающим эту центробежную энергию субъекта, нефть перенаправляет ее вектор, превращая эту энергию в центробежную силу, ведущую к истоку — месту рождения главных персонажей фильма и нефтяному месторождению.

Дорога, которую они строили для того, чтобы покинуть свой дом, в итоге возвращает их назад, к тому месту, где и обнаруживается источник субстанции, которую они ищут. Цель пути обнаруживается в его исходной точке. Финал возвращает к началу. Нефть залегает на том самом месте, где веками жили поколения предков тех, кто ее ищет. Нефтеносное поле располагается непосредственно под деревней, где они жили. Более того, одним из мест, где может произойти выброс загоревшейся нефти, является кладбище, сконцентрировавшее в себе органическую материю умерших предков и память потомков. Собственно, нефть и оказывается конечным звеном химических и символических превращений, в движение которых вовлечена как органическая материя прошлого, так и коллективная память о нем. Таким образом, внутри геохронологической формации «Сибириады» биографическое время отдельных персонажей и историческое время, связывающее между собой череду поколений и социально-политических событий, включаются в горизонт геологического времени, необходимого для завершения процессов нефтеобразования. Генезис нефти, генезис нации, генезис нового социалистического общества оказываются переплетены между собой в единую генетическую цепочку.

Апофеозом нефти становится композиционный переход эпической истории рождения нации на уровень мистерии воскрешения мертвых. Для того, чтобы произвести контролируемый взрыв, способный погасить возникший нефтяной пожар, необходимо снести старинное деревенское кладбище. Пожарные, готовящие кладбище к взрыву, похожи на космонавтов, бульдозеры сносят могильные кресты, технология разрушает культурную традицию. Однако настоящим эффектом этого вторжения техники в укорененный в природе жизненный мир становится не разрушение этого мира, а его радикальное преобразование — не уничтожение жизни, а победа над смертью. Вместе с горящей нефтью — охватившей огнем деревянные кресты над могилами, в которых лежат предки тех, кто нашел и разбудил спящую в недрах энергию, — из этих недр восстают и сами предки (*ил. 8*).

От пронизанной мифологическими и религиозными мотивами истории, экранизированной Кончаловским, можно было ожидать соотнесения образа восставших из могил мертвецов со скрытой критикой советского модернистского проекта. И тогда воскрешение мертвых, показанное в финале фильма, должно прочитываться как отсылка к Страшному суду и концу света, а момент «рождения нефти» — совпадать с моментом эсхатологического завершения мира. Однако такое прочтение противоречит и христианским догматам, согласно которым смысл Страшного суда состоит в отделении грешников от пра-



Ил. 8. Социалистические технологии воскрешения мертвых («Сибириада», реж. А. Кончаловский, сценарий В. Ежова и А. Кончаловского, комп. Э. Артемьев, 1978, «Мосфильм»)

ведников (в то время, как в фильме мы наблюдаем радостное единение всех тех, кто на протяжении предшествующих серий находился в состоянии взаимного антагонизма), и художественной логике всего фильма, который по ходу своего развертывания целенаправленно и последовательно проблематизирует механическое противопоставление консервативной приверженности традиции, экологической чувствительности и авангардистского пафоса технологических преобразований.

Русская интеллектуальная история знает лишь один пример такого утопического синтеза — «Философию общего дела» Николая Федорова (1829—1903), которая легла в основу учения русского космизма. Несмотря на его отсутствие в официальной версии советского культурного канона, это учение сыграло

важную роль как в формировании исторического авангарда 1910—1920-х годов, так и в интеллектуальных референциях позднесоветской культуры 1960—1970-х[29].

Борис Гройс в предисловии к антологии работ постреволюционных последователей федоровских идей описал утопическую программу русского космизма не просто как наиболее радикальную, но как наиболее последовательную версию социалистического проекта, единственно способную выполнить то обещание справедливого мира, которое составляет его ядро:

> ...социализм предстает как эксплуатация мертвых в пользу живых — и как эксплуатация ныне живущих в пользу тех, кто будет жить после них. Поэтому социалистическое общество нельзя назвать справедливым: ведь оно основано на дискриминации прошлых поколений в пользу будущих. Социализм будущего лишь тогда может претендовать на звание справедливого общества, если поставит себе целью искусственно воскресить все те поколения, которые заложили фундамент его благополучия. Тогда эти воскрешенные поколения также смогут наслаждаться благами будущего социализма, что отменит дискриминацию мертвых по отношению к живым. Социализм должен быть установлен не только в пространстве, но и во времени — при помощи технологии, которая позволит превратить время в вечность [Гройс 2015: 10].

Кончаловский экранизирует сюжет, реализующий эту технологию, которая, как и большинство технологий XX века, работает на углеводородном топливе. В его фильме, как и в песне Егора Летова «Русское поле экспериментов» (1988), «вечность пахнет нефтью». Созданный Кончаловским эпос оказался историей, связывающей вместе не только генеалогию нескольких семей, живущих в маленькой сибирской деревне, и большую историю советского проекта (от беглого каторжанина-революционера начала XX века до секретаря областного комитета партии 1960-х). Визуальные риторические приемы и дистанционный монтаж, организующие мотивную структуру этого эпического повествования, переплели между собой политическую историю общества и геологическую историю Земли, предъявив историю людей как историю различных форм и способов взаимодействия с природой (звездами, лесом, водой, недрами). Как и в случае с ранней советской рефлексией о революционной роли природных ресурсов и механизмах преображения геологического прошлого Земли в горниле социалистического строительства светлого будущего (см.: [Kalinin 2023a]), Кончаловский задействует диалектическую схему, в рамках которой прорыв в будущее (к звездам) осуществляется через погружение в прошлое, в глубины земли (к ее нефтяным месторождениям). Более того, визионерски утверждая связь между залегающими в глубине природными ресурсами (нефтью) и культурными ресурсами традиции (предками, веками находившими покой на деревенском кладбище), Кончаловский обращается к радикальной техномистической утопии Н. Федорова, важной для глубинных пластов советской культуры, но по идеологическим причинам отсутствующей на ее поверхности. Воскрешая умерших предков, встающих из могил, заполнившихся горящей нефтью, Кончаловский воскрешает и вытесненную за пределы официальной советской

29 Подробное обоснование такого прочтения финала «Сибириады» см. в: [Kalinin 2023a].

культуры традицию русского авангарда[30], — причем делает это, создавая маскировочную завесу, сотканную из элементов заказного пропагандистского фильма и консервативной экологической критики, характерной для позднесоветской деревенской прозы.

Инициированная как обычный пропагандистский рассказ о подвигах советских нефтяников мифологическая космогония «Сибириады» завершается финальным синтезом биографии и истории, индивидуального и коллективного, природы и технологии, органического и социального, прошлого и будущего. Потенциал этого спасительного синтеза конденсировался в том самом энергетическом ресурсе, от которого все больше зависела экономика позднего социализма и воспроизводство позднесоветского общества. Возникающий в результате союз человека, природы и техники давал доступ к ресурсам, которые продлили существование советского проекта еще на 30 лет (1960—1980), спасая сибирские реки и приводя к победе над смертью. Нефть, позволяющая воплотить в жизнь мечты о советском космосе, оказывается также и ресурсом реализации философии русского космизма, контрабандой заложенной в фильм, получивший специальный приз на Каннском кинофестивале 1979 года и позволивший Кончаловскому получить официальное разрешение на выезд в США и работу в Голливуде. Трансгрессия нормативных границ советской культуры срабатывает и на прагматическом уровне биографической траектории одного отдельно взятого человека.

Парадоксальным образом, нарушая все существующие конвенции позднесоветской исторической и производственной драмы, Кончаловский создает образцовый пример того социалистического реализма, который никогда не существовал за пределами его нормативных определений:

> Метод социалистического реализма требует все более энергичного выявления диалектического единства индивидуального и общественного, единичного и типического в человеке… из необходимой тенденции развития социалистического романа в сторону эпической формы вытекает требование, чтобы древний эпос и его теоретическая разработка тоже были включены как важная часть в программу освоения культурного наследства [Лукач 1935: 832].

Библиография / References

[Байбаков 1984] — *Байбаков Н.К.* Дело жизни. Записки нефтяника. М.: Советская Россия, 1984.
(*Bajbakov N.K.* Delo zhizni. Zapiski neftyanika. Moscow, 1984.)

[Байбаков 1993] — *Байбаков Н.К.* Сорок лет в правительстве. М.: Республика, 1993.
(*Bajbakov N.K.* Sorok let v pravitel'stve. Moscow, 1993.)

30 Культура советского авангарда (В. Маяковский и В. Хлебников, А. Платонов и П. Филонов, М. Горький и В. Шкловский) и вообще ранняя советская культура в целом во многом находились под влиянием федоровских идей. Об этом см.: [Masing-Delic 1992; Seifrid 1992; Günther 1993; Naiman 1997; Groys, Hagemeister 2005].

[Бахтин 1975] — *Бахтин М.М.* Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 120—289.

(*Bakhtin M.M.* Formy vremeni i hronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoj poetike // Bakhtin M.M. Voprosy literatury i estetiki. Moscow, 1975. P. 120—289.)

[Башляр 1993] — *Башляр Г.* Психоанализ огня. М.: Прогресс, 1993.

(*Bachelard G.* La psychanalyse du feu. Moscow, 1993. — In Russ.)

[Беньямин 2000] — *Беньямин В.* Рассказчик / Пер. с нем. Н.М. Берновской // Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 345—366.

(*Benjamin W.* Der Erzähler // Benjamin W. Illuminationen. Moscow, 2000. P. 345—366. — In. Russ.)

[Бёрк 1979] — *Бёрк Э.* Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного / Пер. с англ. Е.С. Лагутина. М: Искусство, 1979.

(*Burke E.* A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. Moscow, 1979. — In Russ.)

[Бланшо 1994] — *Бланшо М.* Опыт-предел // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Пер. с фр. С.Л. Фокина. СПб.: Мифрил, 1994. С. 63—79.

(*Blanchot M.* L'experience limite. Saint Petersburg, 1994. — In Russ.)

[Богомяков 2011] — *Богомяков Г.П.* Дело века // Эко. 2011. № 9. С. 118—142.

(*Bogomyakov G.P.* Delo veka // Eko. 2011. No. 9. P. 118—142.)

[Гройс 2015] — *Гройс Б.* Русский космизм: биополитика бессмертия // Гройс Б. Русский космизм: Антология. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 6—32.

(*Grojs B.* Russkij kosmizm: biopolitika bessmertiya // Grojs B. Russkij kosmizm. Antologiya. Moscow, 2015. P. 6—32.)

[Ежов, Михалков-Кончаловский 1976] — *Ежов В., Михалков-Кончаловский А.* Сибириада, кинороман // Новый мир. 1976. № 1. С. 5—126.

(*Ezhov V., Mihalkov-Konchalovskij A.* Sibiriada, kinoroman // Novyj mir. 1976. No. 1. P. 5—126.)

[Зенкин 2011] — *Зенкин С.* Явленное сакральное (numen) // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. № 1—2. С. 197—222.

(*Zenkin S.* Yavlennoe sakral'noe (numen) // Sociologicheskoe obozrenie. 2011. T. 10. No. 1—2. P. 197—222.)

[Кайуа 2003] — *Кайуа Р.* Мимикрия и легендарная психастения // Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / Пер. с фр. С.Н. Зенкина. М.: ОГИ, 2003. С. 83—105.

(*Caillois R.* Le Mythe et L'homme. L'homme et la Sacr. Moscow, 2003. — In Russ.)

[Кайуа 2007] — *Кайуа Р.* Головокружение // Кайуа Р. Игры и люди: Статьи и эссе по социологии культуры / Пер. с фр. С.Н. Зенкина. М.: ОГИ, 2007. С. 231—240.

(*Caillois R.* Les Jeux et les Hommes. Essais de Sociologie de la Culture. Moscow, 2007. — In Russ.)

[Калинин 2019] — *Калинин И.* Русская петропоэтика: литературные продукты нефтепереработки // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2019. № 4. С. 219—254.

(*Kalinin I.* Russkaya petropoetika: literaturnye produkty neftepererabotki // Neprikosnovennyj zapas: Debaty o politike i kul'ture. 2019. No. 4. P. 219—254.)

[Кант 1994] — *Кант И.* Критика способности суждения / Пер. с нем. М.: Искусство, 1994.

(*Kant I.* Kritik der Urteilskraft. Moscow, 1994. — In Russ.)

[Карпов, Гаврилова 2022] — *Карпов В.П., Гаврилова Н.Ю.* Нефть во внешней политике и торговле Советского Союза в 1960—1980-е годы // Известия вузов. Нефть и газ. 2002. № 4. С. 117—122.

(*Karpov V.P., Gavrilova N.Yu.* Neft' vo vneshnej politike i torgovle Sovetskogo Soyuza v 1960—1980-e gody // Izvestiya vuzov. Neft' i gaz. 2002. No. 4. P. 117—122.)

[Клозе, Штайнингер 2021] — *Клозе А., Штайнингер Б.* Нефть. Атлас Петромодерна / Пер. с нем. С. Павловецкого. М.: Логос, 2021.

(*Klöse A., Steininger B.* Erdöl. Ein Atlas der Petromoderne. Moscow, 2021. — In Russ.)

[Конаков 2019] — *Конаков А.* Александр Миронов как поэт архаики, смерти и нефти // Транслит. 2019. № 22: Застой/быстрые коммуникации. С. 58—65.

(*Konakov A.* Aleksandr Mironov kak poet arhaiki, smerti i nefti // Translit. 2019. No. 22: Zastoj/bystrye kommunikacii. P. 58—65.)

[Кончаловский 1999] — *Кончаловский А.* Возвышающий обман. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 1999.

(*Konchalovskij A.* Vozvyshayushchij obman. Moscow, 1999.)

[Лагунов 1966] — *Лагунов К.* Нефть и люди // Новый мир. 1966. № 7. С. 199—218.

(*Lagunov K.* Neft' i lyudi // Novyj mir. 1966. No. 7. P. 199—218.)

[Литовская 2010] — *Литовская М.А.* Болото как народнохозяйственный объект в советских романах 1970-х годов // Русское болото: между природой и культурой / Ред. М.В. Строганов. Тверь: Издательство М. Батасовой, 2010. С. 268—278.

(*Litovskaya M.A.* Boloto kak narodnohozyajstvennyj ob'ekt v sovetskih romanah 1970-h godov // Russkoe boloto: mezhdu prirodoy i kul'turoy / Ed. by Stroganov M.B. Tver', 2010. P. 268—278.)

[Лукач 1935] — *Лукач Г.* Роман как буржуазная эпопея // Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 9. М.: Издательство Коммунистической академии, 1935. С. 795—832.

(*Lukach G.* Roman kak burzhuaznaya epopeya // Literaturnaya enciklopediya: In 11 vols. Vol. 9. Moscow, 1935. P. 795—832.)

[Митрохин 2023] — *Митрохин Н.* Очерки советской экономической политики в 1965—1989 годах: В 2 т. Т. 2. М.: Новое литературное обозрение, 2023.

(*Mitrokhin N.* Ocherki sovetskoj ekonomicheskoy politiki v 1965—1989 godah: In 2 vols. Vol. 2. Moscow, 2023.)

[НЗ 2007] — Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2007. № 2(52): Длинные 1970-е: динамика «застоя».

(Neprikosnovennyj zapas. Debaty o politike i kul'ture. 2007. No. 2(52): Dlinnye 1970-e: dinamika "zastoya".)

[Пелешян 1988] — *Пелешян А.* Дистанционный монтаж, или Теория дистанции // Пелешян А. Мое кино: Сборник сценариев. Ереван: Советакан грох, 1988. С. 129—217.

(*Peleshyan A.* Distancionnyj montazh, ili Teoriya distancii // Peleshyan A. Moe kino: Sbornik scenariev. Erevan, 1988. P. 129—217.)

[Подорога 2000—2001] — *Подорога В.А.* Трансгрессия и предел // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль, 2000—2001 (https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH7c4c331d98407f8b24187c (дата обращения: 18.04.2025)).

(*Podoroga V.A.* Transgressiya i predel // Novaya filosofskaya enciklopediya: In 4 vols. Moscow, 2000—2001 (https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH7c4c331d98407f8b24187c (accessed: 18.04.2025))

[Пропп 1976] — *Пропп В.Я.* Структурное и историческое изучение волшебной сказки // Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976. С. 132—152.

(*Propp V.Ya.* Strukturnoe i istoricheskoe izuchenie volshebnoj skazki // Propp V.Ya. Fol'klor i dejstvitel'nost'. Moscow, 1976. P. 132—152.)

[Проханов 1976] — *Проханов А.* Кочующая роза. М.: Молодая гвардия, 1976.

(*Prohanov A.* Kochuyushchaya roza. Moscow, 1976.)

[Рогаческий 2012] — *Рогаческий А.* Сибириада (1978) // Ноев ковчег русского кино: от «Стенька Разина» до «Стиляг» / сост. Е Васильева, Н. Брагинский. М.: Глобус-пресс, 2012. С. 327—330.

(*Rogacheskij A.* Sibiriada (1978) // Noev kovcheg russkogo kino: ot «Sten'ka Razina» do «Stilyag» / Comp. by E Vasil'eva, N. Braginskiy. Moscow, 2012. P. 327—330.)

[Славкина 2002] — *Славкина М.В.* Триумф и трагедия: Развитие нефтегазового комплекса СССР в 1960—1980-е гг. М.: Наука, 2002.

(*Slavkina M.V.* Triumf i tragediya: Razvitie neftegazovogo kompleksa SSSR v 1960—1980-e gg. Moscow, 2002.)

[Слезкин 2017] — *Слезкин Ю.* Арктические зеркала. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

(*Slezkin Yu.* Arctic Mirrors. Russia and The Small Peoples of The North. Moscow, 2017. — In Russ.)

[Снежко 2022] — *Снежко Ю.* Грязь болота и золото нефти: стратегии литературной «колонизации» болот Сибири // Literatūra. 2022. Vol. 64(2). С. 50—66.

(*Snezhko Yu.* Gryaz' bolota i zoloto nefti: strategii literaturnoj «kolonizacii» bolot Sibiri // Literatūra. 2022. Vol. 64(2). P. 50—66.)

[Фрейд 1992] — *Фрейд З.* Фетишизм / Пер. с нем. А.В. Гараджи // Захер-Мазох Л. фон. Венера в мехах. М.: РИК «Культура», 1992. С. 372—379.

(*Freud S.* Fetischismus. Moscow, 1992. — In Russ.)

[Фуко 1994] — *Фуко М.* О трансгрессии // Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Пер. с фр. С.Л. Фокина. СПб.: Мифрил, 1994. С. 110—131.

(*Foucault M.* Preface à la transgression. Saint Petersburg, 1994. — In Russ.)

[Хайдеггер 1993] — *Хайдеггер М.* Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. с нем. В. Бибихина. М.: Республика, 1993. С. 221—238.

(Heidegger M. Die Frage nach der Technik. Moscow, 1993. — In Russ.)

[Юрасова 1981] — *Юрасова М., Юрасова Г.* Нефтяник: Документальная повесть. М.: Советская Россия, 1981.

(*Yurasova M., Yurasova G.* Neftyanik: Dokumental'naya povest'. Moscow, 1981.)

[Юрчак 2014] — *Юрчак А.* Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение / Пер с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

(*Yurchak A.* Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation. Moscow, 2014. — In Russ.)

[Arnason 1993] — *Arnason J.P.* The Future that Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model. London: Routledge, 1993.

[Bauman 2000] — *Bauman Z.* Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press, 2000.

[Bell 1973] — *Bell D.* The Coming of Post-Industrial Society: A Venture of Social Forecasting. New York: Basic Books, 1973.

[Bolotova 2004] — *Bolotova A.* Colonization of Nature in Soviet Union: State Ideology, Public Discourse, and Experience of Geologists // Historical Social Research. 2004. No. 29 (3). P. 104—123.

[Butler 1987] — *Butler J.* Subjects of Desire. Hegelian Reflections in Twentieth-Century France. New York: Columbia University Press, 1987.

[David-Fox 2015] — *David-Fox M.* Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2015.

[Clark 1981] — *Clark K.* The Soviet Novel. History as Ritual. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.

[Collins 1994] — *Collins R.* Four Sociological Traditions. New York: Oxford University Press, 1994.

[Coronil 1997] — *Coronil F.* The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

[Diment, Slezkine 1993] — Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture / Ed. by G. Diment G., Yu. Slezkine. New York: Palgrave Macmillan, 1993.

[Groys, Hagemeister 2005] — *Groys B., Hagemeister M.* (Hrsg.) Die Neue Menschheit. Biopolitische Utopien in Rußland zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Berlin: Suhrkamp, 2005.

[Günther 1993] — Günther H. Der sozialistische Übermensch. M. Gor'kij und der sowjetische Heldenmythos. Stuttgart: Metzler, 1993.

[Jameson 1981] — *Jameson F.* The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca: Cornell University Press, 1981.

[Kalinin 2015] — *Kalinin I.* Petropoetics: The Oil text in Post-Soviet Russia // Russian Literature since 1991 / Ed. by E. Dobrenko, M. Lipovetzky. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. P. 120—144.

[Kalinin 2022] — *Kalinin I.* Aleksei Parshchikov's Poem "Oil" (1998): Oil, Language, and "Der Ursprung des Kunstwerkes" // Zeyer K., Stahl H., Schwaetzer H. (Hrsg.) Natur in der Lyrik und Philosophie des Anthropozäns: zwischen Diagnose, Widerstand und Therapie. Münster: Aschendorff Verlag, 2022. P. 233—247.

[Kalinin 2023a] — *Kalinin I.* Russian Oil: Tragic Past, Radiant Future, and the Resurrection of the Dead / Ed. by J. Porter, M. Vinokour M. Energy Culture: Work, Power, and Waste in Russia and Soviet Union. London: Palgrave Macmillan, 2023. P. 225—248.

[Kalinin 2023b] — *Kalinin I.* Economic Rationality and Socio-Technological Fantasy: Soviet Oil and its Geochronological Formations (A. Konchalovsky's The Siberiade, 1978) // Lagoonscapes. The Venice Journal of Environmental Humanities. 2023. Vol. 3. No. 1. P. 91—116.

[LeMenager 2014] — *LeMenager S.* Living Oil. Petroleum Culture in the American Century. Oxford: Oxford University Press, 2014.

[Masing-Delic 1992] — *Masing-Delic I.* Abolishing Death. A Salvation Myth of Russian Twentieth-Century Literature. Stanford: Stanford University Press, 1992.

[Mitchell 2011] — *Mitchell T.* Carbon Democracy Political Power in the Age of Oil. London, New York: Verso, 2011.

[Naiman 1997] — *Naiman E.* Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton: Princeton University Press, 1997.

[Ross 2012] — *Ross M.* The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of the World. Princeton: Princeton University Press, 2012.

[Szeman 2019] — *Szeman I.* On Petrocultures Globalization, Culture, and Energy. Morgantown: West Virginia University Press, 2019.

[Toffler 1980] — *Toffler A.* The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. New York: William Morrow & Company, 1980.

[Weiner 1999] — *Weiner D.R.* A Little Corner of Freedom. Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1999.

[Wilson, Carlson, Szeman 2017] — *Wilson S, Carlson A., Szeman I.* (Eds.) Petrocultures. Oil, Politics, Culture. Montreal; Kingston; London; Chicago: McGill-Queen's University Press, 2017.

[Wolozin, Wolozin 2007] — Wolozin H., Wolozin B. The Unconscious in Economic Decision-Making: Convergent Voices // The Journal of Socio-Economics. 2007. No. 36. P. 856—864.

[Seifrid 1992] — *Seifrid Th.* Andrei Platonov: Uncertainties of Spirit. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Графомания. Литература и ее границы[1]

Данила Давыдов

Наивный автор как (не)графоман:

К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ

Danila Davydov

Naive Author as a (Non-)Graphomaniac: Toward the Problem of Correlation of Concepts

Данила Давыдов (Государственный академический университет гуманитарных наук, кафедра теории и истории культуры и искусства, доцент; кандидат филологических наук) komendant3@yandex.ru.

Ключевые слова: графомания, персонажный автор, наивное письмо, примитив, примитивизм

УДК: 82.0+82.09+7.011+930
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_263

В статье рассматривается история понятия «графомания» и предлагается рабочая версия типологии тех явлений литературы, которые обозначались этим понятием, а также рядом других, отчасти синонимичных. Так, «графоманом 1» предлагается называть «персонажного автора»; «графоманом 2» — порожденное психиатрическим дискурсом представление о маниакальном сочинителе; «графоманом 3» — обыденное представление о бесталанном, но активном стихотворце; «графоманом 4» — порожденный советской литературной системой феномен безликого стандартизованного писателя и его аналог в современной сетевой среде.

Danila Davydov (PhD; State Academic University for the Humanities, Department of Theory and History of Culture and Art, Associate Professor) komendant3@yandex.ru.

Key words: graphomania, character author, naive writing, primitive, primitivism

UDC: 82.0+82.09+7.011+930
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_263

The article examines the history of the concept of “graphomania” and proposes an operational version of the typology of literary phenomena that have been designated by this concept, as well as a number of other partially synonymous concepts. Thus, it is proposed to call “graphomaniac 1” a “character writer”, “graphomaniac 2” the idea of a manic writer generated by psychiatric discourse, “graphomaniac 3” the common idea of an untalented but prolific poet, “graphomaniac 4” the phenomenon of a faceless standardized writer generated by the Soviet literary system and its analogue in the modern online environment. Furthermore, various aspects of the problem of naive writing are considered: the difference

1 Статьи, составившие этот тематический блок, первоначально прозвучали в виде докладов на онлайн-конференции «Графомания. Русская литература и ее границы», организованной Константином Богдановым и Ярославой Захаровой 7—10 октября 2024 года и проводившейся при поддержке издательского дома «Новое литературное обозрение» с трансляцией на каналах издательства.

Далее рассматриваются различные аспекты проблемы наивного сочинителя: различие между примитивом и примитивизмом, вопрос об отличиях в бытовании наивного и примитивистского творчества в визуальном и словесном искусствах, связь проблематики примитива с постколониальным контекстом. Показываются как принципиальные отличия в способах существования наивного автора и графомана, так и возможные корреляции между отдельными вариациями примитива и графомана.

between primitive and primitivism, the question of the differences in the existence of naive and primitivist creativity in the visual and verbal arts, the connection of the problematics of the primitive with the postcolonial context. It shows both the fundamental differences in the modes of existence of the naive author and the graphomaniac, as well as the possible correlations between individual variations of the primitive and the graphomaniac.

Пытаясь описать черты, роднящие или отличающие «графоманию» и «наивное письмо», натыкаешься на множество препятствий, связанных с неоднозначностью этих понятий, противоречивостью существующих трактовок и постоянно возникающим неразличением бытового и терминологического их использования. При этом зоны неопределенности, стоящие за каждым из понятий, не просто не совпадают, но подчас принадлежат к принципиально разным полям (причем и семантическим, и социальным). Тем не менее очевидны и зоны схождения между ними; в них возникает своего рода интерференция, подчас довольно существенно влияющая на восприятие того или иного текста или автора.

Графоман — лишь одно из обозначений, причем довольно поздних и локальных, которые применяются по отношению к «дурным» поэтам, но не всяким, а наделенным некоторыми дополнительными свойствами, которые располагаются, условно говоря, между литературно-полемическим и психиатрическим дискурсами и имеют тенденцию накладываться друг на друга. В античной традиции известны Бавий и Мевий, о которых писали Вергилий (Buc. III, 90—91) и Гораций (Ep. X). В новоевропейской литературе эти имена оставались нарицательными, их можно встретить у Александра Поупа, Джона Драйдена или графа Роскоммона[2]; широко пользуются этими именами и русские поэты, от Ивана Дмитриева до Василия Курочкина[3]. Нарицательными

2 У последнего см., например: «Иначе вы, Вергилием начав, / Закончите как Мевий-костоправ. / Мерзавец этот (чьи стихи забыты / Совсем, хоть выйти он хотел в пииты) / Пел тоже Трою, стёртую во прах, / В своих блевотных и тупых стихах; / Шумел он много на предмет Марона, Но, чуть к стихам шло дело, эпигону / Так приходилось тужиться, что лишь / Шёл пар, пока гора рожала мышь» (пер. И. Кутика) [Роскоммон 2023: 702].

3 Обращение последнего к данному топосу особенно замечательно. В 1816 году князь Петр Вяземский пишет «К перу моему», вариацию на седьмую сатиру Буало. В этом стихотворении, включенном в широкий полемический контекст, возникает и имя Бавия. Спустя несколько десятилетий, в 1961-м, Курочкин, который не мог не знать этого текста Вяземского, реагирует на празднование 50-летия творческой деятельности старшего поэта, отождествляя уже того с Бавием: «Я — воплощенное преданье, / Пиита, выслуживший срок, / Поэтам юным — назиданье, / Поэтам в старчестве — упрек. / Я протащил свой век печальный, / Как сон, как глупую мечту, / За то, что тканью идеальной / Порочил правды красоту» («Стансы на будущий юбилей Бавия» [Поэты «Искры» 1955: 175]). Помимо очевидного противостояния поэта-демократа реликту аристократического направления в словесности, здесь интересен более общий механизм, подобный тому, что подпитывал репутацию графа Хвостова: «В 1830-е годы “долгоживотность” (как выразился один автор) Хвостова казалась младшим современникам неприличной, если не кощунственной» [Виницкий 2017: 136]. У Курочкина также см. «Эпитафию Бавию».

могли становиться и имена более современные, к примеру Жан Шаплен[4]. Бен Джонсон вводит слово *poetaster*, восходящее к Эразму[5], в одноименной сатирической комедии (1601)[6] противопоставляя «подлинного поэта Горация» и напыщенного бездарного стихотворца Криспина. Алексис Пирон в комедии «La métromanie» (1738) изображает фигуру обуреваемого страстью к стихотворчеству поэта Дамиса; слово «метроман» на некоторое время вошло в обиход, в том числе широко использовалось в России в литературной полемике. Разумеется, постоянно встречались и менее оригинальные определения («рифмоплет» и т.д.); скажем, у Буало по отношению к такого рода стихотворцам используется слово *rimeur*.

Ничтожность дарования в соединении с большими амбициями — лишь одна сторон подобных персонажей; другой стороной оказывается одержимость самим процессом письма. Еще Гораций завершающий фрагмент «Послания к Пизонам» («Наука поэзии») посвящает как раз таким одержимым (причем этот фрагмент на контрасте следует сразу за описанием строгой рациональной критики поэтических неудач)[7]; примеры этого поэтического типа можно найти у Катулла и Марциала. В то же время античная традиция знает неоплатоническую концепцию furor poeticus, поэтического воодушевления (или восторга), воскрешенную в ренессансную эпоху. В «Поэтическом искусстве» Буало

> тип неистового стихотворца не носит сугубо сатирического характера. …к горацианской дихотомии *одержимые/здравомыслящие* поэты добавлен третий тип — *холодные* писатели (froid écrivain; IV, 38), чья «ледяная муза» (muse… froide et glacée; II, 46) опаснее горячки рифмачей. В литературной иерархии Буало на последнем месте стоит не неистовый стихотворец, а холодный автор, не знающий творческого восторга [Мазур 2009: 146][8].

Можно говорить о двойственном отношении к «неистовым стихотворцам»; если «poetaster» — однозначно негативный образ, то «метроман» (уже у самого Пирона) предстает фигурой не столь одномерной и обладающей плавающей семантикой.

---

4 Ср. у Пушкина объединение античной и современной фигур «дурного поэта»: «Пусть будет Мевием в речах превознесен — / Явится Депрео, исчезнет Шапелен» [Пушкин 1950: 194].

5 См.: Oxford English Dictionary (https://www.oed.com/dictionary/poetaster_n?tab=etymology (дата обращения: 24.01.2025)).

6 По-русски название передается обычно как «Стихоплет» (см., например: [Ромм 1958]), что мне представляется малоудачным, так как утрачивается семантика суффикса. Скорее стоило бы переводить «поэтишка».

7 «Словно тот, кто коростой покрыт, или болен желтухой, / Или Лишился ума, иль наказан гневливой Дианой, / Именно так ужасен для всех поэт полоумный — / Все от него врассыпную, лишь по следу свищут мальчишки <…> / Так от ретивых поэтов бегут и ученый и неуч; / Если ж поймает — конец: зачитает стихами до смерти / И не отстанет, пока не насытится кровью, пиявка» (пер. М. Гаспарова) [Гораций 1970: 394—395].

8 Курсив оригинала. Исследовательница показывает, что такая двойственность происходит из двойной ориентации Буало: на «Искусство поэзии» Горация и на трактат Псевдо-Логина «О возвышенном» (в другом переводе «О высоком»), с французского перевода которого (1674) «началась реабилитация идеи энтузиазма в европейской эстетике» [Мазур 2009: 148].

При этом появление образа «дурного поэта» часто обусловлено литературной и/или идеологической борьбой, начиная с тех же Бавия и Мевия[9]. Так, репутация Шаплена стала результатом борьбы внутри классицистического движения, Джонсон в ходе «войны поэтов» (или «войны театров») создал образ своего «поэтастера» Криспина, который отсылал к фигуре поэта Джона Марстона[10], и т.д.:

> История литературы убедительно свидетельствует о том, что бавиями и мевиями не рождаются. Их выбирают или назначают более удачливые современные поэты и критики из числа литературных неудачников. Их «канонизирует» молва. Почему тот или иной стихотворец получил у современников и потомков репутацию Бавия — вопрос, что называется, индивидуальный [Виницкий 2017: 20].

В то же время не менее важным является и конструирование внутри литературного сообщества не просто негативного образа того или иного автора, но и его канонизация как образцового в этом своем негативном качестве, способном принимать поистине грандиозные масштабы. Обыкновенно для такого рода канонизации недостаточно специфических черт поведения, неудачной позиции, занятой в литературной борьбе, или собственно «дурных», на взгляд современников, текстов; требуется сложение нескольких факторов, которые в результате приобретают принципиально новое качество. При этой операции происходит стирание границ между имплицитным и эксплицитным субъектом письма, а также и внетекстовым поведением автора. Так, репутация Уильяма Макгонаголла рождалась из соединения мегаломании с аффектированными манерами поэта и собственно его обескураживающими современников текстами. Архаизм поэтики Тредиаковского, подчеркивавшийся еще в XVIII веке, для XIX-го был неприемлемым, но значим был и бытовой образ поэта[11].

При этом сложившийся целостный тип явственно отличен от биографического автора. Самым ярким здесь оказывается случай Д.И. Хвостова, когда негативная канонизация явно перерастает саму себя, порождая целый миф о графе Хвостове, в котором различимы отнюдь не только и даже не столько негативные черты. Уникальность фигуры графа Хвостова в его мифологизированном облике объяснялась по-разному. Еще Ю.Н. Тынянов писал о специфической игре, в которую были вовлечены не только оппоненты Хвостова, но и он сам[12].

---

9 «Причиной их дурной репутации могла быть как политика, так и личная неприязнь. Вергилий и Гораций были сторонниками Августа во время гражданской войны, в то время как Бавий и Мевий, возможно, были сторонниками Антония» [Herren 2001: 10]. На эту работу ссылается и Илья Виницкий в важной для рассматриваемой темы книге: [Виницкий 2017].

10 «Мы знаем это из-за любви Криспина к необычным и самобытным словам… которые Марстон придумал или использовал в своих более ранних произведениях. Более того, хотел того Джонсон или нет, но, по крайней мере, некоторые из его современников воспринимали друга Криспина (и коллегу-поэта) Димитрия как портрет драматурга Томаса Деккера, а образ Горация — как портрет самого Джонсона» [Yearling 2016: 5].

11 «К концу 1860-х годов… сложилась литературная репутация Тредиаковского как “смешного” поэта (читай: поэта абсурда), чье стихотворчество осталось за пределами литературного канона, но чьи теоретические построения сохранили свою актуальность и оказали определенное влияние на литературный процесс. При этом биография Тредиаковского и его публичное поведение воспринимались как пример морального конформизма» [Немировский 2024: 170].

12 «Хвостов нужен был как стержень, как герой развития особой системы пародического стиля» [Тынянов 1977: 304]. См. также далее: [Там же: 305].

По Марку Альтшуллеру, Хвостов, последовательно отстаивая поэтику классицизма, оказался не понят современниками, видевшими за его последовательностью художественного метода только бессмыслицу[13]. Илья Виницкий видит в фигуре Хвостова реализацию некоторого требования культуры его времени:

> Русской литературе так называемого золотого века поэзии *необходим* был свой антипоэт, и этот антипоэт должен был быть единственным в своем роде. На его роль современники «пробовали» разных сочинителей (тот же Тредиаковский, Бобров, Шаховской, Шаликов, позднее прозаик Орлов), но стал им «классик»-долгожитель Дмитрий Иванович Хвостов, оказавшийся одинаково удобной мишенью для всех поэтических партий этой эпохи [Виницкий 2017: 20][14].

Эти наблюдения резонны, но наиболее значимой все же представляется указанная Тыняновым сконструированность мифа о графе Хвостове и вовлеченность в это конструирование обеих сторон; однако при всей исключительности хвостовского феномена его особое положение, как мне представляется, связано не столько с внутренними его свойствами, сколько с тем, что хвостовский миф наложился на другой миф — о золотом веке русской словесности, в которой все носило исключительный и превосходный характер (поэтому, возможно, столь трудно дается восстановление репутаций авторов, «вымытых» из этого мифа, вроде В.Г. Бенедиктова)[15].

Во всех этих случаях возникает то, что Тынянов называл «пародической личностью», но что, на мой взгляд, вернее было бы назвать «персонажным автором»[16] (возвышенная вариация такой фигуры — «поэт-пророк»; при этом

---

13 «Таким образом, становится ясным, что все нарушения общепринятых представлений, все то, что казалось читателям-современникам проявлением скудоумия несчастного графомана, на самом деле является художественным приемом. Каждая нелепость, если рассматривать ее с точки зрения внутренней системы хвостовской басни, становится функционально действующей: намеренно просторечной безыскусностью. Если даже ее нельзя счесть художественно необходимой, то, во всяком случае, она внутри системы становится понятной и логически обусловленной» [Альтшуллер 2007: 204].

14 Курсив оригинала. См. далее: «Между тем русский антипоэт… оказался совсем не похож на своих европейских и русских собратьев. Над Хвостовым смеялись не так, как над Бавием, Мевием, Тресотином, Шапеленом, Тредиаковским et tutti quanti. Хвостов воспринимался современниками не столько как отвратительная карикатура на высокого поэта, сколько как комический спутник, незадачливый трикстер или гротескный двойник истинного автора, будь то Державин, Дмитриев, Карамзин или Пушкин. Более того, общим местом русской хвостовианы стало утверждение, что в каждом из поэтов есть частица Хвостова. Поскреби любого и убедись: те же амбиции, суетность, страсть к бумагомаранию, многословие, культ поэзии, аристократическая спесь, желание славы и поэтического бессмертия» [Виницкий 2017: 21].

15 Говоря о различии между биографическим автором и его мифологизированной ипостасью, стоит вспомнить и о том, что и Тредиаковскому, и Хвостову приписывались тексты, ими не сочиненные (при этом эти тексты часто в глазах публики наиболее отчетливо характеризовали автора, который их при этом не писал. О «Псевдо-Хвостове» см., например: [Альтшуллер 2007: 211]; о «Псевдо-Тредиаковском» см.: [Успенский 2012: 462—490].

16 Я заимствую это понятие из терминологии московского концептуализма: «ХУДОЖНИК-ПЕРСОНАЖ — фигура посредника между автором произведения и его зрителем. Термин введен С. Гундлахом в 1983 г. … Концепция разработана И. Кабаковым. <…> Далее расширение дискурсивной “партитуры” персонажности имело еще два этапа: в 1988 г. в диалоге И. Кабакова и А. Монастырского “Зритель-персонаж”, 1988… Кабаков ввел термин “зритель-персонаж”, а в 1989-м в диалоге И. Бакштейна и

сниженная и возвышенная вариации не вполне уравниваются при сравнении по модулю, так как сниженная версия включает ряд качеств возвышенной, пускай и в искаженном виде, обратное же неверно). Персонажным автором его делает то, что отделившийся от биографического автора образ функционирует в культуре примерно на тех же основаниях, что и физически не существующий, но представленный в литературе автор с очерченным корпусом текстов, самый яркий пример чему, конечно же, Козьма Прутков, и персонаж текста, в культурном своем бытовании обретший самостоятельность, подобно капитану Лебядкину (замечу, что Тынянов называл «пародической личностью» и Хвостова, и Пруткова [Тынянов 1977: 303, 309]). Прецеденты такого рода штучны[17], за ними всегда стоит ряд недовополощенных персонажных авторов (вроде добролюбовских Конрада Лилиеншвагера, Якова Хама или Аполлона Капелькина), которые остаются явлениями исключительно пародийными[18]. Пародийность же персонажных авторов является лишь частью их облика, хотя и важной. Особенное значение тут приобретают взаимосвязи между «реальными» и «виртуальными» персонажными авторами (скажем, Тредиаковским или А.Е. Анаевским как отчасти прототипами капитана Лебядкина [Немировский 2023; 2024]).

Это устойчивая модель, которую можно обозначить «графоман 1» (помня о том, что само понятие графомании входит в широкий обиход позже, нежели сформировался мифологический образ, например, того же графа Хвостова). Именно на нее ориентировались многие авторы XX века, создавая свои варианты трансгрессивного персонажного авторства и говоря о своем расположении к графу Хвостову, Козьме Пруткову или капитану Лебядкину. Обратно, это позволяет прочитывать «трансгрессивных персонажных авторов» сниженного типа сквозь модернистскую, авангардную или постмодернистскую картину мира, тем самым «реабилитируя» их[19].

А. Монастырского “Для журнала ‘Искусство’” А. Монастырским были введены понятия “критик-персонаж” и “идеолог-персонаж”» [Словарь терминов 1999: 93—94]. Рассмотрение связи концептуалистской персонажности с более ранними ее примерами нужно проводить отдельно.

17 Уникальность этих обретших самостоятельность виртуальных личностей хорошо описал Владислав Ходасевич (далеко, впрочем, не всегда способный воспринимать поэтику такого рода, особенно если речь шла о его современниках): «*Комизм* Пруткова основан на том, что у него низкое и нелепое содержание облечено в высокую поэтическую форму. *Трагикомизм* (Курсив оригинала. — *Д.Д.*) Лебядкина — в том, что у него высокое содержание невольно облекается в низкую форму. Прутков в совершенстве владеет формой — и мелет вздор. Лебядкин высказывает святейшее, что в нем есть, и нечто объективно поэтическое, — но чем более старается он подражать поэтическому канону и общепринятым в поэзии приемам, тем безвкуснее и нелепее у него это выходит» [Ходасевич 1996: 199].

18 В тыняновской терминологии — «пародийными псевдонимами» [Тынянов 1977: 309].

19 Так, М. Альтшуллер видит у Хвостова «странный, с гиперболизированными деталями, почти сюрреалистический мир, похожий на те чудовищные картины, которые мы гораздо позднее найдем в странных композициях Сальвадора Дали или Михаила Шемякина» [Альтшуллер 2007: 204], — и сравнивает его поэтику с обэриутской. А.А. Кобринский, возражая на это, отмечает, что «вряд ли стоит сомневаться в том, что Хвостов, в отличие от них, не ставил целью последовательное разрушение основных логических и языковых категорий» [Кобринский 2013: 9]; «В другой “басне” “Художник и Часы” Хармс сознательное разрушает сам жанр басни, элиминируя из нее такие признаки, как связность и логичность сюжета, а также принцип логического

В рамках фигуры «графомана 1» роль психиатрического дискурса скорее вспомогательна (тем более что сам набор установок, стоящий за этой фигурой, возникает до формирования позитивистской психиатрии). Собственно, как таковой психиатрический дискурс актуализирует сами понятия «графоман» и «графомания» начиная с середины XIX века. Именно в рамках этих представлений возникает «графоман 2». Принципиальное его отличие от «графомана 1» не только в прямой связанности с психиатрическим дискурсом, но и в большей социальности. «Графоман 1» всегда уникум, эксцентрическая и уникальная фигура, в то время как «графоман 2» представляет собой социальное явление. Можно было говорить о «бавиях» и «мевиях», но все равно речь шла о единицах; теперь же речь идет о социально-психологическом типе, об определенном виде душевной патологии.

Психиатрическое понимание графомании восходит к работе Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство» (1-е изд. 1863; 3-е изд. 1877), в которой отдельная глава посвящена «маттоидам[20]-графоманам или психопатам»:

> Маттоидами-графоманами я предложил бы назвать разновидность, составляющую промежуточное звено, переходную ступень между гениальными безумцами, здоровыми людьми и собственно помешанными [Ломброзо 1892: 117].

Если доселе (в рамках модели «графомана 1») «дурного» поэта выделяла уникальная эксцентричность, то в рамках новой позитивистской программы «графомана 2» такого рода эксцентричность признается типической; если «графоман 1» по-своему интересен как персонажный автор, то «графоман 2» заведомо представляет только клинический интерес. Мишель Фуко писал:

> ...биологическая, анатомическая, психологическая, психиатрическая наука позволит незамедлительно распознавать в политическом движении тех, кто может быть действительно признан, и тех, кто подлежит развенчанию. Именно об этом Ломброзо говорил, описывая применения антропологии: антропология предоставляет нам возможность отличить подлинную революцию, всегда плодотворную и полезную, от мятежа и бунта, заведомо бесплодных [Фуко 2005: 189].

Но такое же распознание Ломброзо производит и в области художественного творчества:

вытекания морали из последнего. <...> Излишне, видимо, говорить, что сходство здесь лишь формальное: Хвостов не только не расшатывает жанр басни, но наоборот, твердо следует традициям, как он их понимает [Там же: 10]; «Ведь, в отличие от Хвостова, у Олейникова весь эстетический эффект существует только потому, что читатель постоянно ощущает стилистическую и внутрижанровую дисгармонию текста, она “торчит” буквально из каждого стиха. У Хвостова такого художественного единства, разумеется, нет, что наводит на размышления о причинах его эклектизма» [Там же: 11] (на мой взгляд, причины эклектизма Хвостова, в отличие от стройности эстетической системы Олейникова, довольно прозрачны: первый остается «персонажным автором» со всеми присущими такого рода типу авторства немотивированными провалами, тогда как второй остается последовательным примитивистом). В то же время Кобринский замечет: «Строго говоря, поведение Хвостова вполне адекватно классической модели авангардного поведения XX века. Принцип маски, которой поэт соответствует во всех областях жизни, поддерживается Хвостовым весьма последовательно» [Там же]. О связи поэзии капитана Лебядкина с художественными системами XX века см., например: [Улановская 1993].

20 От итал. *matto* — сумасшедший.

> Ненормальность писателей-маттоидов не всегда легко было заметить, если бы, при всей кажущейся серьезности и увлечении данной идеей, — в чем они обнаруживают сходство с мономаньяками и гениальными людьми, — к сочинениям их не примешивалось зачастую множество нелепых выводов, постоянных противоречий, многословия, бессмысленной мелочности и главным образом себялюбия и тщеславия, составляющих преобладающее свойство гениальных людей, лишившихся рассудка [Ломброзо 1892: 120—121].

Не меньшую роль в распространении психиатрического значения «графомании» сыграл Макс Нордау; его книга «Вырождение» (1892)[21], заостряющая и без того резкие положения Ломброзо, окончательно уравняла творчество и безумие; при этом само понятие «вырождения» воспринималось как применимое в первую очередь к текущему положению дел, в том числе в литературе. При этом именно Нордау делает акцент на центральных явлениях модерной культуры:

> Великий поэт символистов, их первообраз, вызывающий удивление и подражание, давший им, по их собственному признанию, сильнейший импульс, — Поль Верлен. Ни в одном человеке не находим мы такого полного сочетания физических и психических признаков вырождения, как в нем; я не знаю ни одного писателя, на котором можно было бы проследить так отчетливо, черта за чертою, клиническую картину вырождения: вся его наружность, его жизнь, его образ мыслей, мир его представлений, его способ выражения — все подходит под эту картину [Нордау 1894: 122].

Или:

> Таким образом, мы видели, что символизм, как и прерафаэлизм, у которого он заимствовал свое настроение и некоторые лозунги, составляет не что иное, как одну из форм мистического мышления психопатов. Попытки некоторых сторонников этого движения осмыслить бормотание своих вождей и установить соответствующую программу не выдерживают даже поверхностной критики и оказываются простыми бреднями графоманов, лишенных не только чутья правды, но и здравого смысла [Там же: 149].

Впрочем, объектом диагностирования Нордау становится и Лев Толстой; если Ломброзо после визита к писателю «признал, что ошибался в своих предположениях о болезненности Толстого, его последователь Макс Нордау, никогда не видевший писателя, продолжал находить в нем патологию» [Сироткина 2008: 105]. Так, он писал: «…все умственные особенности, характеризующие Толстого, представляют собою не что иное, как хорошо известные и прочно установленные признаки вырождения высшего порядка» [Нордау 1894: 176].

Радикализм Нордау устраивал не всех трансляторов психиатрического дискурса. Первичным моментом расхождения стало творчество признанных классиков: Гоголя, Достоевского, Мопассана. Даже находя у классиков патологические черты, носитель психиатрического дискурса находит для них и слова оправдания (как В.Ф. Чиж в отношении Гоголя)[22]. Жанр патографии при

---

21 О концепции «вырождения» в отношении русской литературы см.: [Николози 2019].

22 Например: «Относительно второй части “Мертвых душ” психиатр может сказать весьма немного; ослабление творчества в этом произведении так ясно, что не возбуждает сомнений, и только болезнию можно объяснить это печальное явление. Гоголь

таком ракурсе не предполагает обращения к понятиям вырождения в понимании Ломброзо и Нордау, речь о графомании не идет:

> Изучение болезни Гоголя, так же как и болезни Ницше, приводит к заключению, что гениальные люди и в болезни отличаются от обыкновенных людей. Ломброзо был вполне прав, указав на тот факт, что многие великие люди страдали душевной болезнию, были наделены психопатической организацией. Но великие люди, насколько мы можем судить по тем далеко неполным и не совсем точным сведениям о их жизни, какими мы обладаем, страдали своеобразными душевными заболеваниями, весьма отличными от тех, какими заболевают обыкновенные люди [Чиж 1904: 215].

В этой «вторичной канонизации» «великих авторов» носители психиатрического дискурса, вроде бы говорящие изнутри позитивистской парадигмы, воспроизводят романтическую модель, перенося ее из мира морали (по пушкинской формуле: «Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе») в мир душевного здоровья / болезни.

При этом, разумеется, данный дискурс не подразумевал столь же лояльного отношения ни к новейшим художественным течениям, ни к рядовым пациентам. В первом случае представители разных поколений психиатров отвергают разные поколения художников-новаторов: если мишенью, скажем, Г.И. Россолимо становятся широко понимаемые «декаденты» (Верлен, По, Метерлинк, Киплинг, Ибсен)[23], то в следующем поколении речь идет уже о футуристах, которым посвящена довольно обширная психиатрическая и квазипсихиатрическая литература[24]. Подобный ракурс психиатрического дискурса выходит за пределы собственно клинических оценок и становится более об-

---

писал это незаконченное произведение в том возрасте, когда у здоровых людей духовные силы достигают наивысшего развития, и потому только болезнь могла так неблагоприятно повлиять на художественную деятельность великого сатирика» [Чиж 1904: 134]. См. также: [Баженов 1903].

23 «А литература последнего времени, поэзия, беллетристика, драма? Разве вы не замечаете, как в ее чистые струи все чаще и чаще вливаются ручьи, несущие нечто, ничего общего не имеющие ни с сущностью, ни с задачами ее? Разве пресловутое литературное декадентство и символизм с преобладанием сюжетов из сферы больной души, с изощренной словесной иллюстрацией маловажных индивидуальных и случайных, чувств и настроений, с обезличением творений в интересах хитросплетенных сочетаний мертвых слов и музыкальных звуков, не есть то же, что и некоторые течения в современной живописи, не напоминает ли, вернее, тех ламентаций и рифмований, которые с утра до вечера раздаются под сводами домов для умалишенных с их характерными чертами: неологизмом, аллитерацией, эхолалией, копролалией, рабашажем?» [Россолимо 1901: 42]. «Рабашаж» — от фр. *rabâchage*, повторение, пережевывание одного и того же.

24 Из наиболее заметных сочинений этого рода, посвященных футуризму, см.: [Вавулин 1913; Закржевский 1914; Радин 1914]. Следует отметить, что это дискурс продолжает существовать, но окончательно обособился от поля литературы (чего не было в эпоху господства психиатрического дискурса. Иосиф Зислин остроумно замечает: «…то, что принималось за авангардизм сто лет тому назад, для диагноста осталось таким в области заумного, непонятного, вычурного и, отсюда, столь клинически подозрительного. Доказательством может служить схожесть психиатрических подходов и диагнозов при анализе творчества и поведения авангардистов… на протяжении последних ста лет» [Зислин 2023: 294], находя стиль анализа того же Е.П. Радина вполне сопоставимым с современными патографиями.

щим, проникая в журналистику, публицистику и т.д. Автор-новатор предстает графоманом («графоманом 2») в резко негативном обличии: он либо мошенник, либо умалишенный (а порой и то и другое вместе).

Если Ломброзо понимал графоманию довольно расширительно, то, начиная с Нордау, понятие графомана соотносится (вполне в соответствии с внутренней формой слова) именно со словесностью, в случае же других искусств используются иные понятия. Если же дело идет о письме (и шире, вообще творчестве), то постепенно, войдя в широкое словоупотребление, понятие графомании перестало быть обязательным при описании словесных опытов обычных пациентов; психиатрическая «графомания 2» заложила основу для вычленения расхожего и бытового понятия «графомания 3», уже практически совпадающего с современным интуитивным и дорефлексивным консенсусом носителей языка.

«Темная», негативная вариация образа «графомана 2» не отменяет того, что параллельно возникают и нейтральная, и «светлая», апологетическая вариации.

С одной стороны, в рамках авангардного поведения негативное «внешнее» восприятие футуристических, дадаистических и т.д. акций оказалось как раз наиболее релевантной реакцией[25]; это вполне соответствует известному тезису М.И. Шапира о прагматике авангарда:

> Не приемлющий авангарда обыватель есть его самый адекватный читатель, слушатель, зритель — творчество авангардистов в первую очередь обращено к нему и сохраняет свое авангардное качество только до тех пор, пока продолжает вызывать его активное неприятие (более того, именно в этом неприятии и состоит оправдание авангарда) [Шапир 1995: 137].

В этом свете постулированное Л.Г. Пановой «несолидарное» чтение авангардных текстов [Панова 2017] предстает не столько их деконструкцией, сколько возвратом к «продуктивному непониманию», действенным способом извлечения авангардных текстов из культурного мемориала (вне зависимости от целей, которая ставила сама исследовательница).

С другой же стороны, внутри собственно авангардного круга возникает внутренний культ «возвышенных безумцев», авторов, чье девиантное поведение заметно выделяется даже в авангардной среде, где измененное по отношению к «норме» поведение привычно. Таковы, скажем, Велимир Хлебников в кругу «Гилеи», Артюр Краван для раннего сюрреализма, в определенном смысле Тихон Чурилин и Антонен Арто. Перед нами, как ни странно, вновь

25 «В функциональном смысле претензии на безумие служили элементом декларативного оформления футуристического искусства и одновременно развлекательным приемом: ярлык «безумцев» обеспечивал футуристам общественное внимание. Эта условность хорошо осознавалась наиболее проницательными критиками, читателями и зрителями — и с точки зрения самих футуристов должна была оставаться таковой. <…> Газеты и журналы становились в этом контексте равноправными участниками футуристической игры, балансируя между диктуемой футуристами условностью и нарушениями установленного кода, к которым относились недвусмысленные обвинения футуристов в сумасшествии. Пресса, в частности, охотно связывала с футуризмом всевозможные хулиганские выходки и случаи умопомешательства, в действительности не имевшие ничего общего с авангардным искусством» [Шаргородский 2011: x—xi].

«персонажные авторы» — в их возвышенной версии, которая извне, при «несолидарном» восприятии вполне может быть инвертирована и привести к проступанию «графомании 1» в эпоху «графомании 2». Собственно, такое наложение двух типов вполне возможно и без всякой инверсии, в рамках известного уже сценария литературной борьбы; неудавшиеся попутчики или конкуренты модернистских и авангардных движений практически сразу могут обрести репутацию «персонажного автора» в его сниженной версии: таковы случаи Александра Емельянова-Коханского и Сергея Нельдихена. В этот же ряд ситуаций можно включить и сознательное или нет «неузнавание» художественной стратегии того или иного из иной профессиональной страты, примеров чему множество; ограничусь лишь известным сюжетом «непонимания» Ходасевичем поэтики Николая Заболоцкого[26]. Наконец, в этот ряд могли бы встроиться «настоящие», с устойчивой репутацией, «графоманы», такие как Виктор Колосовский, Павел Горгулов или Голубчик-Гостов[27] (называю только тех, кто обрел некое посмертное литературное существование), оказавшиеся в зазоре между образами «графомана 1» и «графомана 2» (и тем самым, отмечу, забегая вперед, более всего из всех упомянутых доселе приблизившиеся к типу «графомана 3», то есть графомана в современном обыденном понимании; сближение это, впрочем, отчасти внешнее, поскольку сформировались эти авторы в условиях совершенно иной культуры, нежели теперешняя).

Среди внешних по отношению к инновационной литературе носителей психиатрического дискурса возникли варианты если не солидарного, то сочувственного отношения к «низовому» неконвенциональному письму (и вообще творчеству) — в первую очередь в среде клиники. Во многом пионерскими оказались работы некоего Марселя Режа[28]; в книге «Искусство у безумцев» (1907) он пишет:

---

26 В знаменитой статье «Ниже нуля» Ходасевич пишет: «В советской России частное издательство уничтожено, поэтому все должно проходить через цензуру и редактуру советских чиновников. Настоящего понимания эти чиновники, разумеется, лишены, но все-таки они достаточно натасканы, благоразумны и осторожны для того, чтобы произведений, лежащих много ниже нуля, в казенные издательства и журналы не пропускать. За все время существования советской власти нечто разительное было напечатано только один раз — я имею в виду цикл стихов Заболоцкого, из которого отрывки приводились в “Возрождении” Гулливером. При этом все же еще не выяснено, не были ли эти стихи сознательною насмешкою над редакцией журнала, в котором они появились» [Ходасевич 1991: 597].

27 См.: [Голубчик-Гостов 2023; Колосовский, Колосовский 2021; Кудрявцев 1999; Ходасевич 1996: 227—233].

28 И. Сироткина пишет о предположении, что под этим именем мог выступать «врач Поль-Гастон Менье (1873—1957), которого остро интересовали проблемы, связанные с искусством, творчеством и сновидениями. <…> Анализируя образцы творчества душевнобольных, Режа/Менье пришел к выводу о существовании определенных стереотипных формул и их вариаций. Как и Ломброзо, он считал искусство душевнобольных более примитивной формой и низшей ступенью развития художественного творчества. Но если Ломброзо совершенно отрицал ценность такого искусства, считая его знаком дегенерации, или «атавизмом», Режа/Менье отнесся к нему с намного большим энтузиазмом» [Сироткина 2008: 83]. Между прочим, работы Режа были первопроходческими не только в области исследования творчества душевнобольных, но и в исследовании формульных текстов, в некоторой степени предшествуя «Морфологии сказки» Проппа и «устной теории» Пэрри — Лорда.

> Безумцы, настоящие, обладают чрезвычайно богатой литературой; к какому бы рангу они ни принадлежали, при условии, что они не пришли к чисто вегетативному существованию, не впали в окончательную немощь, способны доверить бумаге свои более или менее интересные замыслы [Réja 1907: 104].

В 1921 году появляется труд Вальтера Моргенталера «Душевнобольной как художник», посвященный творчеству Адольфа Вёльфли; в 1922-м публикуется богато иллюстрированная монография Ханса Принцхорна «Художественное творчество душевнобольных», широко, в отличие от книги Режа, прозвучавшая и заложившая основу целого направления в искусствоведении, а в 1926-м — книга П.И. Карпова «Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники», первая отечественная работа, в которой художественная продукция (и визуальная, и словесная) пациентов психиатрических клиник расценивалась не только с позиций симптоматических, но и с эстетических[29].

Таким образом, из недр психиатрического дискурса рождался дискурс аутсайдерского искусства [Суворова 2020: 68—69, 289, 291]. Однако это требует от меня перехода к иной стороне нашей большой темы.

Как можно было убедиться, поле графомании существовало задолго до появления самого понятия графомании; кроме того, даже популярность Ломброзо и Нордау была скорее континентальной, поэтому, распространившись, понятие «графомания» не стало общемировым. Светлана Бойм даже утверждала: «В американском толковом словаре слово “графомания” отсутствует, в то время как в русском и восточноевропейских языках оно остается популярным в течение всего XX века» [Бойм 2022: 229][30]. Наконец, очевидно, что понятие графомании в постломброзианском понимании касается почти исключительно области письма (не всегда, впрочем, эстетически мотивированного). Чем-то схожим с «графоманией 1» была бы, например, одержимость художника или музыканта (классическая литература предлагает нам «высокие» вариации такого рода моделей в «Неведомом шедевре» или «Докторе Фаустусе», но за ними не стоит устойчивый антропологический тип или мифопорождающий механизм). Для психиатрического дискурса «графоманом 2» мог быть не только производитель словесной продукции, но после Нордау никто не пишет о графоманах за пределами литературы (да и описываемый Нордау Вагнер тоже вполне может восприниматься как литератор); тот же Россолимо пишет о болезненности декадентских музыкантов и художников, однако не называет их графоманами. Аналогами «графомании 3» в других искусствах окажутся

---

29 Стоит отметить, что Карпову принадлежит и другая работа, «Творчество заключенных» (1929); это позволяет считать Карпова сторонником наиболее распространенного сегодня подхода к аутсайдерскому искусству, который предполагает охват не только душевнобольных, но и социальных маргиналов в более расширительном смысле. См. также: [Суворова 2020: 289].

30 В самом деле, «Оксфордский словарь английского языка» знает это слово, но предлагает ничтожное число контекстов. См.: Oxford English Dictionary (https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=Graphomania (дата обращения: 25.01.2025)). Англоязычная «Википедия» предлагает в первую очередь психиатрическую интерпретацию (с ссылкой на Нордау и причисленных им к графоманам Рихарда Вагнера и французских символистов), и лишь затем собственно литературную, причем контексты действительно восточноевропейские (Милан Кундера, Чеслав Милош): https://en.wikipedia.org/wiki/Graphomania (дата обращения: 25.01.2025).

либо некачественное, «плохое» творчество, «халтура», либо любительство; и то и другое явление не вполне совпадают с полем значений, ощутимых в самом понятии «графомания».

В случае той группы понятий, к которым я сейчас обращаюсь, также имеются ограничения и зоны смысловой неопределенности, при этом они лишь в малой степени пересекаются с аналогичными из поля графомании (именно об этом я говорил в самом начале работы). Речь пойдет о поле наива или примитива. Даже эта пара понятий не вполне синонимична; так, иногда говорится о «наивном искусстве» и «примитиве» как о явлениях пересекающихся, иногда «примитив» понимается как более общее понятие[31]. Учитывая максимальную гетерогенность рассматриваемых понятий и их сложный исторический путь (которого я могу лишь едва коснуться), для простоты понятия «наивного» и «примитивного» будут использоваться как практически тождественные. Это непростое решение среди прочих иных причин и потому, что довольно принципиальной является оппозиция «примитив», «примитивное» / «примитивизм»[32], «примитивистское»; пара к «наиву» и «наивности» хотя и существует («наивизм»), однако на практике используется редко и ощущается как избыточная.

Принципиальной областью расхождения примитива с графоманией оказывается видовая эстетическая соотнесенность. Многие исследователи отмечают разнообразие визуального примитива и примитивистских художественных реакций на него, но при этом относительную бедность или, по крайней мере, непроявленность словесных аналогов, хотя причины тому указываются различные. В монографической статье, посвященной примитивизму в мировом авангарде, говорится:

---

31 «Наивное искусство (Naive Art) — термин, относящийся к работам непрофессиональных художников, отображающих в своем творчестве сцены с людьми, животными и другими сущностями реального мира, иногда объединяемыми с вымышленными образами. Такие художники часто стремятся к статусу профессиональных творцов, черпая из академизма сюжеты и технику исполнения произведений. Наивные художники порой могут рассматриваться как искушенные любители, творчество которых граничит с профессионализмом» [Абакумов 2022: 72—73]; «Примитив (Art Primitiv) — термин, используемый в расширительном значении, подразумевающий всякое, в том числе художественное, сознание, в рамках которого мир и человек неотделимы друг от друга (primitivus — первый, первоначальный), а также искусство древних неевропейских цивилизаций, первобытное, средневековое, народное искусство, традиционное искусство Азии, Африки, Америки и Океании, детское творчество, иногда искусство душевнобольных. Примитив в конкретно-историческом смысле — это творчество мастеров, не прошедших профессиональной выучки академического толка, однако вовлеченных в общеевропейский художественный процесс XVII—XX вв. Примитив, в свою очередь, подразделяется на генетический, социально-этический и эстетический (А.В. Лебедев)» [Там же: 73].

32 «Примитивизм — творчество высокопрофессиональных мастеров, сознательно обратившихся к примитиву в поисках целостности, утраченной, по их мнению, современным “ученым” искусством. Примитивизм явился ответной реакцией цивилизованного западного общества на проявляемый интерес к примитиву со стороны европейского интеллектуала» [Там же]. Вообще, это классификация очень напоминает известную китайскую энциклопедию Борхеса, но некоторое первичное впечатление о наборе базовых понятий не столько о науке, изучающей наивное искусство, сколько о практике его оценки и экспонирования она дает (как и о царящем в этой области теоретическом хаосе при очень солидной практике изучения конкретного материала).

> В литературе предшествующих эпох примитивизм существовал лишь на уровне идей и сюжетостроения и никак не проявлялся в поэтике, в стиле, в способе работы со словом. Как представляется, именно авангардисты перевели примитивистскую идеологию в план эстетики и глубоко внедрили ее в художественную ткань произведения, утвердив новый способ художественного мышления, и в этом состоит главная особенность авангардистского примитивизма, наложившего отпечаток на всю литературу XX в. <…> Следует особо подчеркнуть еще один важный момент. Если еще на заре авангардизма понятие «примитивизм» стало применяться по отношению к изобразительному искусству (хотя такого оформленного направления не существовало), то в ту эпоху оно не применялось по отношению к литературе, и, наверное, многие авангардисты были бы глубоко возмущены самим фактом такого соотнесения. Если с некоторыми оговорками еще можно говорить о художниках и скульпторах-примитивистах, то к авангардным писателям и поэтам, за редчайшими исключениями (Л. Палее Матос), это определение не подойдет, поскольку в творчестве большинства из них уживались самые противоположные тенденции. Таким образом, примитивистская составляющая в литературе авангардизма вычленяется достаточно условно, на уровне отдельных образов, мифомотивов, эстетических установок, художественных приемов, не отрицающих ничего противоположного. В этом, кстати, одна из особенностей примитивистской составляющей в литературе авангардизма [Кофман 2010: 198].

Большую часть сказанного сложно оспорить[33], однако здесь присутствует скорее констатация, нежели анализ.

В предисловии к сборнику, специально посвященному литературному примитивизму, составительница пишет о том, что в литературоведении, в отличие от истории искусств, понятие примитивизма нельзя считать утвердившимся. Причина тому — история примитивизма, опиравшегося на артефакты аутентичных культур Африки и Океании, которые естественно схватываются взглядом, как и всякие визуальные объекты. В то же время незнание неевропейских языков не позволяло европейским авторам испытать влияние этих вербаль-

33 За исключением, пожалуй, того, что до авангарда примитивизм «никак не проявлялся в поэтике, в стиле; то крайне расплывчатое (и расширительное) понимание примитивизма литературы, которое демонстрирует А.Ф. Кофман, вполне может включать и “Песни Оссиана”, и многочисленные подражания народной поэзии у романтиков, и сказ Даля (Казака Луганского) и Лескова, и уже рассмотренные мной образцы персонажного авторства у Достоевского и того же Лескова (стихи капитана Повердовни в «Соборянах»), и диалог Блока с городским романсом, и сектантские тексты А. Добролюбова, и отдельные примеры из “Гимнов, песен и замыслов древних” Бальмонта (“Солнце создал Гром. Сказал: / ‘Будь!’ И прочь прогрохотал. / Солнце — светлая жена, / Громом в бурю создана. // Две ноги всего ей дал. / А ходить ей приказал. / Две ноги, и много рук. / Видишь, сколько их вокруг <…>” [Бальмонт 1910: 148]) и из «Снов человечества» Брюсова («Кенгуру бежали быстро, / Я еще быстрей. / Кенгуру был очень жирен, / А я его съел. // Пусть руками пламя машет, / Сучьям затрещать пора. / Скоро черные запляшут / Вкруг костра» [Брюсов 1973: 313], — впрочем, возможно, исследователь включает символистов в авангардную парадигму, хотя из текста этого не видно. Если уж доходить до крайностей, то даже в поэзии трубадуров можно встретить некое подобие заумного примитивизма: «Трубадур Пейре де ла Ка’ Варана передает грубость чуждой для романского слуха немецкой речи, вкладывая в уста немцам, чью речь он сравнивает с кваканием лягушек и лаем разъяренных псов, странные слова: Granoglas resemblan / Endir: broder, guaz» [Мейлах 1975: 42]. В ряд приводимых Кофманом примеров этот бы отлично вписался, но это бы нарушило устоявшиеся историко-литературные конвенции.

ных культур [Gess 2013: 1]. Это чрезвычайно узкое понимание примитивизма (и примитива, на который он ориентируется), задано довольно авторитетной западной интерпретационной традицией, вызывает у Гесс вполне законные возражения[34]. Она указывает на возможность расширения тех источников, на которые может опираться примитивизм: «…не только западноафриканское и океаническое племенное, но и другое неевропейское искусство, а также европейское народное искусство, искусство детей и душевнобольных и средневековое искусство». Интерес к

> примитивному искусству может быть лишь частью интереса к «примитивным» культурам в целом. Поэтому под примитивизмом следует понимать и те направления европейского искусства, которые не обязательно брали за образец определенные артефакты, но были вдохновлены «примитивным» мировоззрением [Ibid.: 2].

Такое расширение базы источников примитивизма, пишет Гесс, может быть гораздо лучше освоено литературоведением. (Здесь можно возразить, что, скажем, в отечественной исследовательской традиции автохтонный примитив как раз всегда был в центре внимания, что никак не помогает появлению единого исследовательского поля; языки искусствоведения, философии, фольклористики, литературоведения, социологии, антропологии даже при обращении к одному и тому же материалу редко оказываются совместимыми.)

Валерий Гречко, реагируя на то же предисловие Гесс, выдвигает свою гипотезу: глубинная причина большей освоенности примитивного материала визуальными искусствами заключается

> в том нерациональном, логическом стиле «первобытного» мышления, который противоречит дискурсивно-логическому модусу вербальных средств выражения,

---

34 В самом деле, для подражания той или иной экзотической литературной культуре совершенно не обязательно знать язык культуры, на которую ориентируешься, как показывают многочисленные примеры, от «Западно-восточного дивана» Гёте до многочисленных образов подражания японским хайку и танка. Разумеется, это подразумевает колониальную оптику, но она же присутствует и во многих образцах визуального примитивизма, часто связанного с поверхностным и покровительственным взглядом на «трибальные» артефакты. Современным исследователям примитивизма приходится очень четко проговаривать этот аспект проблемы, например: «В последние годы полезность термина “примитивизм” была поставлена под сомнение во многих кругах. Отчасти это является результатом негативного культурного подтекста, который приобрел корень слова “примитивный”, особенно в последние три-четыре десятилетия. <…> Сомнение в примитивизме также отчасти является результатом общей тенденции, даже среди ученых, смешивать слова “примитив” и “примитивизм”, когда оба они используются как описательные существительные, намекающие на “примитивные” государства или простые технологии. Вопреки этому я утверждаю, что примитивизм — это полезная идея, которая может быть эффективно применена в истории искусства и проявление которой обнаруживается как на стилистическом, так на психологическом уровне. Примитивизм опирается на идеализированное культурное Иное, и в этом смысле его культурные влияния однонаправленны. Однако с самого начала должно быть ясно, что условно примитивный субъект одной культуры, скорее всего, не придерживается своих собственных примитивистских убеждений; и нет ничего невозможного в том, чтобы две культуры смотрели друг на друга прямо и каждая считала другую более примитивной. Примером может служить отношение Японии к Европе и наоборот в XIX веке» [Rhodes 2008: 385—386].

> на которые опирается литература. Поэтому симультанные — в силу своей визуальной природы — формы пластических искусств могут быть без труда перенесены в современные условия, а сгущенные, логически и синтаксически не развернутые формы «примитивного» вербального творчества вступают в принципиальное противоречие с господствующим в современной цивилизации дискурсивным модусом вербальной коммуникации [Гречко 2017: 299].

Все эти соображения содержат вполне осмысленные идеи, но целой картины специфического места словесного примитива (и примитивизма) в культуре не дают. Выскажу ряд своих соображений, которые, впрочем, тоже не создают целостной картины, но могут заполнить некоторые лакуны.

В самой, думаю, содержательной из статей вышеупомянутого сборника Эрхард Шюттпельц предлагает взглянуть на три исследовательские традиции, которые он полагает возможным выделить при разговоре о литературном примитивизме [Schüttpelz 2013]. Первая связана с филологической школой 1930—1940-х годов, руководимой Артуром Лавджоем и Джорджем Боасом, в рамках которой предполагалось осуществить исследование всей европейской истории с позиции выделения различных типов примитивизма, возникающих в разные исторические периоды и в различных цивилизациях; основой такого изучения представала оппозиция природного и культурного, противопоставление примитивизма и прогресса; эта историко-идеологическая программа была реализована лишь частично. Вторую традицию Шютпельц связывает с миром арт-практик, с миром художников, кураторов и искусствоведов (замечу, что тут мы опять вернулись к проблеме различия визуального и словесного). Желание перенести наработки художественного опыта в пространство литературы, по Шютпельцу, не работает; по сути, требуется заново изобрести примитивизм в литературе, так как в ней не было такого стройного и последовательного развертывания концепций, дискуссий, аналитических обобщений и т.д. Шютпельц фактически говорит о том, что мир художественного примитивизма был континуален и целостен, а литературного, даже если и можно его проследить, — децентрирован и фрагментирован (что вновь возвращает нас ко многому уже сказанному). При этом возникает принципиальный вопрос: если мы хотим подходить к примитивистской литературе, ища аналогий в истории художественного примитивизма, то

> где искусство, в данном случае — поэзия, так называемых примитивов, которая стала бы образцом для эстетических замыслов и индивидуальной литературной работы? Задавая этот вопрос, мы сталкиваемся с тем, что образец современные писатели гораздо реже искали в «примитивной поэзии», чем в обращении к якобы «примитивному мышлению» [Ibid.: 16—17].

(Это тонкое замечание, ниже на него мною будет дан вариант ответа.) Исследователь видит наиболее перспективным третий подход, связанный с антропологией и этнологией, которые позволили бы наконец разобраться, что такое «примитивное мышление»; разумеется, под этнологическими и антропологическими разысканиями исследователь понимает отнюдь не обращение к трибальной культуре, а, напротив, преодоление «аллохронии», порождающей иллюзорную «примитивность» колониальной эпохи:

> Современными примитивистами следует называть только тех художников, писателей, композиторов, ученых и философов, для которых можно доказать, что они разработали или осуществили проект, в котором требование исключительности собственной генеалогии подтверждается возвратом к более универсальной — аллохронной, то есть «примитивной» — генеалогии [Ibid.: 24].

Возникает перспектива исследования внутрикультурного примитивизма (суеверий, пережитков прошлого, «антиквариата») в сопоставлении с другими культурами (в первую очередь тех стран, что прежде были колониями).

Эта нетривиальная работа, которой я уделил довольно много времени, симптоматична в разных отношениях. Поиск внутрикультурного «примитива», вопрошание о том, где находится примитив, на который будет ориентироваться примитивист, — все это напоминает об истоках дискурса о наивном в новоевропейской культуре. Его можно возводить к шекспировскому Калибану или монтеневским каннибалам, Джамбаттисте Вико и его первичной «Поэтической мудрости», вольтеровскому Простодушному или персам Монтескье, к идеям Руссо или Гердера, но очевидно, что дихотомия «природного» / «культурного» лежит в основе данного дискурса, она базальна для него, неустранима. Вслед за Шютпельцем можно, предположим, смотреть не без скепсиса на концептуальный каркас исследовательского проекта А. Лавджоя и Дж. Боаса, но, оставаясь в парадигме существующих представлений о примитиве/примитивизме, сложно так или иначе не оказаться заложником понятий и представлений конца XVIII — начала XIX века. Центральная для дискурса о примитиве работа «О наивной и сентиментальной поэзии» (1896) Фридриха Шиллера задает ту перспективу, в которой вопросы Шютпельца как европейского исследователя оказываются проявлением как раз сентиментальности, ищущей наивное уже не в прошлом и не в экзотических иных землях, а внутри себя.

При этом, скажем, при попытке обратить эту ситуацию на отечественную культуру мы сталкиваемся с проблемой внутренней колонизации, а следовательно, и с необходимостью демаркации между наивным и сентиментальным, между примитивом и примитивизмом. В отличие от западных авангардистов, российские в гораздо большей степени присваивали образы автохтонных примитивов (хотя я бы не абсолютизировал эту разницу), тем более что границы автохтонного и колониального здесь всегда оказывались очень подвижны. Я не собираюсь сейчас касаться этой темы, вокруг нее существует обширная литература. В рамках узко рассматриваемой здесь темы наиболее фундаментальная работа, связанная с проблемой вышеуказанной демаркации, принадлежит Оге А. Ханзену-Лёве [Hansen-Löve 2016], однако она ограничена периодом высокого модерна и исторического авангарда и не охватывает ряд феноменов не только последующих, но и отчасти параллельных.

Вопрос о соотношении изобразительного и словесного в примитиве/примитивизме, как ни странно, имеет к проблемам внутренней демаркации непосредственное отношение. На поверхности лежит ответ, связанный с прагматическим уровнем рассмотрения изобразительного искусства: оно так или иначе существует в рыночных условиях; галеристы, эксперты, аукционисты, коллекционеры, критики воспроизводят поле по законам, описанным Бурдьё. Примитивисты со времен исторического авангарда вписаны в «большой рынок» contemporary art, но и рынок собственно наивного искусства и даже аутсайдерского вполне существует, при том исключении, что сам художник да-

леко не всегда наделен в нем какой-либо агентностью, часто он отчужден от контроля за своими произведениями (однако и «серьезные» художники далеко не всегда в него вовлечены). При этом надо понимать, что, несмотря на все художественные революции, произведенные поп-артом, концептуализмом и т.д., произведение как объект остается ценностью. Рынок наивного искусства (да и примитивизма) в этом смысле особенно задействует принцип уникальности произведения, поскольку наивный художник и опять-таки до некоторой степени примитивист выступают чуть ли не единственными, кто может предложить современный художественный продукт, обладающий при этом беньяминовской аурой.

В случае со словесностью отличия очевидны: она не производит единичных материальных объектов, не имеет финансово обеспеченных рыночных перспектив (я не касаюсь, естественно, массовой литературы). На рынке символического капитала, порождаемого литературным полем, экспериментальные тексты, которыми вынуждены оставаться образцы примитивизма, также не могут занять сколько-нибудь значимые позиции. Ответ на вопрос Шютпельца, где тот примитив, на который будет ориентироваться примитивист, прост: он повсюду, но он не укладывается в представление о должном. Идеальный сентименталистский дикарь совершенно не похож на человека аутентичной культуры: он не хуже, но он нарушает конвенции. Вся эта ситуация давно описана в классической работе Н.Н. Козловой и И.И. Сандомирской:

> Проблема в том и состоит, что «наивное письмо» сопротивляется вписыванию в стройную картину. Получается, что никак иначе, кроме как в парадигме «высокая культура / народность», нельзя легитимировать само существование такого документа. Покоренный яркостью «человеческого материала» и желая сделать его достоянием гласности, Редактор, однако, не чувствует себя вправе напечатать текст без изменений [Козлова, Сандомирская 1996: 41].

«Производитель культурной нормы» жаждет прикоснуться к «подлинному», однако, столкнувшись с ним, не может согласиться на его существование в неизменном виде.

Здесь происходит разрыв с графоманией: «Наивное письмо отличается от художественной графомании. Последняя полностью остается в рамках указанных норм и самим своим существованием эти нормы утверждает и объективирует» [Там же: 40—41]. Однако возникает вопрос: с *какой именно* графоманией? Я прервал рассмотрение истории графомании на моменте перехода психиатрического дискурса в дискурс о наивном или об аутсайдерском. И здесь я уже второй раз в этом тексте вынужден сказать о некоторой уникальности отечественного культурного пространства; на сей раз речь не о внутренней колонизации, но о возникновении «графомании 4».

Евгений Добренко в известной работе [Добренко 1999] описывает «формовку советского писателя», который в ходе «литературной учебы» приобретает навыки советского литературного работника. Начинающие авторы, которых можно назвать «наивными» или же «графоманами 3», научаются пустотному, бесстильному письму, где нет места тем семантическим или стилистическим проколам и огрехам, что знакомы нам по всем прежде существовавшим типам графомании и которые, независимо от воли автора, могли вызывать эстетический интерес. Л.Я. Гинзбург писала:

> Существуют стихи не то что ниже, а вообще вне стихового уровня. И в краю безграничной раскупаемости книг — тучные их тиражи лежат нераскупленные на прилавках. Слова в них — и бытовые, и книжные — никак не трансформированы. Просто словарные слова, с которыми решительно ничего не случилось оттого, что они (по Тынянову) попали в единый и тесный ряд. Нет, все же случилось — механическая ритмизация не позволяет им с достоинством выполнять свое нормальное коммуникативное назначение [Гинзбург 1989: 324].

Именно «нетрасформированное» слово является единственным стилевым признаком (если это так можно назвать) «политико-эстетического проекта» «в рамках которого теория безличного творчества смогла наконец *состояться*. Более того, здесь был создал эффективно действующий механизм *воспроизводства* подобного вида творческой деятельности» [Добренко 1999: 467—468].

Носители нетрансформированного слова составляют основу «графомании 4». Заметим, она существует наряду с «графоманией 3» и реликтами 1-й и 2-й вариаций. В качестве примера подобного разнобоя приведу классификацию графоманов, предложенную Владимиром Абашевым (которому, как нестоличному филологу и литератору, видны как раз аутентичные области социальных взаимодействий)[35]: «*дервиши*» («Среди них встречаются гении — такие, как Хлебников. Дервиши порой открывают совершенно новые горизонты в искусстве поэзии, чаще — срываются в безумие»); «*импровизаторы*» («Как правило, это хорошо образованные люди с умным вкусом и чувством меры. Они пишут легко и много. Остроумные тосты, послания, рифмованные жизнеописания юбиляров делают их желанными гостями любого застолья. Они пишут и для себя, но знакомят с такими стихами только близких. У *импровизаторов* есть внутренний сторож — культура»); «*ушибленные литературой*» («Этих людей не удовлетворяет сочинительство само по себе. С юности их сознание бывает отравлено стремлением к литературной известности, а главное, к обретению сакрального статуса писателя. *Ушибленные литературой*, как правило, не имеют систематического образования, им трудно оценить себя трезво. Сочиняя стихи, они старательно воспроизводят массовые образцы и убеждены (часто справедливо), что пишут не хуже тех, кого печатают. Это непременные участники всевозможных литературных объединений и кружков, — кружок дает им чувство близости к цели»); «*труженики пера*» («…исключительно отечественное явление. Советская литература была не столько литературой, сколько мощной и престижной социальной организацией. Как любая организация, она заботилась о расширении своих рядов: в Союзе писателей состояло 10 тысяч членов. Эту кафкианскую массовость творцов могло обеспечить только широкое привлечение в писательские ряды творчески несостоятельной, но социально бойкой и умеющей ловить момент посредственности. <…> Союз писателей продолжает уже почти иллюзорное существование, но инерция его мощного движения сохранилась. И прежде всего в провинции») [Абашев 2024: 274—276].

---

35 «…особенно в России провинциальной, графомания — это не личная проблема нескольких чудаков, а совсем непростой социокультурный феномен, в котором перекрещивается множество проблем — историко-философских, культурологических, социально-психологических, лингвистических и литературоведческих» [Абашев 2024: 274].

Эта художественно-документальная классификация не вполне совпадает с моей, но очевидно, что последняя категория («труженики пера») — это «графоманы 4». Будучи явлением генетически советским, результатом «формовки писателя», представители этого типа вполне могут существовать не только в декорациях анахронических институций, но и в рамках новых медиа; большие непрофессиональные сетевые литературные сообщества, при всей гетерогенности, отличают признаки, указанные Добренко: «безличность» и «воспроизводство». Именно поэтому я никак не могу согласиться с авторами ценной статьи [Лейбов, Орехов 2022] в их исходной установке: производя обследование размещенной на сайте «Stihi.ru» стиховой продукции методами distant reading, они именуют рассматриваемых авторов «наивными поэтами», что противоречит любым определениям наивного письма, производитель которого находится в качестве автора вне институциональных ролей[36].

Разумеется, в утверждении о внеинституциональном существовании наивного автора присутствует некоторая идеализация. При всей уже обсужденной выше проблематичности прямого переноса понятий, выработанных исследователями наивного изобразительного искусства, на наивную литературу классическая уже классификация примитива, по А.В. Лебедеву, — генетический,

36 Авторы делают важное наблюдение: «Парадоксальным образом традиционалистская по форме (стиховое членение, ритм, рифма) реакция наивных поэтов резко порывает с литературной традицией содержательного воплощения такой реакции. По всей видимости, в этом состоит важное отличие функционирования наивной литературы от привычных культурных механизмов, предполагающих нахождение баланса между традицией и новаторством… проявляющее себя на всех уровнях функционирования текста. У наивных авторов балансирование смещается в сторону формы, а при создании плана содержания наивная литература оказывается начисто лишена литературной (и именно литературной) памяти. Оппозиция традиции и новаторства в этом смысле оказывается к ней в принципе неприложимой» [Лейбов, Орехов 2022: 230]. Но наивная поэзия как раз не лишена литературной памяти, просто эта память самым причудливым образом соотносится с литературным каноном, порождая индивидуальные маршруты памяти; то же, что описывают Лейбов и Орехов, соотносится именно с «графоманией 4», с безличным письмом (пост)советской формовки. Кажется, зато здесь возникает интересная параллель с описанными Марией Левченко свойствам поэзии Пролеткульта: «Пролеткультовские поэты используют элементы художественных систем в соответствии с теорией о “буржуазном наследстве”: отдельные образы и ритмы используются как некие константы, не нагруженные содержанием, не обладающие ни “памятью жанра”, ни прочими коннотациями. Они полностью освобождены от “прошлых” смыслов. Заимствованный элемент теряет статус цитаты, и никаких смысловых приращений не может быть, поскольку смыслы претекстов просто отбрасываются. <…> То, что современные Пролеткульту критики и последующие исследователи ошибочно принимали за “влияние”, на самом деле есть не что иное как “убийство пре-текста”, поскольку наследуется поэтами Пролеткульта — в полном соответствии с их декларациями — только голая форма, а собственно *смысл остается за рамками интертекстуального взаимодействия, поэтому невозможна трансформация смысла на оси текст — текст*. <…> В подобном опустошении интертекстуальности нами усматривается одно из следствие семиотического феномена поэзии Пролеткульта, а именно *уравнивание означаемого и обозначаемого и потеря означающим определяющей роли, упрощение формы. Значение, таким образом, оказывается уравненным со смыслом* (Курсив оригинала. — *Д.Д.*). Такая концепция художественного знака приводит к тому, что тексты культуры видятся поэтам Пролеткульта явлениями языка, а не литературы, они используют их так же, как и слова естественного языка, не нагруженные до этого никаким смыслом» [Левченко 2007: 119—120].

социально-этический, эстетический — вполне может быть перенесена в область словесности; и если наиболее «чистый» вариант, генетический (то есть тот самый «идеальный» образец, который никак не институциализирован), в современном мире «не может быть устойчивым» [Лебедев 1992: 51], то эстетический, отстаивая свой метод и свою картину мира, вполне может быть признан «производителями нормы» в качестве графомана (ср. с репутацией Ксении Некрасовой в среде советских писателей).

Вопрос описания взаимодействия автора-примитивиста и графомана (и персонажного автора!), в свое время не без провокативности поставленный А.К. Жолковским [Жолковский 1994], требует совершенно отдельного, подробного рассмотрения. Остается сказать, что изначальное представление автора настоящей работы о нетерминологичности понятий «графоман» и «графомания» осталось неизменным, однако на уровне квазитерминологических метафор предложенная типология графомании, может быть, кому-то покажется небезынтересной.

Библиография / References

[Абакумов 2022] — *Абакумов В.В.* «Настоящее искусство всегда находится там, где его совсем не ждешь» // Искусство на обочине: творчество художников-аутсайдеров и инклюзивные практики в культуре XX — начала XXI века / Отв. ред. Н.А. Мусянкова. СПб.: Алетейя, 2022. С. 65—76.

(*Abakumov V.V.* "Nastoyashchee iskusstvo vsegda nakhoditsya tam, gde ego sovsem ne zhdesh" // Iskusstvo na obochine: Tvorchestvo khudozhnikov-autsayderov i inklyuzivnye praktiki v kul'ture XX — nachala XXI veka / Ed. by N.A. Musyankova. Saint Petersburg, 2022. P. 65—76.)

[Абашев 2024] — *Абашев В.В.* Пермская нота: очерки, рецензии, эссе. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2024.

(*Abashev V.V.* Permskaya nota: Ocherki, retsenzii, esse. Moscow; Ekaterinburg, 2024.)

[Альтшуллер 2007] — *Альтшуллер М.* Беседа любителей русского слова: у истоков русского славянофильства. 2-е изд., доп. М.: Новое литературное обозрение, 2007.

(*Al'tshuller M.* Beseda lyubiteley russkogo slova: U istokov russkogo slavyanofil'stva. 2nd ed., add. Moscow, 2007.)

[Баженов 1903] — *Баженов Н.Н.* Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1903.

(*Bazhenov N.N.* Psikhiatricheskie besedy na literaturnye i obshchestvennye temy. Moscow, 1903.)

[Бальмонт 1910] — *Бальмонт К.* Гимны, песни и замыслы древних. СПб.: Пантеон, 1910.

(*Bal'mont K.* Gimny, pesni i zamysly drevnikh. Saint Petersburg, 1910.)

[Брюсов 1973] — *Брюсов В.Я.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 2. Стихотворения 1909—1917. М.: Художественная литература, 1973.

(*Bryusov V.Ya.* Sobranie sochineniy: In 7 vols. Vol. 2. Stikhotvoreniya 1909—1917. Moscow, 1973.)

[Бойм 2022] — *Бойм С.* Общие места: мифология повседневной жизни. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

(*Bojm S.* Obshchie mesta: Mifologiya povsednevnoy zhizni. 2nd ed. Moscow, 2022.)

[Вавулин 1913] — *Вавулин Н.* Безумие, его смысл и ценность. Психологические очерки. СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1913.

(*Vavulin N.* Bezumie, ego smysl i tsennost'. Psikhologicheskie ocherki. Saint Petersburg, 1913.)

[Виницкий 2017] — *Виницкий И.* Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

(*Vinickij I.* Graf Sardinskiy: Dmitriy Khvostov i russkaya kul'tura. Moscow, 2017.)

[Гинзбург 1989] — *Гинзбург Л.* Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Советский писатель, 1989.

(*Ginzburg L.* Chelovek za pis'mennym stolom: Esse. Iz vospominaniy. Chetyre povestvovaniya. Leningrad, 1989.)

[Голубчик-Гостов 2023] — Стихотворения Голубчика-Гостова / Вступ. статья, подгот. текста и общ. ред. Е. Сошкина. Тель-Авив: Изд-во книжного магазина «Бабель», 2023.

(Stihotvoreniya Golubchika-Gostova / Introd. art., prep. and ed. by E. Soshkin. Tel Aviv, 2023.)

[Гораций 1970] — *Квинт Гораций Флакк.* Наука поэзии (Послание к Пизонам) // Квинт Гораций Флакк Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Ред. переводов, вступ. статья и коммент. М. Гаспарова. М.: Художественная литература, 1970. С. 383—395.

(*Quintus Horace Flaccus.* Ars Poetica (Epistula ad Pisones) // Quintus Horace Flaccus. Ody. Epody. Satiry. Poslaniya. Moscow, 1970. P. 383—395. — In Russ.)

[Гречко 2017] — *Гречко В.* Авангард и простота: о наивном и примитивном в новой поэзии // И после авангарда — авангард / Ред.-сост. К. Ичин. Белград: Изд-во филол. факультета в Белграде, 2017. С. 296—305.

(*Grechko V.* Avangard i prostota: o naivnom i primitivnom v novoy poezii // I posle avangarda — avangard / Ed. by K. Ichin. Belgrad, 2017. P. 296—305.)

[Добренко 1999] — *Добренко Е.* Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999.

(*Dobrenko E.* Formovka sovetskogo pisatelya. Sotsial'nye i esteticheskie istoki sovetskoy literaturnoy kul'tury. Saint Petersburg, 1999.)

[Жолковский 1994] — *Жолковский А.К.* Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие) // Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука; Изд. фирма «Восточная литература», 1994. С. 54—68.

(*Zholkovskij A.K.* Grafomanstvo kak priem (Lebyadkin, Khlebnikov, Limonov i drugie) // Zholkovskij A.K. Bluzhdayushchie sny i drugie raboty. Moscow, 1994. P. 54—68.)

[Закржевский 1914] — *Закржевский А.* Рыцари безумия (Футуристы). Киев: Тип. акционерного общества «Петр Барский в Киеве», 1914.

(*Zakrzhevskij A.* Rytsari bezumiya (Futuristy). Kyiv, 1914.)

[Зислин 2023] — *Зислин И.* Очерки антропологической психиатрии. М.: Городец, 2023.

(*Zislin I.* Ocherki antropologicheskoy psikhiatrii. Moscow, 2023.)

[Кобринский 2013] — *Кобринский А.А.* О Хармсе и не только: статьи о русской литературе XX века. СПб.: Свое издательство, 2013.

(*Kobrinskij A.A.* O Kharmse i ne tol'ko: Stat'i o russkoy literature XX veka. Saint Petersburg, 2013.)

[Козлова, Сандомирская 1996] — *Козлова Н.Н., Сандомирская И.И.* «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт лингвосоциологического чтения. М.: Гнозис; Русское феноменологическое общество, 1996.

(*Kozlova N.N., Sandomirskaya I.I.* "Ya tak khochu nazvat' kino". "Naivnoe pis'mo": Opyt lingvosotsiologicheskogo chteniya. Moscow, 1996.)

[Колосовский, Колосовский 2021] — *Колосовский В.Е., Колосовский Е.К.* Предупреждение о мировой катастрофе. М., СПб.: Вздорные книги, 2021.

(*Kolosovskij V.E., Kolosovskij E.K.* Preduprezhdenie o mirovoy katastrofe. Moscow; Saint Petersburg, 2021.)

[Кофман 2010] — *Кофман А.Ф.* Примитивистская составляющая авангардизма // Авангард в культуре XX в. (1900—1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Под ред. Ю.Н. Гирина. Кн. I. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 157—228.

(*Kofman A.F.* Primitivistskaya sostavlyayushchaya avangardizma // Avangard v kul'ture XX v. (1900—1930 gg.): Teoriya. Istoriya. Poetika: In 2 vols. / Ed. by Yu.N. Girin. Vol. I. Moscow, 2010. P. 157—228.)

[Кудрявцев 1999] — *Кудрявцев С.* Вариант Горгулова: роман из газет. М.: Гилея, 1999.

(*Kudryavcev S.* Variant Gorgulova: Roman iz gazet. Moscow, 1999.)

[Лебедев 1992] — *Лебедев А.* Типология примитива (Россия XVIII—XIX вв.). Постановка проблемы // Примитив в искусстве. Грани проблемы / Ред.-сост. К. Богемская. М.: Российский институт искусствознания, 1992. С. 36—53.

(*Lebedev A.* Tipologiya primitiva (Rossiya XVIII—XIX vv.). Postanovka problemy // Primitiv v iskusstve. Grani problemy / Comp. by K. Bogemskaya. Moscow, 1992. P. 36—53.)

[Левченко 2007] — *Левченко М.А.* Индустриальная свирель: поэзия Пролеткульта 1917—1921 гг. СПб.: СПГУТД, 2007.

(*Levchenko M.A.* Industrial'naya svirel': Poeziya Proletkul'ta 1917—1921 gg. Saint Petersburg, 2007.)

[Лейбов, Орехов 2022] — *Лейбов Р., Орехов Б.В.* Между политикой и поэтикой: топика Крыма в современной русскоязычной наивной лирике // Шаги / Steps. 2022. Т. 8. № 2. С. 205—232.

(*Lejbov R., Orekhov B.V.* Mezhdu politikoy i poetikoy: Topika Kryma v sovremennoy russkoyazychnoy naivnoy lirike // Shagi / Steps. 2022. Vol. 8. No. 2. P. 205—232.)

[Ломброзо 1892] — *Ломброзо Ч.* Гениальность и помешательство / Пер. с итал. К. Тетюшиновой. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1892.

(*Lombroso C.* Genio e follia: Prelezione ai corsi di antropologia e clinica psichiatrica presso la R. Universita' di Pavia. Saint Petersburg, 1892. — In Russ.)

[Мазур 2009] — *Мазур Н.Н.* Маска неистового стихотворца в «Евгении Онегине»: полемические функции // Пушкин и его современники: Сб. науч. трудов. Вып. 5 (44) / Под ред. Е.О. Ларионовой, О.С. Муравьевой. СПб.: Нестор-история, 2009. С. 141—208.

(*Mazur N.N.* Maska neistovogo stikhotvortsa v "Evgenii Onegine": Polemicheskie funktsii // Pushkin i ego sovremenniki: Sb. nauch. trudov. Iss. 5 (44) / Ed. by E.O. Larionova, O.S. Murav'eva. Saint Petersburg, 2009. P. 141—208.)

[Мейлах 1975] — *Мейлах М.Б.* Поэзия трубадуров. М.: Наука; Гл. редакция восточной литературы, 1975.

(*Mejlah M.B.* Poeziya trubadurov. Moscow, 1975.)

[Немировский 2023] — *Немировский И.* Капитан Лебядкин и его литературное окружение // Новое литературное обозрение. 2023. № 181. С. 123—142.

(*Nemirovskij I.* Kapitan Lebyadkin i ego literaturnoe okruzhenie // Novoe literaturnoe obozrenie. 2023. No. 181. P. 123—142.)

[Немировский 2024] — *Немировский И.В.* Капитан Лебядкин и В.К. Тредиаковский // Русская литература. 2024. № 1. С. 165—173.

(*Nemirovskij I.V.* Kapitan Lebyadkin i V.K. Trediakovskiy // Russkaya literatura. 2024. No 1. P. 165—173.)

[Николози 2019] — *Николози Р.* Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

(*Nikolozi R.* Vyrozhdenie: Literatura i psikhiatriya v russkoy kul'ture kontsa XIX veka. Moscow, 2019.)

[Нордау 1894] — *Нордау М.* Вырождение / Пер. с нем. под ред. и с предисл. Р.И. Сементковского. СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1894.

(*Nordau M.* Entartung. Saint Petersburg, 1894. — In Russ.)

[Панова 2017] — *Панова Л.Г.* Мнимое сиротство: Хлебников и Хармс в контексте русского и европейского модернизма. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017.

(*Panova L.G.* Mnimoe sirotstvo: Khlebnikov i Kharms v kontekste russkogo i evropeyskogo modernizma. Moscow, 2017.)

[Поэты «Искры» 1955] — Поэты «Искры»: В 2 т. Т. 1. В.С. Курочкин. Л.: Советский писатель, 1955.

(Poety "Iskry": In 2 vols. Vol. 1. V.S. Kurochkin. Leningrad, 1955.)

[Пушкин 1950] — *Пушкин А.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950.

(*Pushkin A.S.* Polnoe sobranie sochineniy: In 10 vols. Vol. 1. Moscow; Leningrad, 1950.)

[Радин 1914] — *Радин Е.П.* Футуризм и безумие: параллели творчества и аналогии нового языка кубо-футуристов. СПб.: Н.П. Карбасников, 1914.

(*Radin E.P.* Futurizm i bezumie: Paralleli tvorchestva i analogii novogo yazyka kubo-futuristov. Saint Petersburg, 1914.)

[Ромм 1958] — *Ромм А.* Бен Джонсон. 1573—1637. М.; Л.: Искусство, 1958.

(*Romm A.* Ben Dzhonson. 1573—1637. Moscow; Leningrad, 1958.)

[Роскоммон 2023] — *Роскоммон У.* Диллон, граф. Опыт о переводном стихе // Весь Александр Поуп и ценимые им поэты / Сост. и пер. с англ. И. Кутика. М.: Водолей, 2023. С. 699—712.

(*Roscommon W.* Dillon, Earl of. An Essay on Translated Verse // Ves' Alexander Pope i tsenimye im poety / Comp. and transl. by I. Kutik. Moscow, 2023. — In Russ.)

[Россолимо 1901] — *Россолимо Г.И.* Искусство, больные нервы и воспитание (по поводу «декадентства»). М.: Тип.-лит. Товва И.Н. Кушнерев и Ко, 1901.

(*Rossolimo G.I.* Iskusstvo, bol'nye nervy i vospitanie (po povodu "dekadentstva"). Moscow, 1901.)

[Сироткина 2008] — *Сироткина И.* Классики и психиатры. Психиатрия в российской культуре конца XIX — начала XX века. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

(*Sirotkina I.* Klassiki i psikhiatry. Psikhiatriya v rossiyskoy kul'ture kontsa XIX — nachala XX veka. Moscow, 2008.)

[Словарь терминов 1999] — Словарь терминов московской концептуальной школы / Ред.-сост. А. Монастырский. М.: Ad Marginem, 1999.

(Slovar' terminov moskovskoy kontseptual'noy shkoly / Comp. by A. Monastyrskij. Moscow, 1999.)

[Суворова 2020] — *Суворова А.А.* Дискурс аутсайдерского искусства в культуре XX — начала XXI века: Дис. ... д-ра искусствоведения. Пермь, 2020.

(*Suvorova A.A.* Diskurs autsayderskogo iskusstva v kul'ture XX — nachala XXI veka: PhD Thesis. Perm, 2020.)

[Тынянов 1977] — *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
(*Tynyanov Yu.N.* Poetika. Istoriya literatury. Kino. Moscow, 1977.)
[Улановская 1993] — *Улановская Б.* «Может солнце рассердиться на инфузорию...» (Достоевский и творчество поэтов «Объединения реального искусства») // Достоевский и мировая культура. Альманах / Сост. К. Степанян, Вл. Этов. № 1. Ч. III. СПб.: Акрополь, 1993. С. 67—83.
(*Ulanovskaya B.* "Mozhet solntse rasserdit'sya na infuzoriyu..." (Dostoevskiy i tvorchestvo poetov "Ob"edineniya real'nogo iskusstva") // Dostoevskiy i mirovaya kul'tura. Al'manakh / Comp. by K. Stepanyan, Vl. Etov. No 1. Vol. III. Saint Petersburg, 1993. P. 67—83.)
[Успенский 2012] — *Успенский В.А.* Труды по нематематике: В 5 кн. Кн. 4. Филология. 2-е изд., испр. и доп. М.: ОГИ; Фонд «Математические этюды», 2012.
(*Uspenskij V.A.* Trudy po nematematike: In 5 bks. Bk. 4. Filologiya. 2nd ed., rev. and add. Moscow, 2012.)
[Фуко 2005] — *Фуко М.* Ненормальные: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974—1975 учебном году / Пер. с фр. А. Шестакова. СПб.: Наука, 2005.
(*Foucault M.* Les anormaux. Saint Petersburg, 2005. — In Russ.)
[Ходасевич 1991] — *Ходасевич В.Ф.* Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991.
(*Hodasevich V.F.* Koleblemyy trenozhnik: Izbrannoe. Moscow, 1991.)
[Ходасевич 1996] — *Ходасевич В.Ф.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. М.: Согласие, 1996.
(*Hodasevich V.F.* Sobranie sochineniy: In 4 vols. Vol. 2. Moscow, 1996.)
[Чиж 1904] — *Чиж В.Ф.* Болезнь Н.В. Гоголя. М.: Тип.-лит. Тов-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1904.
(*Chizh V.F.* Bolezn' N.V. Gogolya. Moscow, 1904.)
[Шапир 1995] — *Шапир М.И.* Эстетический опыт XX века: авангард и постмодернизм // Philologica. 1995. Т. 2. № 3/4. С. 135—143.
(*Shapir M.I.* Esteticheskiy opyt XX veka: Avangard i postmodernizm // Philologica. 1995. Vol. 2. No 3/4. P. 135—143.)
[Шаргородский 2011] — *Шаргордский С.* Безумство храбрых. Футуризм, вырождение и безумие: вокруг «Футуризма и безумия» Е.П. Радина // Радин Е.П. Футуризм и безумие: параллели творчества и аналогии нового языка кубо-футуристов. [Б.м.]: Salamandra P.V.V., 2011. С. vi—xxxii.
(*Shargordskij S.* Bezumstvo khrabrykh. Futurizm, vyrozhdenie i bezumie: Vokrug "Futurizma i bezumiya" E.P. Radina // Radin E.P. Futurizm i bezumie: Paralleli tvorchestva i analogii novogo yazyka kubo-futuristov. [S.l.], 2011. P. vi—xxxii.)
[Gess 2013] — *Gess N.* Literarischer Primitivismus: Chancen und Grenzen eines Begriffs // Literarischer Primitivismus / Hrsg. von N. Gess. Berlin: De Gruyter, 2013. S. 1—9.
[Hansen-Löve 2016] — *Hansen-Löve A.A.* Über das Vorgestern ins Übermorgen: Neoprimitivismus in Wort- und Bildkunst der russischen Moderne Wilhelm Fink. Paderborn: Wilhelm Fink, 2016.
[Herren 2001] — *Herren M.W.* Bavius and Maevius: "Duo Pessimi Poetae Sui Temporis" // Anglo-Latin and Its Heritage / Ed. by S. Echard, G.R. Wieland. Turnhout: Brepols, 2001. P. 3—15.
[Réja 1907] — *Réja M.* L'Art chez les Fous. Le Dessin, la Prose, la Poésie. Paris: Societé du Mercvre de France, 1907.
[Rhodes 2008] — *Rhodes C.* Primitivism: The Primordium Lost and Found and Reinvented // World art studies: Exploring concepts and approaches / Ed. by K. Zijlmans, W. Van Damme. Amsterdam: Valiz, 2008. P. 385—399.
[Schüttpelz 2013] — *Schüttpelz E.* Zur Definition des literarischen Primitivismus // Literarischer Primitivismus / Hrsg. von N. Gess. Berlin: De Gruyter, 2013. S. 13—27.
[Yearling 2016] — *Yearling R.* Ben Jonson, John Marston and Early Modern Drama: Satire and the Audience. Palgrave Macmillan, 2016.

Марк Липовецкий

Вместо Фуко:

ГРАФОМАНИЯ, ЛИТЕРАТУРА И ВЛАСТЬ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПОВЕСТЯХ АБРАМА ТЕРЦА[1]

Mark Lipovetsky

In Lieu of Foucault: Graphomania, Literature, and Power in Abram Tertz's Fantastic Tales

Марк Липовецкий (Колумбийский университет, Нью-Йорк, профессор; доктор филологических наук) ml4360@columbia.edu.

Ключевые слова: Синявский, Абрам Терц, Фуко, автор, делинквентность, маргинальность, паноптицизм, литературоцентричность, альтернативная модерность

УДК: 82.0+7.01
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_287

Статья посвящена обсуждению значения графомании в ранней прозе Андрея Синявского / Абрама Терца. Это понятие приобретает едва ли не центральное место в парадоксальной эстетике Синявского, если взглянуть на его так называемые «Фантастические повести» как на предвосхищение, а вернее, оригинальную и независимую версию той системы идей, которая на Западе примерно тогда же складывалась в постструктуралистскую философию культуры. В «фантастических повестях» Абрама Терца обнаруживаются глубокие переклички с — еще не существовавшими в момент их создания — идеями М. Фуко о природе автора, делинквентности, паноптицизме и структуре власти. Принципиально важно, что все эти «созвучия» возникают там, где Синявский вглядывается в систему власти, организованную символической ролью литературы и писателя в советской культуре, таким образом обнажая механизмы советской (или российской) «альтернативной модерности».

Mark Lipovetsky (Dr. habil.; Professor, Columbia University, New York) ml4360@columbia.edu.

Key words: Sinyavsky, Abram Tertz, Foucault, author, delinquency, marginality, panopticism, literature-centrism, alternative modernity

UDC: 82.0+7.01
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_287

The article examines the significance of graphomania in the prose of Andrei Sinyavsky / Abram Tertz created in the late 1950s — early 1960s. This concept assumes an almost central position in Sinyavsky's paradoxical aesthetics when his so-called "Fantastic tales" are viewed as an anticipation, or more precisely, an original and independent version of the system of ideas that was contemporaneously developing in the West as poststructuralist philosophy of culture. Abram Tertz's "fantastic tales" reveal profound correspondences with Michel Foucault's theories — which had not yet existed at the time of their creation — concerning the nature of authorship, delinquency, panopticism, and power networks. It is fundamentally significant that these "resonances" emerge precisely where Sinyavsky examines the system of power organized through the symbolic role of literature and the writer in Soviet culture, thus pointing at the mechanisms of Soviet (or Russian) "alternative modernity".

К. Непомнящи в первой англофонной монографии о Синявском-Терце предупреждала читателя:

> Важно отметить, что хотя представления о взаимоотношениях между писателем, текстом и читателем, разработанные в творчестве Терца, иногда совпадают с некоторыми базовыми концепциями деконструктивистской философии и критики, Синявский и Терц являются продуктами фундаментально иной интеллектуаль-

---

1 Статья основана на докладе, прочитанном на онлайн-конференции «Графомания. Русская литература и ее границы». Приношу благодарность ее организаторам — К. Богданову и Я. Захаровой.

ной, религиозной и литературной традиции, и Синявский поэтому расходится с западными теоретиками и в параметрах своего проекта, и в той космологии, в которую он свой проект помещает [Nepomnyashchy 1995: 38].

Этот тезис я хотел бы проблематизировать. На мой взгляд, разность интеллектуальных, религиозных и литературных традиций не настолько велика, чтобы полностью обесценить параллели между творчеством Синявского и постструктуралистской теорией. Ведь их объединяет общий кризис модернистской культуры, связанный на Западе прежде всего с осмыслением нацизма и холокоста, а в СССР — сталинизма, ГУЛАГа и всего социалистического проекта. Разумеется, тема эта огромна, и ей посвящено немало исследований. Однако Синявский редко рассматривается в таком контексте[2]. Поэтому я ограничусь «пробой грунта», сосредоточившись на перекличках между «фантастическими повестями» Терца и теоретическими идеями Мишеля Фуко.

Разумеется, речь не идет о влиянии. Большинство фантастических повестей Синявский написал между 1955-м и 1960-м годами, тогда как главные работы Фуко появляются в начале 1960-х: диссертацию об истории безумия он защитит в 1961-м, а его первый бестселлер «Слова и вещи» выйдет в 1966-м. Неизвестно, читал ли Фуко Синявского в 1960-е годы. Мог, конечно, поскольку переводы фантастических повестей на европейские языки и прежде всего английский появляются с 1960 года[3]. Известно, что Фуко и Синявский встретились в июне 1977 года в парижском Театре Рекамье на вечере протеста против визита Брежнева во Францию. К тому времени Фуко был знаком с творчеством Синявского. В лекциях в Коллеж де Франс, которые Фуко читал в 1977—1981 годах и которые впоследствии вышли под заглавием «Безопасность, территория, население» [Фуко 2011], есть ссылка на французский перевод книги Синявского о Гоголе (см. ниже). Но читал ли Синявский Фуко? Это неизвестно.

Как бы то ни было, речь идет о типологических параллелях, касающихся трех концепций Фуко, а именно: 1) автора, 2) делинквентности и 3) паноптицизма. Графомания в изображении и понимании Синявского имеет отношение ко всем трем.

Автор

Как известно, суд над Синявским и Даниэлем так или иначе вращался вокруг философской и филологической проблемы своего и чужого в прозе Абрама Терца. Синявскому то и дело приписывались высказывания и мысли его персонажей — к тому же не всегда симпатичных: графоманов, оборотней, жуликов и даже инопланетянина. И это обстоятельство было одним из главных аргументов защиты. Синявский, как известно, говорил о том же в своем заключительном слове. Правда, при этом он, запутывая ситуацию, присваивал себе слова инопланетянина Пхенца «Если просто другой, так уж сразу ругаться!», — и называл эту фразу автобиографической.

---

2 Одно из немногих исключений — книга Александра Эткинда (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) «Кривое горе». Я к ней еще буду обращаться.

3 «Что такое социалистический реализм?» выходит по-французски уже в 1959-м, а фантастические повести в 1963-м. Разумеется, Фуко мог читать повести и по-английски начиная с 1960 года.

Действительно, дистанция между биографическим автором и нарраторами — как правило, очень недостоверными — в прозе Абрама Терца постоянно колеблется, порождая серию эпистемологических кризисов. Выяснение того, кто на самом деле является повествователем, становится «пуантом» в таких важных текстах, как «Пхенц», «Квартиранты», «Ты и я», «Суд идет». Правда, последняя повесть написана в форме безличного повествования, но и тут читателя ожидает сюрприз: в финале «безличный» повествователь оказывается в одном лагере с персонажами своего повествования.

То, что сам автор скрывается за персонажным псевдонимом («Абрашка Терц, карманник всем известный»), только усугубляет ситуацию.

И хотя в знаменитом письме в юридическую консультацию Вяч.Вс. Иванов терпеливо разъяснял читателям в погонах значение категории «сказ» (см.: [Белая книга… 1967: 126—128]), строго говоря, концепция сказа не очень подходит прозе Терца, поскольку сказ предполагает стабильную дистанцию между автором и повествователем. А в фантастических повестях, как раз наоборот, дистанция между автором и повествователем постоянно меняется. Тайна, окружавшая Абрама Терца, до ареста Синявского в полной мере соответствует этой черте его поэтики.

Так, в рассказе «Графоманы» (1960) бездарный и заслуженно лишенный признания писатель Павел Иванович Страустин поначалу выглядит как комический характер, отодвинутый от автора на солидную дистанцию. На это указывают его глупость, паранойя, зависть и явная мания величия. Однако по мере развития повествования графомания Страустина перерастает в синоним творческой энергии как таковой. Во всяком случае, такую интерпретацию предлагает другой графоман Галкин (заметим в скобках, что «птичьи» фамилии персонажей указывают на их экзистенциальное родство). Графомания, по его мнению, острее всего выражает главный вектор творчества — самоустранение личности писателя:

> — Ты знаешь, старик, — говаривал Галкин, глупо и широко улыбаясь, — чем больше я работаю, тем лучше понимаю: всё самое лучшее, что я сочинил, принадлежит не мне и написано, чёрт побери, вроде бы не мною. А так, пришло в голову со стороны, залетело из воздуха… Вот говорят: «запечатлеть себя», «выразить свою личность». А по-моему, всякий писатель занят одним: са-мо-ус-тра-не-ни-ем! Для того и трудимся в поте лица, вагоны бумаги исписываем — с надеждой: устраниться, пересилить себя, дать доступ мыслям из воздуха [Синявский 1992: 168].

То, что на первый взгляд звучит как перифраз знакомых рассуждений о «голосе музы» или власти языка, при ближайшем рассмотрении оказывается чем-то иным. Интерпретация Галкина находит самое прямое подтверждение не в творении гения, а в паранойе Страустина, который обнаруживает свои фразы в каждой книжке, которая попадает ему в руки. И немудрено, ведь «его» фразы — самые безличные, самые штампованные, самые банальные:

> Например, Федин писал: «Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию». В моей же повести 1935 года «Солнце встаёт над степью» была — я отлично это помнил — такая фраза: «Дорога привела на обширное поле, засаженное яблонями». Только у меня эти яблони, помнится, цвели и блистали на солнце розовыми лепестками. А Федин, чтобы скрыть плагиат, ликвидировал всю

> красоту на моих цветущих деревьях и тем неизмеримо ухудшил эту сцену. Но все же мои крупицы, даже в искажённом виде, помогли ему быстро сделать блистательную карьеру, и теперь без зазрения совести он потреблял плоды славы, которые по праву принадлежали мне одному [Там же: 173].

Графоман Страустин действительно успешно «самоустранился» — за него пишет безличный *никто*. Как, впрочем, и за Федина, Леонова или Шолохова, у которых Страустин находит «заимствования» из своих неопубликованных сочинений. Но это почти антропологическое или, по крайней мере, массовое состояние. Даже шестилетний сынок Страустина сочиняет свой первый — разумеется, графоманский — рассказ. Примечательно, что этот рассказ — первое литературное сочинение самого Синявского. В финале обобщенный смысл графомании подчеркивается автореферентным жестом: «Я взял чистый лист и большими буквами написал сверху название: ГРАФОМАНЫ. Потом подумал и приписал в скобках: (Из рассказов о моей жизни)» [Там же: 179]. Именно так называется текст, который мы закончили читать.

Разумеется, сегодня нетрудно усмотреть в прозрениях Страустина резонанс со знаменитым тезисом Ролана Барта о «смерти автора» (1967). У Барта автора замещает ткань воспроизводящих себя дискурсов. Но еще теснее «Графоманы» Синявского перекликаются с интерпретацией авторства в другой знаменитой работе — лекции Фуко «Что такое автор?» (1969). Один из центральных тезисов этой лекции звучит так:

> В случае письма суть дела состоит не в обнаружении или в превознесении самого жеста писать; речь идет не о пришпиливании некоего субъекта в языке, — вопрос стоит об открытии некоторого пространства, в котором пишущий субъект не перестает исчезать. <…> Всевозможными уловками, которые пишущий субъект устанавливает между собой и тем, что он пишет, он запутывает все следы, все знаки своей особой индивидуальности; маркер писателя теперь — это не более чем своеобразие его отсутствия; ему следует исполнять роль мертвого в игре письма [Фуко 1996: 13—15].

Исчезновение автора, по Фуко, является порождением авангарда и модернизма как способов письма, нарушающих собственные правила и границы. А Синявский связывает этот эффект с графоманией, которая — в первом приближении — выступает как воспроизведение самых базовых, распространенных и безличных форм литературности.

В отличие от Барта, Фуко связывает функцию автора не с текстом, а с системой культурных институций:

> …функция-автор связана с юридической институциональной системой, которая обнимает, детерминирует и артикулирует универсум дискурса. <…> [Эта функция] не отсылает просто-напросто к некоему реальному индивиду — она может дать место одновременно многим Эго, многим позициям-субъектам, которые могут быть заняты различными классами индивидов [Там же: 30].

Как считает С.Н. Зенкин, «Фуко сосредотачивается на внешне-социальных аспектах авторской функции… и почти не анализирует ее внутритекстуальные аспекты» [Зенкин 2018: 91], но ведь и Страустин говорит исключительно об издательских препонах и преференциях — что он там пишет нам, не известно, да и не важно. Предлагаемая Терцем концепция автора не только предпола-

гает множественность субъектных позиций (в равной мере «чужих» и «своих») — об этом, например, такие рассказы, как «Гололедица».

Терц тоже видит в авторе порождение институций — а вернее, только одной институции. А именно — цензуры. Об этом рассуждает все тот же графоман Галкин:

> В замечательной стране мы живём. Все пишут, пишут, и школьницы, и пенсионеры. С одним тут парнем познакомился. Рожа — во! Кулаки — во! Говорю ему: «Вы бы, дорогой товарищ, лучше боксом занялись. Большие деньги получите. Слава опять же, поклонницы». А он своё: «Нет, — говорит, — у меня, — говорит, — другое призвание. Я рождён для поэзии». Понимаешь, — рождён! Все рождены! Общенародная склонность к изящной словесности. А знаешь, чему мы обязаны? — Цензуре! Она, матушка, она родимая, всех нас приголубила. За границей проще, беспощаднее. Опубликует какой-нибудь лорд книжку верлибра, и сразу видно — дерьмо. Никто не читает, никто не покупает, и займётся лорд полезным трудом — энергетикой, стоматологией… А мы живём всю жизнь в приятном неведении, льстимся надеждами… И это прекрасно! Само государство, черт побери, даёт тебе право — бесценнейшее право! — считать себя непризнанным гением. И ты можешь всю жизнь, всю жизнь… [Синявский 1992: 157].

В подтверждении этого тезиса Синявский изображает собрание непубликуемых писателей во всем разнообразии этого вида — по существу, первый портрет позднесоветского андеграунда!

Для понимания связи между цензурой и графоманией, запретом на публикацию и производством текстов, которые, как полагает Синявский, в любом случае не нашли бы читателя и никого не заинтересовали бы, может пригодиться фуколдианская категория «делинквентности», или «укрощенной противозаконности». По Фуко, любая дисциплинарная система не только преследует, но и культивирует делинквентность. Тюрьма, а шире, вся система юриспруденции, «выявляет одну форму противозаконности… позволяя оставить в тени все прочие ее формы… Тюрьма вполне преуспела в производстве делинквентности… казалось бы, маргинальной, но на самом деле централизованно контролируемой среды…» [Фуко 1999: 406—407]. Если спроецировать эту логику на рассказ Синявского, то графоманы — это делинквенты, порождаемые цензурой. Их противозаконность терпима и даже полезна. Понятие графомании поглощает и покрывает, среди прочего, и андеграунд с его эстетическими инновациями, тем самым обесценивая их — именно это свойство графомании предельно обнажил Пригов. Графомания и графоманы при кажущейся маргинальности указывают на литературу и производство литературы как центр советской (или российской?) социокультурной традиции. Графомания как массовое явление воплощает производство литературных текстов — в большинстве своем ужасных и нечитаемых — как главное *социальное* событие, главное проявление агентности. Агентности, которая, как мы уже выяснили, парадоксально устремлена к самоустранению личности, реализуя таким образом философское стремление преодолеть собственную экзистенцию и выйти в некое альтернативное (трансцендентное) измерение бытия.

Паноптицизм

Фуко связывает делинквентность с паноптицизмом — тотальным централизованным и невидимым контролем за обществом: делинквентость делает всех или почти всех потенциальными преступниками, ибо их деятельность противозаконна по определению и только временно терпится всезнающим государством. Более того, сами делинквенты обеспечивают надзор над обществом, являясь своего рода «политической обсерваторией» — информаторами и провокаторами.

Предлагаемое Синявским понимание графомании, как и у Фуко, предполагает в первую очередь власть, основанную на постоянном смещении границы между допустимым и преступным, между графоманом и гением, между андеграундом и истеблишментом. Пограничные стычки и переговоры на этом поле определяют траекторию культурной — а через нее и политической — эволюции в России: от заморозков к оттепели, от оттепели к оледенению, и обратно к оттепели. Следуя аналогичной (хотя и совсем иной) логике, Терц в фантастических повестях также помещает автора — и шире: субъекта — между деликвентностью и паноптицизмом.

Примечательно, что тему паноптицизма Синявский-Терц разыгрывает в литературных категориях. В рассказе «Ты и я» мы слышим два сменяющих и перебивающих друг друга голоса. Один повествователь постоянно подозревает, что за ним кто-то следит и что все окружающие вовлечены в какой-то заговор, направленный против него. Другой повествователь действительно наблюдает за «ты». К. Непомнящи интерпретировала эту коллизию как конфликт между личностью и Богом. На мой взгляд, перед нами все-таки одна и та же личность, лишь расщепленная на «персонажа» и «автора». Именно автор осуществляет тотальный надзор и контроль — за кем? Разумеется, за самим собой. «Я» неустанно наблюдаю за самим собой («ты») и создаю из этого материала персонажей своего произведения. Функция самонаблюдения является важнейшей функцией автора — не только графомана, конечно. Но она лежит и в основе графомании как массовой формы власти. Власти, принадлежащей литературе, и литературности, ставшей формой власти (governmentality). Именно эта функция писательства ведет к «самоустранению» личности, вытесняемой либо точкой зрения наблюдателя, либо «материалом» для наблюдений:

> Четвертые сутки он находится в поле моего наблюдения. Я кажусь ему питоном, чей хладнокровный взгляд лишает кролика чувств. Его представления обо мне — сущий вздор. Но если даже принять за основу эти нелепые фантазии, я не знаю, кто из нас кого держит на привязи: я его или он — меня? Мы оба попали в плен, не в силах оторвать друг от друга застекленевшие взгляды. И хотя он не видит меня, из-под его белесых ресниц бьет в моем направлении такой сноп страха и ненависти, что мне хочется крикнуть: «Перестань! Не то проглочу! Стоит мне захлопнуть веки — и ты пропадешь, как муха!» Это состязание начинает меня утомлять.
>
> Глупец! Пойми — ты живешь и дышишь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь. Лишь будучи увиденным Богом, ты сделался человеком... Эх ты!.. [Синявский 1992: 135]

Еще более литературное обличье паноптицизм приобретает в рассказе «Гололедица» (1961). Герой и повествователь Василий внезапно приобретает маги-

ческую силу видеть прошлое и будущее каждого встречного. Иными словами, он наделяется *властью автора*, а все окружающие становятся его персонажами. Благодаря этому дару Василий понимает, что в каждом живет множество «я», часто даже не догадывающихся о сосуществовании друг с другом. Авторство действительно порождает множественность субъектностей. Но Синявский (вернее, его персонаж) видит эту множественность иначе, чем Фуко:

> Еще недавно я твердо знал, кто из них вор, а кто двоеженец и кто тут тайная дочь беглого белогвардейца, а сейчас все смешалось и находилось в развитии, и я не мог понять, где кончается один человек и начинается следующий. ...На самом же деле души — нет, а есть лишь отверстие в воздухе, и сквозь это отверстие проносится нервный вихрь разобщенных психических состояний, меняющихся от случая к случаю, от эпохи к эпохе [Там же: 191].

Перед нами не только метафора литературы, но и крайне ироничная версия того, что Фуко назовет «пастырской властью» — властью, которая «простирается не только на социум, но и на отдельного индивида» и которая «не может быть осуществлена без проникновения в сознание людей, без исследования их душ». Пастырская власть, пишет Фуко в статье «Субъект и власть», «связана с производством истины — истины самого индивида» [Фуко 2006: 171]. В рассказе Синявского волшебный дар Василия присвоен государством, Василия заключат в камеру, чтобы с его помощью лучше копаться в головах подданных, включая их прошлое и будущее (впоследствии этот вариант паноптицизма будет разыгран в «Омоне Ра» Пелевина).

Сходным образом в самой ранней из фантастических повестей Синявского — новелле «Суд идет», написанной в 1955—1956 годах, — советское общество изображено как общество тотального контроля, состоящее из писателей — графоманов или талантов, неважно. Самый романтический из них, Сережа, сочиняет утопию, в которой преступления будут предотвращаться с помощью мыслескопов (а кто такой Василий из «Ты и я», если не оживший мыслескоп?). Но он и автор повествования в конечном счете встречаются в лагере. Причем автора сажают за прочитанный нами текст, который, оказывается, был выловлен из канализации с помощью специальной драги, описанной в утопии его персонажа. Хотя эти мотивы напоминают нам о мыслепреступлениях Оруэлла или рассказе «Minority Report» Филиппа К. Дика, для меня здесь важна связь между пастырской властью литературы и иллюзией «всезнания», основополагающей для советского режима.

Как я уже упоминал, в лекциях Фуко 1977—1978 годов появляется ссылка на письмо Гоголя Жуковскому из «Выбранных мест из переписки с друзьями», говоря о котором Фуко прямо ссылается на книгу Синявского «В тени Гоголя». Философу это письмо понадобилось именно в качестве характеристики пастырской власти. Он цитирует большой фрагмент из Гоголя, завершающийся словами: «Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь». И добавляет: «Мне кажется, это великолепный образ, великолепная греза государя-христианина. И такой государь-христианин, по моему мнению, не характерен для Запада. Западный государь — это кесарь, а не Христос» [Фуко 2011: 217].

Однако Синявский в своей книге ясно доказывает, что Гоголь берет на себя роль Христа, которому, в сущности, и должен подражать государь. Пи-

сатель и есть «второе тело» короля, его овнешненная пастырская власть. Синявский пишет:

> ...здесь под новым соусом, на сей раз в императорской мантии, прокрадывается к рулю сорвавшаяся в писательстве, сожженная в «Мертвых душах» фантазия спасти и вознести человечество одним усилием духа, всемирным взрывом мятущегося, истощенного сердца... Среди современников Гоголя мы можем указать лишь одну кандидатуру на предложенное им поприще — Гоголя. Как это с ним часто случалось, «Записки сумасшедшего» служили черновиком для более разработанной поздней фантасмагории. На Поприщине Гоголь примеривал собственную корону: идет!.. Короче, в идеальном Монархе, как тот ему рисовался, нам рисуется Гоголь во весь исполинский рост, с маниакальной задачей и страстью к неземному владычеству... [Терц 1981: 66].

Книга «В тени Гоголя» написана в лагере в 1970—1973 годах, однако уже в ранних повестях Синявский показывает, что, вопреки Фуко, пастырская власть не только размывается различными институциями модерного общества, но и остается в руках тоталитарного государства, которое своим мнимым или действительным всезнанием парадоксально предвосхищает современный, постмодерный паноптицизм. В советской системе место современных социальных сетей, биополитики, медицинского и образовательного надзора занимает власть литературы, политическая инструментализация символической власти писателя. Эта власть воплощает миф о всеведении, ибо придает реальность мечте о проникновении в душу любого человека, в его прошлое и будущее. Писатель становится центральной функцией советской системы, системы, которую Синявский интерпретирует как наивысший триумф литературоцентризма (что во многом противоположно логоцентризму). Графомания, таким образом, является массовым, можно сказать горизонтальным, проявлением этой власти, ее делинквентным двойником. И наоборот: власть, присваивающая себе функции литературы, становится воплощением графомании, понятой как эксплуатация символического авторитета литературы ради власти же, ради паноптицизма, поднятого на квазирелигиозную высоту.

Именно на основе символического авторитета литературы в сочетании с паноптицизмом вырастает то, что исследователи (Х. Мурав [Murav 1994], А. Эткинд*, И. Кукулин) вслед за Синявским определяют как *чудовищность* советского общества. Как пишет Эткинд*:

> Когда метафоры переводятся на язык реальной жизни, последствия оказываются чудовищными. Согласно Синявскому, избыточный приток метафор в историю ведет к катастрофе. «Не коммунизм — буквализм грозит гибелью миру». Реализованные метафоры становятся монстрами. Точнее, когда метафоры реализуются, возвышенное превращается в чудовищное. <...> Метафоры могут быть чудовищны и в литературной практике обычно такими и являются. Текстуальные игры удерживают чудовищные аллегории в границах речи и не дают им прорваться в реальную жизнь... Эта формула — перетекание текста в жизнь с чудовищными результатами — определила сущность литературы по Синявскому [Эткинд* 2016: 92].

---

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Писатель-пхенц

Василий, главный герой «Гололедицы, утрачивает свой волшебный дар, после того как ему не удается спасти любимую женщину от случайной смерти, приближение которой он ясно видел задолго до произошедшего. Этот сюжетный поворот может быть понят как символическое возмездие герою за злоупотребление «пастырской властью», которая непременно должна быть ориентирована на спасение (правда, души, а не тела). Как пишет Фуко: «Пастырская власть — не просто форма власти, которая чем-то распоряжается; она также должна быть готовой принести себя в жертву ради жизни и спасения паствы. Следовательно, в этом она отличается от суверенной власти, требующей самопожертвования со стороны подданных, чтобы спасти трон» [Фуко 2006: 170]. Более того, утрата власти для Василия также означает полную потерю свободы.

Фуко не верит в антитетичность власти и свободы, его принципиальная позиция состоит в том, что «между властью и свободой не существует отношений противостояния или же взаимоисключающих отношений (повсюду, где осуществляется власть, свобода исчезает); нет, взаимодействие между ними гораздо сложнее: в этом взаимодействии свобода порой предстаёт как условие существования власти…» [Там же: 182]. Поскольку Терц все отношения власти переводит в пространство литературы, то в его картине мира взаимное согласие между властью и свободой *писателя* возможно только в случае графомании — в сущности, таков еще один смысл этого понятия. Но сам Синявский занимается другим: он изобретает позицию автора, полностью лишенного власти — радикально безвластного и потому свободного лиминальной свободой маргинала и отщепенца. В прозе Терца процесс изобретения такого автора приобретает черты «агона» между властью и свободой «об отношениях одновременно как спора и взаимного возбуждения, так и борьбы; не столько о лобовой оппозиции, которая при их столкновении блокировала бы как власть, так и свободу, сколько о непрерывном их взаимном провоцировании» [Там же: 183].

Такие критики, как К. Непомнящи, Э. Маркезинис и И. Кукулин, в деталях описали демонстративную авторепрезентацию Синявским как писателя-преступника, еврейского вора, персонажа из криминального фольклора [Кукулин 2011; Маркезинис 2020; Nepomnyashchy 1995]. Сам Синявский писал об Абраме Терце в романе «Спокойной ночи»:

> Я его как сейчас вижу налетчика, картежника, сукиного сына, руки в брюки, в усиках ниточкой, в приплюснутой до бровей кепке, проносящего легкой, немного виляющей походкой, с нежными междометиями непристойного свойства на пересохших устах, свое тощее отточенное в многолетних полемиках и стилистических разноречиях тело. Подобранный, непререкаемый. Чуть что — зарежет. Украдет. Сдохнет, но не выдаст [Терц 1984: 17].

Однако более программная репрезентация такого субъекта — и автора тоже — была развернута в раннем рассказе «Пхенц» (1957) — самое название которого не случайно рифмуется с «Терц». Повествование в этой новелле строится как процесс постепенного «разоблачения» повествователя. Сначала он предстает обиженным на жизнь горбуном и полуполяком-полурусским, родившимся

в Иркутске, что предполагает историю польской ссылки. Затем гомосексуалом, отвергающим сексуальные приглашения соседки и терпящим издевательства от соседей по коммуналке. Затем возникает версия о внутреннем эмигранте и даже шпионе, скрывающем свою подлинную идентичность от окружающих. На шпионскую версию указывает, например, такая фраза: «Конечно, попав сюда, я следовал общей моде. Блюди законы той страны, в которой вынужден жить. К тому же постоянная опасность быть пойманным и уличенным заставляла меня натягивать поверх тела все эти маскарадные тряпки» [Синявский 1992: 239]. И только в финальной части рассказа выясняется, что его отчуждение носит гораздо более драматический характер — повествователь оказывается инопланетянином, по своей анатомии и физиологии стоящим гораздо ближе к кактусу, чем к homo sapiens. Впрочем, инопланетность Андрея Казимировича странным образом возвращает к биографии скрывающегося за псевдонимом автора: космический корабль Пхенца разбился в Сибири 32 года тому назад — а самому Синявскому как раз 32 года в тот момент, когда он пишет этот рассказ.

Повествователь, таким образом, оказывается ярко выраженным маргиналом (горбун, потомок ссыльных поляков), а также делинквентом (гомосексуал, внутренний эмигрант, шпион). Кроме того, весь сюжет «Пхенца» может быть прочитан и как история безумия — Андрей Казимирович попросту сходит с ума, и в безумии воображает себя инопланетным кактусом. Не случайно в его финальном монологе «инопланетные» фразы мешаются с вполне человеческими словами из русского и французского. Илья Кукулин проницательно усмотрел в этой нестабильности повествователя источник новой — постмодернистской — эпистемологии: «Первичной… задачей [Синявского] было изображение мира, в котором нет “правильной” точки зрения, а привычное человеческое восприятие может быть радикально деконструировано» [Кукулин 2011: 131]. У этой эпистемологии есть и социальное измерение. В контексте нашего анализа заслуживает внимания то, что социальные роли, последовательно разыгрываемые «Андреем Казимировичем» — инвалид, гомосексуал, диссидент, сумасшедший, — все это любимые персонажи Фуко, изучавшего репрессивный характер социальной нормативности через исследования истории больницы, тюрьмы и сексуальности.

Герой Терца, однако, отказывается считать свою маргинальность и делинквентность пороками. Напротив, они ими гордится — благодаря им он обладает иным взглядом, а вернее, метапозицией[4]. На решение о самоубийстве его тол-

4 В скобках замечу, что метапозиция «Андрея Казимировича» резонирует с тем описанием трикстера — то есть плута, шута, дурака, — которое Бахтин дает в работе «Формы времени и хронотопа в романе»: «Им присуща своеобразная особенность и право — быть ч у ж и м и в этом мире, ни с одним из существующих жизненных положений этого мира они не солидаризуются, ни одно их не устраивает, они видят изнанку и ложь каждого положения. Поэтому они могут пользоваться любым жизненным положением лишь как маской» [Бахтин 1975: 309]. Вопрос о моделировании автора как трикстера в творчестве Синявского я рассматривал в статье «Два трикстера: Абрам Терц vs Д.А.П.» [Липовецкий 2019]. Но при этом повествователь в «Пхенце» совершенно не трикстер. Необходимо уточнить, что автор-трикстер у Синявского — это лишь *одна из форм* принципиальной исключенности его «идеального автора» из системы властных отношений, сцементированных культом литературы. Изучение других форм — вопрос для отдельного исследования.

кает не отчужденность от общества, а наоборот — страх ассимиляции с человечеством: «Господи! Господи! Я, кажется, становлюсь человеком! Нет! Не для того я мучился тридцать два года, не для того страдал зимою без воды на жестком диване. Зачем было выздоравливать, если не с единственной целью: как станет тепло — укрыться в тихое место и умереть без скандала? Только так и можно сберечь, что еще осталось» [Синявский 1992: 250]. Быть инопланетным кактусом для него предпочтительнее, чем быть «нормальным человеком». Этот радикальный поворот перекликается не только с «Тысячью плато» Делёза и Гваттари и такой «линией ускользания», как «стать-животным» (см.: [Делёз, Гваттари 2010: 340—382]). Еще больше параллелей обнаруживается с идеализаций античного кинизма в последнем цикле лекций Фуко «Мужество истины» (1984). Именно в киниках Фуко увидит философские прототипы современных активистов и революционеров.

Фуко подчеркивает кинический принцип «прямой жизни», состоящий в верности природе:

> Поскольку киники строго и систематически применяют принцип прямой жизни, связанной с природой, животное состояние играет у них совершенно иную роль. Оно становится положительной ценностью, оно становится моделью поведения, материальной моделью, зависящей от идеи, согласно которой без чего может обойтись животное, в том и человек не должен нуждаться. <...> Чтобы не пасть ниже животных, нужно суметь принять это животное состояние как простейшую, но перспективную форму жизни. Животное состояние — не данность, но долг [Фуко 2014: 253].

Думается, Пхенц согласился бы с этим принципом, лишь заменив животное состояние на растительное.

Пхенц воплощает и другой кинический принцип — «суверенной жизни», состоящий в отказе от какой-либо социальной, национальной или религиозной идентичности. По Фуко, этот принцип возвышает кинического субъекта до статуса «антицаря»:

> Киник сам по себе царь, и даже единственный царь. Коронованные правители, так сказать, зримые правители — лишь тень настоящей монархии. Киник — единственный подлинный царь. И в то же время по отношению к земным царям, коронованным царям, царям, сидящим на троне, это антицарь, показывающий, сколь тщетна, иллюзорна и зыбка царская власть [Там же: 263].

Пхенц — действительно антицарь: даже умирая в одиночестве в глубине коммунальной квартиры, он тем не менее видит себя как воплощение совершенства — иного, отличного от человеческих представлений о прекрасном, но от того не менее совершенного:

> Но я вертел головой, не ограничиваясь полукружием — жалкой ставосьмидесятиградусной нормой, отпущенной человеческой шее, я заморгал всеми глазами, какие были в сохранности, разгоняя усталость и мрак, и мне удалось увидеть себя со всех сторон — сразу в нескольких ракурсах. Какое это увлекательное зрелище, к сожалению, теперь доступное мне лишь в редкие ночные часы. Стоит воздеть руку, и видишь себя с потолка, так сказать, возвышаясь и свешиваясь над собою. И в то же самое время — остальными глазами — не упускать из виду низ, тыл и перед — все свое ветвистое и раскидистое тело. Может быть, не живи я на чужбине тридцать

> два года, мне бы и в голову не пришло любоваться своею внешностью. Но здесь я единственный образчик той утраченной гармонической красоты, что зовется моею родиной. Что же мне делать еще на земле, если не восхищаться собой?
>
> Пусть моя задняя рука скрючилась от постоянной необходимости изображать человеческий горб! Пусть на моей передней руке, искалеченной ремнями, уже отсохло два пальца, а мое старое тело потеряло прежнюю гибкость! Все равно я красив! пропорционален! изящен! вопреки утверждениям всех завистников и критиканов [Синявский 1992: 247].

Статус антицаря, рифмуясь со знаменитой пушкинской формулой «Ты царь, живи один», наиболее отчетливо демонстрирует то, что для Синявского Пхенц в первую очередь писатель. Или, точнее, прототип идеального автора в его системе координат. Можно даже утверждать, что идеальный писатель для него — это писатель-пхенц. Пхенц обладает абсолютным даром остранения — основанию литературного творчества, как Синявский, разумеется, читавший Шкловского, отлично знает. А.К. Жолковский и И. Кукулин исчерпывающе проанализировали этот аспект рассказа Терца (см.: [Жолковский 2011; Кукулин 2011: 128—130]). Остается только добавить, что именно способность Пхенца видеть привычное как странное и лежат в основании его маргинальности, делинквентности и даже инопланетности — а не наоборот!

Как видно, идеи, которые сегодня воспринимаются как «фуколдианские», неизменно появляются в фантастических повестях Терца в смысловом поле, связанном с литературой и авторством. Если Фуко строит свою теорию модерности как теорию знания, основанного на науке и юриспруденции, то в русской — и шире: славянских — культурах именно литература традиционно играла роль синкретичной (интегральной) формы знания о человеке и обществе. В сущности, история знания в российском контексте заменяется историей литературы. В литературоцентричной модели модерности, как ее описывает Синявский-Терц, литература и писатель играют двойную роль: они одновременно являются самыми мощными и авторитетными каналами репрессивной власти и именно поэтому таят в себе наибольший потенциал субверсии и анархии. Если графомания воплощает предельную степень литературы как репрессии, то писатель-пхенц реализует оборотную сторону такой модерности. Речь при этом идет не только о сталинской модерности и даже не только о ее советском варианте; скорее, как и Фуко, Синявский ищет ключи к тому, что объединяет XX век с XIX-м и более ранними периодами.

Следуя этой логике, то, что называли литературоцентричностью и воспринимали как культурный дефект, необходимо рассматривать как центральную характеристику «альтернативной модерности» — характеристику, значение которой только модифицируется, но не исчезает и не уменьшается, даже когда литература вытесняется с центральных позиций визуальными и виртуальными жанрами. «Виновата» ли эта модель модерности в воспроизводстве репрессивных механизмов — вопрос открытый, но именно Синявский и близкие ему по духу литераторы заложили продуктивные основания для его обсуждения.

Библиография / References

[Бахтин 1975] — *Бахтин М.* Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975.

(*Bakhtin M.* Voprosy literatury i estetiki. Moscow, 1975.)

[Белая книга... 1967] — Белая книга по делу Синявского и Даниэля / Сост. А. Гинзбург. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1967.

(Belaya kniga po delu Siniavskogo i Danielya / Comp. by A. Ginzburg. Frankfurt a.M., 1967.)

[Делёз, Гваттари 2010] — *Дёлез Ж., Гваттари Ф.* Тысяча плато: капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Я.И. Свирского; науч. ред. В.Ю. Кузнецов. Екатеринбург; М.: У-Фактория; Астрель, 2010.

(*Deleuze G., Guattari F.* Mille plateau: Capitalisme et Zchizophrénie. Ekaterinburg; Moscow, 2010. — In Russ.)

[Жолковский 2011] — *Жолковский А.К.* «Пхенц» на рандеву: ню, меню, дежавю // Новое литературное обозрение. 2011. № 109. С. 210—228.

(*Zholkovskii A.K.* "Pkhents" na randevu: nyu, menyu, dezhavyu // Novoe literaturnoe obozrenie. 2011. No. 109. P. 210—228.)

[Зенкин 2018] — *Зенкин С.* Теория литературы: проблемы и результаты. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

(*Zenkin S.* Teoriya literatury: problemy i rezul'taty. Moscow, 2018.)

[Кукулин 2011] — *Кукулин И.* «Разочарование в истории» как социокультурный диагноз 1960—1970-х годов: Андрей Синявский и Аркадий Белинков // Studi Slavistici. 2011. Vol. VIII. P. 113—136.

(*Kukulin I.* "Razocharovanie v istorii" kak sotsiokul'turnyi diagnoz 1960—1970-kh godov: Andrei Siniavskii i Arkadiy Belinkov // Studi Slavistici. 2011. Vol. VIII. P. 113—136.)

[Липовецкий 2019] — *Липовецкий М.* Два трикстера: Абрам Терц vs Д.А.П. // Энергия кризиса: Сборник в честь И.П. Смирнова / Под ред. И. Калинина и К. Ичин. М.: Новое литературное обозрение, 2019.

(*Lipovetskii M.* Dva trikstera: Abram Terts vs D.A.P // Energiya krizisa: Sbornik v chest' I.P. Smirnova / Ed. by I. Kalinin and K. Ichin. Moscow, 2019.)

[Маркезинис 2020] — *Маркезинис Э.* Андрей Синявский: герой своего времени? / Пер. с англ. О. Поборцевой и А. Разина. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020.

(*Markezinis E.* Andrei Siniavskii: A Hero of His Time? Saint Petersburg, 2020. — In Russ.)

[Синявский 1992] — *Синявский А.* Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. М.: СП Старт, 1992.

(*Siniavskii A.* Sobranie sochineniy: In 2 vols. Vol. 1. Moscow, 1992.)

[Терц 1984] — *Терц А.* Спокойной ночи. Paris: Синтаксис, 1984.

(*Terts A.* Spokoynoy nochi. Paris, 1984.)

[Терц 1981] — *Терц А.* В тени Гоголя. Fontenay-aux-Roses: Syntaxis, 1981.

(*Terts A.* V teni Gogolya. Fontenay-aux-Roses, 1981.)

[Фуко 1996] — *Фуко М.* Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону власти и сексуальности. Работы разных лет / Сост. и пер. с фр. С.В. Табачниковой. М.: Магистериум; Касталь, 1996. С. 9—46.

(*Foucault M.* Qu'est-ce qu'un auteur? // Foucault M. La Volonté de Savoir. Moscow, 1996. P. 9—46.)

[Фуко 1999] — *Фуко М.* Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы / Пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. М.: Ad Marginem, 1999.

(*Foucault M.* Surveiller et punir: Naissance de la Prison. Moscow, 1999. — In Russ.)

[Фуко 2006] — *Фуко М.* Субъект и власть // Фуко М. Интеллектуалы и власть: В 3 ч. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 3 / Пер. с фр. Б.М. Скуратова под общ. ред. В.П. Большакова. М.: Праксис, 2006. С. 161—191.

(*Foucault M.* Le sujet et le pouvoir // Foucault M. Articles politiques, conferences, interviews 1970—1984. Moscow, 2006. P. 161—191. — In Russ.)

[Фуко 2011] — *Фуко М.* Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977—1978 учебном году / Пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. СПб.: Наука, 2011.

(*Foucault M.* Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France (1977—1978). Saint Petersburg, 2011. — In Russ.)

[Фуко 2014] — *Фуко М.* Мужество истины. Управление собой и другими II. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1983—1984 учебном году / Пер. с фр. А.В. Дьяков. СПб.: Наука, 2014.

(*Foucault M.* Le courage de la vérité. Le government de soi et des autre II. Saint Petersburg, 2014. — In Russ.)

[Эткинд* 2016] — *Эткинд А.** Кривое горе: память о непогребенных / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
(*Etkind A.** Krivoe gore: Pamyat' o nepogrebennykh. Moscow, 2016.)
[Murav 1994] — *Murav H.* The Case against Andrei Siniavskii: The Letter and the Law // Russian Review. 1994. Vol. 53. No. 4. P. 549—560.
[Nepomnyashchy 1995] — *Nepomnyashchy C.T.* Abram Tertz and the Poetics of Crime. New Haven; London: Yale University Press, 1995.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Ксения Костомарова, Павел Успенский

Как феноменология глупости объясняет графоманию?

РАЗМЫШЛЕНИЕ С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ ИЗ СТИХОВ ВИКТОРА БОКОВА

Ksenia Kostomarova, Pavel Uspenskij

How does the Phenomenology of Stupidity Explain Graphomania?
Reflection with Examples from Viktor Bokov's Poems

Ксения Костомарова (Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, младший научный сотрудник) kostomaa@gmail.com.

Павел Успенский (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор школы филологических наук; доктор филологических наук) puspenskiy@hse.ru.

Ksenia Kostomarova (Junior Research Fellow, V.V. Vinogradov Institute of the Russian Language, RAS) kostomaa@gmail.com.

Pavel Uspenskij (Dr. habil.; Professor, School of Philological Studies, HSE University) puspenskiy@hse.ru.

Ключевые слова: графомания, философия глупости, феноменология, поэтическая глухота, эстетическая реакция, когнитивные механизмы восприятия, Виктор Боков

Key words: graphomania, philosophy of stupidity, phenomenology, poetic deafness, aesthetic reaction, cognitive mechanisms of perception, Viktor Bokov

УДК: 80
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_301

UDC: 80
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_301

Статья представляет собой попытку расширить теоретическое понимание графомании. Традиционный подход определяет ее исходя из двух базовых критериев: количество низкопробных текстов и самовосприятие автора как гения. Эти характеристики недостаточны для точного и глубокого анализа явления. В статье на материале поэтических текстов В. Бокова (1914—2009) предлагается расширенный список критериев, сопутствующих графомании, а также формулируется основное рецептивное условие, которое определяет восприятие «плохого» текста как графоманского. Графомания связывается в статье с категорией глупости, которая рассматривается в феноменологическом ключе.

The article attempts to broaden the theoretical understanding of graphomania. The traditional approach defines it on the basis of two main criteria: the number of low-quality texts and the author's self-perception as a genius. These characteristics are insufficient for an accurate and profound analysis of the phenomenon. The article analyses the poetic texts of V. Bokov (1914—2009) and proposes an extended list of criteria concomitant with graphomania and also formulates the main receptive requirement that determines the perception of a "bad" text as graphomanic. The article associates graphomania with the category of stupidity, which is considered in a phenomenological way.

У графомана есть отвага,
Она преследует его,
Любая белая бумага
Кричит ему: — Бери перо!

В. Боков

Графомания, как известно, с трудом поддается формализации. Как нам кажется, это связано с тем, что попытки определения графомании претендуют на универсальность и стремятся найти такой уровень обобщения, который подходил

бы ко всем «плохим» текстам. Поскольку эта утопическая задача не предполагает анализа частностей, в репертуаре исследователя остаются лишь два критерия: 1) графоман — это тот, кто много и плохо пишет, и 2) графоман — это тот, кто считает себя гением. С нашей точки зрения, эти явления в самом деле сопутствуют графомании, однако они недостаточны для ее описания: таким критериям удовлетворяет, например, поэзия К. Бальмонта или И. Северянина, разговор о «графомании» которых явно требует весомых дополнительных аргументов[1]. Раз даже в пределах базовых критериев мы сталкиваемся с необходимостью корректировок, уточнений и описания исключений, то не удивителен соблазн впасть в другую крайность — считать графоманию социальным конструктом.

В рамках такого подхода — его придерживалась, например, С. Бойм — никакой объективной графомании не существует. Неразрывно связанное с литературоцентричным обществом, это понятие используется как инструмент власти. С его помощью социальные группы (прежде всего сообщества писателей) проводят границы между собой и другими, клеймя «графоманов» за плохой вкус, непонимание литературы и несовременность [Бойм 2022: 225—274; Козлова 2009]. Хотя эти соображения также затрагивают важные черты графомании, мы не готовы согласиться с тем, что сам феномен — только социальный конструкт (разве что в очень специфическом смысле, который нуждается в подробной экспликации). Качество стихов Э. Асадова не может быть приравнено к качеству стихов И. Бродского лишь на социологических основаниях, например потому, что у каждого из них есть свои преданные читатели, считающие именно этого поэта великим.

Мы считаем, что понимание феномена графомании может стать более объемным и конкретным, если мы не будем стремиться описать сразу всех бездарных писателей, а займемся частным случаем. Это не уход от проблемы, а смещение оптики: внимательная экспликация черт графомании, как нам представляется, позволит вернуться к теоретической проблеме на новых основаниях. Наша методология очень близка к «насыщенному описанию» К. Гирца, но работает с другим материалом [Гирц 2004]. Прежде чем перейти к этому материалу, необходимо остановиться на трех положениях, из которых мы исходим. Во-первых, каждый графоман уникален и нуждается в отдельном описании. Во-вторых, существует ряд критериев, которые сопутствуют графомании, но не являются ее неотъемлемой частью; без определенных черт письма графоман состояться не может, но это не значит, что их наличие делает писателя графоманом автоматически. В-третьих, чтобы признать текст графоманским, необходимо особое рецептивное условие. Однако для объяснения специфики последнего нам необходимо сначала рассмотреть конкретный случай и критерии графомании в действии.

Наш частный случай — советский поэт В.Ф. Боков (1914—2009) — едва ли не образцовый графоман. Хотя удачные тексты встречаются в его книгах (например, знаменитый «Оренбургский пуховый платок», «На побывку едет молодой моряк»), но их количество не сравнимо с количеством поэтических провалов. Для Бокова такой провал — норма, и это отличает его от больших поэтов, неудачи которых остаются штучными.

---

1 Введенные в свое время В. Марковым применительно к графомании понятия «китч» и «кэмп», к сожалению, не проясняют дело [Марков 1994], хотя направление рассуждений Маркова, как читатель увидит далее, нам очень близко.

За долгую литературную жизнь Боков издал больше сорока поэтических сборников: первый, «Яр-хмель», вышел в 1958 году, последний, «Только любовь», в 2005-м, когда поэту было уже за девяносто. Выросший в крестьянской семье, Боков начал писать еще до войны, учился в Литературном институте и успел получить одобрение Б. Пастернака, М. Пришвина и А. Платонова. Их комплиментарные отзывы стали частью авторской мифологии поэта[2]. Похвалы классиков, как, например, запомнившаяся только Бокову фраза Пастернака: «Это у вас от природы. Цветаева шла к такой форме от рассудка, а у вас это само собой вылилось» (см.: [Боков 1998: 11]), — не только легитимизировали боковские тексты, но и делали поэта как бы прямым продолжателем элитарной литературы[3].

Ранние стихи Бокова — это еще не графоманская, но эпигонская поэзия, подражающая Пастернаку. В ней воспроизводилась его ассоциативная размашистость и непредсказуемость. Так, например, «Март» (1953) — вольная вариация пастернаковского стихотворения «Душистою веткою машучи…» (с его темой любви двух капель друг к другу), в которую вплетаются характерные для автора «Сестры моей — жизни» музыкальные ассоциации:

Везде и всюду сказывается
Март, старый капельмейстер.
Две капли с крыши скатываются,
Летят на землю вместе.

И падают на клавиши
Двух водосточных луночек,
От радости заплакавши,
Что снова неразлучны. <…>

Грачиного и галочьего
Март месяц полон крика.
Он дирижерской палочкой
Нам воскрешает Грига.

[Боков 2012: 23]

В 1941 году Боков был принят в Союз писателей, а в 1942-м призван в армию, но на войну попасть не успел, поскольку был арестован и приговорен к пятилетнему лагерному сроку. После него в 1947—1956 годах Боков жил в ссылке. С оттепелью он вернулся в официальную литературу и жил жизнью признанного советского писателя с постоянными публикациями, писательскими поездками и дачей в Переделкино.

Собственно графоманскими тексты Бокова становятся после лагеря, хотя предпосылки к этому заметны уже в стихах 1930—1950-х годов. Точно отсле-

2 См.: «Меня признали — Пастернак и Пришвин, / Андрей Платонов, а еще — народ. / Под веткой наклоненной старой вишни / Ко мне стучится слава у ворот» [Боков 1998: 636]; «Сижу под вой метели мартовской / То с Пришвиным, то с Пастернаком» [Боков 1996: 122].

3 Свод писательских отзывов о Бокове см. в статье: [Головко 2017]. Эта статья в большей степени интересна как показательный пример некритичной рецепции автомифологии поэта.

дить переход Бокова от эпигонства к графомании невозможно, но на такую трансформацию, по всей видимости, повлиял лагерь, а точнее — его последствия. В лагерных стихах Бокова слышен честный голос свидетеля катастрофы (см. цикл «Сибирское сидение»: [Там же: 95—186]). После заключения и ссылки интонация и риторика Бокова меняются: он начинает подчеркивать свою крестьянскую идентичность, представая «человеком природы» и «народным умельцем» точно говорить в рифму. Одновременно афористично и эвфемистично такой образ поэта пойман в формулировке Е. Евтушенко — «многострадальный идеалист с балалайкой» (цит. по: [Боков 2010: 338]).

Для того чтобы составить впечатление о типичной поэтике Бокова, достаточно наугад раскрыть любой его сборник:

Голуби обленились,
Очень испортились просто,
Вся их надежда на милость,
На пенсионное просо. <...>

Что попрошайкам за дело
До целины и пшеницы.
За душу их не заденет,
Если посохнут криницы.

Что им до войн и диверсий
И до любых изотопов,
Голуби — иждивенцы,
Приспособленцы потопа.

Может быть, это — кощунство
Так проповедовать с пылом
Явно недоброе чувство
К лодырям сизокрылым?!

[Боков 1966: 196]

Не уходя в анализ этих строф, заметим, что они достаточно неуклюжи и нелепы даже по меркам официальной поэзии. Систематическая нечуткость Бокова к словам не может объясняться отсутствием мастерства: поэт не только умел писать «под Пастернака», но иногда придумывал изощренные ритмические решения и полисемические метафорические конструкции (как, например, в стихотворении «Соль» 1956 года, в рамках советской эстетики вполне «сильном»). Дело здесь, по-видимому, в другом: складывается впечатление, что опыт лагеря и сам факт выживания внутри катастрофы опростил и даже оглупил поэтическое сознание Бокова. Д. Бонхёффер в свое время писал, что глупость — это не что иное, как реакция личности на воздействие жутких исторических обстоятельств [Бонхёффер 1994: 34]. Такую защитную реакцию можно отнести к индивидуальному боковскому механизму переживания травмы ГУЛАГа и, шире, сталинизма[4].

4 По-видимому, еще одним проявлением длящейся травмы стала «сталинизация» Бокова в 1990-е годы. Распад СССР и его последствия произвели на поэта тяжелое впечатление и, помимо старческой консервативности («Не могу я быть слугою /

Однако биографическая оптика трактует одно явление (письмо) через другое (биография), не объясняя при этом, почему приведенные выше стихи можно счесть графоманскими, то есть не учитывает имманентных свойств текста. Как графомания устроена изнутри? Взглянем на еще одно стихотворение, которое, как и большинство текстов Бокова, располагается — используя слова В. Ходасевича о плохих стихах [Ходасевич 1991] — «ниже нуля»:

Ливни и грозы.
Лето в разгаре.
Каждый торопится в гости к нему.
Гром даже дня не сидит на вокзале,
Едет то в Тулу, то в Кострому.

Лето свое лубяное лукошко
Луком, редисом набить норовит.
Всюду в обед председатель — окрошка,
А заместителем — гриб боровик.

Лето в разгаре.
Главенствует овощ,
Произведенье земель заливных.
Это единственно скорая помощь
Самоубийцам котлет отбивных!

[Боков 1966: 115]

Приведенным стихам нельзя отказать в индивидуальной поэтике[5]. Перед нами не бесхитростное письмо и не собрание общих мест, — напротив, здесь отчетливо виден авторский почерк, который складывается из эклектичных метафор, небанальных рифм и обращения к нетривиальному жанру «советской анакреонтики». В эволюционной перспективе текст Бокова — мутант, черты которого восходят к чертам поэтики Г. Державина и Б. Пастернака. В поэтологическом же плане «Ливни и грозы...» — изнанка высокой поэзии, «антисти-

Прихлебателей ларьков. // Не могу приспособляться / И ходить в передовых, / Не могу глядеть на бл...дство, / Где девиз “Бери-дави!”» (1995) [Боков 1996: 263]), привели к переосмыслению роли власти. В 1990-е годы Бокова настиг запоздалый стокгольмский синдром. Вот фрагмент воспоминаний близкой знакомой поэта: «В 1998 году легендарный Виктор Боков вдруг признался: “В 26 лет я был арестован. Оклеветали. 5 лет отсидел... Я ненавидел Сталина, мечтал убить. А сейчас, после того, что пережил вместе со страной, в последние годы изменил отношение к нему. Я написал стихи “Я Сталина ругать перестаю...”» [Шенкевец 2019: 101—102]. В них, в частности, читаем такие строки: «Я видел его серую шинель, / Воспринимал ее как символ века. / Я думаю, что не было сильней / Во всей державе нашей человека». См. также фрагмент другого стихотворения — «Сталинский след с Мавзолея не смыт...»: «Что теперь со мной — не пойму: / От ненависти перешел я к лояльности. / Тянет и тянет меня к нему, / К его кавказской национальности» (цит. по: [Там же: 103]).

5 Литературная мастеровитость Бокова не просто очевидна, но и отделяет его от дилетантов. Письмо таких сочинителей находится в своеобразной «серой зоне» между фольклором и профессиональной литературой, и его лиминальный статус может описываться по-разному: и как «народная графомания», и как «наивное письмо». Хотя образцы подобного творчества потенциально согласуются с предлагаемыми в этой статье построениями, однако не могут соотноситься с ними автоматически. О наивной литературе см. подробнее: [Минаева 2009].

хотворение». В тексте есть все те формальные черты, которые организуют литературное произведение и которые сами по себе не вызывают у читателя ощущения монструозности, но их конфигурация у Бокова двигает стихотворение не в сторону эстетического переживания, а в сторону, где категории эстетики вообще перестают работать, как бы удачно текст ни воспроизводил глубинные черты традиционного стихотворения. Это особенно видно по последним строкам, которые явно были задуманы как эффектный и точный финал, но которые, по сути, оказываются антикатарсическими. Если это и катарсис, то катарсис нелепости. Читателю статьи при этом стихотворение Бокова может нравиться так же, как оно нравится нам, но мы убеждены, что это результат уже вторичной эстетизации (об этом мы будем специально говорить далее).

Если задаться вопросом, почему эти стихи плохие, то за чувством нелепости следует чувство растерянности. И все же: что делает тексты Бокова графоманскими? В начале статьи мы упомянули два традиционных критерия, которые важны и для нас как стартовая точка.

1. Графоман много и плохо и пишет. Формат статьи лишает нас удовольствия цитировать Бокова в объеме, достаточном для иллюстрации этого тезиса. Читателю остается поверить нам на слово.

2. Графоман считает себя великим творцом. Боков убежден в важности собственных слов и заранее считает себя частью *великой русской литературы*. В предисловии к сборнику «Боковская осень» (1996) он писал: «В русской поэзии была Болдинская осень. Преклоняясь перед ней, памятуя об этом, оглядываясь на могучий взрыв пушкинской энергии, решил я назвать свою книгу “Боковская осень”. Читайте! Идите по пылающим следам моей Музы!» [Боков 1996: 3].

Постоянно порождая новые тексты, Боков жил по принципу «ни дня без строчки». Личный биограф поэта В.И. Самсонов вспоминает: «Утром встает, потом идет вниз перерабатывать свои стихи. Уже читает, на машинке их перепечатывает, завтракает, говорит: “Все, я поработал, два стихотворения есть”»[6]. Будучи убежденным, что поэт должен откликаться на все вокруг, Боков не только был сосредоточен на количестве (а не на качестве) собственных текстов, но и постоянно писал стихи о процессе творчества. Несмотря на то что в этих текстах он редко характеризует себя как гения, сама поэтизация «рождения слова» невозможна без ощущения собственной исключительности.

Слова врача, обращенные к поэту:

То, что вы мне рассказали,
Никакая не болезнь,
Никакая ненормальность,
Это просто гениальность!..
[Боков 1962: 229]

О своих стихах:

А строка, как лебедь, выплывает
Землю величать и украшать!
[Боков 1958: 90]

6 Фильм «Великая Россия. Имена. Век XX. Поэт Виктор Боков»; производство ТК «Тонус», 2021. Реплика на 17-й минуте фильма.

Муза, верная слуга моя,
Я зову тебя — сударыня!
Величаю по-старинному.
Я — Казбек! Ты покори меня!
[Боков 1996: 90]

Хозяйство мое стихотворное
Равнинное, высокогорное,
Морское, речное, озерное,
Лесное, степное, озонное,
Спасительно-кислородное,
А проще сказать — народное.
[Боков 1998: 615]

Напомним, что два этих критерия лишь стартовые и позволяют квалифицировать автора как графомана только в первом приближении. К ним нужно добавить следующие.

3. Сознание графомана воспроизводит дорациональные, первичные пласты сознания. В каком-то смысле графоман находится в состоянии (полной или частичной) когнитивной регрессии, а в особых, «предельных» случаях транслирует изумительно наивный, не тронутый сложностью взгляд на мир. У Бокова это выражается в примитивно-сказочном восприятии реальности, в которой все живые существа добры, общительны и лишены какой-либо сложности, а значит, в определенном смысле взаимозаменяемы — кого Боков ни увидит, все ему в радость:

Шмель мой сонно ножками подвигал,
Отряхнул свой бархатный кафтан.
— Я на клевер! —
Доложил и мигом
Полетел туда.
— Я буду там!
[Боков 1966: 130]

Со цветка гвоздики тонкой
В направлении села
Полетела почтальонкой
С заказным письмом пчела.
Возле тына тихо села,
Стала палочкой стучать:
— Позовите чистотела,
Надо почту передать!
[Боков 1962: 153]

Шерсть у мамонта светло-рыжая,
Шерсть у мамонта можно прясть,
Только мамонты вот не выжили,
Не спасла их нахальная масть.

Лед на мамонта навалился,
И однажды пришла беда.
Как же ты, таракан, сохранился,
За холодною пазухой льда?!
[Боков 1998: 580]

Впадая в детский инфантилизм, Боков фокусируется на собственных элементарных переживаниях, которые сводятся к восторгу, в редких случаях — к удивлению. Не случайно приведенные примеры не воспринимались бы как странные или нелепые, если бы они были адресованы детям. В таком случае тексты обрели бы исключительно ясный фрейм («детское стихотворение»), а не оставляли бы взрослого читателя в недоумении.

4. Графоман пишет в рамках предшествующих литературных систем и некритично считает их образцовыми. Устаревшие культурные формы в его текстах предстают актуальными. Образцовый в этом плане пример — граф Хвостов (см. о нем: [Винницкий 2017]). Хотя случай Бокова не столь ярок, его стихи часто ориентированы на старомодные, предмодернистские и раннемодернистские, поэтические формы:

Над кладби́щем
старинным,
Над молчаньем могил
В косяке журавлином
Вожак затрубил.

У ручья, весь продрог,
Притаился, молчу.
Но кому невдомек,
Что и сам я журчу!
[Боков 1962: 153]

Стань моей лозинкой,
Погрозись мизинцем,
Накажи словцом,
Пожури немного,
Бровью кинься строго,
Назови отцом!
[Боков 2005: 33]

Первый текст ориентируется на Фета, но осложнен отзвуком кладбищенской элегии. «Пейзажность» Фета совмещена у Бокова с наивным идиллическим восприятием себя как части природы и с ощущением полной — и, увы, в нашей перспективе двусмысленной — гармонии. Второй текст аккумулирует разнородные поэтические штампы любовной поэзии, а его финал незамысловато повторяет гендерные роли XIX века, когда женщина воспринималась как существо, нуждающееся в покровительстве отца, а затем мужа[7].

7 Специального внимания в случае Бокова требует фольклор, который, с одной стороны, относится к древней словесности, а с другой — становится едва ли не важнейшим воплощением позднесоветской национальной идеи, практически единственным

5. Графоман непоследовательно и несогласованно воспроизводит литературные формы. В рамках одного стихотворения у него часто смешиваются черты разных жанров, что приводит к несуразной эклектичности. В случае Бокова этот эффект чаще всего возникает не столько за счет количества разнородных жанровых сигналов, сколько благодаря единичным вкраплениям, переворачивающим текст с ног на голову:

Рябина разожгла костер,
Пылают гроздья, как поленья.
И царственный ее престол
Мне обещает вдохновенье. <...>

Горит рябиновый огонь,
Прекрасно огненное платье.
И чешется моя ладонь,
Я думаю — дадут зарплату!
[Боков 1996: 18]

Осенний рынок — это Рубенс!
Собрание фламандских мастеров.
Я в черной редьке обожаю грубость,
Чихнул, она в ответ мне: — Будь здоров!
[Там же: 12]

Природная зарисовка в первом примере внезапно переходит во внутреннюю речь, социальный план которой — мысли о скорой зарплате — диссонирует с «высоким» пейзажем осени. Боковские же строки об осеннем рынке сначала настраивают нас на «поэтическое» описание, но внезапно переходят к какой-то сюрреалистической басне с говорящей редькой.

6. Графоману свойственна поэтическая глухота, заключающаяся в том, что его не смущают двусмысленные обороты и строки — надо полагать, он просто их не замечает. Подобные невольные двусмысленности встречаются и у классиков, но все же точечно[8]. У Бокова же комичная двусмысленность является одной из поэтических констант. Даже если учитывать, что для официальной советской поэзии была характерна некоторая неконтролируемая

подлинным языком «русскости» (ср. с феноменом писателей-«деревенщиков», о котором см.: [Разувалова 2015]). В стихах Боков весьма умело имитировал «устное народное творчество», хотя сам он вовсе не думал о стилизации, а искренне считал, что он и есть носитель фольклорной традиции. Это убеждение прослеживается и во всей деятельности Бокова в смежных с «высокой поэзией» областях: он собирал антологию частушек, исполнял их, играя на балалайке и на баяне, писал песни, в народном авторстве которых были убеждены его современники. Во всем этом Боков был одновременно и созвучен современности, во всяком случае ее правым идеологическим тенденциям, и вместе с тем — до крайности архаичен. Роль фольклора у Бокова — тема, заслуживающая отдельного исследования; здесь же мы обозначили проблему лишь конспективно.

8 См. точечные примеры в творчестве Вяч. Иванова и А. Ахматовой, замеченные В. Марковым [Марков 1994: 288—289], и обильный каталог случаев поэтических глухоты у Пастернака, составленный М. Шапиром [Шапир 2004]. Впрочем, в списке Шапира лишь несколько убедительных примеров, тогда как большая их часть нуждается в пересмотре.

подвижность смыслов, случай Бокова уникален и на этом фоне. Вот лишь несколько примеров:

Горы не боятся наготы,
Пашни не боятся обнаженья.
В биополе чистой красоты
Начинаю нежное сраженье.
[Боков 2005: 47]

Вот ваша дача, ваш проезд Олений,
Наверно, хорошо вам в соснах жить?
Позвольте встать пред вами на колени,
Чтоб рыцарство святое обнажить.
[Там же: 92]

Черный, монаший клобук нахлобуча,
Вдаль свои думы мирские несла…
Мне написали, что тихая туча
Сделала дело и дальше ушла!
[Боков 1966: 80]

Несколько иной формой поэтической глухоты предстает нагромождение противоречивых тропов, несогласованность которых, по-видимому, также не ощущается автором. В этом аспекте графоман вновь напоминает ребенка, чьи когнитивные способности еще не сформировались. Ж. Пиаже в классической работе о детском мышлении наглядно показал, что маленькие дети не способны воспринимать противоречия [Пиаже 1999: 317—345]. Находясь в состоянии синкретизма мысли, маленький ребенок соотносит явления произвольно:

> Дети… *видят сравниваемые предметы как подобные раньше, чем сделать какое бы то ни было осознаваемое сопоставление* (курсив наш. — *Авт.*). Таким образом, имеется аналогия не посредственная, а непосредственная, ибо испытуемый «не сравнивает восприятия, а воспринимает сравниваемое». <…> Дети воспринимают различные предметы так, как если бы они были совершенно одинаковыми, потому что детские представления образуют «неразложимые массы», иначе говоря, потому что у детей имеется синкретизм восприятия [Там же: 110—111].

Несложно заметить, что в поэзии Бокова сопоставление и соположение объектов подчиняется именно такому принципу:

Ходят и ходят,
Клюют полегонечку,
Лужица встретится —
Пьют самогоночку.

Им ничего, надо думать,
Не станется,
Голубь с голубкой,
Известно, не пьяницы.
[Боков 1966: 185]

В наивной картине мира Бокова лужа спонтанно сопоставляется с разлитым самогоном, и эта метафора автоматически заставляет поэта увидеть в голубях алкоголиков. Иными словами, в полном согласии с Пиаже сначала возникает сопоставление, и лишь потом — попытка его осмыслить. Получившийся смысл, однако, Бокова не удовлетворяет, о чем свидетельствует следующая строфа, занятая опровержением только что созданной метафоры (очевидно, идея изменить ход метафорических ассоциаций всего текста автору в голову не приходит).

Подобные примеры глухоты можно найти практически в каждом стихотворении Бокова:

Завернутая в телогрейку,
Под звон вечерней мошкары
Кастрюля, словно тело грека,
Изнемогает от жары.
[Там же: 32]

На руках моих мозоли
И в большом количестве.
Это я себе позволил,
Своему величеству.

Я пилил пилой продольной,
Только ручка звякала.
Как больной малыш в роддоме,
Пилорама плакала.
[Там же: 133]

...Ты не баба, ты сыр голландский...
[Там же: 237]

И по земле идет рассвет,
Он будит реки, нивы, рощи.
И месяц падает в кювет,
Как зять, напившийся у тещи!
[Боков 1998: 581]

7. Тексты графомана нередко сближаются с фрагментом потока сознания, в котором случайно начало и еще более случаен конец. Такой «поток» — не осознанный прием, а поэтическая глухота, охватившая произведение целиком. Подобная абсурдность стихов Бокова обычно возникает постепенно — из отдельных, усиливающих друг друга сдвинутых образных и смысловых рядов. Чем больше глухоты в тексте, тем сложнее подобрать ясный и непротиворечивый фрейм для осмысления такого произведения:

Снится ваша форма,
Ваше содержанье.
Анна Николаевна,
Я вас обожаю!

Анна Николаевна,
Я принес пельмени.
Постучать стесняюсь
И стою немею.

[Боков 1996: 173]

В этом тексте когнитивная рамка поздравления с днем рождения разрушается не столько эротическими намеками, сколько загадочными в этом контексте пельменями, с которыми поэт стоит на пороге.

Парадоксальным образом приведенные критерии, с нашей точки зрения, лишь сопутствуют графомании, а не определяют ее. На любой пункт в системе критериев графомании легко можно найти неграфоманский контрпример (сравните перлы Бокова, например, со стихами В. Гаврильчика или Д. Пригова, которые, очевидно, графоманами не являются, а намеренно используют плохопись; о графомании как приеме см.: [Жолковский 2016]). Поэтому для окончательной квалификации автора как графомана необходимо особое рецептивное условие.

В первом приближении его стоит сформулировать следующим образом: у читателя возникает твердое ощущение, что автор произведения — *глупец*. Поскольку это определение может показаться обманчиво ясным, важно пояснить, что именно мы в него вкладываем.

Прежде всего, мы считаем, что в акте восприятия графоманского текста на первый план выходит именно личность писателя, то «я», которое проявлено в тексте и которое читательское воображение неизбежно связывает с именем автора. Субъект графоманского произведения кажется настолько несуразным и нелепым, что его глупость мыслится не только выходящей за пределы литературности, но и уникальной с точки зрения жизненного опыта читателя.

Графоманский текст, таким образом, дисбалансирует процесс перцепции: он невольно заставляет сразу же сосредоточиться на субъекте, пропуская эстетические особенности произведения[9].

Сочинение графомана как будто назло лишено глубинных черт литературности и, соответственно, естественных читательских реакций — когнитивной убедительности, чувства включенности в текст и в игру его смыслов, стремления в той или иной степени идентифицироваться с персонажем или говорящим «я», ощущения правильных слов в правильном порядке. Произведения,

9 Предлагаемый рецептивный критерий на первый взгляд созвучен идеям А. Жолковского, развитым на примере Хлебникова. Исследователь, напомним, писал о специфическом персонаже поэта — «графомане, шуте, маньяке, версифицирующем идиоте» [Жолковский 2016: 214]. Необходим же он для поэтического новаторства, то есть для того, чтобы совмещать «в едином авторском голосе разноголосое множество стилевых элементов» [Там же]. При этом такой подразумеваемый автор, по мнению Жолковского, очень похож на автора реального — исторического Хлебникова. С нашей точки зрения, исследователь касается проблемы, близкой нашей, но интерпретирует ее иначе: у Хлебникова глупость и графомания оказываются в первую очередь литературным приемом, а связь «версифицирующего идиота» с исторической личностью поэта не проблематизируется. Сама мысль о *персонаже Хлебникова* говорит о том, что филолог не готов признать «я» Хлебникова глупым! Кроме того, предлагаемое нами рецептивное условие предполагает такое восприятие текста, которое минует его эстетические особенности. Очевидно, что восприятие Хлебникова Жолковским такому критерию не соответствует: исследователь все время настаивает на эстетическом новаторстве «Председателя земного шара».

которые мы как читатели считаем настоящей литературой, дают нам возможность ощутить их эстетическое воздействие и уже как следствие — задуматься о фигуре имплицитного и даже эксплицитного автора, сумевшего «такое» придумать и воплотить. Текст графомана, напротив, явлен читателю в своей литературной несуразности и сразу же заставляет задаться вопросом, какой человек может думать и писать таким образом:

В лесу ты роднику сестричка,
А дома ангел чистых дел.
К тебе в окно стучит синичка,
Знай — это Боков прилетел.
[Боков 2005: 27]

Я день свой начал не писаньем,
А тем, что убирал рои.
И пчел берег я с пониманьем:
Они — доход. Они — мои!
[Боков 1962: 40]

Ловил на севере селедку,
Вставали волны на дыбы.
Морошку собирал в пилотку,
В противогаз пихал грибы.
[Боков 1996: 28]

Жужжат у дупел осы,
Трава в лугах пожухла.
Но баба, видя осень,
Воскликнула: «Рожу-ка!»
[Там же: 278]

Тексты графомана предстают перед читателем как экран, на который проецируется сознание автора-глупца. Из сказанного, в частности, вытекает, что стыдное удовольствие от плохих стихов, о котором писали Ходасевич и Марков, — это результат вторичной эстетизации. Лишь пережив опыт столкновения с сочиненным глупцом «антитекстом», квалифицированный читатель может придать ему особую ценность, наделить статусом прекрасной в своем роде пародии на литературность как таковую. В самом деле, некоторые фрагменты Бокова не просто удивляют, но и восхищают:

Я видел иву в ночной рубашке,
Она стояла над рекой.
И, как влюбленная рыбачка,
Звала меня к себе рукой. <...>

Я нежно к ивушке прижался,
Ни веточки не поломал.
Жена моя, не обижайся,
Поверь, что иву обнимал!
[Боков 1966: 191]

Шагают по полю столбы,
И провода о чем-то плачут,
И директивные бобы
Своей ненужности не прячут.
[Там же: 11]

Знают грачи—
Гнездовладельцы:
Скоро у них
Будут младенцы.

Скоро у них
Будут грачата,
Новая жизнь,
Безусловно, зачата.
[Боков 2005: 109]

Поскольку акт восприятия графоманского произведения неразрывно связан с суждениями о написавшем его человеке, а литературность уступает место житейским оценкам, необходимо обратиться к глупости как антропологической категории. Ее анализ всегда рискует или оказаться в зоне элитизма и мизантропии, или свестись к скудным и неполным определениям. Конечно, в свете сатиры Эразма Роттердамского, который в «Похвале глупости» дал слово самой Мории и травестийно стер какие-либо различения свойств души и ума, буквально все проявления жизни возникают из глупости, однако парадоксальный дискурс гуманиста едва ли помогает прояснить феномен.

Глупость присуща именно миру людей, но с трудом поддается определению. Толковые словари дают только общий абрис понятия: *глупость* в них трактуется как производное от прилагательного *глупый*, которое, в свою очередь, описывается через категории отсутствия или недостатка ума, неразумности, несообразительности, небольших способностей к пониманию, бестолковости, идиотизма, неопытности и наивности[10]. Таким образом, дело остается совсем за малым — определить *ум* и *разум*, а следом представить антипод этих понятий... Перед нами классический герменевтический круг, в котором понимание значения глупости невозможно без понимания границ разума, а значение разума тесно связано с представлениями о глупости.

Хотя философы традиционно больше внимания уделяли разуму, предпринимались попытки объяснить и глупость. Интересную классификацию проявлений глупости предложил Х.А. Марина. Его концепция, если говорить обобщенно, исходит из того, что глупость — это ошибка, сбой в ментальной деятельности человека. Исследователь предложил ряд параметров, в которых неправильная — логическая, эмоциональная, социальная и т.п. — реакция со-

10 Показательно, что на этот ряд опирается большинство рассуждений о глупости. Так, например, в эссе «О глупости» (1937) Р. Музиль, отталкиваясь именно от распространенных определений, формулирует ряд важных мыслей о феномене глупости. Конечно, текст Музиля не сводится к словарному толкованию понятия — для писателя не менее важна и политическая катастрофа современности, и в этом аспекте его соображения перекликаются с остросоциальными мыслями Бонхёффера [Музиль 1999].

знания на обстоятельства трактуется как глупость [Марина 2010]. Однако чем «объективнее» параметры глупости, тем сложнее соотнести их с конкретным человеком.

Сложнее и интереснее осмысляет глупость феноменолог Я. Добровольский. С его точки зрения, не имеет смысла создавать генерализованное определение глупости — в каждом конкретном случае она реализуется крайне индиидуально. Вместе с тем существует ряд наложенных друг на друга феноменов сознания, глупости сопутствующих. Это и очевидные явления — наивность, доверчивость, и более сложноорганизованные структуры. Например, множество конкурирующих форм сознания человека, которые всегда — как правило, незаметно для субъекта — готовы уступить место инфантильному пласту мышления. Не менее важным для философа является другое условие глупости — ситуация постоянного производства знаний и избыточных смыслов, в которой человечество находится как минимум с Нового времени [Добровольский 2014]. Проанализировав родовые черты глупости и описав их культурный генезис, Добровольский связал глупость с идеей массового человека, якобы больше всего к ней предрасположенного. Кроме того, генерализованное и многокомпонентное объяснение философа методологически противоречит само себе, поскольку стремится описать глупость исходя из того, что в обобщенном определении феномена нет смысла.

Взятая как таковая, глупость — манящий, но в то же время расплывающийся и ускользающий предмет изучения. Нам представляется, что глупость, а точнее, прилагательное *глупый*, следует считать семантическим примитивом. Это значит, что *глупый* обозначает такой минимальный компонент смысла, выражающийся в значении слова, который не делится на более простые значения, не поддается семантическому разложению и не может быть описан в терминах естественного языка (поскольку в языке не существует других лексем, через которые примитивы могли бы быть истолкованы)[11].

Несмотря на свое элементарное значение, в конкретных ситуациях глупость имеет точную референцию. Большую часть жизненного времени понятие глупости пребывает в сознании как нечто не вполне определенное. Точное же значение оно обретает в тот момент, когда сознание сталкивается с глупостью, вернее, с тем, что оно здесь и сейчас глупостью называет.

Как бы сложно ни была глупость встроена в социальный контекст и как бы ни была она открыта аналитическому разбору и рационализации, *глупость — это такой феномен, которые в воспринимающем сознании возникает прежде всего рефлекторно в каждой конкретной ситуации*. По сути, наше определение всего лишь вариация тезиса Роттердамского — феноменолога до феноменологии: «Глупость немедленно сама себя выдает» [Роттердамский 1932: 51].

Этот вывод имеет принципиальное значение для понимания графомании. Выше мы писали о том, что восприятие текста графомана порождает ощущение, что его написал глупец. Теперь мы можем подчеркнуть, что это опреде-

11 Термин «семантический примитив» был введен А. Вежбицкой [Wierzbicka 1972]. Семантическими примитивами обычно становятся слова «первого плана», которые наиболее укоренены в языке и культуре, такие слова обычно обслуживают разные прагматические ситуации, и с ними часто оказывается связан широкий набор ассоциаций [Апресян 1995: 481].

ление хоть и оценочно, но принципиально не аналитично. Момент, когда реципиент оценивает текст как глупый, является одновременно феноменологической и мгновенной физиологической реакцией. Такая реакция исходит из каскада интуитивных читательских переживаний и также неподконтрольна сознанию, как аллергия или чихание.

Из сказанного также следует, что глупость не обязана быть элементарной. В культуре глупец традиционно ассоциируется с человеком, неспособным воспринимать сложные мысли и явления, мышление глупца кажется предсказуемым в силу его стереотипности, и поэтому, по наблюдению Ю. Лотмана, «ничего нового он придумать не может» [Лотман 2000: 41].

Однако случай Бокова — даже при всем снисхождении к допустимым в культуре чудачествам и странностям поэта — опровергает представления о несамостоятельности сознания глупца и показывает, что глупость может быть сложной и оригинальной. Тексты Бокова отражают его специфическое мировоззрение: в них, несмотря на старомодность языка и некритичное использование предшествующих литературных форм, создается неповторимая конфигурация смыслов со своими тематическо-мотивными инвариантами, характерными и для больших поэтов.

В частности, можно вообразить исследование, выводящие такие инварианты поэтического мира Бокова, как кооперация с представителями мира животных (в том числе с насекомыми); флорофилия; любовные отношения с женщиной как источник богатырских сил (ср.: «Обрадуй скорей речами меня, / Обогатырь интимом» [Боков 2005: 60]) и т.п. Словом, Боков хотя и графоман, но графоман «авторский», и неправильно было бы считать, что черты его поэтического мира были позаимствованы у других поэтов.

Итак, мы считаем, что суждения о графомании и графоманах основываются не столько на критериях, сопутствующих этому явлению, сколько на специфической читательской реакции, в рамках которой этот феномен ситуативно и рефлекторно воспринимается как глупость. Такая модель влечет новые историко-литературные затруднения.

Мы, авторы статьи, восприняли Бокова как глупца. Однако несложно представить ситуацию, в которой Боков видится эталонным поэтом[12], а графоманами предстают И. Бродский или А. Драгомощенко. Чтобы разобраться с этим субъективным фактором, элементарность нашего феноменологического определения глупости как таковой и глупости графомана придется корректировать усложненным пониманием историко-литературного процесса (отсева текстов, их канонизации и забвения, системы вкусовых суждений влиятельных и рядовых читателей, института репутации и института литературы как таковой).

Логически мы должны столкнуться с ситуацией бесконечно множащихся вкусовых оценок, со своего рода пузырящимися мирами, где каждый читатель создает собственную литературную вселенную со своими гениями и бездарностями. В этой перспективе описать весь репертуар мнений невозможно. Однако социология литературы демонстрирует, что большая часть этих миров — мнимая и что они, на самом деле, не представлены в литературном процессе.

Читатели, как мы знаем, формируют конкретные интерпретативные сообщества [Fish 1980]. Их участники объединены общими аксиологическими

12 Такой комплиментарный взгляд на Бокова представлен в воспоминаниях его почитателей; см.: [Боков 2010].

и эстетическими представлениями и разделяют, создают и воспроизводят принятые в этих сообществах дискурсы о текстах. Анализ историко-литературной ситуации приведет нас к тому, что большую часть подразумеваемых «читательских вселенных» мы должны будем попросту отсечь, поскольку они не проявлены в литературном поле. В действительности же существует лишь ограниченное количество читательских групп, причем каждая из них склонна воспринимать тексты представителей других групп как графоманские (а их авторов — как глупцов). Такого рода случаи хорошо известны по истории литературы, причем симптоматично, что критики называют плохие в их представлении тексты глупыми, а авторов — дураками (Н. Гумилев о С. Нельдихене, В. Ходасевич о Н. Заболоцком и т.п.).

Таким образом, если читатель этой статьи в общих чертах согласится с нашими суждениями о характере поэзии Бокова, значит, эстетические режимы его и нашего восприятия близки, и, вероятно, были сформированы под воздействием общего культурного бэкграунда. Внутри читательского филологического сообщества, к которому мы принадлежим, мысль о том, что графомания вообще и графомания Бокова в частности сконструированы социально, как бы автоматически обесценивает читательскую интуицию. Конечно, можно считать, что наши читательские оценки — следствие элитистской ангажированности, которая работает на поддержание канона. Однако вне зависимости от того, правда это или нет, сама оценка — рефлекторна и в момент своего появления не поддается ни контролю, ни интеллектуальному остранению. Иными словами, когда мы читаем и оцениваем текст/автора, мы не думаем о том, насколько надежны и не предвзяты наши эстетические категории. В этой точке вопрос об их генезисе — сконструированы ли они или формируются интуитивно — не только не может быть решен, но и находится в позиции нейтрализации. Разговор о конструктивизме эстетических представлений здесь не имеет смысла и возможен только в социологической плоскости. Однако и в ней не вполне ясной оказывается идея, почему мы как филологи должны отказаться от своих представлений ради абстрактного гуманизма и в пользу читательского опыта других (угнетенных, маргинализированных, стигматизированных, невидимых) групп.

Нам есть что противопоставить такому взгляду — принятие и понимание другого без отказа от собственной позиции. Чтение Бокова вначале вызывает изумление и, может быть, отторжение, но со временем приводит к удовольствию от его плохих стихов. Более того, чем больше Боков входит в нашу жизнь, тем нежнее становятся наши чувства к нему как абсолютному другому. Отсюда — один шаг до своеобразной любви, как бы глупо это ни казалось.

Библиография / References

[Апресян 1995] — *Апресян Ю.Д.* Избранные труды: В 2 т. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Языки славянской культуры, 1995.

(*Apresyan Yu.D.* Izbrannye trudy: In 2 vols. Vol. II. Integral'noe opisanie yazyka i sistemnaya leksikografiya. Moscow, 1995.)

[Бойм 2022] — *Бойм С.* Общие места. Мифология повседневной жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2022.

(*Boim S.* Obshchie mesta. Mifologiya povsednevnoy zhizni. Moscow, 2022.)

[Боков 1958] — *Боков В.Ф.* Яр-хмель. М.: Молодая гвардия, 1958.

(*Bokov V.F.* Yar-khmel'. Moscow, 1958.)

[Боков 1962] — *Боков В.Ф.* Ветер в ладонях. М.: Советский писатель, 1962.

(*Bokov V.F.* Veter v ladonyakh. Moscow, 1962.)

[Боков 1966] — *Боков В.Ф.* Лето-мята. Стихи. М.: Советская Россия, 1966.

(*Bokov V.F.* Leto-myata. Moscow, 1966.)

[Боков 1996] — *Боков В.Ф.* Боковская осень. Стихи. М.: Современный писатель, 1996.

(*Bokov V.F.* Bokovskaya osen'. Stikhi. Moscow, 1996.)

[Боков 1998] — *Боков В.Ф.* Жизнь — радость моя. Избранное. М.: Эллис Лак, 1998.

(*Bokov V.F.* Zhizn' — radost' moya. Izbrannoe. Moscow, 1998.)

[Боков 2005] — *Боков В.Ф.* Только любовь. Новая книга стихов. М.: НК, 2005.

(*Bokov V.F.* Tol'ko lyubov'. Novaya kniga stikhov. Moscow, 2005.)

[Боков 2010] — *Боков В.Ф.* Россия в сердце не случайно. Воспоминания Виктора Бокова. М.: Русский импульс, 2010.

(*Bokov V.F.* Rossiya v serdtse ne sluchayno. Vospominaniya Viktora Bokova. Moscow, 2010.)

[Боков 2012] — *Боков В.Ф.* Я Русь родную не оставлю... М.: Русский импульс, 2012.

(*Bokov V.F.* Ya Rus' rodnuyu ne ostavlyu… Moscow, 2012.)

[Бонхёффер 1994] — *Бонхёффер Д.* Сопротивление и покорность / Пер. с нем. А.Б. Григорьева. М.: Прогресс, 1994.

(*Bonhoeffer D.* Widerstand und Ergebung. Moscow, 1994. — In Russ.)

[Винницкий 2017] — *Винницкий И.Ю.* Граф Сардинский. Дмитрий Хвостов и русская культура. М.: Новое литературное обозрение, 2017.

(*Vinnitskii I.Yu.* Graf Sardinskiy. Dmitriy Khvostov i russkaya kul'tura. Moscow, 2017.)

[Гирц 2004] — *Гирц К.* Интерпретация культур / Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004.

(*Geertz C.* The Interpretation of Cultures. Moscow, 2004. — In Russ.)

[Головко 2017] — *Головко В.М.* Письма писателей к Виктору Бокову / Вступ. статья, публ. и коммент. В. Головко // Вопросы литературы. 2017. № 5. С. 338—367.

(*Golovko V.M.* Pis'ma pisateley k Viktoru Bokovu / Introd. art., publ. and comment. by V. Golovko // Voprosy literatury. 2017. No. 5. P. 338—367.)

[Добровольский 2014] — *Добровольский Я.* Философия глупости. История того, что иррационально. М.: Гуманитарный центр, 2014.

(*Dobrovol'skiy I.* Filosofiya gluposti. Istoriya togo, chto irratsional'no. Moscow, 2014.)

[Жолковский 2016] — *Жолковский А.К.* Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие) // Жолковский А.К. Блуждающие сны: статьи разных лет. М.: Азбука, 2016. С. 205—220.

(*Zholkovskii A.K.* Grafomanstvo kak priem (Lebyadkin, Khlebnikov, Limonov i drugie) // Zholkovskii A.K. Bluzhdayushchie sny: Stat'i raznykh let. Moscow, 2016. P. 205—220.)

[Козлова 2009] — *Козлова Н.Н.* «Наивное письмо» и власть // До и после литературы: тексты «наивной словесности» / Сост. А.П. Минаева. М.: РГГУ, 2009. С. 20—40.

(*Kozlova N.N.* "Naivnoe pis'mo" i vlast' // Do i posle literatury: Teksty "naivnoy slovesnosti" / Comp. by A. P. Minaeva. Moscow, 2009. P. 20—40.)

[Лотман 2000] — *Лотман Ю.М.* Семиосфера. СПб.: Искусство — СПб, 2000.

(*Lotman Yu.M.* Semiosfera. Saint Petersburg, 2000.)

[Марина 2010] — *Марина Х.А.* Поверженный разум. Теория и практика глупости / Пер. с исп. И. Новосадской. М.: Corpus, 2010.

(*Marina J.A.* La inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidez. Moscow, 2010. — In Russ.)

[Марков 1994] — *Марков В.Ф.* Можно ли получать удовольствие от плохих стихов, или О русском «Чучеле совы» // Марков В.Ф. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994. С. 278—292.

(*Markov V.F.* Mozhno li poluchat' udovol'stvie ot plokhikh stikhov, ili O russkom "Chuchele sovy" // Markov V.F. O svobode v poezii: Stat'i, esse, raznoe. Saint Petersburg, 1994. P. 278—292.)

[Минаева 2009] — До и после литературы: тексты «наивной словесности» / Сост. А.П. Минаева. М.: РГГУ, 2009.

(Do i posle literatury: teksty “naivnoy slovesnosti” / Comp. by A.P. Minaeva. Moscow, 2009.)

[Музиль 1999] — *Музиль Р.* О глупости / Пер. с нем. А. Карельского // Музиль Р. Малая проза. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 1999. С. 412—432.

(*Musil R.* Über die Dummheit // Muzil' R. Malaya proza. Izbrannye proizvedeniya: In 2 vols. Vol. 2. Moscow, 1999. P. 412—432. — In Russ.)

[Пиаже 1999] — *Пиаже Ж.* Речь и мышление ребенка / Пер. с фр. В.А. Лукова. М.: Педагогика-пресс, 1999.

(*Piaget J.* Le langage et la pensée chez l’enfant. Moscow, 1999. — In Russ.)

[Роттердамский 1932] — *Роттердамский Э.* Похвальное слово глупости / Пер. с лат. П.К. Губера. М.; Л.: Academia, 1932.

(*Roterodamus E.* Moriae Encomium, sive Stultitiae Laus. Moscow; Leningrad, 1932. — In Russ.)

[Разувалова 2015] — *Разувалова А.И.* Писатели-«деревенщики». Литература и консервативная идеология 1970-х годов. М.: Новое литературное обозрение, 2015.

(*Razuvalova A.I.* Pisateli-“derevenshchiki”. Literatura i konservativnaya ideologiya 1970-kh godov. Moscow, 2015.)

[Ходасевич 1991] — *Ходасевич В.Ф.* Ниже нуля // Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М.: Советский писатель, 1991. С. 597—603.

(*Khodasevich V.F.* Nizhe nulya // Khodasevich V.F. Koleblemyy trenozhnik: Izbrannoe. Moscow, 1991. P. 597—603.)

[Шапир 2004] — *Шапир М.* «А ты прекрасна без извилин...» Эстетика небрежности в поэзии Пастернака // Новый мир. 2004. № 7. С. 149—171.

(*Shapir M.* “A ty prekrasna bez izvilin…” Estetika nebrezhnosti v poezii Pasternaka // Novyy mir. 2004. No. 7. P. 149—171.)

[Шенкевец 2019] — *Шенкевец Н.П.* Виктор Боков. «Я пел Россию...». М.; Благовещенск: Т8, 2019.

(*Shenkevets N.P.* Viktor Bokov. “Ya pel Rossiyu…”. Moscow, Blagoveshchensk, 2019.)

[Fish 1980] — *Fish S.* Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.

[Wierzbicka 1972] — *Wierzbicka A.* Semantic Primitives. Frankfurt: Athenäum, 1972.

Библиография

КРАЯ И ПРЕДЕЛЫ

Игорь Кобылин

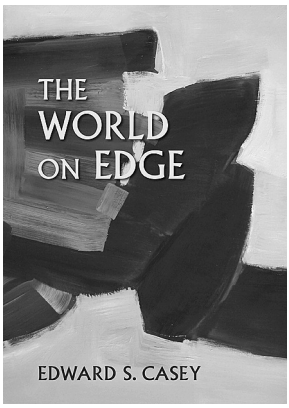
От края до края:

(ПЕРИ)ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛУЖДАНИЯ ПО КРОМКАМ МИРА

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_320

Casey E.S. The World on Edge.

Bloomington: Indiana University Press, 2017. — XXI, 387 p.



Книга «Мир на краю» американского философа Эдварда С. Кейси, несмотря на вроде бы апокалиптически предостерегающее название, посвящена не мировой политике, не экологическим бедствиям антропоцена и не консервативному бичеванию моральной распущенности современного общества — хотя в ней есть место и политическим, и экологическим, и моральным тревогам. Под «краем» автор подразумевает предел, оконечность, внешнюю сторону, границу какого-либо явления или процесса. И речь идет не только о физических вещах, но и о местах, событиях (в том числе и исторических), психических переживаниях и самой психике в целом. В самом начале книги Кейси утверждает: «...Края играют ключевую роль в драме опыта на всех уровнях — перцептивном, практическом, когнитивном, эстетическом, эмоциональном интерсубъективном» (с. XIII). Философия, занимаясь своими онтологическими и гносеологическими построениями, теряет края из виду — они в прямом смысле оказываются на краю ее внимания. А между тем именно они ответственны за «сборку» мира в качестве артикулированного целого: края определяют идентичность всего явленного, быть предметом опыта — значит иметь границы. И все это многообразие сочленяется друг с другом своими гранями множест-

вом способов, составляя «плоть мира» (Морис Мерло-Понти) — «бытие единичное множественное» (Жан-Люк Нанси)[1], где сингулярности не подавляются, а сосуществуют, объединенные и разъединенные одновременно. «Бескрайний» мир — приблизительное ощущение которого дает нам, например, блуждание в тумане — это в определенном смысле не мир вообще.

Но края и границы всегда парадоксальны: замыкая явление в его внутреннем, они одновременно открываются и навстречу внешнему. При этом наш взгляд, переходя с одного на другое, практически никогда не останавливается на разделяющей их линии. Действительно, края одновременно и абсолютно реальны, и в то же время почти неуловимы — они буквально растворяются в том, краями чего являются. Чтобы попробовать ухватить эту ускользающую от нашего внимания линию раздела, необходима специальная феноменологическая тренировка. Кейси называет свой метод (пери)феноменологией (греч. περί — вокруг, около, о): это такая настройка и фокусировка взгляда[2], которые позволяют различить находящееся на *периферии* или, вернее, разглядеть и придать должное значение тому, что кажется периферийным, но на самом деле выступает несущей конструкцией человеческого опыта в целом. Такой сдвиг внимания имеет у Кейси и второе название — Логика Меньшего (Logic of the Less). «Согласно этой логике, то, что поначалу выглядит незначительным, при более скрупулезном анализе оказывается необходимым для нашего существования и существования других чувствующих существ» (с. 4).

Однако даже попытка представить себе возможную феноменологию краев вызывает головокружительное чувство бесконечности (а потому и безнадежности) такого предприятия. Ведь существуют и политические границы государств, и личные границы, которые в ходе терапии учит нас выстраивать психолог; и границы возможного опыта, и границы терпения; и рамки картин, и фреймы социальных событий; и пограничные населенные пункты, и пограничные экзистенциальные ситуации; и жировые складки нетренированного тела, с которыми неустанно борются в фитнес-центрах, и «направленная к бесконечности» складка барокко, описанная Жилем Делёзом[3] (заданный Кейси ритм перечислений действует почти гипнотически, невольно заставляя воспроизводить его медитативно-списочную манеру). Прямая линия на карте оборачивается неопределенной зоной на местности, авторские заметки на полях подрывают единство произведения, а безграничные просторы космоса — нашу способность представления. Края множатся, переходят друг в друга, гибридизируются. Вместо четко оформленных сущих, занимающих положенные места в (мета)физических таблицах, — мир бесконечного

---

1 «*Бытие* единично и множественно, одновременно неразличимым и различимым образом. Оно единично множественно и множественно единично. <...> *Единичное множественное бытие* означает: сущность бытия существует только лишь как со-сущность. Но со-сущность, или со-бытие — бытие-со-многими, — означает, в свою очередь, сущность со- (*со-*) или еще, и даже скорее, само это со- (*cum*) в положении или в качестве сущности. <...> ...Если бытие — это со-бытие, в со-бытии именно это *вместе* и создает бытие, а не прибавляется к нему» (*Нанси Ж.-Л.* Бытие единичное множественное / Пер. с фр. В.В. Фурс; под ред. Т.В. Шитцовой. Минск: Логвинов, 2004. С. 55, 58). Есть искушение представить феноменологические описания краев, данные Кейси, в качестве иллюстрации «бытия-вместе» Нанси, тем более что последний нередко упоминается на страницах книги.

2 Как отмечает сам автор, «Мир на краю» в этом смысле выступает продолжением другой его (пери)феноменологической книги «Мир с первого взгляда» (2007). См.: *Casey E.S.* The World at a Glance. Bloomington: Indiana University Press, 2007.

3 См.: *Делёз Ж.* Складка: Лейбниц и барокко / Пер. с фр. Б.М. Скуратова; общ. ред. и послесл. В.А. Подороги. М.: Логос, 1997.

становления, вызывающий тревогу и бросающий вызов любым попыткам типологизировать его края и грани.

Безграничная пролиферация границ, открывающаяся внимательному (пери)-феноменологическому взгляду, воспроизводится — возможно, несколько иронически — на уровне самой структуры книги. «Мир на краю» поделен на четыре части, каждая из которых, в свою очередь, дробится на небольшие главки (разбитые к тому же на пронумерованные фрагменты) с отдельными интерлюдиями между некоторыми из них. Кроме того, первой и второй части предпосланы самостоятельные предисловия при наличии общего «Вступления» (Prelude) ко всей работе в целом. Но настоящим апофеозом множащихся «краев» является финальная часть — она состоит из единственной главы под говорящим названием «Последний урок: не придавать слишком большого значения краям вещей» и далее оборачивается целым каскадом все никак не могущих завершиться завершений: за последним уроком следуют «Заключение» (Postlude), «Эпилог» и, наконец, формально выходящее за границы четвертой части «Послесловие», несколько неожиданно закольцованное с предисловием (Afterword / Foreword). Короткое замыкание между содержанием и формой: книга буквально воплотила описываемый ею парадокс бескрайнего моря разнообразных краев и граней.

Эта рефлексивная игра — знак авторского признания нерешаемости задачи обычными логико-метафизическими способами — в то же время, видимо, придает решимости попробовать все же найти некоторый порядок внутри самой сложности, не редуцируя ее: мы прекрасно понимаем, что ветвящаяся сеть границ, рубежей и фронтиров не умещается в колонки логических классов, но возможность избежать «таксономического хаоса» (с. 24) у нас все же есть. Первая часть — «Сортируя края» — действительно посвящена попытке разграничить разные виды границ и обозначить края отдельных типов краев. Причем за поддержкой Кейси обращается к Платону, — может быть, самому чуткому к безумию становления философу из всей классической традиции[4].

Начинает Кейси со вроде бы очевидного случая, хотя уже и здесь, в самом начале, русскоязычного читателя ждет первое (но далеко не последнее!) затруднение лингвистического характера. Поскольку речь идет не о строгой логической классификации на основании родовидовых определений, а о феноменологическом описании живого опыта мерцающего переплетения и взаимодействия явлений, автор во многом следует за интуициями родного языка. Пусть четко очертить спектр значений того или иного термина и не удастся, пусть каждый из них и занимает «туманную нишу» (nebulous niche) в массовом сознании носителей английского, но некоторую общую ориентацию эти термины все же задают. Однако языковые картины мира говорящих по-английски и, например, по-русски отличаются, хотя и не так сильно, как оба этих мира вместе взятые — от коллективных представлений индейцев хопи. И здесь, в опыте чтения иноязычного текста, носитель русского уже сталкивается с *границей*, — границей, разделяющей концептуализации границ в различных языках.

---

4 Кейси цитирует диалог «Софист» — то место, где Чужеземец объясняет Теэтету трудности искусства «различать по родам»: «Таким образом, мы согласились, что одни роды склонны взаимодействовать, другие же нет и что некоторые — лишь с немногими [видами], другие — со многими, третьи же, наконец, во всех случаях беспрепятственно взаимодействуют со всеми; теперь мы должны идти дальше в нашей беседе, так, чтобы нам коснуться не всех видов, дабы из-за множества их не прийти в смущение, но избрать лишь те, которые считаются главнейшими…» (*Платон.* Софист (254 c-d) // Платон. Собр. соч.: В 4 т. / Пер. с древнегреч. С.А. Ананьина; общ. ред. А.Ф. Лосева, В.Ф. Асмуса, А.А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 325).

Кейси начинает свои размышления с противопоставления borders и boundaries. И те, и другие передаются по-русски словом «границы». Но первые — это строгие геометрические линии, четко и недвусмысленно отделяющие одну территорию от другой, а вторые — куда более неопределенные, постоянно меняющиеся участки реальной местности, которые всячески «сопротивляются линеаризации» (с. 7). Действительно, где конкретно пролегает граница Южной Калифорнии? Где конкретно лесостепь переходит в степь, а город — в пригород? Есть искушение представить границы-borders в качестве картографических — поневоле идеализирующих и упрощающих — репрезентаций реальных границ-boundaries, но, кажется, такое представление само было бы упрощением позиции Кейси. Во-первых, вполне в духе плоской онтологии Кейси утверждает онтологическое равенство идеально-абстрактного и материально-физического: проведенная на карте идеальная линия политических границ государства столь же реальна (именно в своей идеальности), сколь реальны пограничные посты, шлагбаумы и зоны таможенного контроля во всей их материальности. Во-вторых, границы-borders не сводятся к картографическим проекциям. Кейси приводит любопытный пример: с высоты птичьего полета Миссисипи будет выглядеть как узкая лента, прорезающая ландшафт. Ее саму можно определить в качестве границы-border. Но если вы с этой высоты прыгнете с парашютом, то прямо на ваших глазах эта граница обретет ширину и собственные границы — береговые *линии*, а затем, по мере приближения к поверхности реки, эти линии станут неопределенными, изломанными берегами, то есть границами-boundaries. Наконец, оказавшись в воде, вы окончательно потеряете всякие границы, кроме той, что над вашей головой отделяет водную толщу от воздушного пространства.

В-третьих, границы-boundaries и сами могут представлять себя на картах, — вернее, могут иметь и других, более близких, чем абстрактные линии, «представителей». Кейси анализирует географическую карту мексиканского штата Чиуауа (1852), где сплошные или пунктирные линии административных делений соседствуют со значками, иконически воспроизводящими профили ландшафтных особенностей — гор, рек, лесов. В общем, и границы-borders, и границы-boundaries, «несмотря на их различия, могут соприсутствовать в одном и том же картографическом пространстве» (с. 14).

Но точно так же, как идеально-абстрактные линии нельзя рассматривать в качестве онтологически ослабленной копии материальных пограничных локусов, нельзя и эти последние считать несовершенным и грубым подобием «эйдетической» границы-border. То есть ни материалистический, ни идеалистический редукционизм здесь не срабатывает. Поясняя этот момент, Кейси обращается к «Началу геометрии» и «Идеям I» Гуссерля. Неопределенность, изменчивость, текучесть форм, данных непосредственному чувственному созерцанию, это не недостаток по отношению к идеально-математическим фигурам, а позитивное качество[5].

Таким образом, мы вроде бы имеем дело с двумя строго различающимися, то есть разделенными границей-border, порядками — идеально-формальным и текуче-реальным. Но буквально через несколько страниц Кейси пишет, что меж-

5 Ср.: «Геометр не создает, подобно естествоиспытателю, *морфологических понятий*, относящихся к неопределенным видам фигур, которые прямо схватываются на основе чувственного созерцания и именно в такой неопределенности, такими, каковы они на деле, получают понятийную, то есть терминологическую фиксацию. *Неопределенность понятий*, то обстоятельство, что сфера их применения — текучесть, не есть недостаток, за который следовало бы их корить, ибо для той сферы познания, какой они служат, они попросту неизбежны или же они даже в такой сфере единственно правомерны <...>» (*Гуссерль Э.* Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Кн. 1 / Пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Академический проект, 2009. С. 220).

ду двумя полюсами — границами-borders и границами-boundaries — «существует неопределенное множество промежуточных пограничных ситуаций (edge situations)» (с. 15), а это значит, что сама граница между типами границ приобретает парадоксальную, противоречивую двойственность.

Несмотря на это — а также на то, что и без того непростое положение дел Кейси тут же усугубляет дополнительным анализом фронтиров, складок (folds), заломов-сгибов (creases), ободков (rims), полей (margins) и других разновидностей краев, — различие между border (четкая оформленность, строгость, точность, структурированность) и boundary (неопределенность, аморфная текучесть, нелинейность) становится метаразличием для всех остальных классификационных различений. Оно очевидно в противопоставлении края (подвижной и изменчивой конфигурации фрагмента реальности) и предела (установленной раз и навсегда формальной границей явления, определяющей его идентичность)[6], «диких» мест с их неформальной геометрией (чащ, зарослей, пустырей) и окультуренных пространств, четкого телесного силуэта и неуловимых «краев» чувствующей живой плоти, несводимой в своем бытии к физическому объекту. Пользуясь этим метаразличием как путеводной нитью, попробуем пройти несколько отдельных — пожалуй, наиболее важных и показательных — маршрутов внутри этого огромного, кажущегося почти бесконечным лабиринта. Далее речь пойдет о краях-границах (катастрофических) событий, человеческого тела и психики.

Однако прежде чем говорить о событии, необходимо хотя бы кратко остановиться на понятии места — у Кейси то и другое связаны и делят одну главу на двоих («Края мест и событий»). Вообще говоря, Кейси известен прежде всего как философ места: несколько его книг специально посвящены философской истории этого концепта, проблемам картирования и живописного изображения мест[7]. «Место» в «Мире на краю» — это яркая иллюстрация границ-boundaries. Так, автор описывает место, где он живет Нью-Йорке, — дом и ближайшие окрестности, расположенные на 110-й улице, в квартале к западу от мемориала Фредерика Дугласа. Кейси показывает, как оно буквально собирается в реальном опыте фасадами соседних зданий, построенных в различных архитектурных стилях, ритмами автомобильных и пешеходных потоков, игрой солнечного света в течение дня, светофорами, знаками дорожного движения, уличными бордюрами, парковочными счетчиками, всеми окружающими звуками и запахами. Края места — это сложнейшая, изменчивая и в то же время единая сеть гетерогенных краев всех формирующих его объектов и явлений.

Как место, будучи чем-то большим, чем топографическая точка на карте, подрывает однородное геометрическое пространство, так и событие, будучи чем-то большим, чем простая единица рутинизированного жизненного потока, ставит под вопрос линейное гомогенное время. Событие — даже на повседневном уровне — всегда неожиданно, оно вызывает удивление (а если не вызывает, то это не событие, повторяет Кейси вслед за Нанси). Границы события открыты в неизвестное будущее, хотя нечто в уже случившемся определенным образом ориентирует наше ожидание.

---

6 Читатель может спросить: как вроде бы родовое понятие «край» стало во второй главе первой части книги видовым наряду с «пределом» и какое понятие будет теперь родовым для них обоих? В ответ можно лишь напомнить: в самом начале нас предупредили, что речь не идет о формально-логических построениях.

7 См.: *Casey E.S.* Getting Back into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-world. Bloomington: Indiana University Press, 1993; *Idem*. The Fate of Place: A Philosophical History. Berkeley: University of California Press, 1996; *Idem*. Representing Place: Landscape Painting and Maps. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002; *Idem*. Earth-mapping: Artists Reshaping Landscape. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005.

Но есть события, которые в своем радикальном воздействии трансформируют устоявшийся темпоральный порядок вообще — задают новые временны́е границы, делят время на «до» и «после», навсегда меняя представления тех, кто эти события пережил, и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Сущность такого предельного, катастрофического события Кейси рассматривает на примере террористической атаки 11 сентября 2001 г. Разрушение башен-близнецов, происшедшее конечно, в качестве датированного события, в потоке мирового времени, обладало и собственной темпоральностью. Кейси описывает ее как апокалиптическое абсолютное сжатие, трагическое уплотнение и сгущение времени в смертоносном мгновении удара. При этом важно, что темпоральность предельного события двухтактна: в посттравматическом переживании время как бы ослабляет свою эсхатологическую хватку и становится временем *безграничного* горя. Кейси описывает спонтанное траурное шествие на Юнион-сквер 12 сентября, в котором он и сам принял участие. На этом шествии не было ни официального объявления о его начале или конце, ни регламента выступлений, ни самих выступлений, ни лидеров, ни аудитории. Люди медленно и молча шли в спонтанном едином ритме и были готовы идти так неопределенно долго. Но, как подчеркивает Кейси, эта работа траура в самой своей безмерности задавала историческую меру случившемуся. То, что чудовищным образом превышало способность восприятия, становилось исторической памятью, отпечатываясь не только в душах, но и, благодаря коллективному физическому действию, в самих телах.

Тело вообще занимает привилегированное место в книге. Парадоксальность, присущая краям в целом, удваивается, когда речь заходит о краях человеческого тела, — даже само выражение «края моего тела» (the edges of my body), как отмечает Кейси, звучит неловко: привычнее говорить о контуре или форме. С помощью диеты и физических упражнений (в крайних случаях — хирургических вмешательств) мы можем попробовать привести эту форму в соответствие с принятыми в обществе нормативными идеалами. Но, во-первых, эти идеалы, скорее, нужно рассматривать в терминах уже обсуждавшихся выше «пределов» (limits): субъект добровольно выбирает их в качестве образца, но они никогда не становятся для него полностью «своими». Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев изменения не столь радикальны, как хотелось бы, особенно если учесть, что прежняя форма довольно часто берет свое, и сброшенные килограммы вскоре возвращаются на место. Это лишний раз доказывает, что человеческое тело не просто физический объект среди других объектов, легко поддающийся нашим манипуляциям. В-третьих, и это самое важное, коррекция фигуры не затрагивает краев в том феноменологическом значении, в каком они интересуют Кейси. Как бы ни трансформировались очертания моего тела, его края остаются для *меня* неизменными — это и есть я сам. Конечно, «я» меняется — ребенок становится взрослым, а тот, в свою очередь, стареет — но в той мере, в какой это «я» продолжает говорить о себе как об одном и том же человеке, его изменившиеся для внешнего наблюдателя края останутся для самого «я» теми же самыми.

Еще одной странностью является то, что я не могу точно указать, где именно расположены мои телесные края. Они, с одной стороны, несомненны, как несомненен я сам для себя, а с другой — неуловимы. Ни одно из привычных нам понятий — аура, силуэт, профиль, фигура — не схватывают их специфического переживания субъектом. Вернее, той живой, чувствующей и одушевленной плотью, в которую Кейси вслед за Мерло-Понти облекает его (субъекта) гносеологический скелет.

Полнее всего удивительная особенность переживания телесных границ раскрывается в опыте прикосновения — как к самому себе, так и к другому (и в эротическом, и в неэротическом модусах). Кейси так пишет об эффектах самоприкосновения:

> Прикосновение к себе — сложный и тонкий процесс. Здесь упрощающая модель взаимодействия по типу «субъект — объект» не в состоянии отразить того, что происходит. А происходит усложнение непосредственной жизни тела, его оборачивание на себя в пассивной и активной модальностях одновременно <…>. Когда я прикасаюсь к себе, я на мгновение отвлекаюсь от окружающего мира, чтобы сосредоточиться на одной из частей моего тела, — той, к которой прикасается другая часть. Один край[8] прижимается к другому. Здесь нужно говорить не о partes extra partes (как говорил Декарт об отношениях между объектами во внешнем мире), а о partes intra partes: друг друга чувствуют части одного и того же тела — моего собственного тела, непрерывно оживляемого самогенерирующейся, направленной на него интенциональностью (с. 221—222).

Что же касается прикосновения к другому телу, то и здесь нет простого противопоставления пассивности и активности, хотя нет и абсолютного равенства. Это взаимодействие, но всегда несколько асимметричное. В эротическом опыте (речь у Кейси идет о добровольных отношениях нравящихся друг другу людей) параллельные удовольствия удваиваются, пересекаясь: прикасаясь к партнеру, я испытываю удовольствие и от своего прикосновения, и от ласки в ответ. Но и «взаимодействие вовлеченных реципрокностей» в эротической игре тоже асимметрично: интенсивность здесь напрямую зависит от постоянно переходящей от одного к другому инициативы.

В неэротическом модусе прикосновение играет важнейшую социальную роль — это способ продемонстрировать доверие и привязанность, установить связь, закрепить разделяемую «историчность», под которой Кейси, видимо, подразумевает переживаемую общность конкретных обстоятельств. Он, кажется, совершенно чужд мрачной социологии Элиаса Канетти, писавшего о фундаментальном для человеческой культуры страхе прикосновения[9]. Во всяком случае, ни о каком героическо-трансгрессивном преодолении подобного страха Кейси не пишет, телесная экспрессивность вообще понимается им исключительно позитивно.

Более того, двойное отношение, на которое способно наше тело, — отношение с другим телом и отношение с самим собой, своего рода «двойное членение», — становится, по Кейси, и источником семиозиса:

> С одной стороны, я существую внутри самого себя, заключенный в границы моего тела; с другой — всеми своими телесными краями я соотношусь с краями окружающего мира, включая тела других людей. Благодаря этому я пребываю в мире как двойственное существо. Здесь в игру вступает то, что Мерло-Понти красноречиво назвал «гением амбивалентности» тела. Эта амбивалентность одновременно явля-

---

8 В оригинале речь идет о «множестве краев» (set of edges). По Кейси, один из парадоксов телесного ощущения края заключается во вложенности частей тела (и их краев) друг в друга. Так, подушечка — это край пальца, палец — край руки, рука — один из краев туловища и т.д. При этом ощущение на кончиках пальцев есть и ощущение в теле вообще.

9 «Все барьеры, которые люди вокруг себя возводят, порождены именно страхом прикосновения. Они запираются в домах, куда никто больше не может войти, и только там чувствуют себя в относительной безопасности. Боязнь грабителей проистекает не только из беспокойства за имущество, это ужас перед рукой, внезапно хватающей из темноты. Его повсюду и всегда символизирует рука, превращенная в когтистую лапу. <…> Страх перед прикосновением не покидает нас даже на публике. Манера поведения в толпе на улице, в ресторане, в транспорте продиктована именно этим страхом. Даже когда приходится стоять с кем-то совсем рядом, видеть и ощущать его вплотную, мы стараемся, насколько можно, избежать прикосновений» (*Канетти Э.* Масса и власть / Пер. с нем. Л. Ионина. М.: Ad Marginem, 1997. С. 18).

> ется и интенсивной (то есть обладающей глубинными ресурсами тела как такового), и экстенсивной (способной широко варьироваться в различных ситуациях). Более того, работа по упорядочиванию проживаемых телом вариаций стала возможна благодаря парным структурам (внутреннее и внешнее), парным конечностям (руки и ноги), паре глаз, взаимодополнительности зрения и осязания <...>. Телесные края — это шарниры или стержни (hinges or pivots) коммуникативных и экспрессивных высказываний, те стыки (junctures), где определенные части живого тела могут артикулировать и передавать сообщения, предназначенные не только себе, но и другим человеческим существам (с. 226—227).

Эти стыки, ответственные за семиозис, являются стыками телесного и психического. При всей постоянной текучести психической жизни — потока дорефлексивных ощущений, сознательных переживаний и мыслей — она также структурирована сложной и подвижной сетью пересекающихся и переплетающихся границ. Будучи темпоральным, этот поток разворачивает свои внешние «края» во времени, непрерывно изменяясь. Однако одновременно он сохраняет идентичность, принадлежность «я». Кейси обращается к хайдеггеровскому понятию die Jemeinigkeit — «всегда-мое». Психическая жизнь всегда воспринимается мною как моя собственная, но — и здесь маятник у Кейси возвращается к полюсу множественности — как внутренне дифференцированная, саморазличенная в самой своей самотождественности.

> Ткань моей внутренней жизни ткется непрерывным сцеплением самодифференцирующихся краев. Строчка, оставленная этим сцеплением, конституирует меня в качестве другого для себя самого внутри себя самого: не абсолютного расколотого, но живущего в таких внутренних переплетениях, которые бросают вызов любой прямой интуиции того, *кто я есть*, и любому утверждению самости (my mineness) как навсегда данного свойства (с. 242).

Этот баланс единства и множественности может быть нарушен, и тогда «другость» самому себе прочертит новые — отчуждающие — границы внутри психики. Опираясь на обширную психоаналитическую литературу, Кейси подробно анализирует случай шизоидного «я» (травматические отношения с другими в детстве заставляют субъекта замкнуться, но и внутренняя жизнь оказывается наполнена «плохими объектами»), случай шизофренического «я» (раскол личности, отмена принципа реальности и проницаемость психических границ: с одной стороны, субъекту кажется, что он может управлять миром, с другой — его психика легко оккупируется галлюциногенными «голосами») и случай разделения на ложное и истинное «я» (ложное «я», возведенное субъектом для защиты истинного от разочарования, обретает автономию и захватывает власть над истинным). В деле восстановления психической целостности, по Кейси, вновь должно помочь тело — философ делает ставку на экспрессивную выразительность телесных жестов, этих «герменевтических посредников», связывающих осколки разбитого «я» воедино и уже это новое целостное «я» — с миром.

Завершает Кейси основную часть книги краями Земли и Неба — краями, выходящими за пределы всех знакомых нам границ и пределов и вызывающими в нас странное чувство ностальгии по первоистокам и нашей индивидуальной жизни, и Вселенной вообще. Эта космологическая кода, замыкающая в единый — пугающий и волнующий одновременно — макрокосм человека, Землю и Небеса, проясняет то смутное ощущение чего-то очень знакомого, которое все время усиливалось по мере чтения, но стало окончательно понятным только к ближе к концу. Действительно, универсальный охват всего на свете, медитативные перечисления,

странные, бесконечно ветвящиеся таксономии, с помощью которых пытаются ухватить неуловимое и эфемерное, — все это напоминает ренессансные и барочные трактаты, бесчисленные «Зерцала», «Анатомии» и «Естественные истории» XVI—XVII вв. Даже сам концептуальный интерес к краям можно при желании генеалогически возвести к этим причудливым текстам. Так, если верить Мишелю Фуко, одной из фундаментальных фигур подобия в ренессансной магико-оккультной мысли была фигура «пригнанности» (convenientia): «“Пригнанными” являются такие вещи, которые, сближаясь, оказываются в соседстве друг с другом. Они соприкасаются *краями*, их *грани* соединяются друг с другом, и *конец* одной вещи обозначает начало другой. <…> Мир — это всеобщая “пригнанность” вещей (курсив мой. — *И.К.*)»[10]. Да и вторая фигура подобия — «соперничество» — имеет непосредственное отношение к теме Кейси: «Оно («соперничество». — *И.К.*) порождается сгибанием вещи, оба края которой сразу же противостоят друг другу»[11].

Однако общая дотошная внимательность к различиям, и там и там включенная в космологическую перспективу, расходится у Кейси и любого эрудита Возрождения в одном важном пункте (разумеется, помимо всех прочих, обусловленных историей и культурой несходств). Ренессансно-барочная ананкастная зацикленность на упорядочивании никак не упорядочивающегося мира — это и зацикленность на «учености», будь то античная или средневеково-схоластическая: не упустить ни одной цитаты, ни одного автора, ни одного упоминаемого в доксографиях казуса. Хотя в книге Кейси вполне достаточно учености (от Платона до Деррида), его внимание сосредоточено прежде всего на повседневном, доступном каждому опыте. «Мир на краю» можно рассматривать как своего рода практическое пособие по остранению и деавтоматизации нашего восприятия. Настроить периферическое зрение, сместить угол перцепции, занять эксцентрическую позицию ad marginem — все это означает вернуть свежесть нашим впечатлениям и нашему переживанию собственного бытия-в-мире. Но ставка здесь не только практико-феноменологическая, но и этико-политическая. В актуальных «не-человеческих» онтологиях свойственной людям сконцентрированности на границах и идентичностях противопоставляется «безграничная» и неидентитарная жизнь других существ. Так, соавтор последней на данный момент книги Кейси[12], Майкл Мардер, полагает, что, в отличие от человеческой и животной, растительная жизнь свободна от telos'а и conatus'а, лишена всякой интериорности и, следовательно, субъективности: она не проводит границ между собой и Другим, будучи сугубо поверхностной, не отделяет себя от Внешнего и пассивна настолько, что преодолевает саму оппозицию пассивного и активного. Сущность растения — это не-сущность, а самость заключается в не-самости[13]. Мардер справедливо считает, что человеку есть чему поучиться у растения: открывшись навстречу иному способу существования, прикоснувшись к «краям бытия» растений, мы, возможно, сумеем «прорасти за пределы фиктивной скорлупы *нашей* идентичности и *нашей* экзистенциальной онтологии»[14].

Но прорасти за пределы «скорлупы» не значит полностью от нее отказаться (пусть даже наша «скорлупа» и квалифицируется в качестве «фиктивной»). Более

---

10 *Фуко М.* Слова и вещи: археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: A-cad, 1994. С. 55.

11 Там же. С. 57.

12 *Casey E.S., Marder M.* Plants in Place: A Phenomenology of the Vegetal. New York: Columbia University Press, 2023.

13 См.: *Мардер М.* Растительное мышление: философия вегетативной жизни / Пер. с англ. Д. Шалагинова. М.: Ад Маргинем Пресс, 2024.

14 Там же. С. 29.

того, даже рискуя быть обвиненным в корреляционизме, стоит напомнить, что возможность прикоснуться к краю иного способа бытия доступна только тому, кто в принципе чувствителен к «упорной реальности краев» (с. 20). Научиться чему-то у другого — значит признать этого другого в его границах, сколь угодно нечетких и зыбких. В этом смысле внимание к многообразию сложно артикулированных пределов, рубежей и фронтиров остается человеческой привилегией — но такой привилегией, синонимом которой должна стать не произвольная суверенность господства, а этико-политическая ответственность бытия-вместе.

Евгений Савицкий

По разные стороны от border studies:

СПОРЫ О ПОДХОДАХ К ИССЛЕДОВАНИЮ ГРАНИЦ И ПОГРАНИЧЬЯ

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_329

A Companion to Border Studies / Ed. by T.M. Wilson, H. Donnan.
Malden; Oxford; Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. — XVI, 620 p. —
(Blackwell Companions to Anthropology; Vol. 19).

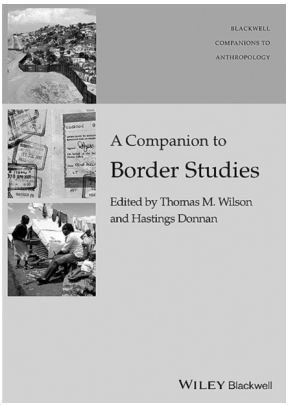
Border and Bordering: Politics, Poetics, Precariousness /
Ed. by J. Sarkar, A. Munshi; With a Foreword by B. Ashcroft.
Stuttgart: ibidem, 2021. — 383 p.

«Эта книга — сборник статей, представляющий взгляды на то, откуда появились исследования границ и куда они направляются, — отражает современное состояние исследований границ, или, лучше сказать, современные состояния исследований границ», — пишут Томас Уилсон, профессор антропологии в Университете штата Нью-Йорк, и Хастингс Доннан, профессор антропологии в Университете Квинс в Белфасте, во введении к составленному ими «Путеводителю по исследованиям границ» (с. 1—2)[1]. Чуть ниже они поясняют свое уточнение: «Исследования границ

1 Уилсон и Доннан подготовили целый ряд сборников по исследованиям границ и пограничья: Border Approaches / Ed. by H. Donnan, T.W. Wilson. Lanham: University Press of America, 1994; Border Identities: Nation and State at International Frontiers / Ed. by T.M. Wilson, H. Donnan. Cambridge: Cambridge University Press, 1998; Culture and Power at the Edges of the State: National Support and Subversion in European Border Regions / Ed. by T.M. Wilson, H. Donnan. Münster: Lit, 2005 и др. Их собственное недавнее исследование касалось изменений в культурной идентичности ирландцев в связи с интеграцией в ЕС и изменением характера границы между Республикой

сегодня — это “поле”, состоящее из многих полей и в то же время не образующее единого обособленного поля. Исследования пограничья подобны тому, что они изучают: укорененные в пространстве и времени, они связаны с текучестью и процессуальностью» (с. 4).

«Пожалуйста, обратите внимание, что это отнюдь не еще один том по критическим исследованиям границ или региональным исследованиям, — пишут девять лет спустя Джейджит Саркар и Ауритра Мунши, преподаватели английского языка и литературы в Райганджском университете (Индия), во введении к сборнику «Границы и разграничивание»[2]. — В осмыслении границ мы выдвинулись за пределы исследований границ и региональных исследований, поскольку считаем, что сегодня “исследования”, производимые в рамках исследований пограничья и региональных исследований, так же дисциплинарно ограничены, как сами пределы национальных государств» (с. 19).



Можно заметить, что составители первого сборника, делая оговорку о множественности и текучести своей исследовательской области, в то же время прибегают к метафоре полей, но не как полей напряжения, а как нарезанных участков, где каждый занят своим делом. Составители второго сборника, претендуя на выход за рамки дисциплинарных ограничений, используют довольно традиционную для научных исследований метафору перехода установленных границ, движения дальше предшественников, которой нередко приписывались насильственные колониально-захватнические коннотации, характерные в целом для европейского знания Нового времени. Неслучайно, например, у Канта рассуждения о трансгрессивном опыте эстетически возвышенного приводят к восхвалению войны[3], а ключевой теоретик романтизма Ф. Шлегель предлагал «беспощадно бороться и по возможности искоренять» все, что противостоит понимаемой им в кантовском духе «эстетической революции»[4].

В свое время, рассуждая о границах и пересекающих их беженцах, Борис Гройс выделял «классическую» и «романтическую» модели их эстетической валоризации[5]. По его словам, мигранты обычно описываются либо как «дорогие сограж-

---

Ирландией и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства: *Wilson T.M., Donnan H.* The Anthropology of Ireland. New York; London: Routledge, 2020. Осмыслению роли границ в конструировании и трансформации национальных идентичностей была посвящена также более ранняя их монография: *Donnan H., Wilson T.M.* Borders: Frontiers of Identity, Nation and State. New York; London: Routledge, 1999.

2 Саркар — автор работ по геопоэтике, о мигрантской литературе и о болезни как форме литературного письма: *Sarkar J.* Illness as Method: Beckett, Kafka, Mann, Woolf and Eliot. Wilmington: Vernon Press, 2019; Geographia Literaria: Studies in Earth, Ethics, and Literature / Ed. by J. Basu, J. Sarkar. Stuttgart: ibidem, 2021; Trans(in)fusion and Contemporary Thought: Thinking in Migration / Ed. by J. Sarkar. Lanham: Lexington Books, 2023. Мунши занимается исследованиями диаспоральной литературы, в частности произведений Дж. Лахири: *Munshi A.* Jhumpa Lahiri’s Works in Transition: Towards a New Space. Stuttgart: ibidem, 2024.

3 *Кант И.* Критика способности суждения / Пер. с нем. СПб.: Наука, 2006. С. 198—199.

4 *Шлегель Ф.* Об изучении греческой поэзии // Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. / Сост., пер. с нем. Ю.Н. Попова. Т. 1. М.: Искусство, 1983. С. 123.

5 *Groys B.* Der Asylant in Ästhetischer Sicht // Groys B. Logik der Sammlung. München; Wien: Carl Hanser, 1997. S. 145—153.

дане», такие же люди, как все другие, либо как представители иных интересных культур, прибытие которых обогащает культуру принимающей страны, хотя многие видят в этом и угрозу «подспудной оккупации». В целом в европейской культуре с XIX века ценится или удачное следование нормам, или оригинальное отклонение от них. Однако реальные мигранты плохо соответствуют таким эстетическим идеалам. Они слишком стремятся приспособиться к условиям страны пребывания, чтобы быть «романтичными», и при этом их успехи в интеграции недостаточно убедительны, чтобы соответствовать нормам «классики». Таким образом, они оказываются в своего рода серой зоне, не соответствуя ни одной из принятых моделей культурной ценности. В этих условиях предпринимаются попытки представить их хотя бы как важных носителей культурного синтеза. Вот только это синтез плохо усвоенного с плохо припоминаемым, и мультикультуралистские попытки представить его в качестве новой культурной нормы выглядят опять-таки неубедительно — они не способны вывести беженцев из «серой зоны» эстетически не воспринимаемого, что усиливает отношение к мигрантам как к потенциальной угрозе[6].

В какой мере двум рассматриваемым сборникам, предлагающим возделывать отдельные поля или ликвидировать межи, удается выйти за рамки альтернативы «классического» и «романтического»? Как именно предлагается в них исследовать границы и пересекающих их людей? Что ставят себе целью такие исследования?

Во введении к «Путеводителю...» возникновение междисциплинарных исследований границ, пограничья и фронтиров связывается с тем, что никогда в истории еще не было такого количества границ между государствами и, соответственно, никогда еще границы не оказывали столь большого воздействия на жизнь миллионов людей. Это не вполне убедительное утверждение, основанное лишь на увеличении количества государств — членов ООН в послевоенное время, а также на очень обобщенном понимании границ, которые в разных частях мира представляют собой весьма различные явления: от бетонных стен с вышками и колючей проволокой до едва заметных в повседневной жизни линий на карте. Как бы то ни было, задача исследований в этой области видится в том, чтобы выявить и описать те силы, что приводят к появлению все большего количества границ. Что же это за силы? Парадоксальным образом это то, что часто трактуется в качестве факторов размывания границ: глобализация, неолиберализм, неоимпериализм, позднемодерный капитализм и супранационализм (то есть создание наднациональных межгосударственных объединений). Как видно из этого набора понятий, факторы формирования границ оказываются преимущественно чем-то негативным и в то же время представляют собой теоретические обобщения, во многом предзадающие возможные ответы на исследовательские вопросы. На опасность оперирования такого рода большими теориями в исследованиях социального пространства справедливо указывали в свое время Ольга Бредникова и Оксана Запорожец во введении к сборнику «Микроурбанизм: город в деталях»: «Нам хотелось избежать доминирования большой рамки (капитализм и постсоциализм, индивидуализирующее общество и общество потребления и т.д.). “Глобальные подходы”, имея великую универсализирующую силу, неизбежно производят и “социальную тотальность” — представление о преимущественной значимости не зависящих от обывателей структурных факторов, определяющих конфигурацию городской жизни. Подобная расстановка

6 Подобной эстетической невосприимаемостью отличается, по Гройсу, и «посткоммунистическое состояние» как незавершенный переход от «инаковости» к «нормальности». См.: *Groys B.* Jenseits der Heterogenität: Die Ideologie der Cultural Studies und ihr postkommunistisches Anderes // Groys B. Topologie der Kunst. München; Wien: Carl Hanser, 2003. S. 232—254.

акцентов успешно маскирует или откровенно нивелирует все иные векторы <...>»[7]. Авторы же введения к «Путеводителю...» ставят себя рядом не с обывателями, а с государственными деятелями с их «взглядом сверху»: «Исследования границ приобрели особую значимость, поскольку как ученые, так и люди, ответственные за политические решения, распознали, что основная часть явлений значимых для трансформации национальной и интернациональной политической экономики связана с пограничьем» (с. 1). К таким особо значимым для современности явлениям авторы относят «миграцию, торговлю, контрабанду и безопасность». Важные в целом для государства, в пограничье связанные с этими явлениями проблемы выступают особенно рельефно. Граница, таким образом, понимается прежде всего как то, что требует государственного регулирования: борьбы с нежелательным проникновением дешевых товаров и рабочей силы, преступников и захватчиков. Занимаясь прежде всего большими геополитическими трансформациями вроде краха колониализма, распада советского блока, евроинтеграции и «войны с террором», авторы мало интересуются множеством индивидуальных и весьма различающихся позиций людей перед лицом границ.

Впрочем, как антропологи, то есть этнологи в российском понимании, авторы введения не могут не упомянуть и об исследованиях пограничья «снизу». По их словам, «антропологическая этнография фокусируется на локальных сообществах у международных границ, чтобы исследовать материальные и символические культурные процессы» (с. 6). Локальные сообщества оказываются здесь вновь подчинены более общим конструкциям. Кроме того, по словам Уилсона и Доннана, «локализмом» отличалось в основном «первое поколение антропологических исследований пограничья», сосредоточенное на местных сообществах и не способное распознать, как влияют на их жизнь более широкие национальные и наднациональные факторы.

Новейшие исследования стремятся преодолеть этот недостаток. Так, продолжают авторы, сотрудничество с географами позволило больше внимания уделять пространственному измерению границ, коррелированию социально-экономических и политико-культурных процессов с физическими условиями среды[8]. Взаимодействие с историками позволило использовать введенное еще в 1920 году Фредериком Джексоном Тёрнером понятие фронтира[9] и в большей мере учитывать временную перспективу. В 1990-е годы, на ранних этапах становления исследований пограничья, основным объектом изучения была проблемная американо-мексиканская граница. В частности, ей была посвящена книга историка Оскара Мартинеса «Порубежные люди: жизнь и общество в пограничье США и Мексики», выявившая функциональные сходства этого пограничья с другими рубежными регионами мира, связанные с ролью границ в регулировании и контроле политических и социальных взаимодействий[10]. Используя понятие «пограничная социальная среда», Мартинес выстроил типологию пограничий: отчужденные, сосуществующие, независимые и интегрированные. Пользу исторических исследований Уилсон и Доннан видят, таким образом, в создании общих конструкций и типологий, показывающих варианты государственного регулирования «проблемных» границ.

---

7 *Бредникова О., Запорожец О.* Микроурбанизм: ловушка для города // Микроурбанизм: город в деталях / Под ред. О. Бредниковой, О. Запорожец. 2-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 13—14.

8 Авторы указывают на особое значение книги Джона Прескотта: *Prescott J.R.V.* Political Frontiers and Boundaries. London: Allen and Unwin, 1987.

9 См.: *Тёрнер Ф.Дж.* Фронтир в американской истории / Пер. с англ. А.И. Петренко. М.: Весь Мир , 2009.

10 См.: *Martínez O.J.* Border People: Life and Society in the US-Mexico Borderlands. Tucson: The University of Arizona Press, 1994.

Исследования приграничья в социологии отличаются, по их словам, особым интересом к «социальным группам, институциям и движениям», что позволило уделить больше внимания разным меньшинствам и формам их существования по разные стороны от государственных границ. При этом границы понимались не только как то, что разделяет, но и как стимул для укрепления идентичности миноритарных групп, осознающих свое особое положение на краю и одновременно на переднем крае национального сообщества. С этим связана амбивалентность трансграничных взаимодействий, на которую обращал внимание Раймондо Страссолдо[11]. Вообще, резюмируют Уилсон и Доннан, изучение сложности и множественности идентичностей в пограничных регионах стало центральной темой социологических исследований границ.

Статьи сборника также демонстрируют большое дисциплинарное и методологическое разнообразие, отличаясь, впрочем, как и введение, взглядом на границы «сверху». Так, первую статью под кратким заглавием «Разделение» можно отнести к области теории международных отношений. Ее автор, профессор политологии в Пенсильванском университете *Брендан О'Лири*, начинает с терминологических различий между разделением государства и отделением от него, что призвано упорядочить множество спорных случаев: было ли появление Пакистана разделением Британской Индии или отделением от нее? Был ли распад СССР его разделением на независимые государства или их отделением? Все определяется тем, по О'Лири, происходит ли возврат к неким ранее существовавшим границам, о возрождении которых грезят разного рода сепаратисты, или же создается «свежее» разделение, призванное дать образующимся частям «новое дыхание»: подразумевается, что части смогут жить лучше, чем до этого жило целое, поскольку это решает целый ряд социальных, этнических, религиозных и прочих проблем. Впрочем, иногда разделение может описываться и как политическая ампутация, призванная защитить организм от поразившей одну из его частей гангрены, — например, разделение Ирландии с сохранением «здоровой», как тогда казалось, части в составе Соединенного Королевства и отделением более проблемной. В известном смысле так может быть трактовано и разделение на «здоровую» и «больную» части Подмандатной Палестины в конце 1940-х годов или Кипра в начале 1970-х.

Практики разделения особенно часто использовались британскими колониальными властями; они навязывались сверху, что противоречило демократическим принципам, и в большинстве случаев не предотвращали насилия, а лишь усугубляли и продлевали его. Оправдывая действия британских политиков и чиновников, О'Лири отмечает, что те чаще всего не были сторонниками разделений. Это были вынужденные меры, поскольку процессы расширения демократических прав в колониях, протекторатах и на подмандатных территориях делали консенсус между различными этническими и религиозными группами едва ли возможным. Сторонники разделения также отнюдь не сразу приходили к этой идее, как показывает пример Мухаммада Али Джинны, долгое время отстаивавшего единство Индии. По мнению О'Лири, истинная причина разделений в том, что идентичности далеко не столь подвижны, как обычно считается, и политикам, даже искренне желающим единства, порой приходится признать силу различий и приспособить к ним свои требования. Означает ли это, что сепаратистское отделение по истори-

11 См.: *Strassoldo R.* Border Studies: The State of the Art in Europe // Borderlands in Africa / Ed. by A.I. Asiwaju, P.O. Adeniyi. Lagos: University of Lagos Press, 1989; Cooperation and Conflict in Border Areas / Ed. by R. Strassoldo, G. Delli Zottin. Milano: Franco Angeli, 1982.

ческим границам лучше «свежих» разделений? Многое говорит в пользу этого, но, как считает О'Лири, преимущества и возможные негативные последствия обоих решений еще нуждаются в продумывании; так или иначе, разделения все же сохраняют потенциал предотвращения войн и этнических чисток[12].

Следующая статья, написанная профессором антропологии в Техасском университете в Эль-Пасо *Джозайей Хейманом*, посвящена применимости подходов культурной антропологии к изучению границы США и Мексики. Так, Ренато Розалдо, один из ведущих представителей культурной антропологии, еще в 1980-е годы критиковал теоретические модели, которые исходили из идентификации общества с какой-то одной культурой, а государства — с единой гомогенной территорией, и обращал внимание на культурную гибридность в пограничных зонах, что в дальнейшем стало активно исследоваться[13]. Такой подход был подвергнут критике в работах Пабло Вилы[14]. По его мнению, предположение о том, что в центре культура непременно более гомогенна, чем на окраинах, ошибочно — часто дело обстоит наоборот: терпимость к культурным отличиям в центре выше, чем в окраинных регионах, где жители гораздо больше озабочены поддержанием различий. Так, чикано (американцы мексиканского происхождения, чьи предки оказались жителями США по результатам Американо-мексиканской войны 1845—1848 годов) настойчиво противопоставляют себя как современным мексиканцам, так и белым англо-американцам. Хейман соглашается с Вилой и напоминает о построенной Мартинесом типологии пограничных обществ, отличающихся разной степенью открытости. Но как возникают такого рода различия? Хейман обращает внимание на то, что до Великой депрессии американско-мексиканская граница была открытой и люди легко перемещались в обе стороны, потребности в противопоставлении жителей по обе стороны границы не было. Но затем подверженный кризисам капитализм стал нуждаться в более прочных границах, что привело к возникновению идей расового и культурного превосходства жителей США. Граница превратилась в инструмент контроля за дешевой рабочей силой, удержания нежелательных людей вовне. В итоге культурная гибридность затрагивает лишь небольшую часть жителей пограничья, а значит, акцентирование исследователями вслед за Розалдо именно таких случаев искажает общую картину[15].

Нигерийский историк *Энтони Эсиуайу* из Лагосского университета сопоставляет программы развития пограничного сотрудничества Африканского союза и

---

12 См. также: *O'Leary B.* Analyzing Partition: Definition, Classification and Explanation // Political Geography. 2007. Vol. 26. No. 8. P. 886—908. Другие работы О'Лири посвящены актуальной проблематике передвижения границ и «придания оптимального размера» государствам: Right-sizing the State: The Politics of Moving Borders / Ed. by B. O'Leary, I.S. Lustick, T. Cllaghy. Oxford: Oxford University Press, 2001; *O'Leary B.* Making Sense of a United Ireland: Should It Happen? How Might It Happen? London: Sandycove, 2022. О демократии, разделении и насущной теме кризиса глобализации см. также: *Schaeffer R.K.* Severed States: Dilemmas of Democracy in a Divided World. New York: Rowman & Littlefield, 1999; *Idem.* After Globalization: Crisis and Disintegration. New York: Routledge, 2021.

13 См.: *Rosaldo R.* Culture and Truth: The Remaking of Social Analysis. Boston: Beacon Press, 1989.

14 См.: *Vila P.* Crossing Borders, Reinforcing Borders: Social Categories, Metaphors, and Narrative Identities on the US-Mexico Frontier. Austin: University of Texas Press, 2000; *Idem.* Border Identifications: Narratives of Religion, Gender, and Class on the US-Mexican Border. Austin: University of Texas Press, 2005; Ethnography at the Border / Ed. by P. Vila. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.

15 См. также: *Heyman J. McC.* On US-Mexico Border Culture // Journal of the West. 2001. Vol. 40. No. 2. P. 50—59.

трансграничных программ в Евросоюзе[16]. Он отмечает большие успехи ЕС в демонтаже внутренних границ и задается вопросом, почему то же самое не происходит в Африке, хотя эта тема уже долго обсуждается. В частности, важность демонтажа границ была признана Аддис-Абебской декларацией глав африканских государств в 2007 году. Поскольку нынешние линии разделения между африканскими странами представляют собой колониальное наследие, избавление от них будет важным шагом к его преодолению. Как отмечает автор, сопоставление Африки и Европы встречает ряд препятствий. Так, Джон Прескотт писал, что природа границ в Европе и Африке различна: в одном случае они сложились как продукт естественного исторического процесса, а в другом — были искусственно навязаны извне[17]. Эсиуайу полагает, что такое противопоставление неоправданно. И в Европе границы большей частью основаны на завоеваниях или различного рода манипуляциях, напоминающих колониальные «приобретения территорий» у туземцев. Так, современная франко-испанская граница возникла в результате манипуляций французских представителей с картами при заключении Пиренейского мира в 1659 году. В Европе, как и в Африке, все еще есть разделенные народы, достаточно вспомнить басков и каталонцев. Эсиуайу напоминает о важной книге американского историка Питера Салинза, исследовавшего становление пиренейской границы между Францией и Испанией и показавшего, что представление о границе как о линии, четко определяющей государственную принадлежность людей, устраняющей прежнюю систему множественных феодальных зависимостей, возникло в Европе довольно поздно и утверждалось нелегко[18]. В значительной мере формирование границ в Европе было связано и с тем, что называется внутренней колонизацией[19]. Тем самым Европа и Африка оказываются гораздо более сопоставимы, чем обычно считается. После 1945 года границы в Европе превратились из фактора военного противостояния в фактор сотрудничества, и африканским странам, считает автор, надо следовать этому примеру, заимствуя лучшее из европейского опыта, который отнюдь не является совершенно чуждым.

Подробнее тема политики ЕС в отношении границ рассматривается в статье профессора Карельского института при Университете Восточной Финляндии и Свободного университета в Берлине *Джеймса Скотта*. Автор в основном воспроизводит официальную риторику ЕС о важности преодоления национально-государственных разделений и налаживания трансграничного сотрудничества, указывает

16 См. также его исследования о колониальных истоках африканских границ и возможностях их сопоставительного исследования, в частности на примере Йоруба-ленда в пограничье британской Нигерии и французской Дагомеи (ныне Бенина): *Asiwaju A.I.* Western Yorubaland under European Rule, 1889—1984: A Comparative Analysis of French and British Colonialism. London: Longman, 1976; Partitioned Africans: Ethnic Relations across Africa's International Boundaries, 1884—1984 / Ed. by A.I. Asiwaju. New York: St. Martin's Press, 1985. См. также: That They May Be One: African Boundaries and Regional Integration: Essays in Honour of Professor Anthony Ijaola Asiwaju / Ed. by A.O. Akinyeye. Imeko: African Regional Institute, 2009.

17 См.: *Prescott J.R.V.* Op. cit.

18 *Sahlins P.* Boundaries: The Making of France and Spain in the Pyrenees. Berkley: University of California Press, 1989. Позднее Салинз исследовал и то, как во Франции XVIII века изобретаются правовые статусы гражданина и иностранца, приходящие на смену менее определенным и множественным отношениям феодального подданства: *Sahlins P., Dubost J.-F.* Et si on faisait payer les étranger? Louis XIV, les immigrés et quelques autres. Paris: Flammarion, 1999; *Sahlins P.* Unnaturally French: Foreign Citizens in the Old Regime and After. Ithaca: Cornell University Press, 2004.

19 См.: *Бартлетт Р.* Становление Европы: экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры: 950—1350 гг. / Пер. с англ. С.Б. Володиной. М.: РОССПЭН, 2007.

на эффективность соответствующих программ. Последние видятся ему тем более важными, что границы представляют собой не просто линии, а конкретные практики существования людей, образующие эти границы (bordering), и потому недостаточно отменить границы административными методами, нужно способствовать и новым формам отношений между людьми вдоль бывших границ. Правда, автор отмечает, что ослабление внутренних границ ЕС происходит за счет усиления внешних рубежей, но и здесь ЕС реализует программы трансграничного сотрудничества. В конце статьи Скотт сравнивает формы взаимодействия вдоль польско-немецкой и российско-финской границ. В первом случае можно говорить о формировании единого польско-германского еврорегиона, служащего платформой для политического диалога и экономического развития. Но и во втором случае, несмотря на все сложности, заново осознается общее историческое прошлое по обе стороны границы, интенсифицируются контакты между университетами, а бывшие советские гарнизонные города становятся притягательными для туристов (в статье описывается ситуация 1990—2000-х годов). Автор отмечает важность меняющегося символизма границ, воплощающегося в новых дискурсивных практиках, формах повседневного поведения, эмоциональных переживаниях сопринадлежности, а также в художественных репрезентациях[20].

Официальная риторика ЕС воспроизводится и в статье преподающего в Университете Виктории (Канада) политолога *Эммануэля Брюно-Жайи*, посвященной современным формам обеспечения безопасности границ в Европе и Северной Америке. Автор с удовлетворением отмечает, что страны Европы «вложили миллиарды евро» в «умиротворение регионов на ее непосредственной периферии» (с. 104). Ставится задача создать кольцо хорошо управляемых государств к востоку и югу от ЕС, что подразумевает не только преобразование «дисфункциональных обществ», но также борьбу с организованной преступностью и чрезмерным (по мнению властей ЕС) ростом населения. Соседние страны поощряют переходить на европейские стандарты обработки, хранения и предоставления касающейся безопасности информации, в частности собирать биометрические данные, что позволяет действительно успешно реализовать «контроль и надзор — две основные цели политики Шенгена» (с. 105). США в этом отношении, по мнению автора, менее успешны, поскольку придерживаются старого вестфальского принципа нерушимости национальных границ и в меньшей степени ориентированы на создание трансграничных систем безопасности на своей периферии. Между тем современные угрозы включают в себя распространение эпидемий, загрязнений окружающей среды, нежелательной информации и еще много такого, с чем едва ли можно достаточно успешно справиться в рамках текущей пограничной политики США.

За этой «охранительной» статьей следует другая, написанная, напротив, в радикально-левацком ключе. Ее автор, профессор-антрополог из Принстона *Джон Борнеман*[21], сразу заявляет, что поскольку вокруг нас один капитализм, то и угрозы могут исходить только от капитализма. Циркуляция насилия есть побочное явление современной глобальной циркуляции людей и капитала. По словам автора,

---

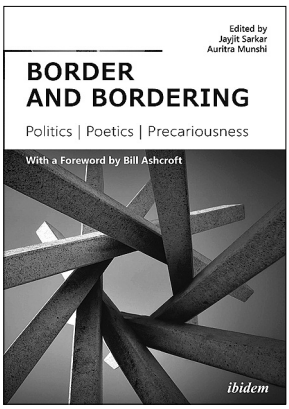
20 О меняющихся границах включения и исключения по мере расширения ЕС см.: EU Enlargement, Region-building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion / Ed. by J.W. Scott. Aldershot: Routledge, 2006.

21 Борнеман специально занимается изучением последствий возведения пограничных разделительных стен в Германии и на Ближнем Востоке: *Bornemann J.* After the Wall: East Meets West in the New Berlin. New York: Basic Books, 1991; *Idem.* Settling Accounts: Violence, Justice, and Accountability in Postsocialist Europe. Princeton: Princeton University Press, 1997; *Idem.* Syrian Episodes: Sons, Fathers, and an Anthropologist in Aleppo. Princeton: Princeton University Press, 2007.

территориальность современного государства есть продукт разложения докапиталистических производственных отношений и становления капиталистических, чему сопутствует переход от донациональных форм политики к национальным. Территориальность есть способ контроля за населением посредством ограничения пространства, на котором оно размещается. В докапиталистических обществах извлечение прибыли требовало прямого политического контроля, именно поэтому колониальные империи нуждались в захвате территорий и рабском труде. При капитализме же прибыль извлекается из «свободного» работника, контроль над которым осуществляется не прямо, а через «демократическое» национальное государство. «Свобода» локализируется именно в национальном государстве, при этом ее нет ни в сфере производства внутри государства, где нужно беспрекословно подчиняться частному собственнику предприятия, ни за пределами государства, где человек, становясь мигрантом, утрачивает связанные с национальным государством гарантии своих прав и свобод, лишается права демократического участия. Демократия остается за проходной завода и за пограничным шлагбаумом. Она привязана к границам, которые определены недемократично, с использованием силы в ходе войн.

Столь же недемократично, продолжает автор, решаются в современном мире и вопросы об инвестировании денег. Лишая прав, границы служат удешевлению рабочей силы и регулированию ее потоков для нужд интернационального капитала. Произошел переход от старых территориальных империй к новым неформальным, оперирующим посредством якобы независимых, демократических национальных государств. В частности, проект единой Европы обернулся административно-авторитарным капитализмом, господством обществ с ограниченной ответственностью. Условие существования неформальных империй — разделение сфер «свободной» политики и «естественной» экономики. Так, требования независимости оказываются приложимы только к политической сфере, а присутствие в стране иностранного капитала деполитизируется, за ним признаются те же права, что и за местным, в итоге можно обходиться без прямого принуждения. Современные национальные государства узурпировали право людей на свободу передвижения так же, как раньше государство монополизировало право на легитимное насилие, а капиталисты — средства производства. Всякий человек считается заведомо виновным и лишенным права свободно передвигаться, пока не показал нужный паспорт. Впрочем, эта система неформальных империй начинает переживать упадок, и первым его признаком можно считать то, что США пришлось в 2003 году прибегнуть к прямой оккупации Ирака. Дальнейшее ослабление глобальной гегемонии Запада приведет к усилению автаркических тенденций и к потребности во все новых оккупациях. В заключение автор пишет, что границы будут существовать, пока существует капитализм. Мы не в силах их отменить, но можно ставить себе более скромные задачи — подвергать критическому пересмотру разделения политики и экономики, что уже началось после банковского кризиса 2008 года. Теория Борнемана выглядит довольно убедительной, но в основном благодаря тому, что целиком основана на неомарксистской догматике, принимаемой им в качестве бесспорной.

В других статьях сборника исследуются история формирования границы США и Канады, трансформации в восприятии границы Республики Ирландии и Северной Ирландии, последствия Парижской коммуны для переосмысления границ во Франции периода Третьей республики и др. Как видно по приведенным примерам, дисциплинарные поля и используемые в них теоретические подходы действительно весьма разнятся, не образуя единого целого, но пересекаясь в определении ряда проблем. Общим остается стремление рассмотреть ситуацию в целом, избегая фиксации на опыте отдельных людей, имеющих дело с границами.



Изучение «живого опыта границ» «как эпического, так и банального» (с. 17) оказывается в центре внимания авторов сборника «Границы и разграничивание». Правда, он открывается небольшим предисловием Билла Эшкрофта, который в духе Борнемана заявляет, что основной виновник существования границ — капитализм, заинтересованный в поддержании неравенства, в эксплуатации международного разделения труда. Обслуживающие этот капитализм национальные идеологии мешают нам мыслить мир без границ, и потому они страшнее обмотанных колючей проволокой физических границ. Национализм — вот главный источник насилия в современном мире[22]. Поскольку с самими границами и их природой, таким образом, все более или менее ясно, остается вопрос об их влиянии на нашу идентичность, о возможности индивидуальной внутренней работы с опытом разграничения (bordering) во всем его разнообразии. Поэтому авторов сборника интересует опыт границ в самых разных его формах: метафоры границ и границы как метафоры; переживаемые на границах страхи и надежды; способы преодоления и разрушения границ как внутренних, так и внешних; их картографирование и переписывание; амбивалентность границ как соединения и разделения; границы как то, что замыкает и все же позволяет собраться в себе и т.д.

Связкой глобального и индивидуального маркировано уже начало первой статьи, написанной *Эммой Масти*, преподавательницей Аберистуитского университета в Уэльсе. Она пишет, что много путешествует и даже над этой своей статьей работает в пути, но эта свобода пересечения границ обретена в ходе насильственного исторического процесса, а отнюдь не распространения прав человека; это достижение британского колониализма, империализма и капитализма. По мнению Масти, личный опыт всякого человека может быть прочитан как карта прошлых насилий, и примеры этому можно найти в современной литературе. Создаваемые мигрантами тексты позволяют увидеть современные карты и границы на них в совершенно ином свете, чем их видит человек, путешествующий с британским или каким-то иным «хорошим» паспортом. Эти границы отражают колониальное прошлое и пришедшее в движение настоящее. Голос мигрантов почти не слышен в новостях, они чаще фигурируют просто как статистика, дискурс о них обычно деперсонализирован и эмоционально отстранен, но современная литература способна заполнить эту пустоту, регуманизировать дебаты о мигрантах. Вслед за Питером Турчи[23] Масти

22 В этом отношении Эшкрофт противоречит другим представителям постколониальных исследований, считающих патологизацию насильственного национализма имперской реакцией на освободительные движения, на «неправильное» переприсвоение неевропейцами идеи нации, привнесенной изначально в «отсталые» страны в качестве элемента колониальной педагогики — воспитания в дикарях понятия нации/гражданского общества. Подобной двойственностью отличаются дискуссии о национализме и на постсоветском пространстве. При этом обоснованность присвоения антиколониальными националистами права говорить от имени освобождающейся «нации» в любом случае спорна. См., в частности: *Chatterjee P.* Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories. Princeton: Princeton University Press, 1993; *Абашин С.* Советский кишлак: между колониализмом и модернизацией. М.: Новое литературное обозрение, 2015.

23 *Turchi P.* Maps of the Imagination: The Writer as Cartographer. San Antonio: Trinity University Press, 2004.

рассуждает о том, что роман или рассказ подобны карте, поскольку не являются самим миром, а лишь указывают на него, при этом авторы выбирают, что показать, создавая тем самым белые пятна, где якобы ничего нет. Отсутствующие голоса в литературе подобны пустотам на картах. И, как и карта, литература предлагает лишь одну из возможных точек зрения. Люди нуждаются в картографировании, их ориентация в мире — это прочерчивание границ; при этом, однако, карты могут или помещать нас в центр мира, или делать так, что мы исчезнем, и этим они опасны. Не быть на карте — значит не быть важным, что подчеркивают метафоры вроде «джунглей», применяемые к мигрантским районам во Франции или к соседним странам. Происходящий в последние годы сдвиг от изучения литературы изгнания к литературе мигрантов/миграций позволяет создать транснациональную, космополитичную, многоязыковую и гибридную карту мира. Сама Масти показывает на примере краткого анализа двух литературных текстов, как может происходить такое перекартографирование.

В рассуждениях Масти мигранты виктимизируются, и это происходит также в статье *Николетты Полицек* о детях без гражданства. В ней, с одной стороны, разбираются многочисленные международные документы, призванные регулировать положение таких детей, а с другой — рисуются картины разнообразных страданий, которым подвергаются эти дети в реальности, что требует исправления ситуации. Следующая статья, написанная *Сальваторе Перри*, посвящена Гризелидис Реаль (1929—2005) — швейцарской писательнице, художнице, активистке и проститутке с тридцатилетним стажем. Воспитанная в строгой католической семье, где ее сексуальность якобы всячески подавлялась матерью, Гризелидис затем всю жизнь стремилась к преодолению навязанных ей границ, занималась осмыслением и художественными репрезентациями своего опыта, что Перри сравнивает с проблематизацией границ отвратительного у Юлии Кристевой[24].

В другой статье, написанной *Прией Менон*, говорится об иммигрантах из стран Южной и Юго-Восточной Азии, работающих в богатых государствах Персидского залива, об осмыслении ими своих жизней и об их литературных репрезентациях. Художественные практики осмысления границ и пограничного существования находятся в центре внимания и в следующих статьях. Исследуется память о разделении Бенгалии на индуистскую и мусульманскую части в местной песенной культуре, где одновременно воображается и обретает фикциональную реальность единая Бенгалия; рассматривается современное американское кино, привлекающее внимание к разного рода границам, окружающим нас в повседневной реальности, и побуждающее эти границы исследовать, влияющее в этом отношении на популярную культуру; в еще одной статье обращается внимание на репрезентации в современном бенгальском кино поездов, которые выступают как визуальные метафоры желания, памяти, но также и отчуждения, что делает их воплощением пограничности.

В этих и других статьях сборника авторам действительно удается избежать взгляда на границы «сверху», характерного для «Путеводителя...» Уилсона и Доннана, но достигается это во многом за счет эстетики страданий, создающей впечатление подлинности раскрываемого опыта. Характерно, что во введении к сборнику Саркар и Мунши пишут о фотографии утонувшего при попытке переплыть границу с США беженца, все еще прижимающего к себе свою мертвую дочь-младенца. Авторы задаются вопросом, способна ли отстраненная научная речь представителей «исследований границ» быть адекватной ужасу этой фотографии. Тем самым они

24 *Кристева Ю.* Силы ужаса: эссе об отвращении / Пер. с фр. А. Костиковой. Харьков: Ф-Пресс, ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2003.

перефразируют вопросы, задававшиеся по поводу границ репрезентации Холокоста[25]. Однако, как и в случае с Холокостом, отказ от широкой контекстуализации вовсе не является безупречным решением ни в моральном, ни в сугубо научном плане. Хотя статьи двух сборников слишком разнообразны, чтобы их можно было однозначно отнести к образцам «классической» или «романтической» эстетики, вопрос о соотношении близости и дистанции при рассмотрении границ и пересекающих их людей так и остается нерешенным[26].

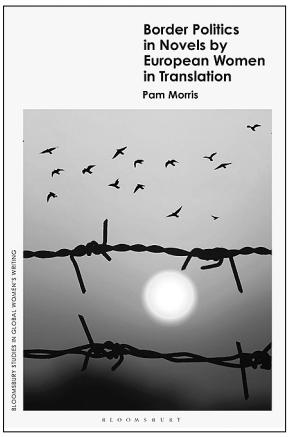
Анна Стогова

Поток, сметающий преграды?

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_340

Morris P. Border Politics in Novels by European Women in Translation.

London; New York; Dublin: Bloomsbury Academic, 2024. — VIII, 215 p. — (Bloomsbury Studies in Global Women's Writing).



Если совместить критическую теорию с литературоведением, в фокусе внимания окажется письмо как действие и социально-критическое значение порождаемых литературой нарративов, даже (или особенно) если этим нарративам нет места за пределами литературного вымысла. Именно с такой позиции организовано исследование британской специалистки по современной литературе и представительницы феминистской литературной критики Пэм Моррис «Политика границ в переводных романах европейских писательниц». Объектами рассмотрения являются политика разграничения и нарративы, создаваемые современными писательницами ей в противовес. И для самих романисток, и для Моррис, основывающей на их историях собственное повествование о литературе как о пространстве контрнарративов, политика границ является одной из наиболее болезненных и проблемных составляющих современной культуры. Исследовательница предлагает социально и политически ангажированное рассмотрение как литературного творчества, так и интерпретации художественного текста.

25 См.: Probing the Limits of Representation: Nazism and the "Final Solution" / Ed. by S. Friedlander. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

26 Материал подготовлен в рамках проекта Минобрнауки РФ № 075-15-2024-537.

В книге анализируются одиннадцать романов конца 1980-х — 2010-х годов; их авторы — писательницы из разных стран, связанных с европейской культурой (в ряду произведений есть и книга турецкой романистки):

— «Хвали день к вечеру» (2012) Дженни Эрпенбек (Германия),
— «Веди свой плуг по костям мертвецов» (2009, рус. пер. 2020) Ольги Токарчук (Польша),
— «Лучше бы я себя сегодня не встречала» (1997) Герты Мюллер (Румыния),
— «Молочник» (2018, рус. пер. 2019) Анны Бёрнс (Северная Ирландия),
— «Фата-моргана»/«На улице Черных сестер» (2007/2010) Чики Унигве (Нигерия/Бельгия)[1],
— «Чинить живых» (2014, рус. пер. 2015) Мейлис де Керангаль (Франция),
— «Дверь» (1987, рус. пер. 2019) Магды Сабо (Венгрия),
— «Моя гениальная подруга» (2011, рус. пер. 2016) Элены Ферранте (Италия),
— «Невеста Ахиллеса» (1987) Алки Зеи (Греция),
— «Стамбульский бастард» (2007, рус. пер. 2022) Элиф Шафак (Турция),
— «Музей заброшенных секретов» (2009, рус. пер. 2013) Оксаны Забужко (Украина).

Все писательницы были удостоены международных литературных премий, их произведения переведены на многие языки, к тому же некоторые авторы и сами полиязычны; translatio — перемещение, перевод, преодоление границ — есть способ публичного бытования созданных ими романов. В этом бытовании важно не только сопротивление языковым барьерам непереводимостей, но и то, что жизнь произведений, как и жизнь людей, протекает вопреки границам — в данном случае политическим, языковым, культурным и историческим. Моррис предваряет анализ каждого текста кратким (и в силу этого несколько однобоким) обзором историко-политической ситуации, значимой для автора или для описываемых событий. Сам акт творчества — наряду с создаваемым в нем нарративом — она трактует как акт сопротивления, преодоления навязанных автору в ее собственной жизни границ, иерархий и оппозиций. При этом вышедший за рамки культурных и социально-политических обстоятельств, его породивших, роман прочитывается и получает признание в другое время, в иных странах и политических контекстах.

Свой способ прочтения Моррис также определяет сквозь призму болезненного переживания навязывания границ, разрушающих сложившиеся связи и идентичности, — имея в виду брексит, выход Великобритании из Евросоюза, — и потребности в сопротивлении самой политике их навязывания. А ко времени выхода ее книги, как отмечает автор, разразилось сразу несколько новых вызывающих всемирный резонанс конфликтов, связанных с выстраиванием, изменением и усилением гендерных, религиозных, этнических и политических границ, которые будут определять уже опыт прочтения самого этого исследования. Итак, объектом критического рассмотрения становится политика выстраивания границ — политических, социальных, лингвистических, понятийных и любых других, — основанная на их постоянном воспроизведении и переустановлении, на разделении и противопоставлении в ущерб связанности. Во «Введении», основанном на анализе творчества еще одной европейской писательницы, Вирджинии Вулф, Моррис раскры-

1 Чика Унигве пишет на голландском и английском языках. Роман был написан по-английски, но впервые опубликован в неавторском переводе на голландский под названием «Фата-моргана» (2007). Лишь три года спустя он вышел в оригинальной версии под названием «На улице Черных сестер» (2010).

вает основания и ключевые свойства любой подобной политики и рассматривает ее возможные альтернативы, обнаруживаемые в литературном творчестве.

Центральной для исследования является оппозиция, сформулированная автором при анализе творчества Вулф, между силами, которые навязывают миру порядок, разделение и категоризацию, с одной стороны, и силой физической связанности, неуправляемого смешения и преодоления барьеров — с другой (с. 2). Как и главных своих героинь, Моррис помещает Вулф в контекст — активной колониальной политики Великобритании, Англо-бурской войны, Первой мировой, острых социальных конфликтов, — подчеркивая, что, невзирая на отличия в историко-культурном опыте, с писательницами из других стран, живущих в конце XX — начале XXI века, ее роднит такое видение жизни, в котором любые границы расцениваются как искусственные, навязанные ради обоснования доминирования, осуществляемого путем конфликта и противостояния.

То, что все анализируемые романы написаны женщинами, совершенно не случайно: в этом единстве авторов гендер играет важную, если не главную, роль. Стремление не просто описать ужасы войны, но и пошатнуть авторитет идеи, что борьба и доминирование являются неизбежной частью жизни, приводят к размышлениям о природе самых обыденных, бытовых границ и иерархий и о принципах, на которых основано мужское доминирование. Моррис выделяет два основных дискурса о войне. Первый связан с восходящей к Томасу Гоббсу идеей «войны всех против всех» как формы существования человечества после изгнания из Рая; второй — с образом богоугодного крестового похода во имя установления справедливости и порядка. Они легко могут соединяться, превращая установление порядка повсюду в высшую миссию общества и его правителя. При этом исследовательница обращает внимание (хотя и не вполне корректно), что в рамках представлений о том, что каждый человек стремится воевать со всеми, «единственная возможность избежать такого зверского существования заключается в подчинении абсолютному правлению могущественного человека/мужчины (man. — *А. С.*), названного Гоббсом Левиафаном» (с. 3—4). Это замечание неслучайно. Выявляя социальные механизмы, позволяющие обосновывать подчинение одних и доминирование других как непреложный божественный или природный порядок в противовес эгалитаристскому ощущению общности и единства человечества, Моррис вслед за Вулф обнаруживает их исходную точку в выстраиваемом различии свойств мужчин и женщин, которое с самого рождения заставляет верить в то, что первый имеет право властвовать, а вторая обязана подчиняться. В мире, где дарвиновские законы борьбы за выживание приняты за естественные, доминирование мужчин как более сильных (и применяющих или проявляющих силу) существ не только видится закономерным и неоспоримым, но и создает паттерны для любых других видов социального неравенства как естественного порядка. Исследовательница обращает внимание на то, что почти все выбранные ею романы вскрывают навязанный характер мифа о мужском превосходстве и его необоснованность, то есть отсутствие у конкретных людей тех самых качеств, что предписаны этим мифом.

Последнее противоречие приводит Моррис к размышлениям о том, что подлинным принципом, на котором основано гендерное и прочие неравенства является не физическая сила, а дихотомия тела и разума, которая может использоваться прямо противоположными способами. Телесная сила мужчин детерминирует их интеллектуальное и социальное превосходство, а физическая слабость женщин экстраполируется на их ментальность и эмоциональность. При этом в контексте расового неравенства бóльшая физическая сила чернокожих мужчин, напротив, интерпретируется как свидетельство низкого интеллекта и близости к животному миру. В обоих случаях разделение души и тела обеспечивает естественную границу,

отделяющую один пол от другого или человека от животного и легитимирующую иерархии превосходства, различия в правах, сферах деятельности, заработной плате и т.п.: «Социальные и культурные представления о разделении тела и души, в отличие от физической реальности, поддерживают и увековечивают некоторые из самых мощных структурных разделений, которые узаконивают иерархию ценностей, право властвовать и наказывать» (с. 8). Более того: тело, воспринятое отдельно от души и ума и тем самым обесчеловеченное, больше воздействует на воображение, нежели на разум. Грязное, лишенное целостности, больное тело порождает примитивный ужас отвращения, рассматриваемый Моррис (в свете рассуждений Юлии Кристевой[2]) как формирующий одну из самых несокрушимых границ, задействованных в выстраивании расовых, национальных, гендерных, классовых и других иерархий. И напротив, сепарированность тела и разума позволяет также создавать воображаемые идеальные тела, воплощающие нацию, класс и т.п. Политические дискурсы побуждают индивидов ощутить себя частью идеального коллективного тела, ради сохранения которого им якобы следует принести в жертву собственные несовершенные тела и жизни.

Таким образом, политика границ анализируется Моррис с точки зрения не войны и господства, а лежащих в их основе различных способов категоризации индивидов и сообществ, которые натурализуют и оправдывают практики господства и неравенства. И в первую очередь иерархическое восприятие социальных отношений видится как обусловленное способами восприятия тела, «которые возвышают разум над материальностью плоти» (с. 12). Такая политика вездесуща, она проявляется не только в конфликтах мирового масштаба, но и в домашнем насилии, бытовой дискриминации и т.д., и основная задача Моррис заключается в том, чтобы указать на ее возможную альтернативу. Выбранные для анализа романы и изложенные в них истории людей, принадлежащих к разным культурам, интересны ей потому, что, собранные вместе, они составляют иной нарратив, предлагают другой способ видения, о значимости и востребованности которого свидетельствуют полученные авторами литературные премии. Ее анализ литературных особенностей текстов направлен на выявление и демонстрацию этого общего для них инклюзивного способа видения разных систем отношений, в котором различие воспринимается не как вражеская граница, а как равноправная, соопределяющая часть большого целого, а связанность, взаимозависимость и взаимодополняемость преодолевают искусственные иерархические разделения.

Эти предварительные рассуждения задают оптику, в которой рассматриваются романы, и одновременно подготавливают читателя к тому, как построен сам анализ. На первый взгляд для исследования, направленного против бинарного мышления, политики разграничения и категоризации, книга Моррис имеет довольно жесткую структуру. Романы разбиты на пары, распределенные по пяти главам, посвященным тому или иному кругу проблем. В первой главе («Боги жертвенности») обсуждаются романы Дженни Эрпенбек и Ольги Токарчук, в которых для тирании выдуманных идеалов исключительности, разделяющих человечество и принуждающих к жертвенности, противовесом выступают уравнивающая всех материальность жизни, уязвимость и взаимозависимость, вопреки разным границам связывающая людей друг с другом, с животными, вещами и т.п. Именно в этих романах язык представлен не как знак исключительности национальной или интеллектуальной культуры, а как система коммуникации поверх границ — благодаря переводу на другой язык, обращению авторов к различным интеллектуальным тради-

2 См.: *Кристева Ю.* Силы ужаса: эссе об отвращении / Пер. с фр. А. Костиковой. СПб.: Алетейя; Харьков: Ф-Пресс, 2003.

циям, позволяющим читателям увидеть текст, порожденный чуждой культурой, как родной и близкий.

Во второй главе («Границы паранойи»), посвященной книгам Герты Мюллер и Анны Бёрнс, на первый план выходит проблема коллективных верований, обеспечивающих индивиду ощущение причастности, достоинства и справедливости, но одновременно формирующих иллюзорную реальность, которую люди всячески оберегают, пытаясь для этого подчинить, дисциплинировать реальность подлинную, включая самих себя, чтобы приблизить ее к мечте. Таким образом, даже идеалы свободы начинают требовать авторитарных методов — для поддержания иллюзий. Эта проблематика прочитывается Моррис через призму рассуждений Ханны Арендт о тоталитаризме[3], самое страшное в котором, по мысли Арендт, почти полное отсутствие возможности мыслить иначе, вне категорий «параноидального» воображаемого социального и политического мира власти. Именно на этих возможностях самого разного толка — от умения подмечать не отвечающие идеалу детали жизни до женской солидарности, — выступающих в анализируемых текстах как пространства свободы, и фокусирует свое внимание исследовательница.

Проблематикой тела и его значения для идентичности человека объединены роман Чики Унигве о нигерийских девушках, вывезенных в Антверпен для работы проститутками, и роман Мейлис де Керангаль о пересадке сердца погибшего серфингиста, рассматриваемые в третьей главе («Тела без границ»), центральной с точки зрения композиции книги. Моррис обращается к ключевому из сформулированных во «Введении» тезисов о несводимости человека к его телесному воплощению и о том, что тело, вроде бы определяющее физическую сепарированность индивида, вовлечено в целую сеть отношений, заставляющих переосмыслить его сингулярность. Схожее оспаривание замкнутости и отграниченности, но уже на уровне больших сообществ автор обнаруживает и в книгах Магды Сабо и Элены Ферранте (глава «Двери в класс и в культуру»).

Последняя пара романов служит материалом для рассуждений о границах национальной идентичности, в контексте которой и ненависть, и миф о национальных героях являются результатом дискурса об исключительности. В посвященной этому вопросу главе («Легенды о героях, наследие ненависти») анализируются романы Алки Зеи и Элиф Шафак, в которых затронуты болезненные и неоднозначные (в перспективе Моррис) аспекты национальной истории; в первом случае это борьба Греции за национальное освобождение, во втором — сложное переплетение историй армянской и турецкой семей в Стамбуле. К этой проблематике примыкает и «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко, отдельно рассматриваемый в завершающей главе. Эта глава и «Введение» служат обрамлением для анализа фикциональных нарративов, возвращающим читателя в актуальное политическое пространство, в котором бытуют уже сами произведения — не только художественные, но и политические высказывания.

Столь четкая, выверенная структура работы с последовательным анализом одного текста за другим может вызвать сомнения, особенно если учесть, что пары намеренно составлены из романов, сильно различных с точки зрения культур, к которым принадлежат их авторы (немецкая и польская писательницы в первой главе, греческая и турецкая — в последней и т.п.), или с точки зрения их сюжетов. Казалось бы, основной идее исследования лучше соответствовало бы свободное связывание всех текстов в рамках того или иного аспекта проблемы. Однако по мере чтения книги Моррис выявляется множество нюансов, исподволь подрывающих идею

3 См.: *Арендт Х.* Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И.В. Борисовой, Ю.А. Кимелева и др.; под ред. М.С. Ковалевой, Д.М. Носова. М.: ЦентрКом, 1996.

четких границ, так же как в анализируемых художественных произведениях обнаруживается общая ткань жизни, существующая вопреки барьерам и преодолевающая их. Все главы построены по единому принципу: берутся два романа, каждый помещается в свой исторический контекст, в свете которого затем анализируется. Однако при этом каждая глава написана чуть иначе, чем остальные: где-то есть общее введение, а где-то — заключение, где-то выделенные разделы подчеркивают различие, а где-то — единство. Например, одна из подглав первой главы называется «Пересечение границ», а другая — «Возвращение границ»; во второй главе каждому роману отведена подглава с одинаковым названием — «Пространства свободы». Избираемые исследовательницей контексты тоже не однородны, они по-разному соотносятся с автором и произведением. Так, если роман Унигве прочитывается во вполне ожидаемом контексте колониализма и работорговли, то произведение француженки Керангаль, повествующее о французском же серфингисте, чье существование поддерживается медицинскими аппаратами, пока решается вопрос с донорским сердцем, неожиданно также помещается в постколониальную проблематику, связанную с южноафриканским пионером в области трансплантологии сердца Кристианом Барнардом. Эта текучесть, подвижность с виду жесткой структуры, сближение того, что кажется противопоставленным, размывающее выстроенные самой исследовательницей нарративные границы, представляет собой одну из самых интересных особенностей работы.

Однако если подойти к книге не как к сумме рассуждений, а как к составленному определенным образом высказыванию, то возникает ряд вопросов — и некоторая неудовлетворенность. Проблема перевода как преодоления границ, выдвинутая на первый план в сложно построенном заголовке «Политика границ в переводных романах европейских писательниц», не находит отражения в том, как сама Моррис работает с выбранными ею текстами. Если роман изначально написан не по-английски, она имеет дело с английским переводом, что вполне понятно, учитывая культурное и языковое разнообразие авторов. Моррис старательно указывает в сносках имена переводчиков, но никак не проблематизирует тот факт, что работает с текстом, уже преодолевшим культурные и языковые границы. Что именно происходит с текстами, разрушающими эти барьеры, какой ценой дается такое преодоление? Все вопросы культурного перевода, которые обсуждались так много, что даже заслужили название «переводческого поворота», и которые упоминаются во вводной части исследования, совершенно выпадают из той оптики, которую выстраивает Моррис. Даже такие простые вещи, как смена имени собственного и, следовательно, в какой-то мере идентичности, — как у произведений («Фата-моргана»/«На улице Черных сестер», «Я бы предпочел не встречаться с собой сегодня»/«Встреча»), так и у героев (скажем, в английском переводе романа Керангаль серфингист, чье еще живое тело является «главным героем» повествования, сменил фамилию с Лимбре/Limbres на более «французскую» для англоязычного читателя Лимбо/Limbeau), — не комментируются и не учитываются. А объясняя, почему при такой проблематике ее выбор ограничен европейскими писательницами, Моррис естественным образом, без каких-либо комментариев принимает гегемонию английского языка как средства межкультурного общения (с. 18). Оригинальные издания изучаемых ею произведений выпадают из поля зрения — не только не анализируются, но и вовсе отсутствуют как не имеющие значения в мире, где языковые границы должны преодолеваться, и не упоминаются даже в сносках.

Это невнимание связано с другим досадным обстоятельством: рассуждение Моррис о преодолении границ, о взаимозависимости и взаимосвязанности парадоксальным образом выглядит очень одиноким — изолированным от тех тради-

ций, в которых проблематизировалась идея границ, в том числе тех, которые сама Моррис называет ключевыми: национальных, расовых, гендерных и т.п. Так, во «Введении», где сформулированы основные критические положения о границах и их культурной обусловленности, помимо литературных произведений и гоббсовского «Левиафана», она ссылается лишь на пять критических исследований очень разного характера, принадлежащих Маргарет Макмиллан, изучающей наследие Гоббса, политическим философам Ханне Арендт и Жаку Рансьеру, Юлии Кристевой и Марине Уорнер — специалисту по политике перевода. Эта исключительность рассуждений, возможно, тоже намеренная, во всяком случае, не вводящая никаких противопоставлений в силу игнорирования усилий других авторов, рассуждающих о близких Моррис проблемах, «естественным» образом воспроизводит границу, тоже не раз обсуждавшуюся, — границу дисциплинарного знания и языка описания, в данном случае тех, что имеют отношение к традиции литературоведения. Хотя Моррис и обращается — преимущественно для восстановления контекста бытования того или иного романа — к работам историков, психоаналитиков, философов и т.п., эти обращения отрывочны и порой производят впечатление случайных, что несколько портит впечатление от книги.

Впрочем, все это имеет значение, если читатель оценивает книгу в рамках — или границах — академического знания, правила построения которого (как известно, не гарантирующие «научного» результата) разрушаются, часто вполне намеренно, в поле феминистской критики, в котором работает Пэм Моррис, являющаяся к тому же независимым исследователем. «Политика границ...» издана в серии издательства «Блумсбери», посвященной мировому женскому литературному творчеству и нацеленной на демонстрацию и изучение его многообразия. С точки зрения содержащейся в ней критики социально-политической действительности книга Моррис представляет собой интересно построенное и достойное внимания высказывание, задающее важную перспективу для оценки очень разных текстов.

Сергей Коретко

Антиномии девианта:

маргинальность как социологическая, философская и политическая проблема

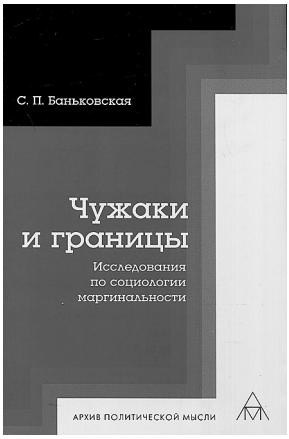
DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_346

Баньковская С.П. Чужаки и границы: исследования по социологии маргинальности.

СПб.: Владимир Даль, 2023. — 301 с. — 500 экз. — (Архив политической мысли).

«Чужаки и границы» Светланы Баньковской посвящены, пожалуй, одной из самых острых проблем современного мира — проблеме маргинальности и пограничности. Хотя автор работает преимущественно в поле социологической теории и социаль-

ной философии, изучаемая проблематика выходит за их пределы — она важна для политической теории и других социальных наук.



Если читать с начала, есть риск не сразу понять цель и основную идею исследования: книга предваряется введением редактора и начинается с обсуждения абстрактного понятия Другого. Наиболее же ясно задумка и ключевой аргумент автора сформулированы в заключении, поэтому начинать знакомство с книгой следует с него. Итак, основная идея Баньковской состоит в следующем. В современном мире, переживающем глобализацию, универсализацию, урбанизацию, политические катаклизмы и катастрофы, массовую миграцию, крушение государств и изменение границ, конфликт поколений и т.п., состояние маргинальности приобрело всеобщий масштаб, то есть распространилось на все общество в целом. Универсальность этого феномена породила множество несоизмеримых подходов к интерпретации маргинальности в социологической теории: социально-психологический, структуралистский, культурологический, институциональный и т.д., не говоря уже о рассмотрении сопутствующих проблем в смежных дисциплинах. Хотя множественность подходов к изучению феномена маргинальности и позволяет получить представление о разных его аспектах, она не дает целостного понятия, которое могло бы служить ориентиром для эмпирических исследований по социологии маргинальности. Поэтому Баньковская ставит перед собой цель описать идеальный тип маргинальности — создать такую интеллектуальную конструкцию, которая, с одной стороны, схватывала бы ключевые сущностные признаки феномена, а с другой — служила бы герменевтическим инструментом для изучения бесконечного многообразия его социальных проявлений.

Книга состоит из пяти глав. Первая, наиболее философская, посвящена социальной онтологии понятия Другого, которое, как убедительно показывает автор, необходимо для серьезного разговора о феномене маргинальности. Там же схематично рассмотрены основные положения важнейших для автора теоретиков инаковости и маргинальности: Георга Зиммеля, Альфреда Шюца и Роберта Эзры Парка. Во второй и третьей главах — центральных и наиболее ценных для социальных теоретиков — концепции этих авторов рассматриваются более подробно, а также тщательно описываются ключевые характеристики феномена маргинальности. Наконец, последние две главы, посвященные институциализации маргинальности (в формах миграции и гражданства) и структурной маргинальности в современном городе, представляют собой попытку применения разработанного автором идеального типа для осмысления эмпирической реальности.

Прежде чем рассматривать собственно маргинальность, или социальный опыт пограничности, Баньковская обсуждает социально-философские предпосылки понятия Другого, которые относятся к сфере социальной онтологии, или наиболее фундаментальных основ общественного бытия. Опираясь на неокантианскую и феноменологическую традиции, автор утверждает, что именно Другой является наиболее базовым элементом общества. По сути, речь идет о допредикативном основании общественного бытия, о первичной неразличимости, предшествующей разделению на субъект и объект познания. Поскольку общество как особая реальность предполагает существование субъект-субъектных отношений, в которых субъект познания взаимодействует с подобными себе другими людьми, будучи и сам другим по отношению к окружающему обществу, то можно утверждать сле-

дующее. Общество, состоящее из инаковых людей, имеет в качестве своего объективного, неизменного, неразложимого на элементы онтологического основания принцип инаковости и различия, или, иными словами, фундаментальную неопределенность. Вне зависимости от социальной ситуации, исторической эпохи и т.д., всегда в обществе будет присутствовать элемент неопределенности, который, как показывает Баньковская, выступает в качестве ключевого условия для структурирования социального порядка.

Между тем Другой — это отвлеченная конструкция, результат так называемой самоочевидной типизации. Эта категория слишком абстрактна для изучения эмпирической действительности, а значит, она должна быть опосредована другими категориями, более приближенными к повседневному социальному опыту и реально существующим индивидам. Такими категориями для Баньковской являются Чужак и Маргинал. Рассуждая о фигуре Чужака, она опирается на Георга Зиммеля, согласно которому Чужак представляет собой конститутивное исключение, служащее основанием любой социальной группы. Его главная характеристика — одновременность близости и дали по отношению к группе: Чужак всегда является ее частью, но, будучи неподконтрольным ей, неконформным элементом, опознается в качестве чужеродного элемента, потенциально угрожающего ее целостности. Именно поэтому Чужак имеет большое значение для консолидации общества: его существование позволяет группе осознать себя посредством противопоставления тому, чем она не является. Зиммель также указывал, что распространение функции Чужака является прямым следствием современности и процессов универсализации. Чем более универсальна, инклюзивна и многочисленна группа, тем большее место занимает в ней случайное и чужеродное и тем менее она внутренне сплочена. Баньковская пишет, что Чужак в версии Зиммеля — это пространственная категория, парадоксальное тождество близкого и далекого, угрожающее пространственной гомогенности общества.

Наряду с пространственным аспектом автор подчеркивает важность и темпорального измерения категории Чужака. Для этого она обращается к феноменологической социологии Альфреда Шюца. Как и Зиммель, Шюц утверждал, что Чужак является объективно существующим элементом общества, не вполне вписывающимся в окружающий культурный контекст, но добавлял к этому историческое измерение. Чужаками становятся как новые члены группы, например мигранты, которые хотя и вписались в новые для себя социальные роли, но все же исключены из общего прошлого группы, так и старые. Таков случай «вернувшегося домой» члена группы, который, испытав опыт Чужака, оказался в ситуации, когда пути его и прежнего социумов разошлись.

По мысли Баньковской, рассматриваемый в пространственном и временном разрезах Чужак является актуализацией фигуры Другого: эта категория позволяет прояснить отвлеченное понятие Другого, приблизить его к повседневной социальной реальности, использовав для описания ситуаций неопределенности, пограничности и амбивалентности. Но одной этой категории недостаточно. Помимо чуждости и инаковости Баньковскую интересуют пограничность и гибридность социальных групп, поэтому она обращается к категории Маргинала, опираясь на исследования Роберта Парка. Основной сущностный признак Маргинала — пограничность, то есть промежуточное положение. Он находится между разными социумами, разными культурными и другими контекстами, не принадлежа полностью ни к одному из них, буквально является олицетворением и воплощением межкультурного конфликта. Такое положение чревато психологическим дискомфортом и экзистенциальной неуверенностью, но в то же время позволяет быть более «свободным», не скованным рамками и конвенциями одной культуры. По этой при-

чине Маргинал влияет на общество во многом благотворно. Его ключевая роль в том, чтобы сохранять место потенциальному и нереализованному в обществе, пространство для динамизма и перемен. Более того, парковский Маргинал (как и Чужак Зиммеля) одновременно является как субъектом, так и объектом процесса универсализации. Маргинальность — это прямое следствие усложнения общества, процесса цивилизации, превращения традиционных, закрытых общин в современные нации, а затем и в наднациональные сообщества.

Сравнивая концепции Зиммеля и Парка, Баньковская отмечает их преемственность и близость в пространственном определении инаковости. Вместе с тем она указывает на фундаментальное, едва ли разрешимое противоречие. С одной стороны, фигура Маргинала связана с конструктивными процессами универсализации и распространения цивилизации. Собственно говоря, Маргинал и возникает из столкновения культур в ходе миграций, строительства наций и развития международного сотрудничества. С другой стороны, тот же процесс порождает новые конфликты, разломы, способствует фрагментации и угрожает социальному порядку. По мысли Баньковской, обе стороны необходимы, поскольку для общества одинаково вредны как излишне успешная социализация индивидов, превращающая их в послушных конформистов, так и полный провал социализации, ведущий к распаду социального порядка.

Сконструировав идеальный тип маргинальности с опорой на социальную онтологию Другого, неустойчивую и подвижную во времени и пространстве фигуру Чужака и воплощение социального и культурного конфликта в пограничной фигуре Маргинала, автор пробует в последних двух главах навести мосты между социальной теорией и эмпирическими исследованиями маргинальности, отшлифовав по ходу дела свой теоретический инструментарий. Выбор пал на две проблемные области — институциализацию маргинальности в процессе пересечения политических границ (на примере исследований миграции и гражданства) и маргинальность в современных городах. Почему на них? Во-первых, сегодня именно трансграничные миграции, а в ряде случаев и изменения самих границ напрямую связаны с выпадением групп людей, а то и целых наций, из стабильного состояния в промежуточное или неустойчивое, то есть маргинальное. Во-вторых, именно город в силу присущих ему анонимности, массовости, отчуждения и универсализации оказывается самым благоприятным местом для обитания маргиналов разного типа. А кроме того, социология уделяла большое внимание и тому, и другому. Соглашаясь с этими доводами, нельзя все же не отметить некоторой произвольности в выборе сюжетов для эмпирического изучения маргинальности. В частности, эта тема едва ли может быть адекватно рассмотрена без учета классового разделения общества и обращения к социологии неравенства.

Так или иначе, Баньковская полагает, что институционализация маргинальности неразрывно связана с границами. В современном мире возможны как преодоление границ посредством миграционных потоков, так и их изменение, например в результате распада государств. В обоих случаях происходит маргинализация и переход в нестабильное состояние широких групп населения, если не целых обществ. Автор останавливается на последствиях распада СССР, в частности на притеснениях бывших советских граждан нетитульной национальности в агрессивных постсоветских этнократиях, а также анализирует нестабильный характер российского гражданства после распада Советского Союза, в каком-то смысле поставившего в маргинальное положение все общество. Применение идеального типа маргинальности к конкретным социально-политическим реалиям конца XX — первой четверти XXI в. показывает, что эта категория имеет очевидную тенденцию к универсализации и распространению в пределе на весь социум. Проницаемость гра-

ниц, упадок старых авторитетов, распространение альтернативных способов жизни и другие факторы привели к тому, что в известной степени мы все маргиналы. Мы живем в мире, где нормой стало отклонение от нормы.

Наконец, обращаясь к концепциям современной урбанистики, Баньковская утверждает, что современный город — фронтир социальных перемен, характеризующийся транзитивностью, множественностью стилей жизни, гетеротопичной гибридной средой, «пористостью» и креативностью, — является естественной средой для жизни маргиналов и для воспроизводства маргинальности. Социальная среда города, сама по себе маргинализирующая, представляет собой констелляции индивидов, которые характеризуются контрфинальностью. Другими словами, эти констелляции формируются множеством не согласованных между собой действий, отчего городская среда оказывается непредсказуемой и неконтролируемой. Автор анализирует ряд техник изучения подобной среды, в частности восходящую к идеям Вальтера Беньямина, а также социальный типаж фланера — праздношатающегося члена толпы, одновременно исполняющего роли детектива и незаинтересованного наблюдателя.

«Чужаки и границы» — интересная работа в области теоретической социологии, к тому же весьма полезная для понимания происходящих на наших глазах общественно-политических процессов. Поднятые автором вопросы выходят за рамки социологии — книгу можно рекомендовать философам, политическим теоретикам, антропологам и историкам. Продуктивным видится обращение к социальной онтологии Другого, не лишена теоретической ценности работа с пространственными и темпоральными аспектами маргинальности. Вместе с тем выбор этого последнего понятия для обсуждения нестабильности и подвижности современного мира и сам достоин обсуждения. Дело в том, что теоретическое рассмотрение социальной нестабильности возможно с использованием других понятий, таких как чрезвычайное положение, исключение, прекарность и т.д. Хотя автор и ограничилась областью социологической теории, однако междисциплинарный и во многом философский характер исследования все же предполагает диалог с теоретическими традициями, рассматривающими похожие проблемы.

Далее, несмотря детальный анализ социальной онтологии Другого и фигур Чужака и Маргинала в социологической теории, проблематична роль субъекта в авторской концепции маргинальности, а также ее онтологические основания. Философская ориентация автора — кантианская, для которой Другой и в принципе маргинальность выводятся в конечном счете из допредикативного, нередуцируемого основания общества, выраженного в принципе различия. Это основание предстает в роли неопределенного, темного объекта — не друга и не врага, не своего и не чужого и т.д. (Здесь можно, сославшись на Джиллиан Роуз, заметить, что социологической теории вообще свойственна ориентация на кантианский трансценденталзим[1].) При гегелевском же и марксистском подходах такое допредикативное основание трактовалось бы в качестве не отдельного объекта, а негативности социального бытия как такового, из чего следовало бы, что маргинальность есть инобытие общества, потенциал для его трансформации. Баньковская подчеркивает творческий и креативный потенциал типажа Маргинала, но в то же время возникает вопрос о переосмыслении маргинальности в контексте теории субъекта: в какой степени маргинальность связана с субъектом, или особой частью общества, способной к радикальной трансформации общественного бытия? При всестороннем рассмотрении этого вопроса не избежать диалога как минимум с Марксом, кото-

1 См.: *Rose G.* Hegel Contra Sociology. London; New York: Verso, 2009.

рого, как ни крути, все же нельзя вычеркнуть из канона социологической теории. У Маркса есть категория пролетариата, столь же известная, сколь и амбивалентная. С одной стороны, в «Критике гегелевской философии права» пролетариат определяется как продукт разложения классового общества: это буквально отброс общества, исключенный, маргинал, которому нечего терять, потому-то он и может стать революционным субъектом. Однако в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» проводится различие между промышленным пролетариатом, способным возвыситься до борьбы, и опустившимся деклассированным люмпен-пролетариатом — пешкой в игре господствующих классов. Остается нерешенным вопрос: может ли маргинальность быть основой субъективности или она скорее является препятствием на пути формирования политического субъекта?

Конечно, следование этой линии не означает, что нужно непременно соглашаться с Марксом. И все же то, как расставлены в книге акценты, во многом приводит к недооценке таких аспектов маргинальности, как политический антагонизм, борьба за признание, классовый конфликт и т.п. Продуктивным был бы диалог концепций маргинальности с концепциями, отсылающими к диалектической и гегельянской логике, например с теориями диалектики раба и господина Александра Кожева, пролетариата как субъект-объекта истории Дьёрдя Лукача, события-истины Алена Бадью и др.[2]

Кроме того, не до конца продуманным представляется тезис об универсализации маргинальности. С одной стороны, он имеет эмпирические подтверждения, то есть доля правды здесь есть. Но, с другой стороны, в нем содержится логическое противоречие, ведь если все являются маргиналами, тогда ими не является никто. Если нормы больше нет, то где же критерий отклонения от нее? В строгом смысле универсализация маргинальности должна означать полный распад социального порядка, который Карл Шмитт называл эсхатологическим параличом, а Ленин — революционной ситуацией. Автор, однако, подобных исторических переломов не касается.

В связи с этим возникает вопрос: не является ли универсализация маргинальности, проявляющаяся, например, в пермиссивных социальных нравах и поощрении прежде девиантного и осуждаемого поведения, всего лишь более продвинутой формой поддержания социального порядка? Здесь можно вспомнить концепцию «тирании бесструктурности» Джо Фриман или социальную критику группы «Тиккун», в которой перманентно промежуточное состояние, воплощаемое в типаже Девушки, совершенно пустого существа, служит примером максимального, предельного конформизма[3]. Из отечественных авторов похожие тезисы выдвигал Эдуард Лимонов в «Дисциплинарном санатории»: по его теории, настоящие маргиналы, «возбуждающиеся» герои, оказываются главным угнетенным меньшинством, тогда как медиа и весь социальный порядок производят притворных маргиналов, псевдогероев — с целью поддержания тотального конформизма и лояльности населения господствующему порядку[4].

---

2 См.: *Кожев А.* Введение в чтение Гегеля: Лекции по феноменологии духа, читавшиеся с 1933 по 1939 г. в Высшей практической школе / Сост. и публ. Р. Кено; пер. с фр. А.Г. Погоняйло. СПб.: Наука, 2003; *Лукач Г.* Что такое ортодоксальный марксизм? // Лукач Г. История и классовое сознание: Исследования по марксистской диалектике / Пер. с нем. С. Земляного. М.: Логос-Альтера, 2003; *Badiou A.* Being and Event. New York: Continuum, 2005.

3 См.: *Freeman J.* The Tyranny of Structurelessness // Berkeley Journal of Sociology. 1972. Vol. 17. P. 151—164; *Тиккун.* Теория девушки: Предварительные материалы / Пер. с фр. С. Михайленко. М.: Гилея, 2014.

4 См.: *Лимонов Э.* Дисциплинарный санаторий. СПб.: Амфора, 2002.

Вероятно, имеет смысл говорить о смене способов маргинализации в либеральных обществах конца XX — первой четверти XXI в. имея в виду расцвет так называемого правого популизма или, скажем, избрание президентом США Дональда Трампа. То, что совсем недавно с позиции общественного консенсуса рассматривалось как абсолютно маргинальное, обреченное на поражение, побеждает в открытой борьбе и стремится уже маргинализировать своих оппонентов… Как видим, Светлана Баньковская поставила острые и актуальные вопросы, что делает ее книгу приглашением к серьезной общественно-политической рефлексии о феномене маргинальности во всех его проявлениях.

Дмитрий Колчигин

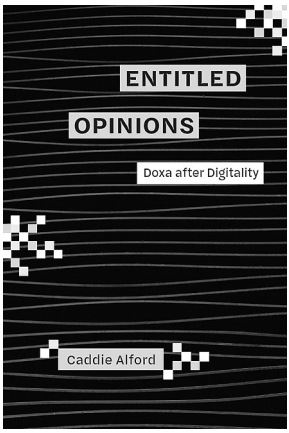
Фигуры неориторики

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_353

Alford C. Entitled Opinions: Doxa after Digitality.
Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2024. — XII, 228 p. — (Rhetoric + Digitality).

Lombardinilo A. The Lure of Communication: Sociology through Rhetoric.
L.: Palgrave Macmillan, 2024. — X, 363 p.

Каковы место и задачи риторики в цифровизированном обществе XXI в.? На этот счет возникают все новые теории, подходы множатся, а вместе с ними возрастают и объемы специальной литературы. Чаще всего речь идет об истолковании риторических феноменов с герменевтических, металингвистических и социологических позиций, иногда — с возвратом к классической традиции, иногда — с ее тотальным перетолкованием. Книги, о которых пойдет речь, вполне вписываются в этот тренд, и в то же время они во многом отражают противоположные методологические позиции, репрезентируя два полюса одного интеллектуального целого.



Монография Кэдди Элфорд, доцента кафедры английского языка в Университете Содружества Виргинии, представляет собой многостороннее исследование понятия, в классической риторике занимающего достаточно скромное положение[1], однако с середины XX в. возвысившегося в своем значении, — это понятие о «мнении», или, в греческой терминологии, о «доксе». Прообразом своей книги Элфорд называет «Сеть убеждений» Уилларда Куайна и Джозефа Уллиана — учебное пособие по философии и методологии науки, опубликованное в 1970 г.[2] Куайн и Уллиан, по словам Элфорд, писали в «очередную эпоху постправды» (имеется в виду тогдашний кризис американского общества, расколотого антивоенными протестами и студенческими выступлениями) и по прагматической не-

1 М. Мифсуд определяет доксу как «неизменно присутствующее, хотя и неписаное культурное знание, всеми до определенной степени разделяемое» (*Mifsud M.* Rhetoric and the Gift: Ancient Rhetorical Theory and Contemporary Communication. Pittsburgh, 2015. P. 71). Схожим образом можно описать и положение доксастических систем внутри риторической науки, классической и средневековой: представление о мнениях как таковых в тривиуме хотя и затрагивается, но все же во многом остается «неписаным», хотя к нему восходят многие доказательные и инвентивные практики.

2 См.: *Quine W.V., Ullian J.S.* The Web of Belief. 2nd ed. N.Y., 1978. Между тем есть как минимум две относительно известные работы, к которым книга Элфорд примыкает гораздо теснее: это влиятельная статья М. Розенгрена «О доксе» (*Rosengren M.* On Doxa — the Epistemology of the New Rhetoric // Scandinavian Studies in Rhetoric: Rhetorica Scandinavica 1997—2010 / Ed. by J.E. Kjeldsen, J. Grue. Ödåkra, 2011. P. 156—167; рус. пер.: *Розенгрен М.* К вопросу о doxa: эпистемология «новой риторики» / Пер.

обходимости выстроили сугубо современную систему, в которой центральное положение занимают не истины, а убеждения. Характеристика убеждений как сетевого явления и их взаимоисключающее противостояние с истинами заставляют Элфорд провести параллель между интенцией Куайна — Уллиана и собственной интенцией, нацеленной на разработку новой доксастической теории в ее приложении к цифровому обществу и его медиуму — социальным сетям.

По мысли Элфорд, ее «Правомочные мнения», как и «Сеть убеждений», отвечают на вызовы антирациональной эпохи, резко отворачивающейся от фактов в пользу субъективизма, релятивизации и умножения истин. При этом предлагается традиционный эпистемологический подход: дискурс подразделяется на мнение и знание, в «напряженной динамике» которых можно обнаружить своеобразное равновесие. Правда, сами эти термины, «мнение» и «знание», Элфорд считает в западной традиции перегруженными, поэтому она возвращается к истокам и выстраивает книгу как переосмысление классических платоновских понятий, нуждающихся не в переводе, а в истолковании[3]. «Возможно, философы сослужили нам дурную службу, сфокусировавшись на знаниях и не замечая убеждений», — Элфорд особенно выделяет этот тезис Куайна и Уиллиана[4] и называет эпохи постправды барометром для нашего отношения к таким явлениям, как мнение и убеждение. Разрабатываемая в книге «аффирмативная теория мнений» (с. 6) преимущественно опирается на социально-сетевую лингвистическую материю, и сама Элфорд настаивает на таком подходе, нисколько не считая его односторонним или тенденциозным: социальные медиа, утверждает она, синонимичны мнениям как таковым и синхроничны с ними (с. 3)[5]. Возврат к классической терминологии происходит во вполне феноменологическом духе и предполагает как минимум временную приостановку исторических допущений. С одной стороны, подход этот

с англ. Д. Воробьева // Вопросы философии. 2012. № 6. С. 63—72), а также продолжающая эту линию монография Э. Бенгтсона «Эпистемология риторики» (*Bengtson E.* The Epistemology of Rhetoric: Plato, Doxa and Post-truth. Uppsala, 2019). См. также: *Kuypers J.A.* Doxa and a Critical Rhetoric: Accounting for the Rhetorical Agent through Prudence // Communication Quarterly. 1996. Vol. XLIV. P. 452—462; *Amossy R.* Introduction to the Study of Doxa // Poetics Today. 2002. Vol. XXIII. No. 3. P. 369—394.

3 «В этой книге, — пишет автор, — пересматривается динамика между древнегреческими терминами, обозначающими знание и мнения: эпистема и докса» (с. 7). На практике же понятие об ἐπιστήμη в книге едва затрагивается, и, как явствует из ее заглавия, в фокусе внимания неизменно остается δόξα. Вероятно, такая смысловая экономика и подразумевается в словах о динамическом пересмотре. Здесь же добавим, что слово δόξα у Элфорд — множественного числа (см. с. 10), а от формы δόξαι она отказывается («дабы с явностью продемонстрировать, что для современных мнений я ищу новые траектории», с. 11). Такой лингвистический ход — фиксация единственного числа — не вполне, пожалуй, отражает центральную идею книги, заключающуюся в том, что мнения как «коллективные истины» по природе своей противятся редукции и сингуляризации.

4 Тезис, отчасти вырванный из контекста: в данном случае не имелась в виду гносеологическая ценность убеждений как таковых — под ними подразумевалось предзнание в иерархическом восхождении к подлинному знанию через приведение убеждений к полноте и согласованию (см.: *Quine W., Ullian J.* Op. cit. P. 13—14).

5 Это утверждение базируется на следующих предпосылках: критика социальных медиа часто сливается с критикой доминирующих общественных перспектив; благодаря социальным сетям значительно возрастает наша информированность о мнениях. Следует ли отсюда, что соцсети «синонимичны» мнениям? Пожалуй, здесь мы имеем дело даже не с доксой, а со своего рода догмой современных социально-лингвистических исследований, которая большинству исследователей кажется самоочевидной и в особых доказательствах не нуждающейся.

жизнеспособен и многократно опробован, но с другой — в контексте разговора о мнениях, об их риторической и даже коммуникативной ценности — исходная точка, подразумевающая снятие мнений как таковых, кажется почти парадоксальной. Впрочем, в дальнейшем Элфорд последовательно отвергает диалектику доксы и парадокса и субординирует парадоксальность как частный случай доксальности[6].

Терминологическое изыскание Элфорд начинает с общего экскурса о софистическом и философском понимании доксы: Платон, противопоставляя неизменные истины колеблющимся мнениям, возвышает эпистему и отбрасывает доксы, что позволяет Элфорд провести параллель между «Горгием» и «маргинализацией мнений» в современном обществе. Аристотель, в отличие от Платона, дифференцирует знание и мнение в социальных контекстах и делает более условным как первое, так и второе: «Знание нуждается в правильном изложении, а мнение сохраняет свою актуальность в зависимости от его восприятия и распространения» (с. 8). Все это методическое изложение представляется упрощенным: так, Элфорд не упоминает о доксастической системе из диалога «Теэтет», которая не вполне вписывается в представленную «объективистскую» картину и содержит в себе представление об «ортодоксиях», или «правильных мнениях», предвосхищающих аристотелевские эндоксы.

Это последнее понятие обретает в книге Элфорд если не новую жизнь, то особое значение: представление о «правомочном» мнении напрямую связано с этим аристотелевским концептом; под эндоксой понимается общепринятое мнение, хотя бы отчасти затрагивающее истину и служащее подобающим основанием для дискурса (можно сказать, что Куайн и Уиллиан в цитируемых у Элфорд фрагментах имеют в виду именно эндоксу). Понятие об эндоксе как о своеобразной промежуточной стадии между доксой и эпистемой становится опорной точкой, помогающей, по мысли автора, преодолеть укоренившееся представление о мнении как о яблоке раздора, инструменте всеобщего разделения. Существование эндокс, или наиболее достоверных мнений, подразумевает, во-первых, что сами мнения группируются в социологическом контексте (эндокса принимает во внимание социальную реальность, в которой статус определенных групп позволяет им обобщать и проецировать свои убеждения), а во-вторых — что любой доксастический дискурс (а Элфорд отождествляет его с риторическим дискурсом в целом) «требует коллективного напряжения коллективного же разума» (с. 26), поскольку градация убеждений от менее до более вероятных сама по себе уже требует от общества определенных усилий по дифференциации. Эндоксу Элфорд определяет как локальную истину сообщества, добавляя к этому, что эндокса «не способна говорить сама за себя» (с. 27). Понять это уточнение можно следующим образом: включение эндоксы во внешний, то есть не принадлежащий эндоксологическому сообществу,

6 См. у Элфорд критику делёзовской «Логики смысла», где докса определяется через ее противопоставление парадоксу; Делёз, пишет Элфорд, «пытался» противопоставить доксу как смысл парадоксу как бессмыслице, «предлагал поверить» в их разделение, но его концепция парадокса как порождения бессознательного, продолжает она, вполне способна включать в себя также и саму доксу в ее «чистой непознаваемости». Ошибка Делёза доказывается в книге при помощи следующей сентенции: «Докса… это не просто “мысль”, а способ мыслить с квантором всеобщности: докса есть сознательное бессознательное продумывание бессознательных сознательных мыслей» (с. 90). Что ж, при такой дефиниции отличить мнение от парадокса действительно сложно; между тем в первой главе Элфорд вводит в оборот редкий термин «адоксы», обозначающий беспочвенные мнения (в отличие, очевидно, от «правомочных мнений», упомянутых в заглавии книги), которые вполне могли бы включать в себя и сферу парадоксального.

риторический нарратив само по себе еще не является утверждением истины; вместо этого в эндоксах можно усмотреть контекстуальный фон и основы того социального соглашения, которое объединяет группу вокруг «общепризнанного» мнения («самый социальный путь к сути вопроса», там же).

Такого рода иерархизация мнений приводит автора к пересмотру инвентивных риторических практик и уточнению понятия инвенции в риторике сетевого типа[7]. Инвенция как произведение аргумента, утверждает она, представляет собой «практику поиска или интуирования доксы, работу с доксой, через доксу, ради установления доксы» (здесь вновь нельзя не заметить окказиональное обращение к терминологии Гуссерля, по существу несочетаемой с риторической теорией), причем такова она от начала, «вне зависимости от эпохи, техники или среды» (с. 137). Подобное сужение инвентивных техник с одновременным расширением доксастический сферы, как представляется, преследует цели не столько концептуальные, сколько констекстуальные: благодаря такому подходу Элфорд удается без особых проблем соотносить инвентивный подход (и таким образом, риторические механизмы в целом) с любыми тенденциями, заявлениями и прокламациями в социальных сетях. «Инвенция, — сказано в пятой главе, — становится синонимом социальных медиа»[8]. В этом смысле проводится параллель между инвенцией и доксой: и та и другая «стремятся к признанию» и «должны быть уместными» (с. 138). Впрочем, инвенция остается инструментальным процессом, и ее слияние с доксой как с рациональным объектом представляется крайне проблематичным даже на уровне семантики. Чтобы преодолеть этот лингвистический срыв, Элфорд вводит еще одно платоновское понятие, переосмысленное постмодернистами, —

---

7 Еще в начале книги Элфорд отмечает, что с точки зрения риторической теории книга о мнениях должна начинаться с рассмотрения «созависимых отношений» доксы и инвенцией, однако такой классический подход «означал бы, что с риторикой сегодня всё как обычно… Но с подъемом экстремистских стилей белого этнонационализма… распространением дезинформации… размыванием гражданского дискурса демагогическими уловками… мы не можем и не будем делать вид, что в современной риторике “всё как обычно”» (с. 15). Можно, видимо, утверждать, что современная риторика в представлении Элфорд вновь выродилась до софистики, а значит, рассматривать ее в рамках уже распавшегося риторического канона не представляется возможным. Эта мысль может быть продуктивной, но в данном случае она заставляет усомниться в авторском подходе: если риторические алгоритмы не функционируют, то правомерно ли вообще рассматривать социально-сетевой дискурс в риторических терминах, с риторической точки зрения, в риторическом обрамлении? Может ли простая перегруппировка методических блоков (перенос инвентивных практик в конец книги: см. пятую главу, которая так и называется — «Докса + инвенция») изменить что-то по существу? Здесь мы рассматриваем подходы, изложенные у Элфорд в пятой главе, перед выводами, приведенными в первой: такой подход представляется более естественным, пусть в нем и «всё как обычно».

8 То же самое выше утверждалось о доксе. При такой всеобщей «синонимичности» борьба за терминологию — а ведь вся книга направлена именно на терминологическое осмысление! — оказывается почти бесперспективной. Если само понятие мнения в сетевом контексте девальвируется, а одновременно с этим мнение тождественно доксе (изначально более широкому понятию), докса «синонимична» социальным медиа, а эти последние выстроены как риторическая инвенция, тогда докса равна инвенции и изначально девальвирована в рассматриваемых средах. Впрочем, возможно, здесь дело в невнимательности автора по отношению к мнимым «синонимам». Кроме того, разграничение между «мнением» и «доксой» Элфорд проводит лишь в методических разделах, в основном же тексте это взаимозаменяемые понятия; ср. заглавие книги, где в основной части фигурирует «докса», а в подзаголовке — «мнения».

χώρα. Если у Ролана Барта и Жака Лакана платоновская хора — как «процесс, становящийся субъектом» — предстает пространством сложных семиотических преобразований, то у Элфорд это функционалистский термин, примиряющий (в силу своей неопределенности) несопоставимое. Инвенция в цифровой сфере рассматривается как чистая трансформация, а сами цифровые доксы характеризуются как «скользящие модуляции» (там же). В этом смысле кажется логичным сопоставить хорическое начало с самой сетью как пространством, а не с инвенцией как процедурой[9].

Элфорд критикует (называя его романтизированным) представление об инвенции, не подразумевающее «схематизации доксы в качестве самой инвенции» (с. 141), а вместо этого включающее в себя доксу как материал и как компонент для инвенциональной концептуализации. В противовес предлагается ряд критериев, которым «современная» инвенция должна соответствовать, причем каждый вводится под многократный рефрен: «Почему так? Потому что такой нам хотелось бы видеть инвенцию» (см. с. 140—142). Любопытно, что за критикой «романтической» инвенции скрываются следующие характеристики инвенции новой (хорической или доксастической, как ее называет Элфорд[10]): «Инвенция переизобретает собственный вопрос… ее механизмы — это загадка… история внутри истории… благословение и проклятье…» Что ж, поскольку понятие романтической инвенции уже занято, здесь, наверное, уместно говорить об инвенции декадентской.

Хора становится у Элфорд едва ли не всезначным, анархическим термином, способным разрушать любое содержание, сохраняя при этом видимость формы. «Старая» инвенция, которая вслед за Ульмером именуется здесь топической, подразумевает работу с локализованным материалом, в то время как «хорическое» принципиально не имеет общего места, и всякая попытка его риторизировать просто превращает хору в топ (первую вообще можно понимать, как минимум по Аристотелю, в качестве своего рода разомкнутого пространства между сомкнутыми топами). Если же автор, как в нашем случае, намеренно и целенаправленно избегает топологии, то в инвентивном приложении хора почти тожественна хаосу и подразумевает уже не риторику, а скорее поэтику, причем очень специфическую потоковую поэтику, которую Александр Туфанов еще в первой четверти XX в. удачно охарактеризовал как «текучесть». Представляется, что накопленные социальносетевыми доксологами опыт и материал можно встроить в общую систему достаточно естественным образом, не нагружая риторические структуры постмодернистскими концепциями и в конечном счете не разрушая их: достаточно признать, что докса есть не что иное, как подвид топа, фигурального общего места, облегчающего аргументацию и направляющего ход рассуждения, то есть в каком-то смысле определяющего и само сознание оратора. Вспомним, что в аристотелевской

---

9 Автор тоже обращает внимание на это напрашивающееся заключение, но отвергает его, поскольку «цифровая хорическая инвенция куда сложнее» (с. 139), ведь в нем не учитывается первичная роль доксы, в то время как «хореоцифровая инвенция» реализуется исключительно через доксу. Элфорд добавляет: «Ничто цифровое… и ничто доксастическое не бывает законченным» (там же). В классической модели незавершенная инвенция считается просто некачественной, но здесь нам предлагается другая, достаточно спорная точка зрения, согласно которой завершенной риторической формы просто не существует.

10 Чтобы понять эту терминологию, необходимо обратиться к кн.: *Ulmer G.L.* Heuretics: The Logic of Invention. Baltimore, 1994. P. 61—78. Разграничивая топическую и хорическую инвенции, Грегори Ульмер, как и Элфорд, опирается на хорологический очерк Жака Деррида, и в этом смысле «новая теория мнений» оказывается вторичной или даже третичной.

«Топике», на которую опирается Элфорд в своих рассуждениях об эндоксе и адоксе, прямо сказано: топ есть производное от эндоксы, или общего мнения. Там же рекомендовано прилагать к доводам общеизвестные доксы, что сделает общий ход аргументации более убедительным, — то есть докса и топ в инструментальном смысле идентичны. Элфорд не игнорирует этот гораздо более простой подход: «Я признаю, что доксы так и просятся в раздел топов… Топологическая форма, как можно легко себе представить, активируется доксастическим содержанием». Но все же отвергает его: «Это означало бы, что доксы по сути являются предзаданными декларативными суждениями; я же утверждаю, что мнения возникают со временем и сопряжены с эмергентностью» (с. 98). Впрочем, как мы хорошо знаем из топологии XX в., система топов, или литературных топосов, тоже упорядоченно функционирует вне зависимости от изначальных топических интенций, а постепенное возникновение мнений в рамках теории систем мало чем отличается от жизни топа[11]. В обоих случаях речь идет о коллективном производном, которое становится «предзаданным» только в авторском, дискурсивном приложении и в любое время остается открытым к переосмыслению.

Наконец, нужно указать еще на весьма специфический стиль Элфорд, которая и сама упоминает о своих «стилистических рисках», призванных «высекать искры смысла» через ассоциативное мышление (с. 12). Выражается все это в обильной риторизации текста, полнящегося риторическими вопросами и — излюбленный метод автора — риторическими повторами, возведенными в систему (иные формулировки страницами венчают каждый абзац, повторяясь буквально десятки раз[12]). И это несколько удивляет, если учесть, что в книге не раз утверждается: риторика в классическом понимании есть «всего лишь риторика» (с. 36) и сегодня нельзя просто использовать ее методы — будто «всё как обычно» (с. 15).

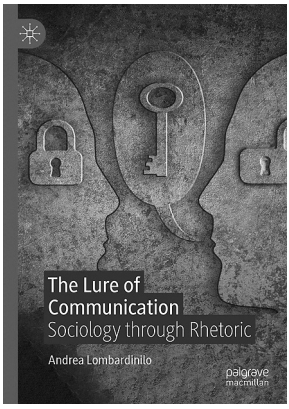
В целом «Правомочные мнения» — книга неровная и неоднозначная. В ней есть оригинальные и хорошо написанные разделы об античной риторической и философско-риторической традиции, среди которых особенно выделяется раздел с новым истолкованием платоновского «Горгия» в рамках адоксастической тео-

11 В послесловии Элфорд называет мнения аутопоэтическим явлением, «самопроизводящим и самодвижущимся» (с. 176). Впрочем, аутопоэтическая система по определению (см., например: *Luhmann N.* Autopoiesis als soziologischer Begriff / Aufsätze und Reden. Stuttgart, 2011. S. 137—158) поддерживает собственные границы, а следовательно, их имеет; другими словами, нелокализованные явления (в основном тексте книги отстаивается именно такое представление о доксах) аутопоэтическими быть не могут, сама же эта дефиниция явно свидетельствует в пользу топологической природы доксы.

12 См., например, с. 169—179, где максима «Все имеют право на свое мнение» повторяется с вариациями 27 раз. Местами тавтологическая риторичность с разного рода силлепсами и эпизевксисами становится вычурной и софистической, ср.: «…Предметом потребления является то, что всегда считалось предметом потребления и притом то, что не осознавалось как предмет потребления: само содержание, но не то содержание, в котором обнаруживается недостаток смысла; скорее предметом потребления является то содержание, которое обнаруживается в смысле некоего шестого чувства…» (с. 92). Другой пример всеохватной риторизации — сравнительно крупный фрагмент о медицинской вирусологии — о ДНК и РНК, протеинах и генах, — добавленный просто в развитие метафоры о «вирусном» контенте, наполняющем социальные медиа. К слову, в рассматриваемой ниже книге А. Ломбардинило подробно анализируются стратегии «риторики обозначения», порожденной колебаниями медиареальности, и ключевыми из этих стратегий называются как раз метафоризация (по Р. Сеннету) и тавтология (по Ж. Бодрийяру); «Магия нашей медиацивилизации заключается в ее тавтологической сути и метафорическом инстинкте» (с. 132).

рии (с. 29—37)[13]. Если в традиционном прочтении этот диалог представляет собой философскую критику софистической риторики, то у Элфорд он превращается в апологию риторического опровержения, направленного против адоксастических высказываний и тем самым имплицитно возвышающего высказывание доксастическое. Особое внимание уделяется тому факту, что адокса, как пишет Элфорд, активирует этическую реакцию: публичное высказывание адоксастического мнения вызывает у слушателя неловкость, и едва ли не ключевым для всего диалога в этом смысле становится понятие стыда (сюда же относится суждение об «оборонительной», или недобросовестной форме адоксы, которая отстаивается только ради «сохранения лица»), а сама адокса здесь определяется как «риторический механизм, посредством которого мы совместно переживаем и понимаем стыд» (с. 36). Адокса в этой системе становится, так сказать, тенью доксы и вбирает в себя все негативные коннотации, которые преследовали доксу на протяжении западной истории[14].

С другой стороны, книга явно страдает от нехватки философского и лингвофилософского осмысления проблемы. Не поднимаются вопросы о том, насколько вообще социально-сетевое высказывание можно считать риторическим (что подразумевало бы интенцию, существование которой неочевидно), каково, скажем, место такого высказывания в системе речевой деятельности (в частности, выделению подлинно риторических элементов, скорее всего, помогла бы методическая классификация собранного в книге социально-сетевого корпуса с точки зрения речевых актов). И в целом «новая теория мнений», которую автор берется сконструировать в предисловии, так и остается умозрительным проектом. Тем не менее при всех терминологических проблемах и некоторой бессистемности книгу Элфорд можно рассматривать как сборник разноплановых эссе о поэтике медиасферы, условно связанных доксастической тематикой.



Совершенно иной подход к теме прослеживается в книге итальянского социолога Андреа Ломбардинило «Притягательность коммуникации», посвященной вопросам риторики в социологии современного общества[15]. Она открывается ключевыми методическими вопросами: какое место занимает риторика в эпоху «мейнстримного дискурса и глобализованной информации» (с. 2) и как современная социология может (если в принципе может) инкорпорировать риторические «паттерны»? Исследование коммуникации, как показывает Ломбардинило, невозможно без одновременного применения социологических и риторических методов. Поэтика повседневной речи с ее неизменной метафоризацией, пересечение письменного

13 Само понятие об адоксе у Платона не встречается, но Элфорд не без оснований отождествляет с адоксами мнения, противопоставленные в его концепции опыту.

14 Этот интересный и многообещающий подход, который сама Элфорд называет главной мыслью своей книги (с. 16), к сожалению, изолирован в первой главе и практически не проецируется в других фрагментах, разве что подразумевается. Среди других ценных фрагментов, затрагивающих античную теорию, можно отметить рассуждение об эндоксах у Аристотеля (с. 122—125) и о хоре в «Тимее» (с. 144—148).

15 Заглавие восходит, вероятно, к английскому переводу одной из книг Юргена Хабермаса, одного из главных героев книги Ломбардинило: «The Lure of Technocracy» (в оригинале — более многозначно: «Im Sog der Technokratie»).

и устного, тесное сплетение (по Ричарду Сеннету) риторики и городской среды, наложение риторических парадигм на социологическую типификацию — все это тщательно рассмотрено или по крайней мере отмечено в теоретико-методологической части этого капитального исследования. Первичный подступ к каждому из этих вопросов возможен, как видно по книге, только через посредство семиотического анализа. К счастью, «Притягательность коммуникации» снабжена достаточно подробным обзором предшествующей литературы от Чарльза Райта Миллза и Кеннета Бёрка до новейших работ последнего десятилетия (с. 3—16), что позволяет, во-первых, взглянуть на проблему достаточно широко, а во-вторых — узнать историю самой постановки вопроса, самой возможности междисциплинарных переплетений, с которыми мы имеем дело в сегодняшней коммуникативистике. Интересен вывод Ломбардинило о том, что риторизация медиасферы есть результат «мифографического» характера самой этой среды с ее индуктивными моделями, существующими за счет недолговечных, постоянно подменяемых «символических осколков». Опираясь на бартовское разграничение риторических exempla и мифов (первые — это «риторическая индукция, основанная на интерпретативных и иконических моделях социальной динамики», вторые — «тип речи, в своей неизменности сформированный на фоне самой массовой коммуникации», с. 9), Ломбардинило проводит зеркальное разграничение — между классической, условно квинтилиановской риторикой и риторикой «новой», воспринявшей структуралистские установки. И материал устроен таким образом, чтобы эта зеркальность выявлялась сразу на нескольких уровнях, в оптике смежных мнений. Так, рассуждение Генриха Гейне из далекого 1828 г. о наднациональной взаимопонятности европейского риторического дискурса рассматривается через хабермасовскую призму[16], а поверх этого наложены наблюдения Ломбардинило о самом Хабермасе с его теорией коммуникативного действия (с. 12, 13, 252, 269—272); риторическая концепция, заложенная в основание «Новой науки» Джанбаттиста Вико, прочитывается сквозь призму интерпретаций Роджера Сильверстоуна, Исайи Берлина и Маршалла Маклюэна (с. 14, 15, 148, 182, 290).

Книга Ломбардинило во многом проясняет проблемы социально-сетевого подхода к риторике, представленного у Элфорд и вообще характерного для современной науки. Акцент в этих исследованиях настолько смещается в сторону сетевого аспекта риторики, что аспект социальный оказывается за скобками. Между тем риторика, учитывая ее коммуникативную, перлокутивную природу, нуждается для начала в социологическом осмыслении, и только после того может быть интерпретирована в приложении к инфраструктурам (медиа, соцсетям и т.п.). Чтобы выявить в них риторическую надстройку (или подоплеку), новые ландшафты коммуникации для начала нужно деконструировать до «символических инноваций» (Хабермас), порождающих технократический мифос. Коммуникативная релевантность дискурса и сама коммуникация выходят в этом смысле на передний план.

Как можно видеть, книга Ломбардинило написана на пересечении социологии с риторикой и теорией коммуникации, и рассматривать ее следует прежде всего как методическую разработку основ и самой возможности такого пересечения, «влияющего на наши семиотические навыки и выразительные привычки через практику наблюдения и воображения» (с. 16). Примечательно устройство книги: каждая ее глава посвящена тому или иному историческому подходу к коммуника-

16 В «Гейне как современнике» (2012) Ю. Хабермас обращается к гейневскому высказыванию как к коммуникативной программе по разрыву с историческим прошлым (*Habermas J.* Zeitgenosse Heine / Habermas J. Im Sog der Technokratie. Berlin, 2013. S. 47—69).

тивной риторике, тому или иному ключевому труду, который можно назвать основополагающим для этой модели. Так, в первой главе рассматривается книга Роджера Сильверстоуна «Зачем изучать медиа?» (1999), а точнее, предложенная в ней новая теория общих мест для коммуникативных контекстов Новейшего времени. В рамках риторической стратегии у Сильверстоуна выделяется здесь коммуникативная составляющая, а сама топологическая концепция вписывается в социологический контекст. Фигура общих мест рассматривается не столько в историческом контексте, сколько в приложении к современным информационным средам, а за основу при этом берется тезис Сильверстоуна: «Общие места могут сойти за общественное мнение» (с. 24)[17]. Топы, как показывает Ломбардинило, являются инструментом, приводящим в движение общественные стереотипы, способные таким образом заново подкрепляться и возвращать утраченную убедительность. Механизмы символьной аппроксимации, то есть подмены исходного сигнала чередой символов, в семиотическом смысле тесно соединяют топику с медиакоммуникацией, также построенной на обмене символами и построении речевых категорий. Более того, топика становится главной составной частью новой риторики, уже потерявшей связь с благородной классической традицией и призванной в первую очередь «заполнять пустоту публичного дискурса» (с. 26). Несмотря на все исторические разломы, убеждение и убежденность остаются фундаментальными разговорными стратегиями, и риторика в любом ее изводе остается тесно взаимосвязанной с прагматическим измерением языка как такового.

Это ключевой момент, который позволяет Ломбардинило сделать программный вывод: если риторика укоренена в языковом функционале, то сам обмен символами в человеческой коммуникации, пока символы эти сохраняют «полисемическую сложность лингвистических знаков», можно рассматривать как риторическую модель, которая открывается тем самым для социальных наук и исследований медиасферы, вне зависимости от того, сохраняется ли в обществе классическая культура риторики с ее установленными законами или уходит в область воспоминания. В этом смысле риторика оказывается стратегией и средством анализа, и в первую очередь это касается медиариторики (с. 27). Принципы риторики как науки (классической и средневековой), критической риторики (по Сильверстоуну) и риторики публичной сферы (по Хабермасу) — с их стремлением соответственно к воспитанию, влиянию и сосуществованию — устроены иерархически и при любом упрощении инструментария неизменно сопровождают публичный дискурс, даже если речь идет о «риторическом динамизме интернета» (с. 51). Дело в том, что всякая коммуникативная стратегия подстраивается в своих принципах под «семиотическую сложность, данную в соединении образа с языком» (там же), в то время как тропы и фигуры речи в публичном дискурсе присутствуют неизменно.

Этот последний тезис Ломбардинило, уже уходя от топологии Сильверстоуна, дополнительно подкрепляет примером из книги Сеннета «Плоть и камень» (1994)[18]. Метафоризацию, пишет Ломбардинило, тоже можно интерпретировать как социологический принцип; так, Сеннет связывает метафоричность публичных выступлений, формировавших взгляды и образ жизни античного общества, с эволюцией городских пространств, выстроенных в соответствии с идеей «социальной

17 Нельзя не провести здесь параллель с рассмотренной выше концепцией общественного мнения у Элфорд, резко отвергающей принадлежность доксастических моделей к топологии.

18 *Сеннет Р.* Плоть и камень: тело и город в западной цивилизации / Пер. с англ. П. Фаворова. М., 2016.

функциональности и лингвистической эффективности» (с. 52). Теории Маклюэна о медиаэкологии и метафоричности любого медиума позволяют Сеннету выдвинуть свою концепцию города (и шире, коммуникативного пространства, в функциональном смысле формируемого для развития человеческих взаимоотношений, в том числе, допустим, торговых[19]) как метафоры: он показывает, например, как урбанистическое планирование взаимосвязано с коммуникативными потребностями и как эта структура менялась с изобретением различных технических способов для громкоговорения. А «стереотипная медиаэкология» рассматривается в данном случае как результат длительного процесса метафоризации и «стремления к социальности» (с. 87).

Такие явления, как «цифровые аборигены» и «оцифрованный человек», Ломбардинило тоже прочитывает через маклюэновскую «Галактику Гутенберга» с введенным там понятием «человек печатающий», полагая их проявлениями «печатающего ума» (с. 211). В этом смысле появление социальных сетей как медиума не представляется чем-то принципиально новым и может в основных своих риторических чертах выводиться из тех же принципов, что были заложены на пике печатной революции. Тем не менее цифровой мир характеризуется невиданным ранее наложением информационных слоев, подменивших собой, по Хабермасу, традиционную публичную сферу; на смену городским площадям в том, что касается риторического функционала, пришли «виртуальные облака», своим появлением ознаменовавшие, по Ульриху Беку, зарождение «глобального космополитизма». Ключевыми социологическими работами, позволяющими Ломбардинило осмыслить это содержательное новшество, оказываются книга Бека «Метаморфоза современного мира» и ряд текстов Хабермаса (в частности, «пророческой» называется его знаменитая речь на «Премии мира» 2001 г.)[20]. Эти авторы ставят вопрос о суверенитете публичного дискурса, целиком зависящего от технологической инфраструктуры, которая, в свою очередь, находится в руках крупных игроков международного рынка.

Здесь Ломбардинило обращается уже к политическим и политологическим проблемам, тематически связанным с риторикой социальной коммуникации: в соответствующих главах ставятся вопросы о выживании демократии в условиях приватизации общественного мнения, о «коммуникативных недугах» цифровой сферы и побочных эффектах коммуникативной сетевизации, о возможности европеизма в транснационализированном дискурсе и т.д. Все это подводит автора к завершающим разделам — о «народной риторике» по Сеннету[21] и о хабермасовских «технократических соблазнах», которые функционируют на уровне стереотипов и, соответственно, в плане коммуникативного воздействия сливаются воедино с со-

19 Более того, отдельная глава посвящена социологической проблематике внутриличностной коммуникации (то есть, попросту говоря, разговоров с самим собой) как речевой стратегии. Здесь опорой автору служит книга Ирвинга Гофмана «Формы разговора» (1981), в которой вводится понятие коммуникативного тонуса, для поддержания которого может использоваться и «разговор с самим собой» (*Goffman E.* Forms of Talk. Pennsylvania, 1981).

20 *Beck U.* The Metamorphosis of the World: How Climate Change Is Transforming Our Concept of the World. Cambridge, 2017; *Habermas J.* Glauben und Wissen: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2001. Frankfurt a.M., 2001.

21 Речь идет о национальных идентичностях, само существование которых зависит от так называемых больших нарративов, от «антропологического образа народа» в национальнообразующих литературах и от наличия внешней аудитории, запускающей социальную активность нации (в связи с этим подробно рассматривается риторика писателей-изгнанников, в том числе Александра Герцена, см. с. 281—299).

блазнами риторическими: утверждение (или, как оно называется в книге, осаждение) «надежных» общих мест в обществе происходит благодаря репрезентативным медиастратегиям (с. 274).

Можно сказать, что «Притягательность коммуникации» — это во многом очень европейская книга. Подход Ломбардинило явно восходит к традициям историзма (вспомним параллели, уходящие к Вико и Гердеру), а манера изложения у него скорее диалектичная, без признаков суггестивной риторизизации (повсеместно наблюдавшейся нами у Элфорд). Далее, образ риторики и ее будущее отождествляются в книге с образом и будущим самой демократии, а в конечном счете — с судьбой Европейского союза. Такой подход может найти своих критиков, особенно из числа глобалистов, рассматривающих европеизм как провинциализм[22], однако с точки зрения риторической теории XXI в. стратегия Ломбардинило совершенно оправданна. В книге последовательно обосновывается целый ряд вопросов, касающихся риторического наслоения в сетевой и сетецентричной средах, — вопросов базовых, насущных, но при этом в специальной литературе (как мы видели на примере «Правомочных мнений» Элфорд) чаще всего подменяющихся готовыми ответами. Труд Ломбардинило можно рассматривать как обоснование фундаментальных теорий первого ряда, которые в большинстве случаев просто подразумеваются как нечто самоочевидное. Философская глубина и социологическая прагматичность — вот что действительно требуется работам такого рода.

22 См., например, характерную для этого подхода книгу о Хабермасе: Deprovincializing Habermas: Global Perspective / Ed. by T. Bailey. Abingdon, 2022.

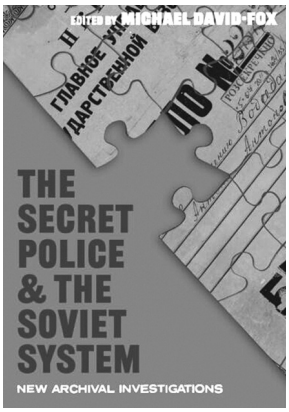
Дмитрий Цыганов

Госбезопасность превыше всего:

ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ СССР В СВЕТЕ «АРХИВНОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ»

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_364

The Secret Police and the Soviet System: New Archival Investigations / Ed. by M. David-Fox.
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2023. — VIII, 429 p. —
(Pitt Series in Russian and East European Studies; Kritika Historical Studies).



Роль полицейских органов в системе государственного управления СССР была напрямую связана с обеспечением устойчивости властной вертикали, сложившейся еще в 1930-е гг. и на протяжении нескольких десятилетий претерпевшей незначительные, а в некоторых аспектах и вовсе номинальные изменения. К очевидным результатам работы этих органов относится не только усердная реализация репрессивной политики, но и ее не менее усердное документирование. Как правило, архивохранилища системы госбезопасности буквально переполнены всевозможными документами, доступ к которым частично или полностью ограничен. Но даже те крупицы, которые попали в руки исследователей и публикаторов в недолгую эпоху послаблений — во время так называемой архивной революции, — составили сотни большеформатных томов, под которые создавались целые книжные серии[1]. (Часто *избирательная публикация* документов преследует вполне определенные идеологические цели, связанные с созданием конкретного представления о тех или иных исторических явлениях.) Вместе с тем специфика распределения бюрократической документации, связанной с работой ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ, в территориальных границах современной России такова, что материалы зачастую оказываются рассредоточены (или вовсе распылены) по неспециализированным государственным, а порой и частным архивным собраниям в России и за рубежом. Именно эта бессистемность в деле хранения богатого «наследства» советских органов госбезопасности обусловила возможность появления целого ряда специальных исследований, к числу которых принадлежит и рецензируемый сборник[2].

---

1 Среди специализированных книжных серий, связанных с публикацией архивных материалов, в первую очередь укажем на выходящие в издательстве РОССПЭН «Архив новейшей истории России. Серия “Публикации”», «Архивы Кремля», «Документы советской истории», «Культура и власть от Сталина до Горбачева. Документы», «Россия. XX век. Документы» и др. Множество архивных документов по политической, экономической и культурной истории СССР появляется в журналах «Исторический архив» и «Вестник архивиста», а также в «Ежегоднике Государственного архива Российской Федерации» и других изданиях.

2 Сборник явился итогом серии вебинаров, посвященных месту тайной полиции в государственной системе СССР; подробнее см.: *David-Fox M.* Conferences, Coronavirus,

Как замечает *Майкл Дэвид-Фокс* во вступительной заметке «В границах и за пределами сталинской модели тайной полиции»,

> из перспективы сегодняшнего дня мы понимаем, что первое постсоветское архивно-историографическое «открытие» в изучении советской тайной полиции было не только фрагментарным по своему фокусу, но и в значительной степени внутренним или национальным по своим интересам, в отличие от международного, компаративного или транснационального.
>
> Поскольку общесоюзный москвоцентризм был в одночасье дополнен новыми национальными историографиями в странах Балтии, Украине и других новых независимых государствах, научная фрагментация последовала за геополитическим разделением (с. 4)[3].

Из этой постановки вопроса следует принципиальный для авторов сборника вывод: обозначенная в заглавии проблема не может быть решена при помощи анализа документов, сосредоточенных исключительно в центральных архивах России, потому как они хотя и дают довольно полное представление об институциональном устройстве системы органов госбезопасности, но зачастую не проливают свет на ситуацию в «периферийных» областях бывшего СССР. Дело в том, что тайная полиция, будучи едва ли не самой масштабной советской корпорацией, не пыталась выстроить универсальную схему осуществления контроля, а руководствовалась в своей деятельности многочисленными региональными, политическими и культурными особенностями республик СССР. Поэтому деятельность спецслужб на территории РСФСР и, например, Грузинской ССР имела значительные различия не только в методах, но и в направлениях. В частности, по этой причине в два последних десятилетия интерес исследователей сместился в область документальной историографии советской периферии.

Сложное институциональное устройство системы госбезопасности, ее разноуровневая «включенность» в работу почти всех организаций и предприятий на территории СССР, а также осуществляемое с ее помощью курирование ряда международных проектов не позволяют говорить о нарочитом преувеличении роли тайной полиции и гипертрофии ее управленческого ресурса. Дэвид-Фокс справедливо указывает, что

> тайная полиция руководила своей собственной экономической империей, в чье ведение попадали принудительный труд и чувствительные, высокоприоритетные секторы экономики. Она была внедрена в информационную систему, средства массовой информации и область информационных технологий не только для охраны порядка, но и для влияния на принятие политических решений и «социальную инженерию». У нее были собственные элитные военизированные подразделения и пограничные войска; она играла особую роль в армии. Ее местные, региональные и республиканские отделения связывали ее со всеми уровнями континентального многонационального государства, а глобальные международные операции сделали ее существенным фактором внешней политики и международных отношений. Наконец, если учитывать ее усердно культивируемый грозный общественный имидж и массовые сети информаторов, то можно заключить, что она серьезно влияла на социальную и культурную сферы. Подводя итог, можно сказать, что деятельность тайной полиции, являющейся единым столпом советской власти, следует рассмат-

---

and the KGB: The Webinar Series on "The Political Police and the Soviet System: Insights from Newly Opened KGB Archives in the Former Soviet States" // NewsNet [ASEEES]. 2020. June. P. 2—6.

3 Перевод здесь и далее по тексту мой.

> ривать не с точки зрения небольшой группы областей, связанных с репрессиями и шпионажем, а как неотъемлемый сегмент государства и общества, политики и культуры, информации и экономики, искусства и идеологии (с. 5).

Судя по оглавлению рецензируемого тома, и авторы статей, и составитель уже на этапе подготовки сборника осознавали, что поставленный вопрос не может быть всесторонне освещен в рамках одной книги. Поэтому избранный формат case-studies — метод частных разысканий и проработки локальных сюжетов — видится наиболее адекватным и вполне соответствует задаче издания. Сборник стремится пролить свет на подлинные объемы того влияния, которое тайная полиция оказывала на все ключевые сферы общественной жизни на территории СССР и за его пределами.

Такой установкой на широту взгляда и определена структура тома, статьи в котором Дэвид-Фокс предлагает разделять на четыре условные группы по области исследования:

> Первая — это внутренняя институциональная история тайной полиции, о которой нам еще многое предстоит узнать, и длинная история ее эволюции в советскую эпоху. Вторая, тесно связанная с первой, — это практика тайной полиции: методы, операции, подходы и технологии, которые кардинально изменялись по мере того, как институт перестраивался с течением времени и самой советской системой. Третья область связана с ролью тайной полиции в сфере культуры, включая искусство, кино, фотографию, печатные СМИ и информационные технологии в их взаимодействии с идеологией. Несколько глав посвящены транснациональным и международным сюжетам <…>. Наконец, после рассмотрения актуальных научных контекстов, мы обратимся к избитой теме, имеющей, однако, решающее значение для любого исследователя XX века, — преступники и жертвы (с. 8).

И следом редактор и автор вступительной заметки формулирует ключевой парадокс существования тайной полиции в СССР:

> Поскольку главы книги представляют собой раскадровку всего жизненного цикла русской революции от первых до последних лет, особое внимание в них уделяется двойственности в институциональной истории тайной полиции. С одной стороны, <…> тайная полиция была глубоко укоренена в разветвленном партийно-государственном аппарате. Она была едва ли не самым мощным институциональным механизмом, который развивался в рамках более широкой экосистемы на протяжении самых разных подпериодов сталинской эпохи и в годы после смерти Сталина. С другой стороны, тайная полиция все же находилась в ужасной изоляции (с. 9).

Именно этим объясняется неравномерность «политического участия» органов госбезопасности в разных областях жизни советского общества. Из-за невозможности детально рассмотреть каждую из указанных областей я остановлюсь подробно лишь на тех статьях, которые непосредственно связаны с деятельностью тайной полиции в области культурного производства в СССР.

Статья *Анджелины Лусенто* «НКВД и политические истоки социалистического реализма: преследование бойчукистов на Украине» посвящена роли тайной полиции в формировании локального варианта социалистического реализма на территории Советской Украины в 1930-е гг. Анализ материалов уголовного дела (преимущественно записей допросов) художника-монументалиста М.Л. Бойчука (1882—1937) и его учеников-последователей становится поводом для обстоятельного разговора не только о восприятии «основного творческого метода» художниками-«бойчукистами», но и о том, как органы госбезопасности в эпоху Большого террора создавали «полицейскую эстетику» в республиках СССР.

Первая часть статьи связана с более-менее детальной реконструкцией контекста украинской художественной жизни 1920-х — первой половины 1930-х и характеристикой творческого кредо Бойчука и тяготевших к нему художников. Лусенто, характеризуя эстетическую позицию Бойчука, отмечает:

> Чтобы гарантировать, что социалистическое визуальное искусство «расцвело» и проникло в каждый сегмент послереволюционной культуры, Бойчук, максималист в своей теории творческого производства, подчеркивал, что прежде всего оно должно опираться на произведения разных эпох и регионов мира, а также на исторический опыт применения лучших мировых технологий создания произведений искусства. Социалистические художники могли достичь этого на практике, только научившись коллективно создавать «аналитические» эскизы — деконструированные копии работ выдающихся предшественников (с. 52).

Ясно, что такой «контрреволюционный» подход к освоению «классического наследства» не был сугубо локальным явлением, но имел куда более широкий контекст[4], о котором автор статьи предусмотрительно умалчивает. С одной стороны, фокусировка на конкретном сюжете действительно помогает выявить специфические нюансы анализируемого материала, но, с другой стороны, существенно упрощает проблему культурных *взаимодействий* в довоенную эпоху[5]. Далее Лусенто характеризует восприятие насаждавшегося «метода» Бойчуком и кругом художников-«бойчукистов»: «В социалистическом реализме Бойчука традиционные формы и содержание, выражающие “древний” сельскохозяйственный опыт, представлены как жизненно важные диалогические компоненты движения вперед к установлению истинной социалистической коллективности среди крестьянских масс в Советской Украине» (с. 66). С ее точки зрения, освоение «бойчукистами» украинской художественной традиции в совокупности с их последовательной интернационалистской позицией во взгляде на развитие советской культуры послужили поводом к обвинениям в разнообразных уклонах и попытке ослабить советскую власть в республике в ходе едва начавшегося «национального возрождения».

Во второй части статьи Лусенто убедительно прослеживает предысторию и обстоятельства дела «бойчукистов» — «контрреволюционной украинской националфашистской организации», — первые страницы которого относятся к самому началу 1930-х. Именно тогда, в обстановке усугублявшегося «руссоцентризма», ГПУ обратило пристальное внимание на творческое сообщество «киевских шовинистов», усердно занятое «украинизацией» советской культуры. Суть развернувшегося следственного дела состояла в том, что сотрудники НКВД, имевшие надежное представление о силе и бюрократическом значении визуальной пропаганды, кри-

---

4 Этот процесс не ограничивался ни предметными (ср. хотя бы: *Бабак Г., Дмитриев А.* Атлантида советского нацмодернизма: Формальный метод в Украине (1920-е — начало 1930-х). М.: Новое литературное обозрение, 2021), ни географическими границами. Так, сходные теоретические установки реализовались в творческой практике П.Н. Филонова и художников его круга.

5 К сожалению, статья снабжена весьма скудной библиографией, не дающей представления об истории вопроса и его актуальном научном состоянии. Так, Лусенто, замыкаясь на фигуре Бойчука, упускает целый ряд важнейших для понимания контекста исследований. Ссылаясь на статью Мирослава Шкандрия «Modernism, the Avant-Garde, and Myhailo Boichuk's Aesthetic» 1994 г., исследовательница даже не упоминает его книгу «Avant-Garde Art in Ukraine, 1910—1930: Contested Memory», вышедшую в издательстве «Academic Studies Press» в 2019 г. и изданную по-украински двумя годами позднее. Не упомянутым оказался и сборник статей «From Utopia to Tragedy: Ukrainian Avant-Garde, 1914—1934», выпущенный галереей James Butterwick в 2017 г.

минализировали интерес группы художников-монументалистов к украинским национальным мотивам, оценив его как «национал-фашистский» и антирусский. Исследовательница предлагает рассматривать это сфабрикованное дело не только как эпизод политической, но и культурной истории: охваченные «украинофобией» органы госбезопасности, по замечанию Лусенто, «стремились осудить не только бойчукистов, но и отдельные формы украинизации, прослеживающиеся в творчестве этих художников» (с. 69). Таким образом, эстетическая подоплека деятельности органов госбезопасности позволяет Лусенто рассуждать об их значении в истории культуры 1930-х, потому как без учета этого контекста мы «не можем сложить всеобъемлющее представление об эволюции стиля, не принимая во внимание роль тайной полиции» (с. 74).

В статье *Татьяны Ваграменко* «Эксперименты КГБ с фотографией: превращение религии в организованную преступность» анализируются так называемые агентурно-оперативные меры, включающие фотографирование преступников, съемку скрытыми камерами с целью слежки или документирования, фотофиксацию мест преступлений и демонстрацию конфискованных в ходе обысков изображений. Особый интерес для исследовательницы представляют всевозможные спекуляции тайной полиции с визуальными материалами, поскольку

> фотографии часто подвергались всяческим манипуляциям с привлечением таких методов, как монтаж, кадрирование, наложение, ретуширование или коллажирование. Конфискованные изображения, произведения искусства, рукописи и личные фотографии также перераспределялись для внутренних бюрократических целей; например, КГБ обрезал и вставлял такие изображения в собственные фотоальбомы и коллажи, публиковал их в учебных пособиях или тиражировал в агитационных публикациях. Независимо от того, откуда они поступали, все визуальные материалы, попадавшие в руки КГБ, интерпретировались в соответствии с доминировавшим дискурсом. Они использовались для документального обеспечения системы советского правосудия и служили целям разоблачения преступности, доказательства вины и наблюдения за подозреваемыми.
>
> Однако фотография для КГБ означала нечто большее, чем просто инструмент криминальной работы. В отличие от классической судебной и криминалистической фотографии, фотографии, сделанные КГБ, часто были далеки от банального воспроизведения или соблюдения принципов точности или объективности. <…> изображения, находящиеся в бывших архивах КГБ, показывают, как преднамеренная манипуляция фотографиями порождала различные интерпретации и скрывала присущий им насильственный характер. В этом смысле утверждение: «то, чего вы не можете увидеть, вы не можете сфотографировать» — имеет мало отношения к работе советской тайной полиции (с. 82).

Практика фотосъемки арестованных убедительно трактуется Ваграменко через идею их объективации системой госбезопасности. Так, человек, будучи сфотографирован для следственного дела, как бы терял «социальную идентичность», переставал обладать собственным обликом, который, в свою очередь, становился инструментом властного мифотворчества:

> После ареста человек переставал быть объектом расследования и вместо этого становился объектом более настойчивого осуществления государственной власти. Из этого следует, что именно тогда разнообразный арсенал фотографических практик КГБ мог быть применен в полной мере, и арестованный — в остальном обычный человек, смотрящий в полицейскую камеру, — мог быть превращен в инструмент для построения социалистического знания о враге. Оказавшись под стражей, подозре-

> ваемые могли быть сфотографированы для своего личного дела. Их также могли расстрелять на предполагаемом месте преступления и/или в ходе следственного эксперимента. Таким образом, арест так или иначе маркировал символический поворот к использованию фотографии как средства обладания телом преступника... (с. 89).

Анализируя использование фотографий в сталинских антирелигиозных операциях против представителей религиозных православных движений, Ваграменко показывает, что процессу профессионализации криминалистики сопутствовало развитие манипулятивного и инструментального подхода к визуальным образцам, которые применялись для фабрикации следственных дел[6]. Именно с их помощью, по мнению исследовательницы, разрозненные крестьянские подпольные религиозные общины стали восприниматься как звенья огромного «контрреволюционного заговора»; не последнюю роль в этом процессе играли фотоколлажи (см. с. 97—101) и диаграммы (см. с. 101—105).

Один из важнейших аспектов статьи Ваграменко связан с рассмотрением роли МГБ в культурном и идеологическом производстве: тайная полиция видится исследовательнице институтом, находящимся у основания советской «иконографической традиции визуализации религиозного врага»:

> ...советская тайная полиция была в центре этого процесса [визуализации религиозного врага] — институт, который производил, санкционировал и контролировал распространение того, что стало иконическим образом опасного и вредного, организованного и лживого контрреволюционера, скрытого за маской религиозного верующего. Документация КГБ, которая в последние годы становится все более доступной благодаря открытию государственных архивов на Украине, в Грузии, Латвии и других постсоциалистических государствах, дает новое представление о происхождении и механизмах производства образа врага (с. 105).

Именно в этом Ваграменко видит слабость и ограниченность сталинской административной системы, нуждавшейся во «внутренних» и «внешних» врагах для автолегитимации при отсутствии внятных политико-социальных стимулов перманентной мобилизации общества.

---

6 Гипертрофия концептуальной рамки в этой статье закономерно привела к «усыханию» собственно историографической составляющей: сюжет религиозных преследований становится для Ваграменко как бы вспомогательным и даже иллюстративным. Думается, именно этим вызвано невнимание исследовательницы к специальной литературе, прямо относящейся к теме ее статьи. Не учтены ею фундаментальные работы по истории взаимоотношений церкви и власти в СССР: Русская Православная церковь и коммунистическое государство, 1917—1941: Документы и фотоматериалы / [Отв. сост.: О. Ю. Васильева]. М.: Библейско-богословский ин-т св. апостола Андрея, 1996; Политбюро и церковь 1922—1925 гг.: В 2 кн. / Подгот. Н.Н. Покровский, С.Г. Петров. Новосибирск: Сибирский хронограф; М.: РОССПЭН, 1997—1998; Советское государство и евангельские церкви Сибири в 1920—1941 гг.: Документы и материалы / Сост., вступ. ст. и комм. А.И. Савина. Новосибирск: Посох, 2004; Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-50-х годов XX века: Очерки истории. М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008; Власть и церковь в Восточной Европе. 1944—1953. Документы российских архивов: В 2 т. / Отв. ред. Т.В. Волокитина. М.: РОССПЭН, 2009; Государство и Церковь в СССР и странах Восточной Европы в период политических кризисов второй половины XX века / Отв. ред. Г.П. Мурашко, А.И. Филимонова. М.: Ин-т славяноведения РАН; СПб.: Нестор-История, 2014; Конфессиональная политика советского государства. 1917—1924 гг.: Документы и материалы: В 6 т. Т. 1: В 4 кн: 1917—1924 гг. / Отв. сост. М. И. Одинцов. М.: Политическая энциклопедия, 2017 и др.

Основанное на архивных источниках и снабженное обширной библиографией исследование *Айги Рахи-Тамм* «“Конфликты — это ядро социальной жизни”: разжигание недоверия в Таллиннской государственной консерватории в 1940—1960-е годы» связано с вопросом о тайной полиции в ходе принудительной «советизации» культуры в Эстонии, на примере которой описывается сходный процесс, протекавший во всех присоединенных к СССР государствах Балтии. Непосредственный сюжет статьи составляет детальное рассмотрение обстоятельств ареста трех эстонских композиторов, занятых в организации XIII Певческого праздника Советской Эстонии 1950 года[7]: Туудура Веттика (1898—1982), Рихо Пятса (1899—1977) и Альфреда Каринди (1901—1969); институциональным фоном этого сюжета стала работа Таллинской государственной консерватории. Пытаясь распутать сложные сети неформальных взаимоотношений между представителями эстонского творческого сообщества, Рахи-Тамм старается выявить влияние на него ждановских «тоталитарных манифестов», особенное место в череде которых занимало постановление Политбюро ЦК «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели»[8]. Исследовательница по этому поводу замечает:

> Поскольку опера Мурадели не была известна в Эстонии, а людям нужно было понимать, как звучит формалистическая музыка, Таллинская государственная консерватория организовала исполнение фортепианных произведений Арнольда Шенберга с целью коллективного перевоспитания. Музыкальные произведения формалистической направленности были исключены из учебной программы, а репертуар был взят под контроль. Тем не менее музыканты заняли позицию «поживем — увидим», поскольку они не могли наверняка опознать формализм и ожидали от Москвы более подробных инструкций. Кроме того, большинство из них считали, что в эстонской музыке нет формализма (с. 195).

Ключевым обвинением в адрес упомянутых композиторов, по мнению Рахи-Тамм, стал упрек в пренебрежении принципом «народности» советского искусства и склонности к «эстетству» и «буржуазно-националистическому» творческому по-

---

7 См.: Певческий праздник Советской Эстонии 1950 года: 21, 22 и 23 июля: [К 10-летию Эстонской ССР. 1940—1950]: Таллин: Эстонское гос. изд-во, [1950].

8 См.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 1069. Л. 42–49. В тексте постановления отмечалось: «Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР (т. Храпченко) и Оргкомитет Союза советских композиторов (т. Хачатурян) вместо того, чтобы развивать в советской музыке реалистическое направление, основами которого являются признание огромной прогрессивной роли классического наследства, в особенности традиций русской музыкальной школы, использование этого наследства и его дальнейшее развитие, сочетание в музыке высокой содержательности с художественным совершенством музыкальной формы, правдивость и реалистичность музыки, ее глубокая органическая связь с народом и его музыкальным и песенным творчеством, высокое профессиональное мастерство при одновременной простоте и доступности музыкальных произведений, по сути дела поощряли формалистическое направление, чуждое советскому народу» (цит. по: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели». 10 февраля 1948 года // Правда. 1948. № 42 (10783). 11 февр. С. 1). Подробнее об этом см.: *Максименков Л.В.* «Партия — наш рулевой»: Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г. об опере Вано Мурадели «Великая дружба» в свете новых архивных документов // Музыкальная жизнь. 1993. № 13/14, 15/16. Отметим, что на эту статью Максименкова, как и на его книгу «Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция, 1936—1938» (М.: Юридическая книга, 1997), Рахи-Тамм не ссылается; упоминания же фундаментальной книги Е.С. Власовой «1948 год в советской музыке: Документированное исследование» (М.: Классика XXI, 2010) имеют, к сожалению, сугубо формальный характер.

ведению. Эти обвинения закономерно повлекли волну самокритических выступлений и попыток оправдаться:

> Веттик сочинил композицию о Советской армии и раскаялся в собственных прегрешениях на общих собраниях; Пятс же поблагодарил партию за ее бдительность. И в течение следующих восемнадцати месяцев им казалось, что ситуация стабилизировалась... (с. 197)

Однако

> следователи собрали довольно много улик. Партийная организация в консерватории ужесточила контроль над ними; «сигналы» об их враждебном влиянии на учеников регулярно поступали в райком партии. Тайная полиция также пыталась ужесточить контроль. И тогда уже всем казалось, что арест Пятса и Веттика был лишь вопросом времени <...>. На последней общем собрании в октябре 1949 года Каринди было поручено донести о деятельности Пятса и Веттика, но он отказался. Его арестовали в полночь 4 февраля 1950 года, когда он возвращался домой с женой с дня рождения друга. С интервалом в две недели были арестованы и его коллеги Веттик и Пятс (с. 197—198).

Предъявленные композиторам обвинения, по мнению Рахи-Тамм, имели сугубо политический характер, тогда как вопросы эстетики служили лишь формальным «прикрытием» инакомыслия — подлинного мотива ареста. (Позднее, уже в 1960-е, обвинения были сняты, а композиторы реабилитированы.) Прагматика следствия вновь требовала от агентов госбезопасности обнаружения не единичных «вспышек контрреволюции», но организованной преступной сети, что перевело фокус внимания с арестованных на место их работы — Таллинскую консерваторию, где сразу же начались «чистки» среди преподавателей и студентов. Но

> изменения в преподавательском составе, прямые репрессии, разоблачение «врагов» и конфликты, подогреваемые повсеместной критикой, привели к созданию токсичной рабочей среды, но не укрепили позиции членов партии и комсомола, как это изначально предполагалось. Большинство по-прежнему считало советских лоялистов коллаборационистами, карьеристами и даже предателями (с. 204).

Смерть Сталина ознаменовала корректировку политико-идеологического курса, и уже в середине 1950-х гг. в эстонской музыкальной культуре наметились тенденции к преодолению ждановского наследия (см. с. 212—213).

Еще одним исследованием, затрагивающим вопросы работы тайной полиции с визуальностью, стала статья *Кристины Ватулеску* «Фотография под арестом и съемка крупным планом: идентификация и визуальная педагогика в фильмах о тайной полиции»[9]. Исследовательница утверждает, что,

---

9 Впервые: *Vatulescu C.* The Mug-Shot and the Close-up: Identification and Visual Pedagogy in Secret Police Film // Kritika. 2022. Vol. 23. No. 3. P. 523—551. Эта статья продолжает ранее намеченные Ватулеску направления работы по изучению советской «полицейской эстетики»; см.: *Vatulescu C.* Arresting Biographies: The Secret Police File in the Soviet Union and Romania // Comparative Literature. 2004. Vol. 56. No. 3. P. 243—261; *Idem.* Police Aesthetics: Literature, Film, and the Secret Police in Soviet Times. Stanford: Stanford University Press, 2010 (рус. пер.: *Вацулеску К.* Полицейская эстетика: Литература, кино и тайная полиция в советскую эпоху. Brighton (MA): Academic Studies Press; СПб.: Библиороссика, 2021); *Idem.* Police Records: An Intermedia Genre // The Oxford Handbook of Law and Humanities. New York, NY: Oxford University Press, 2020. P. 799—820.

> разбираясь с визуальными аспектами архивных собраний тайной полиции, мы упускаем суть, если смотрим только на сами изображения. Дело в том, что эти изображения были встроены в особые модусы видения, расшифровки и интерпретации, которым они в дальнейшем должны были научить своих зрителей посредством того, что я называю присущей им визуальной педагогикой. Главной задачей этой визуальной педагогики было привить гражданам умение смотреть друг на друга <…>, чтобы опознавать «враждебные элементы», скрывающиеся за, казалось бы, невинными лицами (с. 249).

С этой точки зрения Ватулеску рассматривает внутреннюю визуальную механику фильма «Реконструкция» («Reconstituirea», 1959; реж. Вирджил Калотеску) — полнометражной кинореконструкции ограбления банка — как важный компонент эстетико-политического проекта сотрудничества госбезопасности и кинематографии. Важным для исследовательницы оказывается то, что конструктивный принцип этого фильма состоит в «кадровой дихотомии между крупным и дальним планами» (с. 259). Выявляя сходные приемы организации визуального нарратива в ряде кинолент, Ватулеску обнаруживает их своеобразный «педагогический» потенциал и пишет, что «в основе визуальной педагогики <…> постсталинских фильмов о работе тайной полиции лежит поиск идентификации, который завершается крупным планом изначально скрытого лица подозреваемого» (с. 271). По мере знакомства с подобными фильмами зритель как бы научался идентифицировать преступника, вникал в логику работы органов госбезопасности и мог самостоятельно прибегать к сходной аргументации в ходе каждодневных персональных «расследований».

Последнее исследование, на котором я подробно остановлюсь в настоящем обзоре, — статья *Дугласа Селвиджа* «Активизм в сфере прав человека как международный заговор: Юрий Андропов, советские диссиденты и “идеологическая диверсия”, 1967—1980». В ней на материале архивных документов из Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины рассматриваются два этапа репрессивной политики КГБ по отношению к представителям советского правозащитного движения — первые годы пребывания Андропова на посту председателя КГБ (1967—1975) до провозглашения им в 1975 году победы КГБ над диссидентами и пятилетний период после подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе — Хельсинских соглашений (1976—1980). Главными целями статьи стали выявление и описание механизма складывания «теории заговора», основанной на конспирологической версии о «сговоре» государств Запада с целью «развалить» СССР посредством поддержки диссидентского движения. По словам Селвиджа,

> новая волна «хельсинкского» активизма поставила КГБ перед дилеммой: как органы госбезопасности могли бы подавить новую волну инакомыслия, отчасти основанную на длящихся взаимоотношениях диссидентов с западными журналистами, таким образом, чтобы не поставить под угрозу «разрядку» в отношениях между Востоком и Западом? А точнее, как они могли бы подавить эту новую волну правозащитного активизма так, чтобы это позволило советскому правительству правдоподобно отрицать, что оно нарушает положения о правах человека, человеческих связях и улучшении условий работы журналистов, закрепленных в Хельсинкских соглашениях? (с. 350)

Селвидж подробно анализирует выпуски секретного журнала «Сборник статей об агентурно-оперативной и следственной работе Комитета государственной безопасности СССР» (с грифом Высшей школы КГБ), выпускаемого КГБ для внутреннего пользования с 1959 г. раз в два или четыре месяца, и записи ключевых речей руко-

водителей КГБ, также издаваемые Высшей школой КГБ. Кроме того, исследователь рассматривает материалы из архивов болгарских органов госбезопасности[10] и Министерства государственной безопасности ГДР (Штази), свидетельствующие о взаимодействии руководства КГБ с органами госбезопасности стран Восточного блока.

Установка КГБ на предупреждение «идеологической диверсии» стала поводом к инструментализации тех информационных каналов, которые обладали наиболее плотной «смычкой» с интеллектуальным сообществом; прежде всего таким каналом стала «Литературная газета» (см. с. 362—365). Анализ множества частных случаев вмешательства КГБ в судьбы представителей правозащитного движения приводит исследователя к выводу о том, что

> Юрий Андропов в годы своего председательства в КГБ (1967—1982) сделал репрессии против инакомыслящих своим главным приоритетом. С этой целью тайная полиция обвиняла инакомыслящих в сознательном или неосознанном участии в заговоре, основанном на усилиях Запада — и особенно США — по «идеологическому саботажу» Советского Союза. В 1967—1975 годах КГБ сосредоточился на выявлении сговора активистов-правозащитников с антисоветски настроенным Народно-трудовым союзом российских солидаристов (НТС), чья деятельность по переправке и публикации рукописей диссидентов субсидировалась ЦРУ. В 1975—1980 годах КГБ в ходе спецоперации собрал и сфабриковал доказательства того, что американские корреспонденты в Москве организовали шпионаж в пользу ЦРУ. В результате можно было утверждать, что в очередной раз доказан антисоветских сговор диссидентов с американской разведкой (с. 372).

Статья Селвиджа, не замыкаясь на детальном рассмотрении попыток госбезопасности деструктивно повлиять на культуру, показывает, в какой степени КГБ был значимым игроком в сфере культурного производства, выступая посредником между творческим сообществом и властью.

Подводя итоги, замечу, что рецензируемый сборник является удачным итогом научных поисков, на которые ученых толкают всевозможные ограничения. И в этом смысле давно начавшаяся и отнюдь не стремящаяся к завершению «архивная контрреволюция» обнаруживает, быть может, свое единственное положительное следствие — неостановимый рост интеллектуального сопротивления.

---

10 Подробнее см.: *Стефанов Ч.* Вся агентурная рать: [В Болгарии рассекречены архивы политической полиции], 10 июня 2013 г. (https://newtimes.ru/articles/detail/67733/ (дата обращения: 20.03.2025)); Болгария открывает секретные архивы спецслужб, 28 мая 2015 г. (ttps://www.svoboda.org/a/27040151.html (дата обращения: 20.03.2025))*.

* Внесено Минюстом РФ в реестр нежелательных организаций.

Мария Неклюдова

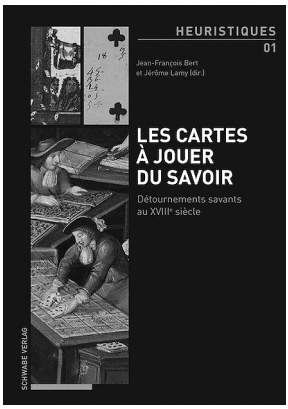
На обороте карты

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_374

Les cartes à jouer du savoir. Détournements savants au XVIII^e^ siècle / Sous la direction de Jean-François Bert et Jérôme Lamy.

Basel: Schwabe, 2023. — 245 p. — (Heuristiques. 01).

«Как причудливо тасуется колода!» Причем отнюдь не метафорически, поскольку речь идет об игральных картах, вернее, о различных способах их вторичного использования. В XVIII столетии производимые во Франции карты имели белоснежную рубашку. Их чистая и гладкая оборотная сторона — за ее качеством строго следили и власти, и сами фабриканты, чтобы не играть на руку шулерам, — могла служить удобной поверхностью для кратких заметок, будь то долговое обязательство или наскоро набросанная записка. Естественно, в таком случае карта утрачивала свое прямое назначение, но, как правило, это происходило еще до того, как к ней прикасалось перо. Бракованные, неполные или испачканные колоды продавались на вес и охотно приобретались для разных письменных нужд. В том числе для сбора, систематизации и распространения информации, тем самым превращаясь в важный инструмент научного и практического знания. Об этой оборотной (во всех смыслах) стороне существования игральной карты и рассказывают авторы книги.



«Карточная колода знания: научные “оборотки” XVIII столетия»: так можно перевести название коллективной монографии, подготовленной Жан-Франсуа Бером и Жеромом Лами. В нее вошли три обзорных статьи и пять работ о конкретных случаях, основанных на изучении архивных коллекций. Как подчеркивает в послесловии Энн Блэр, чей монументальный труд «Знать слишком много: организация научной информации до Нового времени»[1] служит точкой отсчета для авторов монографии, такого рода проект немыслим вне сотрудничества между специалистами по материальной культуре — архивистами, музейными хранителями, коллекционерами — и историками идей, институций и т.д. Действительно, даже в коллекции Французского музея игральных карт[2] оборотки (за неимением лучшего обозначения) стали каталогизироваться сравнительно недавно. По данным Гвенаэля Бёше, сейчас их там насчитывается более 4 тысяч[3]. Сколько их сохранилось в архивах и других музейных фондах, сказать невозможно, но, судя по перечню иллюстра-

1 Опубликован в 2010 г.; русский перевод: *Блэр Э.М.* Знать слишком много: Организация научной информации до Нового времени / Пер. с англ. Е. Тарасовой; науч. ред. М. Сергеев. СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023.

2 Musée français de la carte à jouer (https://www.museecarteajouer.com (дата обращения: 20.03.2025)).

3 *Beuchet G.* Les cartes à jouer à l’époque moderne, un objet paradoxal // Les cartes à jouer du savoir. Détournements savants au XVIIIe siècle / Sous la direction de Jean-François Bert et Jérôme Lamy. Basel: Schwabe, 2023. P. 29.

ций, они есть практически во всех крупных хранилищах документов по истории XVIII века. Научная обработка этого специфического корпуса материалов, по сути, только началась.

Что дает изучение оборотоk? Прежде всего понимание новых потребностей, связанных с организацией информационного пространства в целом и сферы научных знаний в частности. На оборотах игральных карт не только делались записи, но и печатались объявления, входные и членские билеты, приглашения и чеки на вспомоществование бедным. Как справедливо отмечает Клэр Бюстарре, такое повторное использование было обусловлено экономическими факторами — нехваткой бумаги и картона, а также значительным процентом отбраковки карт и качеством их «рубашки»[4]. Последнее, впрочем, не всегда определяло конечную судьбу карт, поскольку случалось, что ими укрепляли переплеты книг, из них изготовляли паспарту и детские игрушки. И все же наиболее востребованной оставалась их роль в качестве поверхностей для письма. Так, Жан-Жак Руссо на ходу набрасывал черновые заметки к своим «Прогулкам одинокого мечтателя» на оборотах карт, что легко объяснить их карманным форматом и плотностью бумаги. Но, любопытным образом, он продолжал это делать и дома, за письменным столом. Примерно тогда же, то есть во второй половине 1770-х гг., лекари из клермон-ферранского благотворительного общества Сен-Ком, оказывавшего медицинскую помощь беднякам, иногда использовали оборотки для запросов об отпуске им бесплатных лекарств из списка «королевских снадобий» (стандартного набора медикаментов, который интенданты провинций получали от центральной власти для этих целей). На примере двух таких карт Патрик Фурнье объясняет принципы функционирования этой системы, ее социальную, финансовую и собственно медицинскую специфику[5].

Главный резон популярности оборотоk — их удобство для систематизации больших массивов данных. В судебной практике они нередко служили этикетками: их пришивали к мешкам, в которых хранились документы по тому или иному процессу. Ученые-натуралисты пользовались картами как основой для гербария, делали из них миниатюрные коробочки для сбора образчиков горных пород, мхов, ракушек и прочего или приклеивали в качестве этикеток к более крупным экземплярам. Как показывает Манон Миго, в обширной минералогической коллекции Филиппа Пико де Лаперуза (1744—1818), сейчас хранящейся в университете его родной Тулузы, насчитывается более 730 таких этикеток. Причем это обороты карт, отпечатанных пятью местными типографами (за исключением одной парижской), что дает некоторое представление и о масштабах карточного производства и о влиянии на него политических событий. В собрании Лаперуза, помимо привычных фигурных карт с королями и валетами, есть некоторое количество мифологических персонажей, в эпоху Французской революции заменивших коронованных особ. Кроме того, каталогизацией коллекции, по-видимому, занимался не сам ученый, а его помощник Жан (Иоганн) де Шарпантье, поскольку многие этикетки заполнены его почерком. Однако в тех случаях, когда образец был найден самим Лаперузом, он подписывал его собственноручно, что позволяет судить если не о персональной иерархии ценностей, то о принятом научном протоколе[6].

Лаперуз — далеко не единственный ученый, в чьем кабинете лежали стопки карт. К примеру, в архиве известного натуралиста Антуан-Лорана де Жюссьё (1748—

4 *Bustarret C.* Écrits informel sur carte à jouer au XVIII[e] siècle // Ibid. P. 70—76.

5 *Fournier P.* Autour deux cartes à jouer. Ordonnances médicales et médicine des pauvres en Auvergne au XVIII[e] siècle // Ibid. P. 123—138.

6 *Migot M.* La singularité d'une collection minéralogique aux XVIII[e] et XIX siècles // Ibid. P. 153—186.

1836) сохранилось несколько рукописных словарей, полностью составленных из оборотов. В частности, «Этимологический, исторический и мифологический словарь для образования естественно-научных терминов и названий» Филибера Коммерсона (одного из членов экспедиции Бугенвиля), расписанный на 2386 игральных картах[7]. Такой способ фиксации обладал существенным преимуществом по сравнению с более традиционными, поскольку позволял с легкостью вносить новые термины и корректировать уже существующие определения. Подвижность и, если угодно, открытость конструкции делали оборотки идеальным инструментом инвентаризации любых пополняющихся собраний. Для всех, кто помнит неэлектронные каталоги, очевидным тому примером будет библиотека. Однако, как показывает Патрик Латур, потребовались многолетние усилия аббата Пьера Демаре, в 1722 г. назначенного библиотекарем Коллежа Мазарини (позднее переименованного в Коллеж Четырех Наций), чтобы оценить удобства карточного каталога. Когда Демаре вступил в должность, ему предстояло навести порядок в книжном собрании, состоявшем из более чем 40 тысяч наименований, которое было завещано Коллежу кардиналом Мазарини и постепенно пополнялось библиотекарями. Проблема заключалась в том, что имевшаяся опись не охватывала всей коллекции. Для того чтобы справиться с непростой задачей, Демаре стал заносить данные о каждой книге не в тетрадь, а на оборотку, а потом складывал их в алфавитном порядке. Это позволило ему выявить дубликаты, описать содержание многочисленных конволютов и установить систему нумерации, помогавшую определить местонахождение каждого тома. Затем, на основе карточных записей, он составил алфавитный и предметный каталоги в привычном для современников книжном формате[8].

Инициатива Демаре не имела немедленного продолжения, но и не была забыта; к концу XVIII в. в книжных собраниях все чаще встречается использование оборотов, а позднее специальных карточек, существенно облегчавших процесс инвентаризации. Тем не менее такая практика воспринималась как подготовительная, то есть как своего рода профессиональная кухня. В этом плане показателен казус женевского математика и физика Жорж-Луи Лесажа (1724–1803), который разбирает Жан-Франсуа Бер[9]. В начале 1750-х гг. Лесаж, стремясь компенсировать нехватку памяти и концентрации, решил использовать обороты игральных карт для организации своих наблюдений. На них он делал выписки из прочитанных книг, записывал мысли, набрасывал планы будущих опытов и сочинений, надеясь с их помощью не только удержать в уме уже сделанное, но и установить новые логические последовательности и взаимосвязи. К концу жизни в его кабинете скопилось около 35 тысяч карт, разложенных по разным мешочкам и ящичкам. Их систематизация и использование стали для ученого непрерывной заботой и, в значительной степени, кошмаром, о чем свидетельствуют некоторые записи:

> Удручающий пример упадка моей памяти
> 15 ноября 1776 при пробуждении
> целый рой мыслей об устройстве Изобретения. Я тут же
> проснулся, чтобы их записать. Но,
> заметив, что они путаются, обратился к портфелю и мешку,
> содержавшим то, что я уже писал по этому поводу.

---

7 *Charmante I., Müller-Willem S.* La carte à jouer, support de connaissance des naturalistes // Ibid. P. 148.

8 *Latour P.* Les réussites de l'abbé Desmarais // Ibid. P. 107—122.

9 *Bert J.A.* Les cartes à jouer de Le Sage. Ou comment faire vivre la mémoire, la curiosité et l'imagination scientifique // Ibid. P. 87—106.

. . . . . .
заставило меня позабыть другие идеи, которые
пришли мне в голову, пока я пытался запечатлеть первые, напр.,
о ставящих опыты. В результате
я не смог записать ни одну из этих мыслей
об устройстве изобретения, а [нашел]
всего лишь жалкую карту, где
были перечислены некоторые элементы
устройства самым беспорядочным образом[10].

Заметка начинается на обороте тройки червей, а затем продолжается уже на лицевой стороне карты; этот переход я для наглядности обозначила пробелом. На первый взгляд, это горькое признание в очередной неудаче: несмотря на разработанную систему, ученый не успевает зафиксировать появившиеся идеи. Но он описывает свое фиаско столь подробно, что оно становится частью продолжающегося научного эксперимента по самонаблюдению, заодно обретая нечаянное сходство с «Последней лентой Крэппа» Беккета.

Казус Лесажа примечателен и своим масштабом (35 тысяч оборотоk с записями!), и степенью саморефлексии, которая в других случаях отсутствует или же остается нам недоступна. Его попытки систематизировать и осмыслить рабочий процесс почти идеально вписываются в программу исследований, намеченную авторами монографии. А экзистенциальное отчаяние женевского математика не может не вызывать сочувствия у академического читателя, причем не только в силу того, что все мы сталкивались с невозможностью удержать мысль или с тщетными поисками нужной выписки, которая позднее обнаруживается не в том файле. В сущности, несмотря на увлекательность рассматриваемых кейсов, «Карточная колода знания» заставляет отчетливо ощутить пределы исследовательского метода. Очевидный тупик — и сопутствующее ему разочарование, о котором честно предупреждают авторы, — обусловлен отсутствием закономерностей между первичным и вторичным использованием карт. На протяжении всего цикла их существования значимой является только одна сторона: лицевая, когда речь идет об игре, и оборотная, когда они превращаются в писчий материал. А это ставит под вопрос сам принцип обособления карточных оборотоk, поскольку они, как правило, утилизировались вперемешку с другими бумажными отходами. Так, упомянутые выше лекари из Клермон-Феррана — и не только они — чаще писали на клочках бумаги, чем на картах. Иначе говоря, книга, в сущности, посвящена картонным прямоугольникам размером 86 на 53 мм, и не более того.

Это отнюдь не умаляет значимости поставленной проблемы, поскольку для изучения организации научного информационного пространства не столь важно, идет ли речь об оборотах игральных карт или о картонных прямоугольниках. В то же время нельзя не признать, что записи на картах дразнят (исследовательское) воображение и побуждают искать новые способы работы с этим материалом. Убедительным тому примером служит сюжет, разбираемый Джеффри Рэйвелом, знатоком полицейских архивов XVIII столетия и автором исследования о поведении театральной публики при Старом порядке[11]. Его центральные персонажи — братья Грегуар и Шарль Дюлак, чьи бумаги были конфискованы 8 декабря 1793 г. Среди них находилось 120 оборотоk с цитатами из Библии, античных авторов, Монтеня,

10 Ibid. P. 98.

11 *Ravel J.S.* The Contested Parterre: Public Theater and French Political Culture, 1680–1791. Ithaca, NY; London: Cornell University Press, 1999.

Руссо, Мабли и проч. Учитывая, что ни Грегуар, которому они, по-видимому, принадлежали, ни Шарль не были ни учеными, ни интеллектуалами, их назначение представляет некоторую загадку. Для того, чтобы попытаться ее разгадать, Рэйвел реконструирует жизненный путь обоих братьев до 1793 г. и отчасти после него. Отпрыски старинного рода, они встали на сторону революции и, в отличие от прочих членов семейства, не эмигрировали, а продолжили делать военную карьеру во Франции. Оба служили в Северной армии сперва под началом маркиза де Лафайета, затем — Шарля-Франсуа Дюмурье и активно участвовали в политических интригах. Удивительным образом, несмотря на постоянные подозрения, вызываемые их происхождением и близостью к беглым генералам, им удавалось держаться на плаву, хотя они неоднократно попадали в опасные переплеты. Как предполагает исследователь, эта экзистенциальная зыбкость и полный разрыв с семейной традицией заставила Грегуара, который был на два года старше Шарля и тем самым оказался в положении главы семьи, искать опоры у авторитетных авторов, выписывая из них моральные сентенции. К несчастью, его реальность еще более дестабилизировалась, когда между братьями возникло любовное соперничество, и в 1794 г. Грегуар покончил с собой[12].

Конечно, для того чтобы по крупицам собрать эту историю, одних оборотоk недостаточно; в ход идут официальные документы, личные бумаги братьев и т.д. Тем не менее записи на игральных картах хотя бы отчасти позволяют судить о внутренних потребностях Грегуара, не обязательно высказанных в его письмах или где-либо еще. В результате его поступки нам более понятны, чем поведение Шарля, который через месяц после самоубийства брата женился на той, из-за кого разыгралась эта трагедия.

Казусы Лесажа и братьев Дюлак убеждают, что изучение оборотоk оказывается особенно продуктивным, когда они имеют личный, а не институциональный характер, то есть относятся к письменным практикам, которые требуют дополнительной контекстуализации и интерпретации. Сколь бы ни было примечательным использование карт в качестве этикеток или листков для гербария, на нынешнем этапе исследования они свидетельствуют лишь о недостатке специально отформатированного картона, что само по себе важно, но не открывает новых перспектив. Впрочем, многое зависит от перенастройки исследовательской оптики, так что карты нам в руки.

12 *Ravel J.S.* Sur les cartes à jouer des frères Dulac en l'an II // Ibid. P. 187—228.

Анфиса Савина

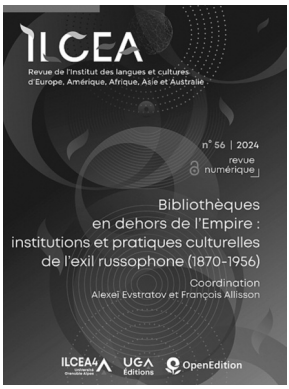
Круговорот людей и книг

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_379

***ILCEA*. Bibliothèques en dehors de l'Empire: institutions et pratiques culturelles de l'exil russophone (1870—1956)** / Sous la direction de François Allisson et Alexeï Evstratov.

2024. — № 56. — 206 p. — (En ligne).

Тематический номер журнала, издаваемого Институтом языков и культур Европы, Америки, Африки, Азии и Австралии (Университет Гренобль-Альпы), «Библиотеки за пределами империи: институты и культурные практики русскоязычной эмиграции (1870—1956)» соответствует нескольким тенденциям современных гуманитарных исследований: восприятию культурно-исторического феномена русского зарубежья как части транснациональной истории; вниманию к истории культурных институций, отражающей судьбы конкретных людей и политические веяния времени; интересу к культуре повседневности.



В выпуске представлены результаты исследовательского проекта, идея которого родилась из работы Алексея Евстратова и его коллег над русскоязычным фондом Кантональной и университетской библиотеки Лозанны. В основу современного фонда RU легла коллекция Русской библиотеки Лозанны[1] (РБЛ) — городской библиотеки русской колонии, существовавшей в качестве самостоятельного учреждения с начала XX в. до 1955 г. К проекту, изначально ориентированному на столицу кантона Во, подключились исследователи, интересующиеся различными «славянскими библиотеками в изгнании» (с. 9), что привело к расширению географии.

В результате можно говорить о двух разделах выпуска: первый объединяет четыре статьи, авторы которых анализируют историю и состав фондов Русской библиотеки Лозанны, во втором рассматриваются русскоязычные библиотеки Лезена, Праги и Парижа. Участники проекта, с одной стороны, выводят из забвения совсем неизвестные и малоизученные организации, с другой — находят новые ракурсы для рассмотрения учреждений, не обделенных исследовательским вниманием (Тургеневская библиотека в Париже[2], Славянская библиотека в Пра-

1 Заметим, кстати, что некоторые издания со штампом этой библиотеки оказались в Москве — в отделе специальных коллекций Центра социально-политической истории (филиала Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ)). См.: *Слепнева С.П.* Русские эмигрантские библиотеки по штампам коллекции запрещенной и нелегальной печати конца XIX — начала XX вв. в Государственной публичной исторической библиотеке // Экслибрисы как информационный ресурс для изучения книжной культуры: Всерос. науч.-практ. конф.: Материалы. М.: Международный союз общественных организаций книголюбов, 2021. С. 285.

2 См., например: *Шаховской Д.М.* Тургеневская библиотека и ее деятельность // Культурное наследие российской эмиграции: 1917—1940: В 2 кн. / Под общ. ред. Е.П. Челышева, Д.М. Шаховского. Кн. 2. М.: Наследие, 1994. С. 459—469; *Grimsted P.K.*

ге[3]). При этом практически все авторы в своих изысканиях задействуют новонайденные архивные материалы.

Заявленные в заглавии хронологические рамки (1870—1956) помимо библиотечных событий (основание в 1870 г. Русской библиотеки в Цюрихе и прекращение деятельности РБЛ в 1955 г.) соотносятся с событиями европейской истории и тенденциями в хронике ссылок и эмиграций из России (нижняя граница — поражение Парижской Коммуны в 1871 г. и превращение Швейцарии в «нервный центр социалистического и революционного мира» (с. 5), верхняя — Венгерское восстание и холодная война, ограничившая неконтролируемые перемещения между противостоящими друг другу блоками). Эти рамки, однако, несколько сдвинуты по отношению к реальному содержанию статей — исследования посвящены становлению и развитию библиотек на протяжении XX в.; несколько схематизируя, можно сказать, что в поле зрения авторов оказываются два потока выходцев из России: студенты (студентки) и политические ссыльные, составлявшие заметную часть русской диаспоры в начале XX в. (к этому времени тяготеют, хотя не ограничиваются им, «швейцарские» статьи номера), и эмигранты первой волны (они в той или иной мере становятся действующими лицами остальных статей).

Номер открывается развернутым введением, авторы которого (кураторы проекта — *Алексей Евстратов* и *Франсуа Аллиссон*) представляют читателю историко-культурный контекст (по крайней мере, относительно «швейцарской» части) и отчасти резюмируют материалы выпуска. В частности, они выстраивают типологию рассматриваемых библиотек, заметно отличающихся способом организации, целевой аудиторией и ролью в жизни сообщества, и определяют специфику исследовательских источников (важное место в их ряду занимает библиотечная документация и *книга* как материальный объект, сохраняющий следы перемещений и использования). Среди особенностей «библиотек в изгнании» авторы предисловия отмечают размывание границ между традиционно отдаленными друг от друга фигурами: читателями, библиотекарями, дарителями, создателями библиотек, что позволяет исследователям обращаться как к знаковым персонам (Н.А. Рубакину, В.Н. Тукалевскому), так и к рядовым участникам процесса, зачастую остающимся «анонимами» для историков.

Представленный во введении обзор библиотек, основанных в «русских колониях» Швейцарии в последней трети позапрошлого века — от Русской библиотеки в Цюрихе, ставшей ареной борьбы бакунистов и лавристов (судьбу ее — быть предметом раздора между представителями разных политических партий — отчасти повторила и Русская центральная библиотека в Женеве), до библиотек Берна и Базеля, — создает необходимый фон для восприятия работ первого раздела, авторы которого стремятся реконструировать разные стороны деятельности РБЛ.

В целом логика расположения статей, посвященных РБЛ, — «от общего к частному». В публикации *Андреа Кантинотти* «От Русской библиотеки Лозанны к фонду RU: перечитывая локальную историю» прослеживается история библиотеки на протяжении XX в., отразившая сложные перипетии российско-швейцар-

---

The Odyssey of the Turgenev Library from Paris, 1940—2002: Books as Victims and Trophies of War. Amsterdam: International Institute of Social History, 2003 (на русском языке существует более краткий вариант: *Гримстед П.* Тургеневская библиотека в Париже: книги как жертвы и трофеи войны // Документальное наследие русской культуры в отечественных архивах и за рубежом. Материалы междунар. науч.-практ. конф. 29—30 октября 2003 года. М.: РОССПЭН, 2005. С. 322—342).

3 См.: *Babka L.* Slovanská knihovna 1924—2024 (Průvodce po dějinách, fondech a službách). Praha: Národní knihovna České republiky, 2023.

ских политических отношений. Автор уделяет внимание и РБЛ, функционирующей в качестве отдельного учреждения, и судьбе ее коллекции после передачи в Кантональную и университетскую библиотеку в 1955 г. *Наталья Боярская* («Русская библиотека в Лозанне: ее история и читатели») сосредоточена на раннем этапе существования библиотеки. В основу ее исследования ложится работа с изданиями коллекции фонда RU до 1955 г., содержащими различные «владельческие инскрипты, читательские маргиналии, штемпели библиотек, магазинов, переплетных мастерских, находки в книгах, зашифрованные послания, детские рисунки»[4] (с. 43). Кроме того, Н. Боярская представляет описание самого фонда RU — как его состояния на сегодняшний день, так и коллекции, перешедшей от РБЛ. Существенную часть разнородного собрания составляют произведения русских и зарубежных классиков, а также литература дореволюционной и белой эмиграции. Среди отличительных особенностей РБЛ исследовательница отмечает наличие отдела детской литературы, которому посвящена статья *Анны Димяненко* «Детская книга в Русской библиотеке Лозанны: содержание коллекции и контекст ее формирования». Охарактеризовав жанрово-тематический состав отдела (в основном это приложения к журналам и книги научно-популярной тематики) и выделив количественно преобладающих авторов, Димяненко сравнивает взгляды Н.А. Ульянова и Н.А. Рубакина на детское чтение и систематизацию детских книг. И наконец, в публикации *Даниэль Тозато-Риго* «Документ. Неизданные протоколы Русской библиотеки Лозанны за 1907 год» представлены обнаруженные исследовательницей в архиве кантона Во и частично расшифрованные Н. Боярской «Протоколы заседаний библиотечного комитета № 2 с 5 марта 1907» (опубликована часть протоколов за период с 5 марта по 23 мая 1907 г.). Эти документы относятся к библиотеке-читальне русской колонии, превратившейся со временем в РБЛ. Протоколы наглядно представляют рутинную деятельность членов комитета, занятых разнообразными вопросами, связанными с арендой помещения, организацией переезда, финансовой отчетностью, выпиской книг и периодических изданий и т.д. (Очень любопытным кажется содержащийся в протоколах список заказанных книг, в конце которого, между Гамсуном и политическими изданиями, затесалась трилогия Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист».)

Описание характера коллекции или изложение событийной канвы, если речь идет об истории библиотеки, как правило, дополняется обращением к знаковым для судьбы РБЛ фигурам. В частности, А. Кантинотти освещает деятельность М.Ю. Морозова, в качестве представителя библиотеки подписавшего дарственную в пользу Кантональной и университетской библиотеки Лозанны, и Ж. Дессона — в прошлом делегата Комитета Красного Креста, заботившегося о фонде RU с 1957 по 1973 г. Работа Н. Боярской с архивом увлеченного библиофила и известного геофизика Н.А. Ульянова, автографы которого встречаются на нескольких изданиях фонда RU, не только позволяет говорить об активном участии последнего в жизни РБЛ в 1920-е гг., но и свидетельствует о взаимодействии между библиотекой Лозанны и Русского заграничного исторического архива в Праге. Сквозным персонажем всех статей первого раздела (и не только их) оказывается знаменитый библиотековед и библиограф Н.А. Рубакин. При том, что напрямую он не был причастен к работе РБЛ, его книги занимали не последнее место в коллекции, а его идеи и совместная работа с Ульяновым, как показывает Димяненко, отразились на формировании фонда РБЛ.

---

4 Интересно сопоставить проведенный Н. Боярской анализ библиотечных штампов с наблюдениями С.П. Слепневой (*Слепнева С.П.* Указ. соч. С. 281). Судя по всему, в филиале ГПИБ оказались издания тех же политических «библиотечек», что и в фонде RU.

Не менее важно, что представленные статьи проливают свет на деятельность куда менее известных персон — членов русской колонии, в качестве читателей или организаторов задействованных в жизни библиотеки (с этой точки зрения особенно выразительна публикация Тозато-Риго).

Обращение к одной теме и одним источникам делает неминуемым пересечения в исследовательских поисках, однако речь идет не о повторениях (хотя без них не обходится) — статьи уточняют, дополняют и продолжают друг друга: персонажи, вскользь упомянутые одними авторами, становятся главными героями в изысканиях их коллег; едва затронутые темы разворачиваются в полноценные сюжеты.

Завершая описание «лозаннского» блока, мы, однако, не выходим за границы Швейцарии. Статья *Евы Маурер* «Русское благотворительное общество Лезена и его библиотека» посвящена истории объединения, штампом которого отмечено примерно 300 изданий в коллекции редких книг Швейцарской восточноевропейской библиотеки. По предположению исследовательницы, это малая часть обширной библиотеки, существовавшей в начале XX в. при русской общине в Лезене. История библиотеки, активно развивавшейся в 1907—1914 гг. и расформированной после Второй мировой войны, пока восстанавливается только в общих чертах и лишь гипотетически. Что касается самого Общества, то — созданное во многом по образцу аналогичной организации в Давосе (ставшем центром лечения туберкулеза несколько ранее Лезена) — оно имело более длительную, хоть и прерывистую «биографию». Деятельность его, угасшая после 1916 г., была возобновлена в конце 1920-х гг. (и продолжалась до 1965 г.) стараниями Анны Линден и Веры Носенко — медицинских работниц лезенского санатория, получивших образование в Лозанне (о том, что именно жаждущие высшего образования девушки составляли существенную часть русской колонии в Лозанне, неоднократно упоминалось в предыдущих статьях — тем интереснее узнать о судьбе бывших студенток).

Героем статьи *Стефани Сирак* «Библиотека Владимира Тукалевского. Изгнание и его формы: от Териоки до Праги (1913—1936)» становится известный собиратель книг, архивист, первый директор пражской Славянской библиотеки В.Н. Тукалевский. Его судьбе посвящена внушительная монография М. Магидовой[5], потому новизна рассматриваемой работы состоит не столько в привлечении новых фактов, сколько в заострении проблемы «изгнание vs интеграция». Эта дилемма приложима и к перевезенной из Териоки в Прагу коллекции, несколько раз сменившей свою институциональную принадлежность, прежде чем стать частью Славянской библиотеки, и тем более к ее владельцу. Разочаровавшись в совместной деятельности с собратьями-эмигрантами, В.Н. Тукалевский включился в работу над развитием славистики, поддерживаемую Министерством иностранных дел Чехословакии (Сирак отмечает политическую подоплеку этой поддержки). В частности, он был единственным эмигрантом в состоящей из ученых и дипломатов Культурной комиссии при МИД Чехословакии, протоколы заседаний которой рассматривает автор статьи. Иллюзорность успешной интеграции в жизнь принявшей ученого страны трагически проявилась в 1936 г.: обвиненный СССР в причастности к троцкистскому заговору, он не мог получить должную защиту от МИД Чехословакии, так как не имел гражданства республики.

Три последние статьи посвящены библиотекам Парижа, разнящимся во всем — от причин и обстоятельств создания до степени изученности.

---

5 *Магидова М.* Под знаком каталогов и материалов к... В.Н. Тукалевский и русская книга за рубежом: 1918—1936 гг. СПб.: Symposium; Прага: Национальная библиотека Чешской Республики, 2016.

Работа *Антуана Нивьера* «Библиотека духовного учреждения русской эмиграции: русские и славянские фонды Свято-Сергиевского института в Париже» — первая попытка научно подойти к истории библиотеки Свято-Сергиевского православного богословского института. Коллекция библиотеки, насчитывающая сегодня более 35 тысяч изданий, складывалась в результате разнообразных личностных и институциональных взаимодействий. Ее составили как переданные в дар и (реже) выкупленные частные собрания, так и фонды учреждений (часть русскоязычного фонда Русской духовной семинарии в Кишиневе, изъятого во время кампании по «румынизации», Русская библиотека Методистской миссии в Праге, потерявшая своих читателей после прекращения чехословацкой помощи русским эмигрантам, и др.). Стараниями Б.И. Сове, окончившего Институт в 1928 г., в коллекцию попали ценные издания из конфискованных большевиками библиотек религиозных учреждений бывшей Российской империи. Однако «самую драгоценную часть библиотеки» (с. 152), по мнению автора, составляют личные архивы некоторых эмигрантов первой волны, преподававших в институте.

Рива Естифеева и *Аглая Ашешова* в статье «Конец Тургеневской библиотеки? Личные свидетельства о вывозе фонда библиотеки (Париж, 1940 г.)» стараются в деталях восстановить трагический эпизод конфискации фонда знаменитой эмигрантской библиотеки. Сопоставляя опубликованные и неопубликованные мемуары, исследовательницы отделяют факты от «самооправдательных вольных реконструкций» (с. 170) и, в частности, отмечают «следы беллетризации» (с. 161) в очерке Н.Н. Берберовой «Конец Тургеневской библиотеки».

В работе *Гильема Пуссона* и *Барбары Пюэйо* «Мавзолей Андре Мазона: истоки и предназначение “библиотеки-музея” Льва Толстого» речь идет об учреждении, являющемся одновременно «библиотекой в библиотеке» (отдельным фондом в библиотеке Института славяноведения), музеем писателя и центром по изучению его творчества. Организованный А. Мазоном в 1952 г. центр был ориентирован не столько на русских эмигрантов, сколько на французских славистов и при этом открыт к диалогу с советскими учеными. Основой библиотеки-музея стали коллекции, завещанные Институту славяноведения Т.Л. Сухотиной-Толстой и Ш. Саломоном, с которыми А. Мазон был связан дружбой. Как показывает исследование, в истории библиотеки-музея межличностные отношения оказались важнее институциональных контактов, что позволяет авторам подчеркнуть «решающую роль личных связей в культурном обмене между Востоком и Западом» (с. 190).

Представленная в сборнике пестрая панорама бытования географически отдаленных друг от друга и типологически разных библиотек дает возможность убедиться, что, становясь частью культурного ландшафта принимающих стран, русскоязычные библиотеки зачастую оказываются связанными между собой незримыми нитями (через лично знакомых людей или перемещающиеся коллекции), таким образом включаясь в напряженное культурное поле русского зарубежья.

Серийные издания кафедры русской литературы Тартуского университета, 2004—2024:

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ

(Предисловие Л.Н. Киселевой, составление П.С. Глушакова)

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_384

«Ученые записки» и, шире, издаваемые университетской кафедрой труды — это, по словам Ю.М. Лотмана, ее лицо, «лицо университета». Обращаясь к кафедре русской литературы Тартуского университета, публиковавшей собственную серию «Ученых записок» с 1958 г., он писал: «Это история кафедры, история научной мысли, история поиска. <…> наши “Ученые записки” — это одна большая эпопея, где закономерно развиваются и меняются темы, которые не зависят от бумажек сверху, от планов… Это органический путь науки, небольшого научного коллектива, воздух, которым дышат преподаватели и студенты»[1].

Эта эпопея продолжается до сих пор и отражается теперь уже в трех указателях содержания. После первого, 1991 г., появился второй, доступный только в электронном виде[2], ныне публикуется третий, и можно надеяться, что он не будет последним. Таков был мощный импульс, заданный в конце 1950-х гг. маленькой кафедрой и ее лидерами — Б.Ф. Егоровым и Ю.М. Лотманом, которые сумели в преддверии IV (и первого проводившегося в СССР) Международного съезда славистов в Москве добиться у ректора разрешения на публикацию отдельной славистической серии «Ученых записок Тартуского государственного университета», которая получила название «Труды по русской и славянской филологии». Оно сохраняется до сих пор, хотя с 1995 г. университет прекратил издание «Ученых записок»[3] со сквозной

1 Литературная учеба. 1989. № 2. С. 11. Процитировано в издании: Труды по русской литературе и семиотике Тартуского университета 1958—1990: Указатели содержания. Тарту, 1991. С. 7. Первая часть («Труды по русской литературе», сост. Г.М. Пономарева) доступна на платформе «Ruthenia»: https://www.ruthenia.ru/document/437769.html.

2 Издания кафедры русской литературы Тартуского университета (1992—2000): Указатель содержания / Сост. И. Фрайман // https://www.ruthenia.ru/document/381754.html.

3 Это прекращение традиции тем более обидно, что, как показали в своей работе Р.Х. Галиуллина и К.А. Ильина, «образцом для учреждения “ученых записок” — сети научных журналов, появившихся в России в 1830-е годы — стал Дерптский университет» (*Галиуллина Р.Х., Ильина К.А.* «Ученые записки» ученого сословия (первая половина XIX века): препринт WP6/2012/02; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М., 2012. С. 21). Хотя издание «Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Russlands» («Дерптский ежегодник литературы, статистики и искусства, в особенности России», 1833—1836) учеными записками не называлось, но представляло собой собрание трудов дерптской ученой корпорации, складывавшееся на основе ежемесячных научных семинаров, возникших по ее инициативе и на добровольной основе в 1831 г. Такого рода «немецкая активность» вызвала ревность в Петербурге, и товарищ министра, а потом министр народного просвещения С.С. Уваров решил побудить и русских профессоров начать новое издание, окрещенное «Учеными записками». Так возникли «Ученые записки Московского университета», затем Казанского и др. Хотя административное регулирование и постоянное бюрократическое вмешательство немало повредили хорошему начинанию, но все же оно стало активно развиваться.

нумерацией, объединявшей все отрасли науки, притом что за сто лет — с 1893 г. — они выходили с редкими пропусками почти ежегодно[4]. С середины 1990-х гг. представители каждой специальности решали вопрос о своих публикациях по-своему. Некоторые сочли собственные периодические издания излишними, посчитав более престижным (и выгодным) печататься в международных англоязычных журналах с высокой индексацией, некоторые потом возобновили выпуски своих работ под другими заглавиями[5].

Кафедра русской литературы осталась верна своим изданиям, хотя использовать название «Ученые записки», принадлежавшее университету в целом, было невозможно. Сохранили наименования своих серий, а именно «Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение» (вначале с добавлением «Новая серия» и с новой нумерацией томов), «Блоковский сборник» (основан в 1964 г., нумерация продолжающаяся), «Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia» (издается с 1989 г. совместно с Хельсинкским университетом раз в два года попеременно в Хельсинки и в Тарту), а также «Пушкинские чтения в Тарту» (выходит с нерегулярной периодичностью с 1987 г.[6]) и «Русская филология: Сборник статей молодых филологов»[7] (совместный с лингвистами, начат в 1964 г., с 1995-го издается ежегодно, теперь только в электронном виде). Однако в 2012 г. в Тартуском университете была проведена еще одна реформа. Издательский совет университета предложил восстановить серии с названием «Acta» как часть прежнего латинского наименования «Ученых записок» — «Acta et commentationes Imp. Universitatis Jurievensis / Universitatis Tartuensis (olim Dorpatensis)». С этого момента все славистические серии (кроме «Русской филологии») объединилась под общей шапкой «Acta Slavica Estonica», причем литературоведческие издания вновь стали перемежаться с лингвистическими, как это было до 1993 г. Как будут разбираться во всем этом хаосе библиографы, описывающие наши издания, не знаю. Во всяком случае, наличие их описания на кафедральном интернет-сайте облегчает дело, а доступность в электронном виде решает проблему их распространения.

Наряду с серийными имеются еще и внесерийные кафедральные издания, они также перечислены на сайте. В электронном виде доступны следующие из них: сборник «Путеводитель как семиотический объект» (2008), «Intermezzo festoso» (электронный фестшрифт в честь юбилея Л.Л. Пильд, 2019), электронный сборник памяти М.И. Лекомцевой (2019), а также книги членов кафедры, вышедшие в 2023 г.: «Поэма Пушкина “Граф Нулин”: опыт комментированного чтения» Р.Г. Лейбова, «Поэма Пушкина “Братья разбойники”: комментарий» Т.Н. Степанищевой, «Карамзинисты и архаисты: статьи разных лет» Л.Н. Киселевой. В 2024 г. кафедра в сотрудничестве с итальянскими коллегами издала русский перевод монографии своего большого друга Н.М. Каухчишвили «Италия в жизни и произведениях П.А. Вяземского».

В краткой заметке восстановить всю историю тартуских изданий невозможно. Отчасти подступы к теме сделаны во вступительной статье С.Г. Исакова к пер-

4 В 1893—1917 гг., потом в 1921—1944 гг., затем в 1946—1950 гг. и с 1954 по 1995 г. уже без перерыва.

5 В настоящее время Издательство Тартуского университета активно работает, публикуя на разных языках журналы, отдельные сборники и монографии по всем университетским специальностям.

6 Первый выпуск представлял собой сборник тезисов конференции 1987 г.

7 В настоящем Указателе эта серия не отражена, но сборники перечислены на сайте: https://ruslit.ut.ee/pub.php. Там же доступны в электронном виде большинство кафедральных изданий последних десятилетий.

вому Указателю — «Об изданиях кафедры русской литературы»[8]. В ней рассказано о тех бюрократических, материальных и цензурных трудностях, которые приходилось преодолевать при их подготовке. В «Не-мемуарах» Ю.М. Лотман писал, что они с З.Г. Минц и Б.Ф. Егоровым «договорились о таком принципе: на каждый выпуск смотреть как на последний»[9]. В результате те работы, которые были написаны к моменту подготовки очередного тома, вкладывались в него независимо от серии: так блоковские материалы попадали в «Труды», историко-литературные по своей сути статьи — в «Труды по знаковым системам», которые с 1964 до 1990 г. тоже издавались кафедрой, а семиотические — в филологические «Труды». Это была неизбежная жертва напряженной издательской ситуации. Доносы в цензуру были тогда делом обычным, а руководители министерств и ведомств постоянно придумывали новые препоны для научных изданий: сокращение лимита бумаги, ограничение объема сборника до 10 листов, статьи — до одного листа, запрет на раздел публикаций, которые всегда были (и остаются) украшением тартуских изданий, ликвидация нумерации выпусков и требование их озаглавливать, что противоречит идее «Ученых записок», где каждый исследователь представляет ту научную тему, которую в данный момент разрабатывает. Ю.М. Лотман, виртуозно придумывавший эти искусственные заглавия, именовал их не иначе, как «Взгляд и нечто».

Разумеется, в постсоветское время с ликвидацией цензуры и с вхождением в компьютерную эру издавать труды стало гораздо легче, но нельзя сказать, чтобы совсем легко. Во-первых, остро стоит вопрос финансирования. Когда имеется кафедральный проект, то расходы покрываются из грантовых средств. Однако надо отдать должное университетскому издательскому совету: он регулярно поддерживает наши издания, выделяя средства на их печатание. Вся остальная подготовка ложится на плечи членов очень небольшой кафедры: редактура, корректура, составление именного указателя, верстка, не говоря уже о формировании самого издания. Чтение корректуры, в котором принимают участие и докторанты, а иногда и студенты, — это общее и веселое дело. Сколько удается выгрести несуразных опечаток, обмолвок, над которыми все потешаются, одновременно со вздохом убеждаясь в том, что всех «блох» выловить без наличия профессионального корректора невозможно. Младшие коллеги столь же сосредоточенно трудятся над своим изданием — «Русской филологией», на собственном опыте убеждаясь, какую большую филологическую школу дает редакторская и корректорская работа. Так в участии в издательском процессе воспитывались все поколения тартуских филологов.

О разнообразии тематики и проблематики трудов, опубликованных в последнее двадцатилетие в серийных тартуских литературоведческих изданиях, читатели смогут судить по их заглавиям, перечисленным в Указателе. Эти работы характеризует, с одной стороны, верность принципам лотмановской школы, но, с другой стороны, динамизм, внимание к актуальным проблемам и методологическим поискам. Указатель, скомпонованный по сериям, не дает полного обзора хронологии выхода сборников. Если же выстроить все их по времени публикации, то получится, что за редким исключением они выходили ежегодно, часто по два тома в год, и таким образом начиная с 1993 г. постлотмановская кафедра выпустила 42 тома трудов (подавляющее большинство из них вышли в Тарту, только «Блоковский сборник — 12», «Лотмановские сборники», «Тартуские тетради» — в Москве, в издательстве «ОГИ», один том представляет собой спецвыпуск «Wiener Slawistischer Almanach»), не считая книг

8 См.: https://www.ruthenia.ru/document/437769.html. Обзор был продолжен в предисловии «От составителей» к XII выпуску «Трудов» (Acta Slavica Estonica. XVII. 2023): https://ruslit.ut.ee/Acta_slavica_XVII/aceXVII.pdf.

9 *Лотман Ю.М.* Не-мемуары // Лотмановский сборник. М., 1995. Вып. 1. С. 47.

отдельных авторов и фестшрифтов, а также 28 сборников «Русская филология», изданных в сотрудничестве с лингвистами. В своей издательской политике кафедра исходит из убеждения, что, поскольку основным предметом ее занятий является русская литература и культура, а основными читателями ее изданий — слависты, соответственно, языком публикаций должен оставаться русский, что не исключает публикации статей на английском (на котором изданы также два сборника — посвященные творчеству эстонского писателя Я. Кросса и проблемам национального мифа) и эстонском (русско-эстонский том о контактах эстонской и русской культур).

Издания, как и конференции, научные семинары — это центр жизни кафедры, без них она не существует, и не будь их — в университете отсутствовала бы та научная область, которой она занимается. Хотя такая структурная единица в Тартуском университете ликвидирована (принятая ныне иерархия: факультет — институт — отделение), но понятие «кафедра» никуда не ушло из сознания ее сотрудников и студентов. «Тартуский университет. Отделение славистики. Кафедра русской литературы» — так с гордостью обозначено на титульном листе наших изданий[10].

Издания кафедры всегда объединяли и объединяют не только членов кафедры от профессоров до докторантов, но и тот круг исследователей, который связан с Тарту многолетними научными контактами. Это и выпускники кафедры, разъехавшиеся ныне по всему миру, и те, кто когда-то начинал свой путь на тартуских студенческих или иных конференциях, и молодые исследователи из разных стран, которые только входят в науку. Все вместе они образуют дружное «тартуское сообщество», лицом которого остаются тартуские литературоведческие издания. Традиция, которой уже скоро семьдесят лет, продолжается.

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. V (Новая серия). Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. 311 с.

От составителей. С. 5—8; *Погосян Е.* Князь Владимир в русской официальной культуре начала правления Елизаветы Петровны. С. 11—36; *Иванов Д.* В.А. Озеров и А.А. Шаховской: история взаимоотношений. С. 37—64; *Киселева Л., Степанищева Т.* Проблема автоцензуры в переписке М.А. Протасовой и В.А. Жуковского. С. 65—79; *Гузаиров Т.* Жуковский — историк «великой минуты». С. 80—104; *Кузовкина Т.* Роль книги Г. Кенига в развенчании булгаринского мифа. С. 105—126; *Вольперт Л.* Эстетизация рефлексии в прозе Лермонтова (Печорин и его французские «собратья»). С. 127—167; *Пильд Л.* О литературных подтекстах поэтического цикла К. Случевского «Мефистофель». С. 168—179; *Войтехович Р.* Как описывать античность в творчестве Марины Цветаевой. С. 180—193; *Лейбов Р.* Баллада или пэан? Об одном эпизоде романа Тынянова «Пушкин». С. 194—205; *Данилевский А.* Толстые в «Собачьем сердце». С. 206—236; *Немзер А.* Фантастическое литературоведение Давида Самойлова. С. 237—258. **Из истории кафедры:** Выпускные ра-

10 В выпуске «Acta Slavica Estonica. XVII» из-за издательской замены титульного листа вместо «Кафедра русской литературы» ошибочно напечатано «Кафедра русского языка». И этой опечатки никто не заметил! Вот и сказалось отсутствие профессионального корректора...

боты на степень Baccalaureus Artium, защищенные на кафедре русской литературы 1999—2005. С. 259—263; Диссертации на степень Magister Artium, защищенные на кафедре русской литературы 1992—2005. С. 264—269; Диссертации на степень Doctor Philosophiae по кафедре русской литературы 1997—2005. С. 270—274. **In memoriam:** Памяти Владимира Николаевича Топорова. С. 275—280; Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. С. 281—284; Памяти Александра Павловича Чудакова. С. 285—290; Памяти Тамары Павловны Милютиной. С. 291—296; *Гаспаров М.* Сергей Сергеевич Аверинцев. С. 297—302[11].

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VI (Новая серия): К 85-летию Павла Семеновича Рейфмана. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. 370 с.

Посвящение. С. 5—8; *Погосян Е.* Ломоносов и Химера: отражение литературной полемики 1750-х годов в маскараде «Торжествующая Минерва». С. 11—24; *Зайонц Л.* Две судьбы Николая Ивановича Страхова. С. 25—42; *Булкина И.* О случаях и характерах в российской истории: мужество киевлянина. С. 43—53; *Иванов Д.* О запрещении оперы-водевиля «Казак-стихотворец»: письмо А.А. Шаховского А.С. Шишкову. С. 54—62; *Вольперт Л.* Опыт реконструкции одного пушкинского замысла (К проблеме зарождения гипотезы). С. 63—85; *Степанищева Т.* Пушкин в поэтической системе Жуковского (О переводе из Ленау). С. 76—85; *Лейбов Р.* Две неизвестных строки Лермонтова. С. 86—96; *Рейфман И.* Как сделаться дворянином? Поприщин Гоголя как несостоявшийся honnête homme. С. 97—107; *Осповат А.* Заметки к литературной биографии Тютчева (6—8). С. 108—121; *Гузаиров Т.* Ошибка верноподданного, или О цензурной судьбе тома прозы Жуковского. С. 122—144; *Исаков С.* Газета «Прибалтийский листок» (юрьевский период, 1894—1895). С. 145—177; *Киселева Л.* О «Российских Европиях»: взгляд из путеводителя. С. 178—198; *Паперный В.* Вяч. Иванов: между Чернышевским и Беме. С. 199—217; *Пильд Л.* Вопрос о «русском влиянии» в литературно-критическом наследии Фр. Тугласа. С. 218—229; *Винокуров Ф.* Евг. Замятин об Андрее Белом: специфика литературных оценок. С. 230—243; *Войтехович Р.* Платье Елены Спартанской в стихотворении Цветаевой «Психея» (1920). С. 244—252; *Доценко С.* От лужицкой легенды к петербургскому мифу: о фольклорном источнике рассказа А. Ремизова «Украш-венец». С. 253—263; *Даншлевский А.* Из комментариев к «Авио-рассказу» Мих. Иванникова. С. 264—279; *Пономарева Г.*, *Шор Т.* Славянская филология в Тартуском университете в 1941—1944 гг. С. 280—299; *Немзер А.* Стихотворение Давида Самойлова «Поэт и гражданин»: жанровая традиция и актуальный контекст. С. 300—336; *Егоров Б.* О невышедшем учебнике русской литературы XVIII—XIX вв. под редакцией Д.С. Лихачева. С. 337—344; Список печатных трудов Павла Семеновича Рейфмана. С. 345—355.

Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VII (Новая серия): К 80-летию со дня рождения Зары Григорьевны Минц; К 85-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 431 с.

---

11 Эта публикация представляет собой печальный феномен: в одном разделе опубликован некролог С.С. Аверинцеву, написанный М.Л. Гаспаровым, а также некролог самому Гаспарову. В пояснении от редакции говорилось: «20 марта 2004 г. М.Л. Гаспаров прислал для тартуского интернет-сайта Ruthenia эту статью-некролог. Невозможно было представить, что в нашем сборнике она встретится с некрологом самому Михаилу Леоновичу. Редколлегия “Трудов” решилась воспроизвести этот текст, поскольку трудно найти лучшие слова, чтобы почтить память С.С. Аверинцева, но еще и потому, что очень хотелось еще раз “услышать” живого Гаспарова» (с. 297).

От составителей. С. 7—8; *Погосян Е., Сморжевских-Смирнова М.* «Яко аз на раны готов»: Петр I на иконе Таллиннского Никольского храма. С. 11—37; *Сморжевских-Смирнова М.* Перенесение мощей Александра Невского: «водный путь» в имперском церемониале. С. 38—59; *Зайонц Л.* Ифигения в Тавриде: к проблеме «мерцающих» источников у Семена Боброва. С. 60—83; *Иванов Д.* О профессионализации русской драматургии в начале XIX века: к биографии А.А. Шаховского. С. 84—95; *Боленко К.* К вопросу о литературных источниках фельетона Н.А. Полевого «Утро в кабинете знатного барина» (1830). С. 96—110; *Гузаиров Т.* Открытие Александровской колонны в Петербурге: продуманный сценарий и неожиданный эффект. С. 111—127; *Лямина Е, Назарова Н., Осповат А.* К изучению прозы Пушкина (II). С. 128—141; *Вольперт Л.* Лермонтовская концепция сна и европейская традиция (стихотворение «Сон» Лермонтова и поэма «Дон Жуан» Байрона). С. 142—154; *Вдовин А.* Как писалась биография «новых людей»: Н. Добролюбов в беллетристике Н. Чернышевского. С. 155—177; *Пильд Л.* О литературных подтекстах и рецепции стихотворения К. Случевского «После казни в Женеве». С. 178—191; *Лавров А.* Иван Коневской: перспективы освоения творческого наследия. С. 192—207; *Росс Я.* Из истории Тартуского университета конца XIX — начала XX в. (эпизоды, связанные с исследованием музыки). С. 208—227; *Боровикова М.* О стихотворении Марины Цветаевой «Евреям» (1920). С. 228—241; *Винокуров Ф.* Вхождение в литературу романа Е. Замятина «Мы» (март 1921 — октябрь 1922). С. 242—260; *Башкирова И., Войтехович Р.* «Два столба с перекладиной»: мемуарная новелла Веры Инбер о гадании Марины Цветаевой. С. 261—271; *Мусаева О.* Федерико Гарсиа Лорка в советской периодике 1930-х гг.: особенности рецепции. С. 272—289; *Поливанов К.* Об одной разновидности разностопного ямба в лирике Бориса Пастернака. С. 290—301; *Немзер А.* О стихотворении Давида Самойлова «Дезертир». С. 302—316; *Семенов В.* «Это только для звука пространство всегда помеха...»: о механизмах релятивизации и семантизации метрики в стихотворениях И. Бродского. С. 317—336. **К изучению «идеологической географии»:** *Киселева Л.* Империя как пространство для национального строительства (на примере одного издания). С. 337—359; *Булкина И.* Политика Николая I в Юго-Западном крае и учреждение Университета Св. Владимира. С. 360—378; *Лейбов Р.* Из тютчевских «пророчеств»: «Русская география». С. 379—393; *Степанищева Т.* «Русское пространство» в сборнике Вяземского «В дороге и дома». С. 394—412.

Acta Slavica Estonica II. Works on Russian and Slavic Philology. Literary Criticism, VIII. Jaan Kross and Russian Culture. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. 256 p.

Introduction from the editor. P. 9—14. **I. The Sources and Poetics of Jaan Kross's Historical Works:** *Pild L.* Poetics of the Leitmotifs of Jaan Kross's Novel "The Czar's Madman". P. 15—33; *Kisseljova L.* Russian History and Culture in Jaan Kross's Novel "The Czar's Madman". P. 34—44; *Guzairov T.* Works of Russian Literature as Commentary on Jaan Kross's Novella "Michelson's Matriculation". P. 45—53; *Kisseljova L.* The Protagonists of Jaan Kross and their Prototypes (as exemplified in the Novella "The Third Range of Hills" and the Play "A Hard Night for Dr. Karell"). P. 54—70; *Pild L.* The Tolstoyan Tradition and Estonian Theme in Jaan Kross's Novel "Professor Martens's Departure". P. 71—81; *Guzairov T.* The Portrayals of S. Witte and F.F. Martens in Jaan Kross's "Professor Martens's Departure". P. 82—95. **II. The Poetics of Jaan Kross's Poetry Translations:** *Stepanischeva T.* The two Storylines of the Collection "Bottomless Moments" («Бездонные мгновенья / Põhjatud silmapilgud») by David Samoilov and Jaan Kross. P. 96—110; *Stepanischeva T.* David Samoilov's Poem "The Museum" in Translation by Jaan Kross (from the Collection "Bottomless Moments"). P. 111—123; *Stepanischeva T.* "And Russia seemed to him...": David Samoilov's Ballad and its Translation

by Jaan Kross. P. 124—137; *Pild L.* David Samoilov's Poem "Richter" and its Translation by Jaan Kross. P. 138—145; *Ivanov D., Tamm M.* Russian Classics in Soviet Estonia: Jaan Kross's Translation of Griboedov's Comedy. P. 146—173. **III. Supplement:** *Kisseljova L.* The Autobiographical Story of Artist Johann Koler (in the wake of Jaan Kross's Novel "The Third Range of Hills"). P. 174—179; Биография профессора г. Келера / Публ. и коммент. Л. Киселевой. P. 180—227.

Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. 345 с.

Вдовин А., Лейбов Р. Хрестоматийные тексты: русская поэзия и школьная практика XIX столетия. С. 7—34. **I. Поэтический XIX век: русские поэты в школьном обиходе:** *Сенькина А.* Изящная словесность как дидактический материал: к истории русской литературной хрестоматии (первая половина XIX в.). С. 35—54; *Степанищева Т.* Стихотворения П.А. Вяземского в русских школьных хрестоматиях XIX в. С. 55—78; *Пильд Л. Поэзия А.А.* Фета в дореволюционном школьном каноне. С. 79—88. **II. Хрестоматийные тексты XIX века: очерки бытования и канонизации:** *Киселева Л.* «Неканоничный» канонический текст («Боже, царя храни» В.А. Жуковского в дореволюционной школе). С. 89—105; *Пильщиков И.* «Есть наслаждение и в дикости лесов...» К. Батюшкова (предыстория и эдиционная судьба). С. 106—124; *Балакин А.* Псевдо-Пушкин в школьном каноне: метаморфозы «Вишни». С. 125—138; *Вдовин А.* Литературный канон и национальная идентичность: «Что ты спишь, мужичок?» А.В. Кольцова и споры о русскости в XIX веке. С. 139—162; *Булкина И.* Рецептивная история стихотворения А.С. Хомякова «Киев»: «смысл об унии». С. 163—172; *Сарычева К.* «Эти бедные селенья...» Ф. Тютчева в русском каноне (поэзия и критика 1850—1890-х годов). С. 173—187; *Макеев М., Герасимова К.* Стихотворение Н.А. Некрасова «Школьник» и проблема «демократизации» канона в русской школе 1860-х годов. С. 188—202; *Лейбов Р.* «Кто он?»: эпизод из истории трансформаций русского школьного канона. С. 203—232; *Немзер А.* «Песнь о вещем Олеге» и ее следствия. С. 233—301. **III. Приложения:** *Приложение 1.* Список хрестоматий и книг для чтения, изданных на территории Российской империи и вошедших в базу данных «Русская литература в школе (1805—1912)» / Сост. А.В. Вдовин, при участии А.А. Сенькиной. С. 302—309; *Приложение 2.* Частотность авторов и их текстов в русских хрестоматиях XIX века (1805—1912) / Сост. А.В. Вдовин. С. 310—329.

Acta Slavica Estonica IX. Труды по русской и славянской филологии X. Стратегии перевода и государственный контроль. Translation Strategies and State Control. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2017. 396 с.

От составителей. С. 7—13. **I. Стратегии перевода и государственный контроль:** *Monticelli D.* From Modelling to Untraslatability: Translation and the Semiotic Relation in Y. Lotman's Work (1965—1992). С. 15—35; *Bumm C.* «Советская школа перевода» — к проблеме истории концепта. С. 36—51; *Kamovnikova N.* The Consciousness of Necessity: Translation of National Literatures in the Soviet Union. С. 52—68; *Земскова Е.* «Права литературного гражданства»: переводчики в литературной бюрократии 1930-х годов. С. 69—84; *Найдич Л., Павлова А.* Темы, запретные для советского читателя. С. 85—105; *Shakhova A.* Paradigm shift in Soviet Linguistics and Translation studies: The Case of the Linguistic discussion of 1950. С. 106—121; *Азарова Н.* Стихи Мао Цзэдуна и судьба их переводов в России. С. 122—134; *Пильд Л.* Перевод как «интериоризация»: Фридеберт Туглас — переводчик романа А.Н. Толсто-

го «Петр Первый». С. 135—154; *Lange A.* Editing in the Conditions of State Control in Estonia: the Case of Loomingu Raamatukogu in 1957—1972. С. 155—173; *Lotman M.-K., Sütiste E.* Between Accuracy and Freedom: on Compensation Strategies in Estonian Literary Translation of the 1960s. С. 174—198; *Степанищева Т.* «Лирический фрагмент» Ф.И. Тютчева на эстонском языке: о стратегии переводчика. С. 199—220; *Купп-Сазонов С.* О двух переводах романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: вопрос цензуры. С. 221—235; *Бендер Р.* Эстонские переводы балтийско-немецких текстов в советскую эпоху и их восприятие. 236—247; *Боровикова М.* Шарль Бодлер в переводе М. Цветаевой. С. 248—265. **II. Перевод идеологии на язык школьных учебников:** *Киселева Л.* «Окно в Европу» в переводе на язык гимназических учебников истории. С. 267—285; *Гузаиров Т.* Конструирование национальной школьной истории (на примере начальных событий Северной войны в эстонских учебниках истории 1920—1930-х гг.). С. 286—298; *Пильд Л.* К истории одного анонимного перевода: роман А.Н. Толстого «Петр Первый» в хрестоматии для эстонских школьников XI класса. С. 299—310; *Веселко А.* Русская литература в эстонской школе советского периода: границы идеологии. С. 311—323; *Сенькина А.* Между всеобучем и политпросветом: советские журналы-учебники 1930—1932 гг. С. 324—341. **In memoriam:** Памяти Ларисы Ильиничны Вольперт. С. 345—348; Памяти Вячеслава Всеволодовича Иванова. С. 349—350.

Acta Slavica Estonica, XIV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, XI. К 100-летию Ю.М. Лотмана. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. 668 с.

От составителей. С. 9—14. **I. Статьи:** *Киселева Л.* «Я написал самую Карамзинскую речь для Российской академии и А.С. Шишкова!» (полемическая речь Карамзина 1818 года). С. 15—22; *Степанищева Т.* К истории русской рецепции Генриха Гейне (В.А. Жуковский, В.К. Кюхельбекер, П.А. Вяземский). С. 23—43; *Лейбов Р.* Заумный Толстой. С. 44—60; *Войтехович Р.* Воображаемое пространство: «Петербург» Андрея Белого и «Попытка комнаты» Марины Цветаевой. С. 61—75; *Пильд Л.* Моцартовские и блоковские мотивы в поэтическом цикле Михаила Кузмина «Пути Тамино». С. 76—91; *Боровикова М., Паванелло Л.* Поэтика «Сказок об Италии» М. Горького. С. 92—107; *Немзер А.* Контексты пьесы Давида Самойлова «Живаго и другие». С. 108—135; *Лотман М.* К проблеме «Лотман и марксизм». С. 136—159; *Вельмезова Е., Кулль К.* Ю.М. Лотман глазами современных семиотиков. С. 160—178. **II. Публикации:** Из семейной переписки Лотманов. Переписка Лидии Михайловны Лотман и Юрия Михайловича Лотмана (1950—1993) / Публ. Л. Найдич. С. 179—357; Отзыв Ю.М. Лотмана на диссертацию Б.Ф. Егорова «Русская литературная критика (1848—1861 гг.)» / Публ. П. Глушакова. С. 358—362; Спецкурсы Ю.М. Лотмана по творчеству Н.М. Карамзина: неавторизованные конспекты лекций, прочитанных в Тартуском университете / Публ. Л. Киселевой. С. 363—544; Письмо Ю.М. Лотмана И.З. Серману / Публ. Л. Найдич. С. 545—547; Воспоминания З.Г. Минц об Анне Ахматовой / Вступ. статья Р. Тименчика, публ. Л. Пильд. С. 548—568; Статья З.Г. Минц о творчестве Горького / Публ. Л. Пильд. С. 569—584. **III. Воспоминания:** *Кумпан К.* Моя научная школа: отрывки воспоминаний. С. 585—614; *Ионина М.* Тарту в 1970-е годы. Мои воспоминания. С. 615—630.

Acta Slavica Estonica XVII: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, XII. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2023. 465 с.

От составителей. С. 9—14. **I. Статьи:** *Зенкин С.* Семиотика и диалектика (Опыт Юрия Лотмана). С. 15—28; *Киселева К.* Место Карамзина в эволюции историко-литературной концепции Ю.М. Лотмана. С. 29—47; *Петина Л.* Эмблематика «на-

градного» суперэкслибриса в контексте системы образовательных институций России (XVIII век). С. 48—72; *Степанищева Т.* Поэма «О счастии» в авторской биографии Анны Буниной (сюжет и контекст). С. 73—98; *Велижев М.* «Апология безумного» Петра Чаадаева: редакции и контексты. С. 99—112; *Долинин А.* Гибель Помпеи в русской поэзии XIX века: тексты и контексты. Статья первая. С. 113—136; *Лейбов Р.* Две заметки о двойной бездне. С. 137—152; *Пильд Л.* О литературном контексте некрасовской цитаты у Кузмина. С. 153—169; *Боровикова М.* Цикл М. Цветаевой «Стихи к Сонечке» (1919). С. 170—190; *Войтехович Р.* Метаморфозы красоты: от Эллис до некрасивой девочки. С. 191—201; *Вельмезова Е.* Лингвистика и ее история, отраженная в поэзии: сборник Сергея Бирюкова «Универсум». С. 202—220. **II. Публикации:** Из переписки З.С. Паперного с Ю.М. Лотманом и З.Г. Минц / Вступ. заметка, подгот. текста и коммент. В. Отяковского. С. 221—243; Спецкурс Ю.М. Лотмана о декабристах: неавторизованные конспекты лекций, прочитанных в Тартуском университете / Вступ. заметка, публ. и коммент. Л. Киселевой. С. 244—390; Статья З.Г. Минц о романе Достоевского «Идиот» / Вступ. заметка, публ., обратный пер. статьи с эстонского Л. Пильд. С. 391—415; Статья З.Г. Минц о Сологубе / Вступ. заметка, публ., обратный пер. статьи с эстонского М. Боровиковой. С. 416—437.

Acta Slavica Estonica XIX. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, XIII. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2024. 506 с.

От составителей. С. 9—14. **I. Статьи:** *Погосян Е.* “Mundus Symbolicus” Меншиковой башни. С. 15—33; *Осповат К.* Смысл бунта, или Политическая семиотика пугачевщины. С. 34—57; *Мартыненко А.* История слепой стихотворицы Домны Анисимовой: почему в истории русской поэзии нет «поэтессы из крестьян». С. 58—70; *Степанищева Т.* «Русская опытная хозяйка»: авторское амплуа и книги Екатерины Авдеевой. С. 71—87; *Булахова М.* Тема «маленького человека» в романе Н.П. Тимофеева «Отчего поезда кувыркаются» (1881). С. 88—103; *Пильд Л.* Кузмин и Лесков: введение в тему. С. 104—124; *Долинин А.* Помпейская тема в поэзии Серебряного века. С. 125—146; *Боровикова М.* «Ночные шепота»: еще раз о М. Цветаевой и А. Фете. С. 147—159; *Тименчик Р.* Тематологический компонент комментария (собрание сочинений Ахматовой). С. 160—175; *Лейбов Р., Лекманов О.** Кисет и колечко: из поэтической сталинианы 1930—1940-х гг. С. 176—185; *Утгоф Г.* “Not Koriakov”: к истории републикации романа В. Набокова-Сирина «Приглашение на казнь» (1966). С. 186—195; *Кузовкина Т.* Ю.М. Лотман о массовых эмоциях: об истории одного замысла. С. 196—211. **II. Публикации:** Лекции Ю.М. Лотмана по истории русской литературы первой трети XIX в.: неавторизованные конспекты лекций, прочитанных в Тартуском университете / Вступ. заметка, публ. и коммент. Л. Киселевой. С. 213—343; «Ваша деятельность неоценима» (из переписки Е.Г. Эткинда с Лотманами) / Вступ. заметка, публ. и коммент. П. Глушакова и Л. Киселевой. С. 344—378; *Петина Л.* История одного лотмановского рисунка. С. 379—397; Материалы о повседневной жизни русских прибалтов под оккупациями 1940-х гг. / Публ. М.Б. Плюхановой. С. 398—444; *Равдин Б.* «Обзорная справка» по судебно-следственному делу Бориса Владимировича Плюханова (1944—1946 гг.). С. 445—462. **III. In memoriam:** Малле Салупере (17.02.1931—8.06.2023). С. 463—466; Андрей Немзер (10.06.1957—9.12.2023). С. 467—470.

---

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Блоковские сборники

Блоковский сборник XVII: русский модернизм и литература XX века. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. 268 с.

От редколлегии. С. 5—6. *Магомедова Д.* «Андреевский» пласт в пьесе Блока «Песня Судьбы». С. 9—18; *Пильд Л.* Константин Случевский и Лермонтов (о стихотворениях Случевского, написанных пятистопным хореем). С. 19—34; *Лекманов О.** Сосед Пастернака: жизнеописание Зиновия Давыдова. С. 35—40; *Боровикова М.* Литературное окружение М. Цветаевой в 1900-е гг.: к истории литературного дебюта. С. 41—53; *Войтехович Р.* «Имя твое — птица в руке»: из чего сделаны стихи Цветаевой. С. 54—66; *Винокуров Ф.* «Воспоминания о Блоке» Евгения Замятина: генезис и структура. С. 67—89. **Из материалов конференции «Статус писателя в русской литературе XX века: метрополия и диаспора»:** *Нымм Е.* И.И. Ясинский о литературном статусе А.П. Чехова. С. 90—101; *Доценко С.* «Библией мух бьете!»: автобиографический миф А. Ремизова. С. 102—138; *Грачева А.* Борьба за статус писателя в литературной иерархии и тактика самозванства (по материалам архива А.М. Ремизова). С. 139—149; *Немзер А.* Поэт после поэзии: самоидентификация Давида Самойлова. С. 150—174; *Лавринец П.* Статус русского эмигрантского писателя и «лимитрофная» литература. С. 175—194; *Вейдеманн Р.* О статусе (= судьбе) писателя в Эстонии. С. 195—203. **Публикации:** Из переписки К.К. Случевского / Публ. и коммент. Л. Соболева. С. 204—208; Переписка К.К. Случевского с А.Г. Достоевской / Публ. Л. Соболева. С. 209—221; Дополнения к изданию: К.К. Случевский. Стихотворения и поэмы. СПб., 2004. (Новая библиотека поэта) / Публ. Л. Соболева. С. 222—232; *Исаков С.* Забытые воспоминания Э. Мешинга о Ф. Сологубе. С. 233—238; *Мешинг Э.* Федор Кузьмич Сологуб. 1863—1927. Воспоминания / Пер. с нем., публ. и коммент. С. Исакова. С. 239—245.

Блоковский сборник XVIII: Россия и Эстония в XX веке: диалог культур. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2010. 359 с.

От составителей. С. 7—8. **Александр Блок и русская литература XX века:** *Спивак М.* Фетовские реминисценции в цикле А. Блока «Снежная Маска» (1907). С. 9—25; *Тименчик Р.* Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой: Городецкие. С. 26—50; *Балакин А.* Неизвестный инскрипт Блока. С. 51—55; *Сошкин Е.* Между могилой и тюрьмой: «Голубые глаза и горячая лобная кость...» О. Мандельштама на пересечении поэтических кодов (Статья первая). С. 56—79. **Россия и Эстония в XIX—XX столетиях: диалог культур:** *Энгель-Брауншмидт А.* Немецкая духовная жизнь в прибалтийском уединении: антология Егора Сиверса «Немецкие поэты в России». С. 80—99; *Таннберг Т.* Эстонцы в российской армии в последний период существования империи (1900—1917). С. 100—111; *Мисникевич Т.* Федор Сологуб и Эстония: заметки к теме. С. 112—124; *Пильд Л., Тоомель К.* Эссе А.Х. Таммсааре о Достоевском в контексте публицистики писателя 1910—1920-х гг. С. 125—136; *Лавринец П.* Статус писателя в диалоге культур: казус Алексиса Раннита. С. 137—151; *Вейдеманн Р.* Эстонско-русский литературно-коммуникативный курьез: повесть Г. Леберехта «Свет в Коорди» (1948—1949). С. 152—161; *Немзер А.* Две Эстонии Давида Самойлова. С. 162—184; *Степанищева Т.* Стихотворение Давида Самойлова «Дом-музей» в переводе Яана Кросса (из сборника «Бездонные мгновения»). С. 185—201; *Киселева Л.* Русская история и культура в романе Яана Кросса «Императорский безумец». С. 202—216; *Гузаиров Т.* Сочинения русской литературы как комментарий к новелле Я. Кросса «Имматрикуляция Михельсона». С. 217—227; *Поливанов К.* Эстонские журналы «Таллин» и «Радуга» на

русском языке (1986—1991 гг.). С. 228—237; *Лейбов Р., Лекманов О.** Заметки о Тарту в современной русской поэзии: освоение места. С. 238—254. **Eesti ja venemaa 20 saj: kultuuride dialog:** *Pild L., Toomel K.* A.H. Tammsaare essee Dostojevskist kirjaniku 1910—1920. Aastate publitsistika kontekstis. С. 255—264; *Misnikevitš T.* Fjodor Sologub Eestis: märkmeid teema kohta. С. 265—276; *Kisseljova L.* Vene ajalugu ja kultuur Jaan Krossi romaanis "Keisri hull". С. 277—289; *Guzairov T.* Vene kirjanduse tekstid Jaan Krossi novelli "Michelsoni immatrikuleerimine" kommentaaridena. С. 290—299; *Veidemann R.* Eesti-vene kirjandusliku kommunikatsiooni kurioosum: Hans Leberechti jutustus "Valgus Koordis" (1948—1949). С. 300—308; *Stepaništševa T.* David Samoilovi luuletus "Majamuuseum" Jaan Krossi tõlkes (kogumikust "Põhjatud silmapilgud"). С. 309—324; *Polivanov K.* Eesti venekeelsed ajakirjad "Tallinn" ja "Raduga" (1986—1991). С. 325—333; *Tannberg T.* Eestlased vene armees impeeriumi lõpuperioodil (1900—1917). С. 334—343.

Acta Slavica Estonica VII. Блоковский сборник XIX: Александр Блок и русская литература Серебряного века. Тарту, 2015. 269 с.

От составителей. С. 7—8. **I. Творчество А. Блока в контексте литературы XIX—XX вв.:** *Ханзен-Лёве О.* Статья А. Блока «Дитя Гоголя». С. 9—35; *Магомедова Д.* Ошибка профессора И. Шляпкина: масленичный карнавал в «Балаганчике» А. Блока. С. 36—43; *Лавров А.* Леонид Семенов — корреспондент Александра Блока. С. 44—55; *Блюмбаум А.* Поздний Блок и немецкий романтизм: «спасение природы». С. 56—85; *Никитина С.* Какую «Кармен» слушал А. Блок? С. 86—95; *Шеля А.* О ядах и кометах: из комментария к стихотворению А. Блока «Здесь в сумерки в конце зимы...». С. 96—109; *Лекманов О.** Блоковский след в поэтических книгах 1922 года: новые материалы и соображения. С. 110—126; *Пильд Л.* Лирика А. Блока в эстонских переводах: общая стратегия и имплицитная поэтика переводчика. С. 127—141; **II. Литература Серебряного века: творческие и социальные стратегии:** *Богомолов Н.* К истории одного спецкурса. С. 142—151; *Тименчик Р.* Из Именного указателя к «Записным книжкам» Ахматовой: левый фланг акмеизма. С. 152—174; *Шевеленко И.* Русско-японская война в публицистике модернистского круга. С. 175—191; *Успенский П.* Травма эмиграции: физическая ущербность в «Европейской ночи» В. Ходасевича. С. 192—210; *Войтехович Р.* Тематический ритм в композиции книги стихов К.Д. Бальмонта «Под северным небом». С. 211— 225; *Боровикова М.* Марина Цветаева в переводах Леэло Тунгал. С. 226—249.

Пушкинские чтения в Тарту

Пушкинские чтения в Тарту 3: Материалы международной научной конференции, посвященной 220-летию В.А. Жуковского и 200-летию Ф.И. Тютчева. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. 426 с.

От редколлегии. С. 5—6. **I.** *Фрайман Т.* Державин и Жуковский: к вопросу о творческом наследовании. С. 9—29; *Велижев М.* «Ясный вечер жизни»: из комментариев к критическим текстам В.А. Жуковского в «Вестнике Европы». С. 30—40; *Булкина И.* К сюжету о пане Твардовском (контексты «киевской» баллады Жуковского). С. 41—63; *Виницкий И.* «Небесный Ахен»: политическое воображение Жуковского в конце 1810-х годов. С. 64—98; *Лямина Е., Самовер Н.* Религиозное в эпоху поэтических манифестов: «Теснятся все к тебе во храм...» В.А. Жуковского. С. 99—111; *Дзядко Ф.* «За что нам друг от друга отдаляться?» К истории литературных отношений А.Ф. Мерзлякова и В.А. Жуковского: «версия» Мерзлякова. С. 112—

136; *Иванов Д.* Роль В.А. Жуковского в формировании полемического образа Шаховского. С. 137—148; *Хитрова Д.* Литературная позиция Баратынского и эстетические споры конца 1820-х гг. С. 149—180; *Салупере М.* Жуковский и Зейдлиц — к истории взаимоотношений. С. 181—197; *Киселева Л.* Жуковский — преподаватель русского языка (начало «царской педагогики»). С. 198—228; *Ребеккини Д.* В.А. Жуковский и французские мемуары при дворе Николая I (1828—1837). Контекст чтения и его интерпретация. С. 229—253; *Гузаиров Т.* Русский за границей (Жуковский: 1841—1849). С. 254—275; *Кузовкина Т.* Некролог Булгарина Жуковскому. С. 276—293; *Пильд Л.* Поэтический мир Жуковского как объект художественной рефлексии Константина Случевского. С. 294—312; *Войтехович Р.* Неназываемый Жуковский в творческом мире Цветаевой. С. 313—335; *Вольперт Л.* Лермонтов и французская литературная традиция (сопоставление с Пушкиным). С. 336—366. **II.** *Лейбов Р., Осповат А.* Чужое слово у Тютчева. Заметки к теме (I). С. 367—380; *Долинин А.* Цикл «Смерть поэта» и «29 января 1837» Тютчева. С. 381—395; *Кац Б.* Мадригал или разыскание в музыкальной эстетике? К истолкованию стихотворения Тютчева «Ю.Ф. Абазе». С. 396—405; *Пономарева Г.* Ревель в стихотворении Ф. Тютчева «Как насаждения Петрова...». С. 406—416.

Пушкинские чтения в Тарту 4: Пушкинская эпоха: проблемы рефлексии и комментария: Материалы международной конференции. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007. 451 с.

От редколлегии. С. 5—6; *Вольперт Л., Краснобородько Т.* Игровой мир Пушкина. Эпизод быта Тригорского: Поэт и Зизи. С. 9—31; *Росси Л.* Комментарий к пушкинской строке, или Почему Онегин стоял, «опершися на гранит»? С. 32—46; *Лекманов О.** Об одном пушкинском каламбуре. С. 47—53; *Салупере М.* Из комментариев к стихотворениям Пушкина Михайловского периода («Песни о Стеньке Разине» и «Аквилон»). С. 54—70; *Лейбов Р., Осповат А.* Сюжет и жанр стихотворения Пушкина «Олегов щит». С. 71—88; *Кац Б.* Чем кончается «Метель»? С. 89—109; *Лямина Е.* Из комментария к «Домику в Коломне»: о персонажной структуре. С. 110—116; *Мильчина В.* «Мюссе. Ночной столик»: попытка комментария к пушкинскому упоминанию. С. 117—137; *Лавринец П.* Пушкин в сочинениях гимназистов Литвы и Белоруссии (1838). С. 138—151; *Немзер А.* Пушкин в стихотворении Давида Самойлова «Ночной гость». С. 152—190; *Олеск С.* Бетти Альвер как комментатор Пушкина. С. 191—199; *Турьян М.* Рефлексии мифа о губительной статуе: Антоний Погорельский. С. 200—213; *Булкина И.* «Днепровские русалки» и «киевские богатыри». Статья II. С. 214—237; *Иванов Д.* К проблеме публикации драматических текстов (замечания к изданию сочинений А.А. Шаховского). С. 238—255; *Киселева Л., Степанищева Т.* Проблема комментирования эпистолярия (на примере переписки Жуковского и его племянниц). С. 256—269; *Кузовкина Т.* Булгарин до 14 декабря 1825 г.: к проблеме реконструкции литературной биографии. С. 270—299; *Велижев М.* “L’affaire du Télescope”: письма С.Г. Строганова С.С. Уварову (октябрь 1836 г.). С. 300—317; *Гузаиров Т.* Жуковский и Бородинские торжества 1839 г. С. 318—330; *Хитрова Д.* Ода как мадригал: к описанию одного стихотворения Баратынского. С. 331—344; *Мазур Н.* Еще раз о деве-розе (в связи со стихотворением Баратынского «Еще как Патриарх не древен я...»). С. 345—378; *Войтехович Р.* Пушкинская эпоха в комментарии к текстам М. Цветаевой: Цветаева и «Грибоедовская Москва» М.О. Гершензона. С. 379—395; *Боровикова М.* Из комментария к поэме М. Цветаевой «На красном коне». С. 396—407; *Осповат К.* О концепции оды у Тынянова: заметки к теме. С. 408—419; *Пономарева Г.* Юбилеи М.Ю. Лермонтова в Эстонии 1939 и 1941 годов. С. 420—433.

Пушкинские чтения в Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: К 85-летию Ларисы Ильиничны Вольперт: В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. Ч. 1. 291 с.

От составителей. С. 9—10; *Лейбов Р.* Художественный текст как механизм репликации и «Золотой век» русской литературы. С. 15—31; *Виролайнен М.* «Золотой век» как литературный феномен: попытка характеристики. С. 32—39; *Вдовин А.* Понятие «русские классики» в критике 1830—50-х гг. С. 40—56; *Мазур Н.* К типологии педантов: случай Онегина. С. 57—84; *Бодрова А.* Из разысканий вокруг пушкинского «Аквилона». С. 85—102; *Рейфман П.* Два самозванца (К вопросу о публикации «Бориса Годунова» Пушкина). С. 103—122; *Лямина Е.* Мавр[уш(к)]а (Из комментария к «Домику в Коломне». 4). С. 123—132; *Назарова Н.* Лже-Белкин и псевдо-Сенковский: об истинном авторе повести «Турецкая цыганка» и одном эпизоде из отношений Сенковского с Пушкиным в 1835 году. С. 133—144; *Гузаиров Т.* Повести о Пугачеве в структуре «Истории Пугачевского бунта». С. 145—153; *Мильчина В.* Июльская монархия — «эпоха без имени»: о двух книгах из библиотеки Пушкина. С. 154—178; *Шахвердов С., Лотман М.* Вольный ямб А.С. Пушкина. С. 179—205; *Степанищева Т.* Построение «пушкинской эпохи» по Вяземскому. С. 206—223; *Киселева Л., Фомина Е.* Роль И.С. Тургенева в формировании канона (на материале прозы 1840-х гг.). С. 224—249; *Пильд Л.* Поэзия Пушкина в автометаописаниях Фета (1850-е гг.). С. 250—261; *Лекманов О.** Об одной цитате из «неканонического» Пушкина у «канонического» Хлебникова. С. 262—290; *Поливанов К.* Канонические тексты Пушкина в лирике и романе Бориса Пастернака. С. 271—291.

Пушкинские чтения в Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: К 85-летию Ларисы Ильиничны Вольперт: В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. Ч. 2. 318 с. (продолжающаяся пагинация: С. [293]—609).

Статьи: *Балакин А.* Стихотворение «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года» и его автор (История одной мистификации). С. 293—308; *Парсамов В.* Устав Союза Благоденствия и литературный канон. С. 309—319; *Иванов Д.* Проблема канона русской комедии в первой половине XIX века: Грибоедов или Шаховской? С. 320—334; *Велижев М.* С.С. Уваров в начале николаевского царствования: заметки к теме. С. 335—356; *Зайонц Л.* Писал писачка, а имя ему собачка (К происхождению субтекста в «Записках сумасшедшего» Гоголя). С. 357—376; *Осповат А.* Дополнения и уточнения к «Летописи жизни и творчества Ф.И. Тютчева» (I). С. 377—388; *Виницкий И.* «Немая любовь» Жуковского. С. 389—441; *Немзер А.* Канон Жуковского в поэзии Некрасова. С. 442—463; *Боровикова М.* Некрасов в ранней поэзии Цветаевой. С. 464—479; *Войтехович Р.* «Я не могу узнать себя, скажем, ни в одной строке Баратынского...»: Цветаева и Баратынский. С. 480—493; *Булкина И.* Баратынский и Бродский: «О собеседнике» (Попытка реконструкции одного цикла). С. 494—506; *Семенов В.* Проблема деформации классических метров в русской поэзии конца XX в. с функциональной точки зрения. С. 507—526. **Публикации:** Б.В. Томашевский в журнале «Гермес» (1923): публикация пушкинских черновиков из «Майковского собрания» / Публ. Г. Левинтона, Н. Охотина. С. 527—553; «Читая о Пушкине, я думал о тебе»: отзывы коллег на монографию Ю.М. Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин» (к 30-летию выхода книги) / Публ. Б. Егорова, Т. Кузовкиной; коммент. Б. Егорова, Т. Кузовкиной, И. Пильщикова. С. 554—576.

Пушкинские чтения в Тарту 6: Вып. 1. Пушкин в кругу современников. Pushkin among his contemporaries. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2019. 385 с.

От составителей. С. 9—10; *Дашевский Г.* Гедонистическое самоубийство в ранней лирике Пушкина: заметки к теме / Публ. Н. Мазур. С. 11—33; Приложение: *Уваров С.С.* Fragments sur l'avantage de mourir jeune (1808) / Публ. М. Велижева, пер. Н. Мазур. С. 34—46; *Мазур Н.* Поэтический диалог Пушкина и Языкова в середине 1820-х годов: новые перспективы. С. 47—93; Приложение: Эротические стихотворения Н.М. Языкова: к истории текста. С. 94—118; *Мильчина В.* Еще одна реминисценция из «Физиологии брака» в пушкинской прозе. С. 119—123; *Виницкий И.* Французские связи Клеопатры. Мнимые переводы Пушкина как историко-культурная проблема. С. 124—156; *Степанищева Т.* «Атаман и с ним дева»: к характеристике пушкинского сюжетосложения. С. 157—170; *Охотин Н.* Из заметок на полях пушкинского комментария. I. «Ночной зефир...» (1824). С. 171—194; II. «Сказали раз царю, что наконец...» (1825). С. 195—205; *Лейбов Р.* Из комментариев к «Графу Нулину»: «чудный зверь». С. 206—210; *Кардаш Е.* «Чем ремесло мое нечестнее прочих?» Из комментария к повести А.С. Пушкина «Гробовщик». С. 211—227; *Осинкина Л.* О сновидениях Германна. С. 228—235; *Долинин А.* Выбранные места из будущего комментария к «Путешествию в Арзрум». I. Винопитие и виноделие в Грузии. С. 236—239; II. Езиды. С. 240—243; III. Азиатская роскошь. С. 244—252; *Бодрова А.* К институциональной истории Вольного общества любителей российской словесности. С. 253—265; Приложение: Документы из дела «Об учреждении в С. Петербурге Общества соревнователей просвещения и благотворения...» (1817—1818). С. 266—284; *Пешио Д.* Аркадий Родзянка: новые тексты из архива А.С. Норова. С. 285—296; *Ларионова Е.* «Сентиментальное путешествие» С.А. Соболевского по Италии. С. 297—326; *Мильчина В., Осповат А.* Фрагмент биографии «русского европейца» (Из переписки князя П.Б. Козловского и деловых бумаг 1836 г.). С. 327—341; *Костин А.* Писатель начала XIX века в эпоху великих реформ: автобиографическая эпистола Б.М. Федорова 1866 года. С. 342—346; Приложение: Б.М. Федоров. Русскому Сановнику на вопрос его о Камер-Фурьерских журналах. С. 347—358.

Пушкинские чтения в Тарту 6: Вып. 2. Пушкинская эпоха. Pushkin's Era. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2020. 396 с.

От составителей. С. 9. **I.** *Киселева Л.* Ранние театральные впечатления Пушкина и князь Шаховской. С. 11—24; *Китанина Т.* Кто и с кем писал или не писал стихи. (К истории пушкинской эпиграммы «Счастлив ты в прелестных дурах...»). С. 25—37; *Мартыненко А.* Е.А. Баратынский и «Ученая республика»: к истории формирования литературной репутации поэта. С. 38—51; *Булкина И.* «Имя Нины»: из комментариев к поэме Е.А. Баратынского «Бал». С. 52—66; *Ребеккини Д.* Как наследник престола Александр Николаевич читал Пушкина (1829—1837). С. 67—107; *Гузаиров Т.* В.А. Жуковский — читатель Франсуа Гизо в эпоху «Весны народов» (статья первая). С. 108—123; *Левинтон Г.* Лермонтов и Робинзон Крузо: один комментарий к «Княжне Мери». С. 124—130; **II.** *Шеля А., Плехач П., Зеленков Ю.* Феномен Батенькова и проблема верификации авторства: многомерный статистический подход к нерешенному вопросу. С. 131—165. **III.** *Осповат А.* Дополнения и уточнения к «Летописи жизни и творчества Ф.И. Тютчева» (II). С. 166—178; *Добрицын А.* Французские источники «Опытов в антологическом роде» А.Д. Илличевского. С. 179—271; *Симанков В.* «Вестник Европы» (1802—1810): источники переводов, авторство анонимных и псевдонимных текстов. Материалы к каталогу. С. 272—362.

Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia

Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи: В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. Ч. 1. 250 с.

От составителей. С. 5—6; *Парсамов В.* Культурные рефлексии 1812 года (Идеологема «народная война»). С. 9—27; *Майдель Р.* О руке, кулаке и дубине народной войны. С. 28—48; *Савицкий С.* Повторение прогулки. «Славянка» В.А. Жуковского в контексте литературы о парках. С. 49—68; *Булкина И.* «Днепровские русалки» и «киевские богатыри». Статья 1. С. 69—85; *Кузовкина Т.* История на службе у Булгарина. С. 86—113; *Киселева Л.* История Ливонии под пером Ф.В. Булгарина. С. 114—127; *Мильчина В.* Русская цензура александровской эпохи глазами французского дипломата. С. 128—150; *Лямина Е.* Несостоявшийся вкладчик «Современника». О бытовании устных мемуаров в пушкинском кругу. С. 151—169; *Иванов Д.* Рождение исторического предания о Федоре Волкове. С. 170—185; *Вольперт Л.* Тень Кассандры в мифопоэтике переломной эпохи («На буйном пиршестве задумчив он сидел...» Лермонтова и «Пророчество Казота» Лагарпа). С. 186—102; *Гузаиров Т.* В поисках веры: о предыстории статьи В.А. Жуковского «О смертной казни». С. 203—220; *Лейбов Р.* Воспоминания о воспоминаниях в Царском Селе: два пейзажа Тютчева. С. 221—237; Пильд Л. Александр I в поэме К. Случевского «Призрак». С. 238—250.

Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи: В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. Ч. 2. 236 с. (продолжающаяся пагинация: С. [250]—486).

*Лекманов О.** «Ах, все знакомые мотивы» (о «Современном Онегине» М.Я. Пустынина). С. 251—258; *Шевеленко И.* «Открытие» древнерусской иконописи в эстетической рефлексии 1910-х годов. С. 259—281; *Веселова А.* Стихотворение О.Э. Мандельштама «Есть ценностей незыблемая скала...» и репутация русских трагиков XVIII века. С. 282—296; *Колоницкий Б.* Воин «старого времени»: образы великого князя Николая Николаевича в годы Первой мировой войны. С. 297—326; *Хелльман Б.* Реймсский собор разрушен! Об одном мотиве в русской литературе времен Первой мировой войны. С. 327—343; *Войтехович Р.* «Тебе — через сто лет» М. Цветаевой: Exegi monumentum от противного. С. 344—358; *Хуттунен Т.* Оскар Уайльд из Пензы. С. 359—375; *Лавринец П.* Польская Великая эмиграция в публицистике и критике Д.В. Философова 1920—1930-х гг. С. 376—391; *Немзер А.* История и современность в «Стихах о царе Иване» Давида Самойлова. С. 392—433; *Зубова Л.* Именование как предмет поэтической рефлексии на границе XX и XXI вв. (стихи Александра Левина). С. 434—459.

Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XII: Мифология культурного пространства: К 80-летию Сергея Геннадиевича Исакова. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. 507 с.

От составителей. С. 13—15; *Егоров Б.* К портрету Сергея Геннадиевича Исакова (по переписке Ю.М. Лотмана и Б.Ф. Егорова 1958—1963 гг.). С. 17—27. **I.** *Сморжевских-Смирнова М.* Парадиз в географии Петра Великого. С. 28—43; *Лейбов Р., Осповат А.* К польской теме у Хомякова. С. 44—51; *Хелльман Б.* «Много! Многоо! Многоо!» Финская выставка в Петрограде в 1917 г. С. 52—73; *Сошкин Е.* Между могилой и тюрьмой: «Голубые глаза и горячая лобная кость...» О. Мандельштама на пересечении поэтических кодов (Статья вторая). С. 74—108; *Пономарева Г.* К советской

мифологии эстонского пространства («красная Россия» и «окровавленная Эстония»). С. 109—120; *Шор Т.* «О, дивный остров Валаам!»: паломничество на Валаам в русской литературе и публицистике Эстонии в 1930-е гг. С. 121—144; *Степанищева Т.* «И ему показалась Россия...»: баллада Д. Самойлова и ее перевод Я. Кросса. С. 145—162; *Немзер А.* Два «московских» стихотворения Давида Самойлова. С. 163—183; *Песонен П.* Россия как мифологизированное пространство в современной финской литературе. С. 184—202; *Вахтин Н.* От «дикости» к «другому»: к эволюции образа Сибири и Севера в русском языке. С. 203—216. **II.** *Киселева Л.* Литературная составляющая в имперском национальном проекте. С. 217—233; *Иванов Д.* Трактовка финского этноса в трилогии А.А. Шаховского «Фин» и ее источник. С. 234—249; *Булкина И.* «Известная фамилья»: польский патриот граф Фаддей Чацкий. С. 250—264; *Киршбаум Г.* Брут, Мазепа, Валленрод: о специфике украинской тематики в творчестве К.Ф. Рылеева. С. 265—277; *Фомина Е.* Этническая характеристика как проблема поэтики (немецкие персонажи в творчестве И.С. Тургенева). С. 278—300; *Вдовин А.* Русский народный характер как «литературный обман» (рассказ А.Ф. Писемского «Леший»). С. 301—317; *Энгель-Брауншмидт А.* Прибалтийские немцы о себе и о других. С. 318—336; *Курсите-Пакуле Я.* Образ немца в латышской литературе. С. 337—348; *Гузаиров Т.* Прагматика образа «верноподданного финна» в идеологических текстах 1809—1854 гг. С. 349—372; *Назарова Е.* Рассказы К.А. Скуйе о латышских крестьянах для русского юношества (1890-е гг.). С. 373—383; *Лавринец П.* Литовцы в русской литературе XIX — начала XX веков. С. 384—400; *Мисникевич Т.* «Польский вопрос» в лирике и публицистике Федора Сологуба. С. 401—410; *Лекманов О.** У «Лукоморья»: к истории одного «националистического» журнала. С. 411—426; *Войтехович Р.* Польская гордыня и татарское иго в стихах Цветаевой к Ахматовой. С. 427—450; *Пильд Л.* Об эволюции личности и нации в романе А.Х. Таммсааре «Я любил немку» (роль русской литературной традиции). С. 451—467; *Абисогомян Р.* А.К. Баиов — русский генерал на эстонской службе. С. 468—481.

Acta Slavica Estonica VI. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XIV. Russian National Myth in Transition. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. 300 p.

Kisseljova L. Introduction from the Editor. P. 7—12; *Voitekhovich R.* "The Russian Cold" as Perceived by Europeans in the 15th through 19th Centuries as a Constituent Element of the Russian National Myth. P. 13—21; *Pogosjan J.* How to Build a Russian Imperial Iconostasis: Ivan Zarudny and the Navigation of Guidelines and Politics. P. 22—37; *Ospovat K.* The (Dis)empowered People: Kingship, Revolt and the Origins of Russian Tragic Drama. P. 38—58; *Bodrova A.* Rhetoric and Mythology of the 1808—1809 Finnish War in Baratynsky's Poem Eda. P. 59—78; *Bulkina I.* The Russian Warrior at a Rendez-vous. The Sources and Reception of Evgeny Baratynsky's Finnish Poem. P. 79—93; *Guzairov T.* "Finnish Attitudes toward Russians": National Narrative, Imperial Politics and the Mechanism of Governance of the Rebellious Borderland (1907—1910). P. 94—106; *Vdovin A.* Formulating the "Russian Idea": Russian Writers and the Nationalization of Patriotism during the Crimean War (Maikov, Goncharov, Pisemsky). P. 107—120; *Stepanischeva T.* The Russian National Myth in Export: P.A. Viazemsky's Lettres d'un vétéran russe de l'année 1812 sur la question d'Orient. P. 121—142; *Kisseljova L.* War Discourse as a Means of Constructing a National Myth (The Crimean War in Pre-Revolutionary Schoolbooks and Popular Literature). P. 143—162; *Hellman B.* Tolstoy's "The Three Bears": The Metamorphosis of an English Tale into a Russian National Myth. P. 163—173; *Pild L.* The Artist in N.S. Leskov's National Myth. P. 174—186; *Kucherskaya M.* Comrade Leskov: How a Russian Writer was Integrated into the Soviet National Myth. P. 187—207; *Borovikova M.* "Pity" as a National-Historical Category in Tsvetaeva's Poetry. P. 208—217;

Huttunen T. “Not Back to Pushkin, but Forwards Away from Him”: On the Russianness of Russian Imaginism. P. 218—226; *Polivanov K.* Ethnicity and History in Boris Pasternak’s Doctor Zhivago. P. 227—240; *Leibov R.* Harmonists in the Camp of the Russian Warriors: Once More on the Historical Transformations of the National Literary Canon. P. 241—255; *Nemzer A.* The Happiness and Destiny of a Russian Poet: The Story of David Samoilov. P. 256—272.

Acta Slavica Estonica X. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia XVI. Серебряный век в русской литературе и культуре конца XIX — первой половины XX века. К 90-летию со дня рождения З.Г. Минц. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018. 460 с.

От редакторов. С. 9—12. **I. Серебряный век в русской литературе и культуре конца XIX — первой половины XX в.:** *Долинин А.* Пропущенные звенья в истории термина «Серебряный век»: 1946—1952. С. 13—27; *Обатнин Г.* «Ахи» в поэзии русского модернизма: к описанию стилистических коннотаций. С. 28—41; *Соболев А.* Русалка в русской поэзии начала XX века (предварительные замечания). С. 42—63; *Соболев Л.* Я.П. Полонский и поэты рубежа XIX и XX веков. С. 64—76; *Соболев А., Спивак М.* «Нетронутое тело» у Г. Бахмана, В. Брюсова и А. Блока: эволюция формулы. С. 77—105; *Магомедова Д.* Мария Либерсон и «кружок одиноких»: об одной корреспондентке Блока. С. 106—116; *Блюмбаум А.* Политика и мистика: «метаморфозы» в «Катилине» Блока. С. 117—133; *Лавров А.* Максимилиан Волошин и Фердинанд Лассаль. С. 134—150; *Лекманов О.** Саша Черный и Андрей Белый: сближение далековатых. С. 151—159; *Спроге Л.* «Прозрения за грань эпохи блоковской Незнакомки» (из архива В.А. Амфитеатрова-Кадашева и Т.Д. Клименко-Ратгауз). С. 160—173; *Яковлева Н.* «Выросший из недр символизма...»: Тихон Чурилин и его «Тяпкатань». С. 174—210; *Успенский П., Файнберг В.* Трансформация идиоматики в стихах О. Мандельштама: синонимия. С. 211—227; *Поливанов К.* «Тайны ремесла» Анны Ахматовой как описание законов поэзии первой половины XX века. С. 228—239; *Хуттунен Т.* Имажинисты и кино. По поводу кинодраматургии А.Б. Мариенгофа. С. 240—254; **II. «Зару Григорьевну нельзя было не любить...»: вечер воспоминаний о Заре Григорьевне Минц.** Выступили: Л. Киселева, Л. Пильд, Е. Погосян, М. Салупере, К. Азадовский, Д. Магомедова, В. Паперный, А. Лавров, П. Песонен, Г. Левинтон, Л. Спроге. С. 255—292. **III. Проблемы перевода и интермедиальности в русской и европейской культурах:** *Павлова А.* Можно ли научиться переводу через перевод? С. 293—309; *Kaldjärv K., Gielen K.* Mission and Sacrifice: Myths of Estonian Translation History. С. 310—327; *Степанищева Т.* Цель и средства: русская литература в серии Йоханнеса Аавика “Hirmu ja õuduse jutud” (статья первая). С. 328—344; *Боровикова М.* О двух переводах «Реквиема» Анны Ахматовой на эстонский язык. С. 345—358; *Баскина* (*Маликова*) *М.* «Глумленье века»: почему в 1938 году не была опубликована статья А.В. Федорова о М.Л. Лозинском. С. 359—374; *Майер* Х. Превращая Албанию в Сирию — идеология и «оперативность» поэтической картографии в переводах Милана Кундеры конца 1940-х — нач. 1950-х годов. С. 375—395; *Пильд Л.* Семантический ореол музыки Бетховена в творчестве А.А. Фета. С. 396—413.

Acta Slavica Estonica XV. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia, XVIII. Опыт и небывалое в литературе и культуре. Experience and Non-Existence in Literature and Culture. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2022. 274 с.

От составителя. С. 7—8. **I. Статьи:** *Аксаментова Е.* Слава, память и памятники: об одной оппозиции в русской литературе конца XVIII — первой половины XIX века. С. 9—31; *Лейбов Р.* О литературно-полемическом смысле «Графа Нулина».

С. 32—43; *Киселева Л.* Результаты читательского опыта в русской беллетристике 1830—40-х гг. (роман М.Н. Загоскина «Кузьма Петрович Мирошев»). С. 44—61; *Мартыненко А.* «Поэты» или «поэтессы»? Формальные особенности женской поэзии 1830-х годов. С. 62—76; *Козлов А.* «Моя родословная» vs. «Мой псевдоним»: о двух позициях в литературном поле XIX века. С. 77—92; *Хуттунен Т.* Первопроходец Т. Фриман и становление петербургской финской литературы. С. 93—102; *Войтехович Р., Егоров А.* Проблема пушкинского подтекста в ранней поэзии Цветаевой (1908—1913). С. 103—117; *Пильд Л.* Ал. Блок в критике и поэзии Михаила Кузмина конца 1910-х — нач. 1920-х гг. С. 118—143; *Яковлева Н.* Финская дача в прозе и биографии А.Г. Пресса. С. 144—156; *Обатнин Г.* Два эскиза о русской рифме. С. 157—176; *Bershtein E.* Pushkin, Bisexuality, and a Plot against the Poet: A Theme in Eisenstein and its Contexts. С. 177—190. **II. Публикации:** Дополнения к конспекту спецкурса Ю.М. Лотмана «Творчество Н.М. Карамзина», прочитанного в Тартуском университете в 1970/71 учебном году / Вступ. заметка, публ. и примеч. Л. Киселевой. С. 191—209; *Кульюс С.* Из воспоминаний о Ю.М. Лотмане и его кафедре. С. 210—247.

Хроника научной жизни

Международная конференция
«Советская многонациональная литература как имперская практика»

(*Дрезденский университет, Венецианский университет Ка-Фоскари, 24—25 октября 2024 года*)

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_402

Конференция «Советская многонациональная литература как имперская практика», организованная совместными силами Института славистики Дрезденского университета и Кафедры лингвистики и сравнительного изучения культур Венецианского университета Ка-Фоскари, стала еще одной в череде научных событий, посвященных проблемам изучения советского культурного производства. Ей предшествовали три другие международные конференции — «“Многонациональная советская литература”: идеология и культурное наследие»[1] (НИУ ВШЭ, 24—25 мая 2019 года), «Эстетика коммунизма: Теории и институции»[2] (ИМЛИ РАН, Венецианский университет, 1—3 октября 2021 года) и «От Оргкомитета Союза советских писателей к I Всесоюзному съезду советских писателей: Организационные стратегии, источники финансирования, эстетические теории, художественные практики (1920—1950-е годы)» (ИМЛИ РАН, 16—17 октября 2024 года). Растущее внимание к институциональной и культурной истории «государственной словесности»[3], с одной стороны, маркирует очередной этап в складывании международного

1 См.: *Козицкая Ю.М.* Международная конференция «“Многонациональная советская литература”: идеология и культурное наследие» (НИУ ВШЭ, Москва, 24—25 мая 2019) // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161). С. 434—439.

2 См.: *Попова В.Ю.* Эстетика коммунизма: Современные прочтения. [Обзор на:] Международная научная конференция «Эстетика коммунизма: Теории и институции» // Новое литературное обозрение. 2022. № 4 (176). С. 412—425. По итогам конференции в Отделе рукописей ИМЛИ РАН был подготовлен очередной выпуск сериального научного издания «Codex Manuscriptus» (см.: Codex manuscriptus. М.: ИМЛИ РАН, 2024. Вып. 5: Эстетика коммунизма: Теории и литературные практики / гл. ред. Д.С. Московская, отв. ред. Р.Е. Клементьев).

3 О внимании исследователей к различным организационным аспектам советского литературного производства свидетельствует, например, появившийся в № 6 (190) журнала «Новое литературное обозрение» за 2024 год блок статей «На пути к “государственной” словесности: Институты и практики» (сост. Д.М. Цыганов).

сообщества специалистов, чья деятельность преодолевает инерцию пресловутой «советологии» — продукта холодной войны, — но, с другой стороны, фокусирует внимание интеллектуального сообщества на инструментальной недостаточности рамок, категорий, критериев и принципов, при помощи которых принято описывать культурную жизнь «закрытых» обществ со сложно устроенными внешними и внутренними границами.

Непубличистический нарратив о «многонациональной советской литературе» начал конструироваться еще конце 1940-х годов, когда постепенно стали осуществляться замыслы по созданию академических историй литератур. Объемной серией «Очерков»[4] открылся путь к появлению многотомных изданий[5], центральное место в которых закономерно занимала «русская советская литература». Такая диспропорция определялась представлением об эстетической неравнозначности составных компонентов социалистического литературного проекта, которое брало истоки еще в дискуссиях 1920-х годов. По мысли пролеткритиков, далеко не каждая национальная культура располагала своими «классиками», пригодными для исполнения функции литературного «образца»; ср.: «Старая литература узбеков (как и некоторых других народов Востока) является литературой баев, мулл и т. д. Она насквозь пропитана духом боевого исламизма и национальной нетерпимости. Таким образом, этих “классиков” использовать почти невозможно. Вот почему, между прочим, мы видим, как медленно, с трудом создаются организации пролетарских и крестьянских писателей в ряде стран советского Востока»[6]; «В условиях господства российского империализма в Казахстане в прошлом не могло создаться не только классической литературы, <…> но и светской литературы в полном смысле этого слова. В прошлом мы имели три категории литературы: устной (народной), религиозной и зачатки советско-националистической. <…> До революции у нас не было классической литературы. Классическая литература начала создаваться лишь после Октябрьской революции»[7]. Из этого якобы следовало, что «русская классика» теряла номинально присущий ей идентитарный характер и стано-

4 См., например: Очерк истории белорусской советской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1954; Очерк истории украинской советской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1954; Очерк истории русской советской литературы: [В 2 ч.]. М.: Изд-во АН СССР, 1954—1955; Очерк истории литовской советской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1955; Очерк истории таджикской советской литературы. Сталинабад: Изд-во АН Тадж. ССР, 1955; Очерк истории якутской советской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1955; Очерк истории мордовской советской литературы. Саранск: [б. и.] 1956; Очерк истории чувашской советской литературы. Чебоксары: Чувашгосиздат, 1956; Очерк истории латышской советской литературы. Рига: Латгосиздат, 1957; Очерки истории удмуртской советской литературы. Ижевск: Удмурт. кн. изд-во, 1957; Очерк истории казахской советской литературы. Алма-Ата: Изд-во АН Каз. ССР, 1958; Очерк истории казахской советской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1960; Очерки истории киргизской советской литературы. Фрунзе: Изд-во АН Киргиз. ССР, 1961; Очерк истории азербайджанской советской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1963; Очерк истории молдавской советской литературы. М.: Изд-во АН СССР, 1963; Очерк истории советской литературы Карелии. Петрозаводск: Карел. кн. изд-во, 1969.

5 См., например: История советской многонациональной литературы: В 6 т. М.: Наука, 1970—1971.

6 *Селивановский А.* За единство национальных отрядов пролетарской литературы // На литературном посту. 1928. № 5. С. 35. Примечательно, что при помощи не характерных для такого контекста кавычек «классичность» в приведенном фрагменте поставлена под сомнение.

7 *Байдильдин А.* Казакская литература в «Литературной энциклопедии» // На литературном посту. 1929. № 14. С. 70.

вилась общим «наследством» — основанием, на котором будет возведена «советская многонациональная литература». (Это, в свою очередь, не оставляло республиканским авторам возможности творческого выбора — подражать следовало тем писателям, которые оказались в рамках «классического» канона, потому как такое подражание было единственным надежным способом преодолеть замкнутость национальной литературной традиции и проникнуть в пространство «социалистического» искусства.) Однако речь скорее должна идти как раз о реализации национально-специфической колониальной идеологии, заключенной в «классике» как в одной из наиболее стабильных категорий культуры. Подтверждение этой мысли прочитывается в тревожных словах В. А. Сутырина, прозвучавших с трибуны Первого Всесоюзного съезда пролетарских писателей на вечернем заседании 4 мая 1928 года:

> <…> Советский Союз построен на развалинах того самого государства, той самой царской империи, которая во-первых об<ъ>единила в себе, об<ъ>единила конечно по велико-державски, об<ъ>единила при помощи великодержавного угнетения огромное количество национальностей и этот факт — много-национальность нашего Советского Союза плюс остатки старого великодержавнического наследия, они создают величайшую важность решения национальной проблемы для пролетарской литературы Советского Союза. <…> На деле у нас происходит следующее: во-первых у нас установилась такая терминология, — говорят: русская и национальная литература, русское и национальное искусство, национальная живопись, национальный театр. <…> Раз получается такое дело, что есть русская и национальная культура, раз получается иллюзия, что русская литература не имеет оболочки, то очень часто русский писатель чувствует себя сверх-националом <…>. Эта вещь вредная и неправильная, которая влечет за собой великодержавное отношение к литературе ранее угнетавшихся национальностей[8].

Очевидная потребность в ревизии этого не преодоленного до сегодняшнего дня риторического наследия раннесталинской эпохи стала поводом к детальному разговору о «путях и тупиках» этой темы, получившей совершенно особое звучание в несколько последних лет.

В то же самое время конференция оказалась вписана во вполне конкретный полемический контекст, сформированный в последние несколько десятилетий целой серией исследований, среди которых: «Империя “положительной деятельности”: Нации и национализм в СССР, 1923—1939» (2001; на рус. яз. — 2011) Терри Мартина, сборник «Государство наций: Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина» (2001; на рус. яз. — 2011) под редакцией Рональда Суни и Терри Мартина, «Национал-большевизм: Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания, 1931—1956» (2002; на рус. яз. — 2009; 2017) Дэвида Бранденбергера, «Империя наций: Этнографическое знание и формирование Советского Союза» (2005; на рус. яз. — 2022) Франсиса Хирша, «Создание Узбекистана: Нация, империя и революция в раннесоветский период» (2015; на рус. яз. — 2022) Адиба Халида и др. Методологическая перспектива состоявшейся конференции выстраивалась на пересечении нескольких направлений современного гуманитарного знания — культурной истории (cultural history), институциональной истории (historical institutionalism), интеллектуальной истории (intellectual history), постколониальных исследований (postcolonial studies) и так

8 *Доклад В.А.* Сутырина по национальному вопросу на Первом Всесоюзном съезде пролетарских писателей, 4 мая 1928 года // ОР ИМЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 282. Л. 7—9.

называемых «имперских исследований» (imperial studies). Стремление к продуктивному синтезу подходов в совокупности с широким хронологическим спектром весьма разнородного материала, рассмотренного в докладах, не только обнаружили пути к дальнейшим «разысканиям» в области «археологии советского», но и, что, как кажется, куда важнее, указали на те сегменты «советского», которые до сих пор не поддаются «вненаходимому» рассмотрению и силой собственной идеологической специфичности снижают уровень научной дискуссии. Всем этим и было очерчено проблемное поле конференции, «межеванием» которого на протяжении двух дней занимались докладчики.

Во вступительном слове организаторы конференции *Евгений Добренко* (Венецианский университет Ка-Фоскари, Италия) и *Клавдия Смола* (Дрезденский технический университет, Германия) обратили внимание собравшихся на не вполне очевидную сложность по-прежнему стоящих перед специалистами вопросов: получившее обоснование в специальных работах представление о проекте советской многонациональной литературы попросту не вмещает того многообразия открывшихся в последние годы фактов, которое коренным образом меняет представление об организации культурного производства в СССР. Расширение исследовательского поля[9] и активное включение в него национально-специфического материала, ранее рассматривавшегося как итог всевозможных эстетических девиаций «советского», проблематизирует понятие культурной границы и ведет к ревизии утвердившихся подходов к советской литературе и — шире — культуре как к сверхцентрализованной целостности с внятно определенными центром и периферией. Дело в том, что вечно ускользающая, подвижная картина интеллектуальной жизни в разные периоды существования СССР не может быть определена и описана лишь через какой-либо один пусть и безусловно доминировавший на каком-то временном отрезке параметр — будь то разветвленная институциональная система, многонациональный эстетический канон, мультикультурный трансфер, синхронное и диахронное взаимодействие культурных «традиций» и прочее. Уйдя от деформирующего влияния метода и избрав предельно широкую имперскую рамку[10], ор-

9 Подробнее см.: *Гюнтер Х.* Пути и тупики изучения искусства и литературы сталинской эпохи // Новое литературное обозрение. 2009. № 1 (95). С. 287—299; *Янковская Г.А.* Изобразительное искусство эпохи сталинизма как проблема современной российской и зарубежной историографии // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2007. № 3 (8). С. 128—136; *Добренко Е.А.* 1) О советских сюжетах в западной славистике // СССР: Жизнь после смерти: Сб. статей. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 27—34; 2) Soviet Multinational Literature: Approaches, Problems, and Perspectives of Study // The Literary Field under Communist Rule. Boston: Academic Studies Press, 2018. P. 3—17; 3) Читая сталинизм: Сталинская культура как исследовательское поле // Новое литературное обозрение. 2022. № 6 (178). С. 104—124; *Цыганов Д.М.* Интеллектуальная история литературы сталинизма: Библиографический обзор // Летняя школа по русской литературе. 2022. Т. 18. № 1. С. 107—126.

10 Примечателен тот ощутимый скачок, который произошел в осмыслении советской многонациональной литературы в контексте имперских практик за несколько последних лет. Еще несколько лет назад исследователи писали лишь об «имперских импликациях» (ср.: *Франк С.* Проект многонациональной советской литературы как нормативный проект мировой литературы (с имперскими импликациями) // Имагология и компаративистика. 2019. № 11. С. 230—247), избегая резких и столь однозначных оценок в деле определения характера сталинского литературного проекта, или, если и применяли имперскую рамку к советскому материалу, то старались не делать акцент на сугубо политических аналогиях (ср.: *Скаков Н.* Культура Полтора // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161). С. 104—123). См. также: *Zaslavsky V.* Collapse of Empire — Causes: Soviet Union // Barkey K., Hagen M. von (Eds.). After Empire.

ганизаторы подчеркнули свое стремление привнести в разговор о советской литературе искомую тематическую многоаспектность, которая не дезориентирует профессиональное сообщество, но, напротив, обнаружит продуктивные направления последующих исследований. Секционное деление, по мысли организаторов, как раз и должно было наметить «силовые линии», становящиеся ориентирами для разнонаправленных потоков интеллектуальной энергии.

Работа первой секции была посвящена институциональным рамкам, при помощи которых проект советской многонациональной литературы вписывался в советскую административно-политическую систему и, задействуя вполне конкретные организационные механизмы, обеспечивал себе относительно стабильное существование на протяжении нескольких десятилетий. Секцию открыл доклад *Юлии Козицкой* (Назарбаев Университет, Астана, Казахстан) «*Казахская литература для советских читателей: Казахские авторы на страницах московских журналов*». В центре внимания докладчицы — процесс формирования канона казахской советской литературы как составной части проекта многонациональной литературы посредством публикации переводов с казахского языка в московском журнале «Новый мир» в 1930-е годы[11]. Выбранные для публикации тексты создавали у советского читателя определенное представление не только о казахской литературе, но и о «советском проекте» в Казахстане[12] в целом. Очевидно, что они в первую очередь должны были свидетельствовать о поддержке казахскими авторами советского режима. Особый интерес для Козицкой представляет процесс отбора текстов казахских писателей для печати; она отмечает, что переводы с казахского начали появляться в московской прессе лишь в 1930-е годы, и изначально число их было незначительным. Пик интереса пришелся на 1930-е и был вызван не столько Первым Всесоюзным съездом советских писателей, проходившим с 17 августа по 1 сентября 1934 года, сколько состоявшейся в Москве во второй половине мая 1936 года Декадой казахской литературы и искусства. Примечательно, что публикации переводов с казахского языка почти всегда предшествовали заявления казахских писателей о том, что московские журналы предъявляют к авторам из советских республик большие требования и не хотят принимать активное участие в подготовке текста к печати, требуя присылать в редакцию уже полностью подготовленный к печати литературный перевод. При этом ряд казахских писателей (в их числе — И. Джансугуров, С.М. Муканов, С.С. Сейфуллин) были заинтересованы в публикации своих текстов в московских журналах, поскольку появление переводов в центральной прессе способствовало укреплению их статуса на родине. Козицкой представляется важным, что публикация переводов была мотивирована не только литературными, но и политико-идеологическими процессами, происхо-

---

Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union and the Russian, Ottoman and Habsburg Empires. Boulder: Westview Press, 1997. P. 73—98; *Суни Р.* Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства: Сб. статей. Казань: Центр Исследований Национализма и Империи, 2004. С. 163—196; *Кашу И.* Был ли Советский Союз империей? Взгляд из Кишинева // Неприкосновенный запас. № 4 (78). С. 123—134.

11 Доклад Козицкой концептуально развил положения, намеченные в ее диссертации 2021 года; см.: *Козицкая Ю.М.* Казахская литература как часть проекта «многонациональной советской литературы» в 1930-е годы: Дисс. … канд. филол. наук. М.: [б. и.] 2021.

12 См.: *Kudaibergenova D.* Rewriting the Nation in Modern Kazakh Literature: Elites and Narratives. Lanham; Boulder; New York; London: Lexington Books, 2017; *Аманжолова Д.* Советский проект в Казахстане: Власть и этничность, 1920—1930-е гг. М.: ИРИ РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2019.

дившими в СССР. Существенную роль в процессе отбора текстов для публикации играли знакомства казахских писателей с писателями и редакторами в Москве и налаженные связи в издательствах. Московские журналы, в свою очередь, также были настроены на сотрудничество, поскольку не должны были ограничиваться лишь текстами писателей из РСФСР. Таким образом, процесс появления текстов казахских авторов в московских журналах является примером сложной системы взаимоотношений центра и периферии. С одной стороны, очевидно зависимое положение так называемых национальных писателей, которые были встроены в легко реконструируемую иерархию, существовавшую в советской многонациональной литературе. С другой же стороны, и активная позиция казахских писателей, и активность центральных журналов выходят за рамки типичных колониальных отношений между советским имперским центром и советскими республиками. В финале доклада Козицкая еще раз указала на то, что история публикации в прессе переводных текстов, созданных казахскими писателями, отражает процессы, происходившие не только в литературной жизни отдельной советской республики, но и в советской литературе в целом.

Тема «присутствия» инокультурных текстов в культурном поле советского центра получила развитие в докладе *Аллы Бурцевой* (РГГУ, Россия) «*“Мы приехали не ради простого любопытства”: Писательские бригады и проект альманаха в Туркменистане 1930-х годов*». Докладчица сфокусировала внимание на оформлении новой советской туркменской литературы[13] посредством деятельности писательских бригад и вышедших по результатам поездок в 1930-е годы альманахов. Сам проект включал в себя два различных направления — литература Туркменистана и литература о Туркменистане. Бурцева рассмотрела два альманаха — «Айдинг-Гюнлер» (1934) и «Туркмения» (1936), которые стали результатом сотрудничества, а также чисто туркменский альманах «Солнечный Туркменистан» (он был издан в Ашхабаде в 1939 году и закономерно не мог занять того же места в литературном поле, что и альманахи, издававшиеся в Москве; однако он может считаться результатом локальной реализации проекта 1930-х годов в Туркменистане). В альманахи вошли и тексты русскоязычных писателей, и переводы с туркменского (в основном поэзии советского периода, но также и прозы, фольклора и произведений досоветских авторов). По словам Бурцевой, внимательное рассмотрение содержания альманахов, а также сопутствующих архивных материалов может открыть совсем иной взгляд на формирование советской многонациональной литературы, или, иначе говоря, «литературы советской периферии». Работа же писательских бригад, которым пришлось сотрудничать с туркменскими писателями, должна рассматриваться как составная часть этого проекта. Дело в том, что процесс поиска новой (как туркменской, так и советской) национальной идентичности,

13 Бурцева последовательно развивает это направление исследований, о чем свидетельствуют ее публикации последних лет; см., например: *Бурцева А.О.* 1) Познание «изнутри» и «снаружи»: Литературная критика о туркменских альманахах 1930-х гг. // Текстология и историко-литературный процесс. М.: Буки Веди, 2020. С. 160—175; 2) Стратегии перевода туркменской поэзии из советских альманахов 1930-х гг. на русский язык: Предварительные наблюдения // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2021. Т. 16. № 3—4. С. 125—148; 3) Конструирование туркменской литературы в СССР в середине 1930-х годов: От колониального гнета к сталинскому раю // Шаги/Steps. 2022. Т. 8. № 4. С. 303—317; 4) Писательская бригада в Туркменистане 1930-х годов: От путешествия к производству литературы // Новое литературное обозрение. 2024. № 6 (190). С. 152—164. См. также: *Бурцева А.О.* Проект советской национальной литературы в 1930-е годы (на материале туркменских альманахов): Дисс. … канд. филол. наук. М.: [б. и.] 2023.

предполагавший неизбежное *взаимовлияние*[14], отразился в примерах репрезентации Туркменистана в текстах русскоязычных писателей (а также переведенных с языков других советских республик). Все это привело к тому, что две модели — социалистического реализма и туркменской поэзии — образовывали сложные взаимонаправленные отношения, потому как туркменским писателям пришлось примирить в своей творческой практике советскую литературную идентичность с «традиционными» формами, а отчасти и с сюжетными моделями. Русскоязычным писателям, в свою очередь, пришлось показать, что они приехали не столько «учить», сколько сотрудничать с туркменскими авторами.

Заключительный в этой секции доклад *Дмитрия Цыганова* (ИМЛИ РАН, Россия) «*Сталинская премия по литературе и производство локальных художественных идентичностей в советских республиках*» хотя и продолжил поиски автора в области институциональной истории сталинской культуры[15], но в отношении анализируемого материала вышел за пределы ранее освоенного. Цыганов рассматривает институт Сталинской премии по литературе как один из главных механизмов реализации национально ориентированной культурной политики в период 1940-х — начала 1950-х годов. Важным аспектом этой темы стал вопрос о степени институализированного влияния центра на процесс складывания локальных художественных идентичностей на «периферийных» территориях Советского Союза. Доклад был посвящен теоретическому осмыслению неоднозначной проблемы экспансивности «основного метода» по отношению к национальным художественным традициям[16]. С точки зрения докладчика, насаждение социалистического реализма в советских республиках приводило к неизбежной деформации «эстетической доктрины», вследствие чего появлялись ее многочисленные локальные варианты. «Национальная форма» и «социалистическое содержание» в них смешивались, а порой выступали как взаимозаменяемые элементы. Цыганов поставил под сомнение правомерность рассуждений об одностороннем влиянии, «эстетическом диктате» как о главных способах реализации национально ориентированной культурной политики. По мысли докладчика, речь скорее должна идти о взаимодействии соцреалистической (то есть идущей из центра) и локальных (то есть сформированных на периферии) творческих практик, а также о характере присутствия в якобы гомогенном и целостном соцреалистическом каноне национально специфических произведений — не только литературных текстов, унифицированных силами переводчиков, но и, на-

14 Подробнее см.: *Edgar A.L.* Tribal Nation: The making of Soviet Turkmenistan. Princeton: Princeton University Press, 2006; *Khalid A.* Central Asia: A New History from the Imperial Conquests to the Present. Princeton: Princeton University Press, 2021.

15 См., например: *Цыганов Д.М.* 1) Сталинская премия в системе литературного производства 1940-х — начала 1950-х гг.: Институциональный контекст формирования соцреалистического канона // Летняя школа по русской литературе. 2021. № 3—4. С. 347—370; 2) Холодная война с «модернизмом»: Международная Сталинская премия в контексте западно-советских литературных взаимодействий периода позднего сталинизма // Rossica. Литературные связи и контакты. 2022. № 2. С. 191—268; 3) Сталинская премия по литературе в контексте институциональной истории культуры позднего сталинизма: Библиографический обзор // Текстология и историко-литературный процесс. М.: Common place, 2022. Вып. 9. С. 168—186; 4) Сталинская премия по литературе: Культурная политика и эстетический канон сталинизма. М.: Новое литературное обозрение, 2023; 5) Сталинская премия по литературе: Институциональное измерение эстетики социалистического реализма (1940—1950-е годы) // eSamizdat. 2024. Vol. XVII. P. 45—64.

16 Подробнее см.: *Frank S.* «Critical Appropriation of Literary Heritage» and the Shaping of Soviet National Literatures: A Close Reading of the Debate in the Journal *Literaturnyi kritik* (The Literary Critic, 1933—36) // Slavic Review. 2022. Vol. 81. № 4. P. 891—913.

пример, произведений изобразительного искусства. В свете тезиса о подобном взаимодействии докладчик рассматривает стремление Сталина к подавлению «национального возрождения» в советских республиках, которое интерпретировалось пропагандой как «националистический бунт». По мысли Цыганова, именно этот процесс определил не только противоречивое отношение членов Комитета по Сталинским премиям к национально-специфическому материалу (например, к романам С.М. Муканова и К.С. Гамсахурдиа, М.О. Ауэзова и В.Т. Лациса, стихам М.П. Бажана и В.Н. Сосюры, Якуба Коласа и Янки Купалы, пьесам А.М. Якобсона и И.О. Мосашвили, А.Е. Корнейчука и Самеда Вургуна и т.д.), но и риторические модели, характерные для эстетических суждений об образцах «чужих» (и нередко «чуждых») «культурных традиций». В свете детального рассмотрения архивных материалов Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства (РГАЛИ. Ф. 2073; РГАНИ. Ф. 3. Оп. 53а), фондов различных подведомственных аппарату ЦК организаций и административных органов, опубликованных воспоминаний, дневниковых/мемуарных свидетельств и прессы сконструированная учеными «колониальная» рамка[17] соцреалистической экспансии, отводящая союзным республикам роль «жертвы» эстетического подавления, подверглась критическому осмыслению.

Три доклада второй секции стремились выявить пределы аналитической применимости к советскому интеллектуальному и творческому «наследию» различных концептуальных рамок. Доклад *Евгения Добренко* (Венецианский университет Ка-Фоскари, Италия) «*Тропология братства: Поэтика сталинского имперского воображения и гомогенизация советского пространства*», ставший логическим развитием ранее сформулированных идей[18], послужил методологическим «манифестом» и, если угодно, *оправданием* темы конференции. В докладе на XXIX Банных чтениях в апреле 2023 года исследователь признавался:

> Много лет я работаю над книгой «Империя слов: Советская многонациональная литература и имперское воображаемое». Проект этот изначально возник как сугубо историко-литературный. Мне хотелось понять, как сформировался и работал этот уникальный продукт имперского культурного строительства. Хотя число работ о национальных литературах в советскую эпоху растет с каждым днем, почти все они строятся в жанре, который я называю национальным плачем: это история расцвета после революции и гибели национальных литератур в сталинскую эпоху[19].

И далее заключал:

> Советская многонациональная литература изначально была вполне имперским проектом. Однако институционально, идеологически и эстетически она произвела не- и даже антиимперское пространство. Оно складывалось на протяжении всей советской истории в качестве непредвиденного побочного продукта, но оказалась едва ли не единственной доступной площадкой и основным источником для формирования национального сознания на имперских окраинах СССР. Причем речь идет не о национальных, но именно о «всесоюзных» площадках.

---

17 Подробнее см.: *Абашин С.* Советское = колониальное? (За и против) // Понятия о советском в Центральной Азии: Альманах Штаба № 2: Центральноазиатское художественно-теоретическое издание. Бишкек: Штаб-Press, 2016. С. 28—48.

18 См.: *Добренко Е.А.* «“Чувство семьи единой”: Риторика братства и советское имперское воображаемое в поэзии народов СССР сталинской эпохи» // Доклад на конференции «“Многонациональная советская литература”: Идеология и культурное наследие». Москва. НИУ ВШЭ, 24 мая 2019 года.

19 Цит. по: *Добренко Е.А.* Советская многонациональная литература как имперский проект и как вызов империи // Новое литературное обозрение. 2024. № 4 (188). С. 245.

> <…> Советская литература была не «национальной по форме», но этнической. В строгом смысле она была не многонациональной, но многоэтнической. Ее задача была в том, чтобы *не позволить этносу стать нацией. Движение к имперскому универсализму предполагает этнический партикуляризм* в виде поддержки этнических стилей, традиций, фольклора, различных форм «национальной культуры» и т.п. Иными словами, эта империя сама порождает неимперское пространство[20].

Прозвучавший в Дрездене теоретический по толку доклад Добренко во многом уточнил выводы предшествовавших исследований[21], но концептуально остался в ранее намеченных рамках. Ключевой тезис этого доклада состоял в том, что силами партфункционеров от литературы и посредством всевозможных организационных ресурсов создавалось гомогенное эстетическое пространство, в котором частные национально специфические различия культурных «традиций» попросту переставали восприниматься как релевантные в контексте социалистической (и соцреалистической) «гегемонии братства». С точки зрения докладчика, главной движущей силой многонационального литературного проекта как одного из ведущих компонентов создания единой советской нации была именно партийная номенклатура, стремившаяся к имперской (антинационалистской, а значит, интернационалистской) модели организации литературы. Таким обзором, по мысли Добренко, организационные структуры литературного производства становились продуктом имперской инженерии, а дискурс РАППа о литературе с его псевдоклассовой партийной риторикой и репрессивной критикой успешно распространялся на все культурное пространство многонациональной страны. Позднее созданные рапповцами институциональные практики и опыт «консолидации» национальных литератур перешли в Союз советских писателей. Сложившаяся институциональная система, подкрепленная серьезным управленческим ресурсом, становилась как бы «общим знаменателем» для всех национальных литератур, насильно втянутых не столько в производственные отношения, сколько в само «бытие» советского литературного проекта, определявшее «сознание» его устроителей и участников. Доклад Добренко, поставивший под сомнение характерные для постколониального поворота тезисы о культурной самодостаточности периферии и ее способности влиять на центр[22], о существовании *локальных вариантов* социалистического реализма, спровоцировал дискуссию среди участников, определившую тон последующих докладов.

---

20 Цит. по: Там же. С. 246, 248. Заметим, что за несколько лет до Добренко об этническом партикуляризме писал Н. Скаков в вышеупомянутой статье «Культура Полтора»; ср.: «Концепция дружбы народов — дружбы, чьей окончательной целью было достижение однородности, создание единой нации, единого советского народа, — отличалась амбивалентностью. Следуя указанной установке на единообразие, культурные агенты советской империи путем партикуляризации старались унифицировать жизнь восточных республик» (*Скаков Н.* Культура Полтора. С. 108).

21 Помимо процитированной выше статьи стоит упомянуть и несколько более объемных текстов; см., например: *Добренко Е.А.* 1) Найдено в переводе: рождение советской многонациональной литературы из смерти автора // Неприкосновенный запас. 2011. № 4 (78). С. 236—262; 2) Hegemony of Brotherhood: The Birth of Soviet Multinational Literature, 1922—1932 // Slavic Review. 2023. Vol. 81. № 4. P. 869—890; 3) Гегемония братства: Рождение советской многонациональной литературы, 1922—1932 // Codex manuscriptus. М.: ИМЛИ РАН, 2024. Вып. 5. С. 15—128

22 Подробнее об этих тезисах см.: *Толстанова М.* 1) Постколониальный удел и деколониальный выбор: Постсоциалистическая медиация // Новое литературное обозрение. 2020. № 1 (161) С. 66—84; 2) Деколониальность бытия, знания и ощущения: Сб. статей. Алматы: Центр современной культуры «Целинный», 2020. С. 88—108; 110—126.

Доклад *Ульяны Вериной* (Ольденбургский университет, Германия) «*Призрак возрождения: Белорусская литература на пути к "многонациональной советской литературе"*», хотя и был построен на анализе конкретного национального материала, все же имел и довольно выраженную концептуальную установку, вступавшую в противоречие с ранее озвученными тезисами Добренко. Верина, опираясь на работы о «национальном возрождении» 1920-х — начала 1930-х годов[23], связывает это явление с политикой коренизации и установлением территориальных границ суверенных республик. Границы Беларуси включали исторически транснациональные территории, а с 1922 по 1936 год в республике было четыре государственных (!) языка — белорусский, идиш, польский и русский. Политика коренизации подразумевала равноправное развитие всех национальностей, но «белорусизация» последовательно проводилась как «политика большинства». Это создавало иллюзию автономии и определяло процесс как «возрожденческий», соответствующий нациестроительству. Разницу между контролируемым национальным «возрождением» и реальным этапом развития, которого достигла белорусская литература к середине 1920-х годов, демонстрирует программа и творческая практика объединения «Узвышша» (в переводе на русский — подъем, 1926—1931). Объединение это провозгласило приоритет эстетического совершенства и сформулировало принцип «адраджанизма» («возрожденчества»), подразумевавший ориентацию на традиции, уже сложившиеся со времени национального возрождения, которое произошло в белорусской культуре на рубеже XIX—XX веков. Такая позиция подверглась резкой критике, так как она противоречила концепции национально-государственного строительства, осуществлявшейся советской властью «с нуля», а также выходила за рамки национальной литературы на этапе ее становления. Осуществленный докладчицей анализ литературно-критических материалов и архивных документов из фондов НАРБ (Ф. 4 (Коммунистическая партия Белоруссии)) и Белорусского государственного музея-архива литературы и искусства (Ф. 225 (Всебелорусское объединение поэтов и писателей Маладняк)) хронологически охватывает изменение институциональных взаимоотношений литературных объединений от национальных секций в рамках объединения пролетарских писателей Маладняк до Союза советских писателей, включая краткий эпизод проекта Всебелорусского объединения писателей (1926), ставившего своей целью объединение всех литературных групп. В докладе концепция возрождения рассматривается Вериной как способ мононационализации белорусской литературы для последующего ее включения в «многонациональную советскую литературу» как исключительно белорусскоязычной[24].

Завершил секцию *Илья Кукулин* (Стэнфордский университет, США), выступивший с докладом «*Ориентализм как модернизм: Ориентальная стилизация в советской культуре*». По словам Кукулина, прозвучавший доклад развил концепцию, впервые представленную им в 2021—2022 годах[25]. Так как социалистический реализм был основан на «вытеснении» следов модернизма в культурах советских народов, целый ряд писателей, художников и кинематографистов изобрели способ маскировать и одновременно оправдывать обращение к модернистским

23 См., например: *Hryn H.* The Executed Renaissance Paradigm Revisited // Harvard Ukrainian Studies. 2004—2005. Vol. 27. № 1—4. P. 67—96.

24 Подробнее см.: *Veryna U.* Russian-language Writers in the Transnational Literary Space of Belarus in the 1920s — early 1930s: Paradoxes and the Inevitability of the Collective Project's Failure // Studia Białorutenistyczne. 2023. Vol. 17. P. 139—158.

25 Ср.: *Кукулин И.В.* Orientalism as modernism: Oriental stylization in Soviet culture (1930—60s). Доклад на конференции: The Soviet Project of World Literature and its Legacies, Berlin, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, 9—11 декабря 2021 г.;

традициям в искусстве. Такими способами оправдания были ориентализм (состоящий из самоэкзотизации художников «республик Востока» и внешней экзотизации в произведениях «из восточной жизни», созданных авторами имперского центра), обращение к древней истории и к эстетике волшебной сказки. В центре внимания Кукулина оказался роман М.Д. Симашко «Маздак» (1968) и фильм Б.В. Рыцарева «Волшебная лампа Аладдина» (1966). Основную часть доклада занял анализ художественных стратегий, использованных в творчестве двух известных армянских художниц советского времени — Мариам Асламазян (1907—2006) и Ерануи Асламазян (1909—1998). Обе они были ученицами российских художников-модернистов, но придавали собственным произведениям стилизованный «восточный колорит», который и оправдывал в глазах цензуры и критиков черты модернистского стиля — орнаментальность, мифологическую образность, использование чистых цветов и пр. Кукулин показал, что произведения Мариам Асламазян 1950—1970-х годов, изображающие реалии деколонизированных стран Азии и Африки, были встроены в сети отношений СССР с этими странами (и тем самым — в советские стратегии «мягкой силы»), что давало еще одну легитимацию модернистской эстетики: картины, которые можно было использовать для «культурной дипломатии», потенциально были обращены не только к советским, но и к иностранным зрителям — а для них модернистская эстетика была намного более привычной и понятной, чем в СССР. Вывод докладчика состоял в том, что вообще обращение к ориентализму в советской культуре могло быть использовано не только для «реабилитации» модернизма, но и для построения иносказательных нарративов и привел в качестве примера антиавторитарную дилогию Л.В. Соловьева о Ходже Насреддине.

Проблематика третьей секции локализовалась в области многонационального канона, который являлся продуктом работы советской литературной индустрии сталинской эпохи. *Галин Тиханов* (Лондонский университет королевы Марии, Англия) посвятил свой доклад «*Начался ли Ренессанс на Кавказе, или Как мыслить литературную историю глобально?*» анализу одного сюжета из широкой дискуссии о «предыстории» проекта советской многонациональной литературы, а именно — полемике вокруг пригодности Ренессанса как обозначения, которое потенциально может служить для интерпретации определенных периодов литературной и культурной истории за пределами Запада. Целью доклада стала реконструкция логики аргументов в пользу «Восточного Ренессанса» и проверка их актуальности для сегодняшних нужд деколонизации изучения «мировой» литературы[26]. Отправной точкой рассуждений Тиханова о глобальном Ренессансе стал сборник статей советского востоковеда, академика АН СССР Н.И. Конрада «Запад и Восток» (1966; 2-е издание, исправленное и дополненное — 1972), в котором была напечатана статья «Об эпохе Возрождения». Важным положением концепции Конрада Тиханов видит утверждение о том, что Ренессанс начался не в Италии, а в Китае в VIII веке н. э., в так называемом движении «фугу» — движении «за возврат к древности». Пользуясь

Воскрешение советского «нацмодернизма» 1920—30-х годов в современных гуманитарных исследованиях: Историографические заметки. Доклад на конференции к 100-летию подписания договора об образовании СССР. Университет Лозанны, 22—24 ноября 2022 г. См. также: *Кукулин И.В.* Русская литература во главе «младших братьев». (Эпизод из новейшей истории российского школьного образования) // Новое литературное обозрение. 2020. № 6 (166). С. 414—429.

26 Подробнее см.: *Tihanov G.* World Literature in the Soviet Union: Infrastructure and Ideological Horizons // World Literature in the Soviet Union / Ed. by G. Tihanov, A. Lounsbery, R. Djagalov. Boston: Academic Studies Press, 2023. P. 1—23.

наработками Конрада, Тиханов восстанавливает более широкий контекст теории «Восточного Ренессанса», разработанной в 1940—1960-х годах в Грузии и Армении; он также адресуется к работам Ш.П. Нуцубидзе «Руставели и Восточный Ренессанс» (1947) и В.К. Чалояна «Армянский Ренессанс» (1963), также упомянутым в работе Конрада. По словам Тиханова, важным контекстуальным фактором для теоретического обоснования этой концепции служила сталинская национальная политика в начальный период холодной войны, когда перед советским партийным руководством стояла задача снизить культурный авторитет Запада и перенести идеологический «центр тяжести» на «дружественный» Восток.

Если Тиханова волновала «предыстория» советского литературного проекта, то *Клавдия Смола* (Дрезденский университет, Германия) в докладе «*Писатели как политики: Многонациональная советская литература в перестройку и 1990-е*» сосредоточилась на анализе ситуации, сложившейся после распада многонационального канона. Почти полная ликвидация институциональной системы литературного производства в перестройку и ее окончательный крах в 1990-е годы повлекли приобщение многих писателей из бывших республик как к реализации государственной национальной политики, так и к управлению делами национальностей на местах. В докладе Смола остановилась на разборе нескольких подобных случаев. Так, в октябре 1986 года киргизский писатель Ч. Т. Айтматов основал Иссык-Кульский форум, который объединил интеллектуалов из государств «советского блока» и представителей стран Запада для обсуждения основных глобальных проблем. (С 1990 года Айтматов возглавлял советское, а затем российское посольство в Люксембурге.) Другим примером стало участие ненецкого писателя В.Н. Ледкова в конференции писателей коренных народов под эгидой ЮНЕСКО в 1985 году и в конференции писателей уральских языков в Финляндии в 1992 году; позже он посетил Скандинавию с целью рассказать о нависшей над ненецкой культурой угрозе. В те же годы белорусский писатель В.В. Быков был избран народным депутатом СССР и вошел в Межрегиональную депутатскую группу, а хантыйский писатель Е.Д. Айпин стал членом Совета народных депутатов, а затем представлял администрацию президента Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе в 1992—1994 годах; он также выступал за сохранение культуры народов Югры. На основе этих примеров Смола заключила, что с 1985 года бывшие советские писатели начали выстраивать диалог между социалистической и западной версиями глобальности уже в ином качестве — как представители периферийных этнических групп, борющиеся за сохранение коренных культур, экологического этоса и гражданских прав. Национальные же литературы стали важным средством политического активизма, с помощью которого происходила адаптации к новой реальности. В докладе было показано, как (пост)советские национальные писатели пытались примирить советскую идеологию деколонизации с глобальными и западными деколониальными и постколониальными нарративами. Смола утверждает, что, хотя вмешательство писателей в политику коррелировало с глобальными культурными движениями, все же они действовали в духе советской культурной идеологии, а активизм «снизу» можно расценивать как часть советской транснациональной современности. Дело в том, что многие из организованных ими «низовых» инициатив возникли из идеологии и этики многонациональной советской литературы, являвшейся и наследием социалистической империи, и продолжением традиций локальных литературных институтов в СССР. В этой деятельности, начатой советскими национальными писателями во время перестройки, Смола усматривает симптомы культурной и политической гибридизации, а также образовавшейся неопределенности по окончании холодной войны. Более того, перестройка стала временем формирования альтернативной глобальности без приня-

тия полноценных «западных» демократических ценностей, что во многих случаях привело к появлению различных культурных идеологий современной эпохи.

Финальным в этой секции стал доклад *Эрин Хатчинсон* (Университет Колорадо в Боулдере, США) «*О чем же мы говорим, говоря о Сталине: Десталинизация в контексте многонациональной советской литературы*», речь в котором шла о переживании творческим сообществом процесса десталинизации — частичного отказа от былых управленческих практик и частичной же ревизии эстетических критериев многонационального канона[27]. Хатчинсон отметила, что научная дискуссия о десталинизации на протяжении долгого времени концентрировалась на темах памяти о Большом терроре 1937—1938 годов и ГУЛАГе. Однако это были далеко не единственные темы, которые обсуждались в творческом сообществе и о которых писали после судьбоносного XX съезда КПСС. Опираясь на архивные стенограммы обсуждений «Секретного доклада» Никиты Хрущева, состоявшихся на партийных собраниях писателей в Москве, Ереване и Киеве, Хатчинсон стремится расширить устоявшийся взгляд на десталинизации не только тематически, но и географически. Как было показано в докладе, XX съезд партии положил начало всесторонней критике сталинского режима: звучавшие в «оттепельные» годы претензии выходили далеко за рамки критики пресловутого «культа личности». Так, на партийных собраниях писатели обсуждали ухудшение состояния окружающей среды (Армения), антисемитскую дискриминацию (Москва) и голод 1933 года (Украина). Общей же чертой дискуссий, ознаменованных XX съездом, стала полемика по поводу идеологических кампаний эпохи Жданова — поздний сталинизм занимал в дискуссиях середины 1950-х такое же важное место, как «чистки» конца 1930-х. Таким образом, доклад Хатчинсон вскрыл те механизмы культурной инженерии, которые, с одной стороны, определили моторику многонационального литературного проекта и, с другой стороны, запустили процесс перестройки многонационального же канона, вскоре распавшегося на относительно самостоятельные литературные «традиции».

Именно этим «традициям» и многочисленным версиям советской литературной истории была посвящена заключительная секция конференции. Открыл ее доклад *Дали Саткауските* (Институт литовской литературы и фольклора, Вильнюс, Литва) «*Литовская версия социалистического реализма: Навязанная доктрина и встроенная традиция*», ставший развитием темы «экспорта» соцреализма в культуры стран Восточного блока[28]. По мнению Саткауските, процесс внедрения социалистического реализма в литовскую литературу, которая стала частью советского многонационального проекта после советской оккупации в 1940 году, напрямую не следовал общей схеме воспроизводства русской модели, несмотря на то что создание локального варианта соцреализма напрямую регулировалось местным руководством компартии. Происходило не только перенесение «готовых» со-

27 Отметим, что в зачаточном виде эта тема присутствовала уже в: *Hutchinson E.* The Cultural Politics of the Nation in the Soviet Union After Stalin, 1953—1991: PhD diss. Harvard University, 2020.

28 О насаждении соцреализма в национальных культурах республик СССР и стран «Восточного блока» см., например: *Хархун В.П.* Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації. Ніжин: Гідромакс, 2009; Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures under Stalin: Institutions, Dynamics, Discourses. London; New York: Anthem Press, 2018; *Садовский Я.* Литература — архитектура — тоталитарный канон: Случай Польши // Новое литературное обозрение. 2021. № 1 (167). С. 75—88. См. также: *Пономарев Е.Р.* Экспорт и реэкспорт соцреализма: Восточноевропейские литературы в контексте советского толстого журнала (конец 1940-х годов) // Новое литературное обозрение. 2017. № 2 (144). С. 93—112.

циалистических сюжетных схем в инокультурное пространство, но и их трансформация, приспособление с целью оправдания оккупации и отвержения наследия независимой Литовской Республики. Саткауските показала, что в процессе фиктивного поиска национальных источников соцреализма и буквальной выработки «самого передового художественного метода» преодоление характерных для литовской литературной традиции ограничений оказалось попросту невозможным. Прозвучавший доклад ожидаемо возобновил полемику, начавшуюся еще в первый день конференции. Евгений Добренко, долгие годы развивающий концепцию гомогенности общесоветского многонационального культурного поля, не согласился с доводами Саткауските о существовании локальной литовской версии соцреализма и противопоставил им подход, который предполагает унифицирующий взгляд на характер соцреалистической экспансии. Развернувшаяся дискуссия еще раз подчеркнула теоретическую ограниченность тех объяснительных схем, которые скорее способствуют изолированному подходу к конкретному материалу, нежели открывают пути целокупного осмысления сложной, многослойной и разноуровневой культурной ситуации в СССР 1920—1950-х годов.

Тема локальных деформаций и мутаций советской эстетики получила развитие в докладе *Алессандро Акилли* (Университет Кальяри, Италия) «*Между модернизмом и советизацией: Микола Бажан и Павло Тычина в 1920—1930-е годы*». Украинская культура в начале — середине 1920-х годов смогла развить процветающую «модернистскую» литературу, которая отразила соприсутствие и продуктивный синтез множества стилистических черт — от неосимволизма до радикального авангардизма. Акилли, беря в учет общесоветскую тенденцию к редукции творческой инициативы, стремился разобраться в том, как она преломилась в области конкретной национальной культуры. В центре его внимания — литературные биографии П.Г. Тычины и М.П. Бажана, двух едва ли не главных авторов в украинской советской поэзии на протяжении длительного периода культурной истории СССР. В 1920-е Тычина приспособил символистскую поэтику к революционной теме и описанию «украинского возрождения» в соответствии с множеством стилевых подходов, в то время как Бажан сумел объединить авангардные жесты и модернистскую приверженность сложности с переоценкой «типичных» украинских стилей и тем. Соцреалистическая экспансия изменила тактику работы поэтов: им пришлось пересмотреть свои литературные установки и объединить внутреннее стремление к сложности с требовавшейся «плакатностью» и внятным запросом на «понятную литературу». Разбирая многочисленные примеры из текстов Бажана и Тычины, Акилли пришел к выводу о том, что в довоенные годы справедливо говорить о существовании гибридной эстетики в республиканских культурах, где насаждавшийся соцреализм еще не до конца уничтожил эстетическое наследие рубежа веков[29].

Честь закрыть конференцию выпала *Татьяне Островской* (Институт Гердера, Марбург, Германия), выступившей с докладом «*От национального к социалистическому и обратно? Всесоюзный триумф белорусской военной прозы*». Территория Беларуси и ее население, пожалуй, сильнее остальных пострадали во время войны, что, по словам докладчицы, определило характер развития белорусской советской литературы на последующие десятилетия. Еще в 1944 году писатель Кузьма Чорный в романе «Млечны Шлях» размышлял о мытарствах «белорусского человека среди своих европейских соседей». Чорный утверждал, что важно учитывать контекстуализированный, локальный опыт войны. Тем не менее с 1950-х до

29 Подробнее см.: *Achilli A.* Four Decades of Modernist Revolution: Creating a New Subjectivity in Ukrainian Poetry, 1900—1940 // Harvard Ukrainian Studies. 2021. Vol. 38. No. 1—2. P. 107—134.

середины 1960-х годов, когда появились первые романы В.В. Быкова, белорусская литература, казалось, обещала произвести значительный, меняющий общую парадигму вклад в область советской военной литературы. Отчасти так и произошло. Быков и его младший коллега Алесь Адамович окончательно преодолели локальную ограниченность и вышли на общесоюзную издательскую сцену только в конце 1960-х годов — безусловно, благодаря своим связям с влиятельными кругами партийной интеллигенции в Москве. Островская рассмотрела путь белорусской военной прозы к «триумфу» от позднего сталинизма до начала перестройки и ее успешной интеграции в общесоюзный многонациональный литературный канон; особое внимание при разборе частных примеров было уделено взаимодействию национальных и социалистических перспектив в советской белорусской военной литературе, их конкуренции и одновременному же взаимовлиянию. «Триумф» этот совпал с приходом П.М. Машерова к власти в качестве главы Белорусской коммунистической партии. Дело в том, что именно Машеров приложил много усилий для создания и тиражирования образа советской «Победы» и места Беларуси в ней, что, однако, не всегда было бесспорным в отношении к политике памяти эпохи Брежнева.

По итогам конференции было решено подготовить и издать сборник статей, куда войдут расширенные версии прочитанных докладов. Хочется надеяться, что состоявшаяся конференция откроет целую череду научных мероприятий, целью которых станет поиск способов создания подлинно научного нарратива о советской культурной жизни.

Дмитрий Цыганов

Экономические исследования приграничных территорий Северной Евразии:

ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Международный семинар

«Переосмысление пограничных капитализмов: экономические практики и борьба за ресурсы в (пост)имперской Сибири и Центральной Азии»

(*Свободный университет Берлина, 1—2 февраля 2024 года*)

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_416

В последнее время экономическая история переживает заметный подъем благодаря интересу к глобальной истории незападных стран и регионов. Эти территории, часто находившиеся на периферии европейских континентальных и морских

империй, служили ареной значимых экономических практик, обменов и взаимодействий. Подобные процессы не только влияли на положение империй, но и способствовали развитию самих регионов, а также межрегиональных связей.

Конец XIX — начало XX века стали переломным моментом в управлении ресурсами, что позволило многим империям, включая Российскую, пересмотреть устоявшиеся экономические практики. Вызовы модернизации подтолкнули Российскую империю к централизации и унификации своего многообразного пространства. В сочетании с потенциалом промышленного развития и мобильности железнодорожного транспорта новая концепция территориальности и нациестроительства стала более ощутимой в условиях новых экономических подходов к региональным ресурсам. Имперские проекты, такие как производство и эксплуатация хлопка в Туркестане, судоходство на Каспийском и Аральском морях, добыча нефти в Закавказье и золота в Сибири, изменяли социальный и экологический ландшафт регионов, приводя к ресурсозависимой экономике и маргинализации местного населения. Постимперский ландшафт колониальных и периферийных регионов, с преемственностью имперских акторов и институтов после 1917 года, также оказал сильное влияние на советский экономический проект. В этом контексте взгляд на (пост)имперские периферийные и приграничные пространства поздней Российской империи и раннего Советского Союза открывает новые возможности для переосмысления экономического опыта обоих имперских режимов и оценки экономических практик и взаимосвязанных сообществ в более широком имперском и транскультурном контексте.

Понятия периферии и пограничья требуют внимательного изучения. В традиционных описаниях пограничные территории определяются границами, существующими вне человеческого вмешательства, либо институциональными, зачастую государственными, структурами. Однако важную роль играли региональные и негосударственные акторы, создававшие, пересекавшие и пересогласовывавшие границы. Современные дискуссии о деколонизации и децентрализации российской истории и роли нерусских акторов и регионов ставят вопросы о месте этих концепций в экономической истории империй. Вынесение на передний план различных аспектов экономической деятельности, происходивших на «периферии» империй, а также мотивов и деятельности локальных акторов стало основной мотивацией для организации международного семинара «Переосмысление пограничных капитализмов: экономические практики и борьба за ресурсы в (пост)имперской Сибири и Центральной Азии». Этот семинар, организованный Историческим департаментом Института восточноевропейских исследований Свободного университета Берлина, стремился устранить существующие пробелы в историографии, углубляя исследование малоизученной экономической истории Российской империи и СССР, особенно таких регионов, как Центральная Азия, Сибирь и Дальний Восток. Подчеркивая их взаимосвязанность, семинар стремился исправить историческое пренебрежение к этим регионам в экономических повествованиях, исследуя гибридные экономические системы, капиталистические практики и сложные динамики пограничных территорий.

Приветственная речь одного из организаторов семинара, *Роберта Киндлера* (Свободный университет Берлина, Германия), подчеркнула важность понимания экономических практик приграничных территорий для развития обсуждений трансрегиональных процессов и обменов. По мнению Киндлера, данные дискуссии способствуют углублению понимания экономической территориальности и (пост)имперского наследия в более широком историческом контексте. Соорганизаторы семинара, *Руслана Бовгиря* (Свободный университет Берлина, Германия) и *Александр Коробейников* (Свободный университет Берлина, Германия), акцентировали

внимание участников на сложной и противоречивой природе понятий периферии, пограничья и региона, подчеркивая их значимость для экономических практик Российской империи и Советского Союза. По словам организаторов, изучение многообразных пространств, людей и практик экономической истории нерусских регионов обоих имперских режимов позволяет не только увидеть более комплексную и сложную картину экономических, политических и культурных взаимодействий, но и глубже понять, как исторические практики формировали представления о данных пространствах и как эти представления изменяются в последнее время.

Семинар открылся пленарным докладом *Беатрис Пенати* (Ливерпульский университет, Великобритания) «*Периферийный или глобальный? Место Туркестана в старой и новой историях капитализма*». В своем выступлении она продемонстрировала, что дискуссии об экономических практиках в Центральной Азии начались еще в ранний советский период и имели давнюю традицию. Основным критическим пунктом доклада стала сосредоточенность историографии преимущественно на истории хлопковой индустрии в дискуссиях о капитализме в Центральной Азии в контексте Российской империи. Чтобы преодолеть односторонний характер этих дискуссий, Пенати рассмотрела несколько различных примеров, иллюстрирующих многослойную природу экономических практик в регионе. Один из них — хлопчатобумажная фабрика в Самарканде, принадлежащая бухарским евреям, история функционирования которой пролила свет на проблематичные предпосылки для капиталистической экономики в Туркестане и «периферизацию», вызванную государственным вмешательством в частную экономическую деятельность. В отличие от этого, другой пример — производство сантонина, целебного вещества, содержащегося в цитварной полыни, в Шымкенте — продемонстрировал, как иностранные инвестиции и вливание капитала в будущую фармакологическую индустрию способствовали экономическому процветанию региона, обеспечивая тонкое понимание капиталистической динамики и транскультурных взаимодействий. Последующая дискуссия затронула различные примеры успешных и провальных экономических инициатив в Туркестане, подчеркивая неоднородность практик капитализма в регионе и не всегда государственный характер деятельности экономических акторов в колониальном контексте Российской империи.

Никколо Пьянчола (Университет Падуи, Италия) открыл первую панель, посвященную пограничным столкновениям и пространственным видениям, докладом «*Государства экономического исключения: запутанные суверенитеты и трансграничная торговля на российском дальневосточно-маньчжурском пограничье, 1906—1929 гг.*». В своем выступлении он подробно рассмотрел роль Банка Кореи (Bank of Chosen), японского финансового учреждения, в позднеимперском Владивостоке. Пьянчола показал, как этот банк, преодолев пространственные и временные границы, стал ключевым игроком в глобальном капитализме. Он подчеркнул важность корейско-российских цепочек поставок и рассказал, как банк продолжал действовать несмотря на потрясения революции 1917 года и создание Советского Союза. Лишь сталинская политика привела к его закрытию в СССР, что демонстрирует сложное взаимодействие власти и финансов в тот период.

Следующий доклад, представленный *Александром Коробейниковым*, был озаглавлен «*Природные ресурсы и формирование границ в постимперском Якутском регионе*». Докладчик обратил внимание на необходимость понимания локальной и региональной динамики для разгадки административных и экономических процессов ранней советской истории. Коробейников подробно рассмотрел роль природных ресурсов в формировании административных границ Восточной Сибири и Дальнего Востока после революции 1917 года. Особое внимание он уделил

территориальным спорам за Алданские золотые месторождения между Якутской АССР и Дальним Востоком. Через призму усилий советской интеллигенции Саха он показал, как ресурсы приводили к спорам и стратегическим маневрам, влияя на развитие советского государственного проекта на местах. В итоге Алдан остался в составе Якутской АССР, несмотря на убедительные аргументы дальневосточных представителей, что подчеркивает противоречивый характер ресурсной политики, а также важность роли локальной политической агентности в раннесоветский период.

Руслана Бовгиря завершила первую панель докладом «*Опасные воды: Каспийское море и морское измерение экономики Центральной Азии, 1890—1910-е годы*». Она предложила пространственно обоснованный нарратив о роли водной среды в экономике Центральной Азии конца XIX века. Основываясь на архивных материалах и подходах экологической, транспортной и экономической истории, Бовгиря показала, как морская торговля рыбой в Каспийском бассейне влияла на жизнь славянских поселенцев и коренных народов и была связана с капиталистическими преобразованиями. Особое внимание она уделила полуострову Мангышлак, где христианские и мусульманские общины занимались совместным рыбоводством, создавая сложные взаимозависимости. Возникновение каботажного судоходства и создание интегрированного рыбного рынка изменили социально-экономическую динамику региона. Бовгиря показала, как инфраструктурные изменения, сезонность, удаленность и мобильность влияли на экономический ландшафт прибрежных и внутренних территорий Центральной Азии.

Вторая панель была посвящена колониальным акторам и их экономическим взаимодействиям в имперском контексте. *Лилия Ведель* (Билефельдский университет, Германия) представила доклад «*Российско-немецкие предприниматели в Туркестане: маркетинговые стратегии и вклады, 1870—1914 гг.*». В своем выступлении она всесторонне проанализировала рекламную политику и потребительские механизмы в Туркестане конца XIX века. Исследование Ведель показало, как западноевропейские культурные и экономические практики интегрировались в регион, при этом особое внимание было уделено немецким предпринимателям. Она подчеркнула влияние рекламы на местный бизнес, экономические преобразования и развитие инфраструктуры. С помощью различных текстовых и визуальных материалов Ведель проиллюстрировала полиэтнические контакты и взаимодействия, которые способствовали экономическому росту и культурному обмену, а также важность прессы и рекламы в развивающихся регионах Туркестана в контексте Российской империи.

Следующий доклад, «*“Европейский консьюмеризм” в китайской лавке: потребление и конкурирующие представления о “правильной” торговле на Дальнем Востоке Российской империи в 1880—1890-е годы*», был представлен *Александром Турбиным* (Иллинойский университет в Чикаго, США). Он также исследовал немецких экономических акторов в поздней Российской империи, сосредоточившись на немецком купце Адольфе Даттане, работавшем на компанию «Kunst und Albers» во Владивостоке. Турбин подчеркнул, что позднеимперский Владивосток был не изолированным регионом, а плавильным котлом, где проживали разные народы — коренные жители, русские, корейцы, японцы и эмигранты из Западной Европы. В то время как жители Восточной Азии рассматривались как потенциальные торговые союзники, западноевропейцы, такие как Даттан, воспринимались как угроза российскому торговому господству. Несмотря на свободное владение русским языком и наличие гражданства, его европейское происхождение приводило к конфронтациям. Даттан пытался справиться с этими проблемами, критикуя русский национализм и используя расовые стереотипы для описания выходцев из Восточной Азии, особенно китайцев. Однако его расовый дискурс не смог ослабить этническую

напряженность, демонстрируя не новизну, но неэффективность его стратегии в условиях преобладания этнических предрассудков в поздней Российской империи.

Завершил панель доклад *Томаса Лоя* (Восточный институт Чешской академии наук, Прага) «*Хаим Абрахам: пограничные встречи и экономические практики еврейского торговца между Афганистаном, Ираном и Центральной Азией*». Лой исследовал многогранный путь Хаима Абрахама, еврейского купца из Бухары, реконструируя сложную картину еврейского купеческого сообщества в Центральной Азии. На примере жизни Абрахама Лой показал создание транснациональной сети, известной как «еврейский треугольник», связывавшей города Герат (Афганистан), Бухару (Российская империя) и Мешхед (Персия). Опыт Абрахама проливает свет на темы взаимосвязи, глобализации и изменчивости колониальных пограничных территорий, часто связанных с другими пограничными районами или иностранными колониальными центрами. Лой также рассмотрел аспекты антисемитизма и проблемы, связанные с недоверием и сменой режимов в разных странах, с которыми сталкивался Абрахам.

Иан Кэмпбэлл (Калифорнийский университет в Дэвисе, США) открыл третью панель, посвященную знанию и власти в Центральной Азии, докладом о казахской степи под названием «*Предвидение поселенческой и местной экономик: производство знаний и переселение в позднеимперскую эпоху*». В своем исследовании Кэмпбэлл анализировал политику колонизации, включавшую переселение славянского населения в Степной край после завоевания этой территории Российской империей. Он отметил, что данный процесс характеризовался не столько продуманным планом, сколько политикой *laissez-faire* (невмешательства государства в хозяйственные процессы и предоставления свободы действия частным интересам), что узаконило хищнические экономические практики по отношению к коренным кочевникам. Несмотря на цивилизаторскую риторику империи, колонизация степи привела к социальным потрясениям, усилила бедность и подорвала общинные связи среди казахов. Анализ Кэмпбэлла высветил непредвиденные последствия имперской политики, раскрывая сложное взаимодействие между властью и социальными изменениями в Центральной Азии.

Доклад *Алишера Халиярова* (Американский университет Шарджи, ОАЭ) под названием «*Трансформация пограничья: процесс смены валюты в Хиве*» продолжил панель. Халияров исследовал трансформацию Хивинского эмирата после российского завоевания, уделив особое внимание изменению валюты. Он подробно рассказал, как после захвата центральноазиатского государства имперское правительство приказало эмиру выплачивать репарации в серебряных тенге, чтобы установить российский золотой рубль в качестве стандартной валюты. Однако эмир и местные купцы сопротивлялись этим изменениям: бывший правитель продолжал импортировать серебро и чеканить монеты, а купцы обесценивали рубль в своих сделках. Через призму изменения валюты Халияров показал, как имперская власть могла утверждаться и оспариваться с помощью монетарных механизмов, предлагая нюансное понимание динамики между центральной властью и экономической автономией в колониальных контекстах.

Сергей Глебов (Амхерст-колледж, США) открыл четвертую панель об имперской динамике и оспариваемых ресурсах в Сибири. Его доклад «*Товары и тела: раса и изобретение китайской торговли на позднеимперском Дальнем Востоке*» затрагивал темы, параллельные, но отличающиеся от предыдущих. В то время как анализ Александра Турбина был сосредоточен на трансформации Российской империи при Александре III, переходе от имперской к российской идентичности и ее влиянии на периферийные торговые зоны, Глебов углубился в деятельность швейцарского купца Юлиуса Бриннера во Владивостоке. Он интерпретировал действия

Бриннера, который использовал выражения, сходные с антисемитскими, и пропагандировал городскую сегрегацию, как попытку расовой дискриминации китайских конкурентов. Это отражало господствующую атмосферу и местные антикитайские настроения, проливая свет на комплексные взаимодействия этнической принадлежности, торговли и власти на Дальнем Востоке Российской империи.

Панель продолжил *Дэвид Дэрроу* (Университета Дейтона, США) докладом «*Распространение империи: к сравнительной истории кооперативных крестьянских хозяйств Сибири*». Он представил концепцию «масляного рубежа» (butter frontier) как новую аналитическую модель для экономического исследования империи. Дэрроу подчеркнул уникальную роль развития сибирской маслодельной индустрии, требующей особой технологической инфраструктуры. Он сравнил производство сливочного масла в Сибири, США и Новой Зеландии, показывая, что высокий уровень механизации на молочных фермах в этих регионах контрастировал с их восприятием как отсталых. Несмотря на периферийное положение, эти области были связаны сетью знаний, способствовавших инновациям.

Последняя панель семинара была посвящена империям и отношениям между людьми и животными. *Чечеш Кудачинова* (Боннский центр исследований зависимости и рабства, Германия) представила доклад «*Производство бархатного панта: приграничная промышленность и знание ресурсов в Южной Сибири, 1880—1920-е годы*». Она исследовала сбор оленьих пантов и ремесла в Алтайском крае. По мнению Кудачиновой, Алтай, несмотря на свою репутацию убежища для перемещенных крестьян, нелегальных мигрантов и старообрядцев, функционировал как «трансимперская провинция». Экономические практики, связанные с выращиванием и использованием оленей, приносили значительные прибыли при минимальных затратах труда и капитала, что делало регион динамичной производственной зоной без особого контроля со стороны империи. Панты, заготовленные в Российской империи, находили охотных покупателей на китайских рынках, что способствовало экономической жизнеспособности региона. Первые попытки регулирования, такие как отправка петербургского чиновника для оценки оленеводства в 1897 году, не привели к значительным результатам. Торговля оленями была нарушена падением династии Цин в 1911 году и большевистской революцией в 1917 году, но вскоре возобновилась при советской власти под строгим государственным контролем и регулированием. Доклад Кудачиновой успешно продемонстрировал, что экономические практики, связанные с животными, не всегда зависели от государственного контроля и часто были результатом транскультурных традиций и межрегиональных рынков.

Продолжил панель *Такахиро Ямамото* (Сингапурский университет технологии и дизайна, Сингапур) докладом «*Японская земля? Охота на морских животных вокруг Курильских островов в конце XIX века*». Ямамото показал, как японское правительство стремилось контролировать спорную территорию Курильских островов, эксплуатируя ее ресурсы для иностранных компаний. Такой подход истощил местную водную фауну и привел к почти полному исчезновению коренного населения — айнов, которые были насильственно переселены на Хоккайдо. Ямамото подчеркнул пагубное влияние государственной политики на окружающую среду и коренное население, показывая сложные взаимосвязи между экономическими интересами, территориальными спорами и человеческими жертвами имперских амбиций.

Завершил последнюю панель *Тимм Шёнефельдер* (Лейбниц-Институт истории и культуры Центральной и Восточной Европы в Лейпциге, Германия) докладом «*Прослеживая торговлю пушниной. О глобализации эксплуатации ресурсов через разрыв 1917 года*». Шёнефельдер сосредоточился на Лейпциге, который, будучи известен своими ярмарками, стал крупнейшим европейским центром тор-

говли пушниной. Меха из Сибири поступали в Лейпциг через аборигенные каналы и европейских торговцев, а затем выходили на мировые рынки в виде модной одежды. Первая мировая война и большевистская революция привели к спаду, который усугубился сокращением охоты. Изоляция Германии после Первой мировой войны, до Рапалльского договора 1921 года, препятствовала торговле. В последующие годы, во времена нацистского правления, войны и оккупации торговля продолжала страдать. Шёнефельдер показал, как транснациональные изменения и внутренние конфликты влияли на эволюцию пушной торговли на фоне меняющихся глобальных ландшафтов.

В заключительной дискуссии участники и гости семинара обсудили ключевые темы докладов, рассмотрели проблемы и перспективы научного поля. Концепция «пограничных земель» оказалась полезной для отражения специфики регионов, которые, несмотря на свою кажущуюся изолированность, были тесно связаны с глобальными структурами. Беатрис Пенати подчеркнула важность изучения местных источников в широком контексте, особенно для экономических исследований. Хотя более глубокий анализ капитализмов (или различных форм капитализма) был отложен, внимание к экономической динамике подчеркнуло потенциал для выявления связей и переплетений в рамках исследований пограничных территорий. Несмотря на критику, высказанную в ходе дискуссии, организаторы и участники признали мощный исследовательский потенциал данного семинара. В итоге, обращаясь к преемственности имперских переходов и к взаимодействию между государственным видением и низовыми практиками, мероприятие способствовало развитию новых научных перспектив.

Александр Коробейников

Международная конференция
«Концепт границы в славянской и еврейской культурной традиции»

(*Институт славяноведения РАН, Центр «Сэфер», Москва, 6—8 декабря 2023 года*)

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_422

С 6 по 8 декабря 2023 года Центром славяно-иудаики Института славяноведения РАН в сотрудничестве с Центром «Сэфер» была проведена очередная международная конференция, посвященная культурам славян и евреев, их диалогу, сходствам и различиям. Традиционно каждая подобная конференция имеет свою тему. И если раньше выбор общего вектора обуславливался желанием осветить разные аспекты славяно-еврейского взаимодействия, то сегодня кажется, что темы конференций еще и фиксируют умонастроения научного сообщества. В 2022 году в фокусе внимания были культурные представления славян и евреев о «последних временах», в 2023 пришло время поговорить о границах — географических, культурных, языковых, символических. Три насыщенных дня конференции прошли за обсуждениями того, как эти границы пытались освоить, преодолеть, сохранить или навсегда разрушить.

Первый день конференции был посвящен вопросам проведения границы между воображаемым «своим» и «чужим», а также конструирования социальных границ внутри группы. В основном все сюжеты затрагивали восточноевропейское еврейство. Секцию открыл доклад *Виктории Герасимовой* (Центр «Сэфер», НИУ ВШЭ, Пермь—Варшава) «*Пограничье воображаемое и реальное. Евреи, христиане и имперские чиновники на российско-польской границе в XVIII веке*». Используя бинарную оппозицию «воображаемое/реальное», Герасимова рассуждала на тему пограничья. С одной стороны, таковое было реально существующим местом, представляющим собой форпосты вокруг Киева. Оно помогало евреям перемещаться из Речи Посполитой на территорию Российской империи. С другой стороны, Герасимова показала, что пограничье можно воспринимать как воображаемую категорию. Что любопытно, она указала на особую роль бюрократических процедур, которая реализовывалась в формате распросных или допросных речей. В рамках своего выступления исследовательница выявила довольно важную проблему, связанную с тем, что даже после формального пересечения границы евреями и принятия христианства они не перестают находиться в контексте еврейской истории. Воображаемое пограничье, которое было выделено, дополняет представления о еврейской истории как о конфликте, существующем между крещеными евреями и христианами.

Тему «бинарных оппозиций» продолжил *Валерий Дымшиц* (Европейский университет в Санкт-Петербурге), обратившийся к классику структурализма и антропологии Клоду Леви-Строссу. Дымшиц начал свой доклад «*Что чувствовал еврей, выезжая из местечка? Граница города как граница обитаемого мира в еврейской литературе*» с определения, в соответствии с которым для евреев характерна бинарная оппозиция «свой/чужой» или «еврей/нееврей» и в отличие от своих коллег по секции определил границу не как метафорическую или символическую категорию, а как категорию физического пространства, то есть «того, что отделяет один кусок земли от другого куска земли». Под «еврейским» понимается местечко, а под «нееврейским» в данном случае — природа и леса, окружающие это самое местечко. Пространство города понималось как еврейское, потому что ассоциировалось с цивилизацией. Когда еврей пересекал границу местечка, он оказывался в пространстве хаоса, пустыни или леса, на которые могли не распространяться привычные запреты. Дымшиц продолжил рассуждения о пространстве, представив этническую границу, которая проводилась по границам местечка, как социальную границу внутри оппозиции «горожанин/сельский житель». В этом контексте Дымшиц указал на тождество «еврея» и «горожанина», тем самым обнаруживая связь между этноконфессиональной группой и социальной стратой.

Лейтмотив социальных границ, а не привычных для еврейских исследований этноконфессиональных, подхватила *Галина Зеленина* (ИСАА МГУ, РГГУ, РАНХиГС, Москва) в докладе «*“Люди моей карассы” vs “босяки”, жлобы и хамы: социальная стратификация в советских еврейских мемуарах*». Зеленина показала, как конструируется социальная граница в эго-документах советских евреев, эмигрировавших на Запад. В докладе она также не отказывается от разделения «свой/чужой», но реализуется эта оппозиция как «хороший/плохой еврей». Образ «хорошего еврея» держится на почитании и ассоциации себя с русской культурой, конструировании образа виноватого и частичном отказе от еврейской идентичности, восхвалении качеств духовности, нестяжательства, критики советского тоталитаризма. Зеленина указывает на то, что такой конструкт размывает естественную границу между «евреями/неевреями» и «своими/чужими», но не отказывается от нее и снова приводит к тому, чем закончил Валерий Дымшиц в своем докладе: евреи понимаются со стороны не как этноконфессиональная группа, а как сословие, корпорация или социальный слой.

Одним из наиболее концептуальных докладов первого дня стало выступление *Светланы Бабкиной* (РГГУ, Москва) «*“Ангел у гумна” и “ангел у двери”: куда не проходит смерть?*». На материале двух сюжетов из еврейской Библии исследовательница задала два важных вопроса о самом понятии границы: в чем она воплощается и какой природой обладает? Используя теоретическую рамку Фрейзера, Бабкина указала на контагиозную природу крови и жертвы как определенной границы, за которую не может пробраться смерть и убийца. Пример с кровью, который использует Бабкина (кровь как то, что оскверняет и убивает, и кровь как то, что защищает) отлично демонстрирует двойственную природу границы. Жертва также обладает этой природой — принимает на себя смерть и одновременно защищает других от дальнейших смертей, то есть является границей между жизнью и смертью.

Во второй день конференции чаще звучали темы, связанные с конструированием и сохранением еврейской идентичности в условиях тесного соприкосновения с обществом большинства, а также присвоения разных практик этого общества. *Валерия Новикова* (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) поделилась сюжетом из средневековой истории арабских евреев в докладе «*Конверсия из иудаизма в ислам в Султанате мамлюков (1250—1517): перейти границу или примерить костюм?*». Используя метафору «примерить костюм», Новикова показала, как происходило обращение из иудаизма в ислам в XV веке в Каире. В основе этой метафоры была теоретическая рамка Артура Нока, затрагивающая два разных типа обращения в религию — слияние с новой идентичностью или полный переход и отказ от старых убеждений. Ключевой для этого доклада термин Нока — религиозное слияние, то есть преодоление барьера, который был культурным, а не религиозным и позволял евреям без труда перемещаться между идентичностями и сохранять связь с еврейским сообществом даже после принятия ислама. В докладе рассматривались биографии евреев, которые приняли ислам по собственной воле и описывали свой опыт перехода, а также случаи из исторических хроник, когда евреев ловили на фиктивном принятии ислама.

Понятие идентичности ярко звучало в докладе *Розы Ашкенази* (СПбГУ, Санкт-Петербург) «*Иранские евреи или еврейские иранцы? Классическая персидская литература в литературном репертуаре евреев Ирана в постмонгольский период*». Используя разнообразие персидской литературы, записанной на еврейско-персидском языке (персидский язык, записанный еврейскими буквами), Ашкенази пришла к выводу, что у еврейского населения Ирана был определенный интерес или даже любовь к персидской литературе: евреи собирали списки, издавали рукописи, иллюстрировали их, тратили на это большие деньги, и не только на популярных и каноничных авторов того времени, но и на менее известных даже в персидской среде. В связи с этим исследовательница задалась вопросом о том, что превалировало в идентичности иранских евреев: ощущение себя евреями или жителями Ирана. Подход к определению идентичности какой-то группы через читательский репертуар определенного периода довольно нетривиален. Однако он снова помещает нас в привычную рамку «свой/чужой», а точнее «литература — чужая или родная».

Совсем с другой стороны к понятию границы и идентичности подошли в своем докладе *Алексей Андрюшин* (НИУ ВШЭ, Москва) и *Дмитрий Радь* (СОГУ им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ) «*Позиционирование еврейской общины Владикавказа как полиэтничного и поликонфессионального сообщества в локальном тексте города в советский и постсоветский период (по материалам экспедиции в Северную Осетию)*». Докладчики обратились к истокам антропологии границ — работе Фредерика Барта «Этнические группы и социальные границы. Социальная организация культурных различий» и понятию границы (bound), которое в ней да-

ется, как способа сохранения своей идентичности при взаимодействии ее членов с другими. Эта теоретическая база была дополнена работой Павла Куприянова «К вопросу о конструировании мест в современном городе: механизмы и идентичность» и его понятием «членение пространства» в контексте города как практики, при которой фрагмент пространства выделяется из окружающего массива не-мест или других мест и репрезентируется в качестве отдельной самостоятельной единицы пространства. Основываясь на этих теоретических положения Андрюшин и Радь пытались выделить значимые единицы пространства и определить, как в этих единицах участвует еврейская община Владикавказа. Работа базировалась на серии из 42 глубинных этнографических интервью с членами еврейской общины Владикавказа. Целью доклада было не только прочертить границу в локальном тексте города на основе оппозиции «еврей/нееврей», но и показать, как внутри общины дифференцируется пространство и отражается ее многообразие — сосуществование религиозных и светских евреев. Через вспомогательный метод социального картирования, то есть описания локального текста (словарный или визуальный), докладчики продемонстрировали условное противостояние двух сторон: религиозных и светских евреев, разделенных рекой. Таким образом, можно снова наблюдать, как понятие границы реализуется в пространстве города, разделяя не только «своих» и «чужих», но и демонстрируя внутренние границы в контексте полиэтничности и поликонфессиональности одной общины.

Елизавета Шварц (СПбГУ) в докладе «*Роль мяса и воды в дихотомии "свой/чужой" в культуре бета исраэль (эфиопских евреев)*» продемонстрировала, как уже известная бинарная оппозиция реализуется в диетических запретах и ограничениях. Используя сюжеты из жизни эфиопских евреев и эфиопских христиан, Шварц не ограничилась только тем, что ярко провела черту, разделяющую эти две конфессии в повседневном употреблении мяса и воды. Что более важно, исследовательница показала, как соблюдение границы между христианами и иудеями во время совместных праздников через пищевые практики становится манифестом или некоторым символом уважения «другого». Этот сюжет довольно ярко выделяется среди докладов, использовавших ту же дихотомию «свой/чужой» с точки зрения либо обособления, либо адаптации культурных практик. Шварц поделилась идеей о взаимном и осознанном сохранении границы как способе проявления принятия и уважения к «другому» не с помощью особенных символов или даров, по Марселю Моссу, а через бытовые и жизненно необходимые вещи, как, например, воду и мясу.

Продолжили разговор о культуре неашкеназских общин *Юлия Будман* (РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва) и *Юлия Маккавеева* (НИУ ВШЭ, Москва) докладом «*Современная израильская контркультура евреев-мизрахим: Ars poetica*». В израильском обществе и культуре в последние десятилетия развернулся масштабный разговор о дискриминационной политике государства в отношении выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки во второй половине XX века. На примере протестной поэзии мизрахим Будман и Маккавеева демонстрируют критику и различные стратегии преодоления так называемой ашкенормативности, то есть формы предвзятости евреев-ашкеназов к религиозным и культурным практикам восточных евреев. Творчество младшего поколения поэтов-мизрахим, в особенности Рои Хасана и Ади Кейссар из объединения «Ars poetica», исследовательницы рассматривали как составную часть израильской контркультуры, которая входит в сложное взаимодействие-противостояние с официальной культурой ашкеназов.

«Чужое» можно не только атаковать через слово, как протестные поэты, но через слово же его можно постепенно превращать в «свое». Такой вариант преодоления границ исследовали *Екатерина Норкина* (ИСл РАН, СПбГУ, Москва —

Санкт-Петербург) и *Анна Юдкина* (ИСл РАН, Центр «Сэфер», Москва) в докладе «*Еврейские молельни в России во второй половине XIX — начале XX века как способ освоения "чужого" пространства*». На примере прошений и ходатайств, поданных от еврейских общин, об открытии молельных домов вне черты оседлости исследовательницы показали, как иудеи стремились стать видимыми внутри физического и социального пространства Российской империи. Для достижения этих целей было принципиальным проявлять настойчивость, демонстрировать внешнюю лояльность по отношению к власти, а также не нарушать границ правового поля, что потенциально могло повысить уязвимость всей этнорелигиозной группы.

Доклад *Ольги Левитан* (Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет, Израиль) «*Зарубежные гастроли "Габимы": опыт установления и стирания границ*» реконструировал маршрут и творческие трансформации, через которые прошел знаменитый ивритоязычный театр «Габима» в 1920—1930 годы. Обосновавшись в Москве после революции, «Габима» провозгласил иврит языком искусства, обладавшим прежде всего эстетической ценностью. «Габиме» пришлось отстраивать свою независимость от театра и литературы на идише, хотя именно идишские пьесы часто служили литературной основой для его репертуара. Тем не менее соперничество с идишеязычным ГОСЕТом, по мнению Левитан, в большей степени было навязано «Габиме» политической ситуацией. В январе 1926 года «Габима» покидает СССР и вплоть до конца 1930-х годов существует между Европой, Америкой и Палестиной. Ситуация пересечения границ государств оказывается неразрывно связанной с поиском творческой идентичности театра.

На искусство могли влиять не только реальные, но и воображаемые границы, выстраивание которых было обусловлено идеологически. В докладе *Светланы Пахомовой* (МВШСЭН, НИУ ВШЭ, Москва) «*Штетл vs советская земля. Как советское кино 1920—1930-х гг. боролось с еврейской "архаикой"*» было показано, как в советском кинематографе происходило отчуждение штетла от советской территории. Пространство штетла, его религиозные и повседневные практики архаизировались и даже демонизировались на советском экране. Например, в «Возвращении Нейтана Беккера» (1932) штетл предстает нелепым и вредным анахронизмом, но чаще он просто выносится за пределы СССР — в «панскую» Польшу («Граница»), Америку («Горизонт»), Палестину («Искатели счастья»). Политическая и экономическая отсталость штетла усиливается за счет мотива его физической уязвимости перед лицом антиеврейского насилия. Ощущение материальности и непреодолимости границ штетла пронизывает многие советские фильмы на еврейском материале, но если в 1920-е годы революционные идеи могли проникать в штетл и менять его изнутри, то в 1930-е штетл полагается уже не поддающимся никакому реформированию. Новая советская еврейская идентичность на экране оказывается напрямую связанной с новой советской территорией.

Третий день конференции был в большей степени сосредоточен на славянских сюжетах. Доклад «*Икона как фронтир: колонизация, христианизация, наследие*» познакомил участников конференции с основными выводами диссертационного исследования *Дмитрия Доронина* (РГГУ, Москва). Развитие иконного промысла со временем привело к широкому распространению так называемой расхожей иконы, то есть массовой недорогой иконы, производством которой занимались преимущественно крестьянские артели. Технологические изменения XIX и XX веков, например, открытие гальванопластики, изобретение алюминиевой фольги или массовая доступность фотографии способствовали проникновению неправославных образов и нехарактерных художественных решений в такие иконы. Особую популярность расхожие иконы получают именно в зонах культурного фронтира. Наследуют расхожим иконам «советские иконы», то есть кустарные рукодельные

иконы, создаваемые нелегально мастерами-одиночками в СССР 1920—1990-х годов. Теневая экономика советской эпохи способствовала усложнению гибридности подобных артефактов.

Доклад *Ольги Беловой* (ИСл РАН, Москва) «*Поверх барьеров: преодоление ментальных и социальных стереотипов в поликультурной среде Западной области и соседних регионов в 1920—1930-е годы*» напомнил о подвижности и одновременно инертности государственных границ. Западная область существовала на карте СССР с 1929 по 1937 год и включала в себя территории бывших Смоленской, Брянской, Калужской и Тверской губерний. Интенсивные изменения административных границ в 1920-е годы привели к повышенному контролю партийных органов и органов госбезопасности за настроениями среди населения этого фронтирного региона. Именно информационные сводки ОГПУ, документы партийных, а также комсомольских организаций, материалы отделов агитации и пропаганды из архивов Смоленской области стали основными источниками для данного исследования. Ко второй половине 1930-х годов в этнокультурном пограничье Западной области, с одной стороны, под давлением русификации и советизации наблюдается угасание культурного и языкового своеобразия, гибридизация религиозных и светских элементов повседневной жизни. Однако, с другой стороны, ощущение тотальной нестабильности и опасения грядущих геополитических трансформаций, которые подпитывались слухами о возможной войне, привели к усилению подозрительности в отношении этнических соседей.

Сразу два выступления на конференции были посвящены эвакуации во время Второй мировой войны. *Светлана Амосова* (ИСл РАН, Москва) в докладе «*Представление о границе в нарративах об эвакуации еврейского населения в Латгалии 1941 года*» обратилась к этнографическим интервью, собранным в Латвии и Израиле у жителей бывших еврейских местечек Латгалии с 2012 по 2017 годы. Свидетельства из этого региона отличал ряд характеристик. Латгалия была оккупирована немецкими войсками уже к началу июля 1941 года, но на несколько дней позже, чем Курляндия и другие части Латвии. То есть у жителей Латгалии был небольшой временной зазор, чтобы срочно принять решение о самостоятельной эвакуации (организованной эвакуации из Латвии не было). Хотя формально Латвия входила в состав СССР с 1940 года, на практике соблюдалась старая граница. Эта ситуация, усугубленная отсутствием бюрократических процедур признания жителей Латвии гражданами СССР, не позволила эвакуироваться значительному числу беженцев. Очень ярко в интервью проявляется особая идентичность латгальского еврейства, которая фактически успела сложиться в независимой Латвии в межвоенный период. Среди эвакуационных сюжетов выделяются рассказы об отказе уезжать по причине неверия в то, что немцы причинят вред евреям.

Именно сюжет о «хороших» немцах стал центральным в докладе *Екатерины Закревской* (ИНИОН РАН, РГГУ, ИСл РАН, Москва) «*Отказ от эвакуации и неудавшаяся эвакуация: типология и происхождение*». Исследовательница предложила интерпретировать нарастающую частотность рассказов о немцах, угощающих детей конфетками и регулирующих порядок на оккупированных территориях, в контексте фольклорной традиции, которая с уходом поколения непосредственных свидетелей начинает насыщаться фольклорными клише и нарративами традиционной культуры. Со временем этнические стереотипы могут подменить собой факты и реальные свидетельства, как в сторону демонизации, так и в сторону идеализации. Понимание того, как устроена коллективная память, какие внешние и внутренние факторы оказывают на нее влияние, как работают механизмы эмоционального отбора, помогает объяснить популярность парадоксальных сюжетов о «культурных» немцах в интервью последних 10—15 лет.

Три дня конференции продемонстрировали, насколько многогранным может быть понятие границы и как по-разному ее можно концептуализировать в контексте истории и культуры евреев и славян. Заданная тема конференции — вещь коварная. С одной стороны, она задает рамку и позволяет протягивать нити от доклада к докладу. С другой — заставляет исследователей взглянуть на свой материал с непривычной стороны и ужаснуться тому, сколько важных аспектов остается за пределами их внимания. Конференция стала своеобразным опытом расширения границ понимания еврейской и славянской истории и культуры. Определенным открытием стали сюжеты, связанные с восточными евреями, — будь то средневековый Египет и Иран или современный Израиль. Впервые на конференции были представлены исследования, посвященные эфиопским евреям. Не менее важным было и то, что событие позволило увидеть, как понятие границы работает не только в отношении «своих» и «чужих», но и внутри еврейского сообщества.

Светлана Пахомова, Валерия Новикова

Международная конференция
«Графомания. Русская литература и ее границы»

(*ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, «Новое литературное обозрение», 7—9 октября 2024 года*)

DOI: 10.53953/08696365_2025_193_3_428

С 7 по 9 октября 2024 года в онлайн-формате состоялась конференция «Графомания. Русская литература и ее границы». Мероприятие было организовано *Константином Богдановым* (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург) и *Ярославой Захаровой* (Мюнхенский университет, Германия), при деятельной поддержке *Ирины Прохоровой* («Новое литературное обозрение», Москва). Участникам конференции были адресованы вопросы: кто и почему считается графоманом? Только ли тот, кто пишет очень много (Лев Толстой), или тот, кто пишет плохо (капитан Лебядкин), или тот, кто пишет много и плохо (граф Хвостов)? Представление о графоманах и графомании исторически изменчиво, идеологически санкционировано и психологически субъективно. Но каковы критерии «нормального» и «ненормального» письма? Докладчики размышляли о причинах, обстоятельствах и следствиях, связанных с ролью словесности, ее социальной и эстетической оценкой в мире меняющихся представлений о «правильной» литературе.

Константин Богданов, открывший конференцию, во вступительном слове предложил участникам прежде всего почтить память безвременно умершего Андрея Анатольевича Бобрихина (1961—2024). В изначальной версии программы значился доклад Бобрихина «*Наивные ли писатели наивные художники?*». Смерть автора отменила это выступление, но не сняла его тематики. Андрей Анатольевич был выдающимся знатоком, коллекционером и исследователем наивной живописи, руководителем Музея наивного искусства в Екатеринбурге. В докладе он хотел коснуться такого совершенно неизученного аспекта творчества наивных художников, как их комментарии к собственным произведениям. В аннотации, присланной Андреем, было указано: «Исследователи наивного искусства периодически и по-

стоянно встречаются с письменными комментариями, сопроводительными текстами наивных художников, которые исследователей умиляют, радуют, восхищают, а музейщиков чаще ставят в тупик. Одни тексты стали составной частью изображения, другие могут быть наклеены автором на картину, и могут быть удалены при реставрации, третьи автор расположил на обороте, написав на холсте или приклеив на бумажке, четвертые — многостраничные или многословные труды, которые, конечно, поясняют содержание картины или раскрывают личность автора, но крайне трудны для пользования и восприятия. Среди текстов наивного художника встречаются как биографические, так и беллетризованные произведения, а также эссе в духе наивной философии. Все тексты наивного художника, несомненно, представляют исследовательский интерес, позволяют судить о характере и ценностях автора, специфике суждений, этических и эстетических ценностях, и даже об интеллектуальном уровне. Но вот как это знание исследователя поможет зрителю в музейной коммуникации с произведением наивного художника, в каких формах подавать ему текстовую часть творчества автора, не является ли это знание абсолютно избыточным и ненужным зрителю? Какую ценность представляет текст, взятый отдельно от живописного произведения, является он, хоть и любительским, но самодостаточным произведением? Можно ли тексты наивных художников отнести к наивной литературе?». Теперь ответы на эти вопросы ждут своего исследователя, который несомненно вспомнит Андрея Анатольевича с благодарностью за их постановку.

Георгий Хазагеров (независимый исследователь, Ереван, Армения) задал тон конференции докладом «*Графомания: плюсы и минусы*». Автор предложил аудитории задуматься над, казалось бы, простым вопросом: почему сегодня теоретическая риторика не выходит за пределы академических аудиторий и ее социальная проекция равна нулю? А также почему практическая риторика строится вокруг потребителя и его задачи, а не обращена к городу и миру? Иными словами, почему риторика, которая когда-то из варвара сделала цивилизованного человека, не задает коммуникативные тренды, не развивает язык и не способствует распространению культуры аргументаций. Ответы на эти вопросы следует искать, по мнению автора, в гармонизирующем потенциале риторики и ее родственных связях с филологической экологией[1], позволяющей, с одной стороны, сформулировать новую концепцию риторики, а с другой — в практическом плане укрепить ее социальную роль: «Применительно к практикам словесного воздействия стоит задаться вопросом о загрязнении среды и о способах ее реабилитации (проблема длительной пропаганды, безответственных кампаний и т.п.), об устойчивом развитии (оборотная сторона инженерных подходов, построенных под текущую задачу). Применительно к теории необходимо включить социальную ответственность и социальную продуктивность в концепцию риторики». Итак, главная задача в современном осмыслении риторики состоит, по убеждению докладчика, в осознании практической полезности ее коммуникативной составляющей.

Александр Кобринский (ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН, Санкт-Петербург) в докладе «*Графомания: поэтический прием или приросшая маска? (На материале русской поэзии начала — середины XX века)*» проанализировал особенности неспециализированного и литературно-критического восприятия графомании как явления на стыке литературы и психиатрии, и, соответственно, как имманентной характеристики текста, или как «клинической» диагностики самого творческого процесса. Докладчик обратился к истории возникновения и развития термина

1 *Волков В.В.* Филологическая экология: культура речи, языковая, речевая и лингвистическая среда // Вестник ТвГУ. 2016. Серия: Филология. № 1. С. 103—113.

«графомания» в различных эстетических системах. Материалом исследования послужили биография и творчество Константина Олимпова с 1910-х годов, включая практически не изученный стихотворный цикл «Ты» (1925—1926), критические отзывы о ранних символистах (В. Брюсов, А. Добролюбов, В. Гиппиус, А. Емельянов-Коханский и других) и восприятие символистами обэриутской поэтики (В. Ходасевич о Н. Заболоцком).

Данила Давыдов (ГАУГН, Москва) посвятил свой доклад «*Наивный автор как (не-)графоман: к проблеме соотношения понятий*» феномену «наивной» словесности. По мысли автора, литературный примитив осознается как самостоятельная область изучения лишь отчасти по аналогии с соизмеримыми явлениями в изобразительном искусстве и до сих пор не вполне выделен филологами в отдельное направление в отличие от культурологического и искусствоведческого подхода к наивной живописи, графике и скульптуре. «Низовой примитив» рассматривается чаще всего с помощью методов фольклористики и понимается как форма «письменного (пост)фольклора», а «вершинные» (то есть максимально индивидуализированные) проявления примитива изучаются в соответствии с программой, заданной еще в рамках парадигмы авангардного поведения и жизнетворчества. В промежутке остается огромный слой письменных практик (наивных, аутсайдерских, отчасти субкультурных), причиняющих неудобства интерпретатору, который стремится избавиться от стоящей перед ним проблемы с помощью квазитермина «графомания». При этом сами наивные авторы могут дать к этому повод, отчасти оправдывая в своем творческом поведении расхожие представления о социальном и психологическом облике графомана, а порождаемые ими тексты оказываются неприемлемыми для «производителей культурной нормы» и также легко списываются на «графоманию». При этом рефлексии над тем, что в данном случае представляет собой «графомания», обыкновенно не производится. Во всем этом комплексе обстоятельств видится важная теоретическая (и методологическая) проблема: как соотносятся явления примитива и графомании и возможно ли их вообще объединить в одном дискурсе, претендующем на аналитическую добросовестность?

Иосиф Зислин (независимый исследователь, Иерусалим) в докладе «*Что символизирует открытая дверь: психоанализ между литературой и графоманией*» представил обзор графомании в психиатрическом освещении. Докладчик предположил, что крайние патологические формы оттеняют и маркируют то, что в филологии с большим трудом поддается определению. Сам психиатрический термин «графомания» встроен в смысловой ряд психопатологических понятий, объединенных общим корневым элементом «мания»: клептомания, эротомания, пиромания, дипсомания... Одним из центральных элементов патологической мании является бессмысленность, бесконечное совершение действия ради действия, что с точки зрения психопатологии рассматривается как болезненный вариант формирования новых мотивов или феномена «сдвига мотива на цель»[2]. Использование клинического подхода позволяет в первом приближении построить типологию графомании, которая может быть разделена на болезненную и неболезненную формы. Именно в болезненной графомании может быть вычленена ее «чистая» форма — писание ради писания, моторное действие. Другой подтип болезненной графомании можно обозначить как тип деятельный, где бесконечное производство текстов служит непрерывному написанию жалоб, псевдонаучных трудов, бесконечных стихов и романов. В свою очередь, неболезненная (филологическая) графомания, по аналогии с графоманией болезненной, может быть двух типов: на-

2 *Леонтьев А.Н.* Деятельность, сознание, личность. М.: Политиздат, 1975. С. 304.

учная и литературная. Непатологическая графомания имеет в своей основе и дополнительное измерение через оппозицию «банальное/новое», но только в том случае, если сам язык функционирует в своей графоманской функции, то есть когда процесс создания текста становится важнее сообщения, заложенного в нем.

В докладе *Константина Богданова* «*Графомания как растерянность*» в центре внимания оказался обширный машинописный дневник Владимира Акимовича Головко (1928—2012), включающий обрывки воспоминаний, повседневные наблюдения, семейные новости, футурологические проекты, психологические и историософские рассуждения о политике и обществе. Здесь же встречаются замысловатые графики социально эволюционных, биологических и даже климатических процессов. Страницы этого дневника замечательны не только тем, что они многословны и легко могут быть названы «графоманскими», но и своим общим пафосом — взвинченной фиксацией той окружающей и внутренней действительности, в которой автор чувствовал себя не слишком уютно и в общем-то растерянно. В целом его дневник выглядит документом того, что Роберт Нисбет некогда назвал «хаосом неопределенности» (the chaos of uncertainty)[3]. Вопрос, остающийся открытым в этом случае, по мнению докладчика, может быть сформулирован так: «Можно ли говорить об исследовательской растерянности перед подобными текстами? Если да, то кто же из нас тогда растерян: так называемый графоман или так называемый я?».

Валерий Вьюгин (ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербург) в докладе «*Горький и графомания. О литературной учебе в СССР*» обратился к уже давно обсуждаемой проблеме идеологии и образовательного эффекта институций, призванных к обучению литературному мастерству в СССР, как с точки зрения особенностей письма начинающих авторов, так и мотивов, из-за которых страсть к письму неожиданно захватила заметную часть населения страны. Вьюгин построил свой доклад преимущественно вокруг работы журнала «Литературная учеба» (основан в 1930 году) под руководством Максима Горького. Основание и существование издания во многом были связаны с практикой консультаций, способствовавших пропаганде и поощрению авторского сочинительства. Предшествуя организации Литературного института в 1933 году, готовившего профессиональных писателей СССР, «Литературная учеба» оказалась проектом, вольно или невольно стимулировавшим массовое производство текстов, которые из сегодняшнего дня представляются графоманскими.

Майя Кучерская (Хэнаньский университет, Китай, НИУ ВШЭ, Москва) и *Александра Каверкина* (НИУ ВШЭ, Москва) представили доклад «*Программы по творческому письму как механизм авторизации*», проясняющий особенности мотивации абитуриентов частных и государственных программ «литературного мастерства» (Creative Writing School, «Хороший текст», «Litband», «Write like a grrrl», специалитет «литературное творчество» СВФУ имени М.К. Аммосова, магистерские программы НИУ ВШЭ и СПбГУ). Материалом исследования послужили около четырехсот мотивационных писем, полученных от абитуриентов программы «Литературное мастерство» (НИУ ВШЭ) за 2021—2024 годы. Анализ этих писем позволил обнаружить, что в подавляющем большинстве случаев ключевая причина поступления на программу по творческому письму — желание «получить отклик профессионалов», а также «войти в литературную среду», но совсем не «научиться писать», как можно было бы предположить. Необходимость освоения новых писательских техник подчинена в этих случаях стремлению попасть в своеобразный

3 *Nisbet R.* Prejudices. A Philosophical Dictionary. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1982. P. 301.

«писательский клуб». Исследовательницы приходят к выводу, что при всей наблюдаемой сегодня деградации института литературной критики, откликов и рецензий в прессе, признание экспертного сообщества остается важным элементом литературного процесса, что хотя бы отчасти позволяет противостоять графомании.

Мария Черняк (РГПУ, Санкт-Петербург) посвятила доклад «*Читатель-автор эпохи нейросетей: к вопросу об изменении понятия графомании в XXI веке*» вопросам изменения границ понятия «графомания» с возникновением книжных интернет-платформ и тому, как менялось литературное поле, отношения между современной массовой литературой и «графоманским письмом». Какие границы этого понятия существуют в условиях тотального обновления приемов литературного письма и изменения контуров издательского процесса? В какой степени искусственные нейронные сети и возможности виртуальных собеседников меняют условия создания «графоманского текста»? На примере порталов «Литнет» и «Литрес-самиздат» докладчица проанализировала механизмы взаимодействия авторов и читателей, а также сформулировала свое видение способов формирования авторской репутации и возможных границ «графоманского текста».

*Олег Лекманов** (Принстонский университет, США) в докладе «*Зачем читать и анализировать поэтов-графоманов?*» задался вопросом, можно ли отличить стихотворение графомана от стихотворения неграфомана. По его мнению, для этого у исследователя есть как минимум два критерия. Первый более очевидный, но и менее надежный — довериться месту публикации и биографическому контексту. Второй, менее очевидный, заключается в определении метрического репертуара автора. Графоманы, в отличие от имитаторов, как правило, используют разновидности всего лишь двух размеров — хорея и ямба, отдавая предпочтение четырехстопному ямбу и пятистопному хорею.

Доклад *Лады Пановой* (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США) «*“Плохоговорение” как зона эксперимента: русский нарратив взросления от Митрофанушки до Эди-бэби*» — фрагмент продолжающегося исследования нарратива взросления в Bildungs- и Künstler-прозе, поэзии, драматургии на предмет бытования «плохоговорения», или лексических, грамматических, дискурсивных и других аграмматизмов. Плохоговорение — ожидаемая черта взрослеющего героя, особенно если он развивает собственную языковую индивидуальность, осваивает речевые стили, (не)одобряемые социумом, осуществляет первые пробы пера. Но еще интереснее, когда авторы высекают из плохоговорения дополнительные эффекты, вводя его в зону творческого эксперимента. «Плохоговорительные» пассажи, выполненные мастерами слова, нередко оказываются самыми сильными местами их произведений, а то и становятся национальными мемами (ср. чеховское «на деревню дедушке»).

Завершил первый день конференции *Александр Жолковский* (Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США) докладом «*“Шостакович наш Максим…”, или еще раз про графоманство как прием*», посвященным одноименному стихотворению Д.А. Пригова. Название выступления отсылает к статье Жолковского «Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие)», впервые опубликованной в 1986 году[4] и ставшей образцовой для всех исследователей темы

---

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

4 *Жолковский А.К.* Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие) // Жолковский А.К. Блуждающие сны: Статьи разных лет. М.: Наука. 1994. С. 54—68 (первая публикация в сборнике докладов международной конференции в Амстердаме, посвященной столетию со дня рождения Хлебникова: Velimir Chlebnikov (1885—1922): Myth and Reality. Amsterdam: Rodopi, 1986).

русскоязычной графомании. Пригов дает нелишний повод для разговора о сознательной графомании и тех приемах, за счет которых она строится и поддерживается: это грамматические ошибки, стилистические ляпы и логические несообразности. Вместе с тем у Пригова подобное словотворчество оправдано поэтически, и то, что при первом взгляде представляется нарушением порядка, оказывается замечательным за счет именно этого нарушения. Графоманская беспорядочность «плохого» письма обнаруживает выразительность нарочитого и смехотворного абсурда: Шостакович-старший, автор блокадной симфонии, заведомо пеняет своим творчеством за изменческую эмиграцию своего сына.

Второй день конференции открылся докладом *Михаила Вайскопфа* (Еврейский университет, Иерусалим, Израиль) «*Обзор русско-израильской графомании 1920—1930-х и 1970—1980-х годов*», в котором он сравнил наивно-графоманские тексты разных волн репатриантов с акцентом на их отношении к — или ностальгии по — культурно-идеологическим реалиям покинутой страны. В первой четверти XX века, на заре еврейской репатриации, переселенцы довольно слабо владели русским языком. Это не мешало, однако, некоторым из них сочинять наивно-графоманские тексты, сохранявшие зависимость как от народнических, так, позднее, и от советских клише. Авторами были социалисты-аграрии, сионистские коллективисты, одержимые идеей всеобщего равенства и мечтой о «дружбе народов». Их отношение к большевизму представляло собой смесь симпатии к большевистской революции и протеста против антисионистских репрессий, активизировавшихся в СССР к середине 1920-х годов. Хронологически враждебная к евреям политика советского руководства совпала с кратковременным подъемом НЭПа, который вызвал резкое отторжение в среде левых коммунистов. Литературная ситуация кардинально изменилась с начала 1970-х, когда в Израиль из СССР стали прибывать уже десятки тысяч евреев, и в условиях невиданной свободы слова к творчеству потянулись очень многие из них. Естественно, у них имелся совершенно иной по сравнению с их предшественниками культурно-исторический опыт. В то же время литературные и публицистические сочинения новых израильтян носили настолько массовый характер, что зачастую оборачивалась неизбежной графоманией, что, конечно, не исключало появления текстов, заслуживающих сегодня серьезного и уважительного изучения.

Лариса Пейгина (ТГУ, Томск) и *Борис Пейгин* (ШАГИ ИОН РАНХиГС, Москва) выступили с докладом «*Притвориться варваром, чтобы не стать им: “наивная” и “профессиональная” поэзия о Холокосте и их риторические стратегии*». В рамках обсуждения поэзии, посвященной Холокосту, обращение к известному высказыванию Теодора Адорно о том, что «писать стихи после Освенцима — варварство», сделалось обязательным. По словам Лин Хеджинян, развивающей эту мысль, чтобы не быть «варварством», «поэзия после Освенцима должна быть варварской и чуждой тем культурам, которые порождают зверство»[5]. Другими словами, поэты, как и все люди, желающие найти адекватную форму для сохранения памяти о Холокосте, должны изобрести средства говорить об Освенциме не на «языке Освенцима». Изучение текстов «профессиональной» поэзии на примере произведений Пауля Целана, Примо Леви, Ильи Сельвинского, Евгения Евтушенко и других позволяет заключить, что в случае стихотворений, посвященных Холокосту, даже самые профессиональные авторы стремятся не только к «варваризации» языка (к большей «наивности» в смысле формы), но и к тому, чтобы их произведения выполняли и другие функции помимо эстетической, или даже к полному исклю-

5 *Хеджинян Л.* Варварство / Пер. с англ. А. Драгомощенко // Новое литературное обозрение. 2012. № 113. С. 253—263.

чению эстетической функции. Таким образом, можно утверждать, что в контексте темы Холокоста «профессиональная» и «наивная» поэзия стремятся к «равенству в страдании». «Наивная» может выполнять поистине «варварскую» функцию подрыва культурного канона, в данном случае мемориального, привлекая внимание к тем малоизвестным и локальным эпизодам Холокоста, которые практически не представлены в «большом» нарративе о нем, утверждаемом в том числе за счет «канонизации» некоторых текстов «профессиональной» поэзии.

Вера Полищук (независимый исследователь, Санкт-Петербург) выступила с докладом «*Графоманы Набокова и Набоков как графоман*». В произведениях Набокова, как прозе, так и драматургии и поэзии, как в русских, так и в англоязычных, от ранних и до поздних, постоянно фигурируют персонажи-литераторы, которых автор если и не всегда называет графоманами в открытую, то по совокупности общих черт таковыми считает. Среди них и неудачники от литературы, и коммерчески успешные авторы. Исследовательница проанализировала, какие художественные средства для изображения этих фигур, от карикатурных до драматических, использует Набоков: есть ли в его корпусе текстов некая функция, которая объединяет этих персонажей? Анализ показывает, что автор возвращается к теме графомании, отвечая на выпады литературных критиков, преследовавшие его всю жизнь, особенно в русскоязычный, «сиринский», период, и рисуя карикатуры на противников.

Галина Орлова (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «*Архив графомана или археология редакционного отказа времен раннего "застоя"*» рассказала об устройстве одного такого «архива» — папки с документами, в которую незадачливый, но очень настойчивый внештатный военкор из Степанакерта аккуратно складывал отрицательные отзывы и отказы в публикации, поступившие из всесоюзных и безвестных, литературных и общественно-политических редакций на его рассказы, очерки, повести, написанные в 1968—1972 годах. Несколько десятков отказов, адресованных одному человеку, составляют любопытный феномен. Они позволяют описать редакционный отказ в качестве литературного аффекта и специфического коммуникативного жанра, очерчивают актуальные способы исключения графомана из порядка (советской) литературы и дискурсивно определяют его позицию. Серийный редакционный отказ не только конституирует графоманию, но и аккумулирует в себе настроение раннего застоя.

Дарья Куликова (ИМЛИ РАН, Москва) в докладе «*Графоманский "хоррор": как издательская политика портит репутацию целого жанра*» подходит к вопросу о том, что такое графомания с точки зрения жанра ужасов в современной русской литературе. Хоррор как жанровая форма проникает в литературу с конца 1980-х в виде различных образов из популярного искусства. На протяжении всех этих лет издатели и читатели ждут «русского Стивена Кинга», но никак не могут дождаться. Для этой ситуации, по мнению докладчицы, характерно то, что лейбл «русский хоррор» некоторые издатели навешивают на худшие образчики жанра. По этой причине сам жанр «русского хоррора» зачастую не попадает в поле зрения профессиональных критиков и тем более литературоведов, хотя индустрия любопытной халтуры во многом и определяет книжный рынок «русского хоррора». С одной стороны, сам факт активного появления на рынке многочисленных изданий в жанре ужасов представляется заметной тенденцией, крепнущей уже на протяжении двух десятилетий. Этот тренд свидетельствует о читательском интересе и определенном общественном запросе на книги данного жанра.

Светлана Волошина (РАНХиГС, Москва) продолжила конференцию докладом «*"Форма скверная, язык отвратительный" vs "злоба дня": публицисты и/или графоманы (П.Д. Боборыкин и Н.Г. Чернышевский)*». По утверждению исследова-

тельницы, несмотря на все различия двух литераторов, сравнительный анализ их произведений (части корпуса прозаических текстов Боборыкина и романов «Что делать?», «Пролог» и пересказов беллетристики Чернышевского, написанной им в ссылке) представляется плодотворным инструментом для проведения границ и создания «ментальной карты» графомании как набора определенных свойств и методов создания текста, характерных для русской литературы в 1860—1870-х годах. В итоге с осторожностью можно предположить, что косвенной причиной графомании этого периода была так называемая реальная критика, называющая вещи своими именами и не скованная литературными образцами эстетически надлежащего высказывания. Если литература подчинена общественно-политическим задачам, то художественные достоинства текста неважны. Не стоит упускать из виду и институты, «назначающие» звание графомана и определяющие разделение между «хорошей» и «плохой» литературой, а также различные «внешние», социальные «причины» графомании — от административных, властных решений (например невозможности публицистической деятельности Чернышевского после ареста) до появления массового читателя, для которого чтение прозы было досугом. Поэтому же появление новых произведений Боборыкина не вызывало у его читателей заметного эмоционального отклика. Так, сравнение двух, казалось бы, предельно разных писателей позволяет выявить у них немало общих черт, которые объясняются именно «графоманским» способом создания текстов.

Елена Толстая (независимый исследователь, Иерусалим, Израиль) в докладе «*Чехов в зеркале графомании: Боборыкин и Ясинский*» продолжила темы предыдущих выступлений. Докладчица, начав с перечисления видов графомании, предложила обсудить отличия этого феномена от коммерческого сочинительства. Очевидно, графомания в классическом смысле слова подразумевает многописание из психологической потребности производить (квази)литературные тексты и наслаждаться ими, хотя сами эти тексты не имеют успеха у читателя. Сочинительство за деньги часто было многописанием, не имевшим художественной ценности, однако находившим спрос у читателя. Ярким примером коммерческой беллетристики в русской литературе конца XIX века стал Петр Боборыкин, находившийся в 1890-х годах с Чеховым, по-видимости, в дружеских отношениях. Позднее он считал, что роль Чехова в русской литературе переоценена, а собственное место Боборыкина в ней оценено недостаточно, поскольку, по его мнению, именно он явился создателем нового, натуралистического повествования. Тем любопытнее пример другого отношения к Чехову. Писатель Иероним Ясинский в одном из своих ранних произведений «Горный ключ» (1894) изображает современного писателя Мерцалова, словно списанного из рассказов Чехова. Однако для Ясинского такой писатель является примером новаторства как в его мировоззренческой позиции, так и художественной гениальности.

Доклад *Марии Левченко* (Болонский университет, Италия) «*Стихи.Ру vs поэтический канон: к вопросу о количественном измерении "графомании"*» был посвящен количественным различиям между «наивной» и «канонической» поэзией на материале текстов портала «Стихи.Ру» и корпуса русской поэзии конца XIX — начала XX века. Для определения специфики наивной поэзии докладчица предлагает использовать методы дистрибутивной семантики. В качестве основного инструмента применяются векторные модели (word2vec), обученные параллельно на «наивном» и «каноническом» корпусах. Материалом исследования послужили тексты, опубликованные на портале «Стихи.Ру» за 2002 год (226 575 текстов), и корпус русской поэзии конца XIX — начала XX века (31 652). Сравнительный анализ лексического состава этих двух корпусов продемонстрировал высокую степень пересечения частотной лексики: из 10 000 наиболее частотных слов в каждом кор-

пусе 7 300 являются общими (коэффициент Жаккара 0,73). При этом, несмотря на схожесть словаря, наивная и каноническая поэзия существенно различаются характером выстраиваемых семантических связей. Эти различия визуализируются через анализ ближайших соседей для ряда ключевых слов в обеих моделях с помощью алгоритма t-SNE. Полученные результаты позволяют утверждать, что различие между «наивной» и «канонической» поэзией проявляется не только на уровне экспертной оценки или социологии литературы, но и в квантифицируемых семантических структурах.

Илья Виницкий (Принстонский университет, США), выступивший с докладом «*Катастрофическая поэзия: граф Дмитрий Иванович Хвостов и ткач Вильям МакГонагалл*», начал с обобщающего вопроса: нужны ли читателям «плохие» поэты, а если нужны, то почему и зачем? Конкретизацию возможного ответа докладчик предложил с опорой на уже существующие образы «короля графоманов» в национальных литературных традициях. В докладе примерами таких изображений послужили «Послание к N.N. о наводнении Петрополя, бывшем 1824 года 7 ноября» Д.И. Хвостова и «Beautiful Railway Bridge of the Silv'ry Tay!» Вильяма МакГонагалла.

Третий день конференции открылся докладом *Алексея Козлова* (ИФЛ СО РАН, Новосибирск) «*Ахшарумов и Авенариус: (де)градации творческой графомании*». Несмотря на закрепленное в психиатрии понятие графомании, можно наблюдать, что в критике Нового времени этот феномен представляет собой конструкт, ограниченный определенными именами. Флобер, Тургенев, Толстой или Пруст, обнаруживающие за собой болезненную тягу к письму, с точки зрения канона не могут быть названы графоманами, поскольку каждое их произведение в соответствии с общественным договором наделяется эстетической и социальной ценностью. При этом антагонисты классиков, Александр Дюма, Фаддей Булгарин, Осип Сенковский или Василий Иванович Немирович-Данченко, с которыми связано формирование нового типа «промышленной словесности», часто определяются своими современниками как «графоманы», вопреки их трезвому и прагматичному отношению к литературе. В этом ключе особого внимания, по мнению докладчика, заслуживают произведения писателей Николая Ахшарумова и Василия Авенариуса. Имена этих авторов стали нарицательными уже при их жизни, удостоившись клички «борзописцев», чья «литература пахнет литературой»[6]. Между тем для объективного восприятия этих произведений необходимо сосредоточится не только на идеологии, но также на их жанровой и стилевой специфике. Вместо неудобного, по мнению Козлова, понятия графомании при обращении к творчеству неканонических писателей плодотворнее говорить о двух видах их поэтики: поэтике тиражирования (Ф.В. Булгарин, М.В. Авдеев, В.П. Авенариус, Вас.И. Немирович-Данченко) и поэтике предвосхищения (Д.В. Григорович, Н.Д. Ахшарумов, Ф.М. Решетников, А.В. Сухово-Кобылин).

Павел Рыбкин (независимый исследователь, Москва) в докладе «*Поэтическая пушкиниана Василиска Гнедова*» обратился к отечественному жанру «пушкиниан» как заповеднику графомании. Какое место в их ряду занимает Василиск Гнедов? Анализируя стихотворения этого автора «Прошлой ночью приснился мне сон…», «Никто стихи писать не умеет…», «Пушкин над стихом и не работал…», докладчик пришел к выводу о том, что графомания — путь к возрождению конвенциональных форм письма, требующих одновременного наличия как «первого поэта» эпохи, так и ее «антипоэта».

---

6 Подробнее см. другие публикации докладчика, в частности: *Козлов А.* 1) К вопросу о литературной репутации Н.Д. Ахшарумова // Сибирский филологический журнал. 2015. № 1. С. 30—35; 2) Конвенция беллетристики: «Литература, от которой пахнет литературой» // Эйхенбаумовские чтения. М.: ГМЛИ, 2020. С. 29—39.

Елена Куранда (независимый исследователь, Санкт-Петербург) в докладе «*Символизм как графомания. Случай Георгия Тотса*» обратилась к графомании как способу выживания в провинции поэта-символиста Георгия Адольфовича Тотса (1891—1991). Причины графоманского письма происходят во многом от интеллектуальной и духовной изолированности Тотса, не публиковавшегося после единственного прижизненного сборника «На зеленой земле» (1915), и становятся попытками его саморефлексии и самоидентификации. Прозаические и стихотворные опыты Тотса, пронизанные таинственным в духе эстетики символизма, представляют собой образцы графоманского письма: каждодневного, вторично-подражательного, иногда с искажениями письменной нормы. Тотс предпринимает неоднократные попытки напечатать свои опусы и таким образом «войти в литературу» как поэт-символист, тогда как его сверстники к этому времени использовали новые эстетические формы и приемы. Докладчица заключает, что внешние обстоятельства графоманской эксплуатации идей и эстетики символизма становятся компрометацией этого направления в литературе после так называемого кризиса символизма 1910-х годов; их эпигонское использование Тотсом превращает символизм в графоманию.

Сергей Лебедев (независимый исследователь, Москва) посвятил свой доклад «*“Писатель на полпроцента”: случай Леонида Добычина*» литератору, печально известному своим таинственным исчезновением в 1936 году. Докладчик подчеркнул, что сам Добычин писателем себя не считал и постоянно возвращался к мысли, что он «писатель только на полпроцента». Среди героев добычинской прозы пример такого литератора предстает конторский служащий Ерыгин из одноименного рассказа, пытающийся сочинять нечто «из жизни Красной Армии или ответственных работников»[7]. Писать ему в сущности не о чем, но очень хочется. Этот шаржированный графоман, имеющий меж тем автобиографические черты его автора, с одной стороны, отражает типичных представителей эпохи — творцов из народа и в первую очередь рабкоров, а с другой — типологически близок персонажам Достоевского, которые «цитируют, имитируют, пародируют и перевирают» классиков[8]. Да и сам Добычин порой уподоблялся Макару Девушкину, в письмах называя себя канцелярской крысой и жалуясь, что с помощью литературы всего лишь пытался подняться на следующий этаж общества. В то же время Добычин предъявлял довольно высокие претензии к писателям-современникам. Таким образом, похоже, в одном авторе уживался клинический, по Максу Нордау, графоман и один из требовательных и ярких новаторов своего времени.

Ксения Костомарова (ИРЯ РАН, Москва) и *Павел Успенский* (НИУ ВШЭ, Москва) в докладе «*Графомания: взгляд на Виктора Бокова*» на материале «плохих» стихов советского поэта Виктора Бокова (1914—2009) оспаривают традиционное представление о том, что графоман не только тот, кто пишет неуемно много, но и тот, кто не способен породить ничего оригинального. Как и в творчестве больших оригинальных поэтов, в лирике Бокова выделяются устойчивые и самостоятельные тематические кластеры и мотивные конфигурации, которые можно анализировать как инвариантные черты авторской поэтики, что, однако, еще не делает писателя ни «графоманом», ни «неграфоманом». А вот анализ тематико-мотивных комплексов стихов Бокова неизбежно ведет к интерпретации психологических комплексов автора. Именно эта психологическая аномальность — наряду с целым рядом черт «плохого» письма — позволяет увидеть в фигуре Бокова графомана. Вместе с тем внимание к таким комплексам позволяет уточнить специфику тех смыслов, которые связываются с нормативным представлением о «поэтике» как таковой.

---

7 *Добычин Л.* Встречи с Лиз: Рассказы. Ленинград: Мысль, 1927. С. 37.

8 *Жолковский А.К.* Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука. 1994. С. 58.

Ярослава Захарова в докладе «*Пригов не графоман*» акцентирует внимание на парадоксальности тех «литературных» и соответственно литературоведческих понятий, которые используются в оценках творческого наследия Дмитрия Пригова (1940—2007). Критики часто обвиняли Пригова в графомании и пародийной ограниченности. Демонстративное «многописание» и экстравагантные заявления о тысячах стихотворений, которые он уже написал или собирался написать, вызывали смешанные чувства и у его читателей. Контексты критики, направленной на Пригова и его творчество, поучительны как аргументация «от противного» и позволяют оценить как персональные, так и собственно «идейные» диспозиции читателей в отношении к современной литературе и, шире, современному искусству. Немногие проницательно усматривали за приговскими декларациями определенную жизненную и творческую философию поэта и художника, утверждавшего «количественные» (реальные или мнимые) показатели не критерием, но принципом «жизнетворческой» мотивации художественной биографии, которую Пригов сознательно конструировал и поддерживал.

Завершил конференцию доклад *Марка Липовецкого* (Колумбийский университет, Нью-Йорк, США) «*Графомания в "фантастических повестях" Абрама Терца*». Липовецкий предложил взглянуть на «Фантастические повести» (1961) Андрея Синявского (псевдоним — Абрам Терц), как на своеобразную версию того комплекса идей, который в современной гуманитаристике связывается с постструктурализмом и прежде всего с Мишелем Фуко. Прочитанные в этом контексте «Графоманы» разыгрывают метафору «смерти автора», «Суд идет» и «Гололедица» представляют гиперболические вариации советского паноптикона и делинквентности, а «Пхенц» соединяет все эти категории в автобиографическом образе «другого». В этих рассказах «категория авторства» разрабатывается через графоманию и становится делинквентной формой литературы, вернее, литературы как центральной формы власти. Если Фуко строит свою теорию модерности как теорию знания (в первую очередь научного и юридического), то для Синявского-Терца именно литература выступает как синтетическая форма знания-власти над обществом и человеком. Литературоцентричное знание наделяет властью писателя, превращая его фигуру и в символ репрессивности, и в источник подрывной энергии. Графоман же выступает как пародийный самозванец, децентрирующий трикстер литературоцентризма, выявляющий противоречия внутри этой системы власти.

В дискуссии, сопутствовавшей и завершавшей конференцию, теоретически варьировалась та мысль, что нас окружают разнообразные тексты, которые писались и пишутся о разном и по-разному. Неодинаково они и прочитываются. В истории культуры о графомании говорится там, где существуют неравнодушные к ней читатели. Графомания в этом случае обратима к мании или любви к чтению, тому, что по-гречески могло бы называться диабадзоманией (διαβάζω — др.-греч. читать) — словом столь же выдуманным, как и сама «графомания», отсутствовавшим в Античности и появившимся только тогда, когда стало возможно говорить о литературе как о социальном институте, связывающем представление о письменности с представлениями о ее роли в общественной жизни. Как бы то ни было, следует помнить, что графомана графоманом называет, а точнее, обзывает читатель, представления которого о правильной и хорошей, неграфоманской литературе, складываются из разных обстоятельств. Эти обстоятельства исторически меняются. Критериями графомании в глазах читателей чаще других называются многописание, плохописание и неадекватность в поведении автора. Почти все эти критерии условны. Но важно, что все они определяются некоторым представлением о норме — эстетической, психологической и социальной.

Ярослава Захарова

Письмо в редакцию

В 2023 году в серии «Научная библиотека» издательства «Новое литературное обозрение» вышла моя книга под названием «Просвещать и карать: функции цензуры в Российской империи середины XIX века». Из недавно вышедшей в журнале «Российская история» рецензии О.В. Большаковой (2024. № 5) я узнал, что в оглавлении этой работы есть опечатка, грубо искажающая смысл соответствующей части. Раздел, посвященный закрытию журнала «Русское слово», называется «Кто закрыл “Русский вестник”?». Очевидно, что «Русский вестник» — это совершенно иной журнал (о его отношениях с цензурой речь идет в другом разделе моей работы, посвященном цензурной истории романа А.Ф. Писемского «Взбаламученное море»), который никто не закрывал.

Я хотел бы принести искренние извинения читателям книги за эту оплошность и выразить глубокую благодарность О.В. Большаковой за внимательное чтение моей работы и за то, что она не воспользовалась возможностью представить дело так, будто я, демонстрируя чудовищную неграмотность, путаю два журнала.

К.Ю. Зубков

Наши авторы

Этьен Балибар

(Кингстонский университет, PhD) e.balibar@kingston.ac.uk.

Светлана Баньковская

(Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, профессор; «Центр фундаментальной социологии» НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, старший научный сотрудник; кандидат философских наук, PhD) sbankovskaya@gmail.com.

Станислав Боридченко

(Щецинский университет, научный сотрудник Исторического института; PhD) stanislaw.boridcenko@usz.edu.pl.

Татьяна Вайзер

(журнал «Новое литературное обозрение», редактор / Дрезденский технический университет, Институт славистики, профессор; PhD) tianavaizer@yandex.ru.

Пол Верт

(профессор истории Невадского Университета в городе Лас-Вегас; PhD).

Жан-Луи Виоло

(Архитектурная школа Париж-Малаке, PhD) violeau@archi.fr.

Поль Вирильо

философ, теоретик архитектуры.

Павел Глушаков

(независимый исследователь; доктор филологических наук) glushakovp@mail.ru.

Данила Давыдов

(Государственный академический университет гуманитарных наук, кафедра теории и истории культуры и искусства, доцент; кандидат филологических наук) komendant3@yandex.ru.

Евгений Добренко

(Университет Ка-Фоскари (Венеция), профессор; PhD) evgeny.dobrenko@unive.it.

Ярослава Захарова

(Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана, Институт славистики, аспирантка) yaroslava.a.zakharova@gmail.com.

Сергей Зенкин

(без аффилиации) sergezenkine@hotmail.com.

Илья Калинин

(приглашенный исследователь Гумбольдтовского университета в Берлине) ilya.kalinin1975@gmail.com.

Эдвард Кейси

(Университет Стоуни-Брук; почетный профессор; PhD) edward.casey@ stonybrook.edu.

Игорь Кобылин

(РГГУ, кафедра теории и истории гуманитарного знания, доцент; ПИМУ, кафедра социально-гуманитарных наук, доцент; кандидат философских наук) kigor55@mail.ru.

Дмитрий Колчигин

(переводчик (Алматы, Казахстан)) atacarme@gmail.com.

Сергей Коретко

(политический философ, независимый исследователь; Санкт-Петербург) koretkosergei@gmail.com.

Александр Коробейников

(Свободный университет Берлина, Институт восточноевропейских исследований, научный сотрудник; MA) aleksandr.korobeinikov@fu-berlin.de.

Ксения Костомарова

(Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, младший научный сотрудник) kostomaa@gmail.com.

Марк Липовецкий

(Колумбийский университет (Нью-Йорк), профессор; доктор филологических наук) ml4360@columbia.edu.

Илья Мавринский

(доцент НИУ ВШЭ, Москва; кандидат философских наук) imavrinskii@hse.ru.

Лариса Муравьева

(независимая исследовательница; кандидат филологических наук) larissa.muravieva@gmail.com.

Мария Неклюдова

(ШАГИ ИОН РАНХиГС, лаборатория историко-культурных исследований, заведующая / МВШСЭН, факультет управления социокультурными проектами, профессор; PhD) neklyudova-ms@ranepa.ru.

Валерия Новикова
(НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, студентка) valeriia03novikova@gmail.com.

Светлана Пахомова
(МВШСЭН, НИУ ВШЭ, Москва, приглашений преподаватель; научный сотрудник Музея истории евреев в России) rada1982@yandex.ru.

Кевин Платт
(Университет Пенсильвании; заведующий программой сравнительной литературы и литературной теории, профессор на факультете русских и восточноевропейских исследований; PhD) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Анфиса Савина
(ИМЛИ РАН, старший научный сотрудник; кандидат филологических наук) anfisa.savina@yandex.ru.

Евгений Савицкий
(Институт всеобщей истории РАН, старший научный сотрудник; кандидат исторических наук) e_savitski@mail.ru.

Уиллард Сандерленд
(профессор истории Университета Цинциннати; PhD).

Доменико Скалюзи
(Университет Сорбонны/ Центр изучения обществ и культур Восточной, Балканской и Центральной Европы; аспирант) domenico.scagliusi@sorbonne-universite.fr.

Клавдия Смола
(доктор наук, профессор Дрезденского университета (Германия), заведующая кафедрой славянских литератур).

Анна Стогова
(Институт всеобщей истории РАН, отделение историко-теоретических исследований, старший научный сотрудник; Центр гендерной истории, руководитель / альманах гендерной истории «Адам&Ева», ответственный редактор; кандидат исторических наук) anna100gova@yandex.ru.

Павел Успенский
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор школы филологических наук; доктор филологических наук) puspenskiy@hse.ru.

Александр Филиппов
(НИУ Высшая школа экономики, профессор; доктор социологических наук) afilippov@hse.ru.

Хенк ван Хаутум
(Университет Неймегена, Неймегенский центр исследования границ, профессор; PhD) henk.vanhoutum@ru.nl.

Дмитрий Цыганов
(ИМЛИ РАН, научный сотрудник) tzyganoff.mitia@yandex.ru.

Мария Чернышева
(кандидат искусствоведения, независимый исследователь).

Елизавета Чуприкова-Крынская
(Ассоциация искусствоведов (АИС)).

Айтен Юран
(преподаватель Восточно-Европейского института психоанализа, Санкт-Петербург) aytenyuranyuran@gmail.com.

Summary

The Anthropology of Borders in Modern Societies

The issue opens with an editorial note by **Tatiana Vaizer**. It argues that boundaries — physical, symbolic, or institutional — shape the way we perceive identity, legitimacy, and social order. Drawing on border studies and related interdisciplinary fields, the issue explores how borders are constructed, maintained, and challenged across historical and contemporary contexts. Rather than treating borders as static entities, contributors examine them as dynamic, context-dependent processes. The issue highlights the need for both critical and normative approaches to boundaries, emphasizing their historical contingency, symbolic power, and ethical implications.

Theory of the Border: Borders, Boundaries, Limits, Thresholds

The article "'Borderism': Overcoming Discriminative B/Ordering and Othering" by **Henk van Houtum** revisits the origins of his influential paper "Bordering, Ordering, and Othering" and responds to the reflections on its ongoing relevance offered by Anssi Paasi, Bastian Vollmer, James Scott, and Chiara Brambilla. Van Houtum explains the inspiration behind the original essay and revisits the triadic geopolitical framework it introduced. He then engages with the commentators' insights while offering a brief analysis of how the field of border studies has evolved. Finally, drawing on their reflections, he outlines a forward-looking research agenda to address current and emerging challenges related to b/ordering and othering.

Edwars S. Casey, in his paper "Borders and Boundaries: How This Plays Out in Critical Situations" demonstrates how different types of borders explored in his book "The World on Edge" can be traced in various historical and contemporary cases. He examines ways in which the Rio-Grande River that divides the USA and Mexico appears in current debates on migration in the United States. He also pays attention to an ongoing conflict between Israel and Palestine that could be reviewed through the lens of two types of borders. Conflicts, so shockingly unlike in other dimensions, illustrate the real importance of differentiation between types of borders.

Philosopihcal Reflection: Line, Littoral, Liminal Zone

In the critique of modernity, common themes include the rejection of foundations, the demand for the decentering of the subject, and the questioning of binary oppositions between center and periphery, depth and surface. These problems reflected in the essay "Unseen boundary of belonging. Border's dynamic (in)determinancy: unfolding, completeness, beginning" by **Ilia Mavrinsky**.

The explication of these commonplace assumptions problematizes the border both in its various definitions and in terms of its conceptualization. In this article, by referring to classical methods of border thematization, both the heuristic potential and possibilities of modernity's heritage and the ontological grounds of the processes of positing, marking, and unfolding the border are analyzed.

Borders of the Empire, Borders of the Other

The article "The Horizons of Empire" by **Alexander F. Filippov** examines approaches to the concept "empire" in theoretical sociology. The specificity of any empire is the size of the space it occupies, but this space is not enclosed within firm, established boundaries, as is the territory of the neighboring states. Even if empires are included in systems of interstate relations, the ideologies of their ruling groups entail limitless expansion. This has occurred many times in history and can be described by applying the phenomenological category of the "horizon". The concept of a "horizon" implies that there are limits to vision and action. At the same time, it represents an infinite "and so on" in planning actions and communication. This infinity remains a constant state, regardless of political successes and failures.

Svetlana Bankovskaya in her piece "The Stranger on the Frontier (or the Frontier as a production site and as a habitat for the Stranger)" discusses 'frontier' as a concept and as a social phenomenon. The definition of 'frontier' distinguishes it from 'border', highlights its connection with social change (in its spatial dimension), and underlines its dynamic character and, consequently — its uncertainty. The stranger (pioneer, marginal man, frontiersman) is the driver of the frontier as a special social form. Emerging from classical studies of the frontier, it appears as a peculiar 'cultural pattern/ invariant', marked by the paradoxical consolidation of cultural conflict.

Alternative discourses of the Russian intelligentsia during the reign of Nicholas II (1894–1917) became an object of interest in the article "Reverse Colonialism. The Limits of Russian Imperial Ambitions in the Press Discourse of Nicholas II's Russia" by **Stanisław Edward Boridczenko**. It focuses on the interpretation of Russia's policy of territorial expansionism in the era of its modernization. According to the scholar's hypothesis, during the reign of the last Russian tsar, a tendency toward the desacralization of the empire emerged within Russian intellectual tradition, leading to a reconsideration of the necessity of maintaining direct control over numerous previously conquered territories.

(Post-)Soviet: Borders of A Closed Society

The rhetoric of brotherhood and friendship of peoples played a key role in the Soviet imperial construction. Its heyday is associated with the curtailment of the declared Trotskyist Marxist project of world revolution in the late 1920s. The international rhetoric of "proletarian brotherhood" was inverted, i.e. turned onto the Soviet peoples themselves and ideologically repackaged for domestic political and ideological consumption. On the one hand, such a turn fully met the tasks of forming a new — truncated — identity of the Soviet peoples. On the other hand, this rhetoric played an important role in the formation of a pan-Soviet identity and formed the basis of Soviet patriotism, dividing the world into a nationless and homogeneous realm within the Soviet borders (later these borders began to cover "fraternal socialist countries" of the Soviet bloc), and a hostile and internally "torn apart by national enmity" world outside the Soviet empire. The article "'The Friendship of Peoples Knows No Borders': The Pragmatics and Rhetoric of Brotherhood and the Soviet Imperial Imaginary in the Poetry of the Peoples of the USSR of the Stalinist Era" by **Evgeny Dobrenko** examines the metaphors of brotherhood, the family of peoples, friendship and other tropes. Key to this tropology is the concept of border.

The article "The Legend of Ranevskaya: The trickster and gender transgression" by **Mark Lipovetsky** examines the cultural legend surrounding actress Faina Ranevskaya, constituted through memories and anecdotes about her, aphorisms attributed to her, and her famous roles that she co-created. Together, these elements form a modification of the female trickster ("trickstar") trope, embodying the subversion of patriarchal normativity. As the analysis shows, Ranevskaya's specific humor most closely corresponds to the camp model as described by Susan Sontag and other scholars.

Transgressive Expriences in The Russophone Cultural Sphere

Guest editor: Larisa Muravieva

Autofiction is increasingly described in contemporary criticism as a transgressive genre. Its transgressiveness is manifested in the free combination of fiction with real events, which breaks genre conventions and places the reader in an ambivalent position, requiring them to trust and distrust the text simultaneously. However, the transgression of autofiction goes beyond genre hybridity by foregrounding the problem of authenticity in experience and the search for ways to write about it. The article "Is Autofiction a Transgressive Genre?" by **Larissa Muravieva** analyzes the main aspects of transgression in autofiction, which, in addition to crossing the boundaries between fiction and fact, includes the ethical issues surrounding the boundary between one's own and another's experience, as well as the role of corporeality and the liminality of experience in autofiction writing.

This article "Forbidden Manuscripts: An "Archaeology" of Family Memory

in Contemporary Russian Literature" by **Domenico Scagliusi** explores how contemporary Russian literature addresses the Soviet past through recent works by Sergey Lebedev and Maria Nyrkova. It focuses on the key role played by the literary topos of the "found manuscript" in thematizing the transmission of family memory amidst long-standing repression and silence. Through this motif, both authors address the relationship between personal and collective identities, highlight the fragility of memory transmission, and emphasize the role of literature in reinterpreting imposed narratives. This study positions these texts within the paradigm of the "archaeological narrative" and points out the transgressive dimension that this global tendency can assume in the Russian context.

Ilya Kalinin devoted his research "Soviet Oil and Russian Cosmism: The Political Economy of Transgression" to reflections on oil, characteristic of late Soviet culture. The ever-increasing role of oil for the Soviet economy of the 1950s—1970s collided with the reluctance of the Soviet leadership to recognize the resource dependence of the socialist state, articulating its political identity in the language of modernization. The refusal to recognize this at the level of economic and socio-political rationality led to the mythologization and fetishization of oil at the level of cultural representation, reproducing the symptoms of this dependence repressed into the collective unconscious. One of the most striking examples of late Soviet petropoetics was Andron Konchalovsky's film epic *Siberiade* (1978). The description of the transgressive moves made in it, violating late Soviet cultural conventions, leads to the discovery of artistic and ideological layers, the presence of which could not be envisaged within the framework of official Soviet culture.

Graphomania. Literature and Its Boundaries

The article "Naive Author as a (Non-)Graphomaniac: Toward the Problem of Correlation of Concepts" by **Danila Davydov** examines the history of the concept of "graphomania" and proposes an operational version of the typology of literary phenomena that have been designated by this concept, as well as a number of other partially synonymous concepts. Thus, it is proposed to call "graphomaniac 1" a "character writer", "graphomaniac 2" the idea of a manic writer generated by psychiatric discourse, "graphomaniac 3" the common idea of an untalented but prolific poet, "graphomaniac 4" the phenomenon of a faceless standardized writer generated by the Soviet literary system and its analogue in the modern online environment. Furthermore, various aspects of the problem of naive writing are considered: the difference between primitive and primitivism, the question of the differences in the existence of naive and primitivist creativity in the visual and verbal arts, the connection of the problematics of the primitive with the postcolonial context. It shows both the fundamental differences in the modes of existence of the naive author and the graphomaniac, as well as the possible correlations between individual variations of the primitive and the graphomaniac.

The article "In Lieu of Foucault: Graphomania, Literature, and Power in Abram Tertz's Fantastic Tales" by **Mark Lipovetsky** examines the significance of graphomania in the prose of Andrei

Sinyavsky / Abram Tertz created in the late 1950s — early 1960s. This concept assumes an almost central position in Sinyavsky's paradoxical aesthetics when his so-called "Fantastic tales" are viewed as an anticipation, or more precisely, an original and independent version of the system of ideas that was contemporaneously developing in the West as poststructuralist philosophy of culture. Abram Tertz's "fantastic tales" reveal profound correspondences with Michel Foucault's theories — which had not yet existed at the time of their creation — concerning the nature of authorship, delinquency, panopticism, and power networks. It is fundamentally significant that these "resonances" emerge precisely where Sinyavsky examines the system of power organized through the symbolic role of literature and the writer in Soviet culture, thus pointing at the mechanisms of Soviet (or Russian) "alternative modernity".

The article "How does the Phenomenology of Stupidity Explain Graphomania? Reflection with Examples from Viktor Bokov's Poems" by **Ksenia Kostomarova** and **Pavel Uspenskij** attempts to broaden the theoretical understanding of graphomania. The traditional approach defines it on the basis of two main criteria: the number of low-quality texts and the author's self-perception as a genius. These characteristics are insufficient for an accurate and profound analysis of the phenomenon. The article analyses the poetic texts of V. Bokov (1914 – 2009) and proposes an extended list of criteria concomitant with graphomania and also formulates the main receptive requirement that determines the perception of a "bad" text as graphomanic. The article associates graphomania with the category of stupidity, which is considered in a phenomenological way.

Table of contents No. 193 [3'2025]

THE ANTHROPOLOGY OF BORDERS IN MODERN SOCIETIES

7 *Tatiana Weiser.* From the Editor

THEORY OF THE BORDER: BORDERS, BOUNDARIES, LIMITS, THRESHOLDS

10 *Étienne Balibar.* What is a Border?

18 *Henk van Houtum.* Beyond "Borderism": Overcoming Discriminative B/Ordering and Othering

32 *Edward S. Casey.* Borders and Boundaries: How This Plays Out in Critical Situations

39 *Paul Virilio*, *Jean-Louis Violeau.* Coast, the Final Border

PHILOSOPIHCAL REFLECTION: LINE, LITTORAL, LIMINAL ZONE

46 *Ilia Mavrinsky.* Unseen boundary of belonging. Border's dynamic (in)determinancy: unfolding, completeness, beginning

61 *Aiten Yuran.* From the Line to the Littoral

68 *Sergey Zenkin.* Border and Mimesis (Working notes)

COMPARATIVE APPROACHES TO THE STUDY OF THE BORDER. QUESTIONNAIRE

76 (*Paul W. Werth*, *Willard Sunderland*, *Klavdia Smola*, *Mariia Cherny-shova*, *Elizaveta Chuprikova-Krynskaya*).

BORDERS OF THE EMPIRE, BORDERS OF THE OTHER

97 *Alexander F. Filippov.* The Horizons of Empire

113 *Svetlana Bankovskaya.* The Stranger on the Frontier (or the Frontier as a production site and as a habitat for the Stranger)

126 *Stanisław Boridczenko.* Reverse Colonialism. The Limits of Russian Imperial Ambitions in the Press Discourse of Nicholas II's Russia

(POST-)SOVIET: BORDERS OF A CLOSED SOCIETY

144 *Evgeny Dobrenko.* "The Friendship of Peoples Knows No Borders": The Pragmatics and Rhetoric of Brotherhood and the Soviet Imperial Imaginary in the Poetry of the Peoples of the USSR of the Stalinist Era

161 *Mark Lipovetsky.* The Legend of Ranevskaya: The trickster and gender transgression

177 *Kevin Platt.* Performative Translation and Lyric Cosmopolitanism in the Border Zone

TRANSGRESSIVE EXPRIENCES IN THE RUSSOPHONE CULTURAL SPHERE
Guest Editor: Larisa Muravieva

197 *Larissa Muravieva.* Is Autofiction a Transgressive Genre?

212 *Domenico Scagliusi.* Forbidden Manuscripts: An "Archaeology" of Family Memory in Contemporary Russian Literature

228 *Ilya Kalinin.* Soviet Oil and Russian Cosmism: The Political Economy of Transgression

GRAPHOMANIA. LITERATURE AND ITS BOUNDARIES

263 *Danila Davydov.* Naive Author as a (Non-)Graphomaniac: Toward the Problem of Correlation of Concepts

287 *Mark Lipovetsky.* In Lieu of Foucault: Graphomania, Literature, and Power in Abram Tertz's Fantastic Tales

301 *Ksenia Kostomarova*, *Pavel Uspenskij.* How does the Phenomenology of Stupidity Explain Graphomania? Reflection with Examples from Viktor Bokov's Poems

BIBLIOGRAPHY

REGIONS AND LIMITS

320 *Igor Kobylin.* From Region to Region: (Peri)phenomenological Wanderings on the Edge of the World (Review of Casey E.S. *The World on Edge.* Bloomington, 2017)

329 *Yevgeni Savitsky.* On the Other Side of Border Studies: Debates around Approaches to the Study of Borders and Borderlands (Review of *A Companion to Border Studies.* Malden; Oxford; Chichester, 2012; *Border and Bordering.* Stuttgart, 2021)

340 *Anna Stogova.* A Flood, Sweeping Away Obstacles? (Review of Morris P. *Border Politics in Novels by European Women in Translation.* London; New York; Dublin, 2024)

346 *Sergei Koretko.* The Antinomies of the Deviant: Marginality as a Sociological, Philosophical, and Political Problem (Review of Bankovsky S.P. *Outsiders and Borders: Studies of Sociology of Marginality* [Баньковская С.П. Чужаки и границы: исследования по социологии маргинальности.] St. Petersburg, 2023)

353 *Dmitry Kolchigin.* Neo-rhetorical Figures (Review of Alford C. *Entitled Opinions.* Tuscaloosa, 2024; Lombardinilo A. *The Lure of Communication.* London, 2024)

364 *Dmitry Tsyganov.* State Security Above All: The Secret Police and the Soviet Cultural Life in Light of the "Archival Counterrevolution" (Review of *The Secret Police and the Soviet System: New Archival Investigations* / Ed. by M. David-Fox. Pittsburgh, 2023).

374 *Mariia Neklyudova.* On the Other Side of the Map (Review of *Les cartes à jouer du savoir. Détournements savants au XVIII^e siècle* / Sous la direction de Jean-François Bert et Jérôme Lamy. Basel, 2023).

379 *Anfisa Savina.* A Whirlpool of People and Books (Review of *ILCEA. Bibliothèques en dehors de l'Empire: institutions et pratiques culturelles de l'exil russophone (1870—1956)* / Sous la direction de François Allisson et Alexeï Evstratov. 2024. № 56).

384 Serial Publications of the Department of Russian Literature at University of Tartu: 2004—2024: Table of Contents (Foreword by L.N. Kiseleva, compiled by P.S. Glushakov)

CHRONICLE OF SCHOLARLY LIFE

402 *Dmitry Tsyganov.* International conference "Soviet Multinational Literature as an Imperial Practice" (Dresden University, Ca' Foscari University of Venice, October 24—25, 2024).

416 *Aleksandr Korobeinikov.* Economic Studies of Borderland Territories of Northern Eurasia: Current Trends and Future Directions. International Research Seminar "Rethinking Borderland Capitalisms: Economic Practices and Resource Competition in (Post-)Imperial Siberia and Central Asia" (The Institute for East European Studies, Freie Universität Berlin, February 1—2, 2024).

422 *Svetlana Pakhomova*, *Valeriia Novikova.* International Conference "The Concept of the Border in Slavic and Jewish Cultural Tradition" (Institute o) (Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, December 6—8, 2023).

428 *Yaroslava Zakharova.* International Conference "Graphomania. Russian Literature and Its Borders" (Literary Museum of the Institute of Russian Literature, Pushkin House, Russian Academy of Sciences, *New Literary Observer*, October 7—9, 2024)

439 *Kirill Zubkov.* Letter to the editor

442 Summary

447 Table of Contents

450 Our Authors

Our authors

Étienne Balibar

(Kingston University London, PhD) e.balibar@kingston.ac.uk.

Svetlana Bankovskaya

(PhD; Professor, National Research University Higher School of Economics; Leading Researcher, "The Center for Fundamental Sociology", NRU HSE; Senior Researcher, Saint Tikhon's Orthodox University for the Humanities) sbankovskaya@gmail.com.

Stanisław Edward Boridczenko

(Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny; PhD) stanislaw.boridcenko@usz.edu.pl.

Edward S. Casey

(PhD; Stony Brook University; Distinguished Professor Emeritus of Philosophy) edward.casey@stonybrook.edu.

Maria Chernyshova

(independent scholar; PhD).

Elizaveta Chuprikova-Krynskaya

(Association of Art Critics).

Danila Davydov

(PhD; State Academic University for the Humanities, Department of Theory and History of Culture and Art, Associate Professor) komendant3@yandex.ru.

Evgeny Dobrenko

(Ca' Foscari University of Venice; professor; PhD) evgeny.dobrenko@unive.it.

Alexander F. Filippov

(PhD; Professor, NRU Higher School of Economics) afilippov@hse.ru.

Pavel Glushakov

(independent scholar, PhD) glushakovp@mail.ru.

Henk van Houtum

(PhD; Professor, Nijmegen Centre for Border Research, Radboud University Nijmegen) henk.vanhoutum@ru.nl.

Ilya Kalinin

(Visiting Researcher, Humboldt University in Berlin) ilya.kalinin1975@gmail.com.

Igor Kobylin

(Russian State University for the Humanities; Privolzhsky Research Medical University; PhD) kigor55@mail.ru.

Dmitry Kolchigin

(translator (Almaty, Kazakhstan)) atacarme@gmail.com.

Sergey Koretko

(political philosopher, independent scholar; Saint-Petersburg) koretkosergei@gmail.com.

Aleksander Korobeinikov

(Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut; MA) aleksandr.korobeinikov@fu-berlin.de.

Ksenia Kostomarova

(Junior Research Fellow, V.V. Vinogradov Institute of the Russian Language, RAS) kostomaa@gmail.com.

Mark Lipovetsky

(Dr. habil.; Professor, Columbia University, New York) ml4360@columbia.edu.

Ilia Mavrinsky

(PhD; associate professor NRU HSE, Moscow) imavrinskii@hse.ru.

Larissa Muravieva

(PhD; Independent Researcher) larissa.muravieva@gmail.com.

Maria Neklyudova

(Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, School for Advanced Studies in Humanities, Faculty Member / Moscow School of Social and Economic Sciences, professor; PhD) neklyudova-ms@ranepa.ru.

Valeriia Novikova,

(Higher School of Economics in Saint-Petersburg, student) valeriia03novikova@gmail.com.

Svetlana Pakhomova

(Moscow School of Social and Economic Sciences, Higher School of Economics, Moscow, Lecturer; Research Fellow at the Museum of Jewish History in Russia) rada1982@yandex.ru.

Kevin M.F. Platt

(PhD; University of Pennsylvania; Chair, Program in Comparative Literature and Literary Theory; Professor of Russian and East European Studies) kmfplatt@sas.upenn.edu.

Anfisa Savina
(Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Senior Research Fellow; PhD) anfisa.savina@yandex.ru.

Evgeny Savitsky

(Institute of World History of the Russian Academy of Sciences, Senior Research Fellow; PhD) e_savitski@mail.ru.

Domenico Scagliusi

(PhD candidate; Sorbonne University / Eur'ORBEM) domenico.scagliusi@sorbonneuniversite.fr.

Klavdia Smola

(Technische Universität Dresden, Professor and Chair of Slavic Literatures, PhD).

Anna Stogova

(Institute of World History of the Russian Academy of Sciences, Senior Research Fellow; Center for Gender History, Chair / Almanach of Gender History "Adam and Eve" Executive Editor; PhD) anna100gova@yandex.ru.

Willard Sunderland

(University of Cincinnati, Professor of Modern History; PhD).

Dmitry Tsyganov

(Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Research Fellow) tzyganoff.mitia@yandex.ru.

Pavel Uspenskij

(Dr. habil.; Professor, School of Philological Studies, HSE University) puspenskiy@hse.ru.

Jean-Louis Violeau

(École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais; PhD) violeau@archi.fr.

Paul Virilio

philosopher, architectural theorist.

Tatiana Weiser

(editor, *New Literary Observer* / Professor, Institute of Slavic Studies, TU Dresden; PhD) tianavaizer@yandex.ru.

Paul Werth

(University of Nevada, Las Vegas, Professor of History; PhD).

Aiten Yuran

(instructor, Eastern European Psychoanalytic Insti-tute, St. Petersburg) aytenyuranyuran@ gmail.com.

Yaroslava Zakharova

(PhD student, Institute of Slavic philology, Ludwig-Maximilian University of Munich) yaroslava.a.zakharova@gmail.com.

Sergey Zenkin

(no affiliation) sergezenkine@hotmail.com.

Editorial board

Irina Prokhorova	PhD (founder and establisher of journal)
Tatiana Weiser	PhD (editor-in-chief)
Arseniy Kumankov	PhD (theory)
Kirill Zubkov	PhD (history)
Alexander Skidan	(practice)
Abram Reitblat	PhD (bibliography)
Vladislav Tretyakov	PhD (bibliography)
Nikolai Nakhshunov	M.A. (chronicle of scholarly life)
Valerii Otiakovskii	PhD (executive editor)

Advisory board

Konstantin Azadovsky
PhD

Henryk Baran
PhD, State University of New York at Albany, professor

Evgeny Dobrenko
PhD, Universitá Ca'Foscari Venezia, professor

Tatiana Venediktova
Dr. habil. Lomonosov Moscow State University, professor

Elena Vishlenkova
Dr. habil. HSE University, professor

Tomáš Glanc
PhD, University of Zurich, professor / Charles University in Prague, professor

Hans Ulrich Gumbrecht
PhD, Stanford University, professor

Alexander Zholkovsky
PhD, University of South Carolina, professor

Andrey Zorin
Dr. habil. Oxford University, professor / The Moscow school of social and economic sciences, professor

Boris Kolonitskii
Dr. habil. European University at Saint Petersburg, professor / Saint Petersburg Institute of History, Russian Academy of Sciences, leading researcher

Alexander Lavrov
Dr. habil. Full member of Russian Academy of Sciences Institute of Russian Literature (the Pushkin House), Russian Academy of Sciences, leading researcher

Mark Lipovetsky
Dr. habil. Columbia University, professor

John Malmstad
PhD, Harvard University, professor

Alexander Ospovat
University of California, Los Angeles; Research Professor

Pekka Pesonen
PhD, University of Helsinki, professor emeritus

Oleg Proskurin
PhD, Emory University, professor

Roman Timenchik
PhD, The Hebrew University of Jerusalem, professor

Pavel Uvarov
Dr. habil. Corresponding member of Russian Academy of Sciences. Institute of World History, Russian Academy of Sciences, research professor / HSE University, professor

Alexander Etkind*
European University Institute (Florence)

Mikhail Yampolsky
Dr. habil. New York University, professor

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.